

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький

От составителя

Он по-разному подписывал свои произведения. Антином исходящий и Дон-Кихот, Некто и Пьеро, Иегудиил Хламида и Самокритик Словотеков, Один из теперешних, А-а! Unicus... Но всему миру Алексей Максимович Пешков – таково было данное при рождении имя – известен как Максим Горький, или даже короче, М. Горький, Горький.

Многими признано, что настоящий писатель всю жизнь пишет одну книгу. Перу Горького принадлежат романы, пьесы, десятки повестей и рассказов, очерков, стихотворений, фельетонов, литературно-критических и публицистических статей. Он создал литературные портреты многих писателей и политических деятелей, оставил воспоминания о своем времени и его людях. Горький и в тысячах его писем.

Но эта грандиозная книга Горького – не единственное, оставленное им человечеству. Максим Горький был не только писателем. Он был крупнейшим общественным деятелем, считавшим, что его время «включает в область поэзии совершенно новые темы» и, прежде всего, «борьбу коллективного организованного разума против стихийных сил природы и вообще против „стихийности“ воспитания не классового, а всемирного Человека Человечества, творца „второй природы“, создаваемой энергией его воли, разума, воображения». Горький и стал строителем (а очень часто и создателем) новых форм человеческих отношений, новых форм литературы. С его именем связаны сотни больших и малых начинаний, событий, дел, память о нем навсегда стала частью – светлой или подпаленной – отечественной истории.

Хорошо понимая, что «старый тип литературы и старые приемы изложения» исчерпаны, Горький оставался уверен: «Материал литератора – такой же человек, каков сам литератор». Лучшее подтверждение этому – его творческая практика, автобиографизм его творчества. Однако автобиографизм особого рода.

Хотя, читая Горького, мы узнаем о нем очень много как о человеке времени, нельзя забывать, что это было время великих иллюзий и великих мифов. Время, когда не только расчислялось будущее, но и переписывалось прошлое. Время, когда пересочинялись биографии, когда белое становилось черным, а затем заливалось красным. Горький предсказывал: «Вероятно, лет эдак через пятьдесят, когда жизнь несколько остынет... людям конца XX столетия первая половина его покажется великолепной трагедией, эпосом пролетариата». Сегодня все, кто не слеп, осознали, что «эпос пролетариата» оказался самой страшной сказкой нашего века, а Горький – главным рассказчиком-хроникером этой сказки. Его без преувеличения горькая судьба с божественной ясностью показывает, что бывает с писателем, пренебрегающим главным литературным заветом: лирой пробуждать чувства добрые.

Горький, к сожалению, прославился другими афоризмами, порожденными мутацией его юношеского нищестанства под воздействием коммунистических идей. Хотя и расплатился за измену идеалам литературного гуманизма. И своей жизнью почетного заключенного в 1930-е годы, и безвременной смертью, и посмертной судьбой. Объявленный главным большевистским писателем и удостоенный полного академического собрания сочинений, он в этом собрании до сих пор так и не воплотился: оно застыло на половине – слишком многое из написанного Горьким не влезало в клетку, сооруженную партийными идеологами для вроде бы прикормленного Буревестника Революции. Публицистика Горького и его пьесы так полностью и не изданы.

Но – парадокс! – в этом залог самоспасения Горького от забвения. Критические стрелы, полетевшие в его монумент с началом перестройки, стрелы, напоенные лечебным ядом и праведным гневом, сегодня иссякли. Литературный вождь низвергнут. Остался только писатель. Сделанное Горьким водружено на весы вечности. Мы начинаем читать его по-новому: и общеизвестные, нередко насильно-хрестоматийные вещи, и запрещенные советской цензурой. И соглашаемся с тем, что признавали и его недруги: писать он умел.

В этой книге собраны произведения Горького, которые, возможно, хоть и качаясь на этих весах вечности, все же в реку забвенья не канут.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Сергей Дмитренко
И. Бунин
Горький

Эта статья великого русского писателя впервые была напечатана в парижском еженедельнике «Иллюстрированная Россия» (1936. 4 июля. № 28), вскоре после кончины А.М. Пешкова (Горького). Печатается по изд.: Бунин И.А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 1998. С. 410–416.

Начало той странной дружбы, что соединяла нас с Горьким, – странной потому, что чуть не два десятилетия считались мы с ним большими друзьями, а в действительности ими не были, – начало это относится к 1899 году. А конец – к 1917. Тут случилось нечто еще более странное: человек, с которым у меня за целых двадцать лет не было для вражды ни единого личного повода, оказался для меня врагом, долго вызывавшим во мне приступы ужаса, негодования. С течением времени чувства эти перегорели, он стал для меня как бы несуществующим. Но вот громкий, безразличный голос из радио:

– L'ecrivain Maxime Gorki est decede... Alexis Pechkoff, connu en litterature sous le nom Maxime Gorki, etait ne en 1868 a Nijni-Novgorod d'une famille de Cosaques...[1]

«Decede...» Очень сложные чувства.

В первый раз в жизни слышу о его казацком происхождении. Может быть, он и правда был казак? Я уже это писал: о нем, как это ни удивительно, до сих пор никто не имеет точного представления. Кто знает его биографию достоверную? Молва все еще твердит: «Босьяк, поднялся со дна моря народного...» В словаре Брокгауза читаешь другое: «Горький–Пешков, Алексей Максимович. Родился в 1868 году, в среде вполне буржуазной: отец – управляющий большой паровой конторой, мать – дочь богатого купца красильщика...» Дальнейшее основано только на автобиографии Горького... Был в мальчишеские годы поваренком на волжском пароходе, потом где-то садовником... торговал яблоками... Был письмоводителем у нижегородского адвоката Ланина; уйдя от него, «бродил по югу России»...

В 92-м году он напечатал в газете «Кавказ» свой первый очерк – «Макар Чудра». Через три года после того появился знаменитый «Челкаш». К этой поре и относятся мои первые сведения о нем. Я жил тогда в Малороссии, в Полтаве, и вот пришел по Полтаве слух: «Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с суковатой дубинкой в руке...» А познакомились мы весной 99-го года. Приезжаю в Крым, в Ялту, иду как-то по набережной и вижу: навстречу идет Чехов, а рядом с ним кто-то громко говорящий басом и все время высоко взмахивающий руками из крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь – Бунин – Горький». Знакомлюсь и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно: и крылатка, и вот этакая шляпа, в руках толстая палка. Под крылаткой ярко-желтая шелковая рубаха, подпоясанная толстым и длинным шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий и сутулый красно-рыжий мастерской с зеленоватыми небольшими глазами, быстрыми и уклончивыми, с широкими ноздрями седловатого носа, веснушчатый, с желтыми моржовыми усами, которые он, покашливая, все поглаживает пальцами: немножко поплюет на них и погладит...

Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения, с его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною:

– Вы же последний писатель от дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого!

В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне, морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически-глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами:

– Это, понимаете, я на кофточку ей купил... этой самой женщине... Подарок везу... Ничего? Сносно?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной, при Чехове, – милый, шутливо-ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно-задушевным волжским говорком с оканьем. Он играл и в том и в другом случае – с одинаковым удовольствием, одинаково неустанно, – впоследствии я узнал, что он мог вести монологи хоть с утра до ночи, – одинаково ловко, вполне входя то в ту, то в другую роль, в чувствительных местах, когда старался быть особенно убедительным, с легкостью вызывая даже слезы на свои зеленые глаза. Тут обнаружились и некоторые другие его черты, которые я неизменно видел впоследствии много лет. Первая черта была та, что на людях он бывал совсем не тот, что со мной наедине или вообще без посторонних, – на людях он чаще всего басил, бледнел от самолюбия, честолюбия, от восторга публики, рассказывал все что-нибудь грубое, высокое, важное, своих поклонников и поклонниц любил поучать, говорил с ними то сурово и небрежно, то сухо, назидательно, – когда же мы оставались глаз на глаз или среди близких ему людей, он становился мил, как-то наивно радостен, скромен и застенчив даже излишне. А вторая черта состояла в его обожании культуры и литературы, разговоры о которых были настоящим коньком его. То, что сотни раз он говорил мне впоследствии, начал он говорить еще тогда, в Ялте:

– Понимаете, вы же настоящий писатель прежде всего потому, что у вас в крови культура, наследственность высокого художественного искусства русской литературы. Наш брат, писатель для нового читателя, должен непрестанно учиться этой культуре, почитать ее всеми силами души, – только тогда и выйдет какой-нибудь толк из нас!

Несомненно, была и тут игра, умиление «культурностью» своей роли, было и то самоунижение, которое паче гордости. Но была и большая искренность – можно ли было иначе твердить одно и то же столько лет и порой со слезами на глазах?

Он, худой, был довольно широк в плечах, держал их всегда поднявши и узкогрудо сутулясь, ступал своими длинными ногами с носка, с какой-то, – пусть простят мне это слово, – воровской щеголеватостью и мягкостью, легкостью, – я не мало видал таких походок в одесском порту. У него были большие, ласковые, как у духовных лиц, руки. Здороваясь, он долго держал твою руку в своей, приятно жал ее, целовался мягкими губами крепко, взасос. Скулы у него выдавались совсем по-татарски. Небольшой лоб, низко заросший волосами, закинутыми назад и довольно длинными, был морщинист, как у обезьяны – кожа лба и брови все лезли вверх к волосам, складками. В выражении лица (того довольно нежного цвета, что бывает у рыжих) иногда мелькало нечто клоунское, очень живое, очень комическое, – то, что потом так сказало у его сына Максима, которого я, в его детстве, часто сажал к себе на шею верхом, хватал за ножки и до радостного визга доводил своей скачкой по комнате.

Ко времени первой встречи с ним слава его шла уже по всей России. Потом она только продолжала расти. Русская интеллигенция сходила от него с ума, и понятно почему. Мало того, что это была пора уже большого подъема русской революционности, мало того, что Горький так отвечал этой революционности: в ту пору шла еще страстная борьба между «народниками» и недавно появившимися марксистами, а Горький уничтожал мужика и воспевал «Челкашей», на которых марксисты, в своих революционных надеждах и планах, ставили такую крупную ставку. И вот каждое новое произведение Горького тотчас делалось всероссийским событием. И он все менялся и менялся – и в образе жизни, и в обращении с людьми. У него был снят теперь целый дом в Нижнем Новгороде, была большая квартира в Петербурге, он часто появлялся в Москве, в Крыму, руководил журналом «Новая жизнь», начинал издательство «Знание»... Он уже писал для Художественного театра, артистке Книппер делал на своих книгах такие, например, посвящения:

– Эту книгу, Ольга Леонардовна, я переплел бы для Вас в кожу сердца моего!

Он уже вывел в люди сперва Андреева, потом Скитальца и очень приблизил их к себе. Временами приближал и других писателей, но чаще всего ненадолго: очаровав кого-нибудь своим вниманием, вдруг отнимал у счастливицы все свои милости. В гостях, в обществе было тяжело видеть его: всюду, где он появлялся, набивалось столько народу, не спускающего с него глаз, что протолпиться было нельзя. Он же держался все угловатее, все неестественнее, ни на кого из публики не глядел, сидел в кружке двух, трех избранных друзей из знаменитостей, свирепо хмурился, по-солдатски (нарочито по-солдатски) кашлял, курил папиросу за папиросой, тянул

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
красное вино, – выпивал всегда полный стакан, не отрываясь, до дна, – громко изрекал иногда для общего пользования какую-нибудь сентенцию или политическое пророчество и опять, делая вид, что не замечает никого кругом, то хмурясь и барабанил большими пальцами по столу, то с притворным безразличием поднимая вверх брови и складки лба, говорил только с друзьями, но и с ними как-то вскользь, – хотя и без умолку, – они же повторяли на своих лицах меняющиеся выражения его лица и, упиваясь на глазах публики гордостью близости с ним, будто бы небрежно, будто бы независимо, то и дело вставляли в свое обращение к нему его имя:

– Совершенно верно, Алексей... Нет, ты не прав, Алексей... Видишь ли, Алексей... Дело в том, Алексей...

Все молодое уже исчезло в нем, – с ним это случилось очень быстро, – цвет лица у него стал грубее и темнее, суше, усы гуще и больше, – его уже называли унтером, – на лице появилось много морщин, во взгляде – что-то злое, вызывающее. Когда мы встречались с ним не в гостях, не в обществе, он был почти прежний, только держался серьезнее, увереннее, чем когда-то. Но публике (без восторгов которой он просто жить не мог) часто губил.

На одном людном вечере в Ялте я видел, как артистка Ермолова, – сама Ермолова и уже старая в ту пору! – подошла к нему и поднесла ему подарок – чудесный портсигарчик из китового уса. Она так смутилась, так растерялась, так покраснела, что у нее слезы на глаза выступили:

– Вот, Максим Алексеевич... Алексей Максимович... Вот я... вам...

Он в это время стоял возле стола, тушил в пепельнице папиросу и даже не поднял глаз на нее.

– Я хотела выразить вам, Алексей Максимович...

Он, мрачно усмехнувшись в стол и, по своей привычке, дернув назад головой, отбрасывая со лба волосы, густо проворчал, как будто про себя, стих из «Книги Иова»:

– «Доколе же Ты не отвратишь от меня взора, не будешь отпускать меня даже на столько, чтобы слюну мог проглотить я?»

А что, если бы его «отпустили»?

Ходил он теперь всегда в темной блузе, подпоясанной кавказским ремешком с серебряным набором, в каких-то особенных сапожках с короткими голенищами, в которые вправлял черные штаны. Всем известно, как, подражая ему в «народности» одежды, Андреев, Скиталец и прочие «Подмаксимки» тоже стали носить длинные сапоги, блузы и поддевки. Это было нестерпимо. Раз вечером, среди толпы, тесно двигавшейся во время антракта в фойе Художественного театра, эти «Подмаксимки» шли целой гурьбой, и я громко сказал, подходя к ним, тоном и словами Коко из «Плодов просвещения», увидавшего в своей прихожей мужиков:

– Э, э, э... Вы – охотники?

Мы встречались в Петербурге, в Москве, в Нижнем, в Крыму, – были и дела у нас с ним: я сперва сотрудничал в его журнале «Новая жизнь», потом стал издавать свои первые книги в его издательстве «Знание», участвовал в «Сборниках „Знания“». Его книги расходились чуть не в сотнях тысяч экземпляров, прочие, – больше всего из-за марки «Знания», – тоже неплохо. «Знание» сильно повысило писательские гонорары. Мы получали в «Сборниках Знания» кто по 300, кто по 400, а кто и по 500 рублей с листа, он – 1000 рублей. Большие деньги он всегда любил, – любил все большое. Тогда начал он и коллекционерство: начал собирать редкие древние монеты, медали, геммы, драгоценные камни; ловко, кругло, сдерживая довольную улыбку, поворачивал их в руках, разглядывая, показывая. Так он и вино пил: со вкусом и с наслаждением (у себя дома только французское вино, хотя превосходных русских вин было в России сколько угодно).

Я всегда дивился, – как это его на все хватает: изо дня в день на людях, – то у него сборище, то он на каком-нибудь сборище, – говорит, не умолкая, целыми часами, пьет сколько угодно, папирос выкуривает по сто штук в сутки, спит не больше пяти, шести часов – и пишет своим круглым, крепким почерком роман за

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru романом, пьесу за пьесой! Очень было распространено убеждение, что он пишет совершенно безграмотно и что его рукописи кто-то поправляет. Но писал он совершенно правильно (и вообще с необыкновенной литературной опытностью, с которой и начал писать). А сколько он читал, вечный полуинтеллигент, начетчик!

Всегда говорили о его редком знании России. Выходит, что он узнал ее в те немногие годы, когда, уйдя от Ланина, «бродил по югу России». Когда я его узнал, он уже нигде не бродил. Никогда и нигде не бродил и после: жил в Крыму, в Москве, в Нижнем, в Петербурге... В 1905 году, после московского декабрьского восстания, эмигрировал через Финляндию за границу; побывал в Америке, потом семь лет жил на Капри, – до 1914 года. Тут, вернувшись в Россию, он крепко осел в Петербурге... Дальнейшее известно.

Мы с женой лет пять подряд ездили на Капри, провели там целых три зимы. В это время мы с Горьким встречались каждый день, чуть не все вечера проводили вместе, сошлись очень близко. Это было время, когда он был наиболее приятен мне, эти годы я видел его таким, каким еще никогда не видал.

В начале апреля 1917 года мы расстались с ним дружески. В день моего отъезда из Петербурга он устроил огромное собрание в Михайловском театре, на котором он выступал с каким-то культурным призывом, потащил и меня туда. Выйдя на сцену, он сказал: «Господа, среди нас такой-то...» Собрание очень бурно меня приветствовало, но оно было уже такого состава, что это не доставило мне большого удовольствия. Потом мы с ним, с Шаляпиным, с А. Н. Бенуа отправились в ресторан «Медведь». Было ведро с зернистой икрой, было много шампанского... Когда я уходил, он вышел за мной в коридор, много раз крепко обнял меня, крепко поцеловал, на вечную разлуку, как оказалось.

20. VI. 1936.

Рассказы и повести

Макар Чудра

С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов. Изредка его порывы приносили с собой сморщенные, желтые листья и бросали их в костер, раздувая пламя, окружающая нас мгла осенней ночи вздрагивала и, пугливо отодвигаясь, открывала на миг слева – безграничную степь, справа – бесконечное море и прямо против меня – фигуру Макара Чудры, старого цыгана, – он сторожил коней своего табора, раскинутого шагах в пятидесяти от нас.

Не обращая внимания на то, что холодные волны ветра, распахнув чекмень, обнажили его волосатую грудь и безжалостно бьют ее, он полулежал в красивой, сильной позе, лицом ко мне, методически потягивал из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и, неподвижно уставив глаза куда-то через мою голову и мертво молчавшую темноту степи, разговаривал со мной, не умолкая и не делая ни одного движения к защите от резких ударов ветра.

– Так ты ходишь? Это хорошо! Ты славную долю выбрал себе, сокол. Так и надо: ходи и смотри, насмотрелся, ляг и умирай – вот и всё!

– Жизнь? Иные люди? – продолжал он, скептически выслушав мое возражение на его «Так и надо». – Эге! А тебе что до того? Разве ты сам – не жизнь? Другие люди живут без тебя и проживут без тебя. Разве ты думаешь, что ты кому-то нужен? Ты не хлеб, не палка, и не нужно тебя никому.

– Учиться и учить, говоришь ты? А ты можешь научиться сделать людей счастливыми? Нет, не можешь. Ты поседей сначала, да и говори, что надо учить. Чему учить? Всякий знает, что ему нужно. Которые умнее, те берут что есть, которые поглупее – те ничего не получают, и всякий сам учится...

– Смешные они, те твои люди. Сбились в кучу и давят друг друга, а места на земле вон сколько, – он широко повел рукой на степь. – И всё работают. Зачем? Кому? Никто не знает. Видишь, как человек пашет, и думаешь: вот он по капле с потом силы свои источит на землю, а потом ляжет в нее и сгниет в ней. Ничего по нем не останется, ничего он не видит с своего поля и умирает, как родился, – дураком.

– Что ж, – он родился затем, что ли, чтоб поковырять землю да и умереть, не успев даже могилы самому себе выковырять? Ведома ему воля? Ширь степная понятна? Говор морской волны веселит ему сердце? Он раб – как только родился, всю жизнь

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
раб, и всё тут! Что он с собой может сделать? Только удавиться, коли поумнеет
немного.

– А я, вот смотри, в 58 лет столько видел, что коли написать всё это на бумаге,
так в тысячу таких торб, как у тебя, не положишь. А ну-ка, скажи, в каких краях
я не был? И не скажешь. Ты и не знаешь таких краев, где я бывал. Так нужно жить:
иди, иди – и всё тут. Долго не стой на одном месте – чего в нем? Вон как день и
ночь бегают, гоняясь друг за другом, вокруг земли, так и ты бегай от дум про
жизнь, чтоб не разлюбить ее. А задумаешься – разлюбишь жизнь, это всегда так
бывает. И со мной это было. Эге! Было, сокол.

– В тюрьме я сидел, в Галичине. «Зачем я живу на свете?» – помыслил я со скуки,
– скучно в тюрьме, сокол, э, как скучно! – и взяла меня тоска за сердце, как
посмотрел я из окна на поле, взяла и сжала его клещами. Кто скажет, зачем он
живет? Никто не скажет, сокол! И спрашивать себя про это не надо. Живи, и всё
тут. И похаживай да посматривай кругом себя, вот и тоска не возьмет никогда. Я
тогда чуть не удавился поясом, вот как!

– Хе! Говорил я с одним человеком. Строгий человек, из ваших, русских. Нужно,
говорит он, жить не так, как ты сам хочешь, а так, как сказано в божьем слове.
Богу покоряйся, и он даст тебе всё, что попросишь у него. А сам он весь в
дырках, рваный. Я и сказал ему, чтобы он себе новую одежду попросил у бога.
Рассердился он и прогнал меня, ругаясь. А до того говорил, что надо прощать
людей и любить их. Вот бы и простил мне, коли моя речь обидела его милость. Тоже
– учитель! Учат они меньше есть, а сами едят по десять раз в сутки.

Он плюнул в костер и замолчал, снова набивая трубку. Ветер выл жалобно и тихо,
во тьме ржали кони, из табора плыла нежная и страстная песня-думка. Это пела
красавица Нонка, дочь Макара. Я знал ее голос густого, грудного тембра, всегда
как-то странно, недовольно и требовательно звучащий – пела ли она песню,
говорила ли «здравствуй». На ее смуглом, матовом лице замерла надменность
царицы, а в подернутых какой-то тенью темно-карих глазах сверкало сознание
неотразимости ее красоты и презрение ко всему, что не она сама.

Макар подал мне трубку.

– Кури! Хорошо поет девка? То-то! Хотел бы, чтоб такая тебя полюбила? Нет?
Хорошо! Так и надо – не верь девкам и держись от них дальше. Девке целоваться
лучше и приятней, чем мне трубку курить, а поцеловал ее – и умерла воля в твоём
сердце. Привяжет она тебя к себе чем-то, чего не видно, а порвать – нельзя, и
отдашь ты ей всю душу. Верно! Берегись девок! Лгут всегда! Люблю, говорит,
больше всего на свете, а ну-ка, уколи ее булавкой, она разорвет тебе сердце.
Знаю я! Эге, сколько я знаю! Ну, сокол, хочешь, скажу одну бль? А ты ее запомни
и, как запомнишь, – век свой будешь свободной птицей.

«Был на свете Зобар, молодой цыган, Лойко Зобар. Вся Венгрия, и Чехия, и
Славония, и всё, что кругом моря, знало его, – удалый был малый! Не было по тем
краям деревни, в которой бы пяток-другой жителей не давал богу клятвы убить
Лойку, а он себе жил, и уж коли ему понравился конь, так хоть полк солдат
поставь сторожить того коня – все равно Зобар на нем гарцевать станет! Эге!
разве он кого боялся? Да приди к нему сатана со всей своей свитой, так он бы,
коли б не пустил в него ножа, то, наверно бы, крепко поругался, а что чертям
подарил бы по пинку в рыла – это уж как раз!

И все таборы его знали или слышали о нем. Он любил только коней и ничего больше,
и то недолго – поедит да и продаст, а деньги кто хочет, тот и возьми. У него не
было заветного – нужно тебе его сердце, он сам бы вырвал его из груди да тебе и
отдал, только бы тебе от того хорошо было. Вот он какой был, сокол!

Наш табор кочевал в то время по Буковине, – это годов десять назад тому. Раз –
ночью весенней – сидим мы: я, Данило-солдат, что с Кошутом воевал вместе, и Нур
старый, и все другие, и Радда, Данилова дочка.

Ты Нонку мою знаешь? Царица-девка! Ну, а Радду с ней равнять нельзя – много
чести Нонке! О ней, этой Радде, словами и не скажешь ничего. Может быть, ее
красоту можно бы на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою
душу, знает.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Много посушила она сердец молодецких, ого, много! На Мораве один магнат, старый, чубатый, увидел ее и остолбенел. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. Красив он был, как черт в праздник, жупан шит золотом, на боку сабля, как молния сверкает, чуть конь ногой топнет, вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок, – важный был господарь старый! Смотрел, смотрел да и говорит Радде: „Гей! Поцелуй, кошель денег дам“. А та отвернулась в сторону, да и только! „Прости, коли обидел, взгляни хоть поласковой“, – сразу сбавил спеси старый магнат и бросил к ее ногам кошель – большой кошель, брат! А она его будто невзначай пнула ногой в грязь, да и всё тут.

– Эх, девка! – охнул он да и плетью по коню – только пыль взвилась тучей.

А на другой день снова явился. „Кто ее отец?“ – громом гремит по табору. Данило вышел. „Продай дочь, что хочешь возьми!“ А Данило и скажи ему: „Это только паны продают всё, от своих свиней до своей совести, а я с Кошутом воевал и ничем не торгую!“ Взревел было тот да и за саблю, но кто-то из нас сунул зажженный трут в ухо коню, он и унес молодца. А мы снялись да и пошли. День идем и два, смотрим – догнал! „Гей вы, говорит, перед богом и вами совесть моя чиста, отдайте девку в жены мне: всё поделю с вами, богат я сильно!“ Горит весь и, как ковыль под ветром, качается в седле. Мы задумались.

– А ну-ка, дочь, говори! – сказал себе в усы Данило.

– Кабы орлица к ворону в гнездо по своей воле вошла, чем бы она стала? – спросила нас Радда.

Засмеялся Данило и все мы с ним.

– Славно, дочка! Слышал, господарь? Не идет дело! Голубок ищи – те податливей. – И пошли мы вперед.

А тот господарь схватил шапку, бросил ее оземь и поскакал так, что земля задрожала. Вот она какова была Радда, сокол!

Да! Так вот раз ночью сидим мы и слышим – музыка плывет по степи. Хорошая музыка! Кровь загоралась в жилах от нее, и звала она куда-то. Всем нам, мы чужали, от той музыки захотелось чего-то такого, после чего бы и жить уж не нужно было, или, коли жить, так – царями над всей землей, сокол!

Вот из темноты вырезался конь, а на нем человек сидит и играет, подъезжая к нам. Остановился у костра, перестал играть, улыбаясь, смотрит на нас.

– Эге, Зобар, да это ты! – крикнул ему Данило радостно. Так вот он, Лойко Зобар!

Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звезды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Точно его ковали из одного куска железа вместе с конем. Стоит весь, как в крови, в огне костра и сверкает зубами, смеясь! Будь я проклят, коли я его не любил уже, как себя, раньше, чем он мне слово сказал или просто заметил, что и я тоже живу на белом свете!

Вот, сокол, какие люди бывают! Взглянет он тебе в очи и полонит твою душу, и ничуть тебе это не стыдно, а еще и гордо для тебя. С таким человеком ты и сам лучше становишься. Мало, друг, таких людей! Ну, так и ладно, коли мало. Много хорошего было бы на свете, так его и за хорошее не считали бы. Так-то! А слушай-ка дальше.

Радда и говорит: „Хорошо ты, Лойко, играешь! Кто это делал тебе скрипку такую звонкую и чуткую?“ А тот смеется: „Я сам делал! И сделал ее не из дерева, а из груди молодой девушки, которую любил крепко, а струны из ее сердца мною свиты. Врет еще немного скрипка, ну, да я умею смычок в руках держать!“

Известно, наш брат старается сразу затуманить девке очи, чтоб они не зажгли его сердца, а сами подернулись бы по тебе грустью, вот и Лойко тож. Но – не на ту попал. Радда отвернулась в сторону и, зевнув, сказала: „А еще говорили, что Зобар умен и ловок, – вот лгут люди!“ – и пошла прочь.

– Эге, красавица, у тебя остры зубы! – сверкнул очами Лойко, слезая с коня. – Здравствуйте, братья! Вот и я к вам!

– Просим гостя! – сказал Данило в ответ ему. Поцеловались, поговорили и легли спать... Крепко спали. А наутро, глядим, у Зобара голова повязана тряпкой. Что это? А это конь зашиб его копытом сонного.

Э, э, э! Поняли мы, кто тот конь, и улыбнулись в усы, и Данило улыбнулся. Что ж, разве Лойко не стоил Радды? Ну, уж нет! Девка как ни хороша, да у ней душа узка и мелка, и хоть ты пуд золота повесь ей на шею, всё равно лучше того, какова она есть, не быть ей. А, ну ладно!

Живем мы да живем на том месте, дела у нас о ту пору хорошие были, и Зобар с нами. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем, и грамоту русскую и мадьярскую понимал. Бывало, пойдет говорить – век бы не спал, слушал его! А играет – убей меня гром, коли на свете еще кто-нибудь так играл! Проведет, бывало, по струнам смычком – и вздрогнет у тебя сердце, проведет еще раз – и замрет оно, слушая, а он играет и улыбается. И плакать и смеяться хотелось в одно время, слушая его. Вот тебе сейчас кто-то стонет горько, просит помощи и режет тебе грудь, как ножом. А вот степь говорит небу сказки, печальные сказки. Плачет девушка, провожая добра молодца! Добрый молодец кличет девицу в степь. И вдруг – гей! Громом гремит вольная, живая песня, и само солнце, того и гляди, затанцует по небу под ту песню! Вот как, сокол!

Каждая жила в твоём теле понимала ту песню, и весь ты становился рабом ее. И коли бы тогда крикнул Лойко: „В ножи, товарищи!“ – то и пошли бы мы все в ножи, с кем указал бы он. Всё он мог сделать с человеком, и все любили его, крепко любили, только Радда одна не смотрит на парня; и ладно, коли б только это, а то еще и подсмеивается над ним. Крепко она задела за сердце Зобара, то-то крепко! Зубами скрипит, дергая себя за ус, Лойко, очи темнее бездны смотрят, а порой в них такое сверкает, что за душу страшно становится. Уйдет ночью далеко в степь Лойко, и плачет до утра его скрипка, плачет, хоронит Зобарову волю. А мы лежим да слушаем и думаем: как быть? И знаем, что, коли два камня друг на друга катятся, становиться между ними нельзя – изувечат. Так и шло дело.

Вот сидели мы, все в сборе, и говорили о делах. Скучно стало. Данило и просит Лойко: „Спой, Зобар, песенку, повесели душу!“ Тот повел оком на Радду, что неподалеку от него лежала кверху лицом, глядя в небо, и ударил по струнам. Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! И запел Лойко:

Гей-гей! В груди горит огонь,
А степь так широка!
Как ветер, быстр мой борзый конь,
Тверда моя рука!
Повернула голову Радда и, привстав, усмехнулась в очи певуну. Вспыхнул, как заря, он.

Гей-гоп, гей! Ну, товарищ мой!
Поскачем, что ль, вперед?!
Одета степь суровой мглой,
А там рассвет нас ждет!
Гей-гей! Летим и встретим день.
Взвивайся в вышину!
Да только гривой не задень
Красавицу-луну!
Вот пел! Никто уж так не поет теперь! А Радда и говорит, точно воду цедит: „– Ты бы не залетал так высоко, Лойко, неравно упадешь да – в лужу носом, усы запачкаешь, смотри.“

Зверем посмотрел на нее Лойко, а ничего не сказал – стерпел парень и поет себе:

Гей-гоп! Вдруг день придет сюда,
А мы с тобою спим.
Эй, гей! Ведь мы с тобой тогда
В огне стыда сгорим!
– Это песня! – сказал Данило. – Никогда не слышал такой песни; пусть из меня сатана себе трубку сделает, коли вру я!

Старый Нур и усами поводил, и плечами пожимал, и воем нам по душе была удалая Зобарова песня! Только Радде не понравилась.

– Вот так однажды комар гудел, орлиный клекот передразнивая, – сказала она, точно снегом в нас кинула.

– Может быть, ты, Радда, кнута хочешь? – потянулся Данило к ней, а Зобар бросил наземь шапку да и говорит, весь черный, как земля:

– Стой, Данило! Горячему коню – стальные удила! Отдай мне дочку в жены!

– Вот сказал речь! – усмехнулся Данило. – Да возьми, коли можешь!

– Добро! – молвил Лойко и говорит Радде: – Ну, девушка, послушай меня немного да не кичись! Много я вашей сестры видел, эге, много! А ни одна не тронула моего сердца так, как ты. Эх, Радда, полонила ты мою душу! Ну что ж? Чему быть, так то и будет, и... нет такого коня, на котором от самого себя ускакать можно б было!.. Беру тебя в жены перед богом, своей честью, твоим отцом и всеми этими людьми. Но смотри, воле моей не перечь – я свободный человек и буду жить так, как я хочу! – И подошел к ней, стиснув зубы, сверкая глазами. Смотрим мы, протянул он ей руку, – вот, думаем, и надела узду на степного коня Радда! Вдруг видим, взмахнул он руками и оземь затылком – грох!..

Что за диво? Точно пуля ударила в сердце малого. А это Радда захлестнула ему ременное кнутовище за ноги да и дернула к себе, – вот отчего упал Лойко.

И снова уж лежит девка не шевелясь да усмехается молча. Мы смотрим, что будет, а Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. А потом встал тихо да и пошел в степь, ни на кого не глядя, Нур шепнул мне: „Смотри за ним!“

И пополз я за Зобаром по степи в темноте ночной. Так-то, сокол!»

Макар выколотил пепел из трубки и снова стал набивать ее. Я закутался плотнее в шинель и, лежа, смотрел в его старое лицо, черное от загара и ветра. Он, сурово и строго качая головой, что-то шептал про себя; седые усы шевелились, и ветер трепал ему волосы на голове. Он был похож на старый дуб, обожженный молнией, но всё еще мощный, крепкий и гордый силой своей. Море шепталось по-прежнему с берегом, и ветер всё так же носил его шёпот по степи. Нонка уже не пела, а собравшиеся на небе тучи сделали осеннюю ночь еще темней.

«Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети, и, придя в балку к ручью, сел на камень и охнул. Так охнул, что у меня сердце кровью облилось от жалости, но всё ж не подошел к нему. Словом горю не поможешь – верно?! То-то! Час он сидит, другой сидит и третий не шелохнется – сидит.

И я лежу неподалеку. Ночь светлая, месяц серебром всю степь залил, и далеко всё видно.

Вдруг вижу: от табора спешно Радда идет.

Весело мне стало! „Эх, важно! – думаю, – удалая девка Радда!“ Вот она подошла к нему, он и не слышит. Положила ему руку на плечо; вздрогнул Лойко, разжал руки и поднял голову. И как вскочит, да за нож! Ух, порежет девку, вижу я, и уж хотел, крикнув до табора, побежать к ним, вдруг слышу:

– Брось! Голову разобью! – Смотрю: у Радды в руке пистоль, и она в лоб Зобару целит. Вот сатана девка! А ну, думаю, они теперь равны по силе, что будет дальше?

– Слушай! – Радда заткнула за пояс пистоль и говорит Зобару: – Я не убить тебя пришла, а мириться, бросай нож! – Тот бросил и хмуро смотрит ей в очи. Дивно это было, брат! Стоят два человека и зверями смотрят друг на друга, а оба такие хорошие, удалые люди. Смотрит на них ясный месяц да я – и всё тут.

– Ну, слушай меня, Лойко: я тебя люблю! – говорит Радда. Тот только плечами повел, точно связанный по рукам и ногам.

– Видала я молодцов, а ты удалей и краше их душой и лицом. Каждый из них усы себе бы сбрил – моргни я ему глазом, все они пали бы мне в ноги, захоти я того.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Но что толку? Они и так не больно-то удалы, а я бы их всех обабила. Мало осталось на свете удалых цыган, мало, Лойко. Никогда я никого не любила, Лойко, а тебя люблю. А еще я люблю волю! Волю-то, Лойко, я люблю больше, чем тебя. А без тебя мне не жить, как не жить и тебе без меня. Так вот я хочу, чтоб ты был моим и душой и телом, слышишь? – Тот усмехнулся.

– Слышу! Весело сердцу слушать твою речь! Ну ка, скажи еще!

– А еще вот что, Лойко: всё равно, как ты ни вертись, я тебя одолею, моим будешь. Так не теряй же даром времени – впереди тебя ждут мои поцелуи да ласки... крепко целовать я тебя буду, Лойко! Под поцелуй мой забудешь ты свою удалую жизнь... и живые песни твои, что так радуют молодцов-цыган, не зазвучат по степям больше – петь ты будешь любовные, нежные песни мне, Радде... Так не теряй даром времени, – сказала я это, значит, ты завтра покоришься мне как старшему товарищу юнаку. Поклонишься мне в ноги перед всем табором и поцелуешь правую руку мою – и тогда я буду твоей женой.

Вот чего захотела чёртова девка! Этого и слыхом не слыхано было; только в старину у черногорцев так было, говорили старики, а у цыган – никогда! Ну-ка, сокол, выдумай что ни то посмешнее? Год поломаешь голову, не выдумашь!

Прянул в сторону Лойко и крикнул на всю степь, как раненный в грудь. Дрогнула Радда, но не выдала себя.

– Ну, так прощай до завтра, а завтра ты сделаешь, что я велела тебе. Слышишь, Лойко?

– Слышу! Сделаю, – застонал Зобар и протянул к ней руки. Она и не оглянулась на него, а он зашатался, как сломанное ветром дерево, и пал на землю, рыдая и смеясь.

Вот как замаяла молодца проклятая Радда. Насилу я привел его в себя.

Эхе! Какому дьяволу нужно, чтобы люди горе горевали? Кто это любит слушать, как стонет, разрываясь от горя, человеческое сердце? Вот и думай тут!..

Воротился я в табор и рассказал о всем старикам. Подумали и решили подождать да посмотреть – что будет из этого. А было вот что. Когда собрались все мы вечером вокруг костра, пришел и Лойко. Был он смутен и похудел за ночь страшно, глаза ввалились; он опустил их и, не подымая, сказал нам:

– Вот какое дело, товарищи: смотрел в свое сердце этой ночью и не нашел места в нем старой вольной жизни моей. Радда там живет только – и всё тут! Вот она, красавица Радда, улыбается, как царица! Она любит свою волю больше меня, а я ее люблю больше своей воли, и решил я Радде поклониться в ноги, так она велела, чтоб все видели, как ее красота покорила удалого Лойко Зобара, который до нее играл с девушками, как кречет с утками. А потом она станет моей женой и будет ласкать и целовать меня, так что уже мне и песен петь вам не захочется, и воли моей я не пожалею! Так ли, Радда? – Он поднял глаза и сумно посмотрел на нее. Она молча и строго кивнула головой и рукой указала себе на ноги. А мы смотрели и ничего не понимали. Даже уйти куда-то хотелось, лишь бы не видеть, как Лойко Зобар упадет в ноги девке – пусть эта девка и Радда. Стыдно было чего-то, и жалко, и грустно.

– Ну! – крикнула Радда Зобару.

– Эге, не торопись, успеешь, надоест еще... – засмеялся он. Точно сталь зазвенела, – засмеялся.

– Так вот и всё дело, товарищи! Что остается? А остается попробовать, такое ли у Радды моей крепкое сердце, каким она мне его показывала. Попробую же, – простите меня, братцы!

Мы и догадаться еще не успели, что хочет делать Зобар, а уж Радда лежала на земле, и в груди у нее по рукоять торчал кривой нож Зобара. Оцепенели мы.

А Радда вырвала нож, бросила его в сторону и, зажав рану прядью своих черных волос, улыбаясь, сказала громко и внятно:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Прощай, Лойко! Я знала, что ты так сделаешь!.. – да и умерла..

Понял ли девку, сокол?! Вот какая, будь я проклят на веки вечные, дьявольская девка была!

– Эх, да и поклонюсь же я тебе в ноги, королева гордая! – на всю степь гаркнул Лойко да, бросившись наземь, прильнул устами к ногам мертвой Радды и замер. Мы сняли шапки и стояли молча.

Что скажешь в таком деле, сокол? То-то! Нур сказал было: „Надо связать его!..“ Не поднялись бы руки вязать Лойко Зобара, ни у кого не поднялись бы, и Нур знал это. Махнул он рукой да и отошел в сторону. А Данило поднял нож, брошенный в сторону Раддой, и долго смотрел на него, шевеля седыми усами, на том ноже еще не застыла кровь Радды, и был он такой кривой и острый. А потом подошел Данило к Зобару и сунул ему нож в спину как раз против сердца. Тоже отцом был Радде старый солдат Данило!

– Вот так! – повернувшись к Даниле, ясно сказал Лойко и ушел догонять Радду.

А мы смотрели. Лежала Радда, прижав к груди руку с прядью волос, и открытые глаза ее были в голубом небе, а у ног ее раскинулся удалой Лойко Зобар. На лицо его пали кудри, и не видно было его лица.

Стояли мы и думали. Дрожали усы у старого Данилы, и насупились густые брови его. Он глядел в небо и молчал, а Нур, седой как лунь, лег вниз лицом на землю и заплакал так, что ходуном заходили его стариковские плечи.

Было тут над чем плакать, сокол!

..Идешь ты, ну и иди своим путем, не сворачивая в сторону. Прямо и иди. Может, и не загинешь даром. Вот и всё, сокол!»

Макар замолчал и, спрятав в кисет трубку, запахнул на груди чекмень. Накрапывал дождь, ветер стал сильнее, море рокотало глухо и сердито. Один за другим к угасающему костру подходили кони и, осмотрев нас большими умными глазами, неподвижно останавливались, окружая нас плотным кольцом.

– Гоп, гоп, эгой! – крикнул им ласково Макар и, похлопав ладонью шею своего любимого вороного коня, сказал, обращаясь ко мне: – Спать пора! – Потом завернулся с головой в чекмень и, могуче вытянувшись на земле, умолк.

Мне не хотелось спать. Я смотрел во тьму степи, и в воздухе перед моими глазами плавала царственно красивая и гордая фигура Радды. Она прижала руку с прядью черных волос к ране на груди, и сквозь ее смуглые, тонкие пальцы сочилась капля по капле кровь, падая на землю огненно-красными звездочками.

А за нею по пятам плыл удалой молодец Лойко Зобар; его лицо завесили пряди густых черных кудрей, и из-под них капали частые, холодные и крупные слезы..

Усиливался дождь, и море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре красавцев-цыган – Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата Данилы.

А они оба кружились во тьме ночи плавно и безмолвно, и никак не мог красавец Лойко поравняться с гордой Раддой.

1892

Старуха Изергиль

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развеивал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

Кто-то играл на скрипке... девушка пела мягким контральто, слышался смех...

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Всё это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны... Боятся тебя наши девушки... А ведь ты молодой и сильный...

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрее и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране! Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосяю и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И, когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них...

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И, хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё обильнее лил на степь голубоватую мглу...

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления... Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы...

– Ты слышал... – сказал мудрец.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь ведь... Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем...

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она... А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги... а владеет он животными, женщинами, землей... и многим еще...

Ему сказали на это, что за всё, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидели это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись.

А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком... А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, поднимая камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, поднимая потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И всё ищет, ходит, ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди людей... Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впереди его... – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами...

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слышал. Никогда не слышал...

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье... – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

– Я жила с матерью под фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидел меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре дня дала уже и всю себя... Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он придет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про всё и побила меня, уговаривал всё меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда – только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут... Так вот тем – весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, – и вдруг он один, а то

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые – легко же ведь доставалось всё им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забыла как... Всё стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, всё забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весь рыжий – и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той поры у него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...

– А рыбак куда девался? – спросил я.

– Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала всё уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел... Их обоих и повесили вместе – и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидел меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

– Это ты сделала? – наудачу спросил я.

– Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки...

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Всё мягче становилась ночь, и всё больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возрастающим шорохом волн... ибо усиливался ветер.

– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, – ничего... Но скучно стало... – всё женщины, женщины... Восемь было их у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются, квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как владыка... Глаза были черные... Прямые глаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидела... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» – «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был – черненький мальчик, гибкий такой... Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего – уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька... и к ней из монастыря другого – около Арцер-Паланки, помню, – ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, всё извивался предо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.

– погоди! А где маленький турок?

– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца... так и сох всё... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а всё еще в нем горит любовь... И всё просит наклониться и поцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный... мертвый... Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная... а он – что же?... Мальчик!..

Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

– Ну, отправилась ты в Польшу... – подсказал я ей.

– Да... с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, – он был маленький, – подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, всё равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на всё смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный... И все они – только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Она продолжала:

– В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Всё шипят... Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить – надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стучали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот – как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хоть он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Всё лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены... Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно... О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

– Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, – зимой это было, – и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь – не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать – не меньше... Что я говорила? О Польше... Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича... Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было... А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал... да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не дала. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему... И уже в Кракове жила. Тогда у меня всё было: и лошади, и золото, и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
слуги... Он ходил ко мне, гордый демон, и всё хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним... Я даже, – помню, – дурнела от этого. Долго это тянулось... Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня... Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара... Ох, это было мне несладко! Вот уж несладко!.. Я ведь любила его, этого черта... а он, встречаясь со мной, смеялся... подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать... И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши... и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, – подумала я, – не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидеть... Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты... дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. А вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге... А уж слышно мне – поют поляки и говорят громко. Поют песню одну... к матери бога... И тот там же поет... Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали... а вот оно, пришло время – и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом. «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя...» Он опустил ружье и также шепотом говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт... «Ты понимаешь, солдат, – сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня – у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро... и, может, тебя завтра убьют... будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжело будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжело же. Пожалей же себя и его, и меня – мать!»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом... А он всё говорил – «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка... Я говорила и мерила глазами солдата – он был маленький, сухой и всё кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, всё спрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только всё барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся... Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» – шептала я в щели стене. Они догадливые, эти поляки, – и, услышав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» – «Да, через пол!» – сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» – спросил Аркадэк. «Вон лежит!» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты – хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я всё слушала и смотрела на своего пана. Что же он делает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно... Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня... И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной... Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них... Мне тогда стало – помню – только скучно очень, и такая лень напала на меня... Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня. «Ты воротись туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла... А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели... Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу... Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там всё было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

– Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все... И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была... Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше... Да!..»

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то... может быть, молилась.

С моря поднималась туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака... Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова... На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.

– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.

– Голубые? Да, это они... Значит, летают все-таки! Ну-ну... Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

– Откуда эти искры? – спросил я старуху. Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце, которое однажды вспыхнуло огнем... И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это... Тоже старая сказка. Старое, всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину... Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь... Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся... А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого... Я не вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, – там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота... Люди всё сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум... Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче... Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни... Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди...

«Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

– Не своротить камня с пути думаю. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – всё на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

– Веди ты нас! – сказали они.

Тогда он повел...»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они... Всё гуще становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гнев обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утопил, и за это ты погибнешь!

– Вы сказали: „Веди!“ – и я повел! – крикнул Данко, становясь против них грудью.
– Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они.

А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня... А они, увидав это, подумали, что он расสวิрепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь...

– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была – там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река... Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой... И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло...»

– Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал:

«Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?» И думал о великом

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.maxim.ru
горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и
сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей
всё крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было
тихо и темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно... Море шумело глухо и
печально.

1895

Челкаш

Потемневшее от пыли голубое южное небо – мутно; жаркое солнце смотрит в
зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в
воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких
фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные
в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам,
бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным
хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический
воплъ железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук
дерева, дребезжание извозчицких телег, свистки паровых судов, то пронзительно
резкие, то глухо ревушие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат – все
эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь,
стоят низко в небе над гаванью, – к ним вздымаются с земли всё новые и новые
волны звуков – то глухие, рокошующие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие,
гремящие, – рвут пыльный знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди – всё дышит мощными звуками
страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И
сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные,
оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо
бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по
сравнению с окружающими их железными колоссами, грудями товаров, гремящими
вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в
каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным
фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами
своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на
плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы
заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные,
отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце
дородством машины, созданные этими людьми, – машины, которые в конце концов
приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, –
в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум – подавлял, пыль, раздражая ноздри, – слепила глаза, зной – пек тело и
изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым
разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном
им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот
пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства,
исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный
звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она
превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали
слышней. Это – наступило время обеда.

I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая
себе у торговцев разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в
тенистых уголках, – появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо
знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в
старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубашке с
разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые
коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому,
хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него
торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

- Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.
- Ну? – спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.
- Чего – ну? Ищут, мол. Больше ничего.
- Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

- Пошел к черту!

Товарищ повернул назад.

- Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

- Давно не видал! – крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

- Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

- Сказано тебе – в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? – грозно кричал сторож.

- Здравствуй, Семеныч! Мы с тобой давно не видались, – спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

- Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

- Вот что скажи, – продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, – ты Мишку не видал?

- Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», – стоял на своем Челкаш.

– С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли. Мишку твоего, ногу отдало чугушной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

– Ага, ишь ты! а ты говоришь – не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

– Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно поглядывал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

– Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки – здоровы? – И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: – В гости к тебе собираюсь, да все времени нет – пью все вот...

– Ну, ну, – ты это брось! Ты, – не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

– Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

– Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! – крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

– Я – босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, – ответил Челкаш.

Подшли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной суতোлке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, – он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубашке, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Парень, сначала недоумевающая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» – и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

– Что, брат, погулял, видно, здорово!.. – обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

– Было дело, сосунок, было этакое дело! – улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. – С Косовицы, что ли?

– Как же!.. Косили версту – выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду – уйма! Голодающий этот самый приплелся, – цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

– Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу – русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и – получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

– Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

– Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

– Поди ты!.. – махнул рукой парень. – Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

– Я-то? – переспросил Челкаш и, подумав, сказал: – Рыбак я...

– Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

– Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда – все! Удочки такие есть для этого...

– Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети

По сухим берегам

Да по амбарам, по клетям!..

– А ты видал таких? – спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

– Нет, видать где же! Слышал...

– Нравятся?

– Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

– А что тебе – свобода?.. Ты разве любишь свободу?

– Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел – куда хошь, делай – что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, – первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

– Сейчас вот мое дело... – говорит тот. – Отец у меня – умер, хозяйство – малое, мать-старуха, земля высосана, – что я должен делать? Жить – надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь – тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! – Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заработать, сейчас бы я на ноги встал и – Антипу-то – накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! – Парень вздохнул. – А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, – шабаш!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkijmaxim.ru
барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь
я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он
тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

– Теперь куда ж ты?

– Да ведь – куда? известно, домой.

– Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

– В Ту-урцию!.. – протянул парень. – Кто ж это туда ходит из православных?
Сказал тоже!..

– Экой ты дурак! – вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем
этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и
мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые
взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то
чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с
этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на
тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

– Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? – начал было он, но в этот же момент
рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

– Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

– Чего работать? – недоверчиво спросил парень.

– Ну, чего!.. Чего заставлю.. Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

– Так... что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой.
Больно ты закомурист... темен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса
проговорил:

– А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в
ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый,
жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с
земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

– Ну? – сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного
ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а
теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое
загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню,
дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик, – за всю его
жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению
с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не
нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже
себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на
тебя.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

– Ведь я... не прочь... – заговорил он. – Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, – больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. Да еще не таких, как ты.

– Ну, ладно, ладно! Согласен? – уже мягче переспросил Челкаш.

– Я-то? Айда!.. С моим удовольствием! Говори цену.

– Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

– Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

– Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш – с важной миной хозяина, покручивая усы, парень – с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

– А как тебя звать? – спросил Челкаш.

– Гаврилом! – ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегда заказал бутылку водки, шей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

– Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему хотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который – славный человек! – так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

- Наклюкался!.. Э-эх, тюря! С пяти рюмок!.. Как работать-то будешь?..
- Друг!.. – лепетал Гаврила. – Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..
- Ну, ну!.. На, еще клюнки!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал, Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

- Ну-ка, идем! – сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.
- Развезло! – молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно – нечто отеческое и хозяйственное. Мало было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

II

- Ну, готов? – вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.
- Сейчас! Уключина вот шатается – можно разок вдарить веслом?
- Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

- Едем! – сказал Гаврила, спуская весла в воду.
- Есть! – Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, – длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.
- Ну, что голова? болит? – ласково спросил Челкаш.
- Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.
- Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, – и он протянул

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Гавриле бутылку.

– Ой ли? Господи благослови!.. Послышалось тихое бульканье.

– Эй ты! рад?.. Будет! – остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов.. Вдруг она вырвалась из их толпы, и море – бесконечное, могучее – развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков – лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые.. Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блеснуть над сонным морем миллионами своих золотых очей – разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

– Хорошо море? – спросил Челкаш.

– Ничего! Только боязно в нем, – ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

– Боязно! Экая дура!.. – насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желанием ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, – охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют – первые – остроту, вторая – цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты..

– А снасть-то где? – вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

– Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

– Ты вот что – сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

– Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая волну.

– Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

– Кто кричит? – раздался с моря суровый окрик.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Ну, дьявол, гребни же!.. Тише!.. убью, собаку!.. Ну же, гребни!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. – шипел Челкаш.

– Богородице... дево... – шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

– Эй! кто орет? – донеслось снова. Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

– Сам ты и орешь! – сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

– Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами – конец тебе. Чувешь? Я бы тебя сразу – к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

– Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропадут ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

– Какие дела? – сурово спросил Челкаш. – А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

– Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?... а?... Милый...

– Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? – ну и молчи!

– Господи! – вздохнул Гаврила.

– Ну-ну!.. куксись у меня! – оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертеться в узких полосах воды между бортами.

– Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем – молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

– Эхма!.. – безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: – Судьбина моя пропащая!

– Не ной! – внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

– Стой! – шепнул Челкаш. – Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наростам на камне слизи.

– Стой! Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь – на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, – какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом: он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась все зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет..

– Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. – раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

– Устал? – спросил он.

– Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там – получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

– Н-нету! – Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

– Эй! – усмехаясь, тихо заговорил он. – Что, здорово ты перепугался? а?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
– Н-ничего!.. – выдохнул Гаврила и крикнул.

– Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка.

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

– Ну, гребите тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат, тут народы серьезные... Как раз из ружья пошालить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море – тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

– Эх, кабы дождь пошел! – прошептал Челкаш. – Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания – баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

– Кордоны!.. – чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, – кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломало от напряженного рассматриванья тьмы, из которой – он ждал – вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, – он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, – но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, – поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевающая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

– Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну...

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

– Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gor.ki.umaxim.ru
Ну? Харя!.. фонарь – только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут – далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... – Челкаш торжественно оглянулся кругом. – Конечно, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем – он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядываясь кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

– Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как – точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

– Я слышу, – тихо сказал он.

– То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я – на весла, устал, походи!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

– Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

– Мне – ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, – и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

– Ну, скажи мне, – заговорил Челкаш, – придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

– Какой уж смак! – робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

– Правее держи! – сказал Челкаш. – Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна – и полтысячи я тяпнул!

– Полтысячи?! – недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: – А это что же будет за вещь?

– Это – дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
я не дорожусь... Ловко?

– Н-да-а?.. – вопросительно протянул Гаврила. – Кабы мне так-то вот! – вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... – Эх, важно бы!.. – грустно вздохнул он.

– Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил – ну, для дома денег, положим, маловато...

– Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

– Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

– Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

– Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову... Овец... Птицы разной... А?

– Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

– Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе... Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богачей в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыбалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, – он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

– Главное в крестьянской жизни – это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом – грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя – и того ее горсть, да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к себе... Так ли? – воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

– Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие – самолюбие бесшабашного удальца – бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

– Замолот!.. – сказал он свирепо, – ты, может, думал, что я все это всерьез... Держи карман шире!

– Да чудак-человек!.. – снова оробел Гаврила. – Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, – много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих...

– Садись, тюлень, в весла! – кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменялись местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца – рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем.. Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда..

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими.. Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

– Эй! а куда же мы едем? – спросил вдруг Гаврила.

Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

– Ишь, черт занес!.. Гребни-ка погуще..

– Задумался? – улыбаясь, спросил Гаврила.

– Устал..

– Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? – Гаврила ткнул ногой в тюки.

– Нет.. Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу.. Н-да!

– Пять сотен!

– Не меньше.

– Это тово – сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

– По крестьянству?

– Никак больше! Сейчас бы..

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, ступенчатое приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

– Стой! Тише! – скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

– Спят, что ли, черти?.. – ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. – Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

– Селкаш это? – раздалось сверху ласковое мурлыканье.

– Ну, спускай трап!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Калимера, Селкаш!

– Спускай трап, копченый дьявол! – взревел Челкаш.

– О, сердитый пришел сегодня... Элоу!

– Лезь, Гаврила! – обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

– Припаси к утру деньги, – коротко сказал ему Челкаш. – А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

– Спать бы... – ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игрившей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

– Эй, теленок, вставай!.. – толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

– Ишь ты какой!.. – широко улыбнулся наконец Гаврила. – Баринком стал!

– У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

– Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

– Ну, а еще раз поехал бы? а?

– Еще?.. Да ведь это – как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

– Ну ежели бы две радужных?

– Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

– Стой! А как душу-то загубишь?..

– Да ведь, может... и не загубишь! – улыбнулся Гаврила. – Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

– Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево – целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокошущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

– Эх, разыграется к вечеру-то добре! – кивнул Челкаш головой на море.

– Буря? – спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

– Эге!.. – подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

– Ну, сколько ж тебе дали? – спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

– Вот! – сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидел пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

– Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это – сколько?

– Пятьсот сорок!

– Л-ловко!.. – прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. – Э-э-ма!.. Кабы этикие деньги!.. – И он угнетенно вздохнул.

– Гульнем мы с тобой, парнюга! – с восхищением вскрикнул Челкаш. – Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделию.. Сорок отделию! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

– Коли не обидно тебе – что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

– Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

– А жаден ты!.. Нехорошо.. Впрочем, что же?.. Крестьянин... – задумчиво сказал Челкаш.

– Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. – воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

– Приехали! – прервал он речь Гаврилы.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

– Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой – прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

– Нет... я... не пойду... я... – Гаврила задышался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

– Что это тебя корчит? – спросил он.

– Так... – Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

– Ну тя к черту! – махнул рукой Челкаш. – Влюбился ты в меня, что ли? мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

– Уходишь?! – звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

– Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе? Ведь в одну ночь – только в ночь... А мне – года нужны... Дай – молиться за тебя буду! Вечно – в трех церквах – о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы – в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна – и богат! Сделай доброе дело! Пропаший ведь ты... Нет тебе пути ... А я бы – ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно тарачил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

– На! Жри... – крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

– Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь – нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

– Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. – визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. – Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу – молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он – вор, гуляка, оторванный от всего родного – никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободой,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

– Осчастливил ты меня! – кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

– Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его – тебя – веслом... рраз!.. денежки – себе, его – в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться – как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

– Дай сюда деньги!.. – рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два, – другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи – и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалил зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

– Что, счастлив ты? – сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

– Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды – сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

– Брат, встань-кось! – шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

– Поди прочь!..

– Брат! Прости!.. дьявол это меня... – дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

– Иди... Ступай... – хрипел тот.

– Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

– Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу! – вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. – Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел! – и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

– Тьфу! – плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

– Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
– Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. – презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. – Деньги взял? – сквозь зубы процедил он.

– Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

– Возьми и ступай!

– Не возьму, брат... Не могу! Прости!

– Бери, говорю!.. – взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

– Прости!.. Тогда возьму... – робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

– Врешь, возьмешь, гнус! – уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

– Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

– Брат! а простишь меня? Не хошь? а? – слезливо спросил он.

– Родимой!.. – в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. – За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

– Эх, брат, брат!.. – скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно. Два человека помолчали.

– Ну, прощай! – насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

– Прости, брат!.. – еще раз попросил Гаврила.

– Ничего! – холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

1894

Коновалов

Рассеянно пробегая глазами газетный лист, я встретил фамилию – Коновалов и, заинтересованный ею, прочитал следующее:

«Вчера ночью, в 3-й камере местного тюремного замка, повесился на отдушине печи мещанин города Мурома Александр Иванович Коновалов, 40 лет. Самоубийца был арестован в Пскове за бродяжничество и пересылался этапным порядком на родину. По отзыву тюремного начальства, это был человек всегда тихий, молчаливый и задумчивый. Причиной, побудившей Коновалова к самоубийству, как заключил тюремный доктор, следует считать меланхолию».

Я прочитал эту краткую заметку и подумал, что мне, может быть, удастся несколько яснее осветить причину, побудившую этого задумчивого человека уйти из жизни, – я знал его. Пожалуй, я даже и не вправе промолчать о нем: это был славный малый, а их не часто встречаешь на жизненном пути.

...Мне было восемнадцать лет, когда я встретил Коновалова. В то время я работал в хлебопекарне как «подручный» пекаря. Пекарь был солдат из «музыкальной команды», он страшно пил водку, часто портил тесто и, пьяный, любил наигрывать на губах и выбивать пальцами на чем попало различные пьесы. Когда хозяин пекарни делал ему внушения за испорченный или опоздавший к утру товар, он бесился, ругал хозяина беспощадно и при этом всегда указывал ему на свой музыкальный талант.

– Передержал тесто! – кричал он, оттопыривая свои рыжие длинные усы, шлепая губами, толстыми и всегда почему-то мокрыми. – Корка сгорела! Хлеб сырой! Ах ты, черт тебя возьми, косоглазая кикимора! Да разве я для этой работы родился на свет? Будь ты анафема с твоей работой, я – музыкант! Понял? Я – бывало, альт запьет – на альте играю; гобой под арестом – в гобой дую; корнет-а-пистон хворает – кто его может заменить? Я! Тим-тар-рам-да-дди! А ты – м-мужик, кацап! Давай расчет.

А хозяин, сырой и пухлый человек, с разноцветными глазами и женоподобным лицом, колыхая животом, топал по полу короткими толстыми ногами и визгливым голосом вопил:

– Губитель! Разоритель! Христопродавец Иуда! – Растопырив короткие пальцы, он воздевал руки к небу и вдруг громко, голосом, резавшим уши, возглашал: – А ежели я тебя за бунт в полицию?

– Слугу царя и отечества в полицию? – ревел солдат и уже лез на хозяина с кулаками. Тот уходил, отплевываясь и взволнованно сопя. Это всё, что он мог сделать, – было лето, время, когда в приволжском городе трудно найти хорошего пекаря.

Такие сцены разыгрывались почти ежедневно. Солдат пил, портил тесто и играл разные марши и вальсы или «нумера», как он говорил, хозяин скрежетал зубами, а мне в силу этого приходилось работать за двоих.

И я был весьма обрадован, когда однажды между хозяином и солдатом разыгралась такая сцена.

– Ну, солдат, – сказал хозяин, появляясь в пекарне с лицом сияющим и довольным и с глазками, сверкавшими ехидной улыбкой, – ну, солдат, оттопыривай губы и играй походный марш!

– Чего еще?! – мрачно сказал солдат, лежавший на ларе с тестом и, по обыкновению, полупьяный.

– В поход собирайся! – ликовал хозяин.

– Куда? – спросил солдат, спуская с ларя ноги и чувствуя что-то недоброе.

– Куда хочешь...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Это как понимать? – запальчиво крикнул солдат.

– А так и понимай, что больше я тебя держать не стану. Получи расчет и на все четыре стороны – марш!

Солдат привык чувствовать свою силу и безвыходность положения хозяина, заявление последнего несколько отрезвило его: он понимал, как трудно ему с его плохим знанием ремесла найти себе место.

– Ну, это ты врешь!.. – с тревогой сказал он, вставая на ноги.

– Иди-ка, иди...

– Идти?

– Проваливай.

– Нароботался, значит... – с горечью мотнул головой солдат. – Пососал ты из меня крови, высосал и вон меня. Ловко! Ах ты – паук!

– Я паук? – вскипел хозяин.

– Ты! кровососец паук – вот как! – убедительно сказал солдат и, пошатываясь, пошел к двери.

Хозяин ехидно смеялся вслед ему, и его глазки радостно сверкали.

– Поди-ка вот теперь поступи на место к кому-нибудь! Н-да. Я тебя, голубчика, везде так разрисовал, что, хоть ты даром просись, – не возьмут! Нигде не возьмут...

– Нового наняли? – спросил я.

– Новый-то – он старый. Моим подручным был. Ах, какой пекарь! Золото! Но тоже пьяница, и-их! Только он запоем тянет... Вот он придет, возьмется за работу и месяца три-четыре учнет ломить, как медведь! Сна, покоя не знает, за ценой не стоит. Работает и поет! Так он, братец ты мой, поет, что даже слушать невозможно – тягостно делается на сердце. Поет, поет, потом учнет снова пить!

Хозяин вздохнул и безнадежно махнул рукой.

– И когда он запьет – нет ему тут никакого удержу. Пьет до тех пор, пока не захворает или не пропьется догола... Тогда стыдно ему бывает, что ли, он пропадает куда-то, как нечистый дух от ладана. А вот и он... Совсем пришел. Лё са?

– Совсем, – отвечал с порога глубокий, грудной голос.

Там, прислонясь плечом к косяку двери, стоял высокий плечистый мужчина лет тридцати. По костюму это был типичный босьяк, по лицу – настоящий славянин. На нем красная кумачовая рубаха, невероятно грязная и рваная, холщовые широкие шаровары, на одной ноге остатки резинового ботика, на другой – кожаный опорок. Светло-русые волосы на голове были спутаны, и в них торчали щепочки, соломинки; всё это было и в его русой бороде, точно веером закрывавшей ему грудь. Продолговатое, бледное, изнуренное лицо освещалось большими голубыми глазами, они смотрели ласково. Губы его, красивые, но немного бледные, тоже улыбались под русыми усами. Улыбка была такая, точно он хотел сказать виновато:

«Вот я какой... Не обессудьте».

– Проходи, Сашок, вот тебе подручный, – говорил хозяин, потирая руки и любовно оглядывая могучую фигуру нового пекаря. Тот молча шагнул вперед, протянул мне длинную руку с богатырски широкой кистью; мы поздоровались; он сел на скамью, вытянул вперед ноги, посмотрел на них и сказал хозяину:

– Ты мне, Василий Семеныч, купи две смены рубах да опорки... Холста на колпак.

– Всё будет, не бойсь! Колпаки у меня есть; рубахи и порты вечером будут. Знай работай пока что; я тебя знаю, кто ты есть. Не обижу... Коновалова никто не

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru обидит, потому – он сам никого не обижает. Разве хозяин – зверь? Я сам тоже работал, знаю, как редька слезы выжимает... Ну, оставайтесь, значит, ребяташки, а я пойду...

Мы остались одни.

Коновалов сидел на скамье и молча, улыбаясь, осматривался вокруг. Пекарня помещалась в подвале со сводчатым потолком, ее три окна были ниже уровня земли. Света мало, мало и воздуха, но зато много сырости, грязи и мучной пыли. У стен стояли длинные лари: один с тестом, другой еще только с опарой, третий пустой. На каждый ларь ложилась из окна тусклая полоса света. Громадная печь занимала почти треть пекарни; около нее на грязном полу лежали мешки муки. В печи жарко горели длинные плахи дров, и отраженное на серой стене пекарни пламя их колебалось и дрожало, точно беззвучно рассказывало о чем-то.

Сводчатый закопченный потолок давил своей тяжестью, от соединения дневного света с огнем печи образовалось неопределенное и утомлявшее глаза освещение.

В окна с улицы лился глухой шум и летела пыль. Коновалов осмотрел всё это, вздохнул и спросил скучным голосом:

– Давно здесь работаешь?

Я сказал. Помолчали, исподлобья осматривая друг друга.

– Экая тюрьма! – вздохнул он. – Пойдем на улицу к воротам, посидим?..

Мы вышли к воротам и сели на лавку.

– Здесь дышать можно. Я к пропасти этой сразу не привыкну, – не могу. Сам посуди, от моря я пришел... в Каспии на ватагах работал... и вдруг сразу с широты такой – бух в яму!

Он с печальной улыбкой посмотрел на меня и замолчал, пристально вглядываясь в прохожих и в проезжих. В его голубых, ясных глазах светилась печаль... Вечер наступал; на улице было душно, шумно, пыльно, от домов на дорогу ложились тени. Коновалов сидел, прислонившись спиной к стене, сложив руки на груди, перебирая пальцами шелковистые волосы своей бороды. Я сбоку смотрел на его овальное бледное лицо и думал: «Что это за человек?» Но не решался заговорить с ним, потому что он был моим начальником и потому еще, что он внушал мне странное уважение.

Лоб у него был разрезан тремя тонкими морщинками, но по временам они разглаживались и исчезали, и мне очень хотелось знать, о чем думает этот человек...

– Пойдем-ка, пора. Ты меси вторую, а я тем временем поставлю третью.

Развесив одну гору теста, замесив другую, мы сели пить чай; Коновалов сунул руку за пазуху и спросил меня:

– Ты читать умеешь? На-ка вот, почитай, – и подал мне смятый, запачканный листик бумаги.

«Дорогой Саша! – читал я. – Кланяюсь и целую тебя заочно. Плохо мне и очень скучно живется, не могу дождаться того дня, когда я уеду с тобой или буду жить вместе с тобой; надоела мне эта жизнь проклятая невозможно, хотя вначале и нравилась. Ты сам это хорошо понимаешь, я тоже стала понимать, как познакомилась с тобой. Напиши мне, пожалуйста, поскорее; очень мне хочется получить от тебя письмо. А пока до свиданья, а не прощай, мой милый, бородатый друг моей души. Упреков я тебе никаких не пишу, хоша я тобой и разогорчена, потому что ты свинья – уехал, со мной не простился. Но всё же ничего я от тебя, кроме хорошего, не видела: ты был один еще первый такой, и я про это не забуду. Нельзя ли постараться, Саша, о моей выключке? Тебе девицы говорили, что я убегу от тебя, если буду выключена; но это всё вздор и чистая неправда. Если бы ты только сжалился надо мной, то я после выключки стала бы с тобой, как собака твоя. Тебе ведь легко это сделать, а мне очень трудно. Когда ты был у меня, я плакала, что

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
принуждена так жить, хотя я тебе этого не сказала. До свиданья.

Твоя Капитолина».

Коновалов взял у меня письмо и задумчиво стал вертеть его между пальцами одной руки, другою покручивая бороду.

– А писать ты умеешь?

– Могу...

– А чернила у тебя есть?

– Есть.

– Напиши ты ей письмо, а? Она, чай, поди, мерзавцем меня считает, думает – я про нее забыл... Напиши!

– Изволь. Она кто?..

– Проститутка... Видишь – о выключке пишет. Это значит, чтобы я полиции дал обещание, что женюсь на ней, тогда ей возвратят паспорт, а книжку у нее отберут, и будет она с той поры свободная! Вник?

Через полчаса готово было трогательное послание к ней.

– Ну-ка почитай, как оно вышло? – с нетерпением спросил Коновалов.

Вышло вот как:

«Капа! Не думай про меня, что я подлец и забыл о тебе. Нет, я не забыл, а просто запил и весь пропился. Теперь снова поступил на место, завтра возьму у хозяина денег вперед, вышлю их на Филиппа, и он тебя выключит. Денег тебе на дорогу хватит. А пока – до свиданья.

Твой Александр».

– Гм... – сказал Коновалов, почесав голову, – а пишешь ты неважно. Жалости нет в письме у тебя, слезы нет. И опять же – я просил тебя ругать меня разными словами, а ты этого не написал...

– Да зачем это?

– А чтобы она видела, что мне перед ней стыдно и что я понимаю, как я перед ней виноват. А так что! Точно горох просыпал – написал! А ты слезу подпусти!

Пришлось подпустить в письмо слезу, что я с успехом и выполнил. Коновалов удовлетворился и, положив мне руку на плечо, задушевно проговорил:

– Вот теперь славно! Спасибо! Ты парень, видно, хороший, – мы с тобой уживемся.

Я не сомневался в этом и попросил его рассказать мне о Капитолине.

– Капитолина? Девочка она, – совсем дитя. Вятская, купеческая дочь была... Да вот свихнулась. Дальше – больше, и пошла в публичный дом... Я – смотрю, ребенок совсем! Господи, думаю, разве так можно? Ну, и познакомился с ней. Она – плакать. Я говорю: «Ничего, потерпи! Я те отсюда вытащу – погоди!» И всё у меня было готово, деньги и всё... И вдруг я запил и очутился в Астрахани. Потом вот сюда попал. Известил ее обо мне один человек, и она написала мне письмо.

– Что же ты, – спросил я его, – жениться хочешь на ней?

– Жениться, где мне! Ежели у меня запой – какой же я жених? Нет, так я это. Выключу ее – и потом иди на все четыре стороны. Место себе найдет – может, человеком будет.

– Она с тобой хочет жить...

– Да ведь это она блажит только. Они все такие... бабы... Я их очень хорошо знаю. У

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
меня много было разных. Даже купчиха одна... Конюхом я был в цирке, она меня и выглядела. «Иди, говорит, в кучера». Мне цирк в ту пору надоел, я и согласился, пошел. Ну и того... Стала она ко мне ластиться. Дом это у них, лошади, прислуга – как дворяне жили. Муж у нее был низенький и толстый, на манер нашего хозяина, а сама она такая худая, гибкая, как кошка, горячая. Бывало, как обнимет да поцелует в губы – как углей каленых в сердце всыплет. Так ты весь и задрожешь, даже страшно станет. Целует, бывало, а сама всё плачет: плечи у нее даже ходуном ходят. Спрошу ее: «Чего ты, Верунька?» А она: «Ребёнок, говорит, ты, Саша; не понимаешь ты ничего». Славная была... А это она верно, что я не понимаю-то ничего, – очень я дураковат, сам знаю. Что делаю – не понимаю. Как живу – не думаю!

И, замолчав, он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами; в них светился не то испуг, не то вопрос, что-то тревожное, от чего красивое лицо его стало еще печальнее и краше...

– Ну, и как же ты с купчихой-то кончил? – спросил я.

– А на меня, видишь ты, тоска находит. Такая, скажу я тебе, братец мой, тоска, что невозможно мне в ту пору жить, совсем нельзя. Как будто я один человек на всем свете и, кроме меня, нигде ничего живого нет. И всё мне в ту пору противеет – и сам я себе становлюсь в тягость, и все люди; хоть помирай они – не охну! Болезнь это у меня, должно быть. С нее я и пить начал... Так вот, я и говорю ей: «Вера Михайловна! отпусти меня, больше я не могу!» – «Что, говорит, надоела я тебе?» И смеется, знаешь, да таково нехорошо смеется. «Нет, мол, не ты мне надоела, а сам я себе не под силу стал». Сначала она не понимала меня, даже кричать стала, ругаться... Потом поняла. Опустила голову и говорит: «Что же, иди!..» Заплакала. Глаза у нее черные. Волосы тоже черные и кудрявые. Она не купеческого рода была, а из чиновных... Н-да... Жалко мне ее было, и противен я был сам себе тогда. Ей, конечно, скучно было с этаким-то мужем. Он совсем как мешок муки... Плакала она долго – привыкла ко мне... Я ее очень нежил: возьму, бывало, на руки и качаю. Она спит, а я сижу и смотрю на нее. Во сне человек очень хорош бывает, такой простой; дышит да улыбается, и больше ничего. А то – на даче когда жили, – бывало, поедем с ней кататься – во весь дух она любила. Приедем, куда ни то в уголок в лесу лошадь привяжем, а сами в холодок на траву. Она велит мне лечь, положит мою голову себе на колени и читает мне какую-нибудь книжку. Я слушаю, слушаю да и засну. Хорошие истории читала, очень хорошие. Никогда я не забуду одной – о немом Герасиме и его собаке. Он, немой-то, гонимый человек был, и никто его, кроме собаки, не любил. Смеются над ним и всё такое, он сейчас к собаке идет... Очень это жалостная история... А дело-то было в крепостное время... Барыня и говорит ему; «Немой, иди утопи свою собаку, а то она воет». Ну, немой пошел... Взял лодку, посадил в нее собаку и поехал... Я, бывало, в этом месте дрожью дрожу. Господи! У живого человека единственную в свете радость его убивают! Какие это порядки? Удивительная история! И верно – вот что хорошо! Бывают такие люди, что для них весь свет в одном в чем-нибудь – в собаке, к примеру. А почему в собаке? Потому больше никого нет, кто бы любил такого человека, а собака его любит. Без любви какой-нибудь – жить человеку невозможно: затем ему и душа дана, чтобы он мог любить... Много она мне разных историй читала. Славная была женщина, и посейчас жалко мне ее... Кабы не моя планета – не ушел бы я от нее, пока она сама того не захотела бы или муж не узнал про наши с ней дела. Ласковая она была – вот что первое, не тем ласковая, что подарки дарила, а так – по сердцу своему ласковая. Целуется она со мной и всё такое – женщина как женщина... а найдет, бывало, на нее этакий тихий стих... удивительно даже, до чего она тогда хороший человек была. Смотрит, бывало, прямо в душу и рассказывает, как нянька или мать. Я в такие времена, бывало, прямо как пятилетний ребенок перед ней. Но все-таки ушел от нее – тоска! Тянет меня куда-то... «Прощай, говорю, Вера Михайловна, прости меня». – «Прощай, говорит, Саша». И – чудная – обнажила мне руку по локоть да как вцепится зубами в мясо! Я чуть не заорал! Так целый кусок и выхватила почти... недели три болела рука. Вот и сейчас знак цел.

Обнажив мускулистую руку, белую и красивую, он показал мне ее, улыбаясь добродушно-печальной улыбкой. На коже руки около локтевого сгиба был ясно виден шрам – два полукруга, почти соединявшиеся концами. Коновалов смотрел на них и, улыбаясь, качал головой.

– Чудачка! Это она на память куснула.

Я слышал и раньше истории в этом духе. Почти у каждого босяка есть в прошлом «купчиха» или «одна барыня из благородных», и у всех босяков эта купчиха и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
барыня от бесчисленных вариаций в рассказах о ней является фигурой совершенно фантастической, странно соединяя в себе самые противоположные физические и психические черты. Если она сегодня голубоглазая, злая и веселая, то можно ожидать, что чрез неделю вы услышите о ней как о черноокой, доброй и слезливой. И обыкновенно босяк рассказывает о ней в скептическом тоне, с массой подробностей, которые унижают ее.

Но в истории, рассказанной Коноваловым, звучало что-то правдивое, в ней были незнакомые мне черты – чтения книжек, эпитет ребенка в приложении к мощной фигуре Коновалова...

Я представил себе гибкую женщину, спящую у него на руках, прильнув головой к широкой груди, – это было красиво и еще более убедило меня в правде его рассказа. Наконец, его печальный и мягкий тон при воспоминании о «купчихе» – тон исключительный. Истинный босяк никогда не говорит таким тоном ни о женщинах, ни о чем другом – он любит показать, что для него на земле нет такой вещи, которую он не посмел бы обругать.

– Ты чего молчишь, думаешь, я наврал? – спросил Коновалов, и в голосе его звучала тревога. Он сидел на мешках с мукой, держа в одной руке стакан чаю, а другой медленно поглаживая бороду. Его голубые глаза смотрели на меня пылливо и вопросительно, морщинки на лбу легли резко...

– Нет, ты верь... Чего мне врать? Положим, наш брат, бродяга, сказки рассказывать мастер... Нельзя, друг: если у человека в жизни не было ничего хорошего, – он ведь никому не повредит, коли сам для себя выдумает какую ни то сказку да и станет рассказывать ее за быль. Рассказывает и сам себе верит, будто так и было, – верит, ну, ему и приятно. Многие живут этим. Ничего не поделаешь... Но я тебе рассказал правду, – так оно и было. Разве тут что особенное есть? Женщина живет, и ей скучно. Положим, я кучер, но женщине это всё равно, потому что и кучер, и барин, и офицер – все мужчины... И все перед ней свины, все одного и того же ищут, и каждый норовит, чтобы побольше взять, да поменьше заплатить. Простой-то человек совестливее. А я очень простой... Женщины это хорошо во мне понимают – видят, что не обижу, не насмеюсь над ней. Женщина – она согрешит и ничего так не боится, как смеха, издевки над ней. Они стыдливее против нас. Мы свое возьмем и хоть на базар пойдем рассказывать, хвастаться станем – вот, мол, как мы одну дуру провели!.. А женщине некуда идти, ей греха в удаль никто не ставит. Они, брат, даже самые потерьянные, и те стыда больше нас имеют.

Я слушал его и думал: «Неужели этот человек верен сам себе, говоря все эти не подобающие ему речи?»

А он, задумчиво уставив на меня свои детски ясные глаза, всё более удивлял меня своими речами.

Дрова в печи сгорели, яркая груда углей отбросила от себя на стену пекарни розоватое пятно...

В окно смотрел кусочек голубого неба с двумя звездами на нем. Одна из них – большая – блестела изумрудом, другая, неподалеку от нее, – едва видна.

Прошла неделя, и мы с Коноваловым были друзьями.

– Ты простой парень! Хорошо это! – говорил он мне, широко улыбаясь и хлопая меня своей ручищей по плечу.

Работал он артистически. Нужно было видеть, как он управлялся с семипудовым куском теста, раскатывая его, или как, наклонившись над ларем, месил, по локоть погружая свои могучие руки в упругую массу, пищавшую в его стальных пальцах.

Сначала, видя, как он быстро мечет в печь сырые хлебы, которые я еле успевал подкидывать из чашек на его лопату, – я боялся, что он насадит их друг на друга; но, когда он выпек три печи и ни у одного из ста двадцати караваев – пышных, румяных и высоких – не оказалось «притиска», я понял, что имею дело с артистом в своем роде. Он любил работать, увлекался делом, унывал, когда печь пекла плохо или тесто медленно всходило, сердился и ругал хозяина, если он покупал сырую муку, и был по-детски весел и доволен, если хлебы из печи выходили правильно

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький dor.kiutaхim.ru
круглые, высокие, «подъемистые», в меру румяные, с тонкой хрустящей коркой. Бывало, он брал с лопаты в руки самый удачный каравай и, перекидывая его с ладони на ладонь, обжигаясь, весело смеялся, говоря мне:

– Эх, какого красавца мы с тобой сработали... И мне было приятно смотреть на «этого гигантского» ребенка, влагавшего всю душу в работу свою, – как это и следует делать каждому человеку во всякой работе...

Однажды я спросил его:

– Саша, говорят, ты поешь хорошо?

– Пою... Только это у меня разами бывает... полосой. Начну я тосковать, тогда и пою... И ежели петь начну – затоскую. Ты уж помалкивай об этом, не дразни. Ты сам-то не поешь? Ах ты, – штука какая! Ты лучше потерпи до меня... Потом оба запоем, вместе. Идет?

Я, конечно, согласился и свистал, когда хотелось петь. Но иногда прорывался и начинал мурлыкать себе под нос, меся тесто и катая хлебы. Коновалов слушал меня, шевелил губами и чрез некоторое время напоминал мне о моем обещании. А иногда грубо кричал на меня:

– Брось! Не стони!

Как-то раз я вынул из моего сундука книжку и, примостившись к окну, стал читать.

Коновалов дремал, растянувшись на ларе с тестом, но шелест перевортываемых мною над его ухом страниц заставил его открыть глаза.

– Про что книжка?

Это были «Подлиповцы».

– Почитай вслух, а?... – попросил он.

И вот я стал читать, сидя на подоконнике, а он уселся на ларе и, прислонив свою голову к моим коленям, слушал... Иногда я через книгу заглядывал в его лицо и встречался с его глазами, – у меня до сей поры они в памяти – широко открытые, напряженные, полные глубокого внимания... И рот его тоже был полуоткрыт, обнажая два ряда ровных белых зубов. Поднятые вверх брови, изогнутые морщинки на высоком лбу, руки, которыми он охватил колени, – вся его неподвижная, внимательная поза подогревала меня, и я старался как можно внятнее и образнее рассказать ему грустную историю Сысойки и Пилы.

Наконец я устал и закрыл книгу.

– Всё уж? – шепотом спросил меня Коновалов.

– Меньше половины...

– Всю вслух прочитаешь?

– Изволь.

– Эх! – Он схватил себя за голову и закачался, сидя на ларе. Ему что-то хотелось сказать, он открывал и закрывал рот, вздыхая, как мехи, и для чего-то защурил глаза. Я не ожидал такого эффекта и не понимал его значения.

– Как ты это читаешь! – шепотом заговорил он. – На разные голоса... Как живые все они... Апроська! Пила... дураки какие! Смешно мне было слушать... А дальше что? Куда они поедут? Господи боже! Ведь это всё правда. Ведь это как есть настоящие люди... всамделишные мужики... И совсем как живые и голоса и рожи... Слушай, Максим! Посадим печь – читай дальше!

Мы посадили печь, приготовили другую, и снова час и сорок минут я читал книгу. Потом опять пауза – печь испекла, вынули хлебы, посадили другие, замесили еще тесто, поставили еще опару... Всё это делалось с лихорадочной быстротой и почти молча.

Коновалов, нахмутив брови, изредка кратко бросал мне односложные приказания и торопился, торопился...

К утру мы кончили книгу, я чувствовал, что язык у меня одеревенел.

Сидя верхом на мешке муки, Коновалов смотрел мне в лицо странными глазами и молчал, упершись руками в колени...

– Хорошо? – спросил я.

Он замотал головой, жмуря глаза, и опять-таки почему-то шепотом заговорил:

– Кто же это сочинил? – В глазах его светилось неизъяснимое словами изумление, и лицо вдруг вспыхнуло горячим чувством.

Я рассказал, кто написал книгу.

– Ну – человек он! Как хватил! А? Даже ужасно. За сердце берет – вот до чего живо. Что же он, сочинитель, что ему за это было?

– То есть как?

– Ну, например, дали ему награду или что там?

– А за что ему нужно дать награду? – спросил я.

– Как за что? Книга... вроде как бы акт полицейский. Сейчас ее читают... судят: Пила, Сысойка... какие же это люди? Жалко их станет всем... Народ темный. Какая у них жизнь? Ну, и...

– И – что?

Коновалов смущенно посмотрел на меня и робко заявил:

– Какое-нибудь распоряжение должно выйти. Люди ведь, нужно их поддержать.

В ответ на это я прочитал ему целую лекцию... Но – увы! – она не произвела того впечатления, на которое я рассчитывал.

Коновалов задумался, поник головой, закачался всем корпусом и стал вздыхать, ни словом не мешая мне говорить. Я устал наконец, замолчал.

Коновалов поднял голову и грустно посмотрел на меня.

– Так ему, значит, ничего и не дали? – спросил он.

– Кому? – осведомился я, позабыв о Решетникове.

– Сочинителю-то?

Я не ответил ему, чувствуя раздражение против слушателя, очевидно, не считавшего себя в силах решать мировые вопросы.

Коновалов, не дожидаясь моего ответа, взял книгу в свои руки, осторожно повертел ее, открыл, закрыл и, положив на место, глубоко вздохнул.

– Как всё это премудро, господи! – вполголоса заговорил он. – Написал человек книгу... бумага и на ней точки разные – вот и всё. Написал и... умер он?

– Умер, – сказал я.

– Умер, а книга осталась, и ее читают. Смотрит в нее человек глазами и говорит разные слова. А ты слушаешь и понимаешь: жили на свете люди – Пила, Сысойка, Апроська... И жалко тебе людей, хоть ты их никогда не видал и они тебе совсем – ничего! По улице они такие, может, десятками живые ходят, ты их видишь, а не знаешь про них ничего... и тебе нет до них дела... идут они и идут... А в книге тебе их жалко до того, что даже сердце щемит... Как это понимать?..

А сочинитель так без награды и умер? Ничего ему не было?

Я разозлился и рассказал ему о наградах сочинителям...

Коновалов слушал меня, испуганно тараща глаза, и соболезнующе чмокал губами.

– Порядки, – вздохнул он всей грудью и, закусив левый ус, грустно поник головой.

Тогда я начал говорить о роковой роли кабака в жизни русского литератора, о тех крупных и искренних талантах, что погибли от водки – единственной утехи их многотрудной жизни.

– Да разве такие люди пьют? – шепотом спросил меня Коновалов. В его широко открытых глазах сверкало и недоверие ко мне, испуг и жалость к тем людям. – Пьют! Что же они... после того, как напишут книги, запивают?

Это, по-моему, был неуместный вопрос, и я на него не ответил.

– Конечно, после, – решил Коновалов. – Живут люди и смотрят в жизнь, и вбирают в себя чужое горе жизни. Глаза у них, должно быть, особенные... И сердце тоже... Насмотрятся на жизнь и затоскуют... И вольтуют тоску в книги... Это уж не помогает, потому – сердце тронута, из него тоски огнем не выжжешь... Остается – водкой ее заливать. Ну и пьют... Так я говорю?

Я согласился с ним, и это как бы придало ему бодрости.

– Ну, и по всей правде, – продолжал он развивать психологию сочинителей, – следует их за это отличить. Верно ведь? Потому что они понимают больше других и указывают другим разные непорядки. Вот теперь я, например, – что такое? Босьяк, галах, пьяница и тронутый человек. Жизнь у меня без всякого оправдания. Зачем я живу на земле, и кому я на ней нужен, ежели посмотреть? Ни угла своего, ни жены, ни детей, и ни до чего этого даже и охоты нет. Живу, тоскую... Зачем? Неизвестно. Внутреннего пути у меня нет, – понимаешь? Как бы это сказать? Этакой искорки в душе нет... силы, что ли? Ну, нет во мне одной штуки – и всё тут! Понял? Вот я живу и эту штуку ищу и тоскую по ней, а что она такое есть – это мне неизвестно...

Он, держась рукой за голову, смотрел на меня, и на лице его отразилась работа мысли, ищущей для себя формы.

– Ну, и что же дальше? – допытывался я.

– Дальше?... Не могу я тебе рассказать... Но думаю так, что ежели бы какой-нибудь сочинитель присмотрелся ко мне, – мог бы он объяснить мне мою жизнь, а? Ты как думаешь?

Я думал, что и сам в состоянии объяснить ему его жизнь, и сразу же принялся за это, на мой взгляд, легкое и ясное дело. Я начал говорить об условиях и среде, о неравенстве, о людях – жертвах жизни и о людях – владыках ее.

Коновалов слушал внимательно. Он сидел против меня, подперши щеку рукой, и его большие голубые глаза, широко раскрытые, задумчивые и умные, постепенно завлакивались как бы легким туманом, на лбу всё резче ложились складки, он, кажется, удерживал дыхание, весь поглощенный желанием понять мои речи.

Мне льстило всё это. Я с жаром расписывал ему его жизнь и доказывал, что он не виноват в том, что он таков. Он – печальная жертва условий, существо, по природе своей, со всеми равноправное и длинным рядом исторических несправедливостей сведенное на степень социального нуля. Я заключил речь тем, что сказал:

– Тебе не в чем винить себя... Тебя обидели...

Он молчал, не сводя с меня глаз; я видел, как в них зарождается хорошая, светлая улыбка, и с нетерпением ждал, чем он откликнется на мои слова.

Он ласково засмеялся и, мягким, женским движением потянувшись ко мне, положил мне руку на плечо.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Как ты, брат, легко рассказываешь! Откуда только тебе все эти дела известны? Всё из книг? Много же ты читал их. Эх, ежели бы мне тоже почитать с эстоль!.. Но главная причина – очень ты жалостливо говоришь... Впервые мне такая речь. Удивительно! Все люди друг друга винят в своих незадачах, а ты – всю жизнь, все порядки. Выходит, по-твоему, что человек-то сам по себе не виноват ни в чем, а написано ему на роду быть босяком – потому он и босяк. И насчет арестантов очень чудно: воруют потому, что работы нет, а есть надо... Как всё это жалостливо у тебя! Слабый ты, видно, сердцем-то!..

– Погоди, – сказал я, – ты согласен со мною? Верно я говорил?

– Тебе лучше знать, верно или нет, – ты грамотный... Оно, пожалуй, – ежели взять других, – так верно... А вот ежели я...

– То что?

– Ну, я – особливая статья... Кто виноват, что я пью? Павелка, брат мой, не пьет – в Перми у него своя пекарня. А я вот работаю лучше его – однако бродяга и пьяница, и больше нет мне ни звания, ни доли... А ведь мы одной матери дети! Он еще моложе меня. Выходит – во мне самом что-то неладно... Не так я, значит, родился, как человеку следует. Сам же ты говоришь, что все люди одинаковые. А я на особой стезе... И не один я – много нас этаких. Особливые мы будем люди... ни в какой порядок не включаемся. Особый нам счет нужен... и законы особые... очень строгие законы – чтобы нас искоренять из жизни! Потому пользы от нас нет, а место мы в ней занимаем и у других на тропе стоим... Кто перед нами виноват? Сами мы пред собой виноваты... Потому у нас охоты к жизни нет и к себе самим мы чувств не имеем...

Он – этот большой человек с ясными глазами ребенка – с таким легким духом выделял себя из жизни в разряд людей, для нее ненужных и потому подлежащих искоренению, с такой смеющейся грустью, что я был положительно ошеломлен этим самоуничтожением, до той поры еще невиданным мною у босяка, в массе своей существа от всего оторванного, всему враждебного и над всем готового испробовать силу своего озлобленного скептицизма. Я встречал только людей, которые всегда всё винили, на всё жаловались, упорно отодвигая самих себя в сторону из ряда очевидностей, опровергавших их настойчивые доказательства личной непогрешимости, – они всегда сваливали свои неудачи на безмолвную судьбу, на злых людей... Коновалов судьбу не винил, о людях не говорил. Во всей неурядице личной жизни был виноват только он сам, и чем упорнее я старался доказать ему, что он «жертва среды и условий», тем настойчивее он убеждал меня в своей виновности пред самим собою за свою печальную долю... Это было оригинально, но это бесило меня. А он испытывал удовольствие, бичуя себя; именно удовольствием блестели его глаза, когда он звучным баритоном кричал мне:

– Каждый человек сам себе хозяин, и никто в том не повинен, ежели я подлец!

В устах культурного человека такие речи не удивили бы меня, ибо еще нет такой болячки, которую нельзя было бы найти в сложном и спутанном психическом организме, именуемом «интеллигент». Но в устах босяка, – хотя он тоже интеллигент среди обиженных судьбой, голых, голодных и злых полулюдей, полузверей, наполняющих грязные трущобы городов, – из уст босяка странно было слышать эти речи. Приходилось заключить, что Коновалов действительно – особая статья, но я не хотел этого.

С внешней стороны Коновалов до мелочей являлся типичнейшим золоторотцем; но чем больше я присматривался к нему, тем больше убеждался, что имею дело с разновидностью, нарушавшей мое представление о людях, которых давно пора считать за класс и которые вполне достойны внимания, как сильно алчущие и жаждущие, очень злые и далеко не глупые...

Мы с ним спорили всё жарче.

– Да погоди, – кричал я, – как может человек устоять на ногах, коли на него со всех сторон разная темная сила прет?

– Упрись крепче! – возглашал мой оппонент, горячася и сверкая глазами.

– Да во что упереться?

– Найди свою точку и упрись!

– А ты чего же не упирался?

– Вот я те и говорю, чудак-человек, что я сам виноват в моей доле!.. Не нашел я точки моей! Ищу, тоскую – не нахожу!

Однако надо было позаботиться о хлебе, и мы принялись за работу, продолжая доказывать друг другу правильность своих воззрений. Конечно, ничего не доказали и, оба взволнованные, кончив работу, легли спать.

Коновалов растянулся на полу пекарни и скоро заснул. Я лежал на мешках с мукой и сверху вниз смотрел на его могучую бородатую фигуру, богатырски раскинувшуюся на рогоже, брошенной около ларя. Пахло горячим хлебом, кислым тестом, углекислотой... Светало, в стекла окон, покрытые пленкой мучной пыли, смотрело серое небо. Грохотала телега, пастух играл, собирая стадо.

Коновалов храпел. Я смотрел, как вздымалась его широкая грудь, и обдумывал разные способы наискорейшего обращения его в мою веру, но ничего не выдумал и заснул.

Путру мы с ним встали, поставили опару, умылись и сели на ларе пить чай.

– Что, у тебя есть книжка? – спросил Коновалов.

– Есть.

– Почитаешь мне?

– Ладно...

– Вот хорошо! Знаешь что? Проживу я месяц, возьму у хозяина деньги и половину – тебе!

– На что?

– Купи книжек... Себе купи, которые по вкусу там, и мне купи – хоть две. Мне – которые про мужиков. Вот вроде Пилы и Сысойки... И чтобы, знаешь, с жалостью было написано, а не смеха ради... Есть иные – чепуха совсем! Панфилка и Филатка – даже с картинкой на первом месте – дурость. Пошехонцы, сказки разные. Не люблю я это. Я не знал, что есть такие, вот как у тебя.

– Хочешь про Стеньку Разина?

– Про Стеньку? Хорошо?

– Очень хорошо...

– Тащи!

И вскоре я уже читал ему Костомарова: «Бунт Стеньки Разина». Сначала талантливая монография, почти эпическая поэма, не понравилась моему бородатому слушателю.

– А почему тут разговоров нет? – спросил он, заглядывая в книгу. И, когда я объяснил – почему, он даже зевнул и хотел скрыть зевок, но это ему не удалось, и он сконфуженно и виновато заявил мне:

– Читай – ничего! Это я так...

Но по мере того, как историк рисовал кистью художника фигуру Степана Тимофеевича и «князь волжской вольницы» вырастал со страниц книги, Коновалов перерождался. Ранее скучный и равнодушный, с глазами, затуманенными ленивой дремотой, – он, постепенно и незаметно для меня, предстал предо мной в поразительно новом виде. Сидя на ларе против меня и обняв свои колени руками, он положил на них подбородок так, что его борода закрыла ему ноги, и смотрел на меня жадными, странно горевшими глазами из-под сурово нахмуренных бровей. В нем не было ни одной черточки той детской наивности, которой он удивлял меня, и всё то простое,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
женственно мягкое, что так шло к его голубым, добрым глазам, – теперь потемневшим и суженным, – исчезло куда-то. Нечто львиное, огневое было в его сжатой в ком мускулов фигуре. Я замолчал.

– Читай, – тихо, но внушительно сказал он.

– Ты что?

– Читай! – повторил он, и в тоне его вместе с просьбой звучало раздражение.

Я продолжал, изредка поглядывая на него, и видел, что он всё более разгорается. От него исходило что-то возбуждавшее и опьянявшее меня – какой-то горячий туман. И вот я дошел до того, как поймали Стеньку.

– Поймали! – крикнул Коновалов.

Боль, обида, гнев звучали в этом возгласе. У него выступил пот на лбу и глаза странно расширились. Он соскочил с ларя, высокий и возбужденный, остановился против меня, положил мне руку на плечо и громко, торопливо заговорил:

– погоди! Не читай... Скажи, что теперь будет? Нет, стой, не говори! казнят его? А? Читай скорее, Максим!

Можно было думать, что именно Коновалов, а не Фролка – родной брат Разину. Казалось, что какие-то узы крови, неразрывные, не остывшие за три столетия, до сей поры связывают этого босяка со Стенькой и босяк со всей силой живого, крепкого тела, со всей страстью тоскующего без «точки» духа чувствует боль и гнев пойманного триста лет тому назад вольного сокола.

– Да читай, Христа ради!

Я читал, возбужденный и взволнованный, чувствуя, как бьется мое сердце, и вместе с Коноваловым переживая Стенькину тоску. И вот мы дошли до пыток.

Коновалов скрипел зубами, и его голубые глаза сверкали, как угли. Он навалился на меня сзади и тоже не отрывал глаз от книги. Его дыхание шумело над моим ухом и сдувало мне волосы с головы на глаза. Я встряхивал головой для того, чтобы отбросить их. Коновалов увидал это и положил мне на голову свою тяжелую ладонь.

«Тут Разин так скрипнул зубами, что вместе с кровью выплюнул их на пол...»

– Будет!.. К чёрту! – крикнул Коновалов и, вырвав у меня из рук книгу, изо всей силы шлепнул ее об пол и сам опустился за ней.

Он плакал, и так как ему было стыдно слез, он как-то рычал, чтобы не рыдать. Он спрятал голову в колени и плакал, вытирая глаза о свои грязные тиковые штаны.

Я сидел перед ним на ларе и не знал, что сказать ему в утешение.

– Максим! – говорил Коновалов, сидя на полу. – Страшно! Пила... Сысойка. А потом Стенька... а? Какая судьба!.. Зубы-то как он выплюнул!.. а?

И он весь вздрагивал.

Его особенно поразили выплюнутые Стенькой зубы, он то и дело, болезненно передергивая плечами, говорил о них.

Мы оба с ним были как пьяные под влиянием вставшей перед нами мучительной и жестокой картины пыток.

– Ты мне ее еще раз прочитай, слышишь? – уговаривал меня Коновалов, подняв с полу книгу и подавая ее мне. – А ну-ка, покажи, где тут написано насчет зубов?

Я показал ему, и он впился глазами в эти строки.

– Так и написано: «зубы свои выплюнул с кровью»? А буквы те же самые, как и все другие... Господи! Как ему больно-то было, а? Зубы даже... а в конце там что еще будет? Казнь? Ага! Слава те, господи, все-таки казнят человека!

Он выразил эту радость с такой страстью, с таким удовлетворением в глазах, что я вздрогнул от этого сострадания, так сильно желавшего смерти измученному Стеньке.

Весь этот день прошел у нас в странном тумане: мы всё говорили о Стеньке, вспоминая его жизнь, песни, сложенные о нем, его пытки. Раза два Коновалов запевал звучным баритоном песни и обрывал их.

Мы с ним стали еще ближе друг к другу с этого дня.

Я еще несколько раз читал ему «Бунт Стеньки Разина», «Тараса Бульбу» и «Бедных людей». Тарас тоже очень понравился моему слушателю, но он не мог затемнить яркого впечатления от книги Костомарова. Макара Девушкина и Варю Коновалов не понимал. Ему казался только смешным язык писем Макара, а к Варе он относился скептически.

– Ишь ты, ластится к старику! Хитрая!.. А он – экое чучело! Однако брось ты, Максим, эту канитель! Чего тут? Он к ней, она к нему... Портили бумагу... ну их к свиньям на хутор! Не жалостно и не смешно: для чего писано?

Я напоминал ему подлиповцев, но он не соглашался со мной.

– Пила и Сысойка – это другая модель! Они люди живые, живут и бьются... а эти чего? Пишут письма... скучно! Это даже и не люди, а так себе, одна выдумка. Вот Тарас со Стенькой, ежели бы их рядом... Батюшки! Каких они делов натворили бы. Тогда и Пила с Сысойкой – взбодрились бы, чай?

Он плохо понимал время, и в его представлении все излюбленные им герои существовали вместе, только двое из них жили в Усолье, один в «хохлах», один на Волге... Мне с трудом удалось убедить его, что, если бы Сысойка и Пила «съехали» вниз по Каме, они со Стенькой не встретились бы, и если бы Стенька «дернул через донские казаки в хохлы», он не нашел бы там Бульбу.

Это огорчило Коновалова, когда он понял, в чем дело. Я попробовал угостить его пугачевским бунтом, желая посмотреть, как он отнесется к Емельке. Коновалов забраковал Пугачева.

– Ах, шельма клейменная, – ишь ты! Царским именем прикрылся и мутит... Сколько людей погубил, пес!.. Стенька? – это, брат, другое дело. А Пугач – гнида и больше ничего. Важное кушанье! Вот вроде Стеньки нет ли книжек? Поищи... А этого телячьего Макара брось – незанимательно. Уж лучше ты еще раз прочти, как казнили Степана...

В праздники мы с Коноваловым уходили за реку, в луга. Мы брали с собой немного водки, хлеба, книгу и с утра отправлялись «на вольный воздух», как называл Коновалов эти экскурсии.

Нам особенно нравилось бывать в «стеклянном заводе». Так почему-то называлось здание, стоявшее недалеко от города в поле. Это был трехэтажный каменный дом с провалившейся крышей, с изломанными рамами в окнах, с подвалами, всё лето полными жидкой пахучей грязи. Зеленовато-серый, полуразрушенный, как бы опустившийся, он смотрел с поля на город темными впадинами своих изуродованных окон и казался инвалидом-калекой, обиженным судьбой, изринутым из пределов города, жалким и умирающим. В половодье этот дом из года в год подмывала вода, но он, весь от крыши до основания покрытый зеленой коркой плесени, несокрушимо стоял, огражденный лужами от частых визитов полиции, – стоял и, хотя у него не было крыши, давал кров разным темным и бесприютным людям.

Их всегда было много в нем; оборванные, полуголодные, боящиеся солнечного света, они жили в этой развалине, как совы, и мы с Коноваловым были среди них желанными гостями, потому что и он и я, уходя из пекарни, брали по караваю белого хлеба, дорогой покупали четверть водки и целый лоток «горячего» – печенки, легкого, сердца, рубца. На два-три рубля мы устраивали очень сытное угощение «стеклянным людям», как их называл Коновалов.

Они платили нам за эти угощения рассказами, в которых ужасная, душу потрясающая правда фантастически перепутывалась с самой наивной ложью. Каждый рассказ

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
являлся пред нами кружевом, в котором преобладали черные нити – это была правда, и встречались нити ярких цветов – ложь. Такое кружево падало на мозг и сердце и больно давило и то и другое, сжимая его своим жестким, мучительно разнообразным рисунком. «Стеклянные люди» по-своему любили нас – я часто читал им разные книги, и почти всегда они внимательно и вдумчиво слушали мое чтение.

Знание жизни у них, вышвырнутых за борт ее, поражало меня своей глубиной, и я жадно слушал их рассказы, а Коновалов слушал их для того, чтобы возражать против философии рассказчика и втянуть меня в спор.

Выслушав историю жизни и падения, рассказанную каким-нибудь фантастически разодетым субъектом, с физиономией человека, которому никак уж нельзя положить пальца в рот, – выслушав такую историю, всегда носящую характер оправдательно-защитительной речи, Коновалов задумчиво улыбался и отрицательно покачивал головой. Это замечали.

– Не веришь, лёса? – восклицал рассказчик.

– Нет, верю... Как можно не верить человеку! Даже и если видишь – врет он, верь ему, слушай и старайся понять: почему он врет? Иной раз вранье-то лучше правды объясняет человека... Да и какую мы все про себя правду можем сказать? Самую пакостную... А соврать можно хорошо... Верно?

– Верно, – соглашается рассказчик. – А все-таки ты это к чему головой-то качал?

– К чему? А к тому, что ты неправильно рассуждаешь... Рассказываешь ты так, что приходится понимать, будто всю твою жизнь не ты сам, а шабры делали и разные прохожие люди. А где же ты в это время был? И почему ты против своей судьбы никакой силы не выставил? И как это так выходит, что все мы жалуемся на людей, а сами тоже люди? Значит, на нас тоже можно жаловаться? Нам жить мешают, – значит, и мы тоже кому-нибудь мешали, верно? Ну, как это объяснить?

– Нужно такую жизнь строить, чтоб в ней всем было просторно и никто никому не мешал, – говорят Коновалову.

– А кто должен строить жизнь? – победоносно вопрошает он и, боясь, что у него предвосхитят ответ на вопрос, тотчас же отвечает: – Мы! Сами мы! А как же мы будем строить жизнь, если мы этого не умеем и наша жизнь не удалась? И выходит, братцы мои, что вся опора – это мы! Ну, а известно, что такое есть мы...

Ему возражали, оправдывая себя, но он настойчиво твердил свое: никто ни в чем не виноват пред нами, каждый виноват сам пред собою.

Крайне трудно было сбить его с почвы этого положения, и трудно было усвоить его взгляд на людей. С одной стороны, они в его представлении являлись вполне правоспособными к устройству свободной жизни, с другой – они какие-то слабые, хлипкие и решительно не способные ни на что, кроме жалоб друг на друга.

Весьма часто такие споры, начатые в полдень, кончались около полуночи, и мы с Коноваловым возвращались от «стеклянных людей» во тьме и по колена в грязи.

Однажды мы едва не утонули в какой-то трясине, другой раз мы попали в облаву и ночевали в части вместе с двумя десятками разных приятелей из «стеклянного завода», с точки зрения полиции оказавшихся подозрительными личностями. Иногда нам не хотелось философствовать, и мы шли далеко в луга, за реку, где были маленькие озера, изобиловавшие мелкой рыбой, зашедшей в них во время половодья. В кустах, на берегу одного из таких озер, мы зажигали костер, который был нам нужен лишь потому, что увеличивал красоту обстановки, и читали книгу или беседовали о жизни. А иногда Коновалов задумчиво предлагал:

– Максим! Давай в небо смотреть!

Мы ложились на спины и смотрели в голубую бездну над нами. Сначала мы слышали и шелест листвы вокруг, и всплески воды в озере, чувствовали под собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе, мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали в пустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясь не разрушать его ни словом, ни движением.

Так лежали мы по несколько часов кряду и возвращались домой к работе духовно и телесно обновленные и освеженные.

Коновалов любил природу глубокой бессловесной любовью, и всегда, в поле или на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, еще более увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохом говорил, глядя в небо:

– Эх!.. Хорошо!

И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем в риторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержания своей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительного преклонения пред невыразимо ласковой красотой природы..

Как всё – и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делают профессию.

День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил и много прочитал. «Бунт Стеньки» я читал ему так часто, что он уже свободно рассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.

Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка для впечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именами ее героев, и, когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, он огорченно и зло воскликнул:

– Ах ты, воевода Прозоровский!

Неудавшийся хлеб он величал фролкой, дрожжи именовались «Стенькины думки»; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного, несчастного, неудавшегося.

О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первый день знакомства с Коноваловым, за всё время почти не упоминалось.

Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к нему поручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакого ответа не последовало.

И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы, дверь в пекарню отворилась, из темноты сырых сеней низкий женский голос, одновременно робкий и задорный, произнес:

– Извините...

– Кого нужно? – спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногам лопату, смущенно дергал себя за бороду.

– Булочник Коновалов здесь работает?

Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо на голову – в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое, миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбки пухлых красных губ.

– Здесь! – ответил я ей.

– Здесь, здесь! – вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов, бросив лопату и широкими шагами направляясь к гостье.

– Сашенька! – глубоко вздохнула она ему навстречу.

Они обнялись, для чего Коновалов низко наклонился к ней.

– Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Я говорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! – торопливо изъяснялся перед ней

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Коновалов, всё еще стоя у порога и не разводя своих рук, обнявших ее шею и талию.

– Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамской части... Где же ты, Капа, остановилась?

– А я прямо сюда, к тебе...

– Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин у нас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... в номере, скажем. Айда!

И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коновалова ранее утра; но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Мое изумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чайнии видеть на его лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.

– Что ты? – спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событию настроением моего друга.

– Ничего... – уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.

– Нет, все-таки?... – настаивал я.

– Да что тебе? – устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе. – Все-таки... все-таки... Все-таки – баба!

Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он дал мне его такими приблизительно словами:

– Говорю – баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого не было. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на одних задних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется – значит, не скот. А все-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, не подходит, но понимать не могу – почему... Вот она, Капитолина, какую линию гнет: «Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желая, говорит, быть твоей дворняжкой...» Совсем несообразно! «Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты; ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня – запой, во-вторых, нет у меня никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном месте жить...» – и прочее такое, очень многое... А она: «Запой – наплевать! Все, говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом, говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь...» Я говорю: «Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю – жизнью такой жить не умею, не научусь». А она: «А я, говорит, в речку прыгну!» А я ей: «Ду-урра!» А она ругаться, да ведь ка-ак! «Ах ты, говорит, смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!..» И почала, и почала... просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом начала плакать. Плачет и пеняет мне: «Зачем ты, говорит, меня из того места вынул, коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда, говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак...» Ну, что теперь с ней делать?

– Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? – спросил я.

– Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрызает человек... и всякому, мимо идущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это я согласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этой точке, так я бы уж давно решил. Какие резоны были! Мог бы с приданным и... всё такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело? Плачет она... это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!

Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого «не могу», встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову и отплевываясь, шагать по пекарне.

– Максим! – просительно и сконфуженно заговорил он, – пошел бы ты к ней и как-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!

– Что же я ей скажу?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А то скажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!

– Да ведь это неправда? – засмеялся я.

– Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, чёрт те возьми! Вот так каша! А? Ну куда мне жена?

Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что было ясно – ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этой истории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься над судьбою девушки. А он всё ходил по пекарне и говорил как бы уже сам с собою:

– И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это и засасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишь ты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.

Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечного стремления к свободе, на которую было сделано покушение.

– Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба крупная! – хвастливо воскликнул он. – Я вот как возьму да... а что в самом деле? – И, остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой его возбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.

– Максим! Айда на Кубань?!

Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторые литературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте и передать ему всё то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово всё лето не двигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...

– Ну, это уж ты ерундишь! – несколько смущенно сказал я ему.

– Да что ж мне делать? – воскликнул он.

Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж не так серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть и подождать. И даже, как оказалось, ждать-то было недолго. Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время было близко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часа полтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумно грохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросились к окну.

– Не попала! – визгливо кричали в него. – Плохо метила. А уж бы...

– П'дё-ем! – рычал зверский бас. – П'дё-ем, а я его после уважу!

Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел с улицы в разбитое окно.

– Это она! – тоскливо сказал Коновалов.

Я видел пока только две ноги, свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались, ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.

– Да п'дё-ем! – лопотал бас.

– Пусти! Не тяни меня, дай отвести душу. Прощай, Сашка! Прощай... – следовала довольно нецензурная брань.

Подойдя ближе к окну, я увидел Капитолину. Наклонившись вниз, упираясь руками в панель, она старалась заглянуть внутрь пекарни, и ее растрепанные волосы рассыпались по плечам и груди. Беленький платок был сбит в сторону, грудь лифа разорвана. Капитолина была пьяна и качалась из стороны в сторону, икая, ругаясь, истерично взвизгивая, дрожащая, растрепанная, с красным, пьяным, облитым слезами лицом...

Над ней согнулась высокая фигура мужчины, и он, упираясь одной рукой ей в плечо, а другой в стену дома, всё рычал:

– П'дѐ-ем!..

– Сашка! Погубил ты меня... помни! Будь проклят, рыжий черт! Не видать бы тебе ни часу света божьего. Надеюсь я... Насмеялся ты, злодей, надо мной... ладно! Сочтемся! Спрятался! Стыдно, харя поганая... Саша... голубчик.

– Я не спрятался... – подойдя к окну и взлезая на ларь, сказал глухо и густо Коновалов. – Я не прячусь... а ты напрасно... Я добра ведь тебе хотел; добро будет – думал, а ты понесла совсем несообразное...

– Сашка! Можешь ты меня убить?

– Зачем ты напилась? Разве ты знаешь, что было бы... завтра!..

– Сашка! Саша! Утопи меня!

– Бу-удет! П`дѐ-ем!

– Мер-рзавец! Зачем ты притворился хорошим человеком?

– Что за шум, а? Кто такие? – Свисток ночного сторожа вмешался в этот диалог, заглушил его и замер.

– Зачем я в тебя, черт, поверила... – рыдала девушка под окном.

Потом ее ноги вдруг дрогнули, быстро мелькнули вверх и пропали во тьме. Раздался глухой говор, возня...

– Не хочу в полицию! Са-аша! – тоскливо вопила девушка.

По мостовой тяжело затопали ноги. Свистки, глухое рычание, вопли..

– Са-аша! Ми-илый!

Казалось, кого-то немилосердно истязуют. Всё это удалялось от нас, становилось глуше, тише и пропало, как кошмар.

Подавленные этой сценой, разыгравшейся поразительно быстро, мы с Коноваловым смотрели на улицу во тьму и не могли опомниться от плача, рева, ругательств, начальнических окриков, болезненных стонов. Я вспоминал отдельные звуки и с трудом верил, что всё это было наяву. Страшно быстро кончилась эта маленькая, но тяжелая драма.

– Всё!.. – как-то особенно кротко и просто сказал Коновалов, прислушавшись еще раз к тишине темной ночи, безмолвно и строго смотревшей на него в окно.

– Как она меня!.. – с изумлением продолжал он через несколько секунд, оставаясь в старой позе, на ларе, на коленях и упираясь руками в пологий подоконник. – В полицию попала... пьяная... с каким-то чертом. Скоро как порешила! – Он глубоко вздохнул, слез с ларя, сел на мешок, обнял голову руками, покачался и спросил меня вполголоса:

– Расскажи ты мне, Максим, что же это такое тут теперь вышло?.. Какое мое теперь во всем этом дело?

Я рассказал. Прежде всего нужно понимать то, что хочешь делать, и в начале дела нужно представлять себе его возможный конец. Он всё это не понимал, не знал и – кругом во всем виноват. Я был обозлен им – стоны и крики Капитолины, пьяное «п'дѐ-ем!..» – всё это еще стояло у меня в ушах, и я не щадил товарища.

Он слушал меня с наклоненной головой, а когда я кончил, поднял ее, и на лице его я прочитал испуг и изумление.

– Вот так раз! – восклицал он. – ловко! Ну, и... что же теперь? А? Как же? Что мне

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
с ней делать?

В тоне его слов было так много чисто детского по искренности сознания своей вины пред этой девушкой и так много беспомощного недоумения, что мне тут же стало жаль товарища, и я подумал, что, пожалуй, уж очень резко говорил с ним.

– И зачем я ее тронул с того места! – каялся Коновалов. – Эхма! ведь как она теперь на меня... Я пойду туда, в полицию, и похлопочу... Увижу ее... и прочее такое. Скажу ей... что-нибудь. Идти?

Я заметил, что едва ли будет какой-либо толк от его свидания. Что он ей скажет? К тому же она пьяная и, наверное, спит уже.

Но он укрепился в своей мысли.

– Пойду, погоди. Все-таки я ей добра желаю... как хошь. А там что за люди для нее? Пойду. Ты тут тово... я – скоро!

И, надев на голову картуз, он даже без опорок, в которых обыкновенно щеголял, быстро вышел из пекарни. Я отработался и лег спать, а когда поутру, проснувшись, по привычке взглянул на место, где спал Коновалов, его еще не было.

Он явился только к вечеру – хмурый, взъерошенный, с резкими складками на лбу и с каким-то туманом в голубых глазах. Не глядя на меня, подошел к ларям, посмотрел, что мной сделано, и молча лег на пол.

– Что же, ты видел ее? – спросил я.

– Затем и ходил.

– Ну так что же?

– Ничего.

Было ясно – он не хотел говорить. Полагая, что такое настроение не продлится у него долго, я не стал надоедать ему вопросами. Он весь день молчал, только по необходимости бросая мне краткие слова, относящиеся к работе, расхаживал по пекарне с понуренной головой и всё с теми же туманными глазами, с какими пришел. В нем точно погасло что-то; он работал медленно и вяло, связанный своими думами. Ночью, когда мы уже посадили последние хлебы в печь и, из боязни передержать их, не ложились спать, он попросил меня:

– Ну-ка, почитай про Стеньку что-нибудь.

Так как описание пыток и казни всего более возбуждало его, я стал ему читать именно это место. Он слушал, неподвижно растянувшись на полу кверху грудью, и, не мигая глазами, смотрел в закопченные своды потолка.

– Вот и порешили с человеком, – медленно заговорил Коновалов. – А все-таки в ту пору можно было жить. Свободно. Было куда податься. Теперь вот тишина и смиренность... ежели так со стороны посмотреть, совсем даже смиренная жизнь теперь стала. Книжки, грамота... А все-таки человек без защиты живет и никакого призора за ним нет. Грешить ему запрещено, но не грешить невозможно... Потому на улицах-то порядок, а в душе – путаница. И никто никого не может понимать.

– Ну так как же ты с Капитолиной-то? – спросил я.

– А? – встрепенулся он. – С Капкой? Шабаш... – Он решительно махнул рукой.

– Кончил, значит?

– Я? Нет... она сама кончила.

– Как?

– Очень просто. Стала на свою точку и больше никаких... Всё по-старому. Только раньше она не пила, а теперь пить стала... Ты вынь хлеб, а я буду спать.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
В пекарне стало тихо. Коптила лампа, изредка потрескивала заслонка печи, и корки испеченного хлеба на полках тоже трещали. На улице, против наших окон, разговаривали ночные сторожа. И еще какой-то странный звук порой доходил до слуха с улицы – не то где-то скрипела вывеска, не то кто-то стонал.

Я вынул хлеба, лег спать, но не спалось, и, прислушиваясь ко всем звукам ночи, я лежал, полузакрыв глаза. Вдруг вижу: Коновалов бесшумно поднимается с полу, идет к полке, берет с нее книгу Костомарова, раскрывает ее и подносит к глазам. Мне ясно видно его задумчивое лицо, я слежу, как он водит пальцем по строкам, качает головой, переворачивает страницу, снова пристально смотрит на нее, а потом переводит глаза на меня. Что-то странное, напряженное и вопрошающее отражает от себя его задумчивое, осунувшееся лицо, и долго оно остается обращенным ко мне, новое для меня.

Я не мог сдержать своего любопытства и спросил его, что он делает.

– А я думал, ты спишь... – смутился он; потом подошел ко мне, держа книгу в руке, сел рядом и, запинаясь, заговорил: – Я, видишь ли, хочу тебя спросить вот про что... Нет ли книги какой-нибудь насчет порядков жизни? Поучения, как жить? Поступки бы нужно мне разъяснить, которые вредны, которые – ничего себе... Я, видишь ты, поступками смущаюсь своими... Который в начале мне кажется хорошим, в конце выходит плохим. Вот хоть бы насчет Капки. – Он перевел дух и продолжал просительно: – Так вот поищи-ка, нет ли книги насчет поступков? И прочитай мне.

Несколько минут молчания...

– Максим!..

– А?

– Как меня Капитолина-то раскрашивала!

– Да ладно уж... Будет тебе...

– Конечно, теперь уж нечего... А что, скажи мне... вправе она?..

Это был щекотливый вопрос, но, подумав, я отвечал на него утвердительно.

– Вот и я тоже так полагаю... Вправе... – уныло протянул Коновалов и замолчал.

Он долго возился на своей рогоже, постланной прямо на пол, несколько раз вставал, курил, садился под окно, снова ложился.

Потом я заснул, а когда проснулся, его уже не было в пекарне, и он явился только к вечеру. Казалось, что весь он был покрыт какой-то пылью, и в его отуманенных глазах застыло что-то неподвижное. Кинув картуз на полку, он вздохнул и сел рядом со мной.

– Ты где был?

– Ходил Капку посмотреть.

– Ну и что?

– Шабаш, брат! Ведь я те говорил...

– Ничего, видно, не поделаешь с этим народом... – попробовал было я рассеять его настроение и заговорил о могучей силе привычки и о всем прочем, что в этом случае было уместно. Коновалов упорно молчал, глядя в пол.

– Нет, это что-о! Не в том сила! А просто я есть заразный человек... Не доля мне жить на свете... Ядовитый дух от меня исходит. Как я близко к человеку подойду, так сейчас он от меня и заражается. И для всякого я могу с собой принести только горе... Ведь ежели подумать – кому я всей моей жизнью удовольствие принес? никому! А тоже, со многими людьми имел дело... Тлеющий я человек...

– Это чепуха!..

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Нет, верно!.. – убежденно кивнул он головой.

Я разубеждал его, но в моих речах он еще более черпал уверенности в своей непригодности к жизни...

Он быстро и резко изменился. Стал задумчив, вял, утратил интерес к книге, работал уже не с прежней горячностью, молчаливо, необщительно.

В свободное время ложился на пол и упорно смотрел в своды потолка. Лицо у него осунулось, глаза утратили свой ясный детский блеск.

– Саша, ты что? – спросил я его.

– Запой начинается, – объяснил он. – Скоро я начну водку глушить... Внутри у меня жжет... вроде изжоги, знаешь... Пришло время... Кабы не эта самая история, я бы, поди-ка, еще протянул сколько-нибудь. Ну – ест меня это дело... Как так? Желал я человеку оказать добро – и вдруг... Совсем несообразно! Да, брат, очень нужен для жизни порядок поступков... Неужто уж так и нельзя выдумать этаким закон, чтобы все люди действовали как один и друг друга понимать могли? Ведь совсем нельзя жить на таком расстоянии один от другого! Неужто умные люди не понимают, что нужно на земле устроить порядок и в ясность людей привести?... Э-эхма!

Поглощенный думами о необходимости в жизни порядка, он не слушал моих речей. Я заметил даже, что он как бы стал чуждаться меня. Однажды, выслушав в сто первый раз мой проект реорганизации жизни, он рассердился на меня.

– Ну тебя... Слышал я это... Тут не в жизни дело, а в человеке... Первое дело – человек... понял? Ну, и больше никаких... Этак-то, по-твоему, выходит, что, пока там всё это переделается, человек все-таки должен оставаться как теперь. Нет, ты его перестрой сначала, покажи ему ходы... Чтобы ему было и светло и не тесно на земле, – вот чего добивайся для человека. Научи его находить свою тропу...

Я возражал, он горячился или делался угрюмым и скучно восклицал:

– Э, отстань!

Как-то раз он ушел с вечера и не пришел ни ночью к работе, ни на другой день. Вместо него явился хозяин с озабоченным лицом и объявил:

– Закутил Лексаха-то у нас. В «Стенке» сидит. Надо нового пекаря искать.

– А может, оправится?!

– Ну, как же, жди... Знаю я его...

Я пошел в «Стенку» – кабак, хитроумно устроенный в каменном заборе. Он отличался тем, что в нем не было окон и свет падал в него сквозь отверстие в потолке. В сущности, это была квадратная яма, вырытая в земле и покрытая сверху тесом. В ней пахло землей, махоркой и перегорелой водкой, ее наполняли завсегдатаи – темные люди. Они целыми днями торчали тут, ожидая закутившего мастерового для того, чтоб донага опить его.

Коновалов сидел за большим столом, посредине кабака, в кругу почтительно и льстиво слушающих его шестерых господ в фантастически рваных костюмах, с физиономиями героев из рассказов Гофмана.

Пили пиво и водку, закусывали чем-то похожим на сухие комья глины...

– Пейте, братцы, пейте, кто сколько может. У меня есть и деньги и одежда... Дня на три хватит всего. Всё пропью и... шабаш! Больше не хочу работать и жить здесь не хочу.

– Город сквернейший, – сказал некто, похожий на Джона Фальстафа.

– Работа? – вопросительно посмотрел в потолок другой и с изумлением спросил: – Да разве человек для этого на свет родился?

И все они сразу загалдели, доказывая Коновалову его право всё пропить и даже

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
возводя это право на степень неременной обязанности – именно с ними пропить.

– А, Максим.. и котомка с ним! – скалambuрил Коновалов, увидав меня. – Ну-ка, книжник и фарисей, – тяпни! Я, брат, окончательно спрыгнул с рельс. Шабаш! Пропиться хочу до волос.. Когда одни волосы на теле останутся – кончу. Вали и ты, а?

Он еще не был пьян, только голубые глаза его сверкали возбуждением и роскошная борода, падавшая на грудь ему шелковым веером, то и дело шевелилась – его нижняя челюсть дрожала нервной дрожью. Ворот рубахи был расстегнут, на белом лбу блестели мелкие капельки пота, и рука, протянутая ко мне со стаканом пива, тряслась.

– Брось, Саша, уйдем отсюда, – сказал я, положив ему руку на плечо.

– Бросить?.. – Он засмеялся. – Кабы ты лет на десять раньше пришел ко мне да сказал это – может, я и бросил бы. А теперь я уж лучше не брошу.. Чего мне делать? Ведь я чувствую, всё чувствую, всякое движение жизни.. но понимать ничего не могу и пути моего не знаю.. Чувствую – и пью, потому что больше мне делать нечего.. Выпей.

Его компания смотрела на меня с явным неудовольствием, и все двенадцать глаз измеряли мою фигуру далеко не миролюбиво.

Бедняги боялись, что я уведу Коновалова – угощение, которое они ждали, быть может, целую неделю.

– Братцы! Это мой товарищ, – ученый, черт его возьми! Максим, можешь ты здесь прочитать про Стеньку?.. Ах, братцы, какие книги есть на свете! Про Пилу.. Максим, а?.. Братцы, не книга это, а кровь и слезы. А.. ведь Пила-то – это я? Максим!.. И Сысойка – я.. Ей-богу! Вот и объяснилось!

Он широко открытыми глазами, с испугом в них, смотрел на меня, и нижняя его губа странно дрожала. Компания не особенно охотно очистила мне место за столом. Я сел рядом с Коноваловым, как раз в момент, когда он хватил стакан пива пополам с водкой.

Ему, очевидно, хотелось как можно скорее оглушить себя этой смесью. Выпив, он взял с тарелки кусок того, что казалось глиной, а было вареным мясом, посмотрел на него и бросил через плечо в стену кабака.

Компания вполголоса урчала, как стая голодных собак.

– Потерянный я человек.. Зачем меня мать на свет родила? Ничего не известно.. Темь!.. Теснота!.. Прощай, Максим, коли ты не хочешь пить со мной. В пекарню я не пойду. Деньги у меня есть за хозяином – получи и дай мне, я их пропью.. Нет! Возьми себе на книги.. Берешь? Не хочешь? Не надо.. А то возьми? Свинья ты, коли так.. Уйди от меня! У-уходи!

Он пьянел, глаза у него зверски блеснули.

Компания была совершенно готова вытурить меня в шею из среды своей, и я, не желая дожидаться этого, ушел.

Часа через три я снова был в «Стенке». Компания Коновалова увеличилась еще на два человека. Все они были пьяны, он – меньше всех. Он пел, облокотясь на стол и глядя на небо через отверстие в потолке. Пьяницы в разнообразных позах слушали его и некоторые икали.

Пел Коновалов баритоном, на высоких нотах переходившим в фальцет, как у всех певцов-мастеровых. Подперев щеку рукой, он с чувством выводил заунывные рулады, и лицо его было бледно от волнения, глаза полузакрыты, горло выгнуто вперед. На него смотрели восемь пьяных, бессмысленных и красных физиономий, и только порой были слышны бормотанье и икота. Голос Коновалова вибрировал, плакал и стонал, – было до слез жалко видеть этого славного парня поющим свою грустную песню.

Тяжелый запах, потные, пьяные рожи, две коптящие керосиновые лампы, черные от грязи и копоты доски стен кабака, его земляной пол и сумрак, наполнявший эту

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
яму, – всё было мрачно и болезненно. Казалось, что это пируют заживо погребенные в склепе и один из них поет в последний раз перед смертью, прощаясь с небом. Безнадежная грусть, спокойное отчаяние, безысходная тоска звучали в песне моего товарища.

– Максим здесь? Хочешь ко мне эсаулом? – прервав свою песню, заговорил он, протягивая мне руку. – Я, брат, совсем готов... Набрал шайку себе... вот она... Потом еще будут люди... Найдем! Это н-ничего! Пилу и Сысойку призовем... И будем их каждый день кашей кормить и говядиной... хорошо? Идешь? Возьми с собой книги... будешь читать про Стеньку и про других... Друг! Ах и тошно мне, тошно мне... то-ошно-о!..

Он изо всей силы грохнул кулаком по столу. Загремели стаканы и бутылки, и компания, очнувшись, сразу же наполнила кабак страшным шумом.

– Пей, ребята! – крикнул Коновалов. – Пей! Отводи душу – дуй вовсю!

Я ушел от них, постоял у двери на улице, послушал, как Коновалов ораторствовал заплетающимся языком, и, когда он снова начал петь, отправился в пекарню, и вслед мне долго стонала и плакала в ночной тишине неуклюжая пьяная песня.

Через два дня Коновалов пропал куда-то из города.

Нужно родиться в культурном обществе для того, чтобы найти в себе терпение всю жизнь жить среди него и не пожелать уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности, – одним словом, из всей этой охлаждающей чувство, развращающей ум суеты сует. Я родился и воспитывался вне этого общества и по сей приятной для меня причине не могу принимать его культуру большими дозами без того, чтобы, спустя некоторое время, у меня не явилась настоятельная необходимость выйти из ее рамок и освежиться несколько от чрезмерной сложности и болезненной утонченности этого быта.

В деревне почти так же невыносимо тошно и грустно, как и среди интеллигенции. Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хотя всё и грязно, но всё так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног.

Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку и, расхаживая по святой Руси, попал в Феодосию. В то время там начинали строить мол, и, в чаянии заработать немного денег на дорогу, я отправился на место сооружения.

Желая сначала посмотреть на работу как на картину, я взошел на гору и сел там, глядя вниз на бескрайное, могучее море и крошечных людей, строивших ему ковы.

Передо мной развернулась широкая картина труда: весь каменистый берег перед бухтой был изрыт, всюду ямы, кучи камня и дерева, тачки, бревна, полосы железа, копры для битья свай и еще какие-то приспособления из бревен, и среди всего этого сновали люди. Они, разорвав гору динамитом, дробили ее кирками, расчищая площадь для линии железной дороги, они месили в громадных творилах цемент и, делая из него саженные кубические камни, опускали их в море, строя оплот против титанической силы его неугомонных волн. Они казались маленькими, как черви, на фоне темно-коричневой горы, изуродованной их руками, и, как черви, суетливо копошились среди груд щебня и кусков дерева в облаках каменной пыли, в тридцатиградусном зное южного дня. Хаос вокруг них, раскаленное небо над ними придавали их суете такой вид, как будто бы они вкапывались в гору, стремясь уйти в недра ее от солнечного зноя и окружающей их унылой картины разрушения.

В душном воздухе стоял ропот и гул, раздавались удары кирок о камень, заунывно пели колеса тачек, глухо падала чугунная баба на дерево свай, плакала «дубинушка», стучали топоры, обтесывая бревна, и на все голоса кричали темные и серые, хлопотливые фигурки людей...

В одном месте кучка их, громко ухая, возилась с большим осколком горы, стараясь сдвинуть его с места, в другом подымали тяжелое бревно и, надрываясь, кричали:

– Бе-е-ри-и!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
И гора, изрытая трещинами, глухо повторяла: и-и-и!

По ломаной линии досок, набросанных тут и там, медленно двигалась вереница людей, согнувшись над тачками, нагруженными камнем, и навстречу им шла другая с порожними тачками, шла медленно, растягивая одну минутку отдыха на две... У копра стояла густая пестрая толпа народа, и в ней кто-то протяжно тенором выпевал:

И-эх-ма, бра-атцы, дюже жарко!
И-эх! Никому-то нас не жалко!
О-ой, ду-убинушка,
У-ухнем!

Мощно гудела толпа, натягивая тросы, и кусок чугуна, взлетая вверх по дудке копра, падал оттуда, раздавался тупой охающий звук, и копер вздрагивал.

На всех точках площади между горой и морем сновали маленькие серые люди, насыщая воздух своим криком, пылью, терпким запахом человека. Среди них расхаживали распорядители в белых кителях с металлическими пуговицами, сверкавшими на солнце, как чьи-то желтые холодные глаза.

Море спокойно раскинулось до туманного горизонта и тихо плещет своими прозрачными волнами на берег, полный движения. Сияя в блеске солнца, оно точно улыбалось добродушной улыбкой Гулливера, сознающего, что, если он захочет, одно движение – и работа лилипутов исчезнет.

Оно лежало, ослепляя глаза своим блеском, – большое, сильное, доброе, его могучее дыхание веяло на берег, освежая истомленных людей, трудящихся над тем, чтобы стеснить свободу его волн, которые теперь так кротко и звучно ласкают изуродованный берег. Оно как бы жалело их: века его существования научили его понимать, что не те злоумышляют против него, которые строят; оно давно уже знает, что это только рабы, их роль бороться со стихиями лицом к лицу, а в этой борьбе готова и месть стихии им. Они всё только строят, вечно трудятся, их пот и кровь – цемент всех сооружений на земле; но они ничего не получают за это, отдавая все свои силы вечному стремлению соорудить, – стремлению, которое создает на земле чудеса, но все-таки не дает людям крова и слишком мало дает им хлеба. Они – тоже стихия, и вот почему море не гневно, а ласково смотрит на их труд, от которого им нет пользы. Эти серые маленькие черви, так источившие гору, – то же самое, что и его капли, которые первыми идут на неприступные и холодные скалы берегов в вечном стремлении моря расширить свои пределы и первыми гибнут, разбиваясь о них. В массе эти капли тоже родственны ему, тогда они совсем как море, – так же мощны и так же склонны к разрушению, чуть только веяние бури пронесется над ними. Морю издревле ведомы и рабы, строившие пирамиды в пустыне, и рабы Ксеркса, смешного человека, который думал наказать море тремястами ударов за то, что оно поломало его игрушечные мосты. Рабы всегда были одинаковы, они всегда повиновались, их всегда плохо кормили, и они вечно исполняли великое и чудесное, иногда обоготворяя тех, кто заставлял их работать, чаще проклиная их, изредка возмущаясь против своих владык...

Тихо взбегают волны на берег, усеянный толпой людей, созидающих каменную преграду их вечному движению, взбегают и поют свою звучную ласковую песню о прошлом, о всем, что в течение веков видели они на берегах этой земли...

...Среди работавших были какие-то странные, сухие, бронзовые фигуры в красных чалмах, в фесках, в синих коротких куртках и в шароварах, узких у голени, но – с широкой мотней. Это, как я узнал, анатолийские турки. Их гортанный говор мешался с протяжным, растянутым говорком вятичей, с крепкой, быстрой фразой волгарей, с мягкой речью хохлов.

В России голодали, голод согнал сюда представителей чуть ли не всех охваченных несчастьем губерний. Они делились на маленькие группы, стараясь держаться земляк к земляку, и только космополиты-босьяки сразу выделялись – и своим независимым видом, и костюмами, и особым складом речи – из людей, еще находившихся во власти земли, лишь временно порвавших с нею связь, оторванных от нее голодом и не забывших о ней. Они были во всех группах: и среди вятичей, и среди хохлов, всюду чувствуя себя на своем месте, но большинство их собралось у копра, как у работы – сравнительно с работой на тачках и с киркой – более легкой.

Когда я подошел к ним, они стояли, опустив руки с веревкой, дожидаясь, когда нарядчик исправит что-то в блоке копра, должно быть, «заедавшем» веревку. Он

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
копался там вверху деревянной башни, то и дело крича оттуда:

– Дерни!

Веревку лениво дергали.

– Сто-ой!.. Ище дерни. Сто-ой! П`шел!..

Запевала – давно не бритый малый, с рябым лицом и солдатской выправкой – повел плечами, скосил в сторону глаза, откашлялся и завел:

– Ба-аба сваю в землю гонит..

Следующий стих не выдержал бы даже и самой снисходительной цензуры и вызвал единодушный взрыв хохота, явившись, очевидно, импровизацией, только что созданной запевалой, который, под смех товарищей, крутил себе усы с видом артиста, привыкшего к такому успеху у своей публики.

– Поше-ол! – неистово заорал сверху копра нарядчик. – Заржали!..

– Митрич, – лопнешь!.. – предупредил его один из рабочих.

Голос был мне знаком, и я где-то видел эту высокую широкоплечую фигуру с овальным лицом и большими голубыми глазами. Это – Коновалов? Но у Коновалова не было шрама от правого виска к переносью, рассекавшего высокий лоб этого парня; волосы Коновалова были светлее и не вились такими мелкими кудрями, как у этого; у Коновалова была красивая широкая борода, этот же брился и носил густые усы концами книзу, как хохол. И тем не менее в нем было что-то хорошо знакомое мне. Я решил с ним заговорить о том, к кому тут нужно обратиться, чтоб «встать на работу», и стал дожидаться, когда перестанут бить сваю.

– О-о-ух! о-о-ох! – могуче вздыхала толпа, приседая, натягивая веревки и снова быстро выпрямляясь, как бы готовая оторваться от земли и взлететь на воздух. Копер скрипел и дрожал, над головами толпы поднимались обнаженные, загорелые и волосатые руки, вытягиваясь вместе с веревкой; их мускулы вздувались шишками, но сорокапудовый кусок чугуна взлетал вверх всё на меньшее расстояние, и его удар о дерево звучал всё слабее. Глядя на эту работу, можно было подумать, что это молится толпа идолопоклонников, в отчаянии и экстазе вздымая руки к своему молчаливому богу и преклоняясь пред ним. Облитые потом, грязные и напряженные лица с растрепанными волосами, приставшими к мокрым лбам, коричневые шеи, дрожащие от напряжения плечи – все эти тела, едва прикрытые разноцветными рваными рубахами и портами, насыщали воздух вокруг себя горячими испарениями и, слившись в одну тяжелую массу мускулов, неуклюже возились во влажной атмосфере, пропитанной зноем юга и густым запахом пота.

– Шабаш! – крикнул кто-то злым и надорванным голосом.

Руки рабочих выпустили веревки, и они слабо повисли вдоль копра, а рабочие грузно опустились тут же на землю, отирая пот, тяжело вздыхая, поводя спинами, щупая плечи и наполняя воздух глухим ропотом, похожим на рычание большого раздраженного зверя.

– Земляк! – обратился я к облюбованному малому. Он лениво обернулся ко мне, скользнул по моему лицу своими глазами и сощурил их, пристально всматриваясь в меня.

– Коновалов!

– Постой... – он запрокинул рукой мою голову назад, точно собираясь схватить меня за горло, и вдруг весь вспыхнул радостной и доброй улыбкой.

– Максим! Ах ты... ан-нафема! Дружок... а? И ты сорвался со стези-то своей? В босые приписался? Ну вот и хорошо! Отлично! Давно ты? Откуда ты идешь? Мы теперь с тобою всю землю ошагаем! Какая там жизнь... сзади-то? Тоска одна, канитель; не живешь, а гниешь! А я, брат, с той самой поры гуляю по белу свету. В каких местах бывал! Какими воздухами дышал... Нет, как ты обрядился ловко... не узнать: по одеже – солдат, по роже – студент! Ну что, хорошо так жить, с места на место? А ведь Стеньку-то я помню... И Тараса, и Пилу... всё!..

Он толкал меня в бок кулаком, хлопал своей широкой ладонью по плечу. Я не мог вставить ни слова в залп его вопросов и только улыбался, глядя в его доброе лицо, сиявшее удовольствием встречи. Я был тоже рад видеть его, очень рад; встреча с ним напомнила мне начало моей жизни, которое, несомненно, было лучше ее продолжения.

Наконец мне удалось – таки спросить старого приятеля, откуда у него шрам на лбу и кудри на голове.

– А это, видишь ты... история одна была. Думал было я пробраться втроем с товарищами через румынскую границу, посмотреть хотели, как там, в Румынии. Ну, вот и отправились из Кагула – местечко этакое есть в Бессарабии, около самой границы. Ночью, конечно, потихоньку идем себе. Вдруг: стой! Кордон таможенный, прямо на него налезли. Ну – бежать! Тут меня один солдатик и съездил по башке. Не больно важно ударил, а все-таки с месяц я провалялся в госпитале. И какая ведь история! Солдат-то земляком оказался! Наш, муромский!.. Его тоже скоро в госпиталь положили – контрабандист его испортил, ножом в живот ткнул. Очухались мы и разобрались в делах-то. Солдат спрашивает у меня: «Это, говорит, я тебя полоснул?» – «Надо быть, ты, коли признаешь». – «Должно, я, говорит: ты, говорит, не сердись – служба такая. Мы думали, вы с контрабандой идете. Вот, говорит, и меня уважили – брюхо подпорили. Ничего не поделаешь: жизнь – игра серьезная». Ну, мы и подружился с ним. Хороший солдатик – Яшка Мазин.. А кудри? Кудри? Кудри, брат ты мой, это после тифа. Тиф у меня был. Посадили меня в Кишиневе в тюрьму, желая судить за самовольное прохождение границы, а там у меня и разыгрался тиф... Валялся я с ним, валялся, насилу встал. Надо быть, даже и не встал бы, да сиделка очень уж за меня хлопотала. Я, брат, просто диву дался – возится со мной, как с детей, а на что я ей нужен? «Марья, говорю, Петровна, бросьте вы эту музыку; чай, мне совестно!» А она знай себе посмеивается. Добрая девица... Душеспасительное мне читала иногда. Ну, а я говорю – нет ли, мол, чего этакого? Принесла книгу насчет англичанина-матроса, который спасся от кораблекрушения на безлюдный остров и устроил на нем себе жизнь. Интересно, страх как! Очень мне понравилась книга; так бы туда к нему и поехал. Понимаешь, какая жизнь? Остров, море, небо – ты один себе живешь, и всё у тебя есть, и ты свободен! Там еще дикий был. Ну, я бы дикого утопил – на кой черт он мне нужен! Мне и одному не скучно. Ты читал такую книгу?

– Ну, а как же ты вышел из тюрьмы?

– А – выпустили. Посудили, оправдали и выпустили. Очень просто... Вот что: я сегодня больше не работаю, ну ее к лешему! Ладно, навихлял себе руки, и будет. Денег у меня есть рубля три да за сегодняшние полдня сорок копеек получу. Вон сколько капитала! Значит, пойдем со мной к нам... Мы не в бараке, а тут поблизости, в горе... дыра там есть такая, очень удобная для человеческого жительства. Вдвоем мы квартируем в ней, да товарищ болеет – лихорадка его скрючила... Ну, так ты посиди тут, а я к подрядчику... я скоро!..

Он быстро встал и пошел как раз в то время, когда сваебойцы брались за веревку, начиная работу. Я остался сидеть на камне, поглядывая на шумную суету, царившую вокруг меня, и на спокойное синевато-зеленое море.

Высокая фигура Коновалова, быстро шмыгая между людей, груд камня, дерева и тачек, исчезала вдали. Он шел, размахивая руками, одетый в синюю кретоновую блузу, которая была ему коротка и узка, в холщовые порты и в тяжелые опорки. Шапка русых кудрей колыхалась на его большой голове. Иногда он оборачивался назад и делал мне руками какие-то знаки. Весь он был какой-то новый, оживленный, спокойно уверенный и сильный. Всюду вокруг него работали, трещало дерево, раскалывался камень, уныло визжали тачки, вздымались облака пыли, что-то с грохотом падало, и люди кричали, ругались, ухали и пели, точно стоная. Среди всей этой путаницы звуков и движений красивая фигура моего приятеля, удалявшегося куда-то твердыми шагами, очень резко выделялась, являясь как бы намеком на что-то, объясняющее Коновалова.

Часа через два после встречи мы с ним лежали в «дыре, очень удобной для человеческого жительства». На самом деле «дыра» была весьма удобна – в горе когда-то давно брали камень и вырубали большую четырехугольную нишу, в которой можно было вполне свободно поместиться четверым. Но она была низка, и над входом в нее висела глыба камня, изображая собой как бы навес, так что для того, чтобы

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
попасть в дыру, следовало лечь на землю перед ней и потом засовывать себя в нее. Глубина ее была аршина три, но влезать в нее с головой не представлялось надобности, да и было рискованно, ибо эта глыба над входом могла обвалиться и совсем похоронить нас там. Мы не хотели этого и устроились так: ноги и туловища сунули в дыру, где было очень прохладно, а головы оставили на солнце, в отверстии дыры, так что если бы глыба камня над нами захотела упасть, то она только раздавила бы нам черепа.

Большой босяк весь выбрался на солнце и лег около нас шагах в двух, так что мы слышали, как стучали его зубы в пароксизме лихорадки. Это был сухой и длинный хохол: «з Пíлтавы», – задумчиво сказал он мне.

Он катался по земле, стараясь плотнее закутаться в серый балахон, сшитый из одних дыр, и очень образно ругался, видя, что все его усилия тщетны, ругался и все-таки продолжал кутаться. У него были маленькие черные глаза, постоянно прищуренные, точно он всегда что-то пристально рассматривал.

Солнце невыносимо пекло нам затылки, Коновалов устроил из моей солдатской шинели нечто вроде ширмы, воткнув в землю палки и распялив на них шинель. Издали долетал глухой шум работ на бухте, но ее мы не видели, справа от нас лежал на берегу город тяжелыми глыбами белых домов, слева – море, пред нами – оно же, уходившее в неизмеримую даль, где в мягких полутонах смешались в фантастическое марево какие-то дивные и нежные, невиданные краски, ласкающие глаз и душу неуловимой красотой своих оттенков...

Коновалов смотрел туда, блаженно улыбался и говорил мне:

– Сядет солнце, мы запалим костер, вскипятим чай, есть у нас хлеб, есть мясо. Хочешь арбуза?

Он выкатил ногой из угла ямы арбуз, достал из кармана нож и, разрезая арбуз, говорил:

– Каждый раз, как я бываю у моря, я всё думаю – чего люди мало селятся около него? Были бы они от этого лучше, потому оно – ласковое такое... хорошие думы от него в душе у человека. А ну, расскажи, как ты сам жил в эти годы?..

Я стал рассказывать ему. Море вдаль уже покрылось багрецом и золотом, навстречу солнцу поднимались розовато-дымчатые облака мягких очертаний. Казалось, что со дна моря встают горы с белыми вершинами, пышно убранными снегом, розовыми от лучей заката.

– Совсем напрасно ты, Максим, в городах трешься, – убедительно сказал Коновалов, выслушав мою эпопею. – И что тебя к ним тянет? Тухлая там жизнь. Ни воздуха, ни простору, ничего, что человеку надо. Люди? Люди везде есть... Книги? Ну, будет уж тебе книги читать! Не для этого, поди-ка, ты родился... Да и книги – чепуха. Ну, купи ее, положи в котомку и иди. Хочешь со мной идти в Ташкент? В Самарканд или еще куда?.. А потом на Амур хватим... идет? Я, брат, решил ходить по земле в разные стороны – это всего лучше. Идешь и всё видишь новое... И ни о чем не думается... Дует тебе ветерок навстречу и выгоняет из души разную пыль. Легко и свободно... Никакого ни от кого стеснения: захотелось есть – пристал, поработал чего-нибудь на полтину; нет работы – попроси хлеба, дадут. Так – хоть земли много увидишь... Красоты всякой. Айда?

Солнце село. Облака над морем потемнели, море тоже стало темным, повеяло прохладой. Кое-где уж вспыхивали звезды, гул работы в бухте прекратился, лишь порой оттуда тихие, как вздохи, доносились возгласы людей. И когда на нас дул ветер, он приносил с собой меланхоличный звук шороха волн о берег.

Тьма ночная быстро сгущалась, и фигура хохла, за пять минут перед тем имевшая вполне определенные очертания, теперь уже представляла собою неуклюжий ком...

– Костер бы... – сказал он, покашливая.

– Можно...

Коновалов откуда-то извлек кучку щеп, подпалил их спичкой, и тонкие язычки огня начали ласково лизать желтое смолистое дерево. Струйки дыма вились в ночном

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
воздухе, полном влаги и свежести моря. А вокруг становилось всё тише: жизнь точно отодвигалась куда-то от нас, звуки ее таяли и гасли во тьме. Облака рассеялись, на темно-синем небе ярко засверкали звезды, на бархатной поверхности моря тоже мелькали огоньки рыбацких лодок и отраженных звезд. Костер перед нами расцвел, как большой красно-желтый цветок... Коновалов сунул в него чайник и, обняв колени, задумчиво стал смотреть в огонь. Хохол, как громадная ящерица, подполз к нему.

– Настроили люди городов, домов, собрались там в кучи, пакостят землю, задыхаются, теснят друг друга... Хорошая жизнь! Нет, вот она жизнь, вот как мы...

– Ого, – тряхнул головой хохол, – коли б к ней еще нам на зиму кожухи добыть, а то теплую хату, то и совсем была бы господская жизнь... – Он прищурил один глаз и, усмехнувшись, посмотрел на Коновалова.

– Н-да, – смутился тот, – зима – треклятое время. Для зимы города действительно нужны... тут уж ничего не поделаешь... Но большие города все-таки ни к чему... Зачем народ сбивать в такие кучи, когда и двое-трое ужиться между собой не могут?... Я – вот про что! Оно, конечно, ежели подумать, так ни в городе, ни в степи, нигде человеку места нет. Но лучше про такие дела не думать... ничего не выдумашь, а душу надорвешь...

Я думал, что Коновалов изменился от бродячей жизни, что наросты тоски, которые были на его сердце в первое время нашего знакомства, слетели с него, как шелуха, от вольного воздуха, которым он дышал в эти годы; но тон его последней фразы восстановил предо мной приятеля всё тем же ищущим своей «точки» человеком, каким я его знал. Всё та же ржавчина недоумения пред жизнью и яд дум о ней разъедали могучую фигуру, рожденную, к ее несчастью, с чутким сердцем. Таких «задумавшихся» людей много в русской жизни, и все они более несчастны, чем кто-либо, потому что тяжесть их дум увеличена слепотой их ума. Я с сожалением посмотрел на приятеля, а он, как бы подтверждая мою мысль, тоскливо воскликнул:

– Вспомнил я, Максим, нашу жизнь и всё там... что было. Сколько после того исходил я земли, сколько всякой всячины видел... Нет для меня на земле ничего удобного! Не нашел я себе места!

– А зачем родился с такой шеей, на которую ни одно ярмо не подходит? – равнодушно спросил хохол, вынимая из огня вскипевший чайник.

– Нет, скажи ты мне... – спрашивал Коновалов, – почему я не могу быть покоен? Почему люди живут и ничего себе, занимаются своим делом, имеют жен, детей и всё прочее?... И всегда у них есть охота делать то, другое. А я – не могу. Тошно. Почему мне тошно?

– Вот скулит человек, – удивился хохол. – Да разве ж оттого, что ты поскулишь, тебе полегчает?

– Верно... – грустно согласился Коновалов.

– Я всегда говорю немного, да знаю, как сказать, – с чувством собственного достоинства произнес стоик, не уставая бороться с своей лихорадкой.

Он закашлялся, завозился и стал ожесточенно плевать в костер. Вокруг нас всё было глухо завешено густой пеленой тьмы. Небо над нами тоже было темно, луны еще не было. Море скорее чувствовалось, чем было видимо нам, – так густа была тьма впереди нас. Казалось, на землю спустился черный туман. Костер гас.

– А поляжемте спать, – предложил хохол.

Мы забрались в «дыру» и легли, высунув из нее головы на воздух. Молчали. Коновалов как лег, так и остался неподвижен, точно окаменел. Хохол неустанно возился и всё стучал зубами. Я долго смотрел, как тлели угли костра: сначала яркий и большой, уголь понемногу становился меньше, покрывался пеплом и исчезал под ним. И скоро от костра не осталось ничего, кроме теплого запаха. Я смотрел и думал:

«Так и все мы... Хоть бы разгореться ярче!» ...Через три дня я простился с Коноваловым. Я шел на Кубань, он не хотел. Но мы оба расстались в уверенности,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
что встретимся.

Не пришлось...

1897

Болезнь

Один знакомый вот что рассказал мне:

«Когда я был в Москве студентом, мне довелось жить рядом с одной из „этих“, – знаешь? Она была полька, звали ее Тереза. Высокая такая, сильная брюнетка, с черными сросшимися бровями и с лицом большим, грубым, точно вырубленным топором, – она приводила меня в ужас животным блеском своих томных глаз, густым, басовитым голосом, извозчичьими ухватками, всей своей громадной мускулистой фигурой рыночной торговки... Я жил на чердаке, и ее дверь была против моей. Я, бывало, никогда не отворял моей двери, если знал, что она дома. Но это, конечно, случалось редко. Иногда мне приходилось встречаться с ней на лестнице, на дворе, и она улыбалась мне улыбкой, которую я считал хищной и циничной. Не раз я видел ее пьяной, с осовелыми глазами, растрепанной, улыбающейся как-то особенно безобразно. В таких случаях она говорила мне:

– Бывайте здоровы, пане студент! – и глупо хохотала, увеличивая мое отвращение к себе. Я бы съехал с квартиры, чтоб избавиться от таких встреч и приветствий, но у меня была такая миленькая комнатка, с широким видом из окна, и так тихо было в этой улице... Я терпел.

И вдруг, однажды утром лежу я на койке, стараясь найти какие-либо основания для того, чтоб не идти на лекции, – отворяется дверь, и эта отвратительная Тереза возглашает с порога басом:

– Бывайте здоровы, пане студент!

– Что вам угодно? – говорю. Вижу – лицо у нее смущенное, просительное... Необычное для нее лицо.

– Видите ли, пане, буду я вас просить об одном деле... уж вы сделайте мне его!

Я лежу, молчу и думаю:

„Подвох! Покушение на мою чистоту, ни больше ни меньше. Крепись, Егор!“

– Нужно бы мне, видите, письмо послать на родину, – говорит она, и так умоляюще, тихо, робко.

„Э, думаю, черт с тобой, изволь!“ Встал, сел к столу, взял бумагу и говорю:

– Проходите сюда, садитесь и диктуйте...

Она проходит, осторожно садится на стул и виновато смотрит на меня.

– Ну-с, кому письмо?

– По Варшавской дороге, в город Свенцяны, Болеславу Кашпуту...

– Что писать? Говорите...

– Милый мой Болесь... сердце мое... Мой верный возлюбленный... да сохранит тебя мать божия! Золотое мое сердце... почему ты так давно не писал своей тоскующей голубке Терезе...

Я чуть-чуть не расхохотался. „Тоскующая голубка“ двенадцати вершков роста, с пудовым кулачищем и с такой черной рожей, как будто голубка всю жизнь трубы чистила и ни разу не умывалась! Сдержался кое-как, спрашиваю:

– Он – кто, этот Болесь?

– Болесь, пане студент, – как будто обиделась она на меня за то, что я исковеркал имя. – Он жених мой...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– жених??!

– А чего же пан так удивился? Разве ж у меня, у девушки, не может быть жениха?

У нее, у девушки?!

– О, почему же! Всё бывает... А давно он ваш жених?..

– Шестой год...

„Ого-го!“ – думаю я. Ну, написали мы письмо. Такое, я вам скажу, нежное и любовное, что я бы сам, пожалуй, поменялся местом с эгим Болесем, если б корреспонденткой была не Тереза, а что-нибудь другое, поменьше ее.

– Вот, спасибо нам, пане, за услугу! – говорит мне Тереза, кланяясь. – Может, и я могу нам чем послужить?

– Нет, покорно благодарю!

– А может, у пана рубаха или штаны в дырках?

Чувствую, что этот мастодонт и юбке вогнал меня в краску, и довольно резко заявляю, что не нуждаюсь и ее услугах.

Ушла.

Прошло недели две... Вечер. Сижу под окном и свищу, думая, чем бы мне отвлечь себя от себя. Скучно, погода скверная, идти никуда не хочется, и от скуки я занимался самоанализом, помню, что тоже довольно-таки скучно, но больше ничего делать не хотелось. Отворяется дверь – слава богу! – кто-то пришел...

– А что, пан студент не займется никаким спешным делом?

Тереза! Гм...

– Нет... а что?

– Хотела бы попросить пана еще письмо написать...

– Извольте... К Болесю?..

– Нет, теперь уж от него...

– Что-о?

– О, глупая женщина! Не так я, пане, сказала, простите! Теперь уж, видите ли, нужно не мне, а одной подруге... то есть, не подруге, а... одному знакомому... Он сам не пишет... а у него есть невеста, как я же вот... Тереза... Так вот, может быть, пан напишет письмо к той Терезе?

Смотрю я на нее – рожа у нее смущенная, пальцы дрожат, путается чего-то – и... догадываюсь!

– Вот что, сударыня, – говорю, – никаких Болесей и Терез у вас нет, и всё это вы врете. А около меня вам не обрыбиться, и в знакомство вступать я с вами не хочу... Поняли?

Она вдруг как-то странно испугалась, растерялась, начала топтаться на одном месте и стала смешно шлепать губами, желая что-то сказать, и ничего не говоря. Я жду, что из всего этого воспоследует, и вижу, и чувствую, что, кажется, немного ошибся, заподозрив ее в желании совратить меня с путей благочестия. Тут как будто бы что-то другое.

– Пан студент, – начала она и вдруг, махнув рукой, круто повернулась к двери и ушла. Я остался с очень скверным чувством на душе, слышу – у нее хлопнула дверь, громко так – рассердилась, видно, бабища... Подумал и решил – пойду к ней и, позвав ее сюда, напишу ей все, что там надо.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Вхожу в ее комнату – вижу, она сидит у стола, облокотилась на него и голову
сжала руками.

– Послушайте, – говорю...

..Всегда вот, когда я рассказываю эту историю и дойду до этого места, ужасно
нелепо чувствую себя... такая глупость! Д-а...

– Послушайте, – говорю...

Она вскакивает с места, идет на меня, сверкая глазами, и начинает, положив мне
руки на плечи, шептать – вернее, гудеть своим басом...

– Ну, что ж? Ну? Так! Нет никакого Болеся, нет... И Терезы тоже нет! А вам что?
Вам трудно поводить пером по бумаге, да? Ах, вы! А еще такой... беленький! Никого
нет, ни Болеся, ни Терезы, только я одна есть! Ну, что ж! ну?

– Позвольте, – говорю я, ошеломленный этим приемом, – в чем дело? Болеся нет?

– Да, нет! Так что ж?

– А Терезы – тоже нет?

– И Терезы – нет! Я – Тереза!

Ничего не понимаю! Таращу на нее глаза и пытаюсь определить, кто из нас сошел с
ума. А она ушла опять к столу, порылась там, идет ко мне и обиженно говорит:

– Если вам уж так трудно было написать Болесю, то вот оно, ваше писанье,
возьмите! А мне и другие напишут...

Вижу – в руке у меня письмо к Болесю. Ф-фу!

– Слушайте, Тереза! Что все это значит? Зачем вам нужно, чтобы писали другие,
если я вот написал, а вы его не послали?

– Куда?

– А к этому... к Болесю?

– Да его же нет!

Решительно ничего не понимаю! Оставалось только плюнуть и уйти. Но она
объяснилась.

– Что же? – обиженно заговорила она. – Нет его, так и нет! – И развела руками,
как бы не понимая – почему же это его нет? – А мне хочется, чтоб он был... Разве ж
я не человек, как все? Конечно, я... я знаю... Но ведь никому нет вреда от того, что
я пишу ему...

– Позвольте – кому?

– Да Болесю ж!

– Да ведь его нет?

– Ах, иезус-Мария! Ну что же, что нет, – ну? Нет, а будто бы есть!.. Я пишу к
нему, ну, и выходит, как бы он есть... А Тереза – это я, и он мне отвечает, а я
опять ему...

Я понял... Мне стало так больно, так скверно, так стыдно чего-то. Рядом со мной, в
трех шагах от меня, живет человек, у которого нет на земле никого, кто бы мог
отнестись к нему любовно, сердечно, и этот человек выдумывает себе друга!

– Вот вы мне написали письмо к Болесю, а я его дала другому прочитать, и когда
мне читают, я слушаю и думаю, что Болесь есть! И прошу написать письмо от Болеся
к Терезе... ко мне. Когда такое письмо мне напишут да читают, я уж совсем думаю,
что Болесь есть. А от этого мне легче живется...

..Да-с... Черт возьми!.. Ну, я с той поры аккуратно стал два раза в неделю писать письма к Болесю и ответ от Болеся – Терезе. Хорошо я писал эти ответы... Она, бывало, слушает их и ревет... басом таким редела. И за то, что я вызывал у нее письмами к ней от воображаемого Болеся слезы, она мне бесплатно чинила все дырки на носках, рубахах и прочем... Потом, месяца через три после этой истории, ее посадили за что-то в тюрьму. А теперь она, наверное, умерла».

..Мой знакомый сдунул пепел с папиросы, задумчиво посмотрел в небо и закончил:

«Н-да-с... Чем больше человек вкусил горького, тем свирепее жаждет он сладкого. А мы этого не понимаем, облеченные в наши ветхие добродетели и глядя друг на друга сквозь дымку самомнения и убеждения в нашей всяческой непогрешимости.

Выходит довольно глупо и... очень жестоко. Дескать, падшие люди... А что такое падшие люди? Прежде всего – люди, та же самая кость, кровь, то же мясо и те же нервы, как и у нас. Говорят нам об этом целые века изо дня в день. А мы слушаем и... черт знает как это все нелепо! В сущности, сами-то мы тоже падшие и, пожалуй, очень даже глубоко падшие... в пропасть всяческого самомнения и убеждения в превосходстве наших нервов и мозгов над мозгами и нервами тех людей, которые только менее хитры, чем мы, хуже умеют притворяться хорошими, чем мы притворяемся... А впрочем, будет об этом. Так все это старо... что даже совестно говорить...»

1897

Ярмарка в Голтве

Местечко Голтва стоит на высокой площади, выдвинувшейся в луга, как мыс в море. С трех сторон обрезанная капризным течением Псла, эта ровная площадь открывает широкие горизонты на север, запад и восток, и в южной части ее столпились в живописную группу белые хатки Голтвы, утопающие в зелени тополей, слив и черешен. Из-за хат вздымаются в небо пять глав деревянной церкви, простенькой и тоже белой. Золотые кресты отражают снопы солнечных лучей и, теряя в блеске солнца свои формы, – похожи на факелы, горящие ярким пламенем.

На восток раскинулась равнина обработанных полей – вплоть до горизонта пестреют квадраты, желтые и темные; среди них там и тут стоят пышные, зеленые левады, белые хатки прячутся в садах, дороги выются меж хлебов, как змеи, стада вдали на выгонах – как игрушечные. На западе площадь крутым обрывом опускается к быстро текущему Пслу; его вода блестит на солнце серебром, на берегах стоят вербы и осоки; за Пслом опять поля до горизонта и опять на них куски яркой зелени, полосы созревшего хлеба и белые пятна хуторов. Хутора, в рамках из тополей и верб, – всюду, куда ни взглянешь... Густо засеяна людьми благодатная земля Украины!

Над громадным пространством, тесно заставленным возами, тысячеголосый говор стоит в воздухе, знойном и пыльном. Всюду толкуются, спорят и «регочуть» «чоловіки», горохом рассыпаются бойкие речи «жінок». Десять хохлов в минуту выпускают из себя столько слов, сколько в то же время наговорят трое евреев, а трое евреев скажут в ту же минуту не более одного цыгана. Если сравнить, то хохла следует применить к пушке, еврея к скорострельному ружью, а цыган – это митральеза. Черные лица, черные волосы и белые хищные зубы цыган так и мелькают в толпе; их характерная, гортанная речь трещит в ушах, – за ней не успеваешь следить. Их проворные движения и жесты красивы, но заставляют опасаться, быстрые темные глаза с синеватыми белками сверкают хитростью и нахальством. Ловкие, гибкие, они являются ласковыми лисицами басен и скалят зубы, как голодные волки. Четверо из них осаждают какого-то «чоловіка», уже сбитого с толку и растерявшегося под градом убедительных речей, осыпающих его немудрую голову. Он стоит среди них, усердно чешет затылок и тяжело соображает. У него на поводу молоденькая лошаденка. Ее осаждают оводы с таким же усердием и жаром, как ее хозяйина – цыгане. Вокруг этой группы толпа, внимательно следящая за ходом сделки.

– Підождіть!.. – говорит хохол.

– Не хочу! – восклицает цыган. – Что мне ждять: хиба ж я с того, что подожду, гроши зароблю? Я тебе говорю прямо, как перед богом: моя лошадь такая, что и сам полтавский губернатор на ней поехал бы куда хочешь – хоть в Петербург! Вот на – какая моя лошадь! А что твоя? Только тем она на мою и похожа, что у нее тоже

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
четыре ноги и хвост! А какой у нее хвост? Это стыд, дядько, стыд, а не хвост...

Цыган ожесточенно дергает лошадь за хвост, щупает ее всюду и руками и глазами и всё говорит, говорит. Его товарищи пренебрежительно советуют ему:

– Э, брось! Что тебе хочется в убыток меняться? Вот дурной!.. Брось...

– В убыток? Ну, и буду меняться в убыток! Разве ж я моему коню и карману не хозяин? Мне человек нравится, и я хочу человеку доброе сделать! Дядько! Молитесь Господу!..

Хохол снимает шапку, и они оба истово крестятся на церковь.

– Ну, господи благослови! – восклицает цыган. – Берите ж моего коня и помните мое доброе сердце... Берите его и давайте мне пять карбованцев придачи... Вот и всё!.. Конечно!.. Давайте руки...

Хохол из всей силы бьет ладонью по ладони цыгана и говорит:

– Два дам!

– Э! четыре с половиной!

– Два!

Цыган так шлепнул по руке хохла, что тот потряс ею в воздухе и потом внимательно осмотрел свою ладонь, как бы удостовераясь – цела ли?

– Четыре ровно!

– Два! – упорно стоит на своем хохол.

– Ну, – утомленно говорит цыган, – идите ж теперь к вашей жінке и расскажите ей, какой вы дурень...

– Два! – говорит хохол.

– Вот что, – молитесь богу!

Снова молятся и снова бьют руки друг друга.

– Ну, берите же на свое счастье, мне в убыток: не хочу я с вас, добрый человек, лишних грошей брать, коли нет их у вас в кармане... Даете три с полтиной?

– Ни, – качает головой хохол, оглядывая лошадь цыгана, понурую и шершавую.

– Три с четвертью?

– Ни...

– Чтоб ваша жінка сказала вам сто раз «ни», когда вы у нее борща попросите! Даете три гладких карбованца? И то не даете? Так берите ж за вашу цену. Э, пропали мои гроши и конь хороший!

Лошадей передают из полы в полу, и хохол уходит, ведя на поводу выменянную крупную рыжую кобылу, равнодушно переступающую разбитыми ногами. Морда у нее печальная, и уныло смотрят ее тусклые глаза на толпу людей.

Скоро хохол возвращается назад. Он идет торопливо, так что лошадь едва поспевает за ним; лицо у него сконфуженное и растерянное. Цыгане смотрят навстречу ему спокойно и разговаривают о чем-то на своем странном языке.

– Це діло не законно, – покачивая головой, говорит хохол, подходя к ним.

– Какое дело? – осведомляется один из цыган.

– А це... Як же вы мені...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– А что мы тобі?..

– Подождіть!.. Як же...

– А як же?

– Да подождіть же!

– А чего ждатель? Когда кобыла родит? Да ты ж, дядько, еще и не венчался с ней!

В толпе хохот. Бедняга хохол апеллирует к ней.

– Добрые люди – ратуйте! Воны мені беззубу коняку на місто моей зубатой наміняли!

Толпа не любит неловких так же, как и слабых. Она становится на сторону цыган...

– А де ж у тебе очи булы? – спрашивает хохла сивый старик.

– Не май з цыганами діла! – поучительно заявляет другой.

Обманутый рассказывает, что он смотрел зубы у коня, но на верхние не обратил внимания, а из них три оказываются сломанными. Должно быть, коня когда-то сильно ударили по морде и сломали ему три зуба. Куда он годится такой? Он есть не может, – вон у него какой вздутый живот. Человека два-три из толпы начинают защищать хохла. Возникает гвалт, и громче всех кричит, не уставая, цыган...

– Э, добрый чоловік! чого ж ты затівав таку заворуху? Хиба ты не знаешь, як треба конів купуваты? Коні купуваты – як жінку выбираты, все одно, таке ж важне діло... Слухай, я тобі скажу одну казку... Як булы на світі три братика, двое розумні, а третій дурень – ось як ты або ж я...

Товарищи цыгана тоже орут во всю глотку, оправдывая его; хохлы лениво ругаются в ответ; толпа становится всё гуще и теснее...

– Що ж мені зостається, добрі люди? – горестно вопрошает обиженный.

– Ходы до урядника! – кричат ему.

– А и пойду! – решает он.

– Стой, чоловіче! – останавливает его цыган. – Разорить меня хочешь? Разорь! Давай мне три карбованца – я твою лошадь назад виддам! Желаеть? Давай два! Желаеть? Ну, иди и жалуйся...

Хохлу не особенно приятно «тягать к ділу» урядника, и он задумывается. Со всех сторон ему дают советы, но он остается глух и нем, решая что-то про себя. Наконец решил...

– Ну, от що, – уныло говорит он цыгану, – нехай бог тебя судит... Отдай мені моего коня, а два карбованца, що ты в придачу узял, – твои... Триста трясців тобі у боки – грабь!

И цыган ограбил его с таким видом, точно великую милость ему оказал.

– Догадливі люди! – похваливали «чоловіки» цыган, отходя от них.

– Деготь московский, атличный, фабричный, аккуратный, аппаратный, пахучий, тягучий! Шесть копеек кварта, пятнадцать четверть! – возглашает черниговец, восседающий на телеге. Телега, бочка и сам торговец – все это черно и жирно от дегтя и всё двигается одной сплошной массой, распространяя вокруг себя характерный аромат.

– А, мабудь, и по пять за кварту продадите? – справляется у дегтярника «чоловік» в необычайно широких штанах и в соломенной шляпе на голове.

– Тпру-у! По пять не могу, хозяину на шесть копеек присягал...

- А, мабуть, можно по пять?
- Никак...
- Эге... Зовсім не можно?
- Слушай, дядько, продам тебе по пять, не говори только никому... Не скажешь?
- Ни, не скажу...
- Ну, давай баклажку.
- На що?
- А на деготь!
- Та мені того вашего дегтя не треба, бо я вже купив... И теж по шість копійек и теж у вас... Я спросив вас за тим, що, мабуть, вы теперь дешевле видаете цей деготь.

Дегтярник молча отвертывается, трогает лошадь и едет между возов, возглашая о своем товаре... «Чоловік» провожает его взглядом и говорит другому, раскинувшемуся на возу:

- Коли б я не куповал кварта дегтя утром, была бы в мене копійка лишня у кишень...
- Эге ж... жарко!
- Як у пекли...
- Хиба ж твой батько писав тобі з пекла, як там жарко? – спрашивают с воза.

Томящий зной всё усиливается. Запах дегтя, навоза и пота висит в воздухе вместе с тонкой пеленой едкой пыли. Всюду у возов стоят и лежат вола, жуют, не уставая, сено и смотрят в землю большими добрыми глазами. Кажется, что они думают: у них такие осмысленные морды и в глазах светится спокойная, привычная печаль. Мычат коровы и телята, блеют овцы, раздаётся звон кос, пробуемых покупателями. «Чоловіки», приехавшие продавать скот или руно, лежат под возами, скрываясь от солнца и ожидая покупателей. «Чоловіки» покупающие расхаживают между возами, высматривая скот и шагая через ноги продавцов, разбросанные на земле. У каждого покупателя в руке кнут, и, подходя к волам, покупатель считает нужным вытянуть смиренную скотину по боку кнутом. Вола медленно поднимаются на ноги, если они лежали, и тяжело двигаются от удара, если стояли на ногах.

- Скільки за цю пару просите? – спрашивает покупатель пространство...

Из-под воза раздаётся неторопливый ответ:

- Девяносто рублів...
- И то гроши! – говорит покупатель и отходит или спрашивает:
- А чего ж бы вам, дядько, цілу сотнягу не просить?
- Та вже мені більш того, скільки треба, – не треба грошей. А коли вы вже такой добрый, то давайте и усю сотню – я візьму...
- Спасибо вам... А скільки ж бы ділом узяли?
- Та вже так, щоб не довго балакать, возьму я с вас... девяносто рублів...

Начинается торг. «Чоловіки» не торопятся, – это совсем не в их характере, – и продавец вылезает из-под воза не ранее того, как убедится, что покупатель серьезный. Понемногу горячатся и вот уже бьют друг друга по рукам, молятся по десяти раз и более, расходятся, снова сходятся. Всё делается медленно, но основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой ругани великоруссов, от которой дух в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
груди спирает и глаза на лоб лезут, не слышно, – ее заменяет меткий юмор, щедро украшающий речи. Не слышно и великорусского «тыканья». Сивый дід, у которого безусый хлопец торгует пару молоденьких бычков, так, например, отчитывает покупателя:

– Здається мені, що ви, хлопче, раненько маткину цицьку на люльку зміняли, бо разума у річах ваших не бачу я...

– Та як же, діду! Вони и некрасиви – ось роги якие...

– А хиба ж ви рогами пахати будете? Так купуйте ж собі козлів: у них рога красивейши...

Сыны Израиля вертятся меж возов, как выюны. Они обо всем спрашивают, всё щупают и всё покупают. «Чоловіки» говорят им «ты» и смотрят за ними во все глаза. Паны встречаются с «чоловіками» с чувством собственного достоинства, и в разговоре с паном у хохла сквозь внешнюю почтительность пробивается не одна нотка пренебрежения. Видно, что пан давно уже определен как «ненужна козявка у пчелином рои».

У одного из возов корова, привязанная к нему, вдруг зашаталась и в корчах повалилась на землю. «Жінка», продававшая ее, соскочила с воза и закрутилась вокруг больного животного, как в вихре. Испуг, граничащий с ужасом, выразился на лице бедной женщины, сразу лишившейся надежды продать свою скотину.

– Ой, господи! Ой, добри люде! Ратуйте – що воно таке? що воно? Ой, мати пречистая!

Сразу выросла толпа и принялась горячо обсуждать несчастье. Делали предположения, отчего именно заболела корова и как всего лучше лечить ее. Явился какой-то древний старик, весь, точно плесенью, покрытый лохмотьями, и начал отчитывать корову, творя шепотом молитву. Толпа поснимала шапки и молча ждала результатов моления, изредка крестясь. А корова билась на земле в судорогах, пыталась встать и снова грузно падала. Она тяжело вздыхала, и много боли было в ее кротких глазах. Потом ее хозяин, сняв с головы шапку, стал ею растирать хребет животного, трижды обвел шапкой вокруг рогов, трижды вокруг шеи и столько же вокруг хвоста. И это не помогло. Принесли бутылку дегтя и вылили в глотку животного, потом угостили его скипидаром, наконец явился коновал, угрюмый мужик, с разнообразными инструментами у пояса. Он важно осмотрел корову и пробил ей каким-то ржавым гвоздем вену на шее. Тонкими струйками хлынула густая, черная кровь. Какой-то моралист нашелся в толпе. Он посмотрел на корову и ее хозяина, убитого горем, и сказал:

– От це вам, дядько, божие наказание... Здаецца мені, що хотели вы утаити, яка вона ваша корова... И открыв господь людям вашу думку... От як!

Хохол посмотрел на него и грустно покачал головой.

– Бог мою думку знае... – вздохнул он.

А рядом с этой сценой разыгрывается другая. «Жінка», размахивая руками, как поломанная мельница крыльями, бранит своего «чоловіка». Он сидит на земле, упираясь в нее руками, и блаженно улыбается. Нос у него красный, сияющий, шапка на затылке, ворот рубахи развязался, и солнце бьет ему прямо в грудь и лицо.

– Голодранец ты! Хиба ж морді твоїй не стыдно? Э-э, шибеник! Визьму кнут, та як учну стегать...

– Оле-ена! Утыхо-о-омырся-а! – тянет «чоловік», подмигивая жінке. – Слухай... Я и тобі пивкварти купив.

– О-о! – стонет жінка. – Бесстыжи очи!

Наклонясь к мужу, она с великим трудом приподнимает его с земли и старается засунуть это расслабленное хмелем тело под воз. «Чоловік» стучается головой о колесо и предупреждает жену:

– У кармані штанів скляниця... то як би и... и вона не побилась... э?

Через минуту они оба дружелюбно распивают «пивкварти», и добрая, хотя строгая, супруга уже обложила своего благоверного сеном и одеждой так, что он мог свалиться в любую сторону без риска удариться своей головой о колесо.

Молоденький еврей с ящиком на груди ходит и кричит:

– Роменский табак! Панский табак! Крепчайший табак! Черт курил – дымом жінку уморил.

– От це добрый табачино, коли з его жінки мрут! – замечает какой-то Солопий Черевик.

В центре ярмарки два длинных ряда палаток образуют широкую улицу, сплошь набитую народом. Под одним из полотняных навесов приютился еврей с рулеткой. Его окружает плотная толпа преимущественно молодежи, и из нее то и дело раздаются то угрюмые, то возбужденные голоса:

– Красна! Черна! Чет!

В стороне бледный и встревоженный парубок уговаривает другого:

– Онисиме! Дай же мені карбованец! Бо я, мабуть, и ворочу мои гроши... О, не грать бы мені в ту бісову штуку... Вертыться, вертыться – та и выверне твои карманці...

Остробородый ярославец торгует гребешками, ножичками, книжками, мылом...

– Паж-жалуйте-с! Заграничные товары! Столичные книги! Благовонные мыла! Небесные духи! Молодой юноша! – позвольте вам предложить книжечку для приятного чтения-с? Не угодно ли подробно рассмотреть, очень занимательная история – смерть господина Ивана Ильича, сочинение графа Толстого. При сем же веселая комедия – «Плоды просвещения». Очень тонко осмеяны господа столичные и русские мужики. Продаю за двадцать копеек-с! Графское сочинение – за двугривенный, дешевле никто не продаст! А вот еще не пожелаете ли – «Князь Серебряный»? Про царя Ивана Грозного... по случаю того, как эта книжечка уже читана, – за тридцать пять копеек отдам! Стихи поэта Пушкина-с – по пятаку и по три копейки книжка... Прекрасные стихи самого веселого содержания... «Андрей Бесстрашный, русская повесть»... цена три копейки. «Япанча, татарский наездник, взятие города Казани». О разведении кур – не желаете ли просветиться? Пять копеек цена... Машинка для усов – извольте-с! «Житие иже во святых отца нашего»... Красавица! Купите зеркальце? Душистое мыло есть... Чего-с? За Ивана Ильича гривенник? Напечатано на книжке – двадцать. За гривенник могу продать вот-с «Еврейские рассказы»... Тетка! Ты так гребень ломаешь... Почтенный! купите бритву? «Загробная жизнь, или О том, что ждет душу нашу по смерти»... Весьма полезно знать – цена полтина! Не желаете? «Болезни домашних животных» – полюбопытствуйте! «Веретагианская кухня»... А то вот часики продаю: серебро – как золото, ход самый правильный, цена дешевая... Почтеннейший – мыльца для дочки не желаете ли приобрести?... Последнее слово, милый: за Ивана Ильича – восемнадцать копеек...

Ни одной секунды не молчит этот сухой и поджарый ярославец, продающий сразу двум десяткам покупателей. Его звонкий голос издали влечет к нему народ, и около его лавочки тесная толпа. Одни покупают, другие просто смотрят на продавца и слушают его бойкую, рассыпчатую речь. Здоровенный усатый хохол долго таращил на ярославца большие выпуклые глаза и вдруг расхохотался.

– Чого вы, пане, регочете? – спросил его сосед.

– Та ось він, цей москаль, нехай ему, бісову сыну, гадюка у глотку влізе... Вин зовсім як та молотилка роботає. Доброму чоловіку у місяць стильки не сказати, як вин у час каже...

А у возов с глиняной посудой на Опoшни, – посудой, замечательной по рисункам, но грубоватой по исполнению, – торгуют хохлы. Здесь не торопятся. Вот какая-то разомлевшая от жары женщина с зонтиком в руках подходит, берет макитру – подобие великорусской корчаги – и, рассмотрев ее, спрашивает:

- Сколько грошей?
- За що? – осведомляется продавец, возлежащий под возом на брюхе.
- А за макитру...
- Тридцать пять копеек...
- О, лишечко! та то дуже дорого!
- Хиба ж?
- А звисно! Вон она неровна та корява...
- А що ж вы, пани, с цей макитры стрелять хочеге чи що? Зачим ей буты ровной? Не ружье вона, а макитра.
- Та воно вірно... Ще и не гладка вона та и тускла яка-то...
- Так же то зеркало гладко та блестяще, зеркало, а не макитра...
- Вона и дребезжит...
- О? То значит ся – в ней дирка е.
- То-то е дирка...
- Так вже світ устроен, пани, что у ним усе диряво... Вон и у вас, пани, хусточка з диркой...

Пани краснеет и оправляет платок на груди...

- А вы, пани, подивітеся, може и знайдете крепку макитру.

Пани смотрит макитры, а продавец, неподвижно лежа под возом, смотрит на нее...

- Будьте милостивы, скажите мені – от така хороша? – показывает пани выбранную посудину.
- Це? Зо всих наилучша...

Начинают торговаться. Это длится долго, часто прерываясь паузами, во время которых женщина выдумывает всё новые и новые недостатки макитры, а торговец наслаждается покоем в тени воза. Бойчее торгуют «жінки». Они продают какое-то розовое питье, вишни и тарань. Этой рыбы целые вороха лежат на земле, и, так как ее здесь очень любят, она покупается хорошо. Звонкие голоса женщин так и режут уши.

- Рыба черноморска, керченска, вкусна та солена!
- А вот ще наилучша рыба!

Вечереет. Солнце уже низко над лугами, и пыль, тучей стоящая над ярмаркой, кажется розовой в лучах заката. Гонят скотину на Псел, раздаётся мычание, суровые окрики, кое-где налаживаются песни. Веселые звуки сопилки несутся со стороны погоста. Там, у земляного вала, ограждающего ниву опочивших, собралась толпа хлопцев и, не обращая никакого внимания на «дідові могили», собираются «танцювати» в виду их.

Тополя на погосте тихо качают вершинами, точно протестуя против нарушения мира и тишины в месте упокоения.

А тепери я велька,
Треб-ба мені чоловіка...

- распевают двое пьяных, идя к погосту. Они толкают друг друга плечами и качаются на ногах, как надломленные. У обоих блаженные красные лица, оба они охрипли от усилий петь согласно: один сдвинул шапку на ухо, а другой держит ее в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
руке и дирижирует ею, не замечая, что из нее вылезли и болтаются в воздухе какие-то тряпки и куски пеньки. От погоста навстречу им несется дробный топот ног, с жаром выбивающих гопака, и задорные звуки сопилки. Тени от возов становятся всё длиннее. Жара спадает. С лугов тянет запахом свежескошенного сена. Солнце село, и на небе задумчиво замерли легкие облака, еще розовые от заката. Шум понемногу стихает; люди, изморенные хлопотами и зноем дня, вкладываются спать на воздухе и под возами. Тяжело дышат волю, пережевывая сено; фыркают лошади.

Теперь уже все звуки разрознены и ясно слышны, они не сливаются в тот гул, что оглушал и опьянял в течение дня. Вот раздается торжественная музыка. Около слепого, играющего на фисгармонике, толпа молчаливых людей стоит без шапок и благоговейно слушает музыку.

– Господа сим восхва-а-лим и возблагодарим творца на-а-шего, – поет слепой, сопровождая себя на звучном инструменте. Густые и успокаивающие ноты печально вьются в воздухе над головами молитвенно настроенных людей, покрытых потом и пылью. Иные шепчут что-то – видно, как шевелятся их губы, иные вздыхают... Большинство немо, неподвижно и глубоко серьезно.

А со стороны погоста несется удалая песня, исполняемая могучим хором молодых голосов: «Гей-гей!» – гремит припев.

Слышно, что эта песня складывалась в широкой степи, верхом на конях, во время похода, старыми свободолюбивыми «лыцарями», проливавшими свою бурную и горячую кровь «за віру християнську та вольності козачи»...

– Пойте славу бога нашег-о-о... яко он творец мира и прибежище челове-е-ков, в нем же обрящем упокоение... – поет и играет слепой.

Ночь идет.

Кое-где уже вспыхнули огоньки костров, и вокруг них видны фигуры людей, красноватые в блеске огня. Приятной свежестью веет с лугов, где Псел, темный, красивый и быстрый, стремительно спешит к Днепру и с ним – в море. Вспыхивают звезды...

Ночь идет.

1897

Бывшие люди

I

Въезжая улица – это два ряда одноэтажных лачужек, тесно прижавшихся друг к другу, ветхих, с кривыми стенами и перекошенными окнами; дырявые крыши изувеченных временем человеческих жилищ испещрены заплатами из лубков, поросли мхом; над ними кое-где торчат высокие шесты со скворешницами, их осеняет пыльная зелень бузины и корявых ветел – жалкая флора городских окраин, населенных беднотою.

Мутно-зеленые от старости стекла окон домишек смотрят друг на друга взглядами трусливых жуликов. Посреди улицы ползет в гору извилистая колея, лавируя между глубоких рытвин, промытых дождями. Кое-где лежат поросшие бурьяном кучи щебня и разного мусора – это остатки или начала тех сооружений, которые безуспешно предпринимались обывателями в борьбе с потоками дождевой воды, стремительно стекавшей из города. Вверху, на горе, в пышной зелени густых садов прячутся красивые каменные дома, колокольни церковей гордо вздымаются в голубое небо, их золотые кресты ослепительно блестят на солнце.

В дожди город спускает на Въезжую улицу свою грязь, в сухое время осыпает ее пылью, – и все эти уродливые домики кажутся тоже сброшенными оттуда, сверху, сметенными, как мусор, чьей-то могучей рукой.

Приплюснутые к земле, они усеяли собой всю гору, полугнилые, немощные, окрашенные солнцем, пылью и дождями в тот серовато-грязный колорит, который принимает дерево в старости.

В конце этой улицы, выброшенный из города под гору, стоял длинный двухэтажный выморочный дом купца Петунникова. Он крайний в порядке, он уже под горой, дальше

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
за ним широко разворачивается поле, обрезанное в полуверсте крутым обрывом к реке.

Большой старый дом имел самую мрачную физиономию среди своих соседей. Весь он покривился, в двух рядах его окон не было ни одного, сохранившего правильную форму, и осколки стекол в изломанных рамах имели зеленовато-мутный цвет болотной воды.

Простенки между окон испещряли трещины и темные пятна отвалившейся штукатурки – точно время иероглифами написало на стенах дома его биографию. Крыша, наклонившаяся на улицу, еще более увеличивала его плачевный вид – казалось, что дом нагнулся к земле и покорно ждет от судьбы последнего удара, который превратит его в бесформенную груду полугнилых обломков.

Ворота отворены – одна половинка их, сорванная с петель, лежит на земле, и в щели, между ее досками, проросла трава, густо покрывшая большой, пустынный двор дома. В глубине двора – низенькое закопченное здание с железной крышей на один скат. Самый дом необитаем, но в этом здании, раньше кузнице, теперь помещалась «ночлежка», содержимая ротмистром в отставке Аристидом Фомичом Кувалдой.

Внутри ночлежка – длинная, мрачная нора, размером в четыре и шесть сажен; она освещалась – только с одной стороны – четырьмя маленькими окнами и широкой дверью. Кирпичные, нештукатуренные стены ее черны от копоти, потолок, из барочного днища, тоже прокоптел до черноты; посреди ее помещалась громадная печь, основанием которой служил горн, а вокруг печи и по стенам шли широкие нары с кучками всякой рухляди, служившей ночлежникам постелями. От стен пахло дымом, от земляного пола – сыростью, от нар – гниющим тряпьем.

Помещение хозяина ночлежки находилось на печи, нары вокруг печи были почетным местом, и на них размещались те ночлежники, которые пользовались благоволением и дружбой хозяина.

День ротмистр всегда проводил у двери в ночлежку, сидя в некотором подобии кресла, собственноручно сложенного им из кирпичей, или же в харчевне Егора Вавилова, находившейся наискось от дома Петунникова; там ротмистр обедал и пил водку.

Перед тем, как снять это помещение, Аристид Кувалда имел в городе бюро для рекомендации прислуги; восходя выше в его прошлое, можно было узнать, что он имел типографию, а до типографии он, по его словам, – «просто – жил! И славно жил, черт возьми! Умеючи жил, могу сказать!».

Это был широкоплечий высокий человек лет пятидесяти, с рябым, опухшим от пьянства лицом, в широкой грязно-желтой бороде. Глаза у него серые, огромные, дерзко веселые; говорил он басом, с рокотаньем в горле, и почти всегда в зубах его торчала немецкая фарфоровая трубка с выгнутым чубуком. Когда он сердился, ноздри большого, горбатого, красного носа широко раздувались и губы вздрагивали, обнажая два ряда крупных, как у волка, желтых зубов. Длиннорукий, колченогий, одетый в грязную и рваную офицерскую шинель, в сальной фуражке с красным околышем, но без козырька, в худых валенках, доходивших ему до колен, – поутру он неизменно был в тяжелом состоянии похмелья, а вечером – навеселе. Допьяна он не мог напиться, сколько бы ни выпил, и веселого расположения духа никогда не терял.

Вечерами, сидя в своем кирпичном кресле с трубкой в зубах, он принимал постояльцев.

– Что за человек? – спрашивал он у подходившего к нему рваного и угнетенного субъекта, сброшенного из города за пьянство или по какой-нибудь другой основательной причине опустившегося вниз.

Человек отвечал.

– Представь в подтверждение твоего вранья законную бумагу.

Бумага представлялась, если была. Ротмистр совал ее за пазуху, редко интересуясь ее содержанием, и говорил:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Всё в порядке. За ночь – две копейки, за неделю – гривенник, за месяц – три гривенника. Ступай и займи себе место, да смотри – не чужое, а то тебя вздуют. У меня живут люди строгие...

Новички спрашивали его:

– А чаем, хлебом или чем съестным не торгуете?

– Я торгую только стеной и крышей, за что сам плачу мошеннику – хозяину этой дыры, купцу 2-й гильдии Иуде Петунникову, пять целковых в месяц, – объяснял Кувалда деловым тоном, – ко мне идет народ, к роскоши непривычный... а если ты привык каждый день жрать – вон напротив харчевня. Но лучше, если ты, обломок, отучишься от этой дурной привычки. Ведь ты не барин – значит, что ты ешь? Сам себя ешь!

За такие речи, произносимые деланно строгим тоном, но всегда со смеющимися глазами, за внимательное отношение к своим постояльцам ротмистр пользовался среди городской голи широкой популярностью. Часто случалось, что бывший клиент ротмистра являлся на двор к нему уже не рваный и угнетенный, а в более или менее приличном виде и с бодрым лицом.

– Здравствуйте, ваше благородие! Каковенько поживаете?

– Здорово. Жив. Говори дальше.

– Не узнали?

– Не узнал.

– А помните, я у вас зимой жил с месяц... когда еще облава-то была и трех забрали?

– Н-ну, брат, под моей гостеприимной кровлей то и дело полиция бывает!

– Ах ты, господи! Еще вы тогда частному приставу кукиш показали!

– погоди, ты плюнь на воспоминания и говори просто, что тебе нужно?

– Не желаете ли принять от меня угощение махонькое? Как я о ту пору у вас жил, и вы мне, значит...

– Благодарность должна быть поощряема, друг мой, ибо она у людей редко встречается. Ты, должно быть, славный малый, и хоть я совсем тебя не помню, но в кабаке с тобой пойду с удовольствием и напьюсь за твои успехи в жизни с наслаждением.

– А вы всё такой же – всё шутите?

– Да что же еще можно делать, живя среди вас, горюнов?

Они шли. Иногда бывший клиент ротмистра, весь развинченный и расшатанный угощением, возвращался в ночлежку; на другой день они снова угощались, и в одно прекрасное утро бывший клиент просыпался с сознанием, что он вновь пропился дотла.

– Ваше благородие! Вот те и раз! Опять я к вам в команду попал? Как же теперь?

– Положение, которым нельзя похвалиться, но, находясь в нем, не следует и скулить, – резонировал ротмистр. – Нужно, друг мой, ко всему относиться равнодушно, не портя себе жизни философией и не ставя никаких вопросов. Философствовать всегда глупо, философствовать с похмелья – невыразимо глупо. Похмелье требует водки, а не угрызения совести и скрежета зубного... зубы береги, а то тебя бить не по чему будет. На-ка, вот тебе двугриденный, – иди и принеси косушку водки, на пяточок горячего рубца или легкого, фунт хлеба и два огульца. Когда мы опохмелимся, тогда и взвесим положение дел...

Положение дел определялось вполне точно дня через два, когда у ротмистра не оказывалось ни гроша от трешницы или пятишницы, которая была у него в кармане в день появления благодарного клиента.

– Приехали! Баста! – говорил ротмистр. – Теперь, когда мы с тобой, дурак, пропились вполне совершенно, попытаемся снова вступить на путь трезвости и добродетели. Справедливо сказано: не согрешив – не покаешься, не покавшись – не спасешься. Первое мы исполнили, но каяться бесполезно, давай же прямо спасаться. Отправляйся на реку и работай. Если не ручаешься за себя – скажи подрядчику, чтоб он твои деньги удерживал, а то отдавай их мне. Когда накопим капитал, я куплю тебе штаны и прочее, что нужно для того, чтобы ты вновь мог сойти за порядочного человека и скромного труженика, гонимого судьбой. В хороших штанах ты снова можешь далеко уйти. Марш!

Клиент отправлялся крючничать на реку, посмеиваясь над речами ротмистра. Он неясно понимал их соль, но видел перед собой веселые глаза, чувствовал бодрый дух и знал, что в красноречивом ротмистре он имел руку, которая, в случае надобности, может поддержать его.

И действительно, чрез месяц-два какой-нибудь каторжной работы клиент, по милости строгого надзора за его поведением со стороны ротмистра, имел материальную возможность вновь подняться на ступеньку выше того места, куда он опустился при благосклонном участии того же ротмистра.

– Н-ну, друг мой, – критически осматривая реставрированного клиента, говорил Кувалда, – штаны и пиджак у нас есть. Это вещи громадного значения – верь моему опыту. Пока у меня были приличные штаны, я играл в городе роль порядочного человека, но, черт возьми, как только штаны с меня слезли, так я упал в мнению людей и должен был скатиться сюда из города. Люди, мой прекрасный болван, судят о всех вещах по их форме, сущность же вещей им недоступна по причине врожденной людям глупости. Заруби это себе на носу и, уплатив мне хотя половину твоего долга, с миром иди, ищи и да обрящешь!

– Я вам, Аристид Фомич, сколько состою? – смущенно осведомлялся клиент.

– Рубль и семь гривен... Теперь дай мне рубль или семь гривен, а остальные я подожду на тебе до поры, пока ты не украдешь или не заработаешь больше того, что ты теперь имеешь.

– Покорнейше благодарю за ласку! – говорит тронутый клиент. – Экой вы, – добряга! право! Эх, напрасно вас жизнь скрутила... Какой, чай, вы орел были на своем-то месте?!

Ротмистр жить не может без витиеватых речей.

– Что значит – на своем месте? Никто не знает своего настоящего места в жизни, и каждый из нас лезет не в свой хомут. Купцу Иуде Петунникову место в каторжных работах, а он ходит среди бела дня по улицам и даже хочет строить какой-то завод. Учителю нашему место около хорошей бабы и среди полдюжины ребят, а он валяется у Вавилова в кабаке. Вот и ты – ты идешь искать место лакея или коридорного, а я вижу, что твое место в солдатах, ибо ты неглуп, вынослив и понимаешь дисциплину. Видишь – какая штука? Нас жизнь тасует, как карты, и только случайно – и то ненадолго – мы попадаем на свое место!

Иногда подобные прощальные беседы служили предисловием к продолжению знакомства, которое снова начиналось доброй выпивкой и снова доходило до того, что клиент пропивался и изумлялся, ротмистр давал ему реванш, и... пропивались оба.

Такие повторения предыдущего ничуть не портили добрых отношений между сторонами. Упомянутый ротмистром учитель был именно одним из тех клиентов, которые чинились лишь затем, чтобы тотчас же разрушиться. По своему интеллекту это был человек, ближе всех других стоявший к ротмистру, и, быть может, именно этой причине он был обязан тем, что, опустившись до ночлежки, уже более не мог подняться.

С ним Кувалда мог философствовать в уверенности, что его понимают. Он ценил это, и когда поправленный учитель готовился оставить ночлежку, заработав деньжонок и имея намерение снять себе в городе угол, – Аристид Кувалда так грустно провожал его, так много изрекал меланхолических тирад, что оба они непременно напивались и пропивались. Вероятно, Кувалда сознательно ставил дело так, что учитель при всем желании не мог выбраться из его ночлежки. Можно ли было Кувалде, человеку с образованием, осколки которого и теперь еще блестили в его речах, с развитой

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
превратностями судьбы привычкой мыслить, – можно ли было ему не желать и не стараться всегда видеть рядом с собой человека, подобного ему? Мы умеем жалеть себя.

Этот учитель когда-то что-то преподавал в учительском институте приволжского города, но был устранен из института. Потом он служил конторщиком на кожевенном заводе, библиотекарем, изведаль еще несколько профессий, наконец, сдал экзамен на частного поверенного по судебным делам, запил горькую и попал к ротмистру. Был он высокий, сутулый, с длинным острым носом и лысым черепом. На костлявом, желтом лице с клинообразной бородкой блестели беспокойно глаза, глубоко ввалившиеся в орбиты, углы рта были печально опущены книзу. Средства к жизни или, вернее, к пьянству он добывал репортерством в местных газетах. Случалось, что он зарабатывал в неделю рублей пятнадцать. Тогда он отдавал их ротмистру и говорил:

– Будет! Я возвращаюсь в лоно культуры.

– Похвально! Сочувствуя от души твоему, Филипп, решению, я не дам тебе ни рюмки!
– строго предупреждал его ротмистр.

– Буду благодарен!..

Ротмистр слышал в его словах что-то близкое к робкой мольбе о послаблении и еще строже говорил:

– Хоть реви – не дам!

– Ну, и – кончено! – вздыхал учитель и отправлялся на репортаж. А через день, много через два, он, жаждущий, смотрел на ротмистра откуда-нибудь из угла тоскливыми и умоляющими глазами и трепетно ждал, когда смягчится сердце друга. Ротмистр произносил пропитанные убийственной иронией речи о позоре слабохарактерности, о скотском наслаждении пьянства и на другие, приличные случаю, темы. Надо отдать ему справедливость – он вполне искренно увлекался своей ролью ментора и моралиста; но настроенные скептически завсегдатаи ночлежки, следя за ротмистром и слушая его карающие речи, говорили друг другу, подмигивая в его сторону:

– Химик! ловко отбояривается! Дескать, я тебе говорил, ты меня не слушал – пеняй на себя!

– Его благородие настоящий воин – вперед идет, а уже назад дорогу ищет!

Учитель ловил своего друга где-нибудь в темном углу и, вцепившись в его грязную шинель, дрожащий, облизывая сухие губы, не выразимым словами, глубоко трагическим взглядом смотрел в его лицо.

– Не можешь? – угрюмо спрашивал ротмистр. Учитель утвердительно кивал головой.

– Потерпи еще день, – может быть, справишься? – предлагал Кувалда.

Учитель тряс головой отрицательно. Ротмистр видел, что худое тело друга всё трепещет от жажды яда, и доставал из кармана деньги.

– В большинстве случаев бесполезно спорить с роком, – говорил он при этом, точно желая оправдать себя перед кем-то.

Учитель не все свои деньги пропивал; по крайней мере половину их он тратил на детей Въезжей улицы. Бедняки всегда детьми богаты; на этой улице, в ее пыли и ямах, с утра до вечера шумно возились кучи оборванных, грязных и полуголодных ребятишек.

Дети – живые цветы земли, но на Въезжей улице они имели вид цветов, преждевременно увядших.

Учитель собирал их вокруг себя и, накупив булок, яиц, яблоков и орехов, шел с ними в поле, к реке. Там они сначала жадно поедали всё, что предлагал им учитель, а потом играли, наполняя воздух на целую версту вокруг себя шумом и смехом. Длинная фигура пьяницы как-то съезживалась среди маленьких людей, они

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
относились к нему, как к своему однолетку, и звали его просто Филиппом, не добавляя к имени дядя или дядюшка. Вертась около него, как вьюны, они толкали его, вскакивали к нему на спину, хлопали его по лысине, хватали за нос. Всё это, должно быть, нравилось ему, он не протестовал против таких вольностей. Он вообще мало разговаривал с ними, а если и говорил, то осторожно и робко, точно боялся, что его слова могут выпачкать их или вообще повредить им. Он проводил с ними, в роли их игрушки и товарища, по несколько часов кряду, рассматривая оживленные рожицы тоскливо-грустными глазами, а потом задумчиво шел в харчевню Вавилова и там молча напивался до потери сознания.

Почти каждый день, возвращаясь с репортажа, учитель приносил с собой газету, и около него устраивалось общее собрание всех бывших людей. Они двигались к нему, выпившие или страдавшие с похмелья, разнообразно растрепанные, но одинаково жалкие и грязные.

Шел толстый, как бочка, Алексей Максимович Симцов, бывший лесничий, а ныне торговец спичками, чернилами, ваксой, старик лет шестидесяти, в парусиновом пальто и в широкой шляпе, прикрывавшей измятыми полями его толстое и красное лицо с белой густой бородой, из которой на свет божий весело смотрел маленький пунцовый нос и блестящие слезящиеся циничные глазки. Его прозвали кубарь – прозвище метко очерчивало его круглую фигуру и речь, похожую на жужжание.

Вылезал откуда-нибудь из угла конец – мрачный, молчаливый, черный пьяница, бывший тюремный смотритель Лука Антонович Мартьянов, человек, существовавший игрой «в ремешок», «в три листика», «в банковку» и прочими искусствами, столь же остроумными и одинаково нелюбимыми полицией. Он грузно опускал свое большое, жестоко битое тело на траву, рядом с учителем, сверкал черными глазами и, простирая руку к бутылке, хриплым басом спрашивал:

– Могу?

Являлся механик Павел Солнцев, чахоточный человек лет тридцати. Левый бок у него был перебит в драке, лицо, желтое и острое, как у лисицы, кривилось в ехидную улыбку. Тонкие губы открывали два ряда черных, разрушенных болезнью зубов, лохмотья на его узких и костлявых плечах болтались, как на вешалке. Его прозвали Обьедок. Он промышлял торговлей мочальными щетками собственной фабрикации и вениками из какой-то особенной травы, очень удобными для чистки платья.

Приходил высокий, костлявый и кривой на левый глаз человек, с испуганным выражением в больших круглых глазах, молчаливый, робкий, трижды сидевший за кражи по приговорам мирового и окружного судов. Фамилия его была Кисельников, но его звали Полтора Тараса, потому что он был как раз на полроста выше своего неразлучного друга дьякона Тараса, растриженого за пьянство и развратное поведение. Дьякон был низенький и коренастый человек с богатырской грудью и круглой, кудластой головой. Он удивительно хорошо плясал и еще удивительнее сквернословил. Они вместе с Полтора Тарасом избрали своей специальностью пилку дров на берегу реки, а в свободные часы дьякон рассказывал своему другу и всякому желающему слушать сказки «собственного сочинения», как он заявлял. Слушая эти сказки, героями которых всегда являлись святые, короли, священники и генералы, даже обитатели ночлежки брезгливо плевались и тарачили глаза в изумлении перед фантазией дьякона, рассказывавшего, прищурив глаза, поразительно бесстыдные и грязные приключения. Воображение этого человека было неиссякаемо и могуче – он мог сочинять и говорить целый день и никогда не повторялся. В лице его погиб, быть может, крупный поэт, в крайнем случае недюжинный рассказчик, умевший всё оживлять и даже в камни влагавший душу своими скверными, но образными и сильными словами.

Был тут еще какой-то нелепый юноша, прозванный Кувалдой Метеором. Однажды он явился ночевать и с той поры остался среди этих людей, к их удивлению. Сначала его не замечали – дном он, как и все, уходил изыскивать пропитание, но вечером постоянно торчал около этой дружной компании, и наконец ротмистр заметил его.

– Мальчишка! Ты что такое на сей земле?

Мальчишка храбро и кратко ответил:

– Я – босяк...

Ротмистр критически посмотрел на него. Парень был какой-то длинноволосый, с глуповатой скуластой рожей, украшенной вздернутым носом. На нем была надета синяя блуза без пояса, а на голове торчал остаток соломенной шляпы. Ноги босы.

– Ты – дурак! – решил Аристид Кувалда. – Что ты тут околачиваешься? Водку пьешь? Нет... Воровать умеешь? Тоже нет. Иди, научись и приходи тогда, когда уже человеком будешь...

Парень засмеялся.

– Нет, уж я поживу с вами.

– Для чего?

– А так...

– Ах ты – метеор! – сказал ротмистр.

– Вот я ему сейчас зубы вышибу, – предложил Мартьянов.

– А за что? – осведомился парень.

– Так...

– А я возьму камень и по голове вас тресну, – почтительно объявил парень.

Мартьянов избил бы его, если б не вступился Кувалда.

– Оставь его... Это, брат, какая-то родня всем нам, пожалуй. Ты без достаточного основания хочешь ему зубы выбить; он, как и ты, без основания хочет жить с нами. Ну, и черт с ним... Мы все живем без достаточного к тому основания...

– Но лучше б вам, молодой человек, удалиться от нас, – посоветовал учитель, оглядывая этого парня своими печальными глазами.

Тот ничего не ответил и остался. Потом к нему привыкли и перестали замечать его. А он жил среди них и всё замечал.

Перечисленные субъекты составляли главный штаб ротмистра; он, с добродушной иронией, называл их «бывшими людьми». Кроме них, в ночлежке постоянно обитало человек пять-шесть рядовых босяков. Они не могли похвастаться таким прошлым, как «бывшие люди», и хотя не менее их испытали превратностей судьбы, но являлись более цельными людьми, не так страшно изломанными. Почти все они – «бывшие мужики». Быть может, порядочный человек культурного класса и выше такого же человека из мужиков, но всегда порочный человек из города неизмеримо гаже и грязнее порочного человека деревни.

Видным представителем бывших мужиков являлся старик-тряпичник Тяпа. Длинный и безобразно худой, он держал голову так, что подбородок упирался ему в грудь, и от этого его тень напоминала своей формой кочергу. В фас лица его не было видно, в профиль можно было видеть только горбатый нос, отвисшую нижнюю губу и мохнатые седые брови. Он был первым по времени постояльцем ротмистра, про него говорили, что где-то им спрятаны большие деньги. Из-за этих денег года два тому назад его «шаркнули» ножом по шее, и с той поры он наклонил голову. Он отрицал, что у него есть деньги, говоря: «шаркнули просто так, озорство» и что с той поры ему очень удобно собирать тряпки и кости – голова постоянно наклонена к земле. Когда он шел качающейся, неверной походкой, без палки в руках и без мешка за спиной – он казался человеком задумавшимся, а Кувалда в такие моменты говорил, указывая на него пальцем:

– Смотрите, вот ищет себе пристанища совесть купца Иуды Петунникова, удравшая от него в бега. Смотрите, какая она потрепанная, скверная, грязная!

Говорил Тяпа хрипящим голосом, трудно было понимать его речь, и, должно быть, поэтому он вообще мало говорил и очень любил уединение. Но каждый раз, когда в ночлежку являлся какой-нибудь свежий экземпляр человека, вытолкнутого нуждой из деревни, Тяпа при виде его впадал в озлобление и беспокойство. Он преследовал

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
несчастливого едкими насмешками, со злым хрипом выходящими из его горла, натравливал на новичка кого-нибудь, грозил, наконец, собственноручно избить и ограбить его ночью и почти всегда добивался того, что запуганный мужичок исчезал из ночлежки.

Тогда Тяпа, успокоенный, забивался куда-нибудь в угол, где чинил свои лохмотья или читал Библию, такую же старую и грязную, как сам он. Он вылезал из своего угла, когда учитель читал газету. Тяпа молча слушал всё, что читалось, и глубоко вздыхал, ни о чем не спрашивая. Но когда, прочитав газету, учитель складывал ее, Тяпа протягивал свою костлявую руку и говорил:

– Дай-ка...

– На что тебе?

– Дай, – может, про нас есть что...

– Про кого это?

– Про деревню.

Над ним смеялись, бросали ему газету. Он брал ее и читал в ней о том, что в одной деревне градом побило хлеб, в другой сгорело тридцать дворов, а в третьей баба отравила мужа, – всё, что принято писать о деревне и что рисует ее несчастной, глупой и злой. Тяпа читал и мычал, выражая этим звуком, быть может, сострадание, быть может, удовольствие.

В воскресенье он не выходил за сбором тряпок, почти весь день читая Библию. Книгу он держал, упирая ее в грудь себе, и сердился, если кто-нибудь трогал ее или мешал ему читать.

– Эй ты, чернокнижник, – говорил ему Кувалда, – что ты понимаешь? Брось!

– А что ты понимаешь?

– И я ничего не понимаю, но я ведь не читаю книг...

– А я читаю...

– Ну и – глуп! – решал ротмистр. – Когда в голове заведутся насекомые – это беспокойно, но если в нее заползут еще и мысли – как же ты будешь жить, старая жаба?

– Мне недолго уж, – говорил спокойно Тяпа.

Однажды учитель захотел узнать, где он выучился грамоте. Тяпа кратко ответил ему:

– В тюрьме...

– Ты был там?

– Был...

– За что?

– Так... Ошибся... Вот и Библию оттуда вынес. Барыня одна дала... В тюрьме-то, брат, хорошо...

– Н-ну? Чем это?

– Вразумляет... Грамоте вот научился... книгу достал... Всё – даром...

Когда в ночлежку явился учитель, Тяпа уже давно жил в ней. Он долго присматривался к учителю, – чтобы посмотреть в лицо человеку, Тяпа сгибал весь свой корпус набок, – долго прислушивался к его разговорам и как-то раз подсел к нему.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Вот – ты ученый был... Библию-то читал?

– Читал...

– То-то... Помнишь ее?

– Ну – помню...

Старик согнул корпус набок и посмотрел на учителя серым, сурово-недоверчивым глазом.

– Помнишь, были там амаликитяне?

– Ну?

– Где они теперь?

– Исчезли, Тяпа, – вымерли...

Старик помолчал и снова спросил:

– А филистимляне?

– И эти тоже...

– Все вымерли?

– Все...

– Так... А мы тоже вырем?

– Придет время – и мы вырем, – равнодушно обещал учитель.

– А от которого мы из колен Израилевых?

Учитель посмотрел на него, подумал и стал рассказывать о киммерийцах, скифах, славянах... Старик еще больше избочился и какими-то испуганными глазами смотрел на него.

– Врешь ты всё! – захрипел он, когда учитель кончил.

– Почему вру? – изумился тот.

– Какие ты народы назвал? Нет их в Библии.

Встал и пошел прочь, злобно ворча.

– Из ума ты выживаешь, Тяпа, – убежденно сказал вслед ему учитель.

Тогда старик снова обернулся к нему и погрозил ему крючковатым грязным пальцем.

– От господ – Адам, от Адама – евреи, значит, все люди от евреев... И мы тоже...

– Ну?

– Татары от Измаила... а он от еврея...

– Да тебе-то чего надо?

– Зачем врешь?

И ушел, оставив своего собеседника в недоумении. Но дня через два снова подсел к нему.

– Был ты ученый... должен знать – кто мы?

– Славяне, Тяпа, – ответил учитель.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Говори по Библии – там таких нет. Кто мы – вавилоняне, что ли? Или – эдом?

Учитель пустился в критику Библии.

Старик долго, внимательно слушал его и перебил:

– погоди, – брось! Значит, в народах, богу известных, – русских нет? неизвестные мы богу люди? Так ли? которые в Библии записаны – господь тех знал... сокрушал их огнем и мечом, разрушал города и села их, а пророков посылал им для поучения, – жалел, значит. евреев и татар рассеял, но сохранил... а мы как же? почему у нас пророков нет?

– Н-не знаю! – протянул учитель, стараясь понять старика. а он положил руку на плечо учителя, стал тихонько толкать его взад и вперед и захрипел, будто глотая что-то...

– Так и скажи!.. а то говоришь ты много, – будто всё знаешь. слушать мне тебя тошно... душу ты мутишь... молчал бы лучше!.. кто мы? то-то! почему у нас нет пророков? а где мы были, когда Христос по земле ходил? видишь? эх ты! и врешь – разве целый народ может умереть? народ русский не может исчезнуть – врешь ты... он в Библии записан, только неизвестно под каким словом... ты народ-то знаешь, – какой он? он – огромный... сколько деревень на земле? всё народ там живет, – настоящий, большой народ. а ты говоришь – вымрет... народ не может умереть, человек может... а народ нужен богу, он строитель земли. амаликитяне не умерли – они немцы или французы... а ты... эх ты!.. ну, скажи вот, почему мы богом обойдены? нету нам ни казней, ни пророков от господя? кто нас научит?..

речь Тяпы была сильна; насмешка, укоризна и глубокая вера звучали в ней. он долго говорил, и учителю, который по обыкновению был выпивши и в минорном настроении, стало, наконец, так скверно слушать его, точно его распиливали деревянной пилой. он слушал старика, смотрел на его исковерканное тело, чувствовал странную, давившую силу слов, и вдруг ему стало до боли жалко себя. ему тоже захотелось сказать старику что-нибудь сильное, уверенное, что-нибудь такое, что расположило бы Тяпу в его пользу, заставило бы говорить не этим укоризненно-суровым тоном, а – мягким, отечески ласковым. и учитель ощущал, как в груди у него что-то клокочет, подступает ему к горлу.

– какой ты человек?.. душа у тебя изорванная... а говоришь! будто что знаешь... молчал бы...

– эх, Тяпа, – тоскливо воскликнул учитель, – это – верно! и народ – верно!.. он огромный. но – я ему чужой... и – он мне чужой... вот в чем трагедия. но – пускай! буду страдать... и пророков нет... нет!.. я действительно говорю много... и это не нужно никому... но – я буду молчать... только ты не говори со мной так... эх, старик! ты не знаешь... не знаешь... не можешь понять.

Учитель заплакал наконец. он заплакал легко и свободно, обильными слезами, ему стало приятно от этих слез.

– шел бы ты в деревню, – просился бы там в учителя или в писаря... был бы сыт и проветрился бы. а то чего маешься? – сурово хрипел Тяпа.

а учитель всё плакал, наслаждаясь слезами. с этих пор они стали друзьями, и бывшие люди, видя их вместе, говорили:

– учитель охаживает Тяпу, к деньгам его держит курс.

– это его Кувалда подучил разведать, где стариковы капиталы...

могло быть, говоря так, думали иначе. у этих людей была одна смешная черта: они любили показать себя друг другу хуже, чем были на самом деле.

человек, не чувствуя в себе ничего хорошего, иногда не прочь порисоваться и своим дурным.

когда все эти люди соберутся вокруг учителя с его газетой – начинается чтение.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Ну-с, – говорит ротмистр, – о чем сегодня рассуждает газетина? фельетон есть?
- Нет, – сообщает учитель.
- Жадничает издатель... а передовица имеется?
- Есть... Гуляева.
- Ага! Валяй ее; он, шельма, толково пишет, гвоздь ему в глаз.
- «Оценка недвижимых имуществ, – читает учитель, – произведенная более пятнадцати лет тому назад, и поныне продолжает служить основанием ко взиманию оценочного, в пользу города, сбора...»
- Это наивно, – комментирует ротмистр Кувалда, – продолжает служить! Это смешно! Купцу, ворочающему делами города, выгодно, чтоб она продолжала служить, ну, она и продолжает...
- Статья и написана на эту тему, – говорит учитель.
- Странно! Это фельетонная тема... об этом нужно писать с перцем...

Возгорается маленький спор. Публика слушает его внимательно, ибо водки выпита пока только одна бутылка. После передовой читают местную хронику, потом судебную. Если в этих криминальных отделах действующим и страдающим лицом является купец – Аристид Кувалда искренно ликует. Обворовали купца – прекрасно, только жаль, что мало. Лошади его разбили – приятно слышать, но прискорбно, что он остался жив. Иск в суде проиграл купец – великолепно, но печально, что судебные издержки не возложили на него в удвоенном количестве.

- Это было бы незаконно, – замечает учитель.
- Незаконно? Но законен ли сам купец? – спрашивает Кувалда. – Что есть купец? Рассмотрим это грубое и нелепое явление. Прежде всего каждый купец – мужик. Он является из деревни и по истечении некоторого времени делается купцом. Для того, чтобы сделаться купцом, нужно иметь деньги. Откуда у мужика могут быть деньги? Как известно, они не являются от трудов праведных. Значит, мужик так или иначе мошенничал. Значит, купец – мошенник-мужик!
- Ловко! – одобряет публика вывод оратора. А Тяпа мычит, потирая себе грудь. Так же точно он мычит, когда с похмелья выпивает первую рюмку водки. Ротмистр сияет. Читают корреспонденции. Тут для ротмистра – «разливанное море», по его словам. Он всюду видит, как купец скверно делает жизнь и как он портит сделанное до него. Его речи громят и уничтожают купца. Его слушают с удовольствием, потому что он – зло ругается.
- Если б я писал в газетах! – восклицает он. – О, я бы показал купца в его настоящем виде... я бы показал, что он только животное, временно исполняющее должность человека. Он груб, он глуп, не имеет вкуса к жизни, не имеет представления об отечестве и ничего выше пятака не знает.

Объедок, зная слабую струну ротмистра и любя злить людей, ехидно вставляет:

- Да, с той поры, как дворяне начали помирать с голода, – исчезают люди из жизни...
- Ты прав, сын паука и жабы; да, с той поры, как дворяне пали, – людей нет! Есть только купцы... и я их не-на-вижу!
- Оно и понятно, потому что и ты, брат, погран во прах ими же...
- я? я погиб от любви к жизни, – дурак! Я жизнь любил – а купец ее обирает. Я не выношу его именно за это – а не потому, что я дворянин. Я, если хочешь знать, не дворянин, а бывший человек. Мне теперь наплевать на всё и на всех... и вся жизнь для меня – любовница, которая меня бросила, за что я презираю ее.
- Врешь! – говорит Объедок.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Я вру? – орет Аристид Кувалда, красный от гнева.

– Зачем кричать? – раздается холодный и мрачный бас Мартьянова. – Зачем рассуждать? Купец, дворянин – нам какое дело?

– Поелику мы ни бэ, ни мэ, ни ку-ку-ре-ку... – вставляет дьякон Тарас.

– Отстаньте, Обьедок, – примирительно говорит учитель. – Зачем солить селедку?

Он не любит спора и вообще не любит шума. Когда вокруг разгораются страсти, его губы складываются в болезненную гримасу, он рассудительно и спокойно старается помирить всех со всеми, а если это не удастся ему, уходит от компании. Зная это, ротмистр, если он не особенно пьян, сдерживается, не желая терять в лице учителя лучшего слушателя своих речей.

– Я повторяю, – более спокойно продолжает он, – я вижу жизнь в руках врагов, не врагов только дворянина, но врагов всего благородного, алчных, неспособных украсить жизнь чем-либо...

– Однако, брат, – говорит учитель, – купцы создали Геную, Венецию, Голландию, купцы Англии завоевали своей стране Индию, купцы Строгановы...

– Какое мне дело до тех купцов? Я имею в виду Иуду Петунникова и иже с ним...

– А до этих тебе какое дело? – тихо спрашивает учитель.

– А – разве я не живу? Ага! живу – значит, должен негодовать при виде того, как жизнь портят дикие люди, полонившие ее.

– И смеются над благородным негодованием ротмистра и человека в отставке, – задирает Обьедок.

– Хорошо! Это глупо, я согласен... как бывший человек, я должен смарать в себе все чувства и мысли, когда-то мои. Это, пожалуй, верно... Но чем же я и все вы – чем же вооружимся мы, если отбросим эти чувства?

– Вот ты начинаешь говорить умно, – поощряет его учитель.

– Нам нужно что-то другое, другие воззрения на жизнь, другие чувства... нам нужно что-то такое, новое... ибо и мы в жизни новость...

– Несомненно нам нужно это, – говорит учитель.

– Зачем? – спрашивает Конец. – Не всё ли равно, что говорить и думать? Нам недолго жить... мне сорок, тебе пятьдесят... моложе тридцати нет среди нас. И даже в двадцать долго не проживешь такую жизнью.

– И какая мы новость? – усмехается Обьедок. – Гольтепа всегда была.

– И она создала Рим, – говорит учитель.

– Да, конечно, – ликует ротмистр, – Ромул и Рем – разве они не золоторотцы? И мы – придет наш час – создадим...

– Нарушение общественной тишины и спокойствия, – перебивает Обьедок. Он хохочет, довольный собой. Смех у него скверный, разъедающий душу. Ему вторит Симцов, дьякон, Полтора Тараса. Наивные глаза мальчишки Метеора горят ярким огнем, и щеки у него краснеют. Конец говорит, точно молотом бьет по головам:

– Всё это глупости, – мечты, – ерунда!

Странно было видеть так рассуждающими этих людей, изгнанных из жизни, рваных, пропитанных водкой и злобой, иронией и грязью.

Для ротмистра такие беседы были положительно праздником сердца. Он говорил больше всех, и это давало ему возможность считать себя лучше всех. А как бы низко ни пал человек – он никогда не откажет себе в наслаждении почувствовать себя сильнее, умнее, – хотя бы даже только сытее своего ближнего. Аристид

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Кувалда злоупотреблял этим наслаждением, но не пресыщался им, к неудовольствию
Объедка, Кубаря и других бывших людей, мало интересовавшихся подобными
вопросами.

Но зато политика была общей любимицей. Разговор на тему о необходимости
завоевания Индии или об укрощении Англии мог затянуться бесконечно. С не меньшей
страстью говорили о способах радикального искоренения евреев с лица земли, но в
этом вопросе верх всегда брал Объедок, сочинявший изумительно жестокие проекты,
и ротмистр, желавший везде быть первым, избегал этой темы. Охотно, много и
скверно говорили о женщинах, но в защиту их всегда выступал учитель,
сердившийся, если очень уж пересаливали. Ему уступали, ибо все смотрели на него
как на человека недожидного и – у него, по субботам, занимали деньги,
заработанные им за неделю.

Он вообще пользовался многими привилегиями: его, например, не били в тех
нередких случаях, когда беседа заканчивалась всеобщей потасовкой. Ему было
разрешено приводить в ночлежку женщин; больше никто не пользовался этим правом,
ибо ротмистр всех предупреждал:

– Баб ко мне не водить... Бабы, купцы и философия – три причины моих неудач.
Изобью, если увижу кого-нибудь, явившегося с бабой!.. Бабу тоже изобью... За
философию – оторву голову...

Он мог оторвать голову – несмотря на свои года, он обладал удивительной силой.
Затем, каждый раз, когда он дрался, ему помогал Мартьянов. Мрачный и молчаливый,
точно надгробный памятник, во время общего боя он всегда становился спиной к
спине Кувалды, и тогда они изображали собой всё сокрушавшую и несокрушимую
машину.

Однажды пьяный Симцов ни за что ни про что вцепился в волосы учителя и выдрал
клок их. Кувалда ударом кулака в грудь уложил его на полчаса в обморок, а когда
он очнулся, заставил его съесть волосы учителя. Тот съел, боясь быть избитым до
смерти.

Кроме чтения газеты, разговоров и драк, развлечением служила еще игра в карты.
Играли без Мартьянова, ибо он не мог играть честно, о чем, после нескольких
уличений в мошенничестве, сам же откровенно и заявил:

– Я не могу не передергивать... Это у меня привычка.

– Бывает, – подтвердил дьякон Тарас. – Я привык дьяконицу свою по воскресеньям
после обедни бить; так, знаете, когда, умерла она – такая тоска на меня по
воскресеньям нападала, что даже невероятно. Одно воскресенье прожил – вижу,
плохо! Другое – стерпел. Третье – кухарку ударил раз... Обиделась она... Подам,
говорит, мировому. Представьте себе мое положение! На четвертое воскресенье –
вздул ее, как жену! Потом заплатил ей десять целковых и уж бил по заведенному
порядку, пока опять не женился...

– Дьякон, – врешь! Как ты мог в другой раз жениться? – оборвал его Объедок.

– А? А я так – она у меня за хозяйством смотрела.

– У вас были дети? – спросил его учитель.

– Пять штук... Один утонул. Старший, – забавный был мальчишка! Двое умерли от
дифтерита... Одна дочь вышла замуж за какого-то студента и поехала с ним в Сибирь,
а другая захотела учиться и умерла в Питере... от чахотки, говорят... Д-да... пять
было... как же! Мы, духовенство, плодovitые...

Он стал объяснять, почему это именно так, возбуждая гомерический хохот своим
рассказом. Когда хохотать устали, Алексей Максимович Симцов вспомнил, что у него
тоже была дочь.

– Лидкой звали... Толстая такая...

И больше он, должно быть, не помнил ничего, потому что посмотрел на всех,
улыбнулся виновато и – умолк.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.maxim.ru
О своем прошлом эти люди мало говорили друг с другом, вспоминали о нем крайне редко, всегда в общих чертах и в более или менее насмешливом тоне. Пожалуй, что такое отношение к прошлому и было умно, ибо для большинства людей память о прошлом ослабляет энергию в настоящем и подрывает надежды на будущее.

А в дождливые, серые, холодные дни осени бывшие люди собирались в трактире Вавилова. Там их знали, немножко боялись, как воров и драчунов, немножко презирали, как горьких пьяниц, но все-таки уважали и слушали, считая умными людьми. Трактир Вавилова был клубом Въезжей улицы, а бывшие люди – интеллигенцией клуба.

По субботам – вечерами, в воскресенье – с утра до ночи – трактир был полон, и бывшие люди являлись в нем желанными гостями. Они вносили с собой в среду забитых бедностью и горем обывателей улицы свой дух, в котором было что-то, облегчавшее жизнь людей, истомленных и растерявшихся в погоне за куском хлеба, таких же пьяниц, как обитатели убежища Кувалды, и так же сброшенных из города, как и они. Уменьше обо всем говорить и всё осмеивать, безбоязненность мнений, резкость речи, отсутствие страха перед тем, чего вся улица боялась, бесшабашная, бравадирующая удаль этих людей – не могли не нравиться улице. Затем, почти все они знали законы, могли дать любой совет, написать прошение, помочь безнаказанно смошенничать. За всё это им платили водкой и лестным удивлением пред их талантами.

По своим симпатиям улица делилась на две, почти равные, партии. Одна полагала, что «ротмистр – куда забористей учителя, настоящий воин! Храбрость и ум у него больше!» Другая была убеждена, что учитель во всех отношениях «перевесил» Кувалду. Поклонниками Кувалды являлись те из мещанства, которые были известны в улице как записные пьяницы, воры и сорвиголовы, для которых путь от суммы до тюрьмы был неизбежен. Учителя уважали люди более степенные, на что-то надеявшиеся, чего-то ожидавшие, вечно чем-то занятые и редко сытые.

Характер отношений Кувалды и учителя к улице точно определился следующим примером. Однажды в трактире обсуждалось постановление городской думы, коим обыватели Въезжей улицы обязывались: рытвины и промоины в своей улице засыпать, но навоза и трупов домашних животных для сей цели не употреблять, а применять к делу только щебень и мусор с мест постройки каких-либо зданий.

– Откуда же я должен взять этот самый щебень, ежели я за всю свою жизнь одну только скворешницу хотел строить, да и то вот еще не собрался? – жалобно заявил Мокей Анисимов, человек, промышлявший торговлей тертыми калачами, которые пекла его жена.

Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу, и грохнул кулаком по столу, привлекая к себе внимание.

– Откуда взять щебень и мусор? Иди, ребята, всей улицей в город и разбирай думу. Больше она по своей ветхости ни на что не годится. Таким образом, вы дважды послужите украшению города – и Въезжую сделаете приличной, и новую думу заставите построить. Лошадей для возки возьмите у головы, да захватите и его трех дочек – девицы для упряжки вполне годные. А то разрушьте дом купца Иуды Петунникова и вымостите улицу деревом. Кстати, я знаю, Мокей, на чем твоя жена сегодня калачи пекла – на ставнях с третьего окна и двух ступеньках с крыльца Иудина дома.

Когда публика вдоволь нахохоталась, степенный огородник Павлюгин спросил:

– А как же все-таки быть-то, ваше благородие?..

– Ни рукой, ни ногой не двигать! Размывает улицу – ну и пускай!

– Некоторые дома попадать хотят...

– Не мешайте им, пускай падают! Упадут – дери с города вспомоществование; не даст – валяй к нему иск! Вода-то откуда течет? Из города? Ну, город и виновен в разрушении домов...

– Вода – от дождя, скажут...

– Да ведь в городе дома от дождя не валятся? Он с вас налоги дерет, а голоса вам для разговора о ваших правах не дает! Он вам жизнь и имущество портит да вас же и чинить заставляет! Катай его спереди и сзади!

И половина улицы, убежденная радикалом Кувалдой, решила ждать, когда ее домишки смоеет дождевой водой из города.

Более степенные люди нашли в учителе человека, который составил им убедительную реляцию думе.

В этой реляции отказ улицы выполнить постановление думы был мотивирован настолько солидно, что дума вяла. Улице разрешили воспользоваться мусором, оставшимся от ремонта казарм, и дали ей для возки пять лошадей пожарного обоза. Даже более – признали необходимым проложить, со временем, по улице сточную трубу. Это и многое другое создало учителю широкую популярность в улице. Он писал прошения, печатал заметки в газетах. Так, например, однажды гости Вавилова заметили, что селедки и другие снеди в трактире Вавилова совершенно не соответствуют своему назначению. И вот дня через два Вавилов, стоя за буфетом с газетой в руках, публично каялся.

– Справедливо – одно могу сказать! Действительно, селедки купил я ржавые, не совсем хорошие селедки. И капуста – верно!.. задумалась она немножко. Известно, ведь каждый человек хочет как можно больше в свой карман пятаков нагнать. Ну, и что же? Вышло совсем наоборот: я – посягнул, а умный человек предал меня позору за жадность мою... Квит!

Это покаяние произвело на публику очень хорошее впечатление и дало возможность Вавилову скормить ей и селедку и капусту, – всё это публика, под приправой своего впечатления, незаметно скушала. Факт весьма значительный, ибо он не только увеличивал престиж учителя, но и знакомил обывателя с силой печатного слова. Случалось, что учитель читал в трактире лекции практической морали.

– Видел я, – говорил он, обращаясь к маляру Яшке Тюрину, – видел я, как ты бил свою жену...

Яшка уже «подмалевался» двумя стаканами водки и находился в ухарски развязном настроении. Публика смотрит на него, ожидая, что вот сейчас он «выкинет коленце», и в харчевне воцаряется тишина.

– Видел? Понравилось? – спрашивает Яшка. Публика сдержанно смеется.

– Нет, не понравилось, – отвечает учитель. Тон его так внушительно серьезен, что публика молчит.

– Кажись бы, я старался, – бравировает Яшка, предчувствующий, что учитель его «срежет». – Жена довольна, – не встает сегодня...

Учитель задумчиво на столе пальцем чертит какие-то фигуры и, разглядывая их, говорит:

– Видишь ли, Яков, почему мне не нравится это... Разберем основательно, что именно ты делаешь и чего можно тебе от этого ждать. Жена у тебя беременна; ты бил ее вчера по животу и по бокам – значит, ты бил не только ее, но и ребенка. Ты мог его убить, и при родах жена твоя умерла бы от этого или сильно захворала. Возиться с больной женой и неприятно и хлопотно, и дорого это будет тебе стоить, потому что болезни требуют лекарств, а лекарства – денег. Если же ты ребенка не убил еще, то, наверное, изувечил, и он, быть может, родится уродом: кривобоким, горбатым. Значит, он не будет способен к работе, а для тебя важно, чтобы он был работником. Даже если он родится только больным – и то скверно: свяжет мать и потребует лечения. Видишь ли, что ты себе готовишь? Люди, живущие трудом своих рук, должны рождаться здоровыми и рожать здоровых детей... Верно я говорю?

– Верно, – подтверждает публика.

– Ну, это, чай, тово, – не случится! – говорит Яшка, несколько робея перед перспективой, нарисованной учителем. – Она здоровая... сквозь ее до ребенка не дойдешь, поди-ка? Ведь она, дьявол, больно уж ведьма! – восклицает он с

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
огорчением. – Чуть я что, – и пойдет меня есть, как ржа железо!

– Я понимаю, Яков, что тебе нельзя не бить жену, – снова раздается спокойный и вдумчивый голос учителя, – у тебя на это много причин... Не характер твоей жены причина того, что ты ее так неосторожно бьешь... а вся твоя темная и печальная жизнь...

– Вот это верно, – восклицает Яков, – живем действительно в темноте, как у трубочиста за пазухой.

– Ты злишься на всю жизнь, а терпит твоя жена... самый близкий к тебе человек – и терпит без вины перед тобой только потому, что ты ее сильнее; она у тебя всегда под рукой, и деваться ей от тебя некуда. Видишь, как это... нелепо!

– Оно так... черт ее возьми! Да ведь что же мне делать-то? Али я не человек?

– Так, ты человек!.. Ну, вот я тебе хочу сказать: бить ты ее бей, если без этого не можешь, но бей осторожно: помни, что можешь повредить ее здоровью или здоровью ребенка. Никогда вообще не следует бить беременных женщин по животу, по груди и бокам – бей по шее или возьми веревку и... по мягким местам...

Оратор кончил свою речь, и его глубоко ввалившиеся темные глаза смотрят на публику и, кажется, в чем-то извиняются перед ней и о чем-то виновато спрашивают ее.

Она же оживленно шумит. Ей понятна эта мораль бывшего человека – мораль кабака и несчастья.

– Что, брат Яша, понял?

– Вот она какая правда-то бывает!

Яков понял: неосторожно бить жену – вредно для него.

Он молчит, отвечая смущенными улыбками на шутки товарищей.

– И опять же, что такое жена? – философствует калачник Мокей Анисимов. – Жена – друг, ежели правильно вникнуть в дело. Она к тебе вроде как цепью на всю жизнь прикована, и оба вы с ней на манер каторжников. Старайся идти с ней стройно в ногу, не сумеешь – цепь почувешь...

– Погоди, – говорит Яков, – ведь и ты свою бьешь?

– А я разве говорю – нет? Бью.. Иначе невозможно... Кого же мне – стену, что ли, дуть кулаками, когда невтерпеж приходит?

– Ну вот, и я тоже... – говорит Яков.

– Ну, какая же у нас жизнь тесная и аховая, братцы мои! Нет тебе нигде настоящего размаха!

– И даже жену бей с оглядкой! – юмористически скорбит кто-то.

Так они беседуют до поздней ночи или до драки, возникающей на почве опьянения и тех настроений, какие навевают на них эти беседы.

За окнами трактира дождь идет, дико воет холодный ветер. В трактире душно, накурено, но тепло; на улице мокро, холодно и темно. Ветер так стучит в окно, точно дерзко вызывает всех этих людей из трактира и грозит разнести их по земле, как пыль. Иногда в его вое слышится подавленный, безнадежный стон и потом раздается холодный, жесткий хохот. Эта музыка наводит на унылые мысли о близости зимы, о проклятых коротких днях без солнца, о длинных ночах, о необходимости иметь теплую одежду и много есть. На пустой желудок так плохо спится в бесконечные зимние ночи. Идет зима, идет... Как жить?

Невеселые думы вызывали усиленную жажду обывателей Въезжей, у бывших людей увеличивалось количество вздохов в их речах и количество морщин на лицах, голоса становились глуше, отношения друг к другу тупее. И вдруг среди них вспыхивала

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
зверская злоба, пробуждалось ожесточение людей загнанных, измученных своей суровой судьбой.

Тогда они били друг друга; били жестоко, зверски; били и снова, помирившись, напивались, пропивая всё, что мог принять в заклад нетребовательный Вавилов. Так, в тупой злобе, в тоске, сжимавшей им сердца, в неведении исхода из этой подлой жизни, они проводили дни осени, ожидая еще более суровых дней зимы.

Кувалда в такие времена приходил к ним на помощь с философией.

– Не горюй, братцы! Всё имеет свой конец – это самое главное достоинство жизни. Пройдет зима, и снова будет лето... Славное время, когда, говорят, и у воробья – пиво.

Но его речи не действовали – глоток самой чистой воды не насытит голодного.

Дьякон Тарас тоже пробовал развлечь публику, распевая песни и рассказывая свои сказки. Он имел более успеха. Иногда его усилия приводили к тому, что вдруг отчаянное, удалое веселие вскипало в трактире: пели, плясали, хохотали и на несколько часов становились похожими на безумных.

Потом снова впадали в тупое, равнодушное отчаяние, сидя за столами в копоти ламп, в табачном дыму, угрюмые, оборванные, лениво переговариваясь друг с другом, слушая вой ветра и думая о том, как бы напиться, напиться до потери чувств.

И все были глубоко противны каждому, и каждый таил в себе бессмысленную злобу против всех.

II

Всё относительно на этом свете, и нет в нем для человека того положения, хуже которого не могло бы ничего быть.

Однажды в конце сентября, ясным днем, ротмистр Аристид Кувалда сидел, по обыкновению, в своем кресле у дверей ночлежки и, глядя на возведенное купцом Петунниковым каменное здание рядом с трактиром Вавилова, думал.

Здание, еще окруженное лесами, предназначалось под свечной завод и давно уже кололо глаза ротмистру пустыми, темными впадинами длинного ряда окон и паутиной дерева, окружавшей его от основания до крыши. Красное, точно кровью обмазанное, оно походило на какую-то жестокую машину, еще не действующую, но уже разинувшую ряд глубоких, жадно зияющих пастей и готовую что-то жевать и пожирать. Серый деревянный трактир Вавилова, с кривой крышей, поросшей мхом, оперся на одну из кирпичных стен завода и казался большим паразитом, присосавшимся к ней.

Ротмистр думал о том, что скоро и на месте старого дома начнут строить. Сломают и ночлежку. Придется искать другое помещение, а такого удобного и дешевого не найдешь. Жалко, грустно уходить с насиженного места. Уходить же придется только потому, что некий купец пожелал производить свечи и мыло. И ротмистр чувствовал, что если б ему представился случай чем-нибудь хоть на время испортить жизнь этому врагу – о! с каким наслаждением он испортил бы ее!

Вчера купец Иван Андреевич Петунников был на дворе ночлежки с архитектором и своим сыном. Измеряли двор и всюду натывали в землю каких-то палочек, которые, по уходе Петунникова, ротмистр приказал Метеору вытаскать из земли и разбросать.

Перед глазами ротмистра стоял этот купец – маленький, сухонький, в длиннополом одеянии, похожем одновременно на сюртук и на поддевку, в бархатном картузе и высоких, ярко начищенных сапогах. Костлявое, скуластое лицо, с седой клинообразной бородкой, с высоким изрезанным морщинами лбом, и из-под него сверкали узкие серые глазки, прищуренные, всегда что-то высматривающие. Острый хрящеватый нос, маленький рот с тонкими губами. В общем, у купца вид благочестиво хищный и почтенно злой.

«Проклятая помесь лисицы и свиньи!» – выругался про себя ротмистр и вспомнил первую фразу Петунникова, касавшуюся его. Купец пришел с членом городской управы покупать дом и, увидев ротмистра, спросил у своего провожатого бойким костромским говором:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Это тот самый огарок – квартирант-от ваш?

И с той поры вот уже почти полтора года они состязаются друг с другом в своем уменье оскорблять человека.

И вчера между ними произошло легонькое «упражнение в буесловии», как называл ротмистр свои разговоры с купцом. Проводив архитектора, купец подошел к ротмистру.

– Сидишь? – спросил он, дергая рукой за козырек картуза, так что нельзя было понять, поправляет ли он его или же хочет изобразить поклон.

– Мыкаешься? – в тон ему сказал ротмистр и сдвинул движение нижней челюстью, отчего борода его вздрогнула и что нетребовательный человек мог принять за поклон или за желание ротмистра пересунуть свою трубку из одного угла рта в другой.

– Денег у меня много – вот и мыкаюсь. Деньги хотят, чтоб их в жизнь пускали, вот я и даю им ход, – дразнит ротмистра купец, лукаво прищуривая глазки.

– Не тебе, значит, рубль служит, а ты рублю, – комментирует Кувалда, борясь с желанием дать пинка в живот купцу.

– Али это не всё равно? С ними, с деньгами-то, всяко приятно... А вот ежели без них...

И купец с нахально подделанным состраданием оглядывает ротмистра. У того верхняя губа прыгает, обнажая крупные волчьи зубы.

– Имея ум и совесть, можно жить и без них... Деньги обыкновенно являются как раз в то время, когда у человека совесть усыхать начинает... Совести меньше – денег больше...

– Это верно... А то есть люди, у которых ни денег, ни совести...

– Ты смолоду-то таким и был? – простодушно спрашивает Кувалда.

Теперь у Петунникова вздрагивает нос. Иван Андреевич вздыхает, щурит глазки и говорит:

– Мне смолоду о-ох большие тяжести поднять пришлось!

– Я думаю...

– Работал я, ох как работал!

– А многих обработал?

– Таких, как ты? Дворян-то? Ничего, – достаточно их от меня Христовой молитве выучились...

– Не убивал, только грабил? – режет ротмистр. Петунников зеленеет и находит нужным изменить тему.

– А хозяин ты плохой – сидишь, а гость стоит...

– Пусть и он сядет, – разрешает Кувалда.

– Да не на что, вишь...

– На землю... земля всякую дрянь принимает...

– Я это по тебе вижу... Однако пойти от тебя, ругателя, – ровно и спокойно сказал Петунников, но глаза его излили на ротмистра холодный яд.

Он ушел, оставив Кувалду в приятном сознании, что купец боится его. Если б он не боялся, так уже давно бы выгнал из ночлежки. Не из-за пяти же рублей в месяц он

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru не гонит его! Потом ротмистр следит, как купец ходит вокруг своего завода, ходит по лесам вверх и вниз. Ему очень хочется, чтоб купец упал и изломал себе кости. Сколько уже он создал остроумных комбинаций падения и всяческих увечий, глядя на Петунникова, лазившего по лесам, как паук по своей сетке. Вчера ему даже показалось, что вот одна доска дрогнула под ногами купца, и ротмистр в волнении вскочил со своего места... Но – ничего не вышло.

И сегодня, как всегда, перед глазами Аристиды Кувалды торчит это красное здание, прочное, плотное, крепко вцепившееся в землю, точно уже высасывающее из нее соки. Кажется, что оно холодно и темно смеется над ротмистром зияющими дырами своих стен. Солнце льет на него свои осенние лучи так же щедро, как и на уродливые домики Въезжей улицы.

«А вдруг! – мысленно воскликнул ротмистр, измеряя глазами стену завода. – Ах ты, черт возьми! Если бы...» Весь востроумившись, возбужденный своей мыслью, Аристид Кувалда вскочил и торопливо пошел в трактир Вавилова, улыбаясь и бормоча что-то про себя.

Вавилов встретил его за буфетом дружеским восклицанием:

– Вашему благородию здравия желаем!

Среднего роста, с лысой головой, в венчике седых кудрявых волос, с бритыми щеками и с прямо торчащими усами, похожими на зубные щетки, прямой и ловкий, в кожаной куртке, он каждым своим движением позволял узнать в нем старого унтер-офицера.

– Егор! У тебя вводный лист и план на дом есть? – торопливо спросил Кувалда.

– Имею.

Вавилов подозрительно сузил свои вороватые глаза и пристально уставился ими в лицо ротмистра, в котором он видел что-то особенное.

– Покажи мне! – воскликнул ротмистр, стучая кулаком по стойке и опускаясь на табурет около нее.

– А зачем? – спросил Вавилов, решившийся при виде возбуждения Кувалды держать ухо востро.

– Болван, неси скорей!

Вавилов наморщил лоб и испытующе поднял глаза к потолку.

– Где они у меня, эти самые бумаги?

На потолке не нашлось никаких указаний по этому вопросу; тогда унтер устремил глаза на свой живот и с видом озабоченной задумчивости стал барабанить пальцем по стойке.

– Будет тебе кобениться, – прикрикнул на него ротмистр, не любивший его, находя, что бывшему солдату привычнее быть вором, чем трактирщиком.

– Да я, Ристид Фомич, уж вспомнил. Кажись, они в окружном суде остались. Как я вводился во владение...

– Егорка, брось! Ввиду твоей же пользы, покажи мне сейчас план, купчую и всё, что есть. Может быть, ты не одну сотню рублей выиграешь от этого – понял?

Вавилов ничего не понял, но ротмистр говорил так внушительно, с таким серьезным видом, что глаза унтера загорелись любопытством, и, сказав, что посмотрит, нет ли этих бумаг у него в вкладке, он ушел в дверь за буфетом. Через две минуты он возвратился с бумагами в руках и с выражением крайнего изумления на роже.

– А они, проклятые, дома!

– Эх ты... паяц из балагана! А еще солдат был... – не преминул укорить его Кувалда, выхватив из его рук коленкоровую папку с синей актовой бумагой. Затем, развернув

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru перед собой бумаги и всё более возбуждая любопытство Вавилова, ротмистр стал читать, рассматривать и при этом многозначительно мычал. Вот, наконец, он решительно встал и пошел к двери, оставив бумаги на стойке и кинув Вавилону:

– Погоди... не прячь их...

Вавилов собрал бумаги, положил их в ящик вырочки, запер его и подергал рукой – хорошо ли заперлось? Потом он, задумчиво потирая лысину, вышел на крыльцо харчевни. Там он увидел, что ротмистр, измерив шагами фасад харчевни, щелкнул пальцами и снова начал измерять ту же линию, озабоченный, но довольный.

Лицо Вавилова как-то напрягалось, потом вытянулось, потом вдруг радостно просияло.

– Ристид Фомич! Неужто? – воскликнул он, когда ротмистр поравнялся с ним.

– Вот те и неужто! Больше аршина отрезано. Это по фасаду, а вглубь сейчас узнаю..

– Вглубь?.. Десять сажен два аршина!

– Что, догадался, бритая харя?

– Как же, Ристид Фомич! Ну и глазок у вас – в землю вы на три аршина видите! – с восхищением воскликнул Вавилов.

Через несколько минут они сидели друг против друга в комнате Вавилова, и ротмистр, большими глотками уничтожая пиво, говорил трактирщику:

– Итак, вся стена завода стоит на твоей земле. Действуй без всякой пощады. Придет учитель, и мы накатаем прошение в окружной. Цену иска, чтобы не тратиться на гербовые, назначим самую скромную, а просить будем о сломке. Это, дурак ты мой, называется нарушением границ чужого владения, – очень приятное событие для тебя! Ломай! А ломать такую махину да подвигать ее – дорого стоит! Мировую! Тут ты и прижми Иуду. Мы рассчитаем, сколько будет стоить сломка самым точным образом – с битым кирпичом, с ямой под новый фундамент, – всё высчитаем! Даже время примем в счет! И – позвольте, Иуда, две тысячи рублей!

– Не даст! – тревожно моргая глазами, сверкавшими жадным огнем, вытянул Вавилов.

– Врет! Даст! Ты пошевели мозгами – что ему делать? Ломать? Но – смотри, Егорка, не продешеви! Покупать тебя будут – не продавайся дешево! Пугать будут – не бойся! Положись на нас...

Глаза у ротмистра горели свирепой радостью, и лицо, красное от возбуждения, судорожно подергивалось. Он разжег алчность трактирщика и, убедив его действовать возможно скорее, ушел торжествующий и непреклонно свирепый.

Вечером все бывшие люди узнали об открытии ротмистра и, горячо обсуждая будущие действия Петунникова, изображали в ярких красках его изумление и злобу в тот день, когда судебный рассыльный вручит ему копию иска. Ротмистр чувствовал себя героем. Он был счастлив, и все вокруг него были довольны. Большая куча темных, одетых в лохмотья фигур лежала на дворе, шумела и ликовала, оживленная событием. Все знали купца Петунникова. Презрительно щуря глаза, он дарил их таким же вниманием, как и весь другой мусор улицы. От него веяло сытостью, раздражавшей их, и даже сапоги его блестели пренебрежением ко всем. И вот теперь один из них сильно ударит этого купца по карману и самолюбию. Разве это не хорошо?

Зло в глазах этих людей имело много привлекательного. Оно было единственным орудием по руке и по силе им. Каждый из них давно уже воспитал в себе полусознательное, смутное чувство острой неприязни ко всем людям сытым и одетым не в лохмотья, в каждом было это чувство в разных степенях его развития.

Две недели жила ночлежка ожиданием новых событий, и за всё это время Петунников ни разу не являлся на постройку. Дознано было, что его нет в городе и что копия прошения еще не вручена ему. Кувалда громил практику гражданского судопроизводства. Едва ли когда-нибудь и кто-либо ждал этого купца с таким напряженным нетерпением, с которым ожидали его босяки.

Не идет, не идет мой ненаглядный...

Эх, знать, не любит он м-меня-а! – пел дьякон Тарас, поджав щеку и юмористически-скорбно глядя в гору. И вот однажды под вечер Петунников явился. Он приехал в солидной тележке с сыном в роли кучера – краснощеким малым, в длинном клетчатом пальто и в темных очках. Они привязали лошадь к лесам; сын вынул из кармана рулетку, подал конец ее отцу, и они начали мерить землю, оба молчаливые и озабоченные.

– Ага-а! – торжествуя, возгласил ротмистр. Все, кто был налицо в ночлежке, высыпали к воротам и смотрели, вслух выражая свои мнения по поводу происходившего.

– Что значит привычка воровать – человек ворует, даже не желая украсть, рискуя потерять больше того, сколько украдет, – соболезновал ротмистр, вызывая у своего штаба смех и ряд подобных замечаний.

– Ой, малый! – воскликнул наконец Петунников, взорванный насмешками, – гляди, как бы я тебя за твои слова к мировому не потянул!

– Без свидетелей ничего не выйдет... Родной сын не может свидетельствовать со стороны отца, – предупредил ротмистр.

– Ну, гляди же! Атаман ты храбрый, да ведь и на тебя найдется управа!

Петунников грозил пальцем... Сын его, спокойный и погруженный в расчеты, не обращал внимания на кучку темных людей, потешавшихся над его отцом. Он даже не взглянул ни разу в их сторону.

– Молоденький паучок имеет хорошую выдержку, – заметил Обьедок, подробно проследив все действия и движения Петунникова-младшего.

Обмерив всё, что было нужно, Иван Андреевич нахмурился, молча сел в тележку и уехал, а его сын твердыми шагами пошел к трактиру Вавилова и скрылся в нем.

– Ого! решительный молодой вор – да! Ну-ка, что будет дальше? – спросил Кувалда.

– А дальше Петунников-младший купит Егора Вавилова, – уверенно сказал Обьедок и вкусно чмокнул губами, выражая полное удовольствие на своем остром лице.

– А ты этому рад, что ли? – сурово спросил Кувалда.

– А мне приятно видеть, как людские расчеты не оправдываются, – с наслаждением объяснил Обьедок, щуря глаза и потирая руки.

Ротмистр сердито плюнул и промолчал. И все они, стоя у ворот полуразрушенного дома, молчали и смотрели на дверь харчевни. Прошел час и более в этом ожидающем молчании. Потом дверь харчевни отворилась, и Петунников вышел такой же спокойный, каким вошел. Он остановился на минуту, кашлянул, приподнял воротник пальто, посмотрел на людей, наблюдавших за ним, и пошел вверх по улице.

Ротмистр проводил его глазами и, обращаясь к Обьедку, усмехнулся.

– А ведь, пожалуй, ты прав, сын скорпиона и мокрицы... У тебя есть нюх на всё подлое, да... Уж по харе этого юного жулика видно, что он добился своего... Сколько взял с них Егорка? Он – взял. Он их же поля ягода. Он взял, будь я трижды проклят. Это я устроил ему. Горько мне понимать мою глупость. Да, жизнь вся против нас, братцы мои, мерзавцы! И даже когда плюнешь в рожу ближнего, плевком летит обратно в твои же глаза.

Утешив себя этой сентенцией, почтенный ротмистр посмотрел на свой штаб. Все были разочарованы, ибо все чувствовали, что Вавиловым и Петунниковым заключена сделка. Сознание неумения причинить зло более оскорбительно для человека, чем сознание невозможности сделать добро, потому что зло делать так легко и просто.

– Итак, – чего же мы тут торчим? Нам нечего больше ждать... кроме магарыча,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
который я сдерну с Егорки, – сказал ротмистр, хмуро посматривая на харчевню. –
Благоденственному и мирному житию нашему под кровлей Иуды – пришел конец. Попрет
нас Иуда вон... О чем и объявляю по вверенному мне департаменту санкюлотов.

Конец мрачно засмеялся.

– Тюремщик, ты чего? – спросил Кувалда.

– Куда ж я пойду?

– Это, душа моя, впрямую... Судьба твоя ответит на него, не беспокойся, –
задумчиво сказал ротмистр, идя в ночлежку. Бывшие люди лениво двинулись за ним.

– Мы подождем критического момента, – говорил ротмистр, шагая среди них. – Когда
нас вытурят вон, тогда мы и поищем норы для себя. А пока не стоит портить жизнь
такими думами... В критические моменты человек становится энергичнее... и если б
жизнь, во всей ее совокупности, сделать сплошным критическим моментом, если б
каждую секунду человек принужден был дрожать за целостность своей башки... ей-богу,
жизнь была бы более живой, люди более интересными!

– То есть с большей яростью грызли бы глотки друг другу, – пояснил Обьедок,
улыбаясь.

– Ну, так что же? – задорно воскликнул ротмистр, не любивший, чтобы его мысли
пояснялись.

– А ничего, – это хорошо. Когда хотят скорее куда-нибудь доехать, лошадей бьют
кнутом, а машины раздражают огнем.

– Ну да! Пусть всё скачет к черту на кулички! Мне было бы приятно, если б земля
вдруг вспыхнула и сгорела или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб
последний, посмотрев сначала на других...

– Свирепо! – усмехнулся Обьедок.

– Так что? Я – бывший человек, – так? Я отвержен – значит, я свободен от всяких
пут и уз... Значит, я могу наплевать на всё! Я должен по роду своей жизни
отбросить в сторону всё старое... все манеры и приемы отношений к людям,
существующим сыто и нарядно и презирающим меня за то, что в сытости и костюме я
отстал от них, я должен воспитать в себе что-то новое – понял? Такое, знаешь,
чтобы мимо меня идущие господа жизни, вроде Иуды Петунникова, при виде моей
представительной фигуры – трепет хладный в печенках ощущали.

– Экий у тебя язык храбрый, – смеялся Обьедок.

– Эх ты!.. – презрительно оглядел его Кувалда. – Что ты понимаешь? Что ты
знаешь? Умеешь ли ты думать? А я – думал... И читал книги, в которых ты не понял
бы ни слова.

– Еще бы! Где мне ши лаптем хлебать... Но хотя ты читал и думал, а я не делал ни
того, ни другого, однако недалеко же мы друг от друга ушли...

– Пошел к черту! – вскричал Кувалда. Его разговоры с Обьедком всегда так
кончались. Вообще без учителя его речи, – он сам это знал, – только воздух
портили, расплываясь в нем без оценки и внимания к ним; но не говорить – он не
мог. И теперь, обругав своего собеседника, он чувствовал себя одиноким среди
своих людей. А говорить ему хотелось, и потому он обратился к Симцову:

– Ну, а ты, Алексей Максимович, куда приклонишь свою седую голову?

Старик добродушно улыбнулся, потер рукой свой нос и объявил:

– Не знаю... Увижу! Наше дело маленькое: выпил да еще!

– Почтенная, хотя и простая задача! – похвалил его ротмистр.

Симцов, помолчав, добавил, что он устроится скорее всех их, потому что его
женщины очень любят. Это была правда: старик всегда имел двух-трех

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
любовниц-проституток, содержавших его по два и три дня кряду на свои скудные заработки. Они часто били его, но он относился к этому стоически; сильно избить его они почему-то не могли – может быть, жалели. Он был страстный женолюбец и рассказывал, что женщины – причина всех несчастий его жизни. Близость его отношений к женщинам и характер их отношений к нему подтверждались и частыми болезнями его, и костюмом, всегда хорошо починенным и более чистым, чем костюмы товарищей. Теперь, сидя на земле у дверей ночлежки в кругу своих товарищей, он хвастливо начал рассказывать, что его давно уже зовет Редька жить с ней, но он не идет к ней, не хочет уйти из компании.

Его слушали с интересом и не без зависти. Редьку все знали – она жила недалеко под горой и недавно только отсидела несколько месяцев за вторую кражу. Это была «бывшая» кормилица, высокая и дородная деревенская баба, с рябым лицом и очень красивыми, хотя всегда пьяными глазами.

– Ишь ты, старый черт! – выругался Обьедок, глядя на самодовольно улыбавшегося Симцова.

– А почему они меня любят? Потому что я знаю, чем жива их душа...

– Н-да? – вопросительно воскликнул Кувалда.

– Умею заставить их жалеть меня. А женщина, когда она пожалеет, – хоть зарежет из жалости. Плачь перед ней, проси ее убить тебя, пожалеет и – убьет...

– Это я убью! – решительно заявил Мартьянов, усмехаясь своей мрачной усмешкой.

– Кого? – спросил Обьедок, отодвигаясь от него в сторону.

– Всё равно... Петунникова... Егорку... хоть тебя!

– Зачем? – осведомился Кувалда.

– Хочу в Сибирь... Мне надоело это... Подлая жизнь... А там уж будешь знать, как нужно жить...

– Д-да, там укажут подробно, – меланхолически согласился ротмистр.

О Петунникове и грядущем выселении из ночлежки больше не говорили. Все уже были уверены, что выселение близко к ним, и считали излишним утруждать себя рассуждениями на эту тему.

Расположившись кружком на траве, эти люди лениво вели бесконечную беседу о разных разностях, свободно переходя от одной темы к другой и тратя столько внимания к чужим словам, сколько нужно было его для того, чтобы продолжать беседу, не прерывая. Молчать было скучно, но и внимательно слушать тоже скучно. Это общество бывших людей имело одно великое достоинство: в нем никто не насиловал себя, стараясь казаться лучше, чем он есть, и не побуждал других к такому насилию над собой.

Осеннее солнце старательно грело лохмотья этих людей, подставивших ему свои спины и нечесанные головы – хаотическое соединение царства растительного с минеральным и животным. В углах двора рос пышный бурьян – высокие лопухи, усеянные цепкими репьями, и еще какие-то никому не нужные растения услаждали взоры никому не нужных людей...

А в харчевне Вавилова разыгралась следующая сцена.

Петунников-младший вошел в нее не торопясь, осмотрелся, поморщился брезгливо и, медленно сняв с головы серую шляпу, спросил у трактирщика, встретившего его почтительным поклоном и любезной усмешкой:

– Егор Терентьевич Вавилов – это вы и есть?

– Точно так! – ответил унтер, опираясь о прилавок обеими руками, как бы готовый перепрыгнуть через него.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Имею к вам дело, – заявил Петунников.

– Вполне приятно... Пожалуйте в комнаты!

Они прошли в комнаты и сели – гость на клеенчатый диван перед круглым столом, хозяин на стул против него. В одном углу комнаты горела лампада перед громадным трехстворчатым киотом, на стене, около него, висели иконы. Ризы их были ярко вычищены, блестели, как новые. В комнате, тесно заставленной сундуками и старой разнообразной мебелью, пахло деревянным маслом, табаком, кислой капустой. Петунников осмотрелся и снова скорчил гримасу. Вавилов со вздохом взглянул на иконы, а потом они пристально осмотрели друг друга и оба взаимно произвели хорошее впечатление. Петунникову понравились откровенно вороватые глаза Вавилова. Вавилову – открытое, холодное и решительное лицо Петунникова с широкими крепкими скулами и частыми белыми зубами.

– Ну-с, вы, конечно, догадываетесь, насчет чего я буду говорить! – начал Петунников.

– Насчет иску... я так полагаю, – почтительно сказал унтер.

– Именно. Приятно видеть, что вы не ломаетесь, а идете к делу, как человек прямой души, – поощрил Петунников собеседника.

– Солдат я... – скромно сказал тот.

– Это видно. Итак, будем вести дело просто и прямо, чтобы скорее кончить его.

– Вот именно.

– Хорошо-с. Ваш иск вполне законен, и вы его, конечно, выиграете – это прежде всего я считаю нужным сообщить вам.

– Покорно благодарю, – сказал унтер, моргнув, чтобы скрыть улыбку глаз.

– Но, скажите, зачем же вам понадобилось начинать знакомство с нами, вашими будущими соседями, так резко – прямо с суда?

Вавилов пожал плечами и смолчал.

– Было бы проще прийти к нам и устроить всё миром – а? Как вы думаете?

– Это, конечно, приятнее. Да видите ли... тут есть одна закорючка... не своей волей я действовал... а по наущению... После понял, как было бы лучше-то, ну – уж поздно.

– Так. Вас, полагаю, адвокат какой-нибудь научил?

– В этом роде...

– Ну-с, так желаете кончить дело миром?

– С полным удовольствием! – воскликнул солдат.

Петунников помолчал, посмотрел на него и вдруг холодно и сухо спросил:

– А почему вы этого желаете?

Вавилов не ожидал такого вопроса и сразу не мог ответить. По его мнению, это был пустой вопрос, и солдат, с сознанием превосходства, усмехнулся в лицо Петунникова-сына.

– Известно почему... с людьми надо стараться жить в мире.

– Ну, – перебил его Петунников, – это не совсем так. Вы, как я вижу, неясно понимаете, почему вам хотелось бы помириться с нами... Я расскажу вам это.

Солдат удивился немного. Этот парень, весь одетый в клетчатую материю и довольно смешной в ней, говорил так, как, бывало, говорил ротный командир Ракшин, под сердитую руку выбивавший у рядовых сразу по три зуба.

– Вам нужно помириться с нами потому, что наше соседство вам очень выгодно! А выгодно оно потому, что у нас на заводе будет рабочих не менее полутораста человек, со временем – более. Если сто из них после каждого недельного расчета выпьют у вас по стакану, значит, в месяц вы продадите на четыреста стаканов больше, чем продаете теперь. Это я взял самое меньшее. Затем у вас харчевня. Вы, кажется, неглупый и бывалый человек, сообразите-ка сами выгодность нашего соседства.

– Это верно-с, – кивнул головой Вавилов, – это я знал.

– И что же? – громко осведомился купец.

– Ничего-с... Давайте помиримся...

– Очень приятно, что вы так скоро решаете. Вот я припас заявление в суд о прекращении вами претензии против отца. Прочитайте и подпишите.

Вавилов круглыми глазами посмотрел на своего собеседника и вздрогнул, предчувствуя что-то крайне скверное.

– Позвольте... подписать? А как же это?

– Просто, вот напишите имя и фамилию и больше ничего, – обязательно указывая пальцем, где подписать, объяснил Петунников.

– Нет – это что-о! Я не про это... Я насчет того, какое же мне вознаграждение за землю вы дадите?

– Да ведь вам эта земля ни к чему! – успокоительно сказал Петунников.

– Однако она моя! – воскликнул солдат.

– Конечно... А сколько вы хотели бы?

– Да хоть бы – по иску... Как там прописано, – робко заявил Вавилов.

– Шестьсот? – Петунников мягко засмеялся. – Ах вы, чудак!

– Я имею право... Я могу хоть две тысячи требовать... Могу настоять, чтобы вы сломали... Я так и хочу... Потому и цена иска такая малая. Я требую – ломать!

– Валийте... Мы, может быть, и сломаем... года через три, втянув вас в большие издержки по суду. А заплатив, откроем свой кабачок и харчевню получше вашей – вы и пропадете, как швед под Полтавой. Пропадете, голубчик, уж мы об этом позаботимся.

Вавилов, крепко сцепив зубы, смотрел на своего гостя и чувствовал, что гость – владыка его судьбы. Жалко стало Вавилову себя пред лицом этой спокойной, неумолимой фигуры в клетчатом костюме.

– А в таком близком соседстве с нами находясь и в согласии живя, вы, служивый, хорошо могли бы заработать. Об этом мы тоже бы позаботились. Я, например, даже сейчас порекомендую вам лавочку маленькую открыть. Знаете – табачок, спички, хлеб, огурцы и так далее... Всё это будет иметь хороший сбыт.

Вавилов слушал и, как неглупый малый, понимал, что отдаться на великодушие врага – всего лучше. С этого и надо бы начать. И, не зная, куда девать свою злобу, солдат вслух обругал Кувалду:

– Пьяница, ан-нафема!

– Это вы того адвоката, который сочинял вам прошение? – спокойно спросил Петунников и, вздохнув, добавил: – Действительно, он мог сыграть с вами скверную шутку, если б мы не пожалели вас.

– Эх! – махнул рукой огорченный солдат. – Двое тут... Один нашел, другой писал... Корреспондент проклятый!

– Это почему же – корреспондент?

– Пишет в газеты... Всё – ваши постояльцы... Вот люди! Уберите вы их, гоните, Христа ради! Разбойники! Всех здесь в улице мутят, настраивают. Житья нет от них, – отчаянные люди – того гляди, ограбят или подожгут...

– А этот корреспондент – он кто такой? – заинтересовался Петунников.

– Он? Пьяница! Учителем был – выгнали. Пропился, пишет в газеты, сочиняет прошения. Очень подлый человек!

– Гм! Он вам и писал прошение? Та-ак-с! Очевидно, он же писал и о беспорядках на стройке, – леса там, что ли, нашел неправильно поставленными.

– Он! Я это знаю, он, собака! Сам здесь читал и хвалился – вот я, говорит, Петунникова в убыток ввел.

– Н-да... Ну-с, так как же вы... мириться намерены?

– Мириться?

Солдат опустил голову и задумался.

– Эх ты, жизнь наша темная! – с обидой в голосе воскликнул он, почесав затылок.

– Учиться надо, – порекомендовал ему Петунников, закуривая папиросу.

– Учиться? Не в этом дело-с, сударь вы мой! Свободы нет, вот что! Ведь у меня какая жизнь? В трепете живу... с постоянной оглядкой... вполне лишен свободы желательных мне движений! А почему? Боюсь... Этот кикимора учитель в газетах пишет на меня... санитарный надзор навлекает, штрафы плачу... Постояльцы ваши, того гляди, сожгут, убьют, ограбят... Что я против них могу? Полиции они не боятся... Посадят их – они даже рады – хлеб им даровой.

– А вот мы их устраним, – если сойдемся с вами, – пообещал Петунников.

– Как же мы сойдемся? – с тоской и угрюмо спросил Вавилов.

– Говорите ваши условия.

– Да что же? Шестьсот по иску...

– Сто рублей не возьмете? – спокойно спросил купец, тщательно осмотрел своего собеседника и, мягко улынувшись, добавил: – Больше не дам ни рубля...

После этого он снял очки и медленно стал вытирать их стекла вынутым из кармана платком. Вавилов смотрел на него с тоской в сердце и в то же время проникался почтением к нему. В спокойном лице молодого Петунникова, в его серых больших глазах, в широких скулах, во всей его коренастой фигуре было много силы, уверенной в себе и хорошо дисциплинированной умом. Вавилову нравилось и то, как Петунников говорил с ним: просто, с дружескими нотками в голосе, без всякого барства, как со своим братом, хотя Вавилов понимал, что он, солдат, не пара этому человеку. Рассматривая его, почти любуясь им, он не вытерпел и, ощутив в себе прилив горячего любопытства, на минуту заглушившего все остальные его ощущения, почтительно спросил Петунникова:

– Где изволили учиться?

– В технологическом институте. А что? – вскинул тот на него улыбающиеся глаза.

– Ничего-с, это я так, – извините! – Солдат понурил голову и вдруг с восхищением, завистью и даже вдохновенно воскликнул: – Н-да! Вот оно, образование-то! Одно слово, – наука – свет! А наш брат – как сова перед солнцем в этом свете... Эхма! Ваше благородие! Давайте, кончим дело?

Он решительным жестом протянул руку Петуннинову и сдавленно сказал:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Ну – пятьсот?

– Не больше ста рублей, Егор Терентьевич, – как бы сожалел, что больше дать не может, пожал плечами Петунников, хлопая по волосатой руке солдата своей белой и крупной рукой.

Они скоро кончили, потому что солдат вдруг пошел навстречу желанию Петунникова крупными скачками, а тот был непоколебимо тверд. И когда Вавилов получил сто рублей и подписал бумагу, – он ожесточенно бросил перо на стол и воскликнул:

– Ну, теперь остается мне с золотой ротой ведаться! Засмеют, застыдят они меня, дьяволы!

– А вы скажите им, что я заплатил вам всю сумму иска, – предложил Петунников, спокойно пуская изо рта тонкие струйки дыма и следя за ними.

– Да разве они этому поверят? Это тоже умные мошенники, не хуже...

Вавилов остановился вовремя, смущенный едва не сказанным сравнением, и с боязнью взглянул на купеческого сына. Тот курил, весь был поглощен этим занятием. Скоро он ушел, пообещав на прощанье Вавилову разорить гнездо беспокойных людей. Вавилов смотрел ему вслед и вздыхал, ощущая сильное желание крикнуть что-нибудь злое и обидное в спину этого человека, твердыми шагами поднимавшегося в гору по дороге, изрытой ямами, засоренной мусором.

Вечером в харчевню явился ротмистр. Брови у него были сурово нахмурены и правая рука энергично стиснута в кулак. Вавилов виновато улыбался навстречу ему.

– Н-ну, достойный потомок Каина и Иуды, рассказывай...

– Порешили, – сказал Вавилов, вздохнув и опуская глаза.

– Не сомневаюсь. Сколько сребреников получил?

– Четыреста целковых...

– Наверно, врешь... Но это мне же лучше. Без дальнейших слов, Егорка, десять процентов мне за открытие, четвертную учителю за написание прошения, ведро водки всем нам и приличное количество закуски. Деньги сейчас подай, водку и прочее к восьми часам.

Вавилов позеленел и широко открытыми глазами уставился на Кувалду:

– Это-с дудки! Это грабеж! Я не дам... Что вы, Аристид Фомич! Нет, уж это вы оставьте ваш аппетит до следующего праздника! Ишь вы как! Нет, я теперь имею возможность не бояться вас. Я теперь...

Кувалда взглянул на часы за стойкой.

– Даю тебе, Егорка, десять минут для твоего поганого разговора. Кончай в этот срок блудить языком и давай, что требую. Не дашь – сожру! Конеч тебе кое-что продал? Ты в газете о краже у Басова читал? Понимаешь? Спрятать не успеешь ничего – помешаем. И сегодня же ночью... Понял?

– Аристид Фомич! За что? – взвыл отставной унтер.

– Без слов! Понял или нет?

Высокий, седой и внушительно нахмурившийся Кувалда говорил вполголоса, и его хриплый бас зловеще гудел в пустой харчевне. Вавилов всегда немножко боялся его, как бывшего военного и человека, которому нечего терять. Теперь же Кувалда явился перед ним в новом виде: он не говорил много и смешно, как всегда, а в том, что он говорил тоном командира, уверенного в повиновении, звучала нешуточная угроза. И Вавилов чувствовал, что ротмистр погубит его, если захочет, погубит с удовольствием. Нужно было покориться силе. Но с злым трепетом в сердце солдат еще раз попробовал вернуться от кары. Он глубоко вздохнул и смиренно начал:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Видно, верно сказано: сама себя баба бьет, коли нечисто жнет... Наврал я на себя вам, Аристид Фомич... хотел умнее показаться, чем я есть... Сто рублей я получил только...

– Дальше, – бросил ему Кувалда.

– А не четыреста, как сказал вам. Значит...

– Ничего не значит. Мне неизвестно, когда ты врал, давеча или теперь. Я получаю с тебя шестьдесят пять рублей. Это скромно... Ну?

– Эх, господи боже мой! Я вашему благородию всегда, сколько мог, оказывал внимания.

– Ну? Брось слова, Егорка, правнук Иуды!

– Извольте, – я дам... Только вас бог накажет за это.

– Молчать, ты, гнойный прыщ на земле! – гаркнул ротмистр, свирепо вращая глазами. – Я наказан богом... Он меня поставил в необходимость видеть тебя говорить с тобой... Пришибу на месте, как муху!

Он потряс кулаком у носа Вавилова и скрипнул зубами, оскалив их.

Когда он ушел, Вавилов начал криво усмехаться и учащенно моргать глазами. Потом по щекам его покатались две крупные слезы. Они были какие-то серые, и когда скрылись в его усах, две другие явились на их место. Тогда Вавилов ушел к себе в комнату, стал там перед образами и так стоял долго, не молясь, не двигаясь и не вытирая слез с своих морщинистых коричневых щек.

Дьякон Тарас, всегда тяготевший к лесам и лугам, предложил бывшим людям идти в поле, в один овраг и там, на лоне природы, распить водку Вавилова. Но ротмистр и все остальные единодушно обругали и дьякона и природу, решив пить у себя на дворе.

– Один, два, три... – считал Аристид Фомич, – итого нас тринадцать; нет учителя... ну, да еще кое-какие архаровцы подойдут. Будем считать двадцать персон. По два с половиной огурца на брата, по фунту хлеба и мяса... недурно! Водки приходится по бутылке... Есть кислая капуста, яблоки и три арбуза. Спрашивается, какого дьявола еще нужно вам, друзья мои, мерзавцы. Итак, приготовимся же пожирать Егорку Вавилова, ибо всё это – кровь и плоть его!

На земле разостлали какие-то остатки одежд, на них разложили пития и яства и уселись вокруг, чинно и молча, едва сдерживая жадное желание пить, сверкавшее у всех в глазах.

Наступал вечер, тени его опускались на обезображенную отбросами землю двора ночлежки, последние лучи солнца освещали крышу полуразвалившегося дома. Было прохладно, тихо.

– Приступим, братия! – скомандовал ротмистр. – Сколько чаш имеем мы? Шесть, – а нас – тринадцать... Алексей Максимович! наливай! Готово? Н-ну, перрррвый взвод... пли!

Выпили, крякнули и стали есть.

– А учителя нет... вот уже третьи сутки я не вижу его. Никто не видал? – спросил Кувалда.

– Никто...

– Это не в его характере! Ну, всё равно. Выпьем еще! Выпьем за здоровье Аристида Кувалды, единственного моего друга, который всю мою жизнь ни на минуту не оставлял меня одного. Хотя, черт его побери, может быть, я и выиграл бы что-нибудь, если б он на некоторое время лишил меня своего общества.

– Это остроумно, – сказал Обьедок и закашлялся. Ротмистр с сознанием своего

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
превосходства посмотрел на товарищей, но не сказал ничего, ибо ел.

Выпив дважды, компания сразу оживилась – порции были внушительные. Полтора Тараса выразил робкое желание послушать сказку, но дьякон вступил в спор с Кубарем о преимуществах худых женщин перед толстыми и не обратил внимания на слова друга, доказывая Кубарю свой взгляд с ожесточением и горячностью человека, глубоко убежденного в правоте своих взглядов. Наивная рожа Метеора, лежавшего на животе около него, выражала умиление, смакуя забористые словечки дьякона. Мартьянов, обняв свои колени громадными руками, поросшими черной шерстью, молча и мрачно смотрел на бутылку водки и ловил языком ус, стараясь закусить его зубами, Обьедок дразнил Тяпу.

– Я уже подсмотрел, куда ты, колдун, деньги прячешь!

– Твое счастье, – хрипел Тяпа.

– Я, брат, у тебя их поддедую!

– Бери...

Кувалде было скучно с этими людьми: среди них не было ни одного собеседника, достойного слушать его красноречие и способного понимать его.

– Где бы это мог быть учитель? – вслух подумал он.

Мартьянов посмотрел на него и сказал:

– Придет...

– Я уверен, что он именно придет, а не в карете приедет. Выпьем, будущий каторжник, за твое будущее. Если ты убьешь денежного человека, поделись со мной... Я, брат, поеду тогда в Америку, в эти... как их? Лампасы... Пампасы! Поеду туда и достукаюсь там до президента штатов. Потом объявлю всей Европе войну и вздую ее. Армию куплю... в Европе же... Приглашу французов, немцев, турок и буду бить ими ихних родственников... как Илья Муромец бил татар татаринном. С деньгами можно быть Ильей... уничтожить Европу и нанять к себе в лакеи Иуду Петунникова... Он – пойдет... дать ему сто рублей в месяц – и пойдет! Но лакеем будет скверным, ибо станет воровать...

– И еще тем худая женщина лучше толстой, что она дешевле стоит, – убедительно говорил дьякон. – Первая дьяконица моя покупала на платье двенадцать аршин, а вторая десять... Так же и в пище...

Полтора Тараса виновато засмеялся, повернул голову к дьякону, уставился своим глазом ему в лицо и сконфуженно заявил:

– У меня тоже была жена...

– Это со всяким может случиться, – заметил Кувалда. – Ври дальше...

– Была худая, но ела много... И даже от этого померла...

– Ты отравил ее, кривой, – убежденно сказал Обьедок.

– Нет, ей-богу! Она севрюги объелась, – рассказывал Полтора Тараса.

– А я тебе говорю – ты ее отравил! – решительно утверждал Обьедок.

С ним часто это бывало: сказав какую-нибудь нелепость, он начинал повторять ее, не приводя никаких оснований в подтверждение, и, говоря сначала каким-то капризно-детским тоном, постепенно доходил почти до бешенства.

Дьякон вступился за друга.

– Нет, он отравить не мог... не было причины...

– А я говорю – отравил! – взвизгнул Обьедок.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Молчать! – грозно крикнул ротмистр. Скука у него перерождалась в тоскливое озлобление. Он свирепыми глазами осмотрел своих приятелей и, не найдя в их рожах, уже полупьяных, ничего, что могло бы дать дальнейшую пищу его озлоблению, – опустил голову на грудь, посидел так несколько минут и потом лег на землю кверху лицом. Метеор грыз огурцы. Он брал огурец в руку, не глядя на него, засовывал его до половины в рот и сразу перекусывал большими желтыми зубами, так что рассол из огурца брызгал во все стороны, орошая его щеки. Есть ему, очевидно, не хотелось, но этот процесс развлекал его, Мартьянов сидел неподвижно, как изваяние, в той же позе, в которой уселся на землю, и так же сосредоточенно и мрачно смотрел на полуведерную бутылку водки, уже наполовину пустую. Тяпа смотрел в землю и жевал мясо, не поддававшееся его старым зубам. Обьедок лежал на животе и кашлял, съежив всё свое маленькое тело. Остальные – всё молчаливые и темные фигуры – сидели и лежали в разнообразных позах, лохмотья делали их похожими на безобразных животных, созданных силой, грубой и фантастической, для насмешки над человеком.

Жила-была в Суздале
Барыня незнатная,
И с ней случилась судорга
Оч-чень неприятная!

– вполголоса напевал дьякон, обнимая Алексея Максимовича, блаженно улыбавшегося ему в лицо. Полтора Тараса сладострастно хихикал. Ночь приближалась. В небе тихо вспыхивали звезды, на горе в городе – огни фонарей. Заунывные свистки пароходов неслись с реки, с визгом и дребезгом стекол отворялась дверь харчевни Вавилова. На двор вошли две темные фигуры, приблизились к группе людей около бутылки, и одна из них хрипло спросила:

– Пьете?

А другая вполголоса, с завистью и радостью, произнесла:

– Ишь какие черти!

Затем через голову дьякона протянулась рука, взяла бутылку, и раздалось характерное бульканье водки, наливаемой из бутылки в чашку. Потом громко крикнули...

– Ну, и тоска же! – воскликнул дьякон. – Кривой! давай вспомним старину, споем «На реках вавилонских»!

– Он разве умеет? – спросил Симцов.

– Он? Он, брат, в архиерейском хоре солистом был... Ну, Кривой... На-а ре-е-е-ка-а...

Голос у дьякона был дикий, хриплый, прерывающийся, а его друг пел визгливым фальцетом.

Объятый тьмою выморочный дом, казалось, увеличился в объеме или подвинулся всей массой полусгнившего дерева ближе к этим людям, будившим в нем глухое эхо своим диким воем. Облако, пыльное и темное, медленно двигалось по небу над ним. Кто-то из бывших людей храпел, остальные, всё еще недостаточно пьяные, или молча пили и ели, или же разговаривали вполголоса с длинными паузами. Всем было непривычно это подавленное настроение на пире, редком по обилию водки и яств. Почему-то сегодня долго не разгоралось буйное оживление, свойственное обитателям ночлежки за бутылкой.

– Вы, собаки! Погодите выть... – сказал ротмистр певцам, поднимая голову с земли и прислушиваясь. – Кто-то едет... на пролетке...

Пролетка на Въезжей улице, и в эту пору, не могла не возбудить общего внимания. Кто из города мог рискнуть поехать по рытвинам и ухабам улицы, кто и зачем? Все подняли головы и слушали. В тишине ночи ясно разносилось шуршание колес, задевавших за крылья пролетки. Оно всё приближалось. Раздался чей-то голос, грубо спрашивавший:

– Ну, где же? Кто-то ответил:

– А вон к тому дому, должно быть.

– Дальше не поеду...

– Это к нам! – воскликнул ротмистр.

– Полиция! – прозвучал тревожный шёпот.

– На пролетке-то! Дурак! – глухо сказал Мартьянов.

Кувалда встал и пошел к воротам. Обьедок, склонив голову вслед ему, стал слушать.

– Это ночлежный дом? – спрашивал кто-то дребезжащим голосом.

– Да, – прогудел недовольный бас ротмистра.

– Здесь жил репортер Титов?

– Это вы его привезли?

– Да...

– Пьяный?

– Болен!

– Значит, сильно пьяный. Эй, учитель! Ну-ка, вставай!

– Подождите! Я помогу вам... он сильно болен. Он двое суток лежал у меня. Берите под мышки... Был доктор. Очень скверно...

Тяпа встал и медленно пошел к воротам, а Обьедок усмехнулся и выпил.

– Зажгите-ка огонь там! – крикнул ротмистр.

Метеор пошел в ночлежку и зажег в ней лампу. Тогда из двери ночлежки протянулась во двор широкая полоса света, и ротмистр вместе с каким-то маленьким человеком вели по ней учителя в ночлежку. Голова у него дрябло повисла на грудь, ноги волочились по земле и руки висели в воздухе, как изломанные. При помощи Тяпы его свалили на нары, и он, вздрогнув всем телом, с тихим стоном вытянулся на них.

– Мы с ним в одной газете работали... Очень несчастный. Я говорю: «Пожалуйста, лежите у меня, вы меня не стесняете...» Но он молит меня: «Отправьте домой!» Волнуется... я подумал, что ему вредно, и вот привез его... Ведь это именно здесь... да?

– А по-вашему, у него еще где-нибудь есть дом? – грубо спросил Кувалда, пристально рассматривая своего друга. – Тяпа, ступай принеси холодной воды!

– Так вот... – смущенно помялся человек. – Я полагаю... я не нужен ему?

– Вы? – Ротмистр критически посмотрел на него.

Человечек был одет в пиджак, сильно потертый и тщательно застегнутый вплоть до подбородка. Брюки на нем были с бахромой, шляпа рыжая от старости, смятая, как и его худое, голодное лицо.

– Нет, вы не нужны, здесь таких, как вы, много... – сказал ротмистр, отворачиваясь от человека.

– Значит, до свидания! – Человек пошел к двери и оттуда тихо попросил: – Ежели что случится... вы известите в редакцию... Моя фамилия – Рыжов. Я написал бы маленький некролог, ведь все-таки он был, знаете, деятель прессы...

– Гм! некролог, говорите? Двадцать строк – сорок копеек? Я лучше сделаю: когда он умрет, я отрежу ему одну ногу и пришлю в редакцию на ваше имя. Это для вас выгоднее, чем некролог, дня на три хватит... у него ноги толстые... Ели же вы его все там живого...

Человечек как-то странно фыркнул и исчез. Ротмистр сел на нары рядом с учителем, пощупал рукой его лоб, грудь и позвал его:

– Филипп!

Звук глухо отдался в грязных стенах ночлежки и замер.

– Это, брат, нелепо! – сказал ротмистр, тихонько приглаживая рукой растрепанные волосы неподвижного учителя. Потом ротмистр прислушался к его дыханию, горячему и прерывистому, посмотрел в лицо, осунувшееся и землистое, вздохнул и, строго нахмутив брови, осмотрелся вокруг. Лампа была скверная: огонь в ней дрожал, и по стенам ночлежки молча прыгали черные тени. Ротмистр стал упорно смотреть на их безмолвную игру, разглаживая себе бороду.

Пришел Тяпа с ведром воды, поставил его на нары рядом с головой учителя и, взяв его руку, поднял на своей руке, как бы взвешивая.

– Не надо воды, – махнул рукой ротмистр.

– Попа надо, – уверенно сказал старый тряпичник.

– Ничего не надо, – решил ротмистр.

Они помолчали, глядя на учителя.

– Пойдем выпьем, старый черт!

– А он?

– Ты ему поможешь?

Тяпа повернулся к учителю спиной, и они вышли на двор.

– Что там? – спросил Обьедок, обращая к ротмистру свою острую морду.

– Ничего особенного. Умирает человек... – кратко сообщил ротмистр.

– Избили его? – поинтересовался Обьедок.

Ротмистр не ответил, он пил водку.

– Как будто знал, что у нас есть чем поминки о нем справить, – сказал Обьедок, закуривая папиросу.

Кто-то засмеялся, кто-то тяжело вздохнул. Дьякон вдруг как-то напрягся, пошлепал губами, потер лоб и дико взвыл:

– Иде же праведнии у-по-ко-я-ются-а!

– Ты! – зашипел Обьедок, – что орешь?

– Дай ему в рожу! – посоветовал ротмистр.

– Дурак! – раздался хрип Тяпы. – Когда человек кончается, нужно, чтобы тихо было.

Было достаточно тихо: и в небе, покрытом тучами, грозившем дождем, и на земле, одетой мрачной тьмой осенней ночи. Порой раздавался храп уснувших, бульканье наливаемой водки, чавканье. Дьякон что-то бормотал. Тучи плыли так низко, что казалось – вот они заденут за крышу старого дома и опрокинут его на группу этих людей.

– А... скверно на душе, когда умирает человек близкий... – заикаясь, проговорил ротмистр и склонил голову на грудь.

Никто ему не ответил.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Среди вас – он был лучший... самый умный и порядочный... Мне жалко его...

– Со-о святы-ими упоко-ой... Пой, кривая шельма! – забурлил дьякон, толкая в бок своего друга, дремавшего рядом с ним.

– Молчать!.. ты! – злым шёпотом воскликнул Обьедок, вскакивая на ноги.

– я его ударю по башке, – предложил Мартьянов, поднимая голову с земли.

– А ты не спишь? – необычайно ласково сказал Аристид Фомич. – Слышал? Учитель-то у нас...

Мартьянов тяжело завозился на земле, встал, посмотрел на полосы света, исходившего из двери и окон ночлежки, качнул головой и молча сел рядом с ротмистром.

– Выпьем? – предложил тот.

Ощупью отыскав стаканы, они выпили.

– Пойду посмотрю... – сказал Тяпа, – может, ему надо чего.

– Гроб надо... – усмехнулся ротмистр.

– Не говорите вы про это, – глухим голосом попросил Обьедок.

За Тяпой встал с земли Метеор. Дьякон тоже хотел встать, но свалился набок и громко выругался.

Когда Тяпа ушел, ротмистр ударил по плечу Мартьянова и вполголоса заговорил:

– Так-то, Мартьянов... Ты лучше других должен чувствовать... Ты был... впрочем, к черту это. Жалко тебе Филиппа?

– Нет, – помолчав, ответил бывший тюремщик. – Я, брат, ничего такого не чувствую... разучился... Мерзко так жить. Я серьезно говорю, что убью кого-нибудь...

– Да? – неопределенно произнес ротмистр. – Ну... что же? Выпьем еще!

– Н-наше дел-ло маленькое... выпил – да еще-о!

Это проснулся и блаженным тоном пропел Симцов.

– Братцы?! Кто тут? Налейте старику чарку!

Ему налили и подали. Выпив, он снова свалился, ткнувшись головой в чей-то бок.

Минуты две продолжалось молчание, такое ж темное и жуткое, как эта осенняя ночь. Потом кто-то зашептал...

– Что? – раздался вопрос.

– Я говорю, славный он парень был. Голова, тихий такой, – говорили вполголоса.

– Деньги имел... и не жалел их для своего брата... – И опять наступило молчание.

– Кончается! – раздался хрип Тяпы над головой ротмистра.

Аристид Фомич встал и, усиленно твердо ступая ногами, пошел в ночлежку.

– Пошто идешь? – остановил его Тяпа. – Не ходи. Пьяный ведь ты... нехорошо!

Ротмистр остановился, подумал:

– А что хорошо на этой земле? Пошел ты к черту!

По стенам ночлежки всё прыгали тени, как бы молча борясь друг с другом. На нарах, вытянувшись во весь рост, лежал учитель и хрипел. Глаза у него были

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
широко открыты, обнаженная грудь сильно колыхалась, в углах губ кипела пена, и на лице было такое напряженное выражение, как будто он силился сказать что-то большое, трудное и – не мог и невыразимо страдал от этого.

Ротмистр стал перед ним, заложив руки за спину, и с минуту молча смотрел на него. Потом заговорил, болезненно наморщив лоб:

– Филипп! Скажи мне что-нибудь... слово утешения другу... брось!.. Я, брат, люблю тебя... Все люди – скоты, ты был для меня – человек... хотя ты пьяница! Ах, как ты пил водку, Филипп! Именно это тебя и погубило... А почему? Нужно было уметь владеть собою... и слушать меня. Р-разве я не говорил тебе, бывало...

Таинственная, всё уничтожающая сила, именуемая смертью, как бы оскорбленная присутствием этого пьяного человека при мрачном и торжественном акте ее борьбы с жизнью, решила скорее кончить свое бесстрастное дело, – учитель глубоко вздохнул, тихо простонал, вздрогнул, вытянулся и замер.

Ротмистр качнулся на ногах, продолжая свою речь.

– Хочешь, я принесу тебе водки? Но лучше не пей, Филипп... Сдержись, победи себя... А то выпей! Зачем, говоря прямо, сдерживать себя?.. Чего ради, Филипп? Верно? Чего ради?..

Он взял его за ногу и потянул к себе.

– А, ты уснул, Филипп? Ну... спи! Покойной ночи... Завтра я всё это разъясню тебе, и ты убедишься, что ничего не надо запрещать себе... А теперь спи... если ты не умер...

Он вышел, сопровождаемый молчанием, и, придя к своим, объявил:

– Уснул... или умер... Не знаю... Я н-немножко пьян...

Тяпа еще более согнулся, осеняя свою грудь крестным знаменем. Мартьянов молча пожегся и лег на землю. Объедок стал быстро возиться на земле, вполголоса, злым и тоскливым тоном говоря:

– Чёрт вас всех возьми!.. Ну, умер! Ну, что же? Меня-то... мне зачем знать это? Зачем мне об этом рассказывать? Придет время – я сам умру... не хуже его... Не хуже я других.

– Это верно! – громко говорил ротмистр, грузно опускаясь на землю. – Придет время, и все мы умрем не хуже других... ха-ха! Как мы проживем... это пустяки! Но мы умрем – как все. В этом – цель жизни, верьте моему слову. Ибо человек живет, чтоб умереть. И умирает... И если это так – не всё ли равно, как он жил? Мартьянов, я прав? Выпьем же еще... и еще, пока живы...

Накрапывал дождь. Густая, душная тьма покрывала фигуры людей, валявшиеся на земле, скомканные сном или опьянением. Полоса света, исходящая из ночлежки, побледнев, задрожала и вдруг исчезла. Очевидно, лампу задул ветер или в ней догорел керосин. Падая на железную крышу ночлежки, капли дождя стучали робко и нерешительно. С горы из города неслись унылые, редкие удары в колокол – сторожили церковь.

Медный звук, слетая с колокольни, тихо плыл во тьме и медленно замирал в ней, но раньше, чем тьма успевала заглушить его последнюю, трепетно вздыхавшую ноту, рождался другой удар, и снова в тишине ночи разносился меланхолический вздох металла.

Наутро первым проснулся Тяпа.

Повернувшись на спину, он посмотрел на небо – изуродованная шея его только в этом положении позволяла ему видеть небо над головой.

Небо однообразно серое. Там, вверху, сгустился сырой и холодный сумрак, погасил солнце и, скрыв собою голубую беспредельность, изливал на землю уныние. Тяпа перекрестился и привстал на локте, чтобы посмотреть, не осталось ли где водки. Бутылка была пустая. Перелезая через товарищей, Тяпа стал осматривать чашки.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Одну из них он нашел почти полной, выпил, вытер губы рукавом и стал трясти за плечо ротмистра.

– Вставай... ай! Слышь?

Ротмистр поднял голову, глядя на него тусклыми глазами.

– Надо полиции заявить... ну, вставай!

– А что? – сонно и сердито спросил ротмистр.

– Что умер он...

– Это кто?

– Ученый-то...

– Филипп? Да-а!

– А ты забыл... эхма! – укоризненно хрипел Тяпа.

Ротмистр встал на ноги, зычно зевнул и потянулся так, что у него кости хрустнули.

– Так иди ты, объяви...

– Я не пойду... не люблю я их, – угрюмо сказал Тяпа.

– Ну, разбуди дьякона... А я пойду посмотрю.

Ротмистр вошел в ночлежку и стал в ногах учителя. Мертвый лежал, вытянувшись во всю длину; левая рука была у него на груди, правая откинута так, точно он размахнулся, чтоб ударить кого-то. Ротмистр подумал, что, если б учитель встал теперь, он был бы такой же высокий, как Полтора Тараса. Потом он сел на нары в ногах приятеля и, вспомнив, что они прожили вместе около трех лет, вздохнул. Вошел Тяпа, держа голову, как козел, собравшийся бодаться. Он сел по другую сторону ног учителя, посмотрел на его темное лицо, спокойное и серьезное, с плотно сжатыми губами, и захрипел:

– Да... вот и умер... И я умру скоро...

– Тебе пора, – хмуро сказал ротмистр.

– Пора уж! – согласился Тяпа. – И тебе тоже надо бы умереть... Всё лучше, чем так-то...

– А может, хуже? Ты почему знаешь?

– Хуже не будет. Помрешь – с богом будешь иметь дело... А тут с людьми... А люди – что они значат?

– Ну ладно, не хрипи, – сердито оборвал его Кувалда.

В сумраке, наполнявшем ночлежку, стало внушительно тихо.

Долго они сидели у ног мертвого сотоварища и изредка поглядывали на него, оба погруженные в думы. Потом Тяпа спросил:

– Хоронить его ты будешь?

– Я? Нет! Полиция пускай хоронит.

– Ну! Чай, ты схорони... ведь за прошение-то с Вавилова взял его деньги... Я дам, коли не хватит...

– Деньги его у меня... а хоронить не стану.

– Нехорошо это. Мертвого грабишь. Я вот скажу всем, что ты его деньги заешь

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
хочешь... – пригрозил Тяпа.

– Глуп ты, старый черт, – презрительно сказал Кувалда.

– Не глуп я... а только нехорошо, мол, не по-дружески.

– Ну и ладно. Отвяжись!

– Ишь! А сколько денег-то?

– Четвертная... – рассеянно сказал Кувалда.

– Вона!.. Дал бы мне хоть пятерочку...

– Экой ты мерзавец, старик... – равнодушно посмотрев в лицо Тяпы, сказал ротмистр.

– Право, дай...

– Пошёл к черту!.. Я ему на эти деньги памятник устрою.

– На что ему?

– Куплю жернов и якорь. Жернов положу на могилу, а якорь цепью прикую к нему... Это будет очень тяжело...

– Зачем? Чудишь ты...

– Ну... не твое дело.

– Я, смотри, скажу... – снова пригрозил Тяпа. Аристид Фомич тупо посмотрел на него и промолчал.

– Слышь... едут! – сказал Тяпа, встал и ушел из ночлежки.

Скоро в дверях ее явился частный пристав, следователь и доктор. Все трое поочередно подходили к учителю и, взглянув на него, выходили вон, награждая Кувалду косыми и подозрительными взглядами. Он сидел, не обращая на них внимания, пока пристав не спросил его, кивая головой на учителя:

– Отчего он умер?

– Спросите у него... Я думаю, от непривычки...

– Что такое? – спросил следователь.

– Я говорю – умер он, по моему мнению, от непривычки к той болезни, которой захворал...

– Гм... да! А он давно хворал?

– Вытащить бы его сюда, не видно там ничего, – предложил доктор скучным тоном. – Может быть, есть знаки...

– Нуте-ка, позовите кого-нибудь вынести его, – приказал пристав Кувалде.

– Зовите сами. Он мне не мешает и тут... – равнодушно отозвался ротмистр.

– Ну! – крикнул полицейский, делая свирепое лицо.

– Тпру! – отпарировал Кувалда, не трогаясь с места, спокойно злой и оскаливший зубы.

– Я, черт возьми!.. – крикнул пристав, взбешенный до того, что лицо у него налилось кровью. – Я вам этого не спущу! Я...

– Добренького здоровьица, господа честные! – сладким голосом сказал купец Петунников, являясь в дверях.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Окинув острым взглядом всех сразу, он вздрогнул, отступил шаг назад и, сняв картуз, истово перекрестился. Затем по лицу его расплылась улыбка злорадного торжества, и, в упор глядя на ротмистра, он почтительно спросил:

– Что это здесь? Никак человека убили?

– Да вот что-то в этом роде, – ответил ему следователь.

Петунников глубоко вздохнул, опять перекрестился и тоном огорчения заговорил:

– А, господи боже мой! Как я этого боялся! Всегда, бывало, зайдешь сюда, посмотришь... ай, ай, ай! Потом придешь домой, и всё такое начинает мерещиться – боже упаси всякого!.. Сколько раз я господину этому, вот... главнокомандующему золотой ротой, хотел отказать от квартиры, но боюсь всё... знаете... народ такой... лучше уступить, думаю, а то как бы не того...

Он плавно повел рукой в воздухе, потом провел ею по лицу, собрал в горсть бороду и снова вздохнул.

– Опасные люди. И господин этот вроде начальника у них... совершенно атаман разбойников.

– А вот мы его пощупаем, – многообещающим тоном сказал пристав, глядя на ротмистра мстительными глазами. – Он мне тоже хорошо известен!..

– Да, мы с тобой, брат, старые знакомые... – подтвердил Кувалда фамильярным тоном.
– Сколько я тебе и присным твоим взяток за молчание переплатил!

– Господа! – воскликнул пристав, – вы слышали? Прошу запомнить! Я этого не спущу... А-а! Так вот что? Ну, ты у меня помни это! Я тебя... сокр-рашу, мой друг...

– Не хвались на рать идучи... – спокойно говорил Аристид Фомич.

Доктор, молодой человек в очках, смотрел на него с любопытством, следователь со злоеющим вниманием, Петунников с торжеством, а пристав кричал и метался, наскакывая на него.

В дверях ночлежки явилась мрачная фигура Мартьянова. Он подошел тихо и стал сзади Петунникова, так что его подбородок приходился над теменем купца. Сбоку из-за него выглядывал дьякон, широко раскрывая свои маленькие, опухшие и красные глазки.

– Однако давайте же что-нибудь делать, господа! – предложил доктор.

Мартьянов скорчил страшную гримасу и вдруг – чихнул прямо на голову Петунникова. Тот вскрикнул, присел и прыгнул в сторону, чуть не сбив с ног пристава, который едва удержал его, раскрыв ему объятия.

– Видите? – тревожно сказал купец, указывая на Мартьянова. – Вот какие люди! а?

Кувалда хохотал. Доктор и следователь смеялись, а к дверям ночлежки подходили всё новые и новые фигуры. Полусонные, опухшие физиономии с красными, воспаленными глазами, с растрепанными волосами на головах, бесцеремонно разглядывали доктора, следователя и пристава.

– Куда лезете! – усовещивал их городской, дергая за лохмотья и отталкивая от двери. Но он был один, а их много, и они, не обращая на него внимания, лезли, дыша перегорелой водкой, молчаливые и злоеющие. Кувалда посмотрел на них, потом на начальство, несколько смущенное обилием этой нехорошей публики, и, усмехаясь, сказал начальству:

– Господа! Может, вы хотите познакомиться с моими квартирантами и приятелями? Хотите? Всё равно – рано или поздно, вам придется, по обязанностям службы, познакомиться с ними...

Доктор смущенно засмеялся. Следователь плотно сжал губы, а пристав догадался, что нужно было сделать, и крикнул на двор:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Сидоров! Свисти... скажи, когда придут сюда, чтоб достали телегу...

– Ну а я пойду! – сказал Петунников, выдвигаясь откуда-то из-за угла. – Квартирку вы мне сегодня освободите, господин... Я ломать буду эту хибарочку... Позаботьтесь, а то я обращусь к полиции...

На дворе пронзительно рокотал свисток полицейского, у дверей ночлежки тесной толпой стояли ее обитатели, позевывая и почесываясь.

– Итак, не хотите знакомиться?.. Невежливо!.. – смеялся Аристид Кувалда.

Петунников достал из кармана кошелек, порылся в нем, вытащил два пятака и, крестясь, положил их в ноги покойника.

– Господи благослови... на погребение грешного праха.

– Что-о! – гаркнул ротмистр. – Ты – на погребение? Возьми прочь! Прочь возьми, я тебе говорю... мерззавец! Ты смеешь давать на погребение честного человека твои воровские гроши... разражу!

– Ваше благородие! – испуганно крикнул купец, хватая пристава за локти. Доктор и следователь выскочили вон, пристав громко звал:

– Сидоров, сюда!

Бывшие люди стали в дверях стеной и с интересом, оживлявшим их смятые рожи, смотрели и слушали.

Кувалда, потрясая кулаком над головой Петунникова, ревел, зверски вращая налитыми кровью глазами:

– Подлец и вор! Возьми деньги! Гнусная тварь – бери, говорю... а то я в zenки твои вобью эти пятаки, бери!

Петунников протянул дрожащую руку к своей лепте и, защищаясь другой рукой от кулака Кувалды, говорил:

– Будьте свидетелем, господин пристав, и вы, добрые люди.

– Мы, купец, недобрые люди, – раздался дребезжащий голос Обьедка.

Пристав, надув лицо, как пузырь, отчаянно свистел, а другую руку держал в воздухе над головой Петунникова, извивавшегося перед ним так, точно он хотел влезть ему в живот.

– Хочешь, я заставлю тебя, ехидна подлая, ноги целовать у этого трупа? Х-хочешь?

И, вцепившись в ворот Петунникова, Кувалда швырнул его, как котенка, к двери.

Бывшие люди быстро расступились, чтобы дать купцу место для падения. И он растянулся у их ног, испуганно и бешено воя:

– Убивают! Караул... убили-и!

Мартьянов медленно поднял свою ногу, прицеливаясь ею в голову купца. Обьедок со сладострастным выражением на своей физиономии плюнул в лицо Петунникова. Купец сжался в маленький комочек и, упираясь в землю ногами и руками, покатился на двор, поощряемый хохотом. А на дворе уже появились двое полицейских, и пристав, указывая им на Кувалду, кричал:

– Арестовать! Связать!

– Вяжите его, голубчики! – умолял Петунников.

– Не смей! Я не бегу... я сам пойду, – говорил Кувалда, отмахиваясь от городских, подбежавших к нему.

Бывшие люди исчезали один по одному. Телега въехала во двор. Какие-то унылые

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
оборванцы уже тащили из ночлежки учителя.

– Я т-тебя, голубчик... погоди! – грозил пристав Кувалде.

– Что, атаман? – ехидно спрашивал Петунников, возбужденный и счастливый при виде врага, которому вязали руки. – Что? Попал? Погоди! То ли еще будет!..

Но Кувалда молчал. Он стоял между двух полицейских, страшный и прямой, и смотрел, как учителя взваливали на телегу. Человек, державший труп под мышки, был низенького роста и не мог положить головы учителя в тот момент, когда ноги его уже были брошены в телегу. С минуту учитель был в такой позе, точно он хотел кинуться с телеги вниз головой и спрятаться в земле от всех этих злых и глупых людей, не дававших ему покоя.

– Веди его, – скомандовал пристав, указывая на ротмистра.

Кувалда, не протестуя, молчаливый и насупившийся, двинулся со двора и, проходя мимо учителя, наклонил голову, но не взглянул на него. Мартьянов с своим окаменелым лицом пошел за ним. Двор купца Петунникова быстро пустел.

– Н-но, поехали! – взмахнул извозчик вожжами над крупом лошади.

Телега тронулась, затряслась по неровной земле двора. Учитель, покрытый каким-то тряпьем, вытянулся на ней вверх грудью, и живот его дрожал. Казалось, что учитель тихо и довольно смеется, обрадованный тем, что вот, наконец, он уезжает из ночлежки и более уж не воротится в нее, – никогда не воротится... Петунников, провожая его взглядом, благочестиво перекрестился, потом тщательно начал обивать своим картузом пыль и сор, приставшие к его одежде. И по мере того, как пыль исчезала с его поддевки, на лице его являлось спокойное выражение довольства. Со двора ему видно было, как по улице в гору шел ротмистр, с прикрученными на спине руками, высокий, серый, в фуражке с красным околышком, похожим на полосу крови.

Петунников улыбнулся улыбкой победителя и пошел к ночлежке, но вдруг остановился, вздрогнув. В дверях против него стоял с палкой в руке и с большим мешком за плечами страшный старик, ершистый от лохмотьев, прикрывавших его длинное тело, согнутый тяжестью ноши и наклонивший голову на грудь так, точно он хотел броситься на купца.

– Ты что? – крикнул Петунников. – Ты кто?

– Человек, – раздался глухой хрип.

Петунникова этот хрип обрадовал и успокоил. Он даже улыбнулся.

– Человек! Ах ты... такие разве люди бывают?

И, посторонившись, он пропустил мимо себя старика, который шел прямо на него и глухо ворчал:

– Разные бывают... как бог захочет... Есть хуже меня... еще хуже есть... да!

Хмурое небо молча смотрело на грязный двор и на чистенького человека с острой седой бородкой, ходившего по земле, что-то измеряя своими шагами и острыми глазками. На крыше старого дома сидела ворона и торжественно каркала, вытягивая шею и покачиваясь.

В серых, строгих тучах, сплошь покрывших небо, было что-то напряженное и неумолимое, точно они, собираясь разразиться ливнем, твердо решили смыть всю грязь с этой несчастной, измученной, печальной земли.

Мальва
Море – смеялось.

Под легким дуновением знойного ветра оно вздрагивало и, покрываясь мелкой рябью, ослепительно ярко отражавшей солнце, улыбалось голубому небу тысячами серебряных улыбок. В глубоком пространстве между морем и небом носился веселый плеск волн, взбегавших одна за другою на пологий берег песчаной косы. Этот звук и блеск солнца, тысячекратно отраженного рябью моря, гармонично сливались в непрерывное

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
движение, полное живой радости. Солнце было счастливо тем, что светило; море – тем, что отражало его ликующий свет.

Ветер ласково гладил атласную грудь моря; солнце грело ее своими горячими лучами, и море, дремотно вздыхая под нежной силой этих ласк, насыщало жаркий воздух соленым ароматом испарений. Зеленоватые волны, взбегая на желтый песок, сбрасывали на него белую пену, она с тихим звуком таяла на горячем песке, увлажняя его.

Узкая, длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в море. Вонзаясь острым шпилем в безграничную пустыню играющей солнцем воды, она теряла свое основание вдали, где знойная мгла скрывала землю. Оттуда, с ветром, прилетал тяжелый запах, непонятный и оскорбительный здесь, среди чистого моря, под голубым, ясным кровом неба.

В песок косы, усеянный рыбьей чешуей, были воткнуты деревянные колья, на них висели невода, бросая от себя паутину теней. Несколько больших лодок и одна маленькая стояли в ряд на песке, волны, взбегая на берег, точно манили их к себе. Багры, весла, корзины и бочки беспорядочно валялись на косе, среди них возвышался шалаш, собранный из прутьев ивы, лубков и рогож. Перед входом в него на суковатой палке торчали, подошвами в небо, валяные сапоги. И над всем этим хаосом возвышался длинный шест с красной тряпкой на конце, трепетавшей от ветра.

В тени одной из лодок лежал Василий Легостев, караульщик на косе, передовом poste рыбных промыслов Гребенщикова. Лежал он на груди и, поддерживая голову ладонями рук, пристально смотрел в даль моря, к едва видной полоске берега. Там, на воде, мелькала маленькая черная точка, и Василию было приятно видеть, как она всё увеличивается, приближаясь к нему.

Прищуривая глаза от яркой игры солнечных лучей на волнах, он довольно улыбался: это едет Мальва. Она приедет, захочет, грудь ее станет соблазнительно колыхаться, обнимет его мягкими руками, расцелует и звонко, вспугивая чаек, заговорит о новостях там, на берегу. Они с ней сварят хорошую уху, выпьют водки, поваляются на песке, разговаривая и любовно балуясь, потом, когда стемнеет, вскипятят чайник чая, напьются со вкусными баранками и лягут спать... Так бывает каждое воскресенье, каждый праздник на неделе. Рано утром он повезет ее на берег по сонному еще морю, в предрассветном свежем сумраке. Она, дремля, будет сидеть на корме, а он грести и смотреть на нее. Смешная она бывает в то время, смешная и милая, как сытая кошка. Может быть, она соскользнет с лавочки на дно лодки и уснет там, свернувшись в клубок. Она часто делает так...

В этот день даже чайки истомлены зноем. Они сидят рядами на песке, раскрыв клювы и опустив крылья, или же лениво качаются на волнах без криков, без обычного хищного оживления.

Василию показалось, что в лодке не одна Мальва. Неужели опять Сережка привязался к ней? Василий тяжело повернулся на песке, сел и, прикрыв глаза ладонью, с тревогой в сердце стал рассматривать, кто еще там едет. Мальва сидит на корме и правит. Гребец – не Сережка, гребет он неумело, с Сережкой Мальва не стала бы править.

– Эй! – нетерпеливо крикнул Василий.

Чайки на песке дрогнули и насторожились.

– Эй-эй... – донесся с лодки звонкий голос Мальвы.

– С кем ты?

В ответ донесся смех.

– Чертовка! – негромко выругался Василий и сплюнул.

Ему очень хотелось знать, кто это едет там; свертывая папиросу, он упорно смотрел в затылок и спину гребца. Звучный плеск воды под ударами весел раздается в воздухе, песок скрипит под босыми ногами караульщика.

– Это кто с тобой? – крикнул он, когда различил незнакомую ему улыбку на

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
красивом лице Мальвы.

– А вот погоди, узнаешь! – со смехом отозвалась она.

Гребец обернулся лицом к берегу и, тоже смеясь, взглянул на Василия.

Караульщик нахмурил брови, вспоминая, – кто этот как будто знакомый ему парень?

– Ударь сильнее! – скомандовала Мальва.

Лодка с размаха почти до половины всползла на песок вместе с волной и, покачнувшись набок, стала, а волна скатилась назад, в море. Гребец выскочил на берег и сказал:

– Здравствуй, отец!

– Яков! – подавленно воскликнул Василий, более изумленный, чем обрадованный.

Они обнялись и поцеловались по три раза в губы и щеки; на лице Василия удивление смешалось с радостью и смущением.

– То-то я смотрю... и что-то тово – оно, – сердце зудит... Ах, ты – как это ты? На-ко! А я смотрю – Сережка? Нет, вижу, не Сережка! Ан – это ты!

Василий одной рукой гладил бороду, а другой махал в воздухе. Ему хотелось взглянуть на Мальву, но в его лицо уставились улыбающиеся глаза сына, и ему было неловко от их блеска. Чувство довольства собой за то, что у него такой здоровый, красивый сын, боролось в нем с чувством смущения от присутствия любовницы. Он переступал с ноги на ногу, стоя перед Яковом, и один за другим кидал ему вопросы, не дожидаясь ответа на них. В голове у него всё как-то спуталось, и особенно нехорошо стало ему, когда раздались насмешливые слова Мальвы:

– Да ты не юли уж... с радости-то! Веди его в шалаш да угощай...

Он обернулся к ней. На губах ее играла усмешка, незнакомая ему, и вся она – круглая, мягкая и свежая, как всегда, в то же время была какая-то новая, чужая. Она переводила свои зеленоватые глаза с отца на сына и грызла арбузные семечки белыми мелкими зубами. Яков тоже с улыбкой рассматривал их, и несколько неприятных Василию секунд все трое молчали.

– Я сейчас! – вдруг заторопился Василий, двигаясь к шалашу. – Вы уходите от солнца-то, а я наберу воды пойду... уху будем варить! Я тебя, Яков, та-акой ухой накормлю! Вы тут тово... располагайтесь, я сию минуту...

Он схватил с земли у шалаша котелок, быстро пошел куда-то в невода и скрылся в серой массе их складок.

Мальва и его сын тоже пошли к шалашу.

– Ну вот, молодец хороший, я доставила тебя к отцу, – говорила Мальва, искоса оглядывая коренастую фигуру Якова.

Он повернул к ней свое лицо в кудрявой темно-русой бородке и, блеснув глазами, сказал:

– Да, приехали... А хорошо тут, – море-то какое!

– Широкое море. Ну, что же, – сильно постарел отец?

– Нет, ничего. Я думал – он седее, а у него еще мало седины-то... И крепкий...

– Сколько, говоришь, время вы не видались?

– Годов пять, чай... Как уходил он из деревни – мне в ту пору семнадцатый шел...

Они вошли в шалаш, где было душно, а от рогож пахло соленой рыбой, и сели там: Яков – на толстый обрубок дерева, Мальва – на кучу кулей. Между ними стояла перерезанная поперек бочка, дно ее служило столом. Усевшись, они молча,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
пристально посмотрели друг на друга.

– Стало быть, здесь работать хочешь? – спросила Мальва.

– Да вот... не знаю я... Коли найдется что – буду.

– У нас найдется! – уверенно пообещала Мальва, ощупывая его своими зелеными, загадочно прищуренными глазами.

Он не смотрел на нее, вытирая рукавом рубахи потное лицо.

Вдруг она засмеялась.

– Мать-то, чай, отцу наказы да поклоны с тобой прислала?

Яков взглянул на нее, нахмурился и кратко сказал:

– Известно... А что?

– Ничего!

Смех ее не нравился Якову, – он точно поддразнивал его. Парень отвернулся от этой женщины и вспомнил наказы матери.

Проводив его за околицу деревни, она оперлась на плетень и быстро говорила, часто моргая сухими глазами:

– Скажи ты ему, Яша... Христа ради, скажи ты ему... Отец, мол!.. Мать-то одна, мол, там... пять годов прошло, а она всё одна! Стареет, мол!.. скажи ты ему, Яковушка, ради господа. Скоро старухой мать-то будет... одна всё, одна! В работе всё. Христа ради, скажи ты ему...

И она безмолвно заплакала, спрятав лицо в передник.

Тогда Якову не было жалко ее, а теперь стало жалко... Взглянув на Мальву, он сурово повел бровями.

– Ну, вот и я! – воскликнул Василий, являясь в шалаш с рыбой в одной руке и ножом – в другой.

Он уже справился со своим смущением, глубоко скрыв его внутри себя, и теперь смотрел на них спокойно, только в движениях его явилась несвойственная ему суетливость.

– Вот сейчас запалю я костер... и приду к вам... поговорим! Ах, Яков, а?

И он опять ушел из шалаша.

Мальва, не переставая грызть семечки, бесцеремонно разглядывала Якова, а он старался не смотреть на нее, хотя ему этого очень хотелось.

Потом, так как молчание стесняло его, он сказал вслух:

– А котомку-то я в лодке оставил, – пойти взять!

Неторопливо поднявшись с места, он вышел, на смену ему в шалаш явился Василий и, наклонясь к Мальве, заговорил торопливо и сердито:

– Ну, на что ты-то приехала с ним? Что я про тебя скажу ему? Кто ты мне?

– Приехала, да и всё! – коротко сказала Мальва.

– Эх, ты... несообразная баба! Как я теперь буду? Гак прямо ему в глаза и тово... сразу?.. У меня жена дома-то! Мать ему... Должна ты была это сообразить!

– Очень нужно мне соображать! Боюсь я его, что ли? Али тебя? – спросила она, пренебрежительно щуря свои зеленые глаза. – А как ты давеча завертелся перед ним! То-то смешно мне было!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Смешно тебе! А я как буду?

– А ты думал бы об этом раньше!

– Да я знал, что ли, что его так вот вдруг выбросит сюда из моря-то?

Скрипел песок под ногами Якова, и они оборвали свой разговор. Яков принес легонькую котомку, бросил ее в угол и искоса, недобрыми глазами, взглянул на женщину.

Она с увлечением щелкала семечки, а Василий присел на обрубок, потер руками колени и с улыбкой заговорил:

– Так вот ты, значит, и явился... как это ты надумал?

– Да так... Писали мы тебе...

– Когда? Я никакого письма не получал!..

– Ну? А мы писали...

– Потерялось, видно, письмо-то, – огорчился Василий. – Ишь ты, черт его возьми... а? Когда нужно – оно и потерялось...

– Стало быть, ты не знаешь наших-то делов? – спросил Яков, недоверчиво взглянув на отца.

– Да откуда? Не получал я письма!

Тогда Яков рассказал ему, что лошадь у них пала, хлеб весь они съели еще в начале февраля; заработков не было. Сена тоже не хватило, корова чуть с голоду не сдохла. Пробились кое-как до апреля, а потом решили так: ехать Якову после пахоты к отцу, на заработки, месяца на три. Об этом они написали ему, а потом продали трех овец, купили хлеба да сена, и вот Яков приехал.

– Вот оно что! – воскликнул Василий. – Та-ак... А... как же вы... денег я вам посылал...

– Велики ли деньги? Избу чинили... Марью замуж выдали... Плуг я купил... Ведь пять годов... время-то прошло!

– Да-а! Не хватило, значит? Такое дело... А уха-то у меня сбежит! – Он встал и вышел вон.

Присев на корточки перед костром, над которым висел закипавший котелок, сбрасывая пену в огонь, Василий задумался. Всё, что рассказал ему сын, не особенно сильно тронуло его, но породило в нем неприятное чувство к жене и Якову. Сколько он им за пять лет денег переслал, а они все-таки не справились с хозяйством. Если бы не Мальва, он сказал бы Якову кое-что. Самовольно, без отцова разрешения из деревни ушел – хватило ума на это, – а с хозяйством справиться не мог! Хозяйство, о котором Василий, живя до сего дня жизнью приятной и легкой, вспоминал очень редко, теперь вдруг напомнило ему о себе, как о бездонной яме, куда он пять лет бросал деньги, как о чем-то лишнем в его жизни, не нужном ему. Он вздохнул, мешая ложкой уху.

В блеске солнца маленький желтоватый огонь костра был жалок, бледен. Голубые, прозрачные струйки дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн. Василий следил за ними и думал о том, что теперь ему хуже будет жить, не так свободно. Наверное, Яков уже догадался, кто эта Мальва...

А она сидела в шалаше, смущая парня задорными, вызывающими глазами, в которых, не исчезая, играла улыбка.

– Чай, поди-ка, невесту в деревне-то оставил? – вдруг сказала она, заглядывая в лицо Якова.

– Может, и оставил, – неохотно ответил тот.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Красивая, что ли? – небрежно спросила она.

Яков промолчал.

– Что молчишь?.. Лучше меня али нет?

Он посмотрел ей в лицо, не желая этого. Щеки у нее были смуглые, полные, губы сочные, – полураскрытые задорной улыбкой, они вздрагивали. Розовая ситцевая кофта как-то особенно ловко сидела на ней, обрисовывая круглые плечи и высокую, упругую грудь. Но не нравились ему ее лукаво прищуренные, зеленые, смеющиеся глаза.

– Зачем ты так говоришь? – вздохнув, сказал он просящим голосом, хотя желал говорить с ней строго.

– А как надо говорить? – засмеялась она.

– И смеешься тоже... чему?

– Над тобой смеюсь...

– Ну, что я тебе? – обиженно спросил он и снова опустил глаза под ее взглядом.

Она не ответила.

Яков догадывался о том, кто она отцу, и это мешало ему свободно говорить с ней. Догадка не поражала его: он слышал, что на отхожих промыслах люди сильно балуются, и понимал, что такому здоровому человеку, как его отец, без женщины трудно было бы прожить столько времени. Но все-таки неловко и перед ней, и перед отцом. Потом он вспомнил свою мать – женщину истомленную, ворчливую, работавшую там, в деревне, не покладая рук...

– Готова ушлица! – объявил Василий, являясь в шалаш. – Достань-ка ложки, Мальва!

Яков взглянул на отца и подумал:

«Видно, часто она у него бывает, коли знает, где ложки лежат!»

Взяв ложки, она сказала, что надо пойти помыть их и что в корме лодки у нее есть водка.

Отец и сын посмотрели вслед ей и, оставшись один на один, помолчали.

– Ты с ней как встретился? – спросил Василий.

– А я спрашивал про тебя в конторе, и она была там... И говорит: «Чем, говорит, идти пешком по песку, поедем в лодке, я тоже к нему». Вот и приехали.

– Да-а... А я, бывало, думаю: «Каков-то теперь Яков?»

Сын добродушно усмехнулся в лицо отца, и эта усмешка придала Василию храбрости.

– А... ничего бабенка-то?

– Ничего, – неопределенно сказал Яков, моргнув глазами.

– Никакого лешего не поделаешь, брат ты мой! – воскликнул Василий, взмахивая руками. – Терпел я сначала – не могу! Привычка... Я женатый человек. Опять же и одежду она починит и другое прочее... И вообще... эхма! От женщины, как от смерти, никуда не уйдешь! – искренно закончил он свое объяснение.

– Мне что? – сказал Яков. – Это – твое дело, я тебе не судья.

А про себя думал:

«Станет тебе такая штаны чинить...»

– Опять же мне всего сорок пять лет... Расхода на нее немного, не жена она мне... –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
говорил Василий.

– Конечно, – соглашался Яков и думал: «А всё, чай, треплет карман-то!»

Пришла Мальва с бутылкой водки и связкой кренделей в руках; сели есть уху. Ели молча, кости обсасывали громко и выплевывали их изо рта на песок к двери. Яков ел много и жадно; это, должно быть, нравилось Мальве: она ласково улыбалась, глядя, как отдуваются его загорелые щеки, быстро двигаются влажные крупные губы. Василий ел плохо, но старался показать, что он очень занят едой, – это нужно было ему для того, чтоб без помехи, незаметно для сына и Мальвы, обдумать свое отношение к ним.

Ласковую музыку волн перебивали хищные крики чаек. Зной становился менее жгучим, уже иногда в шалаш залетала прохладная струя воздуха, пропитанного запахом моря.

После вкусной ухи и водки глаза Якова осовели. Он начал глуповато улыбаться, икать, позевывать и смотрел на Мальву так, что Василий нашел нужным сказать ему:

– Ты приляг тут, Яшутка, пока до чаю... а там мы тебя разбудим.

– Это можно-о... – согласился Яков, сваливаясь на кули. – А... вы куда? Ха-ха!

Василий, смущенный его смехом, торопливо вышел, а Мальва поджала губы, сдвинула брови и ответила Якову:

– А куда мы пойдем – это не твое дело! Ты что? Ты еще нашему богу – бя! Вот ты что, паренек!..

– Я? Ладно! – воскликнул Яков вслед ей. – Па-аагоди... Я тебе покажу! Ишь ты какая...

Он поворчал еще немного и заснул с пьяной, сытой улыбкой на раскрасневшемся лице.

Василий воткнул в песок три багра, соединил их верхние концы, набросил на них рогожу и, так устроив тень, лег в ней, закинув руки за голову, глядя на небо. Когда Мальва опустилась на песок рядом с ним, он повернул к ней свое лицо, и на нем она увидела обиду и недовольство.

– Что – мало рад сыну-то? – спросила она, засмеявшись.

– Вон он... смеется надо мной... из-за тебя!.. – угрюмо сказал Василий.

– Ну? Из-за меня? – лукаво удивилась она.

– А как же?

– Ах ты, жалкенький! Что же теперь? Не ходить к тебе, что ли? а? Ну – не буду!..

– Ишь ты, ведьма какая! – укорил ее Василий. – Эх вы, люди! Он смеется, ты тоже... а вы мне самые близкие! За что же смеетесь? Черти! – Он отвернулся от нее и замолчал.

Мальва, обняв руками колени, тихонько покачивала корпусом, рассматривая зелеными глазами сверкающее, веселое море, и улыбалась одною из тех торжествующих улыбок, которых так много у женщины, понимающей силу своей красоты.

Парусное судно скользило по воде, как большая, неуклюжая птица с серыми крыльями. Оно было далеко от берега и шло еще дальше, туда, где море и небо сливались в синюю бесконечность.

– Что молчишь? – спросил Василий.

– Думаю, – сказала Мальва.

– Про что это?

– Так, – повела она бровями и, помолчав, добавила: – Сын у тебя – молодец

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
парень...

– А тебе что? – ревниво воскликнул Василий.

– Мало ли что...

– Ты смотри! – окинул он ее суровым взглядом, полным подозрения. – Ты не дури! Я хотя и смиренный, но ты меня не дразни, – да!

Он стиснул зубы и сжал кулаки, продолжая:

– Ты сегодня сразу, как приехала, играть начала что-то... Я еще не понимаю этого... ну, смотри, пойму, неладно тебе будет! И улыбочки у тебя этакие... и всё такое... Я тоже с вашей сестрой умею обращаться...

– А ты меня, Вася, не пугай... – равнодушно и не глядя на него попросила она.

– То-то! не шути же...

– А ты уж не стражай...

– Я и взбучку дам, коли баловать начнешь... – грозил Василий, озлобляясь.

– Бить станешь? – обернулась она к нему, с любопытством глядя в его взволнованное лицо.

– А что ты за графиня? И вздую...

– Да я тебе что – жена, что ли? – вразумительно и спокойно спросила Мальва и, не дожидаясь ответа, продолжала: – Привыкли бить жену ни за что ни про что, ты и со мной так же думаешь? Ну, нет. Я сама себе барыня, и никого не боюсь. А ты вон – сына боишься: давеча как заюлил перед ним – стыд! А еще грозишь мне!

Она презрительно качнула головой и замолчала. Ее холодные, пренебрежительные слова подавили озлобление Василия. Никогда еще он не видал ее такой красивой.

– Разошлась, раскаркалась... – молвил он, и злясь и любясь ею.

– И еще скажу тебе вот что. Ты Сережке бахвалился, что я без тебя, как без хлеба, жить не могу! Напрасно ты это... Может, я не тебя люблю и не к тебе хожу, а люблю я только место это... – Она широко повела рукой вокруг себя. – Может, мне то нравится, что здесь пусто – море да небо и никаких подлых людей нет. А что ты тут – это всё равно мне... Это вроде платы за место... Сережка был бы – к нему бы я ходила, сын твой будет – к нему пойду... А еще лучше, кабы вас вовсе никого не было... обрыдли вы мне!.. Если я с моей красотой захочу – я всегда себе мужика, какого мне нужно, выберу...

– Вот ка-а-к?! – свирепо зашипел Василий и вдруг схватил ее за горло. – Так вот что-о?

Он встряхивал ее, но она не отбивалась, хотя лицо ее покраснело и глаза наливались кровью. Она просто положила обе свои руки на его руку, давившую ей горло, и упорно смотрела ему в лицо.

– Так в тебе вон что есть? – хрипел Василий, всё свирепея. – А – молчала, шкура... а – обнимала... а – ласки мне... Я ж тебе дам!

Он пригнул ее к земле и с наслаждением ударил по шее раз, два – тяжелыми ударами крепко стиснутого кулака. Приятно было ему, когда кулак с размаха падал на ее упругую шею.

– На... что, змея?.. – с торжеством спросил он ее и отшвырнул от себя.

Она, не охнув, молчаливая и спокойная, упала на спину, растрепанная, красная и все-таки красивая. Ее зеленые глаза смотрели на него из-под ресниц с холодной ненавистью. Но он, отдуваясь от возбуждения и приятно удовлетворенный исходом злобы, не видал ее взгляда, а когда с торжеством взглянул на нее – она улыбалась. Дрогнули ее полные губы, вспыхнули глаза, на щеках явились ямки.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Василий изумленно посмотрел на нее.

– Что ты, – черт! – грубо дернув ее за руку, крикнул он.

– Васька!.. Это ты бил меня? – полушепотом спросила она.

– Ну, а кто? – Ничего не понимая, он смотрел на нее и не знал, что ему делать. Не ударить ли ее еще раз? Но в нем уже не было злобы, и рука его не поднималась на нее.

– Стало быть, ты меня любишь? – снова спросила она, и от ее шепота ему стало жарко.

– Ладно, – угрюмо сказал он. – Так ли тебя надо!

– А ведь я думала, что ты уже не любишь меня... думаю: «Вот теперь сын к нему приехал... прогонит он меня...»

Она засмеялась странным, слишком громким смехом.

– Дуреха! – сказал Василий, тоже невольно усмехаясь. – Сын – что он мне за уставщик?

Ему стало совестно перед ней и жалко ее, но, вспомнив ее речи, он заговорил строго:

– Сын тут ни при чем... А что я ударил тебя – сама виновата, зачем дразнила?

– Так ведь я это нарочно, – пыталась ты... – И она прижалась к нему плечом.

– Пыталась! Чего пытаться? Вот и допыталась.

– Ничего! – уверенно сказала Мальва, щуря глаза, – я не сержусь – ведь любя побил? А я тебе за это заплачу... – Она в упор посмотрела на него и, понизив голос, повторила: – Ох, как заплачу!

Василий в этих словах услышал обещание, приятное ему, оно сладко волновало; улыбаясь, он спросил:

– А как?.. Ну-ка?!

– Увидишь, – спокойно сказала Мальва, но губы у нее дрогнули.

– Эх ты, милушка моя! – воскликнул Василий, крепко стиснув ее руками влюбленного. – А знаешь, как побил я тебя – дороже ты мне стала! Право! Роднее... али как?

Чайки носились над ними. Ласковый ветер с моря приносил брызги волн почти к их ногам, а неугомонный смех моря всё звучал...

– Эх, дела наши! – свободно вздохнул Василий, задумчиво лаская женщину, прильнувшую к нему. – И как всё устроено на свете: что грешно, то и сладко. Ты вот ничего не понимаешь... а я иной раз задумаюсь про жизнь – даже страшно станет! Особенно ночью... не спится когда... Смотришь: перед тобой море, над тобой – небо, кругом темно таково, жутко... а ты тут – один! И станешь тогда сам для себя таким ма-аленьким, маленьким... Земля под тобой шатается, и, никого на ней, кроме тебя, нет. Хоть бы ты была в ту пору... все-таки двое...

Мальва, закрыв глаза, лежала у него на коленях и молчала. Грубоватое, но доброе, коричневое от солнца и ветра лицо Василия наклонилось над ней, его большая выцветшая борода щекотала ее шею. Женщина не двигалась, только грудь ее вздымалась высоко и ровно. Глаза Василия то блуждали в море, то останавливались на этой груди, близкой к нему. Он стал целовать ее в губы, не торопясь, чмокая так громко, точно горячую и жирно намавленную кашу ел.

Часа три они провели так; когда солнце начало спускаться в море, Василий сказал скучным голосом:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Ну, пойду чай кипятить... скоро гость проснется!

Мальва ленивым движением разнежившейся кошки отодвинулась в сторону, он неохотно встал и пошел к шалашу. Женщина, чуть приподняв ресницы, посмотрела вслед ему и вздохнула, как вздыхают люди, сбросив ношу, утомившую их.

Потом они, трое, сидели вокруг костра и пили чай. Солнце окрашивало море в живые краски заката, зеленоватые волны блестели пурпуром и жемчугом.

Василий, прихлебывая чай из белой глиняной кружки, расспрашивал сына о деревне, сам вспоминая о ней. Мальва, не вмешиваясь, слушала их медленные речи.

– Живут, стало быть, мужички?

– Живут, как-никак... – отвечал Яков.

– Нашему брату – много ли надо? Избу, да хлебушка вдоволь, да в праздник водки стакан... Но и этого нет... Разве бы я ушел сюда, ежели бы можно было кормиться дома-то? В деревне я сам себе хозяин, всем равный человек, а здесь вот – слуга...

– Зато здесь сытнее и работа легче...

– Ну, этого тоже не скажи! Бывает так, что все кости ноют. Опять же здесь чужому работаешь, а там – самому себе.

– А выработаешь больше, – спокойно возражал Яков.

Внутренне Василий соглашался с доводами сына: в деревне и жизнь и работа тяжелее, чем здесь, – но ему почему-то не хотелось, чтобы Яков знал это. И он сурово сказал:

– Ты считал заработок-то здешний? В деревне, брат...

– Как в яме: и темно и тесно, – усмехнулась Мальва. – А особенно бабье житье – одни слезы.

– Бабье житье одинаково везде... и свет везде один, одно солнце!.. – нахмурился Василий, взглянув на нее.

– Ну это ты врешь! – воскликнула она, оживляясь. – Я в деревне-то хочу не хочу, а должна замуж идти. А замужем баба – вечная раба: жни да пряди, за скотом ходи да детей роди... Что же остается для нее самой? Одни мужьевы побои да ругань...

– Не всё побои, – перебил ее Василий.

– А здесь я ничья, – не слушая его, говорила она. – Как чайка, куда захочу, туда и полечу! Никто мне дороги не загородит. Никто меня не тронет!..

– А как тронет? – усмехаясь, напоминающим тоном спросил Василий.

– Ну, – я уж заплачу! – тихо сказала она, и разгоревшиеся глаза ее погасли.

Василий снисходительно засмеялся.

– Эх ты, – бойка ты, да слаба! Бабьи слова говоришь. В деревне баба – нужный для жизни человек... А здесь – так она... для баловства только живет... – Помолчав, он добавил: – Для греха.

Яков, когда их разговор оборвался, сказал, задумчиво вздохнув:

– И конца, кажись, нет этому морю.

Все трое молча взглянули в пустыню перед ними.

– Ежели бы всё это земля была! – воскликнул Яков, широко размахнув рукой. – Да чернозем бы! Да распахать бы!

– Вон что! – добродушно засмеялся Василий, одобрительно взглянув в лицо сына,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
даже покрасневшее от силы выраженного желания. Ему приятно было слышать в словах сына любовь к земле, и он подумал, что эта любовь, быть может, скоро и действительно позовет Якова от соблазнов вольной промысловой жизни назад в деревню. А он останется здесь с Мальвой – и всё пойдет по-старому...

– Это, Яков, хорошо ты сказал! Крестьянину так и следует. Крестьянин землей и крепок: докуда он на ней – жив, сорвался с нее – пропал! Крестьянин без земли – как дерево без корня: в работу оно годится, а прожить долго не может – гниет! И красоты лесной нет в нем – обглоданное, обстроганное, невидное!.. Это ты, Яков, очень хорошие слова сказал.

Море, принимая солнце в свои недра, встречало его приветливой музыкой плеска волн, разукрашенных его прощальными лучами в дивные, богатые оттенками цвета. Божественный источник света, творящего жизнь, прощался с морем красноречивой гармонией своих красок, чтобы далеко от трех людей, следивших за ним, разбудить сонную землю радостным блеском лучей восхода.

– У меня душа тает, когда я смотрю, как солнышко заходит, право, ей-богу! – сказал Василий Мальве.

Она промолчала. Голубые глаза Якова улыбались, блуждая в дали моря. Долго все трое задумчиво смотрели туда, где гасли последние минуты дня. Пред ними тлели уголья костра. Сзади ночь развевала по небу свои тени. Желтый песок темнел, чайки исчезли, – всё вокруг становилось тихим, мечтательно-ласковым... И даже неугомонные волны, взбегая на песок косы, звучали не так весело и шумно, как днем.

– Что я сию? – сказала Мальва. – Надо идти.

Василий поежился и взглянул на сына.

– Куда торопиться? – недовольно пробормотал он. – Погоди, – вот месяц взойдет...

– А что – месяц? Я и так не боюсь, – не в первый раз мне ночью отсюда уходить!

Яков взглянул на отца и прищурил глаза, скрывая усмешку; потом посмотрел на Мальву, – она тоже смотрела на него, – и ему стало неловко.

– Ну что ж! Иди! – разрешил Василий, недовольный и скучный.

Она встала, простилась и медленно пошла вдоль берега косы; волны, подкатываясь ей под ноги, точно заигрывали с ней. В небе трепетно вспыхивали звезды – его золотые цветы. Яркая кофточка Мальвы, удаляясь от Василия и его сына, провожавших ее глазами, линияла в сумраке.

Милый мой... скорей иди!

Да-ах! Прижми-ись к моей груди!

– запела Мальва высоким и резким голосом. Василию показалось, что она остановилась и ждет. Он с ожесточением плюнул, думая: «Это она нарочно, дразнит меня, дьяволица!»

– Ишь ты! Поет! – усмехнулся Яков.

Она была для их глаз только серым пятном в сумраке.

Не-е жа-алей моих грудей,
Двоих бе-елых лебедей!

– разносился над морем ее голос. – Ишь как! – воскликнул Яков и всем телом потянулся туда, откуда неслись соблазнительные слова.

– Значит, не сладил ты там с хозяйством-то? – раздался суровый голос Василия.

Яков, недоумевая, взглянул на него и принял прежнюю позу.

Утопая в шуме волн, до их слуха доносились отдельные, разорванные слова задорной песни:

...Ах... спать невмочь

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
...одной... в эту ночь!
– Жарко! – тоскливо воскликнул Василий, возясь на песке. – Ночь ведь... а жарко!
Экая проклятая сторона...

– Это – песок... нагрелся за день-то... – отворотясь в сторону и как будто запинаясь, сказал Яков.

– Ты чего?.. Смеешься никак? – сурово спросил его отец.

– Я? – невинно спросил Яков. – Чему это?

– То-то, мол, ровно бы нечему...

Они замолчали.

А сквозь шум волн до них долетали не то вздохи, не то тихие, ласково зовущие крики.

Прошло две недели, снова наступило воскресенье, и снова Василий Легостев, лежа на песке около своего шалаша, смотрел в море, ждал Мальву. И пустынное море смеялось, играя отраженным солнцем, и легионы волн рождались, чтоб взбежать на песок, сбросить на него пену своих грив, снова скатиться в море и растаять в нем. Всё было такое же, как и четырнадцать дней тому назад. Только Василий, прежде ожидавший свою любовницу со спокойной уверенностью, сегодня ждал ее с нетерпением. В прошлое воскресенье она не была – сегодня должна быть! Он не сомневался, что она приедет, но ему хотелось скорее видеть ее. Яков не будет мешать сегодня: третьего дня он приезжал за неводом вместе с другими рабочими и сказал, что в воскресенье с утра отправится в город купить себе рубах. Он нанялся на ватаги по пятнадцати рублей в месяц, уже несколько раз ездил на ловлю рыбы и теперь смотрел бойко и весело. От него, как от всех рабочих, пахло соленой рыбой, и, как все, он был грязный и рваный. Василий вздохнул при мысли о сыне.

«Как бы он здесь уцелел... избалуется... тогда, пожалуй, не захочет уж назад в деревню идти... И придется мне самому...»

Кроме чаек, в море никого не было. Там, где оно отделялось от неба тонкой полоской песчаного берега, иногда появлялись на этой полоске маленькие черные точки, двигались по ней и исчезали. А лодки всё не было, хотя уже лучи солнца падают в море почти отвесно. В это время Мальва бывала уже давно здесь.

Две чайки схватились в воздухе и дерутся так, что перья летят из них. Ожесточенные крики рвут веселую песню волн, такую постоянную, так гармонично слитую с торжественной тишиной сияющего неба, что она кажется звуком радостной игры солнечных лучей на равнине моря. Чайки падают в воду, бьют друг друга, яростно вскрикивая от боли и злобы, и снова вздымаются в воздух, преследуя друг друга... А подруги их – целая стая, – как бы не видя этой борьбы, жадно ловят рыбу, кувыркаясь в зеленоватой, прозрачной, играющей воде.

Море – пустынно. Не являлось в нем там, далеко у берега, знакомое темное пятно...

– Не едешь? – вслух сказал Василий. – Ну и не надо! А ты думала как?..

И он презрительно сплюнул по направлению к берегу.

Море смеялось.

Василий встал и пошел в шалаш, намереваясь варить себе обед, но почувствовал, что есть ему не хочется, воротился на старое место и снова лег там.

«Хоть бы Сережка приехал! – мысленно воскликнул он и заставил себя думать о Сережке. – Это – яд-парень. Надо всеми смеется, на всех лезет с кулаками. Здоровый, грамотный, бывалый... но пьяница. С ним весело... Бабы души в нем не чают, и хотя он недавно появился – все за ним так и бегают. Одна Мальва держится поодаль от него... Не едет вот. Экая окаянная бабенка! Может, она рассердилась на него за то, что он ударил ее? Да разве ей это в новинку? Чай, как били... другие! Да и он теперь задаст ей...»

Так, думая то о сыне, то о Сережке и больше всего о Мальве, Василий возился на песке и всё ждал. Беспокойное настроение незаметно перерождалось у него в темную подозрительную мысль, но он не хотел остановиться на ней. И, скрывая от себя свое подозрение, он провел время до вечера, то вставая и расхаживая по песку, то снова ложась. Уже море потемнело, а он всё еще рассматривал его даль, ожидая лодку.

Мальва не приехала в этот день.

Ложась спать, Василий уныло ругал свою службу, не позволяющую ему отлучиться на берег, а засыпая, он часто вскакивал, – сквозь дрему ему слышалось, что где-то далеко плещут весла. Тогда он прикладывал руку козырьком к своим глазам и смотрел в темное, мутное море. На берегу, на промысле, горели два костра, а в море никого не было.

– Ладно же, ведьма! – грозил он. А потом заснул тяжелым сном.

А на промысле вот что произошло в этот день.

Яков встал рано утром, когда солнце еще не палило так жарко и с моря веяло бодрой свежестью. Он вышел из барака к морю умываться и, подойдя к берегу, увидел Мальву. Она сидела на корме баркаса, причаленного к берегу, и, спустив за борт голые ноги, расчесывала мокрые волосы.

Яков остановился и стал смотреть на нее любопытными глазами.

Ситцевая кофточка, не застегнутая на груди, спустилась с одного плеча, а плечо было такое белое, вкусное.

В корму баркаса били волны. Мальва то поднималась над морем, то опускалась так низко, что голые ее ноги почти касались воды.

– Купалась, что ли? – крикнул Яков.

Она обернула к нему лицо, мельком взглянула на него и, снова расчесывая волосы, ответила:

– Купалась... Что рано поднялся?

– Ты еще раньше...

– А я тебе что за пример?

Яков промолчал.

– По моей-то манере будешь жить – трудно будет тебе голову носить! – сказала она.

– О? Ишь ты, какая страшная! – усмехнулся Яков и, присев на корточки, стал умываться.

Черпая пригоршнями воду, он плескал ее себе на лицо и покряхтывал, ощущая свежесть. Потом, утираясь подолом рубахи, спросил Мальву:

– Что ты меня страшашь всё?

– А ты что на меня глаза пялишь?

Яков не помнил, чтобы смотрел на нее больше, чем на других промысловых женщин, но теперь вдруг сказал ей:

– Да ежели ты... вон какая сдобная!

– Вот отец узнает эти твои замашки – он тебе шею-то насдобит!

Она лукаво и задорно смотрела ему в лицо.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Яков засмеялся и полез на баркас. Он опять-таки не понимал, про какие его замашки она говорит, но коли она говорит, так, значит, он поглядывал на нее зорко.

Ему стало приятно, весело.

– А что отец? – говорил он, идя к ней по борту баркаса. – Что ты – купленная его, что ли?

Усевшись рядом с ней, он устался на ее голое плечо, полуобнаженную грудь, на всю ее фигуру – свежую и крепкую, пахнущую морем.

– Вон ты – белуга какая! – с восхищением воскликнул он, подробно осмотрев ее.

– Не про тебя! – кратко заявила она, не глядя на него, не оправляя своего откровенного костюма.

Яков вздохнул.

Пред ними необозримо расстилалось море в лучах утреннего солнца. Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о борт. Далеко в море, как шрам на атласной груди его, виднелась коса. С нее в мягкий фон голубого неба вонзался шест тонкой черточкой, и было видно, как треплется по ветру тряпка.

– Да, паренек! – заговорила Мальва, не глядя на Якова. – Вкусна я, да не про тебя... А и никем я не купленная, и отцу твоему не подвластна. Живу сама про себя... Но ты ко мне не лезь, потому что я не хочу между тобой и Васильем стоять... Ссоры не хочу и разной склоки... Понял?

– Да я что? – изумился Яков. – Я ведь тебя не трогаю...

– Тронуть ты меня не смеешь! – сказала Мальва.

Она так это сказала, с таким пренебрежением к Якову, что в нем был обижен и мужчина и человек. Задорное, почти злое чувство охватило его, глаза вспыхнули.

– О? Не смею? – воскликнул он, подвигаясь к ней.

– Не смеешь!

– Н-ну? А как трону?

– Тронь!

– А что будет?

– А я дам тебе по затылку, ты и кувырнешься в воду.

– А ну, дай!

– А – тронь!

Он окинул ее горящими глазами и вдруг крепко охватил ее сбоку сильными лапами, сдавив ей грудь и спину. От прикосновения ее тела, горячего и крепкого, он вспыхнул весь и горло его сжалось от какого-то удушья.

– Вот! Ну... бей! Ну... что?

– Пусти, Яшка! – спокойно сказала она, не делая попытки освободиться из его вздрагивавших рук.

– А по затылку хотела?

– Пусти! Смотри, худо будет!

– Ну... не стражай ты меня! Эх ты... малина!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Он прижался к ней и впился толстыми губами в ее румяную щеку.

Она задорно захохотала, крепко схватила Якова за руки и вдруг, сильным движением всего своего тела, рванулась вперед. В объятиях друг друга они тяжелой массой свалились в воду и скрылись в пене и брызгах. Потом на взволнованной воде появилась мокрая голова Якова с испуганным лицом, а рядом с ней вынырнула Мальва. Яков, отчаянно взмахивая руками, разбивал вокруг себя воду, выл и рычал, а Мальва с громким хохотом плавала вокруг него, плеская ему в лицо пригоршни соленой воды, ныряла, уклоняясь от широких взмахов его лап.

– Чёрт! – закричал Яков, фыркая. – Я утону! Будет!.. Ей-богу... утону! Вода... горькая... Ах ты... тону-у!

Но она уже оставила его и, по-мужски загребая руками, плыла к берегу. Там, ловко взобравшись снова на баркас, она стала на корме и, смеясь, смотрела на Якова, торопливо подплывавшего к ней. Мокрая одежда, пристав к ее телу, обрисовывала его формы от колен по плечи, и Яков, подплыв к лодке и уцепившись рукой за нее, уставился жадными глазами на эту почти голую женщину, весело смеявшуюся над ним.

– Ну, вылезай, тюлень! – сказала она сквозь смех и, став на колени, подала ему одну руку, а другой оперлась в борт лодки.

Яков схватил ее руку и с одушевлением воскликнул:

– Ну... Теперь держись! Я тебя – в-выкупаю!..

Он тянул ее к себе, стоя по плечи в воде; волны перебежали через его голову и, разбиваясь о лодку, брызгали в лицо Мальве. Она жмурилась, хохотала и вдруг, взвизгнув, прыгнула в воду, сбив Якова с ног тяжестью своего тела.

И снова они начали играть, как две большие рыбы, в зеленоватой воде, брызгая друг на друга и взвизгивая, фыркая, ныряя.

Солнце, смеясь, смотрело на них, и стекла в окнах промысловых построек тоже смеялись, отражая солнце. Шумела вода, разбиваемая их сильными руками, чайки, встревоженные этой возней людей, с пронзительными криками носились над их головами, исчезавшими под набегом волн из дали моря...

Наконец, усталые и наглотавшиеся воды, они вылезли на берег и сели на солнце отдыхать.

– Тьфу! – морщась, плевался Яков. – Ну и вода дрянная! То-то ее и много так!

– Дрянного всего много на свете, парней, например, – батюшки сколько! – смеялась Мальва, выжимая воду из своих волос...

Волосы у нее были темные и хотя не длинные, но густые и вьющиеся.

– То-то ты старика и облюбовала себе, – ехидно усмехнулся Яков, толкнув ее локтем в бок.

– Иной старик лучше молодого.

– Уж коли отец хорош, стало быть, сын еще лучше...

– Ишь ты! Где учился хвастать-то?

– Мне девки в деревне часто говорили, что я совсем не плох парень.

– Разве девки что понимают? А ты меня спроси...

– А ты что? Али не девка?

Она пристально взглянула на него; он зазорно смеялся. Тогда она вдруг стала серьезной и с сердцем сказала ему:

– Была, да однажды родила!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Складно, да не ладно, – сказал Яков и расхохотался.

– Дурачина! – резко бросила ему Мальва и отвернулась от него.

Яков сробел и замолчал, поджав губы.

С полчаса они оба молчали, повертываясь к солнцу так, чтобы оно скорее высушило их мокрое платье.

В бараках – длинных грязных сараях, с крышами на один скат – просыпались рабочие. Издали все они были похожи друг на друга – оборванные, лохматые, босые... Доносились до берега их хриплые голоса, кто-то стучал по дну пустой бочки, летели глухие удары, точно рокотал большой барабан. Две женщины визгливо ругались, лаяла собака.

– Просыпаются, – сказал Яков. – А ведь я хотел сегодня в город ехать пораньше... и вот пробаловал с тобой...

– Со мной добра не будет, – не то шутя, не то серьезно сказала она.

– Чего ты всё пугаешь меня? – удивленно усмехнулся Яков.

– А вот увидишь, как отец-то тебя...

Это напоминание об отце вдруг рассердило его.

– Что отец? Ну? – грубо воскликнул он. – Отец! Я сам не маленький... Важность какая... Здесь не те порядки... я не слепой, вижу... Он сам не праведник... он тут себя не стесняет... Ну, и меня не тронь.

Она насмешливо поглядела ему в лицо и с любопытством спросила:

– Не трогать тебя? А ты что делать собираешься?

– Я? – Он надул щеки и выпятил вперед грудь, как будто тяжесть поднимал. – Я-то? Я много могу! Меня чистым-то воздухом довольно обвеяло, деревенскую-то пыль сдуло с меня.

– Скоренько! – насмешливо воскликнула Мальва.

– А что? Я вот возьму да и отоблю тебя у отца.

– Н-ну? Неужто?

– А то побоюсь?

– Да ну-у?

– Ты вот что, – взволнованно и пылко заговорил Яков, – ты меня не дразни! Я... смотри!

– Что? – спокойно спросила она.

– Ничего!

Он отворотился от нее и замолчал, имея вид парня удалого и уверенного в себе.

– А ты задорный! Вот у приказчика черненький кутенок, видел? Так он такой же, как и ты. Издали лает, укусить обещает, а близко подойдешь, он подожмет хвост да и бежать!

– Ну, ладно же! – воскликнул Яков, озлобляясь. – Погоди ты! Увидишь, каков я есть, увидишь!

А она смеялась в лицо ему.

К ним шел, медленной походкой и покачивая корпусом, высокий, жилистый, бронзовый человек в густой шапке растрепанных огненно-рыжих волос. Кумачная рубаха без

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
пояса была разорвана на спине у него почти до ворота, и чтобы рукава ее не сползали с рук, он засучил их до плеч. Штаны представляли собой коллекцию разнообразных дыр, ноги были босы. На лице, густо усеянном веснушками, дерзко блестели большие голубые глаза, нос, широкий и вздернутый кверху, придавал всей его фигуре вид бесшабашно-нахальный. Подойдя к ним, он остановился и, блестя на солнце телом, выглядывавшим из бесчисленных дыр его костюма, громко шмыгнул носом, вопросительно уставился на них глазами и скорчил смешную рожу.

– Вчера Сережка выпил немножко, а сегодня в кармане у Сережки – как в бездонном лукошке... Дайте двугривенный взаймы! Я всё равно не отдам...

Яков добродушно расхохотался над его бойкой речью, а Мальва усмехнулась, разглядывая его ободранную фигуру.

– Дайте, черти! Я вас обвенчаю за двугривенный – хотите?

– Ах ты, балагур! Да разве ты поп? – смеялся Яков.

– Дурак! Я в Угличе у попа в дворниках жил... Дай двугривенный!

– Я не хочу венчаться! – отказал ему Яков.

– Всё равно – дай! Я твоему отцу не скажу, что ты за его кралей приухлыстываешь, – настаивал Сережка, облизывая языком сухие, потрескавшиеся губы.

– Ври, так он тебе и поверит...

– Уж я совру, так поверит! – пообещал Сережка, – и вздует тебя – ах как!

– Не боюсь! – усмехнулся Яков.

– Ну, так я сам вздую! – спокойно заявил Сережка, суживая глаза.

Якову было жалко двугривенного, но его уже предупреждали, что с Сережкой не нужно связываться, а лучше удовлетворить его притязания. Многого он не потребует, а если не дать ему – подстроит во время работы какую-нибудь пакость или изобьет ни за что ни про что. Яков, вспомнив эти наставления, вздохнул и полез в карман.

– Вот так! – поощрил его Сережка, опускаясь на песок рядом с ним. – Всегда меня слушай, умным будешь. А ты, – обратился он к Мальве, – скоро за меня замуж пойдешь? Скорей собирайся, – я долго ждать не буду.

– Дранный ты... Зашей дыры сначала, потом поговорим, – ответила Мальва.

Сережка критически посмотрел на свои дыры и качнул головой.

– А ты мне лучше свою юбку дай.

– Так! – сказала Мальва и засмеялась.

– А право! Дай – есть какая-нибудь старенькая?

– Да ты купи себе штаны, – посоветовала Мальва.

– Ну, я лучше пропью деньги...

– Лучше! – смеялся Яков, держа в руке четыре пятака.

– А как же? Мне поп говорил, что человек не о шкуре своей должен заботиться, о душе. Душа у меня требует водки, а не штанов. Давай деньги! Ну, вот теперь я выпью... А отцу про тебя все-таки скажу.

– Говори! – махнул рукой Яков и ухарски подмигнул Мальве, толкнув ее в плечо.

Сережка заметил это, сплюнул и еще пообещал:

– И вздуть тебя не забуду... Как только свободное время будет – такую дам клочку!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Да за что? – тревожно спросил Яков.

– Уж я знаю... Ну, так замуж за меня скоро пойдешь? – обратился Сережка к Мальве.

– А вот ты расскажи мне, что мы делать будем и как жить, – тогда подумаю, – серьезно сказала она.

Сережка поглядел в море, прищунив глаза, и, облизав губы, объяснил:

– Ничего не будем делать, гулять будем!

– А есть где возьмем?

– Ну, – махнул рукой Сережка, – ты, ровно мать моя, рассуждаешь. Что да как? Разве я знаю, что и как? Пойду выпью...

Он встал и пошел прочь от них, провожаемый странной улыбкой Мальвы и неприязненным взглядом парня.

– Ишь какой командир! – сказал Яков, когда Сережка ушел от них далеко. – У нас бы в деревне такого хахаля живо усмирили... Дали бы ему хо-орошую взбучку – и всё... А здесь боятся...

Мальва посмотрела на него и процедила сквозь зубы:

– Ах ты, поросля! Понимаешь ты ему цену!

– Чего понимаешь? Цена таким пятачок за пучок, да и то – когда их в пучке-то сотня.

– Тоже! – насмешливо воскликнула Мальва. – Это тебе цена... А он... везде бывал, скрозь прошел всю землю и никого не боится...

– А я кого боюсь? – храбро спросил Яков.

Она не ответила ему, задумчиво следя за игрой волн, взбегавших на берег, колыхая тяжелый баркас. Мачта качалась из стороны в сторону, корма, вздымаясь и падая в воду, хлопала по ней. Звук был громкий и досадливый, – точно баркасу хотелось оторваться от берега, уйти в широкое, свободное море и он сердился на канат, удерживавший его.

– Ну, чего же ты не уходишь? – спросила Мальва у Якова.

– А куда мне? – отозвался он.

– В город хотел...

– Не пойду!

– Ну, к отцу поезжай.

– А ты?

– Что?

– Тоже поедешь?

– Нет...

– Ну, и я нет.

– Целый день около меня будешь торчать? – спокойно спросила Мальва.

– Не больно-то ты мне нужна... – ответил Яков с обидой, встал и ушел от нее.

Но он ошибся, говоря, что она не нужна ему. Без нее стало скучно. Странное чувство родилось в нем после разговора с ней: смутный протест против отца,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
глухое недовольство им. Вчера этого не было, не было и сегодня до встречи с Мальвой... А теперь казалось, что отец мешает ему, хотя он там, далеко в море, на этой, чуть заметной глазу, полоске песку... Потом ему казалось, что Мальва боится отца. А кабы она не боялась – совсем бы другое вышло у него с ней.

Он шлялся по промыслу, рассматривая людей. Вон, в тени барака, на бочке сидит Сережка и, тренькая на балалайке, поет, строя смешные рожи:

Господин гор-родо-ваой!
Будьте вежливы со мной...
Отведите меня в часть,
Чтобы в грязь мне не упасть...
Его окружает человек двадцать таких же оборванцев, от всех – как и от всего здесь – пахнет соленой рыбой, селитрой. Четыре бабы, некрасивые и грязные, сидя на песке, пьют чай, наливая его из большого жестяного чайника. А вот какой-то рабочий, несмотря на утро, уже пьян, возится на песке, пытается встать на ноги и снова падая. Где-то, взвизгивая, плачет женщина, доносятся звуки испорченной гармоники, и всюду блестит рыба чешуя.

В полдень Яков нашел себе тенистое местечко среди груды пустых бочек, лег там и проспал до вечера, а проснувшись, снова начал бродить по промыслу, ощущая смутное влечение куда-то.

Проходив часа два, он нашел Мальву далеко от прииска под купой молоденьких ветел. Она лежала на боку и, держа в руках какую-то растрепанную книжку, смотрела навстречу ему, улыбаясь.

– Ишь ты где! – сказал он, садясь рядом с ней.

– А ты меня давно ищешь? – уверенно спросила она.

– Да разве я тебя искал?! – воскликнул Яков, вдруг понимая, что это так и есть: он искал ее. И, в недоумении, парень качнул головой.

– Ты грамотный? – спросила она его.

– Грамотный... да плохо, забыл все уж...

– И я тоже – плохо... В школе учился?

– В земской.

– А я сама выучилась...

– Ну?

– Право... В Астрахани у адвоката кухаркой была; сын его научил меня читать.

– Значит, не сама... – пояснил Яков.

Она посмотрела на него и опять спросила:

– А тебе хочется книжки читать?

– Мне? Нет... чего там?

– А я – люблю, – вот выпросила у приказчиковой жены книжку и читаю...

– Про что?

– Про Алексея божия человека.

И, задумчиво рассказав ему о том, как юноша – сын богатых и важных родителей – ушел от них и от своего счастья, а потом вернулся к ним, нищий и оборванный, жил на дворе у них вместе с собаками, не говоря им до смерти своей, кто он, – Мальва тихо спросила у Якова:

– Зачем это он так?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Кто же его знает? – равнодушно ответил Яков.

Бугры песка, наметенного ветром и волнами, окружали их. Издали доносился глухой, темный шум, – это на промысле шумели. Солнце садилось, на песке лежал розоватый отблеск его лучей. Жалкие кусты ветел чуть трепетали своей бедной листвой под легким ветром с моря. Мальва молчала, прислушиваясь к чему-то.

– Чего же ты сегодня не поехала туда... на косу?

– А тебе что?

Яков искоса жадными глазами поглядывал на женщину, соображая, как ему сказать ей то, что нужно.

– Я вот, когда одна и тихо... все плакать хочу... Или петь. Только песен я хороших не знаю, а плакать – стыдно...

Он слышал ее голос, тихий, ласковый, но то, что говорила она, не задело в нем ничего, лишь придало более резкую форму его желанию.

– А ты вот что, – глухо заговорил он, пододвигаясь к ней, но не глядя на нее, – ты послушай, что я тебе скажу... Я – парень молодой...

– И глупый, глу-упый! – убежденно вытянула Мальва, качая головой.

– Ну, пускай глупый, – с досадой воскликнул Яков. – Разве тут ум нужен? Глупый – и ладно! А вот что я скажу – желаешь ты со мной...

– Не желаю!..

– Чего?

– Ничего!

– Да ты не дури... – Он осторожно взял ее за плечи. – Ты сообрази...

– Пошел прочь, Яшка! – сурово сказала она, стряхнув с себя его руку. – Пошел!

Он встал и осмотрелся вокруг.

– Ну... ежели ты так – мне наплевать! Вас здесь много... Думаешь – ты лучше других?

– Щенок ты, – спокойно сказала она, встав на ноги и отряхивая песок с платья.

И они пошли рядом друг с другом на промысел. Шли медленно, потому что ноги вязли в песке.

Яков грубо уговаривал ее уступить его желанию, она спокойно посмеивалась и отвечала ему колкими словами.

Вдруг он, когда они были уже около промысловых барачков, остановился и схватил ее за плечо.

– А ведь это ты нарочно разжигашь меня?! Зачем ты это? Я тебе – смотри!

– Отстань ты, говорю! – она вывернулась из-под его руки и пошла, а навстречу ей из-за угла барака явился Сережка и, тряхнув своей лохматой огненной башкой, сказал зловеще:

– Гуляли? Ладно!

– Подите вы все к черту! – злобно крикнула Мальва.

А Яков остановился против Сережки и угрюмо смотрел на него. Между ними было шагов десять расстояния.

Сережка уставился в глаза Якова. Постояв так с минуту, как два барана, готовые

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
треснуться друг о друга лбами, они молча разошлись в разные стороны.

Море было тихое и красное от заката; над промыслом стоял глухой шум, и из него рельефно выделялся пьяный женский голос, истерически выкрикивавший нелепые слова:

...Та-агарга, матагарга,
Матаничка м-моя!
П-пьяная, избитая,
Растрепанная-а!

И эти слова, гадкие, как мокрицы, разбегались по промыслу, пропитанному запахом селитры и гнилой рыбы, – разбегались, оскорбляя собою музыку волн.

В нежном блеске утренней зари даль моря спокойно дремала, отражая перламутровые облака. На косе возились полусонные рыбаки, укладывая в баркас снасти.

Серая масса сети ползла по песку на баркас и складывалась в кучу на дно его.

Серезка, как всегда, без шапки, полуголый, стоя на корме, торопил рыбаков хриплым, похмельным голосом. Ветер играл лоскутьями его рубахи и рыжими вихрами волос.

– Василий! Где зеленые весла? – кричал кто-то.

Василий, хмурый, как октябрьский день, укладывал невод в баркасе, а Серезка смотрел ему в согнутую спину и облизывал губы, – признак его желания опохмелиться.

– У тебя водка есть? – спросил он.

– Есть, – глухо сказал Василий.

– Ну, так я не поеду... останусь у сухого крыла.

– Готово! – крикнули с косы.

– Отчаливай, давай! – командовал Серезка, сходя с баркаса. – Поезжайте... я останусь здесь. Смотри – завози шире, не путай! Да клади ровнее, – петель не навяжите!..

Баркас столкнули в воду, рыбаки влезли в него с бортов и, разобрав весла, подняли их на воздух, готовые ударить по воде.

– Раз!

Весла дружно упали в волны, и баркас рванулся вперед, в широкую равнину озаренной воды.

– Два! – командовал рулевой, и, как лапы гигантской черепахи, весла поднялись к бортам... – Раз!.. Два!..

На берегу у сухого крыла невода осталось пятеро: Серезка, Василий и еще трое. Один из них опустился на песок и сказал:

– Поспать еще...

Двое последовали его примеру, и на песке скорчились в комки три тела в грязных лохмотьях.

– Ты что в воскресенье не был? – спросил Василий у Серезки, идя с ним в шалаш.

– Нельзя было...

– Пьян был?

– Нет, Следил за твоим сыном да за его мачехой, – спокойно сообщил Серезка.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Нашел заботу! – криво усмехнулся Василий. – Малые они ребята, что ли?

– Хуже... Один – дурак, другая – юродивая...

– Это Мальва юродивая? – спросил Василий, и глаза его вспыхнули злобой. – Давно ли такой стала?

– У нее, брат, душа не по телу...

– Подлая у нее душа.

Сережка покосился на него и презрительно фыркнул.

– Подлая! Эх вы... землееды тупорылые! Ни черта вы понимать не можете... Вам бы только титьки были у бабы жирные, – а характера ее вам не надо... А в характере весь цвет у человека... без характера баба – без соли хлеб. Можешь ты получить удовольствие от такой балалайки, у которой струн нет? Кобель!..

– Ишь ты до каких речей допился вчера!.. – уязвил его Василий.

Ему очень хотелось спросить, где и как видел вчера Сережка Якова и Мальву, но было совестно.

Придя в шалаш, он налил Сережке чайный стакан водки, надеясь, что после такой порции Сережка сразу охмелеет и сам расскажет ему про них.

Но Сережка выпил, крякнул и, весь прояснившись, уселся в двери шалаша, потягиваясь и зевая.

– Выпьешь – как огня проглотишь!.. – сказал он.

– Ну и пей ты! – воскликнул Василий, пораженный быстротой, с которой Сережка проглотил водку.

– Умею... – кивнул босяк рыжей головой и, вытерев ладонью мокрые усы, заговорил поучительно: – Умею, брат! Я все делаю скоро и прямо. Без изворотов – валяя прямо и все! А куда попадешь – это все равно! С земли, кроме как в землю, никуда не соскочишь...

– Ты хотел на Кавказ уходить? – спросил Василий, тихонько двигаясь к своей цели...

– Уйду, когда захочу. Когда я захочу, – я прямо – раз-раз и... готово! Или по-моему вышло, или шишку на лбу набью... Просто!

– Чего проще! Вроде как без головы живешь...

Сережка насмешливо покосился на Василия.

– А ты – умный! Тебя сколько раз в волости пороли?

Василий посмотрел на него и смолчал.

– А ведь это хорошо, что у вас начальство ум-то сзади наперед розгами перегоняет... Эх ты! Ну, что ты с своей головой можешь поделаться? И куда ты с ней угодишь? И чего ты можешь выдумать? То-то! А я без головы пружу прямо, и больше никаких! И, наверное, дальше тебя буду, – хвастливо говорил босяк.

– Это – пожалуй!.. – усмехнулся Василий. – Ты и до Сибири дойдешь...

Сережка искренно расхохотался.

Он не пьянел, вопреки ожиданию Василия, и того злило это. Поднести еще стакан ему было жалко, а в трезвом виде от Сережки ничего не добьешься... Но босяк сам выручил его.

– Ты что же про Мальву не спрашиваешь?

– А чего мне? – равнодушно протянул Василий, вздрагивая от какого-то

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
предчувствия.

– Ведь она в воскресенье не была здесь... Спрашивай, как она жила за эти дни... Чай, ревнуешь, старый черт!

– Много их! – пренебрежительно махнул рукой Василий...

– Много их! – передразнил Сережка. – Эх вы, деревня лыкова помещика дикого! Дай вам мед, дай деготь – всё у вас кулага будет...

– Ты что ее всё хвалишь? Сватать, что ли, пришел? Так я ее сам давно усватал, – насмешливо сказал Василий.

Сережка осмотрел его, помолчал и увесисто начал говорить Василию, положив ему руку на плечо:

– Я знаю, что она живет с тобой. Я тебе в этом не мешал – не надо было... Но теперь этот Яшка, сын твой, около нее вертится – вздуй его докрасна! Слышишь? А то я сам вздую... Ты мужик хороший... дурак дубовый... Я тебе не мешал, и ты это помни...

– Вон что! И ты тоже за ней? – глухо спросил Василий.

– Тоже! Кабы я знал, что тоже, – я бы прямо всех вас посшибал с моей дороги и – конец... А то – куда мне ее?

– Так что же ты путаешься? – подозрительно спросил Василий.

Сережку, должно быть, поразил этот простой вопрос.

Он широко открытыми глазами посмотрел на Василия и засмеялся.

– Чего путаюсь? Да – черт-е знает чего... Так, – баба она... этакая... с перцем... Нравится мне... А может, мне ее жалко, что ли...

Василий смотрел на него недоверчиво, но чувствовал, что Сережка искренно, от души говорит.

– Кабы она нетронутая девка была – ну еще можно пожалеть. А так – чудно что-то!

Сережка молчал, глядя, как баркас далеко в море поворачивал носом к берегу, описывая широкую дугу. Глаза Сережки смотрели открыто, лицо было доброе и простое.

Василий смягчился, глядя на него.

– А ты это верно, она баба славная... вертячка только!.. Яшка? Ну, я ему задам! Ишь, щенок!..

– Мне он не по душе... – заявил Сережка.

– А он ластится к ней? – сквозь зубы спросил Василий, разглаживая бороду.

– Он, – вот увидишь, – клином войдет между вами, – уверенно сказал Сережка.

В дали морской вспыхнул розовый веер лучей восхода. Сквозь шум волн с моря из баркаса долетел слабый крик:

– Веди-и!..

– Вставай, ребята! Эй! К неводу! – командовал Сережка.

И скоро они, все пятеро, уже выбирали свой край невода. Из воды тянулась на берег длинная веревка, упругая, как струна, и рыбаки, захлестывая за нее лямки, побрякивая, тащили веревку.

А другую сторону невода вел к берегу баркас, скользя по волнам.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Солнце, великолепное и яркое, поднималось над морем.

– Увидишь Якова – скажи, чтобы он завтра побывал ко мне, – попросил Василий Серезку.

– Ладно.

Баркас пристал к берегу, и, соскочив с него на песок, рыбаки тянули свое крыло невода. Две группы постепенно сближались друг с другом, и поплавки невода, прыгая на воде, образовали правильный полукруг.

Поздним вечером этого дня, когда рабочие на промысле поужинали, Мальва, усталая и задумчивая, сидела на разбитой лодке, опрокинутой вверх дном, и смотрела на море, одетое сумраком. Там, далеко, сверкал огонь; Мальва знала, что это костер, зажженный Василием. Одиноким, точно заблудившийся в темной дали моря, огонь то ярко вспыхивал, то угасал, как бы изнемогая. Мальве было грустно смотреть на эту красную точку, потерянную в пустыне, слабо трепетавшую в неугомонном рокоте волн.

– Ты чего тут сидишь? – раздался голос Серезки за ее спиной.

– А тебе что? – спросила она, не взглянув на него.

– Любопытно.

Он помолчал, разглядывая ее, свернул папироску, закурил и сел верхом на лодку. Потом сказал дружелюбно:

– Чудная ты баба: то бежишь прочь ото всех, то чуть не всем на шею виснешь.

– Это тебе, что ли, я висну? – равнодушно спросила она.

– Не мне, а Яшке.

– А тебе завидно?

– Мм... Давай прямо, по душе говорить? – предложил Серезка, ударив ее по плечу. Она сидела боком к нему, и он не видел ее лица, когда она кратко бросила ему:

– Говори.

– Ты что, Василья бросила, что ли?

– Не знаю, – ответила она, помолчав. – А тебе зачем это?

– Да – так...

– Сердита я на него теперь.

– За что?

– Побил меня!..

– Н-ну?.. Это он-то? А ты – далась ему? Ай-яй!

Серезка был изумлен. Он заглядывал сбоку в ее лицо и иронически чмокал губами.

– Кабы захотела – не далась бы, – возразила она с сердцем.

– Так что же ты?

– Не захотела.

– Крепко, значит, любишь кота? – насмешливо сказал Серезка и обдал ее дымом своей папиросы. – Ну, дела! А я было думал, что ты не из таких...

– Никого я вас не люблю, – снова равнодушно сказала она, отмахиваясь рукой от

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
дыма.

– Врешь, поди-ка?

– Для чего мне врать? – спросила она, и по ее голосу Сережка понял, что врать ей действительно не для чего.

– А ежели ты его не любишь, как же ты позволяешь ему бить тебя? – серьезно спросил он.

– Да разве я знаю? Чего ты пристаешь?

– Чудно!.. – тряхнув головой, сказал Сережка.

И оба они долго молчали.

Ночь приближалась. Тени ложились на море от облаков, медленно двигавшихся в небе. Волны звучали.

Огонь у Василия на косе погас, но Мальва всё еще смотрела туда. А Сережка смотрел на нее.

– Слушай! – сказал он. – Ты знаешь, чего хочешь?

– Кабы знала! – с глубоким вздохом, очень тихо ответила Мальва.

– Стало быть, не знаешь? Это плохо! – уверенно заявил Сережка. – А я вот всегда знаю! – И с оттенком грусти он добавил: – Только мне редко чего хочется.

– Мне всегда хочется чего-то, – задумчиво заговорила Мальва. – А чего?.. не знаю. Иной раз села бы в лодку – и в море! Далеко-о! И чтобы никогда больше людей не видеть. А иной раз так бы каждого человека завертела да и пустила волчком вокруг себя. Смотрела бы на него и смеялась. То жалко всех мне, а пуще всех – себя самое, то избивала бы весь народ. И потом бы себя... страшной смертью... И тоскливо мне и весело бывает... А люди все какие-то дубовые.

– Народ гнилой, – согласился Сережка. – То-то я смотрю на тебя и вижу – не кошка ты, не рыба... и не птица... А всё это есть в тебе, однако... Не похожа ты на баб.

– И то слава богу! – усмехнулась Мальва.

Из-за гряды песчаных бугров, слева от них, появилась луна, обливая море серебряным блеском. Большая, кроткая, она медленно плыла вверх по голубому своду неба, яркий блеск звезд бледнел и таял в ее ровном, мечтательном свете.

Мальва улыбнулась.

– А... знаешь?.. Мне иной раз кажется, – что, если бы барак ночью поджечь, – вот суматоха была бы!

– Какая! – с восхищением воскликнул Сережка и вдруг толкнул ее в плечо. – Знаешь что... я тебя научу, – забавную штуку сыграем! Хочешь?

– Ну? – с интересом спросила Мальва.

– Ты этого яшку – раззадорила здорово?

– Огнем пышет, – усмехнулась она.

– Страви его с отцом! Ей-богу! Потешно будет... Схватятся они, как медведи... Ты подогрей старика-то, да и этого тоже... А потом мы их друг на друга и спустим... а?

Мальва обернулась к нему и пристально посмотрела на его рыжее, весело улыбавшееся лицо. Освещенное луной, оно казалось менее пестрым, чем днем, при свете солнца. На нем не было заметно ни злобы, – ничего, кроме добродушной и немножко озорной улыбки.

– За что ты их не любишь? – подозрительно спросила Мальва.

– Я?.. Василий – ничего, мужик хороший. А Яшка – дрянь. Я, видишь ты, всех мужиков не люблю.. сволочи! Они прикинутся сиротами – им и хлеба дают и – всё!.. У них вон есть земство, и оно всё для них делает... Хозяйство у них, земля, скот... Я у земского доктора кучером служил, насмотрелся на них... потом бродяжил много. Придешь, бывало, в деревню, попросишь хлеба – цоп тебя! Кто ты, да что ты, да подай паспорт... Бивали сколько раз... То за конокрада примут, то просто так... В холодную сажали... Они ноют да притворяются, но жить могут: у них есть зацепка – земля. А я что против них?

– А ты разве не мужик? – перебила его Мальва, внимательно слушая его речь.

– Я мещанин! – с некоторой гордостью отрекся Сережка. – Города Углича мещанин.

– А я – из Павлиша, – задумчиво сообщила Мальва.

– За меня никого нет заступника! А мужики... они, черти, могут жить. У них и земство, и всё такое.

– А земство – это что? – спросила Мальва.

– Что? А черт его знает что! Для мужиков поставлено, их управа... Плюнь на это... Ты говори о деле – устрой-ка им стычку, а? Ничего ведь от этого не будет, – подерутся только!.. Ведь Василий бил тебя? Ну, вот и пусть ему его же сын за твои побои возместит.

– А что? – усмехнулась Мальва. – Это хорошо бы...

– Ты подумай... разве не приятно смотреть, как из-за тебя люди ребра друг другу ломают? Из-за одних только твоих слов?.. Двинула ты языком раз-два и – готово!

Сережка долго, с увлечением рассказывал ей о прелести ее роли. Он одновременно и шутил и говорил серьезно.

– Эх, ежели бы я красивой бабой был! Такую бы я на сем свете заваруху развел! – воскликнул он в заключение, схватил голову в руки, крепко сжал ее, зажмурил глаза и замолчал.

Луна уже была высоко в небе, когда они разошлись. Без них красота ночи увеличилась. Теперь осталось только безмерное, торжественное море, посеребренное лунной, и синее, усеянное звездами небо. Были еще бугры песку, кусты ветел среди них и два длинные, грязные здания на песке, похожие на огромные, грубо сколоченные гроба. Но всё это было жалко и ничтожно перед лицом моря, и звезды, смотревшие на это, блестели холодно.

Отец и сын сидели в шалаше друг против друга, пили водку. Водку принес сын, чтобы не скучно было сидеть у отца и чтобы задобрить его. Сережка сказал Якову, что отец сердится на него за Мальву, а Мальве грозит избить ее до полусмерти; что Мальва знает об этой угрозе и потому не сдается ему, Якову. Сережка смеялся над ним.

– За-адаст он тебе за твои шашни! Так оттянет уши, что они по аршину величиной будут! Ты лучше не попадайся на глаза ему!

Насмешки рыжего, неприятного человека породили в Якове острую злобность к отцу. А тут еще Мальва мнется и, глядя на него то задорно, то грустно, усиливает до боли его желание обладать ею..

И вот Яков, придя к отцу, смотрит на него, как на камень посреди своей дороги, – на камень, через который невозможно перескочить и обойти его нельзя. Но, чувствуя, что он нимало не боится отца, Яков уверенно смотрел в его угрюмые, злые глаза, точно говорил ему:

«Ну-ка, тронь?!»

Они уже дважды выпили, но ничего не сказали еще друг другу, кроме нескольких незначительных слов о промысловой жизни. Один на один среди моря, они копили в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
себе озлобление друг против друга, и оба знали, что скоро оно вспыхнет, обожжет их.

Рогожи шалаша шуршали под ветром, лубки постукивали друг о друга, красная тряпка на конце шеста лепетала что-то. Все эти звуки были робки и похожи на отдаленный шепот, бессвязно, нерешительно просивший о чем-то.

– Что, Сережка пьет все? – угрюмо спросил Василий.

– Пьет, каждый вечер пьяный, – ответил сын, наливая еще водки.

– Пропадет он... Вот она, свободная-то жизнь... без страха!.. И ты такой же будешь...

Яков кратко ответил:

– Я таким не буду!

– Не будешь?! – хмуря брови, сказал Василий. – Знаю я, что говорю... Сколько времени живешь здесь? Третий месяц пошел, скоро надо будет домой идти, а много ли денег понесешь? – Он сердито плеснул из чашки в рот себе водку и, собрав бороду в руку, дернул ее так, что у него голова тряхнулась.

– За такое малое время многого здесь и нельзя добыть, – резонно ответил Яков.

– А коли так, так нечего тебе тут шалыганить: иди в деревню!

Яков молча усмехнулся.

– Что рожу кривишь? – угрожающе воскликнул Василий, озлобляясь спокойствием сына. – Отец говорит, а ты смеешься! Смотри, не рано ли начал вольничать-то? Не взнуздал бы я тебя...

Яков налил водки, выпил. Грубые придирки обижали его, но он крепился, не желая говорить так, как думал и хотел, чтоб не взбесить отца. Он немножко робел перед его взглядом, сверкавшим сурово и жестко.

А Василий, видя, что сын выпил один, не налив ему, еще более освирепел.

– Говорит тебе отец – ступай домой, а ты смешки ему показываешь? Проси в субботу расчет и... марш в деревню! Слышишь?

– Не пойду! – твердо сказал Яков и упрямо мотнул головой.

– Это как так? – взревел Василий и, опершись руками о бочку, поднялся со своего места. – Я тебе говорю или нет? Что ты, собака, против отца рычишь? Забыл, что я могу с тобой сделать? Забыл ты?

Губы у него дрожали, лицо кривили судороги; две жилы вздулись на висках.

– Ничего я не забыл, – вполголоса сказал Яков, не глядя на отца. – Ты-то все ли помнишь, гляди?

– Не твое дело учить меня! Разражу вдребезги...

Яков уклонился от руки отца, поднятой над его головой, и, стиснув зубы, заявил:

– Ты не тронь меня... Здесь не деревня.

– Молчать! Я тебе везде – отец!..

– Здесь в волости не выпорешь, нет ее здесь, волости-то, – усмехнулся Яков прямо в лицо ему и тоже медленно поднялся.

Василий, с налитыми кровью глазами, вытянув вперед шею, сжал кулаки и дышал в лицо сына горячим дыханием, смешанным с запахом водки; а Яков откинулся назад и зорко следил угрюмым взглядом за каждым движением отца, готовый отражать удары, наружно спокойный, но – весь в горячем поту. Между ними была бочка, служившая им столом.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Не выпорю? – хрипло спросил Василий, изгибая спину, как кот, готовый прыгнуть.

– Здесь – все ровня... Ты рабочий – и я тоже.

– Вон что-о?

– Ну, а как? За что ты на меня взъелся? Думаешь, я не понимаю? Ты сам сначала...

Василий зарычал и так быстро взмахнул рукой, что Яков не успел уклониться. Удар попал ему по голове; он пошатнулся и оскалил зубы в зверское лицо отца, уже снова поднявшего руку.

– Смотри! – предупредил он его, сжимая кулаки.

– Я тебе – посмотрю!

– Брось, мол!

– Ага... ты!.. ты отца?.. отца?.. отца?..

Им было тесно тут, в ногах у них путалось кулье из-под соли, опрокинутая бочка, обрубок.

Отбиваясь кулаками от ударов, Яков, бледный и потный, со стиснутыми зубами и по-волчьи горевшим взглядом, медленно отступал перед отцом, а тот шел на него, свирепо махая кулаками, слепой в своей злобе, как-то вдруг и странно растрепавшийся – точно оцетинился, как освирепевший кабан.

– Отстань – будет – брось! – говорил Яков, зловеще и спокойно, выходя из двери шалаша на волю.

Отец рычал и лез на него, но его удары встречали только кулаки сына.

– Ишь как тебя... ишь... – поддразнивал его Яков, сознавая себя более ловким.

– Погоди... пос-стой...

Но Яков прыгнул вбок и бросился бежать к морю. Василий пустился за ним, наклонив голову и простирая руки вперед, но запнулся ногой за что-то и упал грудью на песок. Он быстро поднялся на колени и сел, упершись в песок руками. Он был совершенно обессилен этой возней и тоскливо завыл от жгучего чувства неудовлетворенной обиды, от горького сознания своей слабости...

– Будь ты проклят! – захрипел он, вытягивая шею к Якову и сплевывая пену бешенства со своих дрожащих губ.

Яков прислонился к лодке и зорко смотрел на него, потирая рукой ушибленную голову. Один рукав его рубахи был оторван и висел на нитке, ворот тоже был разорван, белая потная грудь лоснилась на солнце, точно смазанная жиром. Он чувствовал теперь презрение к отцу; он считал его сильнее, и, глядя, как отец, растрепанный и жалкий, сидит на песке и грозит ему кулаками, он улыбался снисходительной, обидной улыбкой сильного слабому.

– Проклят ты от меня... вовеки!

Василий так громко крикнул проклятие, что Яков невольно оглянулся в даль моря, к промыслу, точно думал, что там услышат этот крик бессилия.

Но там были только волны и солнце. Тогда он сплюнул в сторону и сказал:

– Кричи!.. Кому досадишь? Себе только... А коли у нас так вышло, я вот что скажу...

– Молчи!.. Уйди с глаз... уйди! – крикнул Василий.

– В деревню я не пойду... буду тут зимовать... – говорил Яков, не переставая следить за движениями отца – Мне здесь лучше, – я это понимаю, не дурак. Здесь легче... Там ты бы надо мной верховодил, как хотел, а здесь – на-ко выкуси!

Он показал отцу кукиш и засмеялся, не громко, но так, что Василий, снова разъяренный, вскочил на ноги и, схватив весло, бросился к нему, хрипло выкрикивая:

– Отцу? Отцу-то? Убью..

Но когда он, слепой в своей ярости, подскочил к лодке, Яков был уже далеко от него. Он бежал, и оторванный рукав рубашки несся за ним по воздуху.

Василий бросил в него веслом, оно не долетело, и мужик, снова обессиленный, свалился грудью в лодку и царапал ногтями дерево, глядя на сына, а тот кричал ему издали:

– Стыдился бы! Седой уж, а – из-за бабы – так озверел... Эх ты! А в деревню я не ворочусь... Сам иди туда... нечего тебе тут делать...

– Яшка! Молчи! – заглушая его крик, взревел Василий. – Яшка! Убью я тебя... Поди прочь!

Яков пошел не торопясь.

Тупыми, безумными глазами отец смотрел, как он идет. Вот он стал короче, ноги его как бы утонули в песке... он ушел в него по поясу... по плечи... с головой. Нет его... Но через минуту, немного дальше того места, где он исчез, опять сначала появилась его голова, плечи, потом весь он... Он стал меньше теперь... Обернулся и смотрит сюда и что-то кричит.

– Проклят ты! Проклят, проклят! – ответил Василий на крик сына. Тот махнул рукой, снова пошел и... снова исчез за бугром песка.

Василий еще долго смотрел в ту сторону, пока спина его не заняла от неудобной позы, в которой он полулежал, прислонясь к лодке. Разбитый, он встал на ноги и пошатнулся от ноющей боли в костях. Пояс сбился ему под мышки; деревянными пальцами он развязал его, поднес к глазам и бросил на песок. Потом пошел в шалаш и, остановившись перед углублением в песке, вспомнил, что на этом месте он упал и что если б не упал он, то поймал бы сына. В шалаше все было разбросано. Василий поискал глазами бутылку с водкой и, найдя ее между кулями, поднял. Пробка сидела в горле бутылки плотно, водка не пролилась. Василий медленно выковырял пробку и, сунув горло бутылки себе в рот, хотел пить. Но стекло стучало его по зубам, и водка лилась изо рта на бороду, на грудь.

В голове у Василия шумело, на сердце было тяжело, спину ломила ноющая боль.

– Стар я, однако!.. – вслух сказал он и опустился на песок у входа в шалаш.

Пред ним было море. Смеялись волны, как всегда шумные, игривые. Василий долго смотрел на воду и вспомнил жадные слова сына:

«Кабы это все земля была! Да чернозем бы! Да распахать бы!»

Едкое чувство охватило мужика. Он крепко потер себе грудь, оглянулся вокруг себя и глубоко вздохнул. Голова его низко опустилась и спина согнулась, точно тяжесть легла на нее. Горло сжималось от приступов удушья. Василий откашлялся, перекрестился, глядя на небо. Тяжелая дума обуяла его.

...За то, что он, ради гулящей бабы, бросил жену, с которой прожил в честном труде больше полутора десятка лет, – господь наказал его восстанием сына. Так, господи!

Надругался сын над ним, больно рванул его за сердце... Убить его мало за то, что он так надсадил душу своего отца! Из-за чего? Из-за женщины, дрянной, зазорной жизнью живущей!.. Грех было ему, старику, связываться с ней, забыв о своей жене и сыне...

И вот господь, во святом гневном своем, напомнил ему, через сына, ударил его по сердцу справедливой карой своей... Так, господи!..

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Василий сидел согнувшись, крестился и часто моргал глазами, смахивая ресницами слезы, ослеплявшие его.

Солнце опускалось в море. На небе тихо гасла багряная заря. Из безмолвной дали несся теплый ветер в мокрое от слез лицо мужика. Погруженный в думы раскаяния, он сидел до поры, пока не уснул.

Через день после ссоры с отцом Яков с партией рабочих отправился на барке под буксиром парохода, верст за тридцать от промысла, на ловлю осетра. Воротился он на промысел через пять дней один, в лодке под парусом, – его послали за харчами. Он приехал в полдень, когда рабочие, пообедав, отдыхали. Было нестерпимо жарко, раскаленный песок жег ноги, а чешуя и кости рыб кололи их. Яков осторожно шагал к баракам и ругал себя за то, что не надел сапог. Возвращаться на баркас было лень, к тому же он торопился скорее поесть чего-нибудь и увидеть Мальву. За скучное время, проведенное в море, он часто вспоминал ее. Ему теперь хотелось узнать, видела ли она его отца и что он говорил ей... Может быть, он избил ее? Ее побить не вредно – смирнее будет! А то больно уж заборна да бойка она...

На промысле было тихо и пустынно. Окна в бараках были открыты, и эти большие деревянные ящики тоже, казалось, изнывали от жары. В приказчиковой конторе, спрятавшейся между бараками, надрываясь, кричал ребенок. Из-за груды бочек доносились чьи-то тихие голоса.

Яков смело пошел на них: ему показалось, что он слышит речь Мальвы. Но, подойдя к бочкам и взглянув за них, он отступил назад и, насупившись, стал.

За бочками, в тени их, лежал вверх грудью, закинув руки под голову, рыжий Сережка. По одну сторону его сидел отец, а по другую – Мальва.

Яков подумал про отца:

«Зачем он тут? Неужто перевелся на промысел со своей спокойной должности для того, чтобы к Мальве ближе быть, а его к ней не подпускать? Ах, черт! Кабы мать все эти его поступки знала!.. Идти к ним или не надо?»

– Так!.. – сказал Сережка. – Стало быть – прощай? Ну, что же! Иди, ковырай землю...

Яков радостно моргнул.

– Иду... – сказал отец.

Тогда Яков смело шагнул вперед и поздоровался:

– Честной компании!

Отец мельком взглянул на него и отвернулся в сторону, Мальва и бровью не моргнула, а Сережка дрыгнул ногой и сказал густым голосом:

– Вот воротился из дальних стран возлюбленный сын ваш Яшка! – и своим обыкновенным тоном добавил: – Драть с него шкуру на барабан, как овчину с барашка...

Мальва тихо засмеялась.

– Жарко! – сказал Яков, садясь.

Василий снова взглянул на него.

– А я тебя, Яков, жду, – заговорил он.

Голос его показался Якову более тихим, чем всегда, и лицо было тоже точно новое.

– Я за харчами... – сообщил он и попросил у Сережки табаку на папироску.

– Нет от меня табаку тебе, дураку, – сказал Сережка, не двигаясь.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Ухожу я домой, Яков, – внушительно произнес Василий, ковыряя песок пальцем руки.

– Что – так? – невинно посмотрел на него сын.

– Ну, а ты... останешься?

– Да, я останусь... Что нам двоим дома делать?

– Ну... я ничего не скажу. Как хочешь... не маленький! Только ты того... помни, что я недолго протяну. Жить-то, может, и буду, а работать не знаю уж как... Отвык я, чай, от земли... Так ты помни, мать у тебя там есть.

Ему, должно быть, трудно было говорить: слова как-то вязли у него в зубах. Он гладил бороду, и рука его дрожала.

Мальва пристально смотрела на него. Сережка прищурил один глаз, а другой сделал круглым и уставил его в лицо Якова. Яков был полон радости и, боясь выдать ее, молчал, глядя на свои ноги.

– Не забудь же про мать-то... Смотри, один ты у нее, – говорил Василий.

– Чего там? – сказал Яков, поежившись. – Я знаю.

– Ладно, коли знаешь!.. – недоверчиво взглянув на него, сказал отец. – Я говорю только – не забудь, мол.

Василий глубоко вздохнул. Несколько минут все четверо молчали. Потом Мальва сказала:

– Скоро зазвонят на работу...

– Ну, я пойду!.. – поднимаясь на ноги, объявил Василий. И все остальные встали за ним.

– Прощай, Сергей... Случится тебе быть на Волге – может, заглянешь?.. Симбирского уезда, деревня Мазло, Николо-Лыковской волости...

– Ладно, – сказал Сережка, тряхнул ему руку и, не выпуская ее из своей жилистой лапы, поросшей рыжей шерстью, взглянул с улыбкой в его грустное и серьезное лицо.

– Лыково-Никольское – большое село... Далеко его знают, а мы от него – четыре версты, – объяснял Василий.

– Ну, ну... Я забреду, – коли случай будет...

– Прощай!

– Прощай, милый человек!

– Прощай, Мальва! – глухо сказал Василий, не глядя на нее.

Она не торопясь вытерла себе губы рукавом и, закинув ему свои белые руки на плечи, трижды молча и серьезно поцеловала его в щеки и губы.

Он смутился и что-то невнятно промывчал. Яков наклонил голову, скрывая усмешку, а Сережка легонько зевнул, глядя в небо.

– Жарко тебе будет идти, – сказал он.

– Ничего... Ну, прощай, Яков!

– Прощай!

Они стояли друг против друга, не зная, что делать. Печальное слово «прощай», так часто и однообразно звучащее в воздухе в эти секунды, пробудило в душе Якова теплое чувство к отцу, но он не знал, как выразить его: обнять отца, как это

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
сделала Мальва, или пожать ему руку, как Сережка? А Василию была обидна нерешительность, выражавшаяся в позе и на лице сына, и еще он чувствовал что-то близкое к стыду пред Яковым. Это чувство вызывалось в нем воспоминаниями о сцене на косе и поцелуями Мальвы.

– Так про мать-то помни! – сказал, наконец, Василий.

– Да ладно уж! – тепло улыбнувшись, воскликнул Яков. – Ты не беспокой себя... а я уж!..

И он тряхнул головой.

– Ну... и всё! Живите тут, дай вам господь... не поминайте лихом... Так котелок-то, Серега, в песке я зарыл, под кормой, у зеленой лодки.

– А на что ему котелок? – быстро спросил Яков.

– Он на мое место определен... Туда, на косу! – объяснил Василий.

Яков посмотрел на Сережку, взглянул на Мальву и опустил голову, скрывая радостный блеск в своих глазах.

– Прощайте ж, братцы... иду я!

Василий поклонился им и пошел. Мальва двинулась за ним.

– Я провожу тебя немножко...

Сережка лег на песок и схватил за ногу Якова, тоже было шагнувшего за Мальвой.

– Тпру! куда?

– погоди! Пусти... – рванулся было Яков.

Но Сережка схватил его за другую ногу.

– Посиди со-мной...

– Да ну-у! Чего дуришь?

– я не дурю... А ты сядь!

Яков сел, стиснув зубы.

– чего тебе надо?

– погоди! Ты помолчи, а я подумаю, потом и скажу...

Он грозно окинул парня своими нахальными глазами, и Яков покорился ему...

Мальва и Василий несколько времени шли молча. Она заглядывала сбоку в лицо ему, а глаза ее странно блестели. А Василий угрюмо нахмурился и молчал. Ноги их вязли в песке, и шли они медленно.

– Вася!

– что?

Он взглянул на нее и тотчас отвернулся.

– А ведь это я нарочно поссорила тебя с Яшкой-то... Можно бы и так жить вам здесь, не ссорясь, – говорила она спокойно и ровно.

– Зачем же это ты? – помолчав, спросил Василий.

– Не знаю... Так!

Она пожала плечами, усмехаясь.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Хорошее сделала дело! Эх ты! – укорил он ее злым голосом.

Она промолчала.

– Испортишь ты мне парня, вконец испортишь! Эхма! Ведьма ты, ведьма... бога не боишься... стыда не имеешь... что делаешь?

– А что надо делать? – спросила она его. Не то тревога, не то досада звучали в ее вопросе.

– Что? Эх ты!.. – вспыхивая острой злобой к ней, воскликнул Василий.

Ему страстно хотелось ударить ее, свалить ее себе под ноги и втоптать в песок, ударя сапогами в ее грудь и лицо. Он сжал кулак и оглянулся назад.

Там, у бочек, торчали фигуры Якова и Сережки, и лица их были обращены к нему.

– Поди прочь, уйди! Расшиб бы я тебя...

Он почти шептал ей ругательства прямо в лицо. Глаза у него были налиты кровью, борода тряслась, а руки невольно тянулись к ее волосам, выбившимся из-под платка.

Она же смотрела на него спокойно своими зелеными глазами.

– Убить бы мне тебя, потаскуха ты! Погоди... налетишь еще... сломят тебе башку!

Она усмехнулась, помолчала, а потом, вздохнув глубоко, бросила ему:

– Ну, полно... Прощай!

И, круто повернувшись, пошла назад.

Василий рычал вслед ей и скрипел зубами. А Мальва шла и всё старалась попасть своими ногами в ясные глубокие следы ног Василия, оттиснутые в песке, и, попав в этот след, она старательно затирала его своей ногой. Так она медленно шла вплоть до бочек, где Сережка встретил ее вопросом:

– Ну, проводила?

Она утвердительно кивнула ему головой и села рядом с ним. Яков смотрел на нее и ласково улыбался, двигая своими губами так, точно он шептал что-то, слышное только ему.

– Что же – проводила, жалко стало? – снова спросил ее Сережка словами песни.

– Ты когда пойдешь туда, на косу? – ответила она вопросом, кивая головой в море.

– Вечером.

– И я с тобой...

– Важно!.. Это я люблю...

– И я пойду! – решительно заявил Яков.

– Кто тебя зовет? – спросил Сережка, щуря глаза.

Раздался дребезжащий звон разбитого колокола – призыв к работе. Звуки торопливо неслись в воздухе один за другим и умирали в веселом шорохе волн.

– А вот она позовет! – сказал Яков, вызываясь глядя на Мальву.

– Я? На что ты мне нужен? – удивилась она.

– Будем говорить прямо, Яшка!.. – сурово сказал Сергей, поднимаясь на ноги. – Ежели ты к ней приставать будешь – изобью вдрызг! А пальцем тронешь – убью, как

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
муху! Хлопну по башке – и нет тебя на свете! У меня – просто!

Всё лицо его, вся фигура и узловатые руки, потянувшиеся к горлу Якова, очень убедительно говорили о том, как всё это просто для него.

Яков отступил на шаг и сдавленно сказал:

– погоди! ведь она сама же...

– Цыц – и всё тут! что ты такое? Не тебе, собака, барашка поедать: скажи спасибо, коли дадут костей поглотать... Ну?.. Чего буркалы пялишь?

Яков взглянул на Мальву. Зеленые глаза ее усмехались в лицо ему обидной, унижающей усмешкой, и она прижалась сбоку к Сережке так ласково, что Якова в пот бросило.

Они ушли от него рядом друг с другом и, отойдя немного, засмеялись оба громким смехом. Яков крепко втиснул правую ногу в песок и замер в напряженной позе, тяжело дыша.

Вдали по желтым, мертвым волнам песка двигалась маленькая, темная человеческая фигурка; справа от нее сверкало на солнце веселое, могучее море, а слева, вплоть до горизонта, лежали пески – однообразные, унылые, пустынные. Яков посмотрел на одинокого человека и, заморгав глазами, полными обиды и недоумения, крепко потер себе грудь обеими руками...

На промысле закипала работа.

Яков слышал сочный, грудной голос Мальвы, сердито кричавшей:

– Кто взял мой нож?..

Волны звучали, солнце сияло, море смеялось...

1897

Городок окур

«...уездная, звериная глушь».

Ф. М. Достоевский

Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окур посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство.

Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте; ощетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами деревья большой дороги в губернию.

Кроме города, на равнине, у опушки Черной Рамени приткнулось небольшое село Воеводино да две деревни: к северу – Обносково, а к востоку – Бальмеры, Бубновка тож; вот и всё вокруг Окурова.

Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой; небо там бледное и мутное, точно запотело, солнце – тускло, вечерние зори – зловеще багряны, а луна – на восходе – велика и красна, как сырое мясо.

Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем, бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сердитой; городок замирает, люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега, играют в козла, дурачки, в свои козыри, слушают чтение пролога, минеи, а кое-где – и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжкими хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки; звезды крупны, синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень изумруд.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, па левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила па крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря, есть еще две церкви: новый, чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину и недавно выкрашенной в синий и желтый цвета.

Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки, – это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязаньем, посылает его к Макарию на ярмарку, и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов.

Главная улица – Поречная, или Бережок, – вымощена крупным булыжником; весной, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые, – молча ползают по улице, вырывая траву с корнем. На Поречной стройно вытянулись лучшие дома, – голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками, – белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с желтыми ставнями – головы; розоватый – отца протоиерея Исаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых уютных домиков – в них квартировали власти: войсковой начальник Покивайко, страстный любитель пения, – прозван Мазепой за большие усы и толщину; податной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем; земский начальник Штрехель, театрал и драматург; исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист местного кружка любителей комедии и драмы.

Только почтмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой – эта улица одним концом, разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря.

В городе много садов и палисадников, – клен, рябина, сирень и акации скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках.

Жили на Шихане благодушно и не очень голодно, преуказаниям начальства повиновались мирно, старину помнили крепко, но, когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени: так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию.

– Всех девок, видно, замуж не выдашь, – стало быть, пусть идут на службу, в учительницы!

Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь: деревня год от году всё беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит всё хуже, в губернии учить детей – дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, в горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину.

Заезжие фокусники и разные странствующие «артисты» собирали в «Лиссабоне» полный зал; спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа – зимою в «Лиссабоне», а летом на городском бульваре.

Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его топодем, акациями, липой; в центре бульвара голова и Покивайко выстроили за свой счет красную беседку, с

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
мачтой на крыше, по праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву, под ним летом стояли купальни: полосатая – голубая с белым – фогеля, красная – головы и серая, из выгоревших на солнце тесин – «публичная». От купален на реку ложатся разноцветные пятна, и река тихо полощет их кисею.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья; черные от старости, с ключьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими больными глазами: кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма.

Среди измятой временем, расштанной половодьем толпы мещанских домишек торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского: ее построил предок вымерших помещиков Бубновых на том месте, где его, – когда он, по гневному повелению Павла I, ехал в ссылку в Тобольск, – догнал курьер с приказом нового царя немедленно возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметало сором и песком, кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный, когда-то золоченый, крест – согнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было, если не считать «фелицатина раишка», стоявшего в стороне от нее и выше по течению реки.

Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы – тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотам из ворот, снятых с петель, ловили дрова, унесенные водою из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перила моста, соединявшего слободу с городом.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлею птиц, делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву – всё это скупало у них городское мещанство. Человека три – в их числе Сима Деушкин – делали птичьи клетки и садки, семейство Пушкаревых занималось плетением неводов, Стрельцовы работали из корневища березы шкатулки и укладки с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и больше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан. Иногда, по праздникам, лучший мастер по войлоку и один из сильнейших бойцов слободы, Герасим Крыльцов, вдруг начинал нещадно бить почитателей своих, выкрикивая, точно кликуша:

– Спаиваете вы меня, анафемы! Погибаю через вас – ух!

Но против него выходил красавец и первый герой Вавило Бурмистров и, засучивая рукава, увещевал его:

– Стой, Гараська! Ты как можешь, злодей, избивать христианский народ, который меня любит и уважает, а? Тебе чего жалко? Ну, держись!

Побежденный Герасим плакал:

– Не денег, братцы, жалко, жизни – жизни жалко моей!

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятакоедами».

С Михайлова дня начинались жестокие бои на льду реки, бои шли всю зиму, вплоть до масленой недели, и, хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью: заречные всегда бывали биты и гонимы через всю слободу вплоть до песчаных бугров – «Кобыльих ям», где зарывали дохлый скот.

Чаще всего из города в Заречье являлась полиция: с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинностей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк; всякие же иные люди приходили только по ночам, дабы посетить «фелицатин раишко».

«Раишко» – бывшая усадьба господ Воеводининых, ветхий, темный и слепой дом –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru занимал своими развалинами много места и на земле и в воздухе. С реки его закрывает густая стена ветел, осин и берез, с улицы – каменная ограда с крепкими воротами на дубовых столбах и тяжелой калиткой в левом полотнище ворот. У калитки, с вечера до утра, всю ночь, на скамье, сложенной из кирпича, сидел большой, рыжий, неизвестного звания человек, прозванный заречными – Четыхер.

До Четыхера сторожем был младший брат Вавилы Бурмистрова – Андрей, но он не мог нести эту должность более двух зим: в холода заречное мещанство волчьей стаей нападало на развалины дома, отрывая от них всё, что можно сжечь в печи, и многое ломали не столь по нужде, сколько по страсти разрушать, – по тому печальному озорству, в которое одевается тупое русское отчаяние. Приходилось грудью защищать хозяйское добро – против друзей и даже родного брата: на этом деле и покончил Андрей свою жизнь – ему отбили печенки.

Умирая, он хрипел:

– Фелицата, – за тебя стоял, – прощай!

Она плакала, закрывая лицо белыми руками, потом, с честью похоронив защитника, поставила над его могилою хороший дубовый крест и долго служила панихиды об упокоении раба божия Андрия, но тотчас же после похорон съездила куда-то, и у ворот ее «раишка» крепко сел новый сторож – длиннорукий, квадратный, молчаливый; он сразу внушил бесстрашным заречанам уважение к своей звериной силе, победив в единоборстве богатырей слободы Крыльцова, Бурмистрова и Зосиму Пушкарева.

Широкий, двухэтажный, с антресолями, колоннами и террасою, воеводинский дом развалился посредине двора, густо заросшего бурьяном. Вокруг дома лежали остатки служб – фелицатино топливо; над развалинами печально качались вершины деревьев парка. «Раишко» помещался во втором этаже, его три окна почти всегда были прикрыты решетчатыми ставнями, над ним – как нос над подбородком старика – нависла крыша, обломанная тяжестью снега.

Скрытая за стеною в глубине двора жизнь «фелицатина раишка» была недоступна наблюдениям заречных людей. Летом горожане являлись с реки, подъезжая в лодках к парку или крадучись берегом по кустам, зимою они проезжали слободской улицей, кутаясь в башлыках или скрывая лица воротниками шуб.

Знали, что у Фелицаты живут три девицы: Паша, Розочка и Лодка, что из хороших людей города наиболее часто посещают «раишко» помощник исправника Немцев, потому что у него хворающая жена, податной инспектор Жуков, как человек вдовый, и доктор Ряхин – по веселости характера.

Знали также, что, когда к Фелицате съезжалось много гостей, она звала на помощь себе женщин и девиц слободы; знали, кто из них ходит к ней, но относились к этому промыслу жен и дочерей хладнокровно, деньги же, заработанные ими, отнимали на пропой.

Бородатые лесные мужики из Обноскова, Балымер и других сел уезда, народ смирный и простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее – ездили по трое, по четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, навстречу ему, не торопясь, выходили любопытные слобожане, – тесно окружая мужика, спрашивали:

– Что, дядя, продаешь?

И, осматривая товар, – крали, а если мужик кричал, жаловался – колотили его, слегка.

Летними вечерами заречные собирались под ветлы, на берег Путаницы, против городского бульвара, и, лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх: на красном небе четко вырезаны синеватые главы церквей, серая, точно из свинца литая, каланча, с темной фигурой пожарного на ней, розовая, в лучах заката, башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы, но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана: кто и сколько проиграл и кто выиграл в карты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан.

Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину: полоть огороды, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам.

Обо всем, что касалось города, Заречье говорило сатирически и враждебно; про свою жизнь рассуждало мало, лениво; больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Окурова.

Любили пение. Летом каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов Вавилы Бурмистрова и Артюшки Пистолета, охотника.

Слободской поэт Сима Деушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами:

Позади у нас – леса,
Впереди – болото.
Господи! Помилуй нас!
Жить нам – неохота.
Скушно, тесно, голодно –
Никакой отрады!
Многие живут лет сто –
А – зачем их надо?
Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так – живи скорей,
Да и – на кладбище!
Первой головою в Заречье был единодушно признан Яков Захаров Тиунов.

Высокий, сухой, жилистый – он заставлял ждать от него суетливых движений, бойкой речи, и было странно видеть его неспешную походку, солидные движения, слышать спокойный глуховатый голос.

Жизнь его была загадочна: подростком лет пятнадцати он вдруг исчез куда-то и лет пять пропадавал, не давая о себе никаких вестей отцу, матери и сестре, потом вдруг был прислан из губернии этапным порядком, полубольной, без правого глаза на темном и сухом лице, с выбитыми зубами и с котомкой на спине, а в котомке две толстые, в кожаных переплетах, книги, одна – «Об изобретателях вещей», а другая – «Краткое всемирное позорище, или Малый феатрон».

В то время отец и мать его уже давно померли, сестра, продав хижину и землю, куда-то уехала. Яков Тиунов поселился у повивальной бабки и знахарки Дарьюшки, прозванной за ее болтливость Волынской. Неизвестно было, на какие средства он живет; сам он явно избегал общения с людьми, разговаривал сухо и неохотно и не мог никому смотреть в лицо, а всё прятал свой глаз, прищуривая его и дергая головой снизу вверх. По вечерам одиноко шлялся в поле за слободой, пристально разглядывая землю темным оком и – как все кривые – держа голову всегда склоненною немного набок.

По рассказам Дарьюшки, дома кривой читал свои большие книги и порою разговаривал сам с собою; слободские старухи называли его колдуном и чернокнижником, молодые бабы говорили, что у него совесть не чиста, мужики несколько раз пытались допросить его, что он за человек, но – не добились успеха. Тогда они требовали с кривого полведра водки, захотели еще, а он отказал, его побили, и через несколько дней после этого он снова ушел «в проходку», как объяснила Волынка.

Вернулся Тиунов сорокапятилетним человеком, с седыми вихрами на остром – дынею – черепе, с жиденькой седоватой бородкой на костлявом лице, точно в дыму копченном, – на этот раз его одинокое темное око смотрело на людей не прячась, серьезно и задумчиво.

Он снова поселился у Волынки и стал являться всюду, где сходились люди: зимой – в трактире Синемухи, летом – на берегу реки. Оказалось, что он хорошо поправляет изломанные замки, умеет лудить самовары, перебирать старые меха и даже чинить часы. Слобода, конечно, не нуждалась в его услугах, если же и предлагала иногда какую-нибудь работу, то платила за нее угощением. Но город давал Тиунову кое-какие заработки, и он жил менее голодно, чем другие слобожане.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Жизнь его проходила размеренно и аккуратно: утром бабы, будя мужей, говорили:

– Вставай, лежебок! Седьмой час в исходе – уж кривой в город шагает!

И все знали, что из города он воротится около шести вечера. По праздникам он ходил к ранней обедне, потом пил чай в трактире Синемухи, и вплоть до поздней ночи его можно было видеть всюду на улицах слободы: ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы. Речь его носит оттенок книжный, и это усиливает значение ее.

Когда бойкая огородница Фимка Пушкарева, больно побитая каким-то случайным другом сердца, прибежала к Тиуну прятаться и, рыдая, стала проклинать горькую бабью долю, – кривой сказал ей ласково и внушительно:

– А ты, Серафима, чем лаять да выть, подобно собаке, человеческий свой образ береги, со всяким зверем не якшайся: выбери себе одного кого – поласковее да поумнее – и живи с ним! Не девушка, должна знать: мужчине всякая баба на час жена, стало быть, сама исхитрись сдержку поставить ему, а не стели себя под ноги всякому прохожему, уважь божье-то подобие в себе!

Слова эти запомнились женщинам слободы, они создали кривому славу человека справедливого, и он сумел получить за них немало добрых бабьих ласк.

Но, как и раньше, в лунные ночи он ходил по полям вокруг слободы и, склонив голову на плечо, бормотал о чем-то.

Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиуну разные мудрые вопросы.

Начинал всегда Бурмистров – он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиуну, старался чем-нибудь сконфузить его.

– Эй, Тиунов! Верно это – будто ты к фальшивым деньгам прикосновенность имел и за то – пострадал напрасно?

– Деньги – они все фальшивые, – спокойно отвечает кривой, нацеливаясь глазом в глаза Вавилы.

Бурмистров смущен и уже немножко горячится.

– Это как же? Ежели я вылью целковый из олова со стеклом и ртутью его обработаю, а казна – из серебра, – что же будет?

– Два целковых и будет! – глуховато говорит Тиунов. – И серебру и олову – одна цена в этом разе. Бумажный рубль есть, значит, и деревянный али глиняный – можно сделать. А вот ежели ты сапог из бересты склеишь – это уж обман! Сапог есть вещь, а деньги – дрянь!

Говорит он уверенно, глаз его сверкает строго, и все люди вокруг него невольно задумываются.

Колченогий печник Марк Иванов Ключников, поглаживая голый свой череп и опухшее желтое лицо, сипло спрашивает:

– Вот, иной раз думаю я – Россия! Как это понять – Россия?

Тиунов, не задумываясь, изъясняет:

– Что ж – Россия? Государство она, бесспорно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия.

Помолчав, он добавил:

– Однако – хорошая сторона, только надо это понять, чем хороша, надо посмотреть на нее, на Русь, пристально...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Не на этом ли тебе глаз-от вышибло? – спрашивает Бурмистров, издеваясь.

Ключников моргает заплывшими глазами и думает о чем-то, потирая переносицу.

Переваливаясь с боку на бок, Вавило находит еще вопрос:

– Вот – ты часто про мещан говоришь! – строго начинает он. – А ты знаешь – сколько нас, мещанства?

– Мы суть звезды мелкие, сосчитать нас, поди-ка, и немисленно.

– Врешь! Годов шесть тому назад считали!

– Стало быть, кто считал – он знает. А я не знаю. Трудно, чай, было итог нам подвести? – добавляет он с легоньким вздохом и тонкой усмешкой.

– Отчего?

– Оттого, главное, что дураки – они самосевом роятся.

Бурмистров, имея прекрасный случай придраться к Тиуну, обиженно кричит:

– Я разве дурак?

Но Ключников, Стрельцов и скромный Зосима Пушкарев, по прозвищу Валяный Черт, – успокаивают красавца.

А успокоив, Ключников, расковыривая пальцем дыру на колоне штанины, озабоченно спрашивает:

– Ну, а примерно Москва?

– Что ж Москва? – медленно говорит кривой, закатив темное око свое под лоб. – Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха – год не стирана, штаны едва стыд прикрывают, в брюхе – как в кармане – сор да крошки, а шапка была бы хорошая... скажем – бобровая шапка! Вот те и Москва!

Отдуваясь и посапывая, Ключников обводит кривого взглядом, точно гадающего петуха – на святках – меловой чертой, и – лениво говорит:

– А ведь, пожалуй, верно это!

Лечат они у корней ветел, точно куча сора, намытого рекой, все в грязных лохмотьях, нечесаные, ленивые, и почти на всех лицах одна и та же маска надменного равнодушия людей многоопытных и недоступных чувству удивления. Смотрят полусонными глазами на мутную воду Путаницы, на рыжий обрыв городского берега и в белесое окурновское небо над бульваром.

Влажный воздух напоен теплым запахом гниющих трав болота, – люди полны безнадежной скукой. Темный глаз кривого оглядывает их, меряет; Тиунов вертит голову так же, как в тот час, когда он подбирает старые, побитые молью меха.

Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чем-нибудь, имеющем практическое значение.

– А что, Яков Захарыч, ежели водку чаем настоять – будет с этого мадера?

– Не будет! – отвечает Тиунов спокойно и решительно. – Мадеру настаивают – ежели по запаху судить – на солодском корне...

– Врешь ты, кривой! – говорит Бурмистров. – Никто ничего не знает, а ты – врешь!

– Не верь, – советует кривой.

– И не буду! Мне – ото всех твоих слов – плесенью пахнет. Ну какая беспокойная тоска всё это!

Вздыхают, плюют на песок, позевывая, крутят папироски. Вечер ласково стелет на

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
берег теплые тени ветел. Со стороны «Фелицатина раишка» тихо струится заманчивая
песня:

Ой ли, милые мои,
Разлюбезные мои...

– тонким голосом выводит Розочка, а Лодка сочно и убедительно подхватывает:

А пригоже ль вам, бояре,
Мимо терема идти?..

– Любит эта Розка по крышам лазить! – замечает Стрельцов. – Отчего бы?

– С крыш – дальше видно, – объясняет Тиунов.

В мягкую тишину вечера тяжело падает фелицатин басовой хозяйский голос:

– Розка!

– Ну?

– Чай пить иди!

Ключников, чмокая губами, говорит:

– Хорошо бы теперь почайничать!

– Не сходя с места, – добавляет Зосима Пушкарев. Бурмистров, обращаясь к Стрельцову, укоряет его:

– Еще в позапрошлом году хотел ты чайник завести, чтобы здесь чай пить, – ну, где он?

Круглое лицо Павла озабоченно хмурится, острие глазки быстро мигают, и, шепелявя, он поспешно говорит:

– Я, конечно, его сделаю, чайник! Со свистком хочется мне, чтобы поставил на огонь и – не думай! Он уж сам позовет, когда вскипит, – свистит он: в крышке у него свисток будет!

И вдруг, осененный новой мыслью, радостно объявляет:

– А то – колокольчик можно приспособить! На ручке – колокольчик, а внутри, на воде – кружок, а в кружке – палочка – так? Теперь – ежели крышку чайника прорезать, палочку, – можно и гвоздь, – лучше гвоздь! – пропустить сквозь дыру – ну, вода закипит, кружок закачается – тут гвоздь и начнет по колоколу барабанить – эко!

– Ну и башка! – изумленно говорит Зосима, опуская длинные желтые ресницы на огромные мутные глаза.

За рекой, на бульваре, появляются горожане: сквозь деревья видно, как плывут голубые, розовые, белые дамы и девицы, серые и желтые кавалеры, слышен звонкий смех и жирный крик Мазепы:

– Рэгэнт? Та я ж – позовать его!

Заречные люди присматриваются и громко сообщают друг другу имена горожан.

– Исправник вышел! – замечает Бурмистров, потягиваясь, и ухмыляется. – Хорошо мы говорили с ним намеренно, когда меня из полиции выпускали. «Как это, говорит, тебе не стыдно бездельничать и буянить? надо, говорит, работать и жить смирно!» – «Ваше, мол, благородие! Дед мой, бурмистр зареченский, работал, и отец работал, а мне уж надобно за них отдыхать!» – «Пропадешь ты», – говорит...

– И по-моему, – говорит Ключников, зевнув, – должен ты пропасть из-за баб, как брат твой Андрей пропал...

– Андрей – от побоев! – говорит Зосима. – И вину сильно прилежал...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.moscow.ru
Бурмистров осматривает всех гордым взглядом и веско замечает:

– Не от вина и не от побоев, а – любил он фелицату! Кабы не любил он ее – на что бы ему против всех в бой ходить?

Берегом, покачиваясь на длинных ногах, шагает высокий большеголовый парень, без шапки, босой, с удищами на плече и корзиною из бересты в руках. На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя.

Павел Стрельцов, суетясь и волнуясь, кричит встречу ему:

– Сим! Иди скорей!

И, стоя на коленях, ждет приближения Симы, глядя на его ноги и словно считая медленные, неверные шаги.

Лицо Симы Девушкина круглое, туповатое, робкие глаза бесцветны и выпучены, как у овцы.

– Ну, чего сочинил? Сказывай! – предлагает Стрельцов.

И Ключников, ласково улыбаясь, тоже говорит:

– Барабань, ну!

Шаркая ногой по песку и не глядя на людей, Сима скороговоркой, срывающимся голосом читает:

Боже – мы твои люди.
А в сердцах у нас – злоба!
От рожденья до гроба
Мы друг другу – как звери!
С нами, господи, буди!
Не твои ли мы дети?
Мы тоскуем о вере,
О тебе, нашем свете...

– Ну, брось, плохо вышло! – прерывает его Бурмистров.

А Тиунов, испытующе осматривая поэта темным оком, мягко и негромко подтверждает:

– Священные стихи не вполне выходят у тебя, Девкин! Священный стих, главное, певучий:

Боже, – милостив буди ми грешному.
Подай, господи, милости божией...
Вот как священный стих текет! У тебя же выходит трень-брень, как на балалайке!

Стрельцов, отрицательно мотая головой, тоже говорит:

– Не годится...

Сима стоит над ними, опустил тяжелую голову, молча шевелит губами и всё роет песок пальцами ноги. Потом он покачивается, точно готовясь упасть, и идет прочь, загребая ногами.

Глядя вслед ему, Тиунов негромко говорит:

– А все-таки – складно! Такой с виду – блаженный как бы... Вот – узнай, что скрыто в корне человека!

– Говорят – будто бы на этом можно деньги зашибить? – мечтательно спрашивает Стрельцов.

– А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям: Пушкину в Москве поставили... хотя он при дворе служил, Пушкин! Державину в Казани – тоже придворный, положим!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Кривой говорит задумчиво, но всё более оживляется и быстрее вертит шейю.

– Особенно в этом деле почитаются вот такие, как Девушкин этот, – низкого происхождения люди. Был при Александре Благословенном грушник Слепушкин, сочинитель стихов, так ему государь золотой кафтан подарил да часы, а потом Бонапарту хвастался: «Вот, говорит, господин Бонапарт, у вас – беспорядок и кровопролитное междоусобие, а мои мужички – стишки сочиняют, даром что крепостные!»

– Это он ловко срезал! – восхищается Ключников.

Бурмистров сидит, обняв колена руками, и, закрыв глаза, слушает шум города. Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают. Волосы на голове у него рыжеватые, кудрявые, а брови – темные; из-под рыжих душистых усов красиво смотрят полные малиновые губы. Рубаха на груди расстегнута, видна белая кожа, поросшая золотистой шерстью; крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя.

– Ерунда всё это! – не открывая глаз, ворчит он. – Стихи, памятники – на что они мне?

– Тебе бы только лодку! – говорит Ключников, широко улыбаясь.

Зосима Пушкарев оживленно восклицает:

– Ну ж, – она ему и пара! И красива – ух! Не хуже его, Вавилы-то, ей-богу...

– Почему – ерунда? – тихо спрашивает кривой, действуя глазом, точно буравом. – Если стих соответствует своему предмету – он очень сильно может за сердце взять! Например – Волга, как о ней скажешь?

Протянув руку вперед и странно разрубая слога, он тихо говорит своим глухим голосом:

Во-лга, Во-лга, вес-ной много-водною
Ты не так за-ливаешь поля,
Как великою скорбью народною..
Понимаете?

Как великою скорбью народною
Переполнилась наша земля!
Русская земля! Вот – правильные стихи! Широкие!

– Это ты откуда взял? – спрашивает печник, подвигаясь к нему.

– В Москве, в тюремном замке, студенты пели...

– Ты там сидел?

– А как же!

– За фальшивки?

– Нет! Ведь это так, шутка, что я фальшивками занимался, меня за бродяжничество сажали и по этапам гоняли. А раз я попал по знакомству: познакомился в трактире с господином одним и пошел ночевать к нему. Господин хороший. Ночевал я у него ночь, а на другую – пришли жандармы и взяли нас обоих! Он, оказалось, к политике был причастен.

– Что такое политика эта? – удивленно спрашивает Стрельцов. – Вон, сказывают, у одной мещанки в городе сына, солдата, посадили...

– У Маврухиной это!

– Помешалась она, говорили бабы...

– Политика – разно понимается, – спокойненько объясняет Тиунов. – Одни говорят: надобно всю землю крестьянам отдать; другие – нет, лучше все заводы рабочим; а

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
третьи – отдайте, дескать, всё нам, а мы уж разделим правильно! Все, однако, заботятся о благополучии людей...

– Ну, а насчет мещан как?

Бурмистров, обернувшись к Стрельцову, строго заметил:

– Мещан политика не касается!

Кривой, поджав губы, промолчал.

С реки поднимается сырость, сильнее слышен запах гниющих трав. Небо потемнело, над городом, провожая солнце, вспыхнула Венера. Свинцовая каланча окрасилась в мутно-багровый цвет, горожане на бульваре шумят, смеются, ясно слышен хриплый голос Мазепы:

– Да – пэрэстаньте!

Вдруг раздается хоровое пение марша:

Как-то раз, перед толпою
Соплеменных гор...

– Погодите! – грозя кулаком, говорит Бурмистров. – Придет Артюшка – мы вам покажем соплеменных!

И орет:

– Артюшка-а!

Павел Стрельцов неожиданно и с обидою в голосе бормочет:

– Вот тоже сахар возьмем – отчего из березового сока сахар не делать? Сок – сладкий, березы – много!

Ему никто не отвечает.

– Также и лен, – почему только лен? А может, и осот и всякая другая трава годится в дело? Надо ее испробовать!

Заложив руки за спину, посвистывая, идет Артюшка Пистолет, рыболов, птичник, охотник по перу и пушнине. Лицо у него скуластое, монгольское, глаза узкие, косые, во всю левую щеку – глубокий шрам: он приподнял угол губ и положил на лицо Артюшки бессменную кривую улыбку пренебрежения.

– Зачастили? – говорит он, кивая головой на город. – Ну, перебьем?

Бурмистров встает, потягивается, выправляя грудь, оскаливает зубы и командует:

– Начинай! Эх, соплеменные, – держись! В сырой и душный воздух вечера врываются заунывные ноты высокого светлого голоса:

Ой, да ты, кукушка-а...

Артем стоит, прислонясь к дереву, закинув руки назад, голову вверх и закрыв глаза. Он ухватился руками за ствол дерева, грудь его выгнулась, видно, как играет кадык и дрожат губы кривого рта.

Вавило становится спиной к городу, лицом – к товарищу и густо вторит хорошим, мягким баритоном:

Ой ли, птица бесприютная-а,
Про-окукуй мне лето красное!

Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах – прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадежно разводит руками, все его движения ладно сливаются со словами песни. Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем. Он поет всем телом и, точно пьянея от песни, качается на ногах.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiuamaxim.ru
Все, не отрываясь, следят за его игрою, только Тиунов неподвижно смотрит на реку – губы его шевелятся и борода дрожит, да Стрельцов, пересыпая песок с руки на руку, тихонько шепчет:

– Вот, тоже, песок... Что такое – песок, однако? Из сумрака появляется сутулая фигура Симы, на плечах у него удилица, и он похож на какое-то большое насекомое с длинными усами. Он подходит бесшумно и, встав на колени, смотрит в лицо Бурмистрова, открыв немного большой рот и выкатывая бездонные глаза. Сочный голос Вавилы тяжело вздыхает:

Эх, да вы ль, пути-дороги темные...
Когда разразилась эта горестная японская война – на первых порах она почти не задела внимания окуровцев. Горожане уверенно говорили:

– Вздурем!

Покивайко, желая молодецки выправить грудь, надувал живот, прятал голову в плечи и фыркал:

– Японсы? Розумному человеку даже смешно самое это слово!

Фогель лениво возражал:

– Ну, не скажите! Они все-таки...

Но Покивайко сердился:

– А що воно таке – высетаке?

И с ехидной гримасой на толстом лице завершал спор всегда одной и той же фразой:

– Скэптицизм? Я вам кажу – лучше человеку без штанов жить, чем со скэптицизмом...

Долетая до Заречья, эти разговоры вызывали там равнодушное эхо:

– Накладем!

И долго несчастья войны не могли поколебать эту мертвую уверенность.

Только один Тиунов вдруг весь подобрался, вытянулся, и даже походка у него стала как будто стремительнее. Он возвращался из города поздно, приносил с собою газеты, и почти каждый вечер в трактире Синемухи раздавался негромкий, убеждающий голос кривого:

– Кто воует? Россия, Русь! А воеводы кто? Немцы!

Озирая слушателей темным взглядом, он перечислял имена полководцев и поджимал губы, словно обиженный чем-то.

– Какие они немцы? – неохотно возражали слушатели. – Чай, лет сто русский хлеб ели!

– Репой волка накормишь? Можешь? – серьезно спрашивает Тиунов. – Вы бы послушали, что в городе канатчик Кожемякин говорит про них! Да я и сам знаю!

– Ущемил, видно, тебя однажды немец, вот ты его и не любишь!

Развивались события, нарастало количество бед, горожане всё чаще собирались в «Лиссабон», стали говорить друг другу сердитые дерзости и тоже начали хмуро поругивать немцев; однажды дошло до того, что земский начальник Штрехель, пожелтев от гнева, крикнул голове и Кожемякину:

– А я вам скажу, что без немцев вы были бы грязными татарами! И впредь прощу покорно при мне...

Дергая круглыми плечами, Покивайко встал перед ним и сладостно возопил:

– Да сердце ж вы мое! Боже мой милый! Немцы, татары, або мордвины – да не всё ли

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
ж равно нам, окуривцам? Разве ж мы так-таки уж и не имеем своего поля? А нуте, пожалуйста, прошу...

И осторожно отвел желчного Штрехеля за карточный стол.

В Заречье несчастья войны постепенно вызвали спутанное настроение тупого злорадства и смутной надежды на что-то.

– Посмотреть бы по карте, как там всё расположено... – предлагал озабоченно Павел Стрельцов. – Море там, вот его бы пустить в действие...

– Шабаш! – осторожно загудел Тиунов, когда узнали о печальном конце войны. – Ну, теперь те будут Сибирь заглатывать, а эти – отсюда навалятся!

Он тыкал пальцем на запад и, прищуривая глаз, словно нацеливался во что-то, видимое ему одному.

Вавило Бурмистров стал задумываться: он долго исподволь прислушивался к речам кривого и однажды, положив на плечо ему ладонь, в упор сказал:

– Ну, Яков, не раздражай души моей зря – говори прямо: какие твои мысли?

Тиунову, видимо, не хотелось отвечать, движением плеча он попробовал сбросить руку Вавилы, но рука лежала тяжело и крепко.

– Отступись! – с трудом вывертываясь, сказал он тихонько.

Бурмистров привык, чтобы его желания исполнялись сразу, он нахмурил темные брови, глубоко вздохнул и тот час выпустил воздух через ноздри – звук был такой, как будто зашипела вода, выплеснутая на горячие уголья. Потом молча, движениями рук и колена, посадил кривого в угол, на стул, сел рядом с ним, а на стол положил свою большую жилистую руку в золотой шерсти. И молча же уставил в лицо Тиунова ожидающий, строгий взгляд.

Завсегдатаи трактира тесно окружили их и тоже издали.

– Ну, – сказал Тиунов, оглядываясь и сухо покашливая, – о чем же станем беседовать мы?

– Говори, что знаешь! – определил Бурмистров.

– Я на всю твою жизнь знаю, тебе меня до гроба не переслушать!

– Ничего, авось ты скорей меня подохнешь! – ответил Вавило, и всем стало понятно, что если кривой не послушается – красавец избьет его.

Но Тиунов сам понял опасность; решительно дернув головой кверху, он спокойно начал:

– Ладно, скажу я вам некоторые краткие мысли и как они дошли до моего разума. Будучи в Москве, был я, промежду прочим, торговцем – продавал подовые пироги...

И начал подробно рассказывать о каком-то иконописце, вдовом человеке, который весь свой заработок тратил на подаяние арестантам. Говорил гладко, но вяло и неинтересно, осторожно выбирал слова и словно боялся сказать нечто важное, что люди еще не могут оценить и недостойны знать. Посматривал на всех скучно, и глуховатый голос его звучал подзадоривающе лениво.

– Ты, однако, меня не дразни! – сказал Вавило сквозь зубы. – Я – кроткий, но коли что-нибудь против меня – сержусь я тогда!

Кривой помолчал, потом строго воззрился на него и вдруг спросил:

– Ты – кто?

– Я?

– Да, ты.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Озадаченный вопросом, Бурмистров улыбнулся, оглядел всех и натянуто захохотал.

– Ты – мещанин? – спокойно и с угрозой вновь спросил кривой.

– Я? Мещанин! – Вавило ударил себя в грудь кулаком. – Ну?

– А знаешь ты, что такое соответствующий человек? – спрашивал Тиунов, понижая голос.

– Какой?

Кривой тихо и отдельно повторил:

– Со-ответствующий!

Бурмистров не мог более чувствовать себя в затруднительном положении: он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал:

– Яков! Не бунтуй меня!

Эти выходки были всем знакомы: к ним Вавило прибегал, когда чувствовал себя опрокинутым, и они не возбуждали сочувствия публики.

– Брось дурить, кликуша! – сказал Зосима Пушкарев, охватывая его сзади под мышки толстыми ручищами.

– Словно беременная баба, в самом деле! – презрительно и строго говорит Пистолет, и лицо у него становится еще более кривым. – Только тебе и дела – зверем выть! Дай послушать серьезный человеческий голос!

Бурмистров почувствовал себя проигравшим игру, сокрушенно мотнул головой и, как бы сильно уставший, навалился на стол.

А Тиунов, оправляя чуйку, осторожно выговаривал, слово за словом:

– Мы все – мещане. Будем, для понятности, говорить по-азбучному, просто. Чему мы, примерно, соответствуем? По-азбучному сказать: какое нам место и дело отведено на земле государевой? Вопрос!

Никто не ответил на этот вопрос.

– Купец ли, дворянин ли и даже мужик – самый низкий слой земного жителя – все имеют ответственность тому-другому делу. А наше дело – какое?

Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся.

– Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двух священников, офицера – тоже политический, – никто не может объяснить – кто есть в России мещанин и какому делу-месту соответствует!

Ключников толкнул Вавилу в бок.

– Слышишь?

– Пошел к черту! – пробормотал Вавило.

– Но вот, – продолжал Тиунов, – встретил я старичка, пишет он историю для нас и пишет ее тринадцать лет: бумаги исписано им с полпуда, ежели на глаз судить.

– Кожемякин? – угрюмо спросил Вавило.

– Вот, говорит, тружусь, главнейше – для мещанства, – не ответив, продолжал кривой, – для него, говорит, так как неописуемо обидели его и обошли всеми дарами природы. Будет, говорит, показано мною, сколь русский народ, мещане, злоплененное сословие, и вся судьба мещанской жизни.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Бурмистров снова спросил:

– Ты читал?

– Нет, не читал. Но – я знаю некоторые краткие мысли оттуда. Вот, например, мы: какие наши фамилии? По фамилиям – мы выходим от стрельцов, пушкарей, тиунов – от людей нужных, и все мы тут – люди кровного русского ряда, хотя бы и черных сотен!

– Чего ты хочешь? – сурово спросил Вавило в третий раз.

Потирая руки, Тиунов объявил:

– Как чего? Соответственного званию места – больше ничего!

Он окинул всех просиявшим оком и, заметив, что уже на многих лицах явилась скука, продолжал живее и громче:

– Не желательно разве мне знать, почему православное коренное мещанство – позади поставлено, а в первом ряду – Фогеля, да Штрехеля, да разные бароны?

Павел Стрельцов охнул и вдруг взвился, закричал и захлебнулся.

– Верно-о! Да... дай мне ходу, да я – господи! – всякого барона в деле обгоню!..

Его крик подчеркнул слова Тиунова, и все недоверчиво, с усмешками на удивленных лицах, посмотрели друг на друга как бы несколько обновленными глазами. Стали вспоминать о своих столкновениях с полицией и земской управой, заговорили громко и отрывисто, подшучивая друг над другом, и, ласково играючи, толкались.

Были рады, что кривой кончил говорить и что он дал столь интересную тему для дружеской беседы.

А Вавило Бурмистров, не поддаваясь общему оживлению, отошел к стене, закинул руки за шею и, наклоня голову, следил за всеми исподлобья. Он чувствовал, что первым человеком в слободе отныне станет кривой. Вспоминал свои озорные выходки против полиции, бесчисленные дерзости, сказанные начальству, побои, принятые от городских и пожарной команды, – всё это делалось ради укрепления за собою славы героя и было дорого оплачено боками, кровью.

Но вот явился этот пройдоха, застучал языком по своим черным зубам и отодвигает героя с первого места куда-то в сторону. Даже Артюшка – лучший друг – и тот, отойдя в угол, стоит один, угрюмый, и не хочет подойти, перекинуться парой слов. Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворенный, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел, и его стройное тело сгибалось под невидимой людям тяжестью. Во дни таких подвигов его красивое законченное лицо становилось плоским, некоторые черты как бы исчезали с него, на губах являлась растерянная, глуповатая улыбка, а глаза, воспаленные бессонницей, наливались мутной влагой и смотрели на всё злобно, с тупой животной тоской. Но – стоило слобожанам подойти к нему, сказать несколько ласковых похвал его удали, – он вдруг весь обновлялся, точно придорожная пыльная береза, омытая дождем после долгой засухи, снова красивые глаза вспыхивали ласковым огнем, выпрямлялась согнутая спина, сильные руки любовно обнимали знакомых; Вавило, не умолкая, пел хорошие песни, готов был в эти дни принять бой со всеми за каждого и даже был способен помочь людям в той или другой работе.

Сейчас он видел, что все друзья, увлеченные беседой с кривым, забыли о нем, – никто не замечает его, не заговаривает с ним. Не однажды он хотел пустить в кучу людей стулом, но обида, становясь всё тяжелее, давила сердце, обессиливала руки, и, постояв несколько минут, – они шли медленно, – Бурмистров, не поднимая головы, тихонько ушел из трактира.

На другой день утром он стоял в кабинете исправника, смотрел круглыми глазами на красное, в седых баках, сердитое лицо Вормса, бил себя кулаком в грудь против сердца и, захлебываясь новым для него чувством горечи и падения куда-то,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
рассказывал:

– Мы, говорит, мещане – русские, а дворяне – немцы, и это, говорит, надо переменить...

Вормс, пошевелив серыми бровями, спросил:

– Как?

– Что?

– Переменить – как?

– До этого он не дошел!

Исправник поднял к носу указательный палец, посмотрел на него, понюхал зачем-то и недовольно наморщил лоб.

– А другие? – спросил он.

– Другие? – повторил Бурмистров, понижая голос и оглядываясь. – Другие – ничего! Кто же другие? Только он один рассуждает...

– А печник? Там есть печник! Есть?

– Он – ничего! – хмуро сказал Вавило.

– Все?

– Всё.

Исправник отклонил свое сухое тело на спинку кресла и, размеренно стучая пальцем по столу, сказал:

– Все вы там – пьяницы, воры, и всех вас, как паршивое стадо, следует согнать в Сибирь! Ты – тоже разбойник и скот!..

Говорил он долго и сухо, точно в барабан бил языком. Бурмистров, заложив руки за спину, не мигая, смотрел на стол, где аккуратно стояли и лежали странные вещи: борзая собака желтой меди, стальной кубик, черный, с коротким дулом, револьвер, голая фарфоровая женщина, костяная чаша, подобная человечесьему черепу, а в ней – сигары, масса цапок с бумагами, и надо всем возвышалась высокая, на мраморной колонне, лампа с квадратным абажуром.

Исправник, грозя пальцем, говорил:

– Ты у меня смотри!

Потом, сунув руку в карман, деловито продолжал:

– Ты теперь должен там слушать и доносить мне обо всем, что они говорят. Вот – на, возьми себе целковый, потом еще получишь, – бери!

Протянув открытую ладонь, Вавило угрюмо сказал:

– Я ведь не из-за денег...

– Это всё равно!

Опираясь на ручки кресла, исправник приподнял свое тело и наклонил его вперед, точно собираясь перепрыгнуть через стол.

Бурмистров уныло опустил голову, спросив:

– Идти мне?

– Ступай!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Был конец августа, небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по кадкам и бочкам. Бурмистров, смешно надув губы, шлепал ногами по жидкой грязи, как бы нарочно выбирая места, где се больше, где она глубже. В левой руке он крепко сжимал серебряную монету – она казалась ему неудобной, и он ее нес, как женщина ведро воды, – отведя руку от туловища и немного изогнувшись на правую сторону.

На месте вчерашней злобы против кривого в груди Вавилы образовалась какая-то холодная пустота, память его назойливо щекотали обидные воспоминания:

В городе престольный праздник Петра и Павла, по бульвару красивыми стаями ходит нарядное мещанство, и там, посреди него, возвышаются фигуры начальствующих лиц. Громко играют медные трубы пожарных и любителей.

А посредине улицы, мимо бульвара, шагает он, Вавило Бурмистров, руки у него связаны за спиной тонким ремнем и болят, во рту – соленый вкус крови, один глаз заплыл и ничего не видит. Он спотыкается, задевая ушибленную ногою за камни, – тогда городской Капендюхин дергает ремень и режет ему туго связанные кисти рук. Где-то за спиной раздается вопрос исправника:

– Кто?

– Зо слободы, ваше благородью, Бурмистрову!

– За что?

– Та буйство учинив на базари!

И голос исправника горячо шипит:

– Дать ему там, сукиному сыну!

– Злушаю, ваше благородье!

Дали. Двое стражников уселись на голову и на ноги, а третий отхлестал нагайкой.

– Ты мне за это целковый платишь? – остановясь под дождем, пробормотал Вавило.

Одна за другой вспоминались обиды, уводя человека куда-то мимо трактиров и винных лавок. Оклеивая всю жизнь темными пятнами, они вызвали подавляющее чувство физической тошноты, которое мешало думать и, незаметно для Вавилы, привело его к дому Волянки. Он даже испугался, когда увидел себя под окном комнаты Тиунова, разинул рот, точно собираясь крикнуть, но вдруг решительно отворил калитку, шагнул и, увидев на дворе старуху-знахарку, сунул ей в руку целковый, приказав:

– Тащи две, живо! Хлеба, огурцов, рубца – слышишь?

А войдя в комнату Тиунова, сбросил на пол мокрый пиджак и заметался, замахал руками, застонал, колотя себя в грудь и голову крепко сжатыми кулаками.

– Яков – на! Возьми, – вот он я! Действительно – верно! Эх – человек! Кто я? Пылинка! Лист осенний! Где мне – дорога, где мне жизнь?

Он – играл, но играл искренно, во всю силу души: лицо его побледнело, глаза налились слезами, сердце горело острой тоской.

Он долго выкрикивал свое покаяние и жалобы свои, не слушая, – не желая слышать, – что говорил Тиунов; увлеченный игрою, он сам любовался ею откуда-то из светлого уголка своего сердца.

Но наконец утомился, и тогда пред ним отчетливо встало лицо кривого: Яков Тиунов, сидя за столом, положил свои острые скулы на маленькие, всегда сухие ладони и, обнажив черные верхние зубы, смотрел в глаза ему с улыбкой, охлаждавшей возбуждение Вавилы.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Ты – что? – спросил он, отодвигаясь от кривого. – Сердишься, а?

Тиунов длительно вздохнул.

– Эх, Вавило, хорошая у тебя душа все-таки!

– Душа у меня – для всего свободна! – воскликнул обрадованный Бурмистров.

– Зря ты тут погибаешь! Шел бы куда-нибудь судьбы искать. В Москву бы шел, в губернию, что ли!

– Уйти? – воскликнул Вавило, подозрительно взглянув на темное задумчивое лицо. «Ишь ты, ловок!» – мельком подумал он и снова стал поджигать себя: – Не могу я уйти, нет! Ты знаешь, любовь – цепь! Уйду я, а – Лодка? Разве еще где есть такой зверь, а?

– Возьми с собой.

– Не пойдет!

Бурмистров горестно ударил кулаком по столу так, что зашатались бутылки.

– Я уговаривал ее: «Глафира, идем в губернию! Поступишь в хорошее заведение, а я туда – котом пристроюсь». – «Нет, говорит, милый! Там я буду, может, десятая, а здесь я – первая!» Верно – она первая!

– Пустяки всё это! – тихо и серьезно сказал Тиунов. Вавило посмотрел на него и качнул головой, недоумевая.

– Ты меня успокой все-таки! – снова заговорил он. – Что я сделал, а?

– Это насчет доноса? – спросил кривой. – Ничего! Привязаться ко мне трудно: против государь-императора ничего мною не говорено. Брось это!

– Вот – душа! – кричал Бурмистров, наливая водку. – Выпьем за дружбу! Эх, не волен я в чувствах сердца!

Выпили, поцеловались. Тиунов крепко вытер губы, и беседа приняла спокойный, дружеский характер.

– Ты сообрази, – не торопясь, внушал кривой, – отчего твое сердце, подобно маятнику, качается туда-сюда, обманывая всех, да и тебя самого? От нетвердой земли под тобою, браток, оттого, что ты человек ни к чему не прилепленный, сиречь – мешанин! Надо бы говорить – мешанин, потому – все в человеке есть, а все – смешано, переболтано...

– Верно! – мотая головой, восклицал Вавило. – Ах, ну и верно же, ей-богу! Всё во мне есть!

– А стержня – нету! И все мы такие, смешанные изнутри. Кто нас ни гни – кланяемся и больше ничего! Нет никаких природных прав, и потому – хриstopродавцы! Торговать, кроме души, – нечем. Живем – пакостно: в молодости землю обесчестив, под старость на небо лезем, по монастырям, по богомольям шатаюсь...

– Верно! Жизнь беззаконная!

– Закон, говорится, что копь: куда захочешь, туда и поворачишь, а руку протянуть – нельзя нам к этому закону! Вот что, браток!

Гладкая речь Тиунова лентой вилась вокруг головы слободского озорника и, возбуждая его внимание, успокаивала сердце. Ему даже подумалось, что спорить не о чем: этот кривой, чернозубый человек славе его не помеха. Глядя, как вздрагивает раздвоенная бородка Якова Захарова, а по черепу, от глаз к вискам, змейками бегают тонкие морщины, Бурмистров чувствовал в нем что-то, интересно и жутко задевающее ум.

– Гляди вот, – говорил Тиунов, направляя глаз в лицо Вавилы, – ты на меня донес...

Вавило передернул плечами, точно от холода.

– А я тебе скажу открыто: возникает Россия! Появился народ всех сословий, и все размышляют: почему инородные получили над нами столь сильную власть? Это значит – просыпается в народе любовь к своей стране, к русской милой земле его!

Прищурился, кривой налил водки, выпил и налил еще.

– А долго ты пить можешь? – с живым любопытством спросил Бурмистров.

Бывалый человек спокойно ответил:

– Пока водка есть – пью, а как всю выпью, то – перестану..

Этот ответ вызвал у Вавилы взрыв резвого веселья: он хохотал, стучал ногами и кричал:

– Эт-то ловко!

Просидели до позднего вечера, и с той поры Бурмистров стал всем говорить, что Яков Захаров – умнейший человек на земле. Но, относясь к Тиуну с подчеркнутым уважением, он чувствовал себя неловко перед ним и, вспоминая о доносе, размышлял:

«Молчит, кривой дьявол! Видно, ищет своей минуты, когда бы ловчее осрамить меня...»

При этой мысли кровь в груди у него горячо вскипала, он шумно отдувался, расширяя ноздри, как породистый конь, и, охваченный тревожным темным предчувствием неведомой беды, – шел в «раишко», к Лодке, другу своего сердца и складочному месту огорчений своих.

Лодка – женщина лет двадцати трех, высокая, дородная, с пышной грудью, круглым лицом и большими серо-синего цвета наивно-наглыми глазами. Ее густые каштановые волосы гладко причесаны, тщательно разделены прямым пробором и спускаются на спину толстой, туго заплетенной косой. Тяжесть волос понуждает Лодку держать голову прямо, – это дает ей вид надменный. Нос у нее не по лицу мал, остр и хрящеват, темно-красные губы небольшого рта очерчены строго, она часто облизывает их кончиком языка, и они всегда блестят, точно смазанные маслом. И глаза ее тоже блестят приятно улыбкою человека, довольного своею жизнью и знающего себе цену.

Ходит она уточкою, вперевалку, и даже когда сидит, то ее пышный бюст покачивается из стороны в сторону; в этом движении есть нечто, раздражающее угрюмого пьяницу Жукова; часто бывает, что он, присмотревшись налитыми кровью глазами к неустанным колебаниям тела Лодки, свирепо кричит:

– Перестань, дьявол! Сиди смирно!

Рыжая щетина на его круглой голове и багровых щеках встает дыбом, и глаза мигают, словно от испуга.

– Малина с молоком! – называет, восхищаясь, Лодку веселый доктор Ряхин и осторожно, со смущенной улыбкой на костлявом лице, отдалается от нее. Он тяготеет к неугомонной певунье, гибкой и сухонькой Розке, похожей на бойкую черную собачку: кудрявая, капризная, с маленькими усиками на вздернутой губе и мелкими зубами, она обращается с Ряхиным дерзко, называя его в глаза «зелененьким шкелетиком». Она всем дает прозвища: Жуков для нее – «Ушат Помоевич», уныло-злой помощник исправника Немцев – «Уксус Умирайлыч».

Третья девица – рыжая коротенькая Паша – молчалива и любит спать. Позевывая, она тягуче воет. У нее большой рот, неровные крупные зубы. Косо поставленные, мутно-зеленые глазки смотрят на всех обиженно и брезгливо, а на Четыхера – со страхом и любопытством.

Сорокалетняя рослая и стройная Фелината Назаровна Воеводина относится к девицам

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru хорошо, покровительствует их сердечным делам, вмешивается в ссоры и умеет безобидно примирить. Лицо у нее хорошее, доброе, в глазах, всегда как бы полупьяных, светится странная, полувеселая улыбка. Она и сама еще не прочь угодить гостям: чудесно пляшет русскую, ловко играет на гитаре, умеет петь романсы о любви. Голос у нее небольшой, но очень гибкий и слащавый, он точно патока обливает людей, усыпляя в них все чувства, кроме одного. Причесывается фелицата, спуская волосы на уши, любит хорошо одеваться, выписывает модный журнал, а когда пьяна – обязательно читает девицам и гостям стихи: «По небу полуночи ангел летел». При всем этом дела ее идут хорошо: известно, что за три года она положила в сберегательную кассу при казначействе тысячу семьсот рублей.

Когда Бурмистров подходит к воротам «фелицатина раишка» – обезьяноподобный Четыхер ударом толстой и кривой ноги отворяет перед ним калитку.

– Здравствуй, черт! – говорит Вавило, косясь на длинные ручищи привратника, сунутые в карманы короткого полушубка.

– Здорово, дурак! – равнодушно и густо отвечает Четыхер.

Бурмистров дважды пробовал драться с этим человеком, оба раза был жестоко и обидно побит и с той поры, видя своего победителя, наливался тоскливою злобою.

С нею он и шел к Лодке. Женщина встречала его покачиваясь, облизывая губы, ее серовато-синие глаза темнели; улыбаясь пьяной и опьяняющей улыбкой, томным голосом, произнося слова в нос, она говорила ему:

– Уж я ждала, ждала...

– Ждала! – сурово и не глядя ей в лицо, отзывался Бурмистров. – Я третьего дня был!

Она молча прижималась к нему, дыша прерывисто и жарко.

– Али смешала с кем?

– Тебя-то? – тихо спрашивала она. Наигравшись с ним, она угощала красавца пивом, а он, отдыхая, жаловался:

– Вот – тридцать годов мне, сила есть у меня, а места я себе не нахожу такого, где бы душа не ныла!

– А ты ходи ко мне почаще! – предлагала Лодка, сидя на постели и всё время упорно глядя в глаза ему.

Он хмурился, мотал головой и скучно говорил:

– Велика радость – ты! Для меня все бабы – пяточок пучок. Тобой сыт не будешь!

– Али я тебя не кормлю, не даю тебе сколько могу?

– Я не про то, дура! Я про душу говорю! Что мне твои полтинники?

Беседовали лениво, оба давно привыкли не понимать один другого, не делали никаких усилий, чтобы объяснить друг другу свои желания и мысли.

– Чего тебе надо?! – равнодушно покачиваясь, спрашивала Лодка.

Бурмистров закрывал глаза, не желая видеть, как вызывающе играет ненасытное тело женщины, качаются спущенные с кровати голые ноги ее, желтые и крепкие, как репа.

– Чего надо? – бормотал он. – Ходу, дороги надо!

– Иди! – двусмысленно улыбаясь, отвечала она. – Кто мешает?

– Все! И ты тоже!

В комнате пахнет гниющим пером постели, помадой, пивом и женщиной. Ставни окна закрыты, в жарком сумраке бестолково маются, гудят большие черные мухи. В углу,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru перед образом Казанской божьей матери, потрескивая, теплится лампада синего стекла, точно мигает глаз, искаженный тихим ужасом. В духоте томятся два тела, потные, горячие. И медленно, тихо звучат пустые слова – последние искры догоревшего костра.

Но чаще Бурмистров является красиво растрепанный, в изорванной рубашке, с глазами, горящими удалью и тоской.

– Глафира! – орет он, бия себя в грудь. – Вот он я, – твой кусок! Зверь жадный, на, ешь меня!

Тогда глаза Лодки вспыхивают зеленым огнем, она изгибается, качаясь, и металлически, в нос, жадно и радостно поет, как нищий, уверенный в богатой милостыне:

– Миленький мой, заму-учился! Родненький мой братик, обиженный всеми людьми, иди-ка ты ко мне, приласкаю тебя, приголублю одинокого...

– Глафира! – впадая в восторг, кричал Вавило. – Возьми ты сердце мое – возьми его – невозможно ему дышать, – ну, нечем же, нечем!

В этот час он особенно красив и сам знает, что красив. Его сильное тело хвастается своей гибкостью в крепких руках женщины и тоскливый огонь глаз зажигает в ней и страсть и сладкую бабулю жалость.

– Нету воли мне, нет мне свободы! – причитает Вавило и верит себе, а она смотрит в глаза ему со слезами на ресницах, смотрит заглатывающим взглядом, горячо дышит ему в лицо и обнимает, как влажная туча истощенную зноем землю.

Случалось, что после такой сцены Бурмистров, осторожно поднимая голову с подушки, долго и опасливо рассматривал утомленное и бледное лицо женщины. Глаза у нее закрыты, губы сладко вздрагивают, слышно частое биение сердца, и на белой шее, около уха, трепещет что-то живое. Он осторожно спускает ноги на пол – ему вдруг хочется уйти поскорее и тихо, чтобы не разбудить ее.

Иногда это удавалось, но чаще женщина, вздрогнув, вскакивала, спрашивая строго и пугливо:

– Ты что хочешь?

– Ухожу, – кратко говорил он, не глядя на нее.

Она следила серым взглядом полинявших глаз, как он одевается.

– Когда придешь?

– Приду – увидишь!

– Ну, прощай.

– Прощай!

И бывало так, что вдруг он чувствовал бешеную злобу к этой женщине, щипал ее и сквозь зубы говорил:

– Кабы не ты, дьявол мой, – эх! Был бы я свободен совсем...

Сначала она смеялась, вскрикивая:

– Щекотно, ой!

Но когда, раздражаемый ее криками, смехом и сопротивлением, он начинал бить ее – Лодка, ускользая из его рук, бежала к окну и звонко звала:

– Кузьма Петрович!

Являлся Четыхер. Но всегда заставлял мирную картину: Бурмистров с Лодкой стояли или сидели обнявшись, и женщина говорила, нагло и наивно улыбаясь:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Ай, простите нас, Кузьма Петрович, дурю я всё, по глупости моей! Выпейте стаканчик, не угодно ли? Пожалуйста, вот и закусточка!

Четырехер молча выплескивал водку или пиво в свою пасть, осматривал Бурмистрова и, значительно крякнув, выдвигался за дверь, а Вавило, покрытый горячей испариной, чувствовал себя ослабевшим и ворчал:

– Дура... Шуток не понимаешь!

Она, смеясь, облизывала губы, вздыхала и, вновь обнимая его, заглядывала ему в глаза вызывающим взглядом.

Когда Вавило рассказал ей о Тиунове и его речах, Лодка, позевывая, заметила:

– Вот и Коля-телеграфист так же говорит: быть поскорости бунту! Немцев тоже боится, а доктор – не верит!

– Смутьяны! – заворчал Вавило. – Бунтов захотели с жиру да со скуки!

Лодка равнодушно предложила:

– Хочешь – я Немцову скажу про кривого?

– Что скажешь?

Заплетая косу и соблазнительно покачиваясь, Лодка ответила:

– Не знаю! Ты научи.

Подумав, Вавило скучным голосом молвил:

– Нет, не надо. Не касайся этого, – что тебе? Да и я ведь так только, с тобой говорю, а вообще – наплевать на всё!

Через минуту он, вздохнув, добавил:

– Может, кривой-то правду говорит насчет мещанов? И про бунт тоже. Конечно, глупость это – бунты... ну, а я бы все-таки побунтовался, – эх!

– Уж ты у меня! – запела Лодка, обнимая его.

– Н-да-а, я бы показал себя! – разгораясь, восклицал Бурмистров.

Однажды, под вечер, три подруги гуляли в саду: Лодка с Розкой ходили по дорожкам между кустов одичавшей малины, а Паша, забравшись в кусты и собирая уцелевшие ягоды, громко грызла огурец.

Розка с жаром читала на память неприличные стихи. Лодка качалась, приятно облизывая губы, порою торопливо спрашивала:

– Как? Как?

И удивлялась:

– Вот так память у тебя!

– Он меня, как скворца, учит! – объясняла Розка. – Посадит на коленки, возьмет за уши да прямо и в рот и в глаза и начитывает, и начитывает!

Вздохнув, Лодка задумчиво молвила:

– Докторам все тайности известны! Ах, и смелый он у тебя, – ничего не боится!

– Ничего! А то вот какие стишки еще...

Снова раздался ее торопливый говорок. Когда они проходили мимо Паши, рыжая

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
девушка, сонно взглянув на них, проворчала:

– Эки пакостницы!

– А ты жри, знай! – отозвалась Розка на ходу, точно камнем кинула.

– Да-а, – вздрогнув, задумчиво протянула Лодка. – Какой смелый!

Над малинником гудели осы и пчелы. В зелени ветел суматошно прыгали молодые воронята, а на верхних ветвях солидно уместились старые вороны и строго каркали, наблюдая жизнь детей. Из города доплывал безнадежный зов колокола к вечерней службе, где-то озабоченно и мерно пыхтел пар, вырываясь из пароотводной трубки, на реке вальки шлепали, и плакал ребенок.

– Любишь, как укроп пахнет? – тихо спросила Лодка подругу, но та, не отвечая на вопрос, с гордостью рассказывала:

– Ему – все одинаково, ничего он не боится! Ты слушай...

Оглядываясь, она тихонько начала:

– «Однажды бог, восстав...» Смотри-ка, Симка за нами подглядывает!

Прищурился глаза, Лодка посмотрела.

– И правда! Вот, – тоже стишки умеет сочинять.

– Ну уж! – пренебрежительно мотнув головой, воскликнула Розка. – Юродивый-то!

– Пойдем к нему?

– Пойдем, посмеемся! – согласилась Розка.

В проломе каменной стены сада стоял длинный Сима с удочками в руке и бездонным взглядом, упорно, прямо, не мигая, точно слепой на солнце, смотрел на девиц. Они шли к нему, слащаво улыбаясь, малина и бурьян цапали их платья, подруги, освобождаясь от цепких прикосновений, красиво покачивались то вправо, то влево, порою откидывали тело назад и тихонько взвизгивали обе.

– За рыбой? – ласково спросила Лодка.

Не шевелясь, Сима ответил:

– Да.

– Рано сегодня!

– Скоро начнется самый клев, – объяснил юноша, не сводя пустых глаз с лица девушки.

Розка, ущипнув подругу, спросила:

– Слышал стишки?

Сима утвердительно кивнул головой.

– Получше твоих-то, – задорно сказала черненькая девица.

– Нет, – негромко ответил Девушкин. Это рассердило Розку.

– Скажите! – с досадой воскликнула она. – Какой ферт! Да ты совсем и не умеешь сочинять-то! Мя-мямя – только и всего у тебя!

– Я хочу, чтобы как молитва было, – тихо сказал Сима, обращаясь к Лодке.

Каждый раз, когда эта женщина видела юношу, наглый блеск ее взгляда угасал, зрачки расширялись, темнели, изменяя свой серо-синий цвет, и становились неподвижны. В груди ее разливался щекожный холодок, и она чаще облизывала губы,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
чувствуя во всем теле тревожную сухость. Сегодня она ощущала всё это с большей остротой, чем всегда.

«Некрасивый какой!» – заставила она себя подумать, пристально рассматривая желтоватое голодное лицо, измеряя сутулое тело с длинными, как плети, руками и неподвижными, точно из дерева, пальцами. Но взгляд ее утонул в глазах Сима, уходя куда-то всё дальше в их светлую глубину; беспокойное тяготение заставляло ее подвигаться вплоть к юноше, вызывая желание дотронуться до него.

Он не однажды говорил ей свои стихи, и, слушая его тихий и быстрый, размеренный говорок, она всегда чувствовала смущение, сходное с досадой, не знала, что сказать ему, и, вздыхая, молчала. Но каждый раз, помимо воли своей, спрашивала:

– Сочинил стихов?

– Да, – ответил Сима, наклоня голову.

– Уйду я, ну вас к лешему! – воскликнула Розка, окидывая их насмешливым взглядом. – Ты, Глафира, поцеловала бы его разочек, да и пусть идет...

Засмеявшись, она отошла в кусты, звонко напевая:

И я ль страдала, страданула,
С моста в речку сиганула...

– Ну, что же, скажи! – вздохнув, предложила Лодка.

Он поднял голову, благодарно улыбнулся ей, на щеках у него вспыхнули розовые пятна, пустые глаза налились какою-то влагою. Лодка отодвинулась от него.

Пресвятая богородица,

Мати господи всевышнего!

Обрати же взор твой ласковый

На несчастную судьбу детей!

Челюсть у него дрожала, говорил он тихо, невнятно. Стоял неподвижно и смотрел в лицо женщины исподлобья, взглядом робкого нищего. А она, сдвинув брови, отмечала меру стиха легкими кивками головы, ее правая рука лежала на камнях стены, левая теребила пуговицу кофты.

В темных избах дети малые

Гибнут с холода и голода,

Их грызут болезни лютые,

Глазки деток гасит злая смерть!

Редко ласка отца-матери

Дитя малое порадует,

Их ласкают – только мертвеньких,

Любят – по пути на кладбище...

– Будет! – сказала Лодка, еще дальше отступая от него.

Сима взглянул в лицо ей и уныло замолчал, ему показалось, что она сердится: щеки у нее побелели, глаза стали темно-синими, а губы крепко сжались. Сима стал виновато объяснять:

– Это я потому, что у Стрельцовых Лиза померла. Долго очень хворала, а мать всё на поденщину ходит, – сердилась на нее, на Лизу: мешаешь, кричала. А умерла – так она третьи сутки плачет теперь, Марья-то Назаровна!

– Знаю я это! – почти с досадой, но негромко сказала женщина. – Хоронила я детей... двое было...

Она оглянулась: розовый сумрак наполнял сад, между ветвями деревьев, бедно одетых осеннею листвою, сверкало багровое солнце.

– Идем со мной! – вдруг приказала она Симе; юноша положил удилица и покорно тронулся с места, неловко поднимая ноги. Она же шла быстро и, как бы прячась от кого-то, нагибалась к земле. Привела его в темный угол сада и там, указав на кучу мелкого хвороста, шепнула ему:

– Сядь!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

И, когда он сел, обняла его за шею, тихо и торопливо спрашивая:

– Ведь ты любишь меня, любишь?

– Да, – ответил Сима, вздрогнув.

– Ну, и я тебя люблю! – быстро сказала она.

Он, испуганно взглянув в лицо ей, отодвинулся.

– Это... это уж неправда... вы нарочно...

– Ах, господи! – тихонько воскликнула женщина. – Ей же богу! Вот – перекрестилась, видишь?

Тогда он взвыл, рванулся к ней и, сунув голову в колени ее, бормотал, радостно всхлипывая:

– Я ведь давно-о! Я вас – так люблю...

Отталкивая его, она шепотом говорила:

– Ну, скорее, – ах, да скорее же...

Сима не понимал ее слов, она грубо схватила его, поспешно отдалась и потом сразу спокойно сказала, вздыхая глубоко и ровно:

– Ну, вот! Теперь ты будешь ходить ко мне, – будешь? Я скажу дворнику, чтобы пускал тебя!

Движением локтя она отстранила его от себя и встала, высокая и красивая.

– Ты знаешь – у меня муж есть? – спросила она, испытующе глядя в его ошеломленное и пьяное лицо.

– Знаю! – прошептал Сима.

– И любовник тоже есть...

Он смотрел в лицо ей, растерянно улыбаясь, пошатывался и молчал.

– Ну? Как же ты теперь будешь? – любопытно спросила она.

– Я скажу ему...

Лодка вздрогнула, выпрямилась.

– Что скажешь? Кому?

– Вавиле. Ничего! – успокоительно и радостно проговорил юноша. – Я уж сам, вы не бойтесь...

Что-то ласковое, почти материнское мелькнуло в глазах Лодки.

– Не смей! – строго сказала она. – Дурачок, – разве это можно?!

И, положив тяжелые руки на плечи юноши, ласково продолжала:

– Он убьет тебя, дурашка ты! Ты – молчи!

Повернула его и, легонько подталкивая, шептала:

– Ну, уходи теперь! Иди, прощай! Смотри же, молчи! Помни – убьет!

Он пытался обернуться к ней – ему хотелось обнять ее, но, когда он обернулся, она уже быстро и не оглядываясь шла прочь от него. Юноша неподвижно стоял над кучей полугнилого мусора, дремотно улыбался и смотрел влажным взглядом в кусты,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
где – точно облако – растаяли мягкие белые юбки.

Лодка шла так быстро, точно боялась, что кто-то неприятный остановит ее. Подпрыгивая по лестнице, вбежала в свою комнату, заперла дверь па ключ, схватилась за спинку кровати и глубоко вздохнула.

В полутьме комнаты скорбно мигал синий глаз лампы, вокруг образа богоматери молитвенно качались тени.

Женщина долго смотрела в угол, потом бесшумно опустилась на колени – точно прячась за высокой спинкой кровати, – и, сложив руки на груди, громко, льстиво зашептала:

– Пресвятая богородица, помилуй рабу твою, окаянную грешницу Глафиру!

Слава Симы Девушкина перекинулась через реку: земский начальник приказал привести к нему поэта, долго слушал его стихи, закрыв глаза и мотая головой, потом сказал:

– Надо учиться тебе, ты мало грамотен! Читать любишь?

Утомленный чтением и напуганный строгим лицом земского, Сима молчал.

Штрехель погладил бритые щеки ладонями, внимательно оглядел нескладное тело стоявшего у притолки и заговорил снова:

– Надо читать, братец мой! Пушкина надо читать! Знаешь Пушкина?

– Нет.

– Как? – удивился земский. – А помнишь в школе:

Встает заря, идет разносчик,
На биржу тянется извозчик...
Это и есть – Пушкин! Ты где учился?

– В церковно-приходской.

– Ага, да! Но – Пушкина надо знать! Я тебе выпишу его книги, у меня нет сейчас, я выпишу из губернии. Что, у тебя здоровье слабое?

– Слабое, – эхом отозвался поэт.

– Надо лечиться! Ты ходи по праздникам гулять в Черемухинский бор, там – сосны, это очень полезно для тебя.

Дал Симе полтинник и ласково проводил его до прихожей.

Отец Исаия Кудрявский тоже одобрял стихи Симы.

– Похвально, Симеон, похвально! – говорил он, помахивая благообразной головой. – Очень одобряю. И направление мысли и простота штиля – весьма трогает душу! Трудись, юноша, не зарывай в землю богом данного таланта и с помощью Симеона-богоприимца – молитвенника твоего – поднимешься, гляди, из мрака до высот. Вино – испиваешь?

– Нет, – сказал Сима, вздохнув, – вредно мне!

– Так! Это тоже похвально! – произнес отец Исаия, а когда поэт подошел под благословение – сунул ему в руку три больших пятака и объяснил: – Это тебе на нужды твоя и за труды по чтению сочинения, кои – повторю – весьма и весьма заслуживают всяческих похвал.

Приглашали Симу и другие образованные люди города; он торопливо и робко говорил стихи, глотая слога и целые слова, и уходил, одаренный двугривенными и гривенниками.

Даже торговцы базара иногда зазывали его в лавки и, внимательно прослушав,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
награждали пятачком или алтыном. Некоторые, помоложе, советовали:

– Ты бы, парень, веселое выдумал чего-нибудь, а то уж скучно больно! Веселое-то можешь?

– Нет, – отвечал Сима печально и виновато.

– Это жаль!

Доктор Ряхин, заставив поэта прочитать стихи, воскликнул, усмехаясь:

– Вот еще одна жертва ненужная!

А потом записал несколько стихотворений, обещая куда-то послать их, но при этом сказал, потирая свои сухие руки:

– Длиннейший мой юноша! Все это, может быть, и недурно, только – едва ли своевременно, да! Ничего не обещаю, но непременно пошлю в разные места.

Он денег Симе не дал.

Девушкин начал прятаться от людей, ходил в город всё реже и только когда не мог избежать этого. Ясно видел, что никому не нравится, все смотрят на него с любопытством и нет людей, которые привлекали бы его сердце. Его длинная фигура, с неуклюжей головою на уродливо тонкой шее, желтое, костлявое лицо и пустые глаза, его робость, скрипучий, срывающийся голос и неподвижные, лишние руки – весь он не возбуждал в людях симпатии.

Наконец случилось нечто, оттолкнувшее от него горожан.

Однажды податный инспектор Жуков удил рыбу неподалеку от Симы и вдруг обратился к нему с приказанием:

– Эй, чучело! Напиши-ка мне стихи, я тебе трешницу дам – слышишь? Знаешь Розку? Ну, вот про нее напиши что-нибудь этакое, с перцем! Понял? Завтра вечером приходи к фелицате и прочитай – я скажу, чтобы тебя пропустили!

Сима не ответил ему и, просидев еще минуты две, ушел, незаметно для Жукова. Он не любил этого толстого рыжего человека с маленькими глазками и огромными ушами. Знал, что Жуков великий похабник, что с похмелья он любит мучить людей и животных и что все окрестные мужики ненавидят инспектора. После того, как Сима сблизился с Лодкой, Жуков стал еще более неприятен ему: порою он представлял себе, как толстые красные руки этого человека тянутся к телу его подруги – тогда в груди юноши разливался острый холод, ноги дрожали, он дико выкатывал глаза и мычал от горя.

Он сочинил о Жукове длинные стихи, часто бормотал их про себя и однажды сказал Лодке. Она долго и зло смеялась, много целовала Симу и говорила:

– Так его, свинью! Хорошо!

А через несколько дней после этого Симу встретил письмоводитель податного, картежник Иванюков, и завопил:

– Ага-а! Тебя-то мне и надо! Уж я тебя, шило, искал, искал! Идем к податному, он тебя требует!

– Не хочу, – сказал Сима, отходя прочь.

Но Иванюков схватил его за рукав рваного пальто и громко спросил:

– А в морду, сударь, хотите получить?

И вот Сима очутился перед лицом Жукова; инспектор, лежа на диване, хрипло говорил ему, улыбаясь во всё лицо свое:

– Что же ты, скот, написал стихи, читаешь их везде, а я ничего не знаю, а? Ведь это я тебе заказал?

Сима весь налился страхом, злостью и тоской, и неожиданно для себя, незнакомым себе, высоким, взвизгивающим голосом, он начал:

– Его благородию Жукову Евсею.. – Передохнув, он объяснил, покачиваясь на ногах и точно плавая в тумане: – Отчество я потому выкинул, что оно не ложится в стих, – Лиодорович – так и не зовут никого!

– Что-о? – удивленно спросил Жуков. – А ты читай, дубина!

Сима начал:

Правду рассказать про вас
Я никак не смею,
Потому – вы за нее
Сломите мне шею.
– Ну и глуп! – проворчал Жуков.

Будь я ровня вам – тогда
Я бы не боялся
И без всякого труда
Над вами посмеялся.
Жуков поднял голову и начал кашлять, тяжело спуская ноги с дивана, – его движение испугало Симу, он тоже остановился и кашлянул.

– Ну, что же? – хрипя и отплевываясь, проворчал Жуков.

Сима медленно выговорил:

Стыдно мне смотреть на вас,
Стыдно и противно..
Податной вытарачил глазки и, шевеля пальцами, протянул негромко:

– Что-о?

Поэт, вздрогнув, согнулся, быстро выскочил из комнаты и почти три недели прятался где-то. После он рассказывал слобожанам, что Жуков закричал ему – убью!
– и бросил в него сапогом.

Эта сцена стала известна в городе.

– Захвалили парнишку, он и зазнался! – говорили на Шихане. – Они, слободские, один другого озорниковатее, их привечать – опасно!

Но в семи тысячах жителей Окурова и Заречья был один человек, относившийся к поэту серьезно: каждый раз, когда Сима, получив от Лодки спешно-деловую ласку, выходил из «раишка», – у ворот его останавливал квадратный Четыхер.

– Ты? – спрашивал он, хотя знал и видел, чье длинное тело робко и неловко вылезает из калитки.

– Ну-ка, сядь! – предлагал он.

И когда Сима садился рядом с ним на лавке – он, положив на плечо или колено поэта широкую ладонь, тихонько просил:

– Ну-ка, скажи стишки!

Сима говорил, а Четыхер, вздыхая, украдкой крестился и снова просил:

– Ну-ка еще!

Юноше нравилось читать свои сочинения этому человеку, и он для него читал особенно: не торопясь, мягким шепотом, старался придать любимым словам особую значительность и порою таинственно толкал слушателя, подчеркивая этим толчком слово или строчку, которые ему казались особенно важными.

Здесь, под воротами старого дома, когда-то наполненного иной жизнью, Сима как

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
будто чувствовал, что он хоронит свои мысли без обиды и с честью, что встречают их не холодное любопытство и жалость, отрицающие его душу, а нечто иное, возбуждавшее в нем приятную гордость.

Из глубины все еще важных развалин дворянского дома порою долетали визги девиц, тенор Коли-телеграфиста, колокольный голос Ваньки Хряпова, сына ростовщика, бойкие песни Фимки Пушкаревой, звон гитары – но все эти звуки тоскливой и пьяной жизни не мешали Симе и его слушателю.

– Ну-ка еще! – просил Четыхер, разглядывая из-под мохнатых рыжих бровей серебристое сияние Млечного Пути, радостное горение звезд, медленный ход медного круга луны или тихий бег облаков; смотрел Четыхер, слушал и, двигая плечом, незаметно крестился.

Тяжко спали изжеванные и обкусанные нищетою, оборванные диким озорством, темные избушки слободы, тесно окружая усадьбу Воеводининых, – точно куча мелкого мусора большую изломанную игрушку. Сима плотно прижимался к дереву ворот и, не уставая, читал.

Но иногда поспешные, милостивые и тепленькие ласки его возлюбленной поднимали в груди юноши тошное ощущение обиды, он вспоминал торопливые слова женщины, деловые движения ее тела и с унылою горечью думал:

«Хоть бы раз один дала мне полюбоваться собой! Другие-то...»

Читать ему не хотелось, голос звучал вяло, сердце не входило в слова.

– Ну, ладно, спасибо! – говорил Четыхер и совал в руку три копейки или пятак.

– Не надо же! – говорил Сима, отдергивая руку.

– Ну-ка, а ты – бери! Я ведь – один. Мне хватит.

Боясь обидеть Четыхера, Сима брал монету и шел в поле.

Вечерами на закате и по ночам он любил сидеть на холме около большой дороги. Сидел, обняв колена длинными руками, и, немотствуя, чутко слушал, как мимо него спокойно и неустанно течет широкая певучая волна жизни: стрекочут хлопотливые кузнечики, суетятся, бегают мыши-полевки, птицы летят ко гнездам, ходят тени между холмов, шепчут травы, сладко пахнет одонцем, мелиссой и бодягой, а в зеленовато-голубом небе разгораются звезды.

В такую лунную ночь пред ним незаметно явился Тиунов и спросил, постукивая палочкой по сапогу:

– Что – стишки выдумываешь?

– Да, – сказал Сима, смущенный.

Крутя головой, Тиунов обвел его взглядом и ласково одобрил:

– Так! Ну, сочиняй, бог тебе в помощь!

И пошел тихонько прочь. Он показался Симе добрым и нужным сегодня – юноша встал и поплелся за ним.

Кривой обернулся, подождал и вновь окинул Симу взглядом.

– Как же это ты сочиняешь, интересно мне?

Юноша обрадовался, охотно и легко он стал говорить.

– Сначала – я думаю. Я даже всегда думаю, Яков Захарович. От этого, надо быть, испортилось у меня сердце – стеснение в нем и тоска. А иной раз – забьется оно, как птица, и вдруг – остановится.

– Так! – сказал кривой, усердно тыкая палочкой в голову своей тени, косо лежавшей у ног его. – А о чем же, малый, ты думаешь?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Обо всем, Яков Захарович! – виновато сказал юноша. – Кто встретится или вспомнишь кого – человека ли, собаку ли... Птицы тоже...

– Так, так!

Тиунов почесал переносицу и тихонько двинулся вперед. Сима шел рядом, рассказывая.

– Кроме птиц – все толкуются на одном месте. Идет человек, наклоня голову, смотрит в землю, думает о чем-то... Волки зимой воют – тоже и холодно и голодно им! И, поди-ка, всякому страшно – всё только одни волки вокруг него! Когда они воют, я словно пьяный делаюсь – терпенья нет слышать!

Луна светила сзади них, тени ползли впереди: одна – покороче, другая – длиннее, обе узкие. Одна – острая, двигалась вперед ровными толчками, другая – то покрывала ее, то откидывалась в сторону, и снова обе сливались в бесформенное темное пятно, судорожно скользившее по земле.

Спотыкаясь, Сима объявил:

– У меня даже стишок сочинен про волков! – приостановился и начал читать:

Ходят волки по полям да по лесам,
Воют, морды поднимая к небесам.
Я волкам – тоской моей,
Точно братьям, – кровно сроден,
И не нужен, не угоден
Никому среди людей!
Тяжело на свете жить!
И живу я тихомолком.
И боюсь – серым волком
Громко жалобу завывать!
Тиунов взмахнул палочкой, поглядел в небо, в даль и себе под ноги.

– А веселое – не склонен сочинять? – спросил он, вздыхая.

Сима, тоже оглянувшись, ответил виновато:

– Про податного Жукова сочинил, да плохо вышло. Артюшка поет:

Как живут у нас в Заречье
Худы души человечьи...
Это я же составил! А то еще про город...

– Что – про город?

– А вот! – юноша снял с головы старенький картуз, зачем-то распылил его перед лицом и начал тихонько:

Эх, попел бы я веселых песен!
Да кому их в нашем месте нужно?
Город для веселья – глух и тесен,
Все живут в нем злобно и недужно.
В городе у нас – как на погосте –
Для всего готовая могила.
Братцы мои! Злую склоку бросьте,
Чтобы жить на свете легче было!
Замолчал.

– Всё?

Кривой нацелился глазом в лицо юноши и, усмехаясь, спросил:

– Какое же тут веселье? Дурачок!

Помолчав, он повторил:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
– Эхе-хе, дурачок!

Юношу не обидело грустное и ласковое восклицание, он даже улыбался, говоря:

– Ведь я не сказал, Яков Захарович, что это – веселое.

– Не сказал разве?

– Не-ет!

– Так! Ну ладно!

Слева от них, в темном ельнике болота, гулко крикнул пугач – тишина всколыхнулась и снова застыла, как масло. Далеко впереди середь поля вспыхнул тихий огонь и стал быстро разгораться, вздрагивая и краснея.

– Вон, – сказал кривой, – видать, мужики из Балымер в ночном светец разложили. Свежевата ночка-то!

– Стихами, Яков Захарович, мне легче думать, а простые слова труднее складываются у меня. Мне все хочется, чтобы стихи-то как молитвы были, а как это надо делать – не знаю! Ежели длинный стих, то будто молитвеннее выходит – а так ли? Вот еще стихи, про город тоже:

Снова тучи серые мчатся над болотами.
Разлилась в городе тишина глубокая.
Люди спят, измучены тяжкими заботами,
И висит над сонными небо одноокое...
– Какое небо-то? – удивленно спросил Тиунов.

– Одноокое, – смущенно ответил Сима и отодвинулся от спутника, виноватым голосом объясняя: – Оно ведь всегда одноглазое: днем солнце, а ночью – луна только.

– Кривое, стало быть, как я? – сказал Тиунов, посмеиваясь. – Это ничего, ловко! Только – звезды забыты тобой.

– При полной-то луне – какие звезды?

– М-м... верно, маловато их! Да! Потом вот тучи, говоришь, и – луна?

– Это бывает! Бегут тучи, а между них – луна, и всё небо – вздрагивает, будто ломается...

Тиунов замолчал, а Сима тихонько прибавил:

– Я назвал небо-то однооким – забыл про вас, ей-богу!

– Ничего! – сказал кривой.

– Дальше у меня так идут стихи:

В небе тучи гонятся за слепой луной,
Полям тихо крадется чья-то тень за мной...
– Всё ты да ты! – вдруг заговорил Тиунов. – Ты, да я, да сватья, – только и знать! Да голодное житье, да смерть!

Юноше очень хотелось рассказывать Тиунову свои стихи, но кривой, видимо, не хотел слушать: помахивал палочкой, он тихонько шагал и говорил:

– Всё это, конечно, действует в жизни – и бедность есть и смерть, а людей, однако, не одолевает! И дедушка мой голодал, и отец голодал, а и сам я не больно сытно живу. И они – померли, и я помру – верно!

Вспоминая свои стихи, Сима не ответил.

– Ну, помру, и – ни синь пороха после меня не останется! – убедительно говорил Тиунов. – Злодей помрет – люди скажут: ах, какой злодей был! Добрый помрет – добром помянут. Бывает – и собаку дохлую жалко людям. Кошек тоже часто

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
вспоминают: хорош, дескать, зверь был, умный или там – ласковый, мышей ловко хватал. А помрут Яков Тиунов, Семен Деушкин – и никто ничего не скажет. Были мы али нет – это всем всё равно. Вот ты бы о чем подумал, малый, об этом вот! Да! Подумай! Дело – важное! Ты – человек одинокий, а одинокие-то люди и есть самые лучшие, верные слуги миру.

Сима – молчал. Ровная и мягкая речь кривого не мешала смутным мыслям юноши искать нужных слов.

– А ты будь нужен людям не столь в горе, сколько в радости, ты их с радостью полюби! Горе, малый, дешево! В нем – как арестанты в серых халатах своих – все людишки одинаковы: ни дворяне, ни мещане не отличны. А ты – в радость иди, покажи людям радость – птицу редкую, птицу райскую – вот! Вот у тебя есть – скажем – талан, ты его серьезно полюби! Надо, брат, всё полюбить: инструмент, которым работаешь, – долото, например, – и его полюби тоже! Оно тебя поймет, хоть и железо, а – полюбив твою руку – оно тебе в работе сильно может помочь.

Полям идут двое –
Старый с молодым...

– складывалось в голове Симы. Он спотыкался и простирал вперед прямые, длинные руки:

Перед ними – тени
Стелются, как дым...

В сумраке души, в памяти, искрами вспыхивали разные слова, кружились, как пчелы, одни исчезали, другие соединялись живою цепью, слагали песню – Симе было жутко и приятно, тихая радость ласкала сердце.

– Вот, гляди! – задумчиво текла речь кривого. – Живут в России люди, называемые – мещане. Кто их несчастнее? – подумай. Есть – цыгане, они всё бродяжат, по ярмаркам – мужиков лошадьми обманывают, по деревням – кур воруют. Может, они и не делают ничего такого, ну, уж так говорится про них. А мещане хоть больше на одном месте трутся – но тоже самые бесполезные в мире жители...

Юноша, глядя вперед бездонным взглядом круглых глаз, шаркал ногами по земле, и ему казалось, что он легко поднимается в гору.

Старый молодому
Что-то говорит,
Впереди далеко
Огонек горит...

Вдали, над темной гривой Чернораменского леса, поднялась тяжелая туча и гасила звезды. Огонь костра взыграл ярче, веселее.

– Мне, малый, за пятый десяток года идут, и столько я видел – в соборе нашем всего не сложишь, на что велик храм! Жил я – разное, но больше – нехорошо жил! И вот, после всего, человеческое мое сердце указывает: дурак, надобно было жить с любовью к чему-нибудь, а без любви – не жизнь!

Сима, улыбаясь, сочинял:

Узкою тропинкою
Тесно им идти,
Покрывают тени
Ямы на пути.
Оба спотыкаются,
Попадая в ямы,
Но идут тихонько
Дальше все и прямо.
Господи владыко!

Научи ты их,
Как дойти среди ночи
До путей твоих!

Он остановился и радостно вскричал, схватив кривого за рукав:

– Яков Захарович, а я сейчас еще стихи сочинил, ей-богу, вот только сейчас! Слушайте!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
Когда он сказал стихи свои, кривой ткнул в лицо ему темный свой глаз и одобрительно заметил:

– Ну вот! Ишь ты ведь...

– Ах, господи! – тихонько воскликнул Сима. – Это такая, знаете, радость, когда сочинишь что-нибудь, даже плакать хочется...

– И хорошо. Именно это миру и надобно – радость! А пора нам повернуть – эго, сколь места отхватили!

Повернули. Идти стало светлее – тени легли сзади, пошли ближе друг к другу.

– Главное, малый, – раздавался в тишине ночи спокойный голос Тиунова, – ты люби свою способность! Сам ты для себя – вещь неважная, а способность твоя – это миру подарок! Насчет бога – тоже хорошо, конечно! Однако и пословицу помни: бог-то бог, да и сам не будь плох! А главнейше – люби! Без любви же человек – дурак!

Их догоняла предвестница осени, тяжелая черная туча, одевая поле и болото бархатом тени, а встречу им ласково светил полный круг луны.

– Эх, Семен, Семен! – вздрагивал глуховатый голос Тиунова. – Сколько я видел людей, сколько горя постиг человеческого! Любят люди горе, радость – вдвое! И скажу тебе от сердца слово – хорош есть на земле русский народ! Дикий он, конечно, замордованный и весьма несчастен, а – хорош, добротный, даровитый народ! Вот – ты погляди на него пристально и будешь любить! Ну, тогда, брат, запоешь!

Сима улыбался, толкая кривого острым плечом. Помолчав, Тиунов убедительно прибавил:

– Хорош народ! И – аминь!

Рыжая девица Паша несла в «раишке», кроме специального труда, обязанности горничной: кухарка будила ее раньше всех, и Паша должна была убирать зал – огромную, как сарай, комнату с пятью стрельчатыми окнами; два из них были наглухо забиты и завешены войлочным крашеным ковром.

Потолок зала пестро расписан гирляндами цветов, в них запутались какие-то большеголовые зеленые и желтые птицы и два купидона: у одного слиняло лицо, а у другого выкрошились ноги и часть живота.

Матрена Пушкарева, кухарка, сообщила Паше, что потолок расписывал пленный француз в двенадцатом году, и почти каждое утро Паша, входя в зал с веником и тряпками в руках, останавливалась у дверей и, задрав голову вверх, серьезно рассматривала красочный узор потолка, покрытый пятнами сырости, трещинами и копотью ламп.

Иногда Матрена окликала ее:

– Ты что, лешая, опять вытаращила буркалы? Убирай скорее, встанут уж все...

Улыбаясь, Паша отвечала:

– Сейча-ас! Уж больно француз этот ловок! И как он писал, тетя? Не иначе – лежа надо было писать ему, ай?

Матрена сердилась.

– Тебе бы всё лежа и жить! Погоди, околеешь – пролежишь, толстомясая, до косточек бока-то твои!

– Где-то он теперь, французик бедненький? – вздыхая, мечтала Паша.

Часто бывало так, что, любуясь работой французца, девушка погружалась в дремотное самозабвение, не слышала злых криков хозяйки и подруг; тогда они, сердитые с похмелья, бросались на нее, точно кошки на ворону, и трепали девицу, вытирая ее

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
телом пыль и грязь зала.

Когда Пашу били – она не сопротивлялась, а только пыхтела, закрыв глаза; уставали бить ее – она плакала и жаловалась не сразу: сначала посмотрит, где и как на ней разорвана одежда, потом уходит на двор и там начинает густо, басом, выть и ругаться.

На ее рев с улицы в калитку высовывалась огромная голова Четыхера, он долго слушал жалобы Паши молча, наконец они ему, видимо, надоедали – тогда привратник пренебрежительно убеждал ее:

– Ну-ка, перестань ты! Бесстыдница. Орешь тут, а люди слышат! Эй! Люди-то слышат, мол!

– Чай – больно! – успокаиваясь, объясняла Паша.

Четыхер разумно говорил:

– Для того и бьют.

Однажды ночью, во время кутежа, пьяный Немцев и Ванька Хряпов грязно обидели Пашу, она вырвалась от них, убежала на двор и там, прислонясь у ворот, завывала.

– Опять плачешь? – спросил Четыхер, приотворив калитку.

– Дяденька! – воскликнула девица сквозь рыдания. – Что я за несчастная? Господи!

– Ну-ка, перестань! – посоветовал Четыхер.

А она не переставала.

Четыхер послушал ее вопли еще несколько времени и сказал, тяжело вздыхая:

– Ну, и голос же! Ах ты, чтоб те сдохнуть! Ин подь сюда!

Вывел ее на улицу, оглянулся, посадил на лавку, сел рядом с ней и начал уговаривать.

– Ну – молчи! Сиди. Вот – ночь-то какая теплая. И никого нет. Кто тебя обидел?

Всхлипывая, Паша стала рассказывать, как ее обидели, но Четыхер брезгливо остановил:

– Ну – ладно! Не люблю я пакостей этих. Молчи знай!

Она покорно замолчала, прислонясь к нему плечом; человек попробовал отодвинуться от нее – некуда было. Тогда, сунув длинные руки между колен своих, он наклонился и, не глядя на нее, забормотал:

– Чу – Марьюшина собака воеет, слышишь? Держат пса на цепи не кормя, почитай, это – чтобы пес-от злее был. Видишь, как хорошо ночью на улице-то? Народу совсем никого нету... То-то! Вон – звезда упала. А когда придет конец миру, они – снегом, звезды-то, посыпятся с неба. Вот бы дожить да поглядеть...

Говорил он долго. Порою его глаза, невольно косясь направо, видели ноги девицы, круглый ее локоть и полуприкрытую грудь. Он чувствовал, что ее тяжелое тело всё сильнее теснит его, – Четыхеру было тепло, приятно; не разжимая колен, он вытянул из них правую руку, желая обнять Пашу, и вдруг услышал сонный храп.

– Али спишь? – удивленно и тихонько спросил он. Не ответила.

– Ну-ка! – сказал Четыхер, пошевелив плечом. Она, сладко чмокнув губами, спокойно и глубоко вздохнула. Человек посмотрел в лицо девушки, осыпанное рыжими прядями растрепанных волос, – рот Паши был удивленно полуоткрыт, на щеках блестели еще не засохшие слезы, руки бессильно повисли вдоль тела. Четыхер усмехнулся и, качая голову, проворчал:

– Эка дура! Вот дуреха-то!

И крепкий ее сон и детская беспомощность тела вызвали у него доброе удивление. Поглядывая на нее сбоку и успешно побеждая произвольные движения своих длинных рук, он долго, почти до света, смиренно сидел около нее, слушая, как в доме ревели и визжали пьяные люди, а когда в городе, на колокольне собора, пробило четыре часа, разбудил ее, говоря:

– Ну-ка, иди ко мне в сторожку! Эй, иди-ка! А то сейчас полезут эти все...

– Как это я заснула? – удивленно оглядываясь, спрашивала Паша.

– А так – закрыла глаза да и спишь.

– Ах ты, господи...

– Ну, иди знай...

Отворил калитку перед ней и, проводив глазами белую фигуру ее до поры, пока она не скрылась в его комнатенке, рядом с кухней, привратник громко хлопнул створом и, широко расставив ноги, долго смотрел в землю, покачивая головой.

Эта ночь ничего не изменила в отношениях Паши и Четыхера, но скоро девушку опять побили.

Однажды, после сильного кутежа, Лодка проснулась в полдень полубольная и злая: мучила изжога, сухую кожу точно ржавчина ела, и глазам было больно. Спустив ноги на пол, она постучала пяткой в половицу; подождав, постучала еще сильнее, а затем начала колотить по полу ногами яростно, и глаза у нее зловеще потемнели.

Когда явилась Паша, она швырнула башмаком в голову ей, дико ругаясь, изорвала на ней кофту и столкнула девушку с лестницы.

Снова Паша плакала, и снова явился Четыхер – видимо, только что проснувшийся, растрепанный и суровый.

– Ну чего? – спросил он.

– Глафира меня...

– За что?

– Да разве я знаю, господи...

– Господи! – передразнил он густой голос девушки и тоном хозяина приказал: – Иди, умой рожу-то!

Шмыгая носом, она пошла в дом, а Четыхер, вытянув руку вперед и тыкая пальцем вслед Паше, сумрачно объявил:

– Я вам покажу – драться!

Сильным ударом ноги отшвырнул далеко прочь какой-то черепок и решительно пошел в кухню, где шумно спорили фелицата с кухаркой. Открыв дверь, он заполнил ее своим квадратным телом и, прерывая речь хозяйки, сказал:

– Вот что – Пелагею вы зря бьете...

– Ты что, Кузьма? – усталым голосом спросила хозяйка, не поняв его слов.

– Я говорю – пошто Пелагею бьете? – повторил Четыхер, схватившись руками за косяки.

И дородная Матрена Пушкарева и сама фелицата Назаровна Воеводина удивленно вытаращили глаза: почти три года человек смиренно сидел у ворот, всегда молчаливый, всем послушный, ни во что не вмешиваясь, но вот – пришел и, как имеющий власть, учит хозяйку.

– Бить нельзя. Она – как ребенок. Глупая она.

Фелицата Назаровна негромко и рассыпчато засмеялась, вскинула голову и подошла к нему. Сегодня ее волосы были причесаны вверх короной, увеличивая рост хозяйки; широкий красный капот, браслеты и кольца на руках, лязг связки ключей у пояса, мелкие, оскаленные зубы и насмешливо прищуренные глаза – всё это принудило дворника опустить и руки и голову.

– Ты кто здесь? – ехидно спросила Фелицата.

Он, открыв рот, промычал что-то несвязное.

– Пошел вон! – приказала хозяйка, взмахнув рукой.

Четырех тяжело повернулся, пошел и слышал, как она сказала:

– Ишь ты, батюшка! Не выспался, видно!

Остановясь на крыльце, он схватил рукою перила лестницы, покачал их – дерево дряхло заскрипело. А в кухне умильно скрипел рабий голос Матрены:

– Ка-ак он выкатился, а ба-атюшки!

– У меня просто!

– Ну, уж и храбрая вы, ах!

– Я, матушка моя, дворянка.

– Уж и правда, что генеральша!

– Дворяне никого не боятся! Мне стоит сказать одно слово Немцову – так этот леший невесть где будет! Там в городе разные шепоты шепчут о всяких пустяках, видно, и сюда ветер что-то доносит. Вот он и осмелел. Ну – меня, голубчик, не испугаешь – нет!

Четырех оглянулся, замычал, точно больной бык, и пошел по двору, кривыми ногами загребая бурьян, гнилые куски дерева, обломки кирпичей – точно пахал засоренную, оброшенную землю.

А Лодка умылась, не одеваясь, выпила чашку крепкого чая и снова легла, чувствуя сверлящие уколы где-то в груди: как будто к сердцу ее присосалась большая черная пиявка, пьет кровь, растет и, затрудняя дыхание, поднимается к горлу.

Перед нею неподвижно стояли сцены из прожитой утомительной ночи: вот пьяный Жуков, с дряблым, прыщеватым телом – хочет плясать, грузно, как мешок муки, падает навзничь и, простирая руки, испуганно хрипит:

– Поднимите меня! Скорей!

Раздражительный Немцев прыгает русскую перед Фелицатой, стучая по полу костлявыми пятками, и визгливо повторяет:

– Эх-ну! Последние деньки наши! Разделявай, дворянка!

Доктор, позеленевший от множества выпитого им вина, все дразнил Розку, доводя ее до злых слез, и шутил какие-то страшные шутки. А телеграфист Коля почему-то расплакался, стучал кулаками по столу и орал:

– Мертвецы! Мертвецы вы!

Его обливали водой, терли за ушами спиртом, потом он уснул, положив голову на колени Фелицаты. И даже Ванька Хряпов, всегда веселый и добродушный, был пасмурен и всё что-то шептал па ухо Серафиме Пушкаревой, а она, слушая его, тихонько отирала слезы и несколько раз поцеловала Ивана в лоб особенным поцелуем, смешным и печальным.

Веселились необычно, без расчета: швыряли деньгами так, словно все вдруг разбогатели, привезли дорогого вина, держались с девицами более грубо, чем

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
всегда, и все говорили друг другу что-то нехорошее и непонятное.

Тяжело было с ними и боязно. Хозяйка шепотом предупредила Лодку и Розку:

– Поменьше пейте сами-то! Гости сегодня не хороши в себе!

Дверь тихо отворилась. Лодка приподняла голову – в комнату, ласково улыбаясь, смотрело бледное лицо Симы.

– Не спишь?

Лодка недовольно приоткрыла глаза, тихо ответив:

– Нездоровится мне.

Он осторожно, на пальцах ног, подошел к ней, склонился, заглядывая в глаза.

– Можно мне посидеть у тебя?

И когда она утвердительно кивнула головой, Сима тихо примостился на краю кровати, положил белую руку Лодки на колено себе и стал любовно гладить ладонью свою горячую пушистую кожу от локтя до кисти.

– Вчера, сидя на большой дороге, еще стихи сочинил, – сказать?

– Про богородицу? – сквозь зубы спросила Лодка.

– Нет, так – про жизнь. Сказать?

– Ну, скажи, – вздохнув, разрешила женщина.

Господи – помилуй!

Мы – твои рабы!

– начал Сима шепотом. Лодка поучительно заметила:

– Всё ты – про одно и то же! Это не больно трудно всегда про одно говорить.

Сима усмехнулся и, покорно опустив голову, замолчал.

– Ну? – закрыв глаза, спросила Лодка.

Он снова забормотал скороговоркой чуть слышно:

Господи – помилуй!

Мы – твои рабы!

Где же взять нам силы

Против злой судьбы

И нужды проклятой?

В чем мы виноваты?

Мы тебе – покорны,

Мы с тобой – не спорим,

Ты же смертью черной

И тяжелым горем

Каждый день и час

Убиваешь нас!

– Что ты всё жалуешься? – перебила его Лодка, неприязненно хмурясь. – Ты бы лучше мне сочинил хоть какие-нибудь любовные стишки, а то – господи да господи! Что ты – дьячок, что ли? Любишь, а стишков не догадаешься сочинить!

Сима перестал гладить ее руку и отрицательно замотал головой.

– Не умею я про женщин...

– Любить – научился, ну, и этому научись, – серьезно сказала женщина.

Приподнялась, села на постели и закачалась, обняв колена руками, думая о чем-то. Юноша печально осматривал комнату – всё в ней было знакомо и всё не нравилось ему: стены, оклеенные розовыми обоями, белый гляцевый потолок, с трещинами по

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
бумаге, стол с зеркалом, умывальник, старый пузатый комод, самодовольно
выпятившийся против кровати, и ошарпанная, закоптевшая печь в углу. Сумрак этой
комнаты всегда – днем и ночью – был одинаково душен.

– Врешь ты! – задумчиво и медленно начала говорить Лодка. – Врешь, что не умеешь
про женщин. Вон как про богородицу-то сочинил тогда:

Чтоб мир избавить ото зла,
Ты сына миру отдала.

Да! – Она вдруг как-то злобно оживилась и, щелкнув языком, прищурила глаза: –
Да-а, а они, сукины дети, образованные, и про нее пакостные стихи составляют!
Ух, свиньи!

Сима искоса посмотрел на ее обнаженную грудь и беспомощно задвигал руками,
словно они вдруг помешали ему.

– Ты бы послушал, какие про нее стишки знает доктор, дрянь рвотная!

Она вытянула ноги, легко опрокинула Симу на колени себе и наклонилась над ним,
почти касаясь грудью его лица. Юноше было сладостно и неудобно – больно спину:
длинное тело его сползло на пол, он шаркал ногами по половицам, пытаясь
удержаться на кровати, и – не мог.

– Упаду сейчас, – смущенно сказал он.

– Ой, неуклюжий! Ну?

Помогла ему сесть, обняла и, ласково заглядывая в глаза, попросила:

– Сочини, а?

– Чего?

– Смешное.

– Да что же смешное есть? – тихо спросил юноша.

– Про меня что-нибудь. А то...

Замолчала и долго испытующе смотрела в светло-бездонные глаза, а потом, закрыв
их мягкой ладонью, сказала, вздыхая:

– Нет, ты не можешь! Ты у меня – робкий. А они – они про всё могут смешно
говорить!

– Про бога – нельзя! – напомнил тихонько Сима.

Снова помолчав, Лодка грубо толкнула его в бок и сказала капризным голосом:

– Не щекотай! Руки холодные, – не тронь!

Юноша приподнял голову – ее рука соскользнула со лба его. Он посмотрел глазами
нищего в лицо ей и, печально улыбаясь, проговорил:

– Не любишь ты меня. Не нравлюсь я тебе.

Закинув руки за голову и глядя в потолок, женщина рассуждала:

– Если б я умела, так я бы уж сочиняла всегда одно смешное, одно веселое! Чтобы
всем стыдно было. Обо всем бы – ух!

Сима повторил, касаясь рукою ее груди:

– Не любишь ты меня.

– Ну, вот еще что выдумал! – спокойно сказала она. – Как же не люблю? Ведь я
денег не беру с тебя.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
И, подумав, прибавила, играя глазами:

– Я всех мужчин люблю – такая должность моя!

Юноша вздохнул, спустил ноги на пол и сел, жалобно говоря:

– Кабы ты хоть немножко любила меня – об этом надо бы сказать Вавиле-то! А то – стыдно мне перед ним...

Она обеспокоилась, гибко вскочила, обняла Симу и внушительно стала убеждать его:

– Ты этого и не думай, ни-ни! Слышишь? Я – только тебя люблю! А Вавило... он, видишь, такой... он человек единственный...

Она закрыла глаза и вся потянулась куда-то.

– Я с ним – отчего? – спокойнее и увереннее продолжала она. – От страха! Не устуни-ка ему – убьет! Да! О, это он может! А тебя я люблю хорошо, для души – понял?

Все крепче обнимая худое, нескладное тело, она заглядывала в глаза юноши темнеющим взглядом, а между поцелуями рассудительно доказывала:

– Мне за любовь эту чистую много греха простится – я знаю! Как же бы я не любила тебя?

Сима трепетал под ее поцелуями, точно раненый журавль, горел жарким огнем и, закрыв глаза, искал губами ее губ.

Женщина еще более торопливо, чем всегда, отдавалась ему, без радости и желания, деловито говоря:

– Ты – не беспокойся!

И после ласково, вкрадчиво шептала:

– Попробуй, Симушка, сочини что-нибудь такое, чтобы люди забоялись тебя! Ты – будь смелее! Ведь обо всем можно сказать, что хочешь, – вон, смотри-ка, образованные-то как говорят! И все уважают их. А они и архангелов даже осмеяли, ей-богу!

Глаза ее были широко открыты, в них сверкали зеленоватые искры, лицо горело румянцем, дышала она часто, и груди ее трепетали, как два белые голубя.

Юноша гладил дрожащей рукой щеку ее, смотрел в наивные глаза и, снова разгораясь, слушал ласковый шепот:

– Мне тебя любить – одна моя заслуга... Ведь я же знаю, что великая грешница я, всей жизнью моей...

Город был весь наполнен осторожным шепотом – шептались и обыватели и начальство, только один Коля-телеграфист говорил громко и день ото дня становился всё более дерзким в речах.

Франтоватый, юркий, худенький, он, храбро вздернув острый нос в пенсне кверху, метался по городу и всюду сеял тревожные слухи, а когда его спрашивали:

«Да почему ты знаешь?», многозначительно отвечал:

«Уж это верно-с!» И молодецкато одергивал свою щегольскую тужурку.

Доктор Ряхин, покашливая, убеждал его:

– А вы, батя, не волновались бы. Вы рассуждайте философски: человек не может ни ускорять событий, ни задерживать их, как не может он остановить вращение земли, развитие прогрессивного паралича или, например, этот идиотский дождь. Всё, что должно быть, – будет, чего не может быть – не будет, как вы ни прыгайте! Это,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
батя, доказано Марксом, и – значит – шабаш!

– Но, Алексей же Степанович! – восклицал Коля, вытягиваясь куда-то к потолку. – Должны же люди что-нибудь делать?

– Указано им – плодитесь, множьтесь и населяйте землю, всё остальное приложился вам! И, ей-богу, миленький, ни на что более сложное, чем это простое и приятное занятие, не способны люди, и вы, дорогой, из их числа!

– Господи! Какой же вы мрачный человек в речах ваших!

– Такова позиция человека уездного, ибо – как сказано во всех географиях – население русских уездных городов сплошь состоит из людей, занимающихся пьянством, карточной игрой и мизантропией. А вы – дрыгаете ножкой, – к чему? Вам конституции хочется? Подождите, миленький, придет и конституция и всякое другое благополучие. Сидите смирно, читайте Льва Толстого, и – больше ничего не нужно! Главное – Толстой: он знает, в чем смысл жизни, – ничего не делай, всё сделается само собой, к счастью твоему и радости твоей. Это, батя, замечательнейший и необходимейший философ для уездных жителей.

– Вы говорите совсем как Тиунов! – уныло воскликнул Коля.

– Тиунов? Ага, переплетчик!

– Он, собственно, часовщик.

– Весьма вероятно, и часовщик. Уездный житель всё делает, но ничего не умеет.

– Фу, боже мой! – вздыхал огорченный юноша и уходил, чувствуя себя оципанном.

Доктор, страдаемый каким-то тайным недугом, был мало понятен Коле, но привлекал его шутовской иронией речи, возбуждавшей в голове юноши острые, дерзкие мысли. Ему нравилась и внешность доктора, напоминавшая тонкий хирургический инструмент в красивом футляре, нравилось уменье Ряхина завязывать галстук пышным бантом, его мягкие рубашки, ловко сшитые сюртуки, остроносые ботинки и округлые движения белых ловких рук. Он любил видеть, как на бледном лице вздрагивают тонкие губы жадного рта, играют насмешливо прищуренные глаза. Иногда доктор возбуждал в Коле тоску своими насмешками, но чаще эти речи наполняли юношу некоторой гордостью: повторяя их знакомым, он вызывал общее удивление, а это позволяло ему чувствовать себя особенным человеком – очень интеллигентным и весьма острого ума.

Но и после охлаждающих разговоров с доктором Коля чувствовал и видел всюду в городе тревожное, хмурое любопытство: все беспокойно ожидали чего-то, трое обывателей, выписав наиболее шумную газету, приняли озабоченный вид политиков, ходили по базару спешно, встречаясь, жестоко спорили, часа по два, собирая вокруг себя почтительно внимательную толпу слушателей.

Коля вмешивался в спор:

– Дальше невозможно жить так, как жили до сей поры!

– Отчего же? – серьезно и удивленно спрашивали некоторые обыватели.

– От глупости! – объяснял Коля, ловя пенсне, соскакивавшее с переносицы.

– Позволь, – от чьей же это глупости?

– От всероссийской! От вашей! – кричал юноша, вспоминая фразы Ряхина. Иные обижались.

– Однако ты, парень, осторожнее! Что за слова такие?

Мелкие люди города слушали Колю с вожделием, расспрашивали его подробно, но их вопросы носили узко практический характер, юноша не умел ответить и, боясь сконфузиться, убежал от таких бесед.

В общем город начинал жить, точно собираясь куда-то, и мужья на предложения жен

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
купить то или другое ввиду зимы отвечали неопределенно:

– Погоди! Еще неизвестно, что будет. Властные люди города стали часто собираться вместе, тайно беседуя о чем-то, и наконец обывателям стало известно, что отец Исаия скажет за поздней обедней проповедь, которая объяснит все тревоги и рассеет их, что Штрехель устроит в «Лиссабоне» какой-то особенный спектакль, а исправник потребует из губернии трех полицейских, если же можно, то и солдат.

– Солда-ат! – воскликнул, мигая, всегда пьяный портной Минаков и вдруг сообразил: – Понимаю. Ага-а!

Он долго мучил публику. Не говоря, что именно понято им, и наконец сообщил:

– Решено, стало быть, оборотить нас в заштатный город!

Большинство усомнилось в этом, но многие говорили:

– Что ж, только слава, что город мы, а всего и мощена-то у нас одна улица да вот базарная площадь.

Вечером Минаков, сидя в грязи против церкви Николая Чудотворца, горько, со слезами жаловался:

– Угодничек божий, милостивый! Прекратили нас – кончено!

А городской Капендюхин, стоя над ним, утешал портного:

– А ну, Егор, не реви, як баба! Ще, може, ничего не буде!

Слухи о том, что начальство хочет успокоить горожан, подтвердились: исправник вызвал колю и, должно быть, чем-то сконфузил его – бойкий телеграфист перестал бегать по улицам.

К Минакову явился Канендюхин и сурово объявил ему:

– А ну, Егор, идем у полицию.

– Зачем?

– А чтоб тебе слухов не пускать.

Арестовали какого-то странника, исчезли Вавило Бурмистров и печник Ключарев.

Любители драмы и комедии стали готовиться к спектаклю – но в их суеде и беготне было что-то показное, подчеркнутое, – горожане ясно видели это.

За обедней в воскресенье собор был набит битком: окуривцы, обливаясь потом, внимательно слушали красивую проповедь отца Исаии: он говорил об Авессаломе и Петре Великом, о мудрости царя Соломона, о двенадцатом годе и Севастополе, об уничтожении крепостного права, о зависти иностранных держав к могуществу и богатству России, а также и о том, что легковерие – пагубно.

Расходясь по домам, обыватели соображали:

– Видать, что и взаправду будут перемены, – по пустякам в церкви не позволят говорить!

Жуткая тревога усиливалась, внимание к словам друг друга росло. Собирались кучками и догадывались:

– Иностранец этот – он всегда соображает, как Россию уязвить, – отчего бы?

Кто-то внушительно разъяснил:

– Главное – тесно ему: разродился в несметном количестве, а жить – негде! Ежели взять земную карту, то сразу видно: отодвинули мы его везде к морским берегам, трется он по берегам этим, и ничего ему нету, окромя песку да соленой воды! Народ – голый...

– В таком разе, конечно, и русскому позавидуешь...

Раздавался голос Тиунова:

– Решено призвать к делам исконных русских людей – объявлено было про это давно уж!

Обыватели спрашивали друг друга:

– Это – кто говорит?

– Кривой из слободы.

Солидные люди, отмахиваясь, шли прочь:

– Есть кого слушать!

– Подмечайте, православные, хороших людей, которые поразумнее, почестнее...

Бондарь Кулугуров, огромный бородатый старик, спросил:

– Где они у нас?

Его поддержали:

– Н-да, эдаких чего-то не знатно.

– Кто к пирогу?

– Пора.

– Пустое затеяно! – говорил бондарь, вытягиваясь во весь рост. – Ты пойми, слобожанин, что нам с того, коли где-то, за тысячу верст, некакие люди – ну, скажем, пускай умные – сядут про наши дела говорить? Чего издали увидят? Нет, ты мне тут вот, на месте дай права! Дома мне их дай, чтоб я вору, голове Сухобаеву, по всем законам сопротивляться мог, чтоб он меня окладом не душил, – вот чего мне позволь! А что на краю земли-то – нас не касаемо!

Глаза у бондаря были узкие, они казались маленькими щелками куда-то в беспокойную, глубокую тьму, где всегда кипело неукротимое волнение и часто вспыхивал зеленый гневный огонь. И руки у него были тоже беспокойные – странно мотались, точно стремясь оторваться от большого тела, шумно хлопали ладонями одна о другую, сцеплялись кривыми пальцами и терлись, и редко движения их совпадали со словами старика.

– Эх, почтенный! – начал было Тиунов, сверкая глазом.

– Вот то и эх! – отразил бондарь и, круто повернувшись, пошел прочь, а за ним отошли и другие.

– Православные! – обратился кривой к оставшемуся десятку человек. – Я говорю в том наклонении, что мы, мещанство...

Но кривой плохо выбрал время: каждого человека в этот час ждал дома пирог, – его пекут однажды в неделю, и горячий – он вкуснее. А еще Тиунов забыл, что перед ним люди, издавна привыкшие жить и думать одиноко – издревле отученные верить друг другу. На улицу, к миру, выходили не для того, чтобы поделиться с ним своими мыслями, а чтобы урвать чужое, схватить его и, принеся домой, истереть, измельчить в голове, между привычными тяжелыми мыслями о буднях, которые медленно тянутся из года в год; каждый обывательский дом был темницей, где пойманное новое долго томилось в тесном и темном плену, а потом, обессиленное, тихо умирало, ничего не рождая. Так семя цветка, занесенное ветром в болото, сгнивает там бесследно, не имея сил разрастись, расцвести и улыбнуться небу яркой улыбкой.

Осталась с кривым старуха Маврухина – красные глаза ее, залитые мутной влагой, смотрели в лицо ему, чего-то ожидая, и Тиунову неловко было уйти от них.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Что, бабуня? – тихо спросил он.
- Сынок мой едет, чу! – сообщила мать.
- Куда он?
- К царю небесному...
- Ишь ты! – печально усмехаясь, сказал Тиунов.
- Нашли, слышь, дорогу-то туда!

Старуха тряслась и неверными движениями рук кутала дряхлое, разбитое горем и временем тело в грязные лохмотья.

- Прощай, бабуня! – сказал кривой, отходя.

Она, улыбаясь, осталась одна на площади, перед большим светлым храмом. Тыкая в землю палочкой, Тиунов, не спеша, шел в слободу, жевал губами, чмокал и, протянув перед собой левую руку, шевелил пальцами, что-то, видимо, высчитывая.

Понедельник был тихий, ясный; за ночь мороз подсушил грязь улиц, – городок стоял под зеленоватым куполом неба празднично чистенький – точно жених.

Гулко и мерно бухали бондари, набивая обручи, за рекой пыхтела пароотводная трубка сухобаевского завода, где-то торопливо и озабоченно лаяла собака, как бы отвечая заданный урок.

Но уже с утра по улицам города поплелся, как увечный нищий, слух о порче телеграфа.

Как всегда, в девять часов к почтовой конторе подкатилась монастырская бричка с дородной и ласковой матерью Левкадией и смешливой краснощекой послушницей Павлой на козлах; у закрытых дверей конторы стоял седоусый Капендюхин, с трубкой в зубах и грозно сдвинутыми бровями. Покряхтывая, мать Левкадия вылезла из брички и остановилась у крыльца, удивленная необычным выражением давно и хорошо знакомого ей добродушного лица.

- Здравствуй, нифонт! Бог милости прислал!
- Благодарствуйте, – ответил городской таким тоном, как будто говорил: «Ну, нет, меня не обманешь!»

И, надув щеки, взглянул в небо.

- Ну-ка, открой дверь-то! – попросила монахиня.

Капендюхин посмотрел на нее сверху вниз и спросил:

- А зачем?
- Как это – зачем? – обиженно сказала монахиня. – Ведь я же за почтой приехала и две депеши у меня...
- Почты никакой не буде!

Старушка взволновалась.

- О господи, спаси и помилуй, – что ты? И вчера не было... Неужто грех какой-нибудь в дороге?

Капендюхин внушительно поднял руку и остановил ее:

- Вы, мать Лекадия, слухов не пускайте! Вам уже сказано – почты вовсе не будет, и – все тут!

- А депеши? – робея и немножко сердясь, спросила старуха, девятый год, без

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
помехи, исполнявшая на почте монастырские дела.

– Телеграфа нет.

– Нет?

Капендюхин наслаждался знанием тайны, и от полноты удовольствия его усатое лицо смешно надулось. Он долго мучил любопытство монахини, возбуждая в ней тревогу, и наконец как-то вдруг вдохновенно объяснил:

– Спортился главный телеграф у Петербурге. Комета, знаете, ходит там, так вот та комета задела башню, откуда все проволоки, – да вы же знаете телеграф, что мне говорить, вы же разумная женщина!

Мать Левкадия растерянно и недоверчиво посмотрела на него снизу вверх и – рассердилась уже до слез.

– Я, батюшка мой, не женщина, а монахиня, да-а... а смеяться надо мною – грех тебе!

Сконфузив городского, она уехала, а через несколько минут о событии уже знали на базаре, праздное любопытство было возбуждено, и торговцы, один за другим, пошли смотреть на почту. Они останавливались посреди улицы, задрав головы рассматривали уставленные цветами окна квартиры почтмейстера и до того надоели Капендюхию расспросами о событии, что он рассердился, изругался, вынул записную книжку и, несколько раз облизав карандаш, написал в ней:

«Его благородью ваше благор пришел народ лезет меня осаживает и пускает слухи. Не могу справиться тишину порядок нарушают Капендюхин».

Потом он неожиданно схватил за шиворот сына бондаря Селезнева, озорника Гришку, и, делая вид, будто дерет его за уши, шепнул мальчику:

– Беги у полицию, на, отдай помощнику записку – пятак дам, живо!

Сметливый Гришка вырвался и исчез, как пуля, сопровождаемый хохотом и гагайканьем обывателей.

Но скоро они принуждены были задуматься: из-за угла улицы появился полицейский надзиратель Хипа Вопияльский, а его сопровождало двое солдат с ружьями на плечах и два стражника верхами.

Весь город знал скромного и робкого Архипа с детства, все помнили его псаломщиком у Николая Чудотворца, называли его Хипой и в свое время много смеялись шутке преосвященного Агафангела, изменившего фамилию его отца, милейшего дьячка Василия Никитича Коренева, в смешное прозвище Вопияльского, потому что Коренев в каком-то прошении, поданном владыке, несколько раз употребил слово «вопию».

И вот этот застенчивый, неспособный человек шагает с обнаженной шашкой в руке и кричит издали устрашающим голосом:

– Ра-азойдись, эй!

Даже сам Капендюхин был, видимо, поражен странным зрелищем, подтянулся и, пряча трубку в карман, заворчал:

– Эге! То-то же!

Ошарашенные обыватели полезли вон из улицы, стражники, покачиваясь на старых костлявых лошадях, молча сопровождали их, кое-кто бросился бежать, люди посOLIDнее рассуждали:

– Это против кого же они?

– Н-да, пугают!..

– Что такое, братцы мои, а?

Ничего не понимая – шутили, надеясь скрыть за шутками невольную тревогу, боясь показаться друг другу глупыми или испуганными. Но некоторые уже соображали вслух:

– Позвольте – это как же? Вот я, примерно, письмо послал, требованьице на товаришко, куда же оно денется?

– А мне бы, не сегодня – завтра, деньжат надобно получить из губернии...

Уже давно с болот встали густые тучи и окутали город сырым пологом. Казалось, что дома присели к земле и глазами окон смотрят на хозяев своих не то удивленно, не то с насмешкой, тусклой и обидной. Кое-где раздавались глухие удары бондарей:

– Тум-тум-тум! тум-тум!

Короткий день осени старчески сморщился, улицы наполнились скучной мглой, и в ней незаметно, как плесень, росли темные, вязкие слухи, пугливые думы.

– У казначейства, слышь, тоже солдаты поставлены...

– Ну?

– Памфил-сапожник сказал...

– А давеча, утречком рано, слободского Вавилу Бурмистрова, бойца, из полиции к исправнику на дом провели, слышь...

– Может быть, в Петербурге этом опять что-нибудь такое вышло, как тогда, зимой?..

– Вроде бунта?

– Да ведь нас это тогда никак не коснулось.

Кто-то задумчиво соображал:

– В слободе кривой есть...

– А то тут горбатенький в земстве служит, тоже, слышь, боек...

– Немого – тоже хорошо спросить?

– Не я тому виноват, что умные люди уроды больше!

Громко, неискренно хохотали и снова пробовали шутить, но шутки складывались плохо, в сердце незаметно просачивалось что-то новое и требовало ответа. И когда смотрели в поле, то всем казалось, что холмы выросли, приподнялись и теснее, чем раньше, окружают городишко.

С поля налетал холодный ветер, принося мелкую пыль отдаленного дождя. В окнах домов уже вспыхивали желтые огни. По времени надо бы к вечерне звонить, а колокола не слышно, город облегла жуткая тишина, только ветер вздыхал и свистел, летая над крышами домов, молча прижавшихся к сырой и грязной земле.

Часть обывателей собралась в нижней черной зале «Лиссабона», другие ушли в трактиры базара – до поздней ночи сидели там, чего-то ожидая. И напряженно сплетали недоумения дня с обрывками давних слухов, которые память почему-то удержала.

– Главное – японец этот!

– Намедни Кожемякин говорил, будто немец тоже...

– Кожемякин, старый черт, он больше насчет бабья знающ...

– Ну, нет, он все истории насквозь знает. Петр, говорит, Великий навез, говорит, этого немца.

– Екатерина тоже навезла.

– Сколько много, братцы мои, этих навозных людей у нас?!

Неуклюжая, непривычная к работе мысль беспомощно тыкалась всюду, как новорожденный котенок, еще слепой.

– Н-да-а! А ведь действительно, много иностранцев противу нас поставлено!

– Против тебя – палку в землю воткни – и довольно! Сто лет не шелохнешься.

– Ты храбер!

– Брось, ребята! Кому ее надо, храбрость вашу?

Почти никто не напился пьян, домой пошли тесными компаниями, говорили на улице, понижая голоса, и нередко останавливались, прислушиваясь к чему-то. Шумел ветер голыми сучьями деревьев, моросил дождь, лаяли и выли озьявшие, голодные собаки.

Не велика была связь города с жизнью родной страны, и когда была она – не замечали ее. Но вот вдруг всем стало ясно, что порвалась эта связь, нет ее. Раньше о том, что на земле есть еще жизнь, другие города, иные люди, напоминало многое: ежедневно в девять часов утра в город, звеня колокольцем, влетала почтовая тройка из губернии, с полудня вплоть до вечера по улицам ходил, прихрамывая, разносчик писем Калугин, по вечерам в трактирах являлась губернская газета, в «Лиссабоне» – даже две. И вдруг – всё остановилось: остался среди лесов и болот маленький городок, и все люди в нем почувствовали себя забытыми.

Создавалось настроение нервное, подозрительное и тоскливое. Людьюми овладевала лень, работать не хотелось, привычный ежедневный труд как бы терял смысл.

– Живем где-то за всеми пределами! – ворчал Кулугуров, расхаживая по базару с толстой палкой в руках.

– Что же начальство наше?

– Н-да, сокрылось чего-го...

– Думает!

– Это – пора!

В глазах деловых людей их маленькие дела с каждым часом вырастали во что-то огромное, затенявшее всю жизнь, и вот этому – смыслу жизни – откуда-то грозила непонятная и явная опасность.

Прошел слух, что исправник вызывал трактирщиков и предупредил их, что, может быть, придется закрыть трактиры.

– Еще чего выдумают! – сердито закричал старый бондарь. – На улице, что ли, торчать нам? Не лето, чай!

– Дома сиди! – предложили ему.

– Разве в эдакое смутное время можно по домам расползаться? Надобно сообща жить, грудой!

И, сердясь все более, он кричал, широко разевая большой рот и трясая седой бородой:

– Натэ-ка! Кто-то где-то там распорядился, и – ни слуха ни духа ниоткуда! Вроде как мы теперь сполна отданы в плен начальству – делай с нами что хочешь, и пожаловаться некуда! Нет, эти штуки надо разобрать!

Речи его еще более раздували тревогу окуривцев.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Ходил по улицам Тиунов и, помахивая палочкой, ко всему прислушивался, нацеливаясь темным оком то в одно, то в другое лицо, рассматривая всех, точно цыган лошадей на конской ярмарке.

Его спрашивали:

– Что случилось – не слышал?

– Не знаю. Заминка какая-то в делах, а что – не понять! – отвечал он отходя и поджимая губы.

Его сухой одноглазый лик тоже казался опрокинутым, одежда на нем странно измялась, заершились, точно человек этот только что с трудом пролез сквозь какое-то узкое место.

Мелькало больное лицо Кожемякина, его печальные глаза и желтая, дрожащая рука, теребившая белую бороду.

Вся жизнь городка остановилась пред невидимой и неосязаемой преградой, люди топтались на одном месте день, два, ходили к отцу Исаею за какими-то советами, но священник оказался болен, вспомнили о председателе земской управы – он уехал в губернию.

Разбились по группам, сообразно интересам своим, смотрели друг на друга подозрительно, враждебно и не столько слушали, сколько подслушивали друг друга.

На третий день по городу с утра заговорили, что на базаре, в трактире Семянникова, будет дано объяснение всему, и обыватели быстрыми ручьями, шумя и волнуясь, стеклись на базар.

В трактире, у стены, на столе стоял горбатый статистик Шишмарев и, размахивая руками, кричал:

– Россия поняла, наконец..

Его большая голова вертелась во все стороны, голос срывался, глаза налились испугом, на щеках блестели капли пота или слез. Трактир был полон, трещали стулья и столы, с улицы теснился в дверь народ, то и дело звенели жалобно разбитые стекла, и Семянников плачевно кричал тонким голосом:

– Кто мне за имущество заплатит?

Несколько голосов настойчиво зывали к Шишмареву:

– Эй, послушайте, надолго это установлено – без почты чтобы?

– Вы дело, вы о делах говорите, почтенный!

– Он про Россию даябит всё, горбатая кикимора!

– Чего он в делах понимает?

Площадь базара стала подобна котлу, – люди кружились на ней, точно крупинки гречи в закипающей воде. Небо накрыло город серой тяжелой шапкой, заволокло дали и сеяло мелкую сырость пепельно-светлого цвета.

– Идея свободы, солидарности и прогресса... – выкрикивал Шишмарев.

С улицы жители напирали в дверь, лезли в открытые окна с выбитыми ставнями и тревожно требовали:

– Громчее!

– Горбатый, не слышать!

– Давай его на улицу!

– И вот наконец, – надрывался статистик, – все классы общества...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Было уже много людей, опьяненных возбуждением, оно разгоралось, как лесной пожар, замелькали в толпе отуманенные глаза, полупьяные, злые улыбки. В толпе, словно налим, извивался портной Минаков, негромко внушая:

– Это, братцы мои, речи опасные! – и, хитро улыбаясь, подмигивал глазом.

А впереди него, расталкивая всех, метался Вавило Бурмистров; засучив рукава рубахи, весело и радостно сверкая глазами, он орал на всю улицу:

– К разделке! Вот она! Пришел день, эхма!

Солидные люди пока всё еще оставались спокойными зрителями сумятицы; останавливая Вавилу, они спрашивали:

– Ты чего кричишь?

– Чего? – грозно повторял боец и вдруг, просияв радостью, обнимал вопрошавшего крепкими руками. – Милый, али нехорошо, а? На дыбы встают люди – верно? Пришел день! Слышал – свобода? Хочу – живу, хочу – нет, а?

Обыватели, насильно улыбаясь, спрашивали:

– В чем – свобода?

– Братья! – захлебываясь и барабаня кулаками в грудь, пел Бурмистров. – Душа получает свободу! Играй душа, и – кончено!

– Пьяный! – говорили друг другу солидные люди, отходя от него, и хмурились.

Женщины, разглядывая красавца, поджимали губы и, лицемерно опуская глаза, шептали:

– Бесстыдник какой!

А Минаков, с темными пятнами на лице, всё нырял за Вавилой и неустанно вполголоса внушал:

– Эти самые речи – ой-ой-ой!

Из двери трактира, как дым из трубы, густо лез на улицу потный, разогретый обыватель, подталкивая горбуна, – горбун был похож на мяч, плохо сшитый из тряпья и разорванный.

– Тащи стол!

Солидные люди, не желая смешиваться с толпой, отходили к заборам и прижимались к ним – они смотрели сиротами города.

– Какой, однако, скандал развели!

– Ни тебе полиции, ни кого...

– Вчера хоть стражники ездили!

Базунов, церковный староста от Николы, самый крупный торговец города, говорил вкрадчивым и плачущим голосом:

– Позвольте, – как же это, братцы? Вдруг является неизвестного звания всем чужой человек и – рассуждает, а? А у нас дела торговые и другие разные, и мы – в стороне, а? Кем, однако, держится город, а?

– Что же это? – спрашивал Кулугуров, никого не слушая. – Жили-жили и – нанося, обретенны, одни, и при этом начат такой беспорядок, как же это, я?

– Слободские пришли – и он там их с полсотни, поди-ка...

Над толпой у двери качалась голова Шишмарева, его большой рот открывался и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
отчаянно кричал:

– Мы должны дружно и смело...

Речь его заглушали вопросы.

– Кто остановку-то приказал?

Но тело горбуна вздрогнуло, он высоко взмахнул руками и исчез, а на его месте явился Бурмистров с взлохмаченными кудрями, голой грудью – красивый и страшный.

– Народ! – взревел он, простирая руки. – Слушай, вот – я! Дай мне – совести моей – ходу!

Стало как будто тише, спокойнее, и, точно крик ночной зловещей птицы, дважды прозвучал чей-то тонкий голос:

– Эки дела! Эки дела!

– Говорит нам – мне и Минакову – помощник исправника Немцев: иди, говорит, ребята, слушай, кто что скажет, и докладывай мне! Ежели, говорит, что опасное...

– Ишь ты! – насмешливо крикнул кто-то.

– Православный народ! – кричал Бурмистров. – Что есть опаснее нашей жизни! И вот пришел день! Пусть каждый схлестнется со своей судьбой – один на один – без помехи, верно? Разрушена теснота наша, простирайся, народ, как хочешь! Вставай супротив судьбы...

– Ну, братцы мои, это действительно, что опасные речи! – тревожно говорил Базунов в толпе у забора. – Как начнет их братия, слободские, схлестываться...

Раздались яростные крики:

– Гони его!

– Сдерни со стола-то!

– Зачем гнать? Будет! Надоели нам они, гонения эти!

Солидные люди стали расходиться по домам, осторожно и подавленно перекидываясь тихими восклицаниями.

– Однако!

– Эдак, ежели каждый начнет...

– Что такое, братцы, а?

А Кулугуров громко кричал:

– Отброшены мы и позабыты...

Стороной, держась вдали от людей, тихо шли Тиунов и Кожемякин, оба с палочками в руках.

– Ну что всех дел мастер? – невесело улыбаясь, спрашивал канатчик.

– Что ж, Матвей Савельич! Вот – сами видите!

Стукая палочкой по своему сапогу, кривой вполголоса, медленно и фигурно говорил:

– Правильно изволили вы намеренно сказать, что народ – не помнящий родства...

– Давили, видишь ты, давили, да как бы уж и вовсе выдавили душу-то живую, одни ошметки остались...

– А главное – понять невозможно, что значит забастовка эта и чьего она ума?..

– Пойдем чайку попить ко мне...

Но торопясь, они идут по улице, прочь от взволнованных людей, оба степенные, задумчивые.

Люди отходили от толпы, но она не таяла, становилась всё шумнее, оставшиеся на базаре терлись друг о друга, и это нагревало их все более. Явились женщины, их высокие голоса, вливаясь в общий шум, приподнимали его и обостряли отношения: шум пенился, точно крепкая брага, становился все пьянее, кружил головы. Общая тревога не угасала, недоумение не разрешалось – среди этих людей не было сил создать одну мысль и одно чувство; угловатые, сухие и разные, они не сливались в живую разумную силу, освещенную единством желаний.

И не о чем было говорить, кроме близких и хорошо знакомых, будничных дел.

Женщины вынесли на улицу домашнее: косые взгляды, ехидные улыбки, и многое давнее, полузабытое, снова начинало тлеть и куриться, ежеминутно вспыхивая то там, то тут злыми огоньками.

– Нет, матушка моя, не-ет! Ты мне за это ответишь!

Говорили о трех кочках пластовой капусты, украденных с погреба, о том, что Ванька Хряпов не хочет жениться на Лизе Матушкиной и что казначей исхлестал дочь плетью.

Незаметно избили Минакова, он шел по улице, упираясь в заборы руками, плевался кровью, всхлипывал и ныл:

– Господи-и! За что-о?

Свистя и взвизгивая, носился по городу ветер, раздувал шум и, охлаждая сбитых в толпу возбужденных людей, вытеснял их с улицы в дома и трактиры.

Гулко шумели деревья, зловеще выли и лаяли обеспокоенные собаки.

Во тьме, осторожно ощупывая палочкой землю, молча шагал Тиунов, а рядом с ним, скользя и спотыкаясь, шел Бурмистров, размахивая руками, и орал:

– Много ль ты понимаешь, кривой!

Боясь, что Вавило ударит его, Тиунов покорно ответил:

– Мало я понимаю.

А боец взял его за плечи, с упреком говоря:

– И никого тебе не жаль – верно?

Кривой промолчал, вглядываясь в огни слободы, тонувшие где-то внизу, во тьме.

– Верно! – тверже сказал Вавило. – Я – лучше тебя! Мне сегодня всех жалко, всякий житель стал теперь для меня – свой человек! Вот ты говоришь – мещаны, а мне их – жаль! И даже немцев жаль! Что ж немец? И немец не каждый день смеется. Эх, кривой, одноглазая ты душа! Ты что про людей думаешь, а? Ну, скажи!

Не хотелось Тиунову говорить с человеком полупьяным, а молчать – боялся он. И, крякнув, осторожно начал:

– Что ж люди? Конечно, всем плохо живется...

– Ага-а! – слезливо воскликнул Вавило.

– Ну, однако, в этом и сами они не без вины же...

– Во-от! – всхлипывая, крикнул Бурмистров. – Сколько виновато народу против меня, а? Все говорили – Бурмистров, это кто такое? А сегодня – видели? Я – всех

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
выше, и говорю, и все молчат, слушают, ага-а! Поняли? Я требую: дать мне сюда на стол стул! Поставьте, говорю, стул мне, желаю говорить сидя! Дали! Я сижу и всем говорю, что хочу, а они где? Они меня – ниже! На земле они, пойми ты, а я – над ними! И оттого стало мне жалко всех...

Шли по мосту. Черная вода лизала сваи, плескалась и звенела в тишине. Гулко стучали неверные шаги по расшатанной, измызганной настилке моста.

– Стало мне всех жалко! – кричал Вавило, пошатываясь. – И я говорю честно, всем говорю одно – дайте человеку воли, пусть сам он видит, чего нельзя! Пусть испробует все ходы сам, – эх! Спел бы я теперь песню – вот как! Артюшки нет...

Он остановился в темноте и заорал:

– Артюха-а!

Тиунов быстро шагнул вперед и, согнувшись, трусцой побежал к слободе.

– Артюха-а! – слышал он позади хрипящий зов, задышался и прыгал всё быстрее, подобрал полы, зажимая палочку под мышкой.

– Кривой! Захарыч!

Тиунов по звуку понял, что Вавило далеко, на минутку остановился, отдышался и сошел с моста на песок слободы, – песок хватал его за ступни, тянул куда-то вниз, а тяжелая, густая тьма ночи давила глаза.

Бурмистров, накричавшись до надсады в горле, иззяб, несколько отрезвел и обиженно проворчал:

– Ушел, кривой дьявол. Хорошо!

Он быстро начал шагать посредине моста, доски хлюпали под ногами, – и вдруг остановился, думая:

«А если он в воду упал?»

Подожел к перилам, заглянул в черную блестящую полосу под ногами, покачал головой.

– У-у!

И, махнув рукою, запел:

Мырамы-орное твое личико

И – ах, да поцелуем я ль ожгу...

– Ушел, кривой! Пренебрегаешь? – ворчал он, прерывая песню.

Эх, и без тебя я, моя милая,
Вовсе жить на свете – нет, не могу!
В памяти Бурмистрова мигали жадные глаза горожан, все они смотрели па него снизу вверх, и было в них что-то подобное огонькам восковых свеч в церкви пред образом. Играло в груди человека долгожданное чувство, – опьяняя, усиливало тоскливую жажду суеты, шума, движения людей...

Он шлепал ногами по холодному песку и хотя почти совсем отрезвел, но кричал, махал руками и, нарочно распуская мускулы, качался под ветром из стороны в сторону, как гибкий прут.

Кое-где в окнах слободы еще горел огонь. «Фелицатин райшко» возвышался над хижинами слобожан темной кучей, точно стог сена над кочковатым полем. И во тьму не проникало из окон дома ни одной полоски света.

«Пойду к ней, к милой Глаше, другу! – решил Бурмистров, вдруг согретый изнутри. – Расскажу ей все... Кто, кроме нее, меня любит? Кривая собака – убежала...»

Он безнадежно махнул рукой и, глядя на воеводинский дом, соображал:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
«Никого нет. Попрятались все».

Когда Вавило подошел к воротам, встречу ему, как всегда, поднялся Четыхер, но сегодня он встал против калитки и загородил ее.

– Пропускай, ну! – грубо сказал Вавило.

– Занята Глашка, – ответил Четыхер.

– Врешь?

Дворник промолчал.

– Ведь никого нет?

– Стало быть – есть.

Препятствие возбуждало Бурмистрова. Он всем телом вспомнил мягкую теплую постель и вздрогнул от холода.

– Жуков, что ли? – угрюмо спросил он.

И вдруг ему показалось, что Четыхер смеется; он присмотрелся – плечи квадратного человека дрожали и голова тоже тряслась.

– Ты чего? – заревел он и, забыв, что дворник сильнее его, взмахнул туго сжатым кулаком. Но запястье его руки очутилось в крепких пальцах Четыхера.

– Ну-ка, не бесись, не ори, дурак! – спокойно и как будто даже весело сказал Кузьма Петрович. – Ты погоди-ка. Я пущу тебя, пес с тобой! Ну – только уговор: там у нее Девушкин...

– Кто? – спросил Вавило, выдернув руку и отшатнувшись.

– Ну – кто! Говорю – Девушкин Семен.

– Симка? – повторил Бурмистров и до горла налился холодным изумлением.

– Ежели ты его тронешь, – вразумительно говорил Четыхер, – гляди – плохо тебе будет от меня! Для прилику, для страха – ударь его раз, ну – два, только – слабо! Слышь? А Глашку – хорошенько, ее вздуй как надо, она сама дерется! По холодной-то морде ее, зверюгу! А Семку – тихо! Ну, ступай!

Он отворил калитку, но Бурмистров стоял перед нею, точно связанный, наклоня голову и спрятав руки за спину.

– Ну-ка, иди! – сказал Четыхер, подталкивая его.

Он высоко поднял ногу, как разбитая лошадь, ступил во двор и, добравшись в темноте до крыльца, сел на мокрую лестницу и задумался.

«Милый ты мой, одинокий ты мой!» – вспомнились ему певучие причитания Лодки.

Нехорошее, обессиливающее волнение, наполняя грудь, кружило голову, руки дрожали, и было тошно.

«Врет Четыхер! – заставил он себя подумать. – Врет!»

Он мысленно поставил рядом с Лодкой неуклюжего парня, уродливого и смешного, потом себя – красавца и силача, которого все боятся. «Чай, не колдун Симка?» – вяло подумал Бурмистров, стиснув зубы, вспомнив пустые глаза Симы.

Вавило тряхнул головой, встал и пошел вверх, сильно топая ногами по ступеням, дергая перила, чтобы они скрипели, кашляя и вообще стараясь возможно больше и грознее шуметь. Остановясь у двери, он пнул в нее ногой, громко говоря:

– Отворяй!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Раздался спокойный голос Лодки:

– Кто это?

– Отвори!

Во рту Бурмистрова было сухо, и язык его двигался с трудом.

– Ты, Вавило?

Он налег плечом на филенку двери, без труда выдавил ее. Когда тонкие дощечки посыпались к ногам Лодки, она быстро сняла крюк с пробоя и отскочила в сторону, крича:

– Ты что это, а? Ты – что?

Бурмистров на секунду остановился в двери, потом шагнул к женщине и широко открытыми глазами уставился в лицо ей – бледное, нахмуренное, злое. Босая, в рубашке и нижней юбке, она стояла прямо, держа правую руку за спиной, а левую у горла.

– Глафира! – хрипло и медленно заговорил Вавило, качая головой. – Что ж ты, дьявол, а?

Его рука, вздрагивая, сама собою поднималась для удара, глаза не могли оторваться от упорного кошачьего взгляда неподвижно и туго, точно струна, вытянувшейся женщины. Он не кончил слов своих и не успел ударить – под кроватью сильно зашумело, потом высунулась растрепанная голова Симы. Юноша торопливо крикнул:

– Погоди, Вавило...

Лодка злобно взвизгнула и бросилась вон. Бурмистрову показалось, что она ударила его чем-то тяжелым и мягким сразу по всему телу, в глазах у него заиграли зеленые и красные круги, он бессмысленно взглянул в темную дыру двери и, опустив руки вдоль тела, стал рассматривать Симу: юноша тяжело вытаскивал из-под кровати свое полуголое длинное тело, он был похож на большую ящерицу.

– Ты – прости! – торопливо, вздрагивающим голосом бормотал он. – Ведь она – из жалости ко мне, ей-богу! А я – кто меня, кроме нее? Ты, Вавило, хороший человек...

Вавило тарачил глаза, точно ослепленный, и, все ниже наклоняясь к Симе, протягивал руку к нему, а когда юноша сел на полу, он схватил его за тонкую шею, приподнял, поставил перед собой и заглянул в глаза. Сима захрипел, царапая ногтями крепкую руку, душившую его, откидывал голову назад и странно, точно дразнясь, двигал языком; глаза его выкатывались из орбит. Вавило ударил левой рукой «под душу» Симе и сжал его шею всеми десятью пальцами; пальцы сжимались всё крепче, под ними хрустели хрящи, руки Симы повисли вдоль тела и шарили по бокам, точно отыскивая карманы. Он становился все тяжелее. Бурмистров несколько раз встряхнул юношу, отрывая его от пола, и, разжав пальцы, отбросил его от себя. Сима мягко упал под ноги ему, хлопнув ладонью о половицу и стукнув о пол тяжелой головой. Бурмистров покачнулся и, схватясь одеревеневшими пальцами за спинку кровати, свалился на постель.

Когда вошел Четыхер, а за ним в двери явились длинные белые фигуры фелицаты, кухарки и девиц – он сидел неподвижно, закусив губу, и тупо рассматривал голову Девушкина на полу у своих ног.

– Ты что сделал, пес? – спросил Четыхер.

Бурмистров взглянул на него, вскочил и прыгнул вперед, точно цепная собака, но дворник оттолкнул его ударом в грудь. Вавило попятился и, запнувшись за ноги трупа, сел на пол.

Женщины выли, визжали; Четыхер что-то кричал, вытягивая к Бурмистрову длинную руку, потом вдруг все, кроме дворника, исчезли.

На столе, вздрагивая, догорала свеча, по серой скатерти осторожно двигались

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
тени, всё теснее окружая медный подсвечник. Было тихо и холодно.

Вавило поднялся с пола, сел на кровать, потирая грудь, и негромко спросил:

– Неужто – до смерти?

– Я тебе, пес дикой, говорил: ее – бей, а его не тронь! – укоризненно сказал Четырехер.

– Я не бил! – проворчал Вавило.

Не спуская с него глаз, дворник нагнулся, пощупал тело Симы и сказал, выпрямляясь:

– Не дышит будто? Водой бы его, что ли? – и, разводя руками, продолжал удивленно: – Ну и дурак ты, собака! Какого парня, а? Середь вас, шалыганов, один он был богу угодный! Связать тебя!

Упираясь руками в кровать, Бурмистров сидел и молчал. Дворник подвинулся к нему, взял со стола свечу, осветил лицо, увидал на лбу его крупные капли пота, остановившиеся глаза и нижнюю челюсть, дрожавшую мелко дрожью.

– Что, дурак, боишься? – спросил он, ставя свечу на стол. – Еще с ума сойдешь – хорошо будет!

Он прислушался – в доме стояла плотная, непоколебимая тишина, с улицы не доносилось ни звука. Потом он долго и молча стоял среди комнаты, сунув руки в карманы и глядя исподлобья на Бурмистрова, – тот сидел неподвижно, согнув спину и опустя голову.

На лестнице раздались тихие шаги – кто-то шел во тьме и сопел.

– Это кто?

– Я, – тихо ответил голос Паши.

– Ну?

– Нету полицейских!

– В город надобно бежать.

Через несколько минут Паша тихонько сказала:

– Куда мне деваться, дядя Кузьма? Мне боязно!

– Сядь на лестницу и сиди! Я – тут!

– С кем ты говоришь? – вдруг тихонько спросил Бурмистров.

– А тебе какое дело?

– Ты бы со мной поговорил...

– Больно нужно! – проворчал Четырехер, но тотчас же строго спросил: – Пошто человека убил?

– А я знаю? – как сквозь сон ответил Вавило. – Нечаянно это! Так уж – попал он под колесо, ну и... Что мне – он?

Бурмистров завозился на постели, тяжело вздыхая, и тихо предложил:

– Ты бы вынес его за дверь?

– Как же! Ишь ты! – сурово воскликнул Четырехер. – Разве это можно трогать до полиции?

– Шла бы эта полиция, что ли, уж...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Что – мучит совесть–то?

– Нет! – не сразу ответил Бурмистров. – А так, как-то... Ведь верно, он был не вредный человек...

Огонь свечи затрещал, задрожал и погас.

– Ну, вот тебе еще, черт те... – проворчал Четыхер.

Вавило сел на постели, подобрал под себя ноги, скрестил руки на груди, а пальцами вцепился в плечи свои. Он стучал зубами и побряхтывал.

– Затворить бы дверь...

– Чего? – спросил Четыхер и, не получив ответа, угрюмо молвил: – Ты, гляди, не вздумай бежать али что... Ты сиди смиренно!

– Бессмысленный человек, – куда я побегу? Хошь – сам пойду в полицию?

– Ладно! Сиди знай...

– Ты думаешь – рад я, что всё это случилось? – бормотал Вавило, видимо, боясь молчания. – Зачем Глашка сделала это?

– Озорники вы тут все!

– Погубил я свою жизнь!

Четыхер спокойно отозвался:

– А ты думаешь что? Конечно, погубил!

Снова оба замолчали. Тьма линияла за дверью, в коридоре ее уже сменил сероватый сумрак.

Нехотя, но громко заскрипели ступени – кто-то медленно поднимался по лестнице.

– Это кто? – спросил Четыхер.

– Охотник! – тихо ответила Паша за дверью.

В двери над головой Четыхера вспыхнуло пламя спички, осветив кривое лицо Артюшки Пистолета, – дворник тяжело приподнялся на ноги и сказал с удовольствием:

– Во-он как, ружье принес...

– Я в лес шел, – объяснил Артюшка, – а Матрена Пушкарева кричит – иди к нам! Где Вавило?

– Я тут! – отозвался Бурмистров скучным голосом.

– Что, брат?

Вавило заворочался, раздраженно говоря:

– Кузьма, к чему тут темнота? Огня надобно!

В поредевшей тьме было видно, как он взмахивает руками, стоя на коленях посередине кровати.

– Вот, Артюша, достигла меня судьба, через бабу достигла, как и следовало...

– Замолол! – презрительно воскликнул Четыхер. – Пашуха, подь-ка и впрямь, тащи огня! – И деловито объяснил Артюшке: – Одним-то нам и при огне боязно было...

А Бурмистров продолжал, обиженно и поспешно:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Я ведь знал, что просто с ней не кончить, – так оно и вышло! А уж Семен, ей-богу, не знаю как попал, он совсем посторонний! Это правильно сказал Кузьма – надо было Глашку убить!

– Ничего я не сказал! – грубо прикрикнул Четыхер, подвигаясь к нему.

– А у ворот?

– Кто слышал? Где свидетели?

– Я слышал! Не-ет, ты погоди...

– Эка, поверят тебе!

Они оба начали злиться и взвизгивать – но тут неслышно явилась Паша, сунула в дверь руку с зажженной лампой, – Четыхер принял лампу, поднял ее над головой и осветил поочередно Бурмистрова на постели, с прижатыми к груди руками и встрепанной головой, изломанное тело Симы на полу, а около печи Артюшку. Он стоял, положив ладони на дуло ружья, и лицо его улыбалось кривой бессменной улыбкой.

– Видно, не споем мы с тобой никогда больше? – вопросительно молвил Бурмистров, глядя на товарища жадными глазами.

Артюшка сплюнул сквозь зубы и сказал:

– Кабы смениться можно, я бы за тебя пошел в Сибирь, право, чего же? Там охота действительно что серьезная, а здесь только дробь-порох зря тратишь! Людей там тоже, слышь, немного, а это чего уж лучше!

– Верно! – позевывая, сказал Четыхер.

– Други вы мои, эх! – тихо воскликнул Бурмистров. – Жалко мне себя все-таки! Судить будут... и все эти церемонии! Уж гнали бы прямо!

Снова, не торопясь, потекла утешительная речь Пистолета:

– Ты же церемонии любишь. Плохо тут жить – вот о чем думай. Верно ведь Сима-то сочинил: «жить нам – неохота». Ну, конечно, всякий старается выдумать себе что-нибудь – на этом и шабашит!

– Чисто он стихи сочинял, – вспоминал Четыхер, глядя на труп, и незаметно перекрестил себе грудь.

– Сочинишь, в таком месте болтаясь! – странно двигая изувеченной щекой, сказал Артюшка и вздохнул. – Мне вот двадцать семь лет, а тоже иной раз такое в голову лезет – беда! Даже боязно! Я оттого, правду сказать, и живу в сторонке от людей, один, что опасаясь часто, – как бы чего не сделать...

– Да-а! – согласился Четыхер. – Сидишь-сидишь у ворот ночью-то, да вдруг и подумаешь – ах вы, чтоб вас громом побило!

Он держал лампу в руках и вертел шпенек, то уменьшая, то увеличивая огонь; это вызывало странные приливы и отливы серых теней на стенах, на потолке, на полу.

– Что вы – словно панихиду поете? – уныло пробормотал Бурмистров.

Артюшка, глядя на Четыхера, виновато, точно Сима, улыбался и всё говорил:

– А то иной раз сам себе стариком покажешься вдруг, словно сто лет прожил и всё знаешь, что и завтра будет и через год, право!

– В городе, слышь, чего-то шумят? – задумчиво молвил Четыхер.

– Н-да, шумят, был я там вчера и третьего дни: кричат все, а что такое? И Вавило кричал – свобода, дескать, надобна, и чтобы каждый сам за себя. Это – есть! Этого – сколько хочешь! Только мне никуда такая свобода. Я драться не хочу – за что мне драться? Мой интерес, чтобы тихо было, это я люблю...

Он кивнул головой на труп.

– Это, что ли, свобода? Нет. Чего делать будем со свободой? – вот где гвоздь! Павлуха Стрельцов – он рад, – заведу, говорит, себе разные пачпорта и буду один месяц по дворянскому пачпорту жить, другой по купеческому.

– Он тоже вроде Семена, покойника, – сказал Четыхер.

Пистолет подумал и согласился:

– Похож, пожалуй!

Замолчали.

Снова по лестнице кто-то осторожно поднимался. Пистолет поднял голову и нюхнул воздух.

– Кузьма! – тихо позвала Розка.

– Эй?

– Не идет полиция.

– Ну?

– Не идут.

– Как же быть?

– Я не знаю.

– Не идут – не надо! – сказал Бурмистров строго и обиженно. – Я и сам до нее дойду.

– Полиция обязана прийти, коли убийство сделано! – нахмурившись, заявил Четыхер. – Я порядки знаю – в пожарной команде служил...

– Что это вы с огнем? – удивленно спросила Розка, заглядывая в дверь. – Ведь светло уж!

Четыхер недоверчиво посмотрел на нее, погасил лампу, желтый свет сменился кисейно-серым утром.

– И верно, что светло, – сказал Четыхер, помялся и, тяжело отдуваясь, предложил: – Надобно идти, Вавило, нечего тут!

– Идем! – не двигаясь, согласился Бурмистров.

– Ты дай-ко я тебе руки свяжу! – предложил дворник, распоясываясь.

Вавило встал с постели, не глядя, перешагнул через труп, подошел к дворнику и, повернувшись спиной к нему, заложил руки назад. Но Четыхер снова запахнул полушубок, крепко подтянув живот кушаком, лицо у него перекошилось, он почмокал губами.

– Ну, и не надо! И так не убежишь.

– Не убежит, – тихо подтвердил Пистолет.

– Не убегу! – сказал Бурмистров. – Только бы ее не встретить!

– Где там? – ворчал дворник. – Она, чай, куда-нибудь в погреб забилась, дрожит. Ну, айда!

Сходя с лестницы, он сопел, сморкался и говорил, вздыхая:

– И Семена жалко – покой его бог! – и тебя, дурака, жалко! Эх ты, курица вошь!

Сверху лестницы раздался громкий и тревожный шепот:

– Дяденька Кузьма!

Наклонясь над перилами, Паша показывала руками, как завязывают узлы.

– Ну, ладно, курица! – отмахнулся от нее Четыхер.

А на улице сказал своему арестанту, усмехаясь:

– Пашка-то, курицына дочь, требует, чтобы я тебя связал!

– Что я ей сделал худого? – глухо спросил Вавило. – Пальцем никогда не тронул.

– Это она не против тебя, она за меня боится! – объяснил Четыхер самодовольно и, обратясь к Артюшке, добавил: – Та же дитё! Без разума живет. Ей бы в монастыре жить надобно, а она – вон где!

Пистолет шел рядом с Вавилой, но не смотрел на него. Ружье держал под мышкой вниз дулом, руки в карманах потертой короткой куртки из толстого синего драпа. На голове его кожаный картуз, большой козырек закрывал глаза, бросая на лицо черную тень.

Долго шли молча, только под ногами похрустывал, ломаясь, топкий утренний ледок. Было холодно. Стекла маленьких окон смотрели на улицу мутно и сонно – слобода еще спала.

– Ну, – сказал Пистолет, остановись, – дальше я не пойду с вами. Мне – в лес. Я ведь зашел так только.. посмотреть – может – неверно? Оказалось – вполне верно! Значит – прощай, что ли, Вавило?

Бурмистров, вопросительно глядя на него, протянул руку – Артюшка взял ее, дернул вправо, влево и, круто повернувшись, пошел прочь, не оглядываясь.

Бурмистров исподлобья проводил его долгим взглядом, потом, оглянувшись, шагнул с тротуара на середину улицы.

– Куда? – крикнул на него Четыхер, как пастух на барана.

– Видишь куда! – сердито ответил Вавило.

– Совсем как арестант желаешь? – миролюбиво сказал Четыхер, помолчав. – Осудился, стало быть, перед собой-то?

Бурмистров, пошатываясь, шагал вдоль улицы. Иногда нога его, проламывая слои льда, тонула в грязи, но он шел прямо, не обходя луж, затянутых тусклою серою пленкою.

Когда они вошли на мост, с горы на них взглянул ряд пестрых домов, – окна их были прикрыты ставнями, и казалось, что лучшая улица города испуганно зажмурила глаза.

Потом их обогнала собака; не спеша, поджав хвост, она пошла впереди, встряхивая шерстью и качаясь на кривых ногах.

– Уть ты! – сказал ей Вавило, негромко и беззлобно.

Она посмотрела на него одним глазом, точно Тиунов, остановилась и, подумав секунду, воровской тихой походкой пошла куда-то в сторону, еще ту же поджав хвост.

Вперебой пели кочета, встречая осеннее утро.

Выскочив из комнаты, Лодка молча нырнула вниз, быстро выбежала на двор, но по двору пошла осторожно, боясь ушибить или уколоть во тьме босые ноги. Сырая ночь холодно коснулась груди и плеч; протянув руку вперед, Лодка подвигалась к

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
воротам и уже хотела позвать Четыхера, как вдруг ее остановила ясно вспыхнувшая мысль:

«Нехорошо как, что Симка, а не другой кто! Смеяться будут надо мной из-за него... ах, уж и будут!»

Хлопнула калитка, по земле зашаркали тяжелые шаги.

– Это вы, Кузьма Петрович?

– Ага-а, сбежала! – насмешливо отозвался Четыхер, подвигаясь к ней.

– Идите скорее – он там убьет Симу-то! Зачем вы его пустили?

Четыхер вдруг схватил ее за рубаху и потащил куда-то, глухо выкрикивая:

– А чтобы он тебя отхлестал хорошенько, вот зачем! Как ты Пашку...

Но прежде чем он успел ударить ее, лодка вырвалась из его рук, отскочила в сторону, взвизгнув:

– Фелицата Назаровна!

– Ладно! – тихо сказал Четыхер, исчезая. – Я тебя достигну!

В доме хлопали дверями, был слышен тревожный голос хозяйки, и точно кто-то плясал, дробно стуча ногами по полу.

Женщина, вздрагивая от холода, придерживая руками изорванную рубаху и спадавшую юбку, тихонько двигалась к крыльцу; в груди у нее разгоралась обида, сменяя испуг.

Жуткое желание знать, что случилось наверху, остановило ее у лестницы, а сверху уже прыгала Розка, вскрикивая:

– Господи!

И ее догонял плачущий голос хозяйки:

– Скорее, голубушка, доктора! А ты, Паша, за полицией – скорей!

Лодка бесшумно скользнула в угол коридора, подождав, когда подруги выбежали на двор, прошла в комнату Фелицаты, сбросила там изорванное белье и на минуту неподвижно замерла, точно готовясь прыгнуть куда-то.

«Надо уйти!»

Увидела в зеркале свое отражение и, вздрогнув, начала поспешно одеваться в платье хозяйки, небрежно разбросанное по комнате.

Через несколько минут она шла по улице слободы, решив спрятаться у Серафимы Пушкаревой, шла – и в голове у нее вспыхивали одна за другой обидные и протестующие мысли о том, что – вот, нужно прятаться, что Четыхер может разрывать на ней одежду и грозить побоями ей, что над ней будут смеяться из-за связи с Дежушкиным.

Мельком, между мыслями о себе, она подумала и о том, что Вавило, при его силе, мог серьезно ушибить Симу. Это заставило ее пойти медленнее, она плотнее закуталась теплой шалью и еще яснее почувствовала, что впереди ее ждет множество неприятностей, огорчений и некуда от них скрыться.

Не заметив, она миновала проулок, где жили Пушкаревы, остановилась у чьих-то ворот, послушала, как робко и жалобно стелется по воздуху сторожевой колокольный звон в городе, у Николы.

Темными буграми стояли дома слободы; между ними по улице бежал сырой поток ветра со стороны болот; где-то шуршали ветки деревьев о стену или крышу, и негромко, должно быть, во сне, таякала собака.

«Пойду лучше к этому, к свинье», – вдруг решила Лодка.

Она быстро направилась к мосту, ей уже казалось что это самое умное – пойти ночевать к Жукову: к нему не посмеет прийти Вавило, и полиция – в случае чего – постеснится беспокоить ночью важного человека.

Но, подвигаясь вперед, против ветра, она вспомнила инспектора, его жалкое, беспомощное тело, склонность всегда чего-то пугаться, грубость, за которой – она знала – скрывается отсутствие характера, вспомнила противные привычки Жукова и брезгливо поежилась, но в ней росло и крепло какое-то, еще неясное решение, заставляя ее добродушно и лукаво улыбаться.

Подойдя к крыльцу дома, она сильной рукой дернула за ручку звонка, и когда из-за двери сильный старушечий голос тревожно спросил – кто это? кого надо? – Лодка ответила громко и властно:

– Евсея Лиодоровича надо видеть!

Старуха начала расспрашивать, кто и зачем так поздно пришел. Лодка отвечала ей сурово и сердито топала ногами.

– Уж извините! – отворив дверь и кланяясь, сказала старуха. – Ночью-то депеши только носят. А теперь – вон что идет, осторожность нужна!

– Ну, молчи, карга! – ответила гостья.

Жуков встретил Лодку в прихожей, со свечой в руке; на плечах у него висело ватное пальто, в зубах торчала, дымясь, толстая папироса. Он радостно таращил глаза и говорил, растягивая слова:

– Это – комплимент! Как ты надумала? И разодета – ну-у-у!

– Соскучилась! – бойко сказала женщина.

– Ну, иди сюда! Петровна, самовар, живо!

Взяв Лодку за руку, он вел ее, сгребая ногами половики и путаясь в них, а она облизывала губы, осматривалась и дышала как-то особенно ровно, глубоко.

– Садись! А я – лампу зажгу. Хорошо, что ты пришла, черт! Понимаешь – больше недели сижу, как сыч в дупле, скучища зеленая, хоть вой! А, черт, палец ожег!

Он никогда не говорил так много, и Лодка смотрела на него с удивлением. Всегда грубый, подозрительный, недоверчиво ухмылявшийся, сегодня он был не похож на себя, мягок, говорил тихо и со странным вниманием поглядывал на окна.

– Что на улицах – тихо?

– Ночь ведь.

– Это ничего, ночь! Теперь... такие дни... короткие, что шум не убирается в них и остается на ночь. Вчера, около полуночи, вдруг – в окна стучат! Да! Сначала в одно, потом в другое. Я лежу и думаю – а вдруг влезут, черт их возьми!

Лампа у него гасла, когда он вставлял стекло в горелку, но это не раздражало его; всё тише он рассказывал:

– Выйдешь на улицу – везде какие-то нахальные рожи! Все кричат, смотрят октябрём, – да ведь теперь и есть октябрь!

Он зажег лампу, вытер запачканные руки о полы пальто и пошел куда-то в угол, с трудом двигая тяжелые ноги, в ночном белье и больших войлочных туфлях.

– Эти маленькие городишки – точно мышеловки, ей-богу! – тихо говорил он. – Попадет в такой город человек, и – капут ему! И – капут!

В комнате пахло водкой, табаком и прокислыми огурцами. Все вещи казались

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
сдвинутыми с места, и даже белая изразцовая печь с лежанкой тоже любопытно
высунулась на середину комнаты и осматривала ее блестящим желтым глазом
отдушника.

– Ты смотришь, где кровать? – говорил Жуков, стоя в углу перед шкафом и звеня
стеклом стаканов. – Кровать рядом. Я сплю здесь, на диване. Кровать у меня
хорошая, двуспальная...

– Вы что там делаете? – спросила Лодка, подходя к нему. – Нужно на стол собрать?
Дайте сюда – что это?

– Это? Погоди – кажется, ром, а может быть, коньяк. Сейчас попробую. Старуха
бьет бутылки, переливает из двух в одну...

Вытащив пробку, он поднес бутылку ко рту – женщина отняла вино.

– После попробуете! Сначала соберем всё как следует, благородно, на стол, потом
сядем, будто муж и жена. Будто я приехала, – жена приехала.

Приставив ко лбу ладонь, он смотрел на нее из-под козырька и неопределенно
говорил:

– Как ты, однако, – что это ты?

– Ничего! – ласково сказала Лодка. – Просто, – у вас гостя, молодая женщина, а
вы – прицеливаетесь, как бы сразу напиться...

Жуков засмеялся неожиданно громко.

– Женщина! – кричал он сквозь смех. – Да, черт, ты – женщина!

Собирая на стол чайную посуду и бутылки, она ощупывала глазами углы, мимоходом
постучала пальцами по чернильнице из какого-то белого металла, стоявшей на
конторке, незаметно взвесила на руке чайные ложки и одобрительно покачала
головой.

Жуков сидел на диване, следил за ней, жмуря глаза, поглаживая усы и чмокая
толстыми губами.

– Нехорошо у вас! – строго заметила Лодка.

– Нехорошо, – не то соглашаясь, не то спрашивая, повторил податной инспектор.

– Хлам везде, пыль, не прибрано – ай-ай!

– Это все старуха!

– А еще образованный вы! – корила его Лодка. – Разве образованный человек должен
в таком беспорядке жить?

Жуков сморщил лоб и попросил:

– Бро-ось! Я, право, рад, что ты пришла! Все-таки – не один. Собираюсь кота
завести – нет нигде хорошего кота!

Она села рядом с ним и, когда он обнял ее, сказала, хмуро разглядывая его лицо:

– Что это как вы стареете?

– Скучно, Глата!

– Мешки-то какие сделались под глазами!

– Перестань ты! Это ничего, мешки. Я тут пил немножко, вот они и сделались. Да!
Я вот всё думаю: как дешев человек в России! И как не нужен никому, ей-богу!

Сокрушенно качая головой, Лодка перебила его речь:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Ах, Евсей Лиодорович! Не могу я забыть, как вы тогда упали и как испугались! Ведь вы это помереть испугались?

Жуков дернулся всем телом, заглушенно крикнув:

– Ты что? Чего тебе?

– Мне? Ничего! – удивилась она, ласково глядя его отекавшее лицо мягкой теплой ладонью.

– Зачем ты ноешь? – проворчал он. – Пришла – и сиди... сиди, этого, как это? Как следует, одним словом. А то – ступай, откуда пришла!

– Господи! Чай, ведь мне жалко вас! – не обижаясь, воскликнула женщина. – Вижу я, что здоровье у вас всё хуже да хуже...

Он отрицательно замотал головой.

– Врешь!

– Отчего – вру?

– Не знаю. Никого, ничего не жалко тебе, – врешь!

Он говорил твердо, и Лодка, смутясь, прикрыла глаза.

Но инспектор, посмотрев на нее, смягчился.

– Мне, брат, и без тебя скучно... то есть если, конечно, ты – веселая, так не скучно, а так...

И вдруг замолчал, помигал глазами и стал смеяться хлипким смехом:

– Разучился говорить, черт возьми!

Старуха внесла самовар и, посмотрев на гостью круглыми черными, как у мыши, глазами, исчезла, сердито фыркая, толкая коленями мебель по дороге.

– Ну, давай чай пить! – хрипел Жуков. – Н-да-а! Играл, на виолончели, – разучился. Жена, бывало, очень любила слушать, – жена у меня хорошая была!

– Значит – не верите вы мне? – спросила женщина, усаживаясь за стол.

Он налил в стаканы вино, молча усмехнулся дряблой усмешкой и сказал:

– Пей!

– Что же неверного в том, что я вас жалеть могу? – настаивала Лодка. – Вот, вижу, человек одинокий, больной, и смерть от вас не за горами – ведь так?

Податной инспектор шумно поставил пустой стакан на стол, схватился рукой за спинку стула, глаза его страшно выкатились, лицо посинело.

– Т-ты! – крикнул он придушенным злостью голосом и брызгая слюной. – Ты – зачем?

Она не испугалась. Пила вино маленькими глотками, облизывала губы и, покачиваясь, смотрела в лицо Жукова ласково и нагло.

– Ш-ш! Вы не бойтесь, не сердитесь, лучше послушайте, пока трезвый...

– Не хочу! Не смей!

– Да что это, какой...

Он еще несколько раз грубо крикнул на нее, но Лодка ясно видела беспомощность этой груды испорченного мяса и, чувствуя, как оно наливается страхом перед нею, становилась все более спокойной, деловитой и ласковой.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Я давно про вас думаю, Евсей Лиодорович, – слащаво и немножко в нос говорила она. – О болезнях ваших, одиноком вашем житье и как вы скоро стареете...

– Перестань, говорю.

Он хотел сказать строго, но сказал устало, сморщился, тяжело вздохнул и выпил еще стакан.

– Родных у вас нету...

– Врешь, есть!

– А кто?

– Племянник есть.

– Где? – подозрительно спросила Лодка.

– В Казани. Студент. Что?

Жуков торжествующе захохотал, разваливаясь на стуле, и снова налил себе вина.

Но Лодка, пылливо глядя в глаза ему, сказала:

– Никогда вы ничего не говорили про студента.

– А все-таки есть! Да!

Он ударил ладонью по колену, победоносно сопя и фыркая.

Лодка хмуро помолчала и, вдруг осветясь изнутри какою-то новой веселой мыслью, начала тихонько смеяться, прищуриив глаза, сверкая мелкими зубами.

– Ага! – почему-то воскликнул Жуков. – Что?

– Ну, есть студент, хорошо! – заговорила она игриво и свободно. – Только – какая же польза в студенте? Студент – не женщина! Какой от него уход, какая забота? Мешать еще будет вам, молодой-то человек, стыдно вам будет перед ним...

Она кокетливо покачнулась к Жукову, а он опустил глаза, подобрался, съежился.

– Да и опасно ему жить здесь.

– Почему это? – пробормотал Жуков. Лодка откинулась на спинку кресла и, положив руки на стол, вдохновенно объяснила:

– А вот вы говорите, что сердится народ, – вот поэтому! Да, да, – что вы так смотрите на меня? В окошки-то стучат к вам, ага! Ведь на кого сердятся? На вас, образованных людей! Я знаю!

– Ты – врешь! – тихо сказал Жуков, глядя на нее круглыми глазами. И, что-то вспомнив, он серьезно добавил, подняв палец: – Как ты смеешь говорить это? Ты – кто? Черт знает кто!

– Я? – воскликнула Лодка. – Нет, уж извините! Я – в бога верую, я – не похабница, я над пресвятой богородицей не смеялась!

И медленно, отыскивая наиболее веские, грубые слова, она начала бросать ими в лицо Жукова.

– Конечно, вы ученый человек, конечно! А кто смеется над архангелом Гавриилом? Вы смеетесь, ученью, – доктор, Коля и вы! Не правда? И первые похабники тоже вы! Ведь если теперь выйти на базар и сказать людям, какие вы стишки читаете, – что будет?

Жуков, тяжело ворочая шеей, смотрел на нос, оглядывался вокруг и молчал. Перед ним всё задвигалось и поплыло: являлся шкаф, набитый бумагами, чайной посудой и бутылками, письменный стол, закиданный пакетами, конторка, диван с пледом и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
подушкой и – два огромные глаза – темные окна с мертвыми стеклами.

В белых изразцах печи сверкал отдушник и тоже как будто кружился, бросая желтые лучи.

Женщина, вспоминая множество обид, нанесенных ей этим человеком и другими, всё говорила, чувствуя в груди неиссякаемый прилив силы и бесстрашия. Развалившееся по стулу жидкое тело с каждой минутой словно всё более расплывалось, теряя очертания человеческой фигуры. Глаза Лодки стали светлыми, и голос звенел всё яснее.

– Есть тут благочестивая одна старушка, Зиновья. Если, потеряв на время стыд, рассказать без утайки, что вы в Благовещенье с Пашей делали...

– Брось! – попросил Жуков, с усилием протягивая ей стакан. – На, пей! Или ты уж пьяная?

– Ах – нет, извините, я не пьяная! – сказала Лодка, оттолкнув его руку и вставая из-за стола.

– Что тебе нужно? – в десятый раз спросил Жуков, тоскуя и чувствуя, что вино не пьянит его.

– Ничего мне не нужно. А так, захотелось посчитаться. Зиновью – все знают, ей все поверят...

Подумав, она почти искренно прибавила:

– Право – жаль вас! Такой уж вы несчастный! И умрете скоро к тому же.

– Лодочка! – сложив руки, завыл Жуков. – Ну, не надо, не говори больше, ну, я же...

– Упадете навзничь, и – кончено!

Он протянул к ней руку, хотел что-то сказать, но губы его вздрогнули, глаза закрылись и из-под ресниц потекли слезы.

Несколько секунд она молча смотрела на него, потом подошла, взяла руки его, положила их на бедра себе и, крепко схватив его за уши, запрокинула голову податного так, что красный кадык его высунулся сквозь жир острым углом.

– Года ваши небольшие еще, – раздельно говорила она, – сорок пять, чай? А уж какой вы некрасивый! А я – и в слезах хороша!

– Ну, зачем, зачем ты это? – хрипя и задыхаясь, говорил он, вертя головой, чтобы освободить уши из ее рук.

Она села на колени к нему, Жуков глубоко вздохнул, прижался щекой к ее груди и стал упрекать ее:

– Ф-фу, как нехорошо! Какая ты озорная! Ну – зачем? Пришла – спасибо! Я тебе – враг? И про всё это, как мы шалили, – зачем говорить?

А сам дрожащими пальцами расстегивал ее платье и, касаясь горячего тела, чувствовал, как живая, возбуждающая сила наполняет его грудь, уничтожая страх.

– Милая Глаша! Будем жить друзьями, право, а? Немножко друзьями? Ладно? Племянник – чепуха!

– Я знаю! – сказала она, выскальзывая из его рук. – Ну, баиньки пора. Уж скоро, чай, светать будет. Вставай!

Он поднялся, заискивающе ухмыляясь, и, кивая головой на дверь в соседнюю комнату, заворчал, как старая обласканная собака.

– Огонь возьми.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
В спальне, раздеваясь, она спросила его:

– Старушка эта обкрадывает тебя, а?

– Хе-хе! – ответил Жуков, вытирая мокрым полотенцем свои заплаканные глаза.

Лодка, голая, любовно гладила свое чистое тело ладонями и, качая красивую голову, брезгливо фыркала:

– Ух, какой беспорядок везде, ну уж – образованный! Пыль, грязь, ай-ай!

Инспектор смотрел на нее и жирно хихикал, потирая руки.

Он скоро заснул, Лодка повернулась, чтобы погасить огонь, – со стены на нее смотрел большой портрет женщины: продолговатое сухое лицо с очками на носу и бородавкой у левой ноздри.

«Какая уродская!» – подумала Лодка, прикручивая фитиль.

Портрет медленно утопал во тьме.

«Жена или мать? Наверное – жена...»

И, высунув язык портрету, погасила огонь.

Сумрак облил стены, потолок, вещи, мертвенно застыл.

Под его серою пеленою красное лицо Жукова потемнело, точно у мертвого, и еще более опухло. Нос инспектора вздрагивал, тонко посвистывая, жесткие волосы рыжих усов запали в рот и шевелились, колеблемые храпящим дыханием, небритые щеки оцетинились, нижняя губа отвалилась, обнажив крупные, лошадиные зубы. Вся голова Жукова напоминала уродливый огромный репей, глубоко вцепившийся в подушку толстыми колючими усиками.

«Пресвятая богородица, прости-помилуй!» – мысленно сказала Лодка, охваченная тоскою и отвращением.

Потом, кутаясь в одеяло, подумала утомленно:

«А тот, звереныш, наверно, в арестантской ночует...»

И задремала, соображая:

«Старуху надо прогнать. Возьму Клавдейку Стрельцову. Она – хроменькая, нищенка...»

...Ей приснилось, что она стремглав бежит куда-то под гору, гора всё круче и всё быстрее невольный бег Лодки, она не может остановиться и громко кричит, чувствуя, что вот сейчас упадет, расшибется насмерть.

Обливаясь холодным потом, открыла глаза – Жуков грубо и сильно тряс ее за плечо.

– Ну, и дрыхнешь ты! Совсем мертвая.

– Отстань! Много ли я спала... – сердито сказала она, не видя его лица.

Инспектор, кашляя и харкая, упрямо говорил:

– Вставай, вставай! Скоро одиннадцать, люди могут прийти, знакомый зайдет, а тут – здравствуйте! – этакая гостья...

Она приподняла голову, посмотрела на него, медленно облизывая губы, – лицо Жукова показалось ей страшным: желтое, синее, глаза, налитые кровью, казались ранами. Полуодетый, он стоял у кровати, оскалив зубы, и тыкал в рот себе зубной щеткой.

– Задним крыльцом пройди, а не через парадное, – слышишь?

Лодка, закутавшись одеялом, поднялась и сказала:

– Уйди...

Ей хотелось сказать какое-то другое слово, но горло сжала судорога обиды.

Инспектор, не торопясь, ушел в соседнюю комнату, где было светло, чисто прибрано и шумел самовар.

«Старушка очень довольна будет! – бессвязно думала женщина, одеваясь. – Выгнал...»

Ей казалось, что ее тело ноет и жалуется, точно его набили во сне чем-то тяжелым и мягким, не оставляющим иных следов, кроме тягостной боли в груди.

«Выгнал! – мысленно повторяла она. – Так!»

Руки у нее дрожали – взяла с умывальника стакан, а он выскользнул из пальцев и упал па пол, разбившись вдребезги.

– Н-ну? – крикнул жуков, появляясь в двери. – Проснись!

«Точно кучер на лошадь! – подумала лодка и стала собираться поспешнее. – Ладно! – мысленно угрожала она хозяину и недоверчиво оглядывалась. – Гонись, гнилой пес? Старушке будет приятно. Пусть! А стекло в окнах – я тебя лишу. Да!»

Она закутала голову шалью так, что остались незакрытыми только злые глаза, вышла в соседнюю комнату и там сказала, не глядя на жукова:

– Ну, прощайте, Евсей Лиодорович...

Ухмыляясь, он протянул ей руку с зеленой бумажкой; она осторожно вытянула деньги из толстых пальцев.

– Благодарю вас.

– Довольно?

– Хватит.

– Иди налево, через кухню, – до свиданья!

У двери в кухню она глубоко вздохнула, еще плотнее закутала лицо, отворила дверь и бросилась через кухню, как сквозь огонь, выбежала на двор, на улицу и быстро пошла по тротуару, сжав зубы, сдерживая биение сердца.

Перед нею неотступно плыло красное лицо с оскаленными зубами, тряслись дряблые щеки, утыканные рыжим волосом.

«Сначала, – прищутив глаза, подумала она, – пойду я к Зиновее. Уж она прозвонит всё, что скажешь, всему городу! Подожди, голубчик, не-ет, ты подожди!»

Мысленно беседуя с жуковым, она шла твердо и уверенно.

Ненадежная, выжидающая тишина таилась в городе, только где-то на окраине работал бондарь: мерно чередовались в холодном воздухе три и два удара:

– Тум-тум-тум... Тут-тум...

Бурмистров валялся на нарах арестантской, тупо глядя в стену, исчерченную непонятными узорами, замазанную грязью. Не первый раз был он тут, не однажды его били в этой конуре, и, наверное, в грязи ее стен есть его кровь.

Он жил в полусонном состоянии расслабленности и отупения: мысли его пересекали одна другую и вдруг проваливались куда-то в темную глубину души, где притаилась жадная тоска и откуда по всем жилам острою отравую растекалась злая горечь.

О Симе он почти не думал, но иногда в памяти его вспыхивали прозрачные глаза юноши, он смотрел в глубину их с жутким любопытством и смущенно убеждал

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
покойника:

«Чудак – туда же! Ну – где тебе? Я ли не человек против тебя?»

И порою ему казалось, что всё это дурной сон, – что мог юродивый парнишка занимать его, Вавилоно, законное место на груди Лодки.

Но, вспоминая неутомимое тело Глафиры, певучий носовой звук ее речей и заглатывающий взгляд синих пьяных глаз, он сжимал кулаки, скрипел зубами и готов был реветь от обиды. Точно пила резала ему грудь, он обливался потом от возбуждения, бродил по арестантской, шатаясь, как слепой, и скороговоркою, сквозь зубы говорил:

– Не я ли тебя любил, а? Кто, кроме тебя, дорог был мне, окаянная душа?

Ему казалось, что так оно и было: он любил Глафиру честно и крепко, и вся жизнь его, все дни были полны этой любовью. Ради нее он торчал в городе, ничего не желая, не ища лучшей доли; для нее он укреплял за собою всячески, чем можно, славу первого смельчака и бойца слободы.

Ему нравилось видеть себя в такой позе, и он ожесточенно повторял:

– Всю жизнь ради тебя!

И снова еще сильнее раздувал сам себя, точно мяч, чтобы, ударившись о настоящее, подпрыгнуть над ним.

Уставал от этих усилий и вдруг, беспомощно оглянув комнату, чувствовал себя загнанною лошадью в грязном стойле.

«Все меня забыли, никто не приходит, – думал он, стоя перед железной решеткой окна. – Схлестнулся со своей судьбой...»

Из окна виден был двор полицейского правления, убранный истоптанною желтою травой, среди двора стояли, подняв оглобли к небу, пожарные телеги с бочками и баграми. В открытых дверях конюшен покачивали головами лошади. Одна из них, серая и костлявая, все время вздергивала губу вверх, точно усмехалась усталой усмешкой. Над глазами у нее были глубокие ямы, на левой передней ноге – черный бинт, было в ней что-то вдовье и лицемерное.

Над дверью сеновала, для отвода болезней от лошадей, был прибит гвоздями скелет птицы, на коньке крыши торчал чисто вымытый дождями рогатый череп козла, выше него неустанно качались голые вершины деревьев.

Люди по двору ходили озабоченно и угрюмо, говорили негромко, но видно было, что все торопятся куда-то.

Вавило открывал форточку – в камеру вливались крепкие запахи навоза, дегтя, кожи и отовсюду из города доносился странный гул, точно кто-то разорил все вороньи гнезда в садах.

«Шумят!» – счастливо думал Бурмистров и тяжело вздыхал, вспоминая себя среди толпы людей. Каждый раз, когда он вспоминал это событие, оно выступало перед ним все более значительно, красиво и манило его снова к людям, в шум и суету.

Он плевал в стену голодной горячей слюной и, снова вспоминая Лодку, мысленно грозился:

«Ладно, собака!»

Вспоминал Тиунова, хмурился, думая:

«Чай, с утра до вечера нижет слово за словом, кривой черт! Опутывает людей-то...»

Но мысль о Симе, о суде, о Сибири сваливала его на нары, и он снова погружался в оцепенение.

В полдень третьих суток заключения в камеру вошел Капендюхин, не затворив дверь,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
сел на нары и, толкнув Вавилу в бок, осведомился:

– Лежишь?

– Скоро, что ли, допрашивать меня будут? – сердито спросил Бурмистров.

– Не знаю того, братику! – сказал Капендюхин, вздохнув.

Его усы растрепались, обвисли, брови были высоко подняты, на лицо городского неподвижно лежало выражение печали и обиды.

– Теперь уж не до тебя! – медленно говорил он, уставив в стену большие оловянные глаза. – Ты знаешь, чего вышло?

И, не ожидая ответа, сообщил, качнув головой:

– Свобода всем вышла!

– Кому? – равнодушно спросил Бурмистров.

– А всем жителям.

Городовой вынул из-за обшлага шинели кисет, из кармана трубку и, посапывая, начал набивать ее табаком.

– Да! Вышла-таки! Сегодня у соборе молебен будет. Всем все прощено!

Вавило посмотрел на него, медленно приподнялся и сел рядом.

– Кто объявил?

– Государь император, кому же больше?

– Всем?

– Я ж говорю...

– И мне?

– А и тебе! Почему же и не тебе? Если всем, то – и тебе.

– Меня – судить надо! – вяло и угрюмо сказал Бурмистров. – Свобода! Нашли время, когда объявить, черти.

Он вопросительно прислушивался к своим словам и недоумевал: бывало, говоря и думая о свободе, он ощущал в груди что-то особенное, какие-то неясные, но сладкие надежды будило это слово, а теперь оно отдавалось в душе бесцветным, слабым эхом, и, ничего не задевая в ней, исчезало.

Городовой курил, плевал в стену и спокойно говорил:

– Теперь такое начнется – ух! Теперь каждый каждому все обиды напомнит!

Вавило встал на ноги и, выпячивая грудь, сказал:

– Что ж, выпускай меня!

– Подожди! – отрицательно мотнув головой, ответил Капендюхин. – Я ж не могу, не приказано мне. Я зашел по дружбе, просто так. Было время – приказывали мне сажать тебя в полицию, то я сажал. Человеку приказывают – он делает. Вот прикажут мне: иди, выпускай Бурмистрова, то я пойду и скажу: а ну, Бурмистров, ступай себе! Разве это не бывало?

– А как же деушкин-то? – спросил Вавило, недоверчиво глядя на городского.

– Это – твое дело. Мне – что? Я ж ему не брат, не отец. Я за него не могу взыскивать.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru

– Ну, и выпускай меня! – решительно проговорил Бурмистров, подвигаясь к двери.

Не останавливая его, городской выколачивал пепел из трубки и безнадежным голосом говорил:

– Куда ты торопишься? Вот чудак! Лежал-лежал, вдруг вскочил... А куда?

Если бы Капендюхин попробовал остановить Вавилу, Вавило, наверное, ушел бы из камеры, но, не встретив сопротивления, он вдруг ослабел и, прислонясь к стене, замер в недоумении, от которого кружилась голова и дрожали ноги. Городской, растирая пальцем пепел у себя на колене, лениво говорил о том, что обыватели озорничают, никого не слушают, порядок пропал.

– Такое идет, как будто все, и мужчины и бабы, плешивые стали, ей-богу! У всех явилось какое-то одно, как у арестантов. Или выстегал их кто-то прутьями и люди не могут сидеть, бегают-бегают, а всё потому, что начальство уже устало заботиться о людях: а ну вас, свиньи, к бесу, нате вам свободу! Вот, живите, а я – посмотрю из-за уголка, что будет...

Он рассердился, надул щеки и вышел, хлопнув громко дверью.

Бурмистров посмотрел на дверь, подошел к ней, ударил ногой – дверь тяжело отворилась. Он выглянул в темный коридор, сурово крикнув:

– Эй, вы! Заприте!

Никто не ответил. Вавило, оскалив зубы, с минуту стоял на пороге каземата и чувствовал, словно кто-то невидимый, но сильный, обняв его, упрямо толкал вперед. Притворив дверь, он, не торопясь, пошел по коридору, дорога была ему известна. У него вздрагивали уши; с каждым шагом вперед он ступал всё осторожнее, стараясь не шуметь, и ему хотелось идти всё быстрее; это желание стало непобедимым, когда перед ним широко развернулся пожарный двор.

Несколькими прыжками он добежал до конюшен, влез по лестнице на крышу, прыгнул с нее в чей-то огород, присел на корточки, оглянулся, вскочил и помчался куда-то через гряды, усеянные мерзлыми листьями капусты и картофельной ботвой.

Усталый, запыхавшийся, он ткнулся в угол между каких-то сараев, встал на колени, – за забором, точно телеграфные проволоки в ветреный день, глухо и однообразно гудели потревоженные голоса людей.

Бурмистров оглянулся, взял из кучи щепок обломок какой-то жерди, вытянулся вперед и приложил лицо к щели забора: в тупике за ним стояло десятка полтора горожан – всё знакомые люди.

Стояли они тесной кучкой, говорили негромко, серьезно, и среди них возвышалась огромная седая голова Кулугурова. Все были одеты тепло, некоторые в валенках, хотя снега еще не было. Они топтались на кочках мерзлой грязи и жухлого бурьяна, вполголоса говоря друг другу:

– Ладно, говорю, ты спи! – рассказывал Кулугуров, сверкая глазами. – И только это легла моя старуха, – бух! В ставень камнем, видно, кинули.

– Их две шайки основалось, – докладывал Базунов осторожным и как бы что-то нащупывающим голосом, – Кожемякин да кривой со слободы – это одна, а телеграфистишка с горбатым из управы земской...

– Да, да, вот эти!

– Что же делать будем, а?

Бурмистров вздрагивал от холода. Часто повторяемый вопрос – что делать? – был близок ему и держал его в углу, как собаку на цепи. Эти зажиточные люди были не любимы им, он знал, что и они не любят его, но сегодня в его груди чувства плыли подобно облакам, сливаясь в неясную свинцовую массу. Порою в ней вспыхивал какой-то синий болотный огонек и тотчас угасал.

Когда же он услышал, что Тиунова ставят рядом с Кожемякиным, его уколола в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
сердце зависть, и он горько подумал:

«Присосался, кривой черт!»

И тотчас же сообразил:

«Кабы он, дьявол, не покинул меня тогда, на мосту, – ничего бы и не было со мной!»

Народа в тупике прибавлялось, разговор становился всё более тревожным, всё менее ясным для Бурмистрова.

Кто-то говорил густым и торжественным голосом, точно житие читая:

– Ходит по городу старушка нищая Зиновья и не известная никому женщина с ней, – женщина-то, слышь, явилась из губернии, – и рассказывают они обе, будто разные образованные люди...

– Слободские идут!

– У собора сотен пять народу!

– Слободские – это беда!

– Один Вавило Бурмистров, боец-то их, на десять человек наскандалить может...

Вавило невольно пугливо откинулся от забора, но – ему было приятно слышать мнение горожан о нем. И на секунду в нем явилось острое желание прыгнуть через забор, прямо в середину кучи этих людей, – эх, посыпались бы они кто куда!

Он улыбнулся, закрыл глаза, его мускулы сами собою напрягались.

За забором горожане гудели, как пчелиный рой:

– В том соображении, что господь бог, святая наша церква и православное духовенство едины есть народу защитники-ходатели, то решили эти ученые, чтобы, значит, церкви позакрывать...

– Кожемякин вчера успокаивал, что ничего-де худого не будет...

– А свобода эта, всем данная, – ничего?

– Начнется от них, свободных, городу разорение!

– Все дела остановились – какие могут быть убытки, а? Да будь-ка я на месте головы, да я бы... ах, господи! гонцов бы везде послал...

– Что же, братцы, делать?

«Боятся, черти!» – соображал Вавило, оскалив зубы.

Тревога обывателей была приятна ему, она словно грела его изнутри, насыщая сердце бодростью. Он внимательно рассматривал озабоченные лица и ясно видел, что все эти солидные люди – беспомощны, как стадо овец, потерявшее козла-вожатого.

И вдруг в нем вспыхнул знакомый пьяный огонь – взорвало его, метнуло через забор; точно пылающая головня, упал он в толпу, легко поджигая сухие сердца.

– Православный народ! – кричал он, воздевая руки кверху и волчком вертясь среди напуганных людей. – Вот он я, Бурмистров, – бейте! Милые – эх! Понял я – желаю открыться, дайте душу распахнуть!

От него шарахнулись во все стороны, кто-то с испуга больно ударил его по боку палкой, кто-то завыл. Вавило кинулся на колени, вытянул вперед руки и бесстрашно взывал:

– Бей, ребята, бей! Теперь свобода! Вы – меня, а вас – они, эти, которые...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru
Он не знал – которые именно, и остановился, захлебнувшись словами.

– Стой! – крикнул Кулугуров, взмахивая рукой. – Не тронь его, погоди!

– я ли, братцы, свободе не любовник был?

Обыватели осторожно смыкались вокруг него, а Бурмистров, сверкая глазами, ощущал близость победы и всё более воодушевлялся.

– Что она мне – свобода? Убил я и свободен? Украл и свободен?

– Верно! – крикнул Кулугуров, топая ногами. – Слушай, народ!

Кто-то злобно и веско сказал:

– Да-а, слушай, он сам, ну, третьего дня, что ли, и впрямь человека убил!

– Да ведь он о том и говорит! – орал старый бондарь.

– Видали? – подпрыгивая, кричал Базунов. – Вот она – свобода! Разбойник, а и то понял! Во! Во-от она, русская совесть, ага-а!

Вавило немножко испугался и заиграл с жаром, с тоской и отчаянием.

– Верно – убил я! Убежал разве? нету! Судите – вот я! Кого я убил?

Ему снова захлестнуло язык, сжало горло, он схватился руками за грудь и несколько страшных секунд молчал, не зная, что сказать.

Вокруг глухо бормотали:

– Кается!

– От души, видать!

– Простой народ, он завсегда бога помнит! А эти разные образованные, они вон, слышь, и над богом издеваются...

– Ну все-таки убийство ежели...

– Кого я убил? – крикнул Вавило. – Выученика Тиунова, кривого смутьяна...

Он сам удивился своим словам и снова на секунду замолчал, но тотчас понял выгоду неожиданной обмолвки, обрадовался и вспыхнул еще ярче.

– За что я его? За поганые его стихи, ей-богу, братцы! За богохульство! Я знаю – это кривой его выучил, фальшивый монетчик! Не стерпело сердце обиды богу, ну, ударил я Симку, единожды всего, братцы! Такая рука, – я ничего не скрываю, – такая сила дана мне от господина! И – тоже – где убил? У распутной девки! Там ли хорошему человеку место?

Мещане угрюмо смотрели на него, а Кулугуров убедительно говорил, покрывая крики Вавилы:

– Мы в этом не судьи, нас эти дела разбойные не касаются! А что он против свободы – это мы можем принять!

– Нет, кривой-то, а? – злобно воскликнул кто-то. – Везде!

– Смутьянишка, дьявол!

– Старушку бы эту Зиновею – и женщину с ней – тоже бы заставить, – пусть расскажут про антихристовы затеи эти...

Чей-то тревожный голос крикнул:

– Смотрите-тко, сколько их к собору прет! Сомнут они нас, ей же богу! Братцы!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– И мы туда! – загремел Кулугуров. – Али мы не граждане в своем городе? И ежели все нас покинули без защиты, как быть? Биться? Вавил, айда с нами, скажи-ка им там всё это, насчет свободы, ну-ка!

Он засучил рукава пиджака по локоть и сразу несколькими толчками сбил, соединил всех в плотную, тяжелую кучу. Бурмистрова схватили сзади под руки и повели, внушая ему:

- Ты – прямо говори...
- Не бойсь, поддержим!
- Полиции нет...
- Мы тебе защиту дадим...
- Насчет кривого-то хорошенько!..

Вавило точно на крыльях летел впереди всех, умиленный и восторженный; люди крепко обняли своими телами его тело, похлопывали его по плечам, щупали крепость рук, кто-то даже поцеловал его и слезливо шепнул в ухо:

- На проклятие идешь, эхх!
- Пустите! – говорил Вавило, встряхивая плечами.

Малосильное мещанство осыпалось с него, точно лист с дерева, и похваливало:

- Ну, и здоров же!

И снова прилеплялось к возбужденному, потному телу.

Бурмистров понял свою роль и, размахивая голыми руками, орал:

- Я их открою! Всех!

Он никогда еще не чувствовал себя героем так полно и сильно. Оглядывал горящими глазами лица людей, уже влюбленных в него, поклонявшихся ему, и где-то в груди у него радостно сверкала жгучая мысль:

«Вот она, свобода! Вот она!»

Клином врезались в толпу людей на площади и, расталкивая их, быстро шли к паперти собора. Их было не более полсотни, но они знали чего хотят, и толпа расступалась перед ними.

- Гляди! – сказали Бурмистрову. – Вон они!

На паперти, между колонн, точно пряталась кучка людей, и кто-то из них, размахивая белым лоскутком, кричал непонятные, неясные слова.

Сквозь гул толпы доносились знакомые окрики Стрельцова, Ключникова, Зосимы...

«Наши здесь!» – подумал Вавило, улыбаясь пьяной улыбкой; ему представилось, как сейчас слобожане хорошо увидят его.

Он вскочил на паперть, широко размахнул руками, отбрасывая людей в стороны, обернулся к площади и закричал во всю грудь:

- Православные! Все вы.. собрались.. и вот я говорю, я! Я!

Встречу ему хлынул густой, непонятный гул. Вавило всей кожей своего тела почувствовал, что шум этот враждебен ему, отрицает его. Площадь была вымощена человеческими лицами, земля точно ожила, колебалась и смотрела на человека тысячами очей.

В груди Бурмистрова что-то оборвалось, на сердце пахнуло жутким холодом; подняв голос, он напрягся и с отчаянием завыл, закричал, но снова, еще более сильно и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
мощно, сотнями грудей вздохнула толпа:

– Долой! Не надо!

И рядом с ним, где-то сбоку, спокойно текла уверенная речь, ясно звучали веские слова:

– Кого же ставят они против правды? Вы знаете, кто этот человек...

Еще раз внутри Бурмистрова туго натянулась какая-то струна – и со стоном лопнула.

– Врет! – крикнул он в огромное живое лицо перед собой; обернулся, увидел сухую руку, протянутую к нему, темный глаз, голый – дынею – черен, бросился, схватил Тиунова, швырнул его куда-то вниз и взревел:

– Бей!

– наших бьют! – взвыло окурковское мещанство. И закружились, заметались люди, точно сор осенний, схваченный вихрем. Большинство с воем кинулось в улицы, падали, прыгали друг через друга, а около паперти закипел жаркий, тесный бой.

– Ага-а! – ревел старый бондарь Кулугуров, взмахивая зеленым обломком тетивы церковной лестницы. – Свобода!

Вавило бил людей молча, слепо: крепко стиснув зубы, он высоко взмахивал рукою, ударял человека в лицо и, когда этот падал, не спеша, искал глазами другого.

Люди, не сопротивляясь, бежали от него, сами падали под ноги ему, но Вавило не чувствовал ни радости, ни удовольствия бить их. Его обняла тягостная усталость, он сел на землю и вытянул ноги, оглянулся: сидел за собором, у тротуарной тумбы, против чьих-то красных запертых ворот.

Неподалеку стояла кучка людей, человек десять, и среди них оборванный, встрепанный Кулугуров, отирая большой ладонью разбитое лицо, громко говорил:

– Попало ему, кривому дьяволу, довольно-таки!

На пестрых главах церкви Николаи Мирликийского собралась стая галок и оглушительно кричала. Бурмистров взглянул на них, глубоко вздыхая.

Он как будто засыпал, его давила усталость, он тупо смотрел в землю и двигал ногой, растирая о камни чью-то измятую шапку.

– Всех разогнали, пока что! – кричал бондарь. – Так-то вот! Ну, айда!

Он высморкался пальцами и пошел к Вавиле, сопровождаемый товарищами.

– Куда меня теперь? – тихо и угрюмо спросил Бурмистров, когда они подошли и окружили его.

– Что – ушибли тебя? – не отвечая, осведомился бондарь.

– Куда меня?

Но раньше, чем кончить свой вопрос, Вавило почувствовал, что его крепко держат за руки, поднимают с земли.

– А вот, значит, – серьезно говорил Кулугуров, – как ты – первое – повинился нам в убийстве, а второе – драку эту начал, – ну, отведем мы тебя в полицию...

Кто-то добавил:

– Мы тебе, друг, не потатчики, нет!

Вавило взглянул на него и промолчал.

Пошли. Бурмистров смотрел в землю, видел под ногами у себя лоскутья одежды,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
изломанные палки, потерянные галоши. Когда эти вещи были близко – он старался тяжело наступить на них ногой, точно хотел вдавить их в мерзлую землю; ему все казалось, что земля сверкает сотнями взглядов и что он идет по лицам людей.

И как сквозь сон слышал гудение встревоженного города и солидную речь бондаря:

– А бой в сем году рано начали – до Михайлова-то дня еще недели две время...

Как-то вдруг повалил снег, и всё скрылось, утонуло в его тяжелой ровной кисее.

– Удавлюсь я там, в полиции! – глухо и задумчиво сказал Вавило.

– Еретик – всегда еретиком останется! – ответили ему откуда-то со стороны.

– Не хочу... не пойду! – вдруг остановясь, крикнул Бурмистров, пытаясь стряхнуть уцепившихся за него людей и чувствуя, что не удастся это ему, не сладит он с ними.

Они начали злобно дергать, рвать, бить его, точно псы отсталого волка, выли, кричали, катались по земле темною кучею, а на них густо падали хлопья снега, покрывая весь город белым покровом долгой и скучной зимы.

Во мгле снежной пурги черными пятнами мелькали галки.

И все работал неутомимый человек, – где-то на Петуховой горке, должно быть; он точно на весь город набивал тесный крепкий обруч, упрямо и уверенно выстукивая:

– Тум-тум-тум... Тум-тум...

1909–1910

Рождение человека

Это было в 92-м, голодном году, между Сухумом и Очемчирами, на берегу реки Кодор, недалеко от моря – сквозь веселый шум светлых вод горной речки ясно слышен глухой плеск морских волн.

Осень. В белой пене Кодора кружились, мелькали желтые листья лавровишни, точно маленькие, проворные лососи, я сидел на камнях над рекою и думал, что, наверное, чайки и бакланы тоже принимают листья за рыбу и – обманываются, вот почему они так обиженно кричат, там, направо, за деревьями, где плещет море.

Каштаны надо мною убраны золотом, у ног моих – много листьев, похожих на отсеченные ладони чьих-то рук. Ветви граба на том берегу уже голые и висят в воздухе разорванной сетью; в ней, точно пойманный, прыгает желто-красный горный дятел-расудук, стучит черным носом по коре ствола, выгоняя насекомых, а ловкие синицы и сизые поползни – гости с далекого севера – клюют их.

Слева от меня по вершинам гор тяжело нависли, угрожая дождем, дымные облака, от них ползут тени по зеленым скатам, где растет мертвое дерево самшит, а в дуплах старых буков и лип можно найти «пьяный мед», который, в древности, едва не погубил солдат Помпея Великого пьяной сладостью своей, свалив с ног целый легион железных римлян; пчелы делают его из цветов лавра и азалии, а «проходящие» люди выбирают из дупла и едят, намазав на лаваш – тонкую лепешку из пшеничной муки.

Этим я и занимался, сидя в камнях под каштанами, сильно искусанный сердитой пчелой, макал куски хлеба в котелок, полный меда, и ел, любясь ленивой игрою усталого солнца осени.

Осенью на Кавказе – точно в богатом соборе, который построили великие мудрецы – они же всегда и великие грешники, – построили, чтобы скрыть от зорких глаз совести свое прошлое, необъятный храм из золота, бирюзы, изумрудов, развесили по горам лучшие ковры, шитые шелками у тюркмен, в Самарканде, в Шемахе, ограбили весь мир и всё – снесли сюда, на глаза солнца, как бы желая сказать ему:

– Твое – от Твоих – Тебе.

...Я вижу, как длиннобородые седые великаны, с огромными глазами веселых детей, спускаясь с гор, украшают землю, всюду щедро сея разноцветные сокровища, покрывают горные вершины толстыми пластами серебра, а уступы их – живую тканью

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
многообразных деревьев, и – безумно-красивым становится под их руками этот кусок
благодатной земли.

Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как
мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!

Ну да – порою бывает трудно, вся грудь нальется жгучей ненавистью, и тоска жадно
сосет кровь сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу, часто, очень
грустно смотреть на людей: так много потрудились оно для них, а – не удалась
людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше –
переделать заново.

...Над кустами, влево от меня, качаются темные головы: в шуме волн моря и ропоте
реки чуть слышно звучат человечесьи голоса – это «голодающие» идут на работу в
Очемчиры из Сухума, где они строили шоссе.

Я знаю их – орловские, вместе работал с ними и вместе рассчитался вчера; ушел я
раньше их, в ночь, чтобы встретить восход солнца на берегу моря.

Четверо мужиков и скуластая баба, молодая, беременная, с огромным, вздутым к
носу животом, испуганно вытаращенными глазами синевато-серого цвета. Я вижу над
кустами ее голову в желтом платке, она качается, точно цветущий подсолнечник под
ветром. В Сухуме у нее помер муж – объелся фруктами. Я жил в бараке среди этих
людей: по доброй русской привычке они толковали о своих несчастьях так много и
громко, что, вероятно, их жалобные речи было слышно верст на пять вокруг.

Это – скучные люди, раздавленные своим горем, оно сорвало их с родной, усталой,
неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь
незнакомой природы – изумив – ослепила, а тяжкие условия труда окончательно
пришибли этих людей. Они смотрели на всё здесь, растерянно мигая выцветшими,
грустными глазами, жалко улыбаясь друг другу, тихо говоря:

– А-яй... экая землица...

– Прямо – прет из нее.

– Н-да-а... а однако – камень ведь...

– Неудобная земля, надобно сказать...

И вспоминали о Кобыльем ложке, Сухом гоне, Мокреньком – о родных местах, где
каждая горсть земли была прахом их дедов и всё памятно, знакомо, дорого –
орошено их потом.

Была там с ними еще одна баба – высокая, прямая, плоская, как доска, с
лошадиными челюстями и тусклым взглядом черных, точно угли, косых глаз.

Вечерами она, вместе с этой – в желтом платке, – уходила за барак и, сидя там на
груде щебня, положив щеку на ладонь, склоня голову вбок, пела высоким и сердитым
голосом:

За погостом...

во зелены-их куста-ах –

На песочку...

расстелю я белый плат...

Не дождусь ли...

дружка милого мово...

Придет милый...

поклонюся яй ему...

Желтая обычно молчала, согнув шею и разглядывая свой живот, но иногда вдруг,
неожиданно, лениво и густо, мужицким сиповатым голосом вступала в песню
рыдающими словами:

Ой да милый...

он, миленок дорогой...

Не судьба мне...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
боле видеться с тобой...
В черной душной темноте южной ночи эти плачевные голоса напоминали север,
снежные пустыни, визг метели и отдаленный вой волков...

Потом косоглазая баба заболела лихорадкой и ее снесли в город на носилках из
брезента – она тряслась в них и мычала, словно продолжая петь свою песню о
погосте и песочке.

...Нырря в воздухе, желтая голова исчезла.

Я кончил свой завтрак, закрыл листьями мед в котелке, завязал котомку и, не
спеша, двинулся вослед ушедшим, постукивая кизиловой палкой о твердый грунт
тропы.

Вот и я на узкой серой полосе дороги, справа – качается густо-синее море; точно
невидимые столяры строгают его тысячами фуганков – белая стружка, шурша, бежит
на берег, гонимая ветром, влажным, теплым и пахучим, как дыхание здоровой
женщины. Турецкая фелюга, накреньясь на левый борт, скользит к Сухуму, надув
паруса, как важный сухумский инженер надувал свои толстые щеки – серьезнейший
человек. Почему-то он говорил вместо тише – «чише» и «хыть» вместо хоть.

– Чише! Хыть ты и боек, но я тебя моментально в полицию...

Любил он отправлять людей в полицию, и хорошо думать, что теперь его, наверное,
уже давно, до костей обглодали червяки могилы.

...Идти – легко, точно плывешь в воздухе. Приятные думы, пестро одетые
воспоминания ведут в памяти тихий хоровод; этот хоровод в душе – как белые
гребни волн на море, они сверху, а там, в глубине – спокойно, там тихо плавают
светлые и гибкие надежды юности, как серебряные рыбы в морской глубине.

Дорогу тянет к морю, она, извиваясь, подползает ближе к песчаной полосе, куда
вбегают волны, – кустам тоже хочется заглянуть в лицо волны, они наклоняются
через ленту дороги, точно кивая синему простору водной пустыни.

Ветер подул с гор – будет дождь.

...Тихий стон в кустах – человеческий стон, всегда родственно встряхивающий душу.

Раздвинув кусты, вижу – опираясь спиной о ствол ореха, сидит эта баба, в желтом
платке, голова опущена на плечо, рот безобразно растянута, глаза выкатились и
безумны; она держит руки на огромном животе и так неестественно страшно дышит,
что весь живот судорожно прыгает, а баба, придерживая его руками, глухо мычит,
обнажив желтые волчьи зубы.

– Что – ударили? – спросил я, наклоняясь к ней, – она сучит, как муха, голыми
ногами в пепельной пыли и, болтая тяжелой головой, хрипит:

– Уди-и... бесстыжий... ух-ходи...

Я понял, в чем дело, – это я уже видел однажды, – конечно, испугался, отпрыгнул,
а баба громко, протяжно завывала, из глаз ее, готовых лопнуть, брызнули мутные
слезы и потекли по багровому, натужно надутому лицу.

Это воротило меня к ней, я сбросил на землю котомку, чайник, котелок, опрокинул
ее спиной на землю и хотел согнуть ей ноги в коленях – она оттолкнула меня,
ударив руками в лицо и грудь, повернулась и, точно медведица, рыча, хрипя, пошла
на четвереньках дальше в кусты:

– Разбойник... дьявол...

Подломились руки, она упала, ткнулась лицом в землю и снова завывала, судорожно
вытягивая ноги.

В горячке возбуждения, быстро вспомнив всё, что знал по этому делу, я перевернул
ее на спину, согнул ноги – у нее уже вышел околоплодный пузырь.

– Лежи, сейчас родишь...

Сбежал к морю, засучил рукава, вымыл руки, вернулся и – стал акушером.

Баба извивалась, как береста на огне, шлепала руками по земле вокруг себя и, вырывая блеклую траву, всё хотела запихать ее в рот себе, осыпала землю страшное, нечеловеческое лицо, с одичалыми, налитыми кровью глазами, а уж пузырь прорвался и прорезывалась головка, – я должен был сдерживать судороги ее ног, помогать ребенку и следить, чтобы она не совала траву в свой перекошенный, мычащий рот...

Мы немножко ругали друг друга, она – сквозь зубы, я – тоже не громко, она – от боли и, должно быть, от стыда, я – от смущения и мучительной жалости к ней...

– Х-хосподи, – хрипит она, синие губы закушены и в пене, а из глаз, словно вдруг выцветших на солнце, всё льются эти обильные слезы невыносимого страдания матери, и всё тело ее ломается, разделяемое надвое.

– Ух-ходи ты, бес...

Слабыми, вывихнутыми руками она всё отталкивает меня, я убедительно говорю:

– Дуреха, роди, знай, скорее...

Мучительно жалко ее, и кажется, что ее слезы брызнули в мои глаза, сердце сжато тоской, хочется кричать, и я кричу:

– Ну, скорей!

И вот – на руках у меня человек – красный. Хоть и сквозь слезы, но я вижу – он весь красный и уже недоволен миром, барахтается, буянит и густо орет, хотя еще связан с матерью. Глаза у него голубые, нос смешно раздавлен на красном, смятом лице, губы шевелятся и тянут:

– Я-а... я-а...

Такой скользкий – того и гляди уплывет из рук моих, я стою на коленях, смотрю на него, хохочу – очень рад видеть его! И – забыл, что надобно делать...

– Режь... – тихо шепчет мать, – глаза у нее закрыты, лицо опало, оно землисто, как у мертвой, а синие губы едва шевелятся:

– Ножиком... перережь...

Нож у меня украли в бараке – я перекусываю пуповину, ребенок орет орловским басом, а мать – улыбается: я вижу, как удивительно расцветают, горят ее бездонные глаза синим огнем – темная рука шарит по юбке, ища карман, и окровавленные, искусанные губы шелестят:

– Н-не... силушки... тесемочка кармани... перевязать пупочек...

Достал тесемку, перевязал, она – улыбается всё ярче; так хорошо и ярко, что я почти слепну от этой улыбки.

– Оправляйся, а я пойду, вымою его...

Она беспокойно бормочет:

– Мотри – тихонечко... мотри же...

Этот красный человечище вовсе не требует осторожности: он сжал кулак и орет, орет, словно вызывая на драку с ним:

– Я-а... я-а...

– Ты, ты! Утверждайся, брат, крепче, а то ближние немедленно голову оторвут...

Особенно серьезно и громко крикнул он, когда его впервые обдало пенной волной моря, весело хлестнувшей обоих нас; потом, когда я стал наплеывать грудь и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
спинку ему, он зажмурил глаза, забился и завизжал пронзительно, а волны, одна за
другую, всё обливали его.

– Шумы, орловский! Кричи во весь дух...

Когда мы с ним воротились к матери, она лежала, снова закрыв глаза, кусая губы,
в схватках, извергавших послед, но, несмотря на это, сквозь стоны и вздохи, я
слышал ее умирающий шепот:

– Дай... дай его...

– Подождет.

– Дай-ко...

И дрожащими, неверными руками расстегивала кофту на груди. Я помог ей освободить
грудь, заготовленную природой на двадцать человек детей, приложил к теплomu ее
телу буйного орловца, он сразу все понял и замолчал.

– Пресвятая, пречистая, – вздрагивая, вздыхала мать и перекачивала растрепанную
голову по котомке с боку на бок.

И вдруг, тихо крикнув, умолкла, потом снова открылись эти донельзя прекрасные
глаза – святые глаза родительницы, синие, они смотрят в синее небо, в них горит
и тает благодарная, радостная улыбка; подняв тяжелую руку, мать медленно крестит
себя и ребенка...

– Слава те, пречистая мать божия... ох... слава тебе...

Глаза угасли, провалились, она долго молчит, едва дыша, и вдруг деловито,
отвердевшим голосом сказала:

– Развяжи, паренек, котомку мою...

Развязали, она взглянула на меня пристально, слабенько усмехнулась, как будто –
чуть заметно – румянец блеснул на опавших щеках и потном лбу.

– Отойди-ка...

– Ты очень-то не возись...

– Ну, ну... отойди...

Отошел недалеко в кусты. Сердце как будто устало, а в груди тихо поют какие-то
славные птицы, и это – вместе с немолчным плеском моря – так хорошо, что можно
бы слушать год...

Где-то недалеко журчит ручей – точно девушка рассказывает подруге о возлюбленном
своем...

Над кустами поднялась голова в желтом платке, уже повязанном, как надобно.

– Эй, эй, это ты, брат, рано завозилась!

Придерживаясь рукою за ветку кустарника, она сидела, точно выпитая, без кровинки
в сером лице, с огромными синими озерами на месте глаз, и умиленно шептала:

– Глади – как спит...

Спал он хорошо, но, на мой взгляд, ничем не лучше других детей, а если и была
разница, так она падала на обстановку: он лежал на куче ярких осенних листьев,
под кустом, – какие не растут в Орловской губернии.

– Ты бы, мать, легла...

– Не-е, – сказала она, покачивая головою на развинченной шее, – мне прибираться
надобно да идти в энти самые...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– В Очемчиры?

– Во-от! Наши-те, поди, сколько верст ушагали...

– Да разве ты можешь идти?

– А богородица-то? Пособит...

Ну, уж если она вместе с богородицей, – надо молчать!

Она смотрит под куст на маленькое, недовольно надутое лицо, изливая из глаз теплые лучи ласкового света, облизывает губы и медленным движением руки поглаживает грудь.

Я развожу костер, прилаживаю камни, чтобы поставить чайник.

– Сейчас я тебя, мать, чаем угощу...

– О? Напои-ка... ссохлось всё в грудях-то у меня...

– Что ж это земляки бросили тебя?

– Они не бросили – зачем! Я сама отстала, а они – выпимши, ну... и хорошо, а то как бы я распроталась при них-то...

Взглянув на меня, она закрыла лицо локтем, потом, сплюнув кровью, стыдливо усмехнулась.

– Первый у тебя?

– Первенькой... А ты – кто?

– Вроде как бы человек...

– Конечно, человек! Женатый?

– Не удостоился...

– Врешь?

– Зачем?

Она опустила глаза, подумала:

– А как же ты бабьи дела знаешь?

Теперь – совру. И я сказал:

– Учился этому. Студент – слыхала?

– А как же! У нас у попа сын старшой студент тоже, на попа учится...

– Вот и я из эдаких. Ну, пойду за водой...

Женщина наклонила голову к сыну, прислушалась – дышит ли? – потом поглядела в сторону моря.

– Помыться бы мне, а вода – незнакомая... Что это за вода? И солена и горька...

– Вот ты ею и помойся – здоровая вода!

– Ой?

– Верно. И теплей, чем в ручье, а ручьи здесь – как лед...

– Тебе – знать...

Дремля, свесив голову на грудь, шагом проехал абхазец; маленькая лошадка, вся из

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
сухожилий, прядая ушами, покосилась на нас круглым черным глазом – фыркнула, всадник сторожко взметнул башкой, в мохнатой меховой шапке, тоже взглянул в нашу сторону и снова опустил голову.

– Эки люди здесь несуразные да страховидные, – тихо сказала орловка.

Я ушел. По камням прыгает, поет струя светлой и живой, как ртуть, воды, в ней весело кувыркаются осенние листья – чудесно! Вымыл руки, лицо, набрал воды полный чайник, иду и вижу сквозь кусты – женщина, беспокойно оглядываясь, ползает на коленях по земле, по камням.

– Чего тебе?

Испугалась, посерела и прячет что-то под себя, я – догадался.

– Дай мне, я зарюю...

– Ой, родимый! Как же? В предбаннике надо бы, под полом...

– Скоро ли здесь баню выстроят, подумай!

– Шутишь ты, а я – боюсь! Вдруг зверь съест... а ведь место надобно земле отдать...

Отвернулась в сторону и, подавая мне сырой, тяжелый узелок, тихо, стыдливо попросила:

– Уж ты – получше как, поглубже, Христа ради... жалеючи сыночка мово, уж сделай поверней...

...Когда я воротился, то увидел, что она идет, шатаясь и вытянув вперед руку, от моря, юбка ее по пояс мокра, а лицо зарумянилось немножко и точно светится изнутри. Помог ей дойти до костра, удивленно думая:

«Эка силища звериная!»

Потом пили чай с медом, и она тихонько спрашивала меня:

– Бросил ученье-то?

– Бросил.

– Пропился, что ли?

– Окончательно пропился, мать!

– Экой ты какой! А ведь я те помню, в Сухуме заметила, когда ты с начальником из-за харчей ругался; так тогда и подумалось мне – видно, мол, пропойца, бесстрашный такой...

И, вкусно облизывая языком мед на вспухших губах, всё косилась синими глазами под куст, где спокойно спал новейший орловец.

– Как-то он поживет? – вздохнув, сказала она, оглядывая меня. – Помог ты мне – спасибо... а хорошо ли это для него, и – не знаю уж...

Напилась чаю, поела, перекрестилась, и, пока я собирал свое хозяйство, она, сонно покачиваясь, дремала, думала о чем-то, глядя в землю снова выцветшими глазами. Потом стала подниматься.

– Неужто – идешь?

– Иду.

– Ой, мать, гляди!

– А – богородица-то?.. Дай-ко мне его!

– Я его понесу...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.maxim.ru

Поспорили, она уступила, и – пошли, плечо в плечо друг с другом.

– Кабы мне не трюхнуться, – сказала она, виновато усмехаясь, и положила руку на плечо мое.

Новый житель земли русской, человек неизвестной судьбы, лежа на руках у меня, солидно сопел. Плескалось и шуршало море, всё в белых кружевах стружек; шептались кусты, сияло солнце, перейдя за полдень.

Шли – тихонько, иногда мать останавливалась, глубоко вздыхая, вскидывала голову вверх, оглядывалась по сторонам, на море, на лес и горы, и потом заглядывала в лицо сына – глаза ее, насквозь промытые слезами страданий, снова были изумительно ясны, снова цвели и горели синим огнем неисчерпаемой любви.

Однажды, остановясь, она сказала:

– Господи, боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы всё – шла, всё бы шла, до самого аж до края света, а он бы, сынок, – рос да всё бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...

...Море шумит, шумит...

1912

Книга

В парке, у стены маленькой старой дачи, среди сора, выметенного из комнат, я увидел растрепанную книгу; видимо, она лежала тут давно, под дождями осени, под снегом зимы, прикрытая рыжей хвоей и жухлым прошлогодним листом. Теперь, когда весеннее солнце высушило ее страницы, склеенные грязью, уже нельзя было прочитать, о чем говорят поблекшие линии букв.

Я пошевелил ее носком сапога и пошел дальше, думая о том, что, может быть, это – хорошая, сердечно написанная книга и немало людей, читая ее, волновались, спорили, учились думать; может быть, кого-то она оплодотворила новой мыслью и многих, в холодные часы одиночества, согрела своим теплом.

Мне вспомнилось, каким добрым другом была для меня книга во дни отрочества и юности, и особенно ярко встала в памяти жизнь на маленькой железнодорожной станции между Волгой и Доном.

Станция стояла в степи, скудно покрытой серыми былинками, в пустоте и тишине, нарушаемой зимою унылым пением снежных вьюг. Летом на станции ныли комары, в рыжей степи насмешливо и тихо свистели суслики, в небе, мутном от зноя, молча кружились коршуны и белые луны.

Бывало, смотришь с перрона в степь: над пустою землей, в свинцовой дали струится марево, на бугорках, около своих нор, стоят суслики, приложив к остреньким мордочкам ловкие передние лапки, точно молятся. А больше никого нет, – дышишь пустотой, и сердце жалобно сжимается от скуки.

Лишь изредка мохнатые чабаны, похожие на святых отшельников с картин, проведут с юга на север отару овец и в тишине степной взвываются их странные крики:

– Р-ря-о! Р-ря-у...

Подует ветер, осыплет станцию мелким горячим песком, принесет печальное клохтанье дрофы, свист грызунов, – и снова тихо, и жизнь кажется бесконечным сном.

Где-то, в степных балках, прятались казачьи хутора; позади станции, верст за пять, к Волге, прикурнула на неплодной земле деревня – Пески; оттуда к нам зимою приходили бойкие девицы очищать от снега станционные пути, а по ночам на станцию являлись их братья и отцы воровать щиты на топливо и товар из вагонов.

Особенно тяжело жилось в жаркие летние ночи: в тесных комнатах – нечем дышать, духота и комары не позволяют уснуть; всё население станции вылезало на перрон и неприкаянно шлялось повсюду, заводя от скуки ссоры, раздражая дежурных воющими зевками, жалобами на бессонницу и нездоровье, нелепыми вопросами. По двору,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
точно лунатики, ходят женщины в белых одеждах, босые, с растрепанными волосами: курится костер, прикрытый сырым тальником; в безветренные ночи дым костра встает к небу серым столбом, не отгоняя комаров, – они роятся в мертвых заводях Волги и тучами летят сюда, в сухую степь, на муку людям и на свою гибель.

В глухой тишине, далеко где-то и точно под землю, рождается тяжелый шорох, растет, окутывает станцию железным гулом; поют рельсы, трясутся лампы; кто-нибудь дремотно говорит:

– Тринадцатый идет...

На краю степи в черную кожу тьмы вонзился красный луч, ранил ночь, и по земле растекается влажное пятно света, напоминая кровь. Медленно приближаясь, луч двоится, и вот он стал похож на чьи-то желтые жуткие глаза, они дрожат в гневном возбуждении, – к трем домикам станции ползет из глубины ночи некое алое чудовище, угрожая гибелью. Знаешь, что это – товарный поезд, но хочется представить себе другое, хотя бы страшное, но другое.

Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, только усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание отрезанности от нее. Остановится поезд на минуту – из окон вагонов, как портреты из рам, смотрят на тебя какие-то люди; вспыхивают, точно искры в темноте, загадочные глаза женщин, трогая сердце теплыми лучами мимолетных улыбок.

Сердитый свисток – и в облаке пара поезд скользит дальше, лица людей в окнах вагонов странно искажаются, вытягиваясь вбок, все в одну сторону.

К этому мельканию жизни быстро привыкаешь; мимо тебя ежедневно проезжают одни и те же машинисты, кочегары, кондуктора; кажется, что и люди всегда одни и те же, – они стали неразличимы, точно комары.

На станции служило одиннадцать человек, четверо семейных. Все жили точно под стеклянным колпаком, о каждом было известно всё, чего не нужно знать о человеке, и каждый знал обо всех остальных всё, что хотел знать. Все ходили друг перед другом словно голые; человек при первом удобном случае публично выворачивался наизнанку, понуждаемый скукой к нечистоплотным откровенностям и покаяниям.

Играли в карты, страшно пили водку, порою, обезумев от пьянства и тоски, поражали друг друга дикими выходками.

Однажды вечером сторож Крамаренко, молодой, красивый мужик, подошел под окно квартиры смазчика Егоршина, лысенького и богомольного старика, женатого на сироте-казачке, женщине большой и молчаливой, – подошел, разделся донага и стал орать в окно:

– Егоршин, выходи, собака! Выходи, раздевайся, пусть жена твоя видит: который лучше!

Казачка, стиравшая белье, выплеснула на грудь ему ковш кипятку; он завыл и убежал в степь, а Егоршин начал бить жену гаечным ключом. Люди отняли женщину, хотели отправить ее в город, в больницу, но казачка отказалась.

– Не надо, сама виновата, зачем ласково смотрела на него, – говорила она, лежа на дворе, обмотанная кровавыми тряпками, широко открыв синие глаза и облизывая губы маленьким языком.

И дважды спросила тихонько:

– Больно я его обварила?

– Ой, бесстыжая, – шептались женщины и девицы.

Егоршин заперся в квартире и молился, стоя на коленях в луже мыльной воды. Люди смотрели на него в окно и ругали старика.

Утром на другой день Крамаренко взял расчет и пешком ушел со станции куда-то к Дону; шел он вдоль линии дороги странно прямо, высоко подняв голову, как солдат на параде.

А через несколько дней и Егоршин перевелся на другую станцию.

– Это, брат, не поможет тебе, – сказал ему Колтунов, помощник начальника станции, прощаясь с ним. – Тебе в землю надобно переводиться; от горя никуда, кроме как в землю!..

Это был странный человек – Петр Игнатьевич Колтунов. Всегда полупьяненький, болтливый, он, должно быть, имел какие-то свои догадки о жизни, но выражал их неясно, и даже казалось, что он не хочет быть понятым.

Сухонький, тощий, он постоянно встряхивал вихрастой рыжей головой и, прикрывая серые глаза золотистыми ресницами, опрашивал нас – меня, весовщика станции, и товарища моего, телеграфиста Юдина, горбатого и злого:

– Какому богу служите, ребята, а? Потеха!

Или вопрошал сам себя:

– Разве я для того родился, чтобы меня комары ели?

Мы, я и телеграфист, часто и горячо говорили о будущем, он смеялся над нами:

– Потеха! Вы спросите меня: что будет через десять лет, в сей день и час? Я вам верно скажу: то же самое! Лет через двадцать пять? И тогда – то же самое...

Когда я с Юдиным начали читать Спенсера; он, послушав, спросил:

– Англичанин?

– Да.

– Ну, значит, врет! Англичанин правду никогда не скажет.

И не стал слушать Спенсера.

Иногда Колтунова одолевали припадки нелепого упрямства: он крутил пальцами обгрызенные усы и тоненьким, нервным голосом настойчиво старался убедить нас, что «Пан Твардовский» написан лучше «Фауста», а Тургенев – барышничал лошаадьми. Или кричал, высоко взмахивая правой рукою:

– Все наши писатели – не русские: Пушкин – сын араба, Жуковский – турчанки, Лермонтов – англичанин! А которые русские, так они все – незаконнорожденные...

Он был сын священника из Тургайской области, учился в Тамбовской семинарии.

– Выучился водку пить, – пошел в университет, в Казань, – рассказывал он, и его серые глаза уныло зеленели. – В нетрезвом состоянии души надел профессорову шубу, шапку и пропил сию арматуру. Потеха! Ну, мне предложили освободить университет. Ушел, лет пять присматривался к разным делам и незаметно очутился женат. С того времени – стоп машина!

Жена ушла от него; он жил с дочерью, шестилетней рыженькой девочкой, спокойной и серьезной, как взрослый человек. Ее бледное, неподвижное личико словно пряталось в золоте кудрей, темные глазки смотрели на всё сосредоточенно, улыбалась она редко. Всё население станции любило ее какую-то особенной любовью, боязливой и осторожной; мужчины при ней тише ругались, женщины ставили ее в пример своим детям.

– Смотри, вон какая Верочка смирененькая да аккуратная...

Отец звал дочь по имени и отчеству – Вера Петровна; он относился к ней непонятно – с любопытством и как будто с боязнью, за которую скрывалась враждебность.

...По тесным путям станции маневрирует локомотив, входит поезд с Дона или Волги, а Вера Петровна, в белом платочке на золотых кудрях, не спеша идет через рельсы; между локомотивами мелькают ее тонкие ножки в красных нитяных чулках. Она идет в скупую степь собирать бедные цветы, бегать за сусликами с таловым прутом в руке.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Отец следит за ней из окна станции или с перрона и кусает усы, прикрыв золотыми ресницами воспаленные глаза.

– Запретить бы ей ходить по путям, – говорят ему.

Но он равнодушно отвечает:

– Ничего, она – осторожная...

Смотришь, бывало, как она одиноко расхаживает по пустой земле, за версту от станции, кланяясь редким цветам и травам, и всё больше не нравятся ее отец, станция, люди – вся эта скучная, полусонная жизнь.

Не раз по ночам она прибегала ко мне, окутанная с головы до ног большой серой шалью, похожая на летучую мышь, и говорила торопливо, но спокойно:

– Иди, отец опять назююкался до смерти!

Схватив ее на руки, я бежал на квартиру Колтунова.

Он валялся на полу синий, со вздувшимся лицом, вытаращенными глазами, похожий на утопленника. Несколько капель нашатырного спирта с водою, влитые ему в горло, оживляли его, он мычал, а девочка убийственно спокойно спрашивала:

– Еще не до смерти?

И, садясь на пол, у головы отца, гладила его рукою по шершавой щеке, приговаривая:

– Ах, какая пьяница несчастная!..

Юдин, любивший девочку больше, чем другие, мечтал:

– Если бы у меня была мать или какая-нибудь дуреха согласилась бы выйти замуж за горбатого, я бы выпросил Верочку себе. Зачем она Колтунову?

Он был зол, дерзок, склонен к пессимизму, но где-то в глубине его души теплились тоска о лучшей жизни и нежное сострадание к людям.

– Как жалко всех! – вздыхал он иногда, ночью, во время дежурства, когда мы, прочитав какую-нибудь книгу, говорили о ней. – Как жалко людей!..

Это чувство он бесплодно тратил на уход за пьяными и больными, на примирение семейных ссор и на убедительные письма товарищам своим, телеграфистам линии. Одному он советовал жениться, другому – играть на скрипке, третьего уговаривал идти в колонию толстовцев.

Когда я немножко смеялся над ним за это, он резко возражал:

– А что делать? Что можно делать в этой рыбьей жизни?!

Мы оба были страстными любителями чтения, мы читали книги с ненасытной жадностью, день и ночь, в свободные часы. Книги были для нас просветами в мир действительной жизни из мира мертвой пустоты.

Но очень быстро мы проглотили все книги, какие нашлись на шести станциях между Волгой и Доном, и вот наступила для нас полоса духовного голода, – муки его знакомы только тем, кто жил в пустотах нашей страны, задыхался в густой скуке ее равнин. Нечем жить, – это, кажется, самое жуткое ощущение, испытанное мною.

Долго маялись мы в поисках хороших книг, но не находили ничего, кроме романов Окрейца, старой «Нивы» и тому подобной нищеты.

Колтунов издевался над нами:

– Что, ребята, издыхаете? Потеха!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
И однажды, сжалившись, предложил:

– У меня в Калаче знакомый есть, он выписывает журнал. Хотите – попрошу?

Мы стали умолять его; он, посмеявшись, согласился, и через несколько дней кондуктор пассажирского поезда вручил Колтунову пакет и письмо.

– Вот он, журнал! – сказал Колтунов, победоносно взмахнув пакетом, но, прочитав письмо, закусил усы, оглянулся и, сунув пакет под мышку, плотно прижал его локтем.

– Ну, давай сюда, – попросил Юдин, радостно улыбаясь большим ртом.

Колтунов приподнял плечи и тоном начальника заявил:

– Успеешь, не лезь!

Юдин удивился, отступил на шаг; они были приятелями, и Колтунов никогда не говорил так грубо.

– Я схлопотал – мне и читать первому, а вы – после! – добавил Колтунов сухо и сердито.

Это и меня обидело: раньше читали вслух, все вместе, или читал тот, у кого было свободное время. Книгу держали всегда на виду, в телеграфной.

– Ты что форсишь? – спросил Юдин, а Колтунов ответил еще более сердито:

– Отстань! Я хочу читать для отдыха души, а не для спора да вздора. Читать надо молча, а вы рассуждаете: отчего так, зачем не этак! Надоело мне это! Я хочу один читать, – и убирайтесь к черту!

Он запер книгу в ящик своего стола и до конца дежурства не разговаривал с нами, гневно озираясь, словно испуганный чем-то. Когда он, кончив дежурство, уходил к себе, Юдин сказал ему:

– Ляжешь спать, положи книгу на видном месте, я зайду, возьму ее...

Он не ответил, только усмехнулся. Около полуночи Юдин предложил мне:

– Пойди-ка, возьми книжку, он, наверное, дрыхнет уже.

Днем часа полтора непрерывно хлестал землю обильный дождь, затем снова на вымытом небе явилось знойное солнце, щедро согрело землю, – теперь в степи было томно и душно, как в бане. Среди черных туч, в глубоких синих ямах, тускло светились золотые звезды, – в эту ночь все они казались угасающими. Предо мною, как бы указывая путь, прыгала лягушка; вдали гудел поезд; с водокачки доносилась тихая песня кочегара-еврея, косоглазого человека, с печальной улыбкой на красных губах, – кажется, ничто не могло стереть эту улыбку с его острого смуглого лица. Из окна квартиры Колтунова изливался желтый свет, падал на землю, показывал в темноте штабель шпал и тонкий ствол тополя. Сквозь кисею, натянутую в раме окна, я видел Колтунова: он сидел за столом в ночном белье, облокотясь, согнувшись, запуская пальцы в рыжие волосы. Его острый небритый подбородок судорожно вздрагивал, и на книгу, лежавшую между локтями, капали слезы, – при свете лампы было хорошо видно, как они падали одна за другою, – мне казалось, что я слышу мокрые удары о бумагу. Нехорошо видеть человека, когда он плачет...

Кроме лампы, на столе стояла едва початая бутылка водки и тарелка с куском соленого арбуза. В плетеном кресле спала девочка, свернувшись калачиком; лицо ее было сплошь закрыто кудрями, виден только рот, удивленно открытый. Глубже в комнате было так же темно, как в степи, а освещенное пространство напоминало пещеру в черной горе.

Колтунов выпрямился, посмотрел в окно. Его незначительное лицо, обтаяв в слезах, казалось еще меньше и незначительнее. Вот он поднял книгу над лампой и стал сушить слезы: посушив и потрогав пальцем страницу, снова качает книгу над огнем, а из глаз его всё катятся слезы, застревая в усах.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Я ушел встречать поезд и, встретив, сказал Юдину:

– Не спит, всё еще читает...

– Скотина! – ворчал телеграфист, выстукивая отправление. – Приятель! Все мы приятели до первую вкусного куска.

Перед рассветом я снова стоял под окном, разглядывая сквозь кисею маленького рыжего человечка. Он, должно быть, спал: голова опустилась на грудь, руки бессильно лежали на коленях. Лампа погашена, то горит свеча в медном подсвечнике, золотое копьё огня двукратно отражается в стекле бутылки, – водки не убавилось. Комната еще темнее, чем была прежде, девочки нет в кресле, а закрытая книга лежит на углу стола, близко к подоконнику.

Я тихонько прорвал кисею, просунул руку в дыру. Колтунов вскочил на ноги, схватил подсвечник, размахнулся и заорал диким голосом:

– Прочь! Убью!

Свеча погасла, но я все-таки видел незнакомое, искаженное лицо, тотчас утонувшее во мраке.

Через минуту он спокойно и грубо спросил:

– Это кто?

– Я. За книгой.

– Не дам.

Я постоял под окном еще минуту, глядя в степь, на восток. Там, за тучами, всходило солнце; на желтом пятне зари маячил маленький черный всадник; по земле за ним серым облаком ползла отара овец.

Всё это – знакомо, все это было. Как хорошо смотреть в книгу и видеть перед собою другую жизнь!..

Дня четыре Колтунов дразнил нас книгой: принесет ее на станцию и читает один, а когда мы попросим – издевается:

– Встаньте на колени – дам!

Юдин увещевал его:

– Дурак вспомни, сколько мы давали тебе книг!

– Ну, так что?

– Ты читал же с нами?

– Вставай на колени!

Он был противен и жалок, он сам, видимо, чувствовал это и, наперекор себе, всё более упрямо дразнил нас. Читает и время от времени издает разные восклицания.

– Потеха! Вот как!

Эти словечки еще более распяляли наше любопытство, нашу жажду познакомиться с книгой. Мы так невзлюбили его, что даже на девочку перенесли чувство, вызванное ее отцом. И, когда она, любимая, подбегала к нам, мы холодно отстраняли ее, надеясь хоть этим досадить ее отцу.

Я до сего дня помню, с каким недоумением смотрели на меня и Юдина темные глазки девочки, как вздрагивал, в улыбке огорчения, ее алый рот, похожий на цветок.

И Колтунов видел это. Но он только усмехался и дергал себя за усы нервным движением руки.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Хочется почитать, мальчишки? – спрашивал он, пряча книгу в стол. – А я не дам...

– Ударю я его, – грозил Юдин, задыхаясь и бледнея. – Вот что: книгу эту не брать у него, хоть и даст, – не брать! Ладно?

И соглашался:

– Ладно.

– Даешь слово?

– Даю.

Смешно вспомнить об этом теперь, но в те дни я искренно страдал и боялся чего-то, потому что в груди порою вскипала такая ненависть к человеку, что от нее кружилась голова и перед глазами мелькали красные пятна.

Вся станция видела, что мы, трое друзей, поссорились, все слышали, как Колтунов издевался над нами, все чего-то ждали от нас и что-то внушали нам, безмолвно, пытливыми взглядами, усмешками.

Кончилось это очень просто: утром Колтунов пришел на дежурство, бросил журнал Юдину и сказал:

– На, читай...

Телеграфист схватил книгу на лету и тотчас молча воткнул большой нос в оглавление.

Ночью я читал вслух Юдину незначительный рассказ о том, как хорошая женщина ушла от дурного мужа на работу для общества, для мира, – читал и думал:

«Над этим, что ли, плакал Колтунов?»

Вдруг он ввалился в дверь и заорал, цепляясь руками за косяки:

– Н-не смей читать!

Ноги у него подгибались, он был безобразно пьян и дико тарачил красные, мокрые глаза.

– Н-не смей... Никто не понимает ничего... и те, кто пишут, и все...

Опустился на пол, протягивая нам руки и вскрикивая:

– Молчать!.. Не читать!..

А в двери, за его спиной, стояла маленькая девочка, Вера Петровна, в расстегнутом платье, сползавшем с плеч, босая и встрепанная, – ее рыжие кудри поднимались вверх, как пламя, – стояла и тусклым голосом спрашивала:

– Зачем вы его обидели?

1915

Как сложили песню

Вот как две женщины сложили песню, под грустный звон колоколов монастыря, летним днем. Это было в тихой улице Арзамаса, пред вечерней, на лавочке у ворот дома, в котором я жил. Город дремал в жаркой тишине июньских будней. Я, сидя у окна с книгой в руках, слушал, как моя кухарка, дородная рябая Устинья, тихонько беседует с горничной моего шабра, земского начальника.

– А еще чего пишут? – выпрашивает она мужским, но очень гибким голосом.

– Да ничего еще-то, – задумчиво и тихонько отвечает горничная, худенькая девица, с темным лицом и маленькими испуганно-неподвижными глазами.

– Значит, – получи поклоны да пришли деньжонок, – так ли?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Вот...

– А кто как живет – сама догадайся... эхе-хе...

В пруду, за садом нашей улицы, квакают лягушки странно стеклянным звуком; назойливо плещется в жаркой тишине звон колоколов; где-то на задворках всхрапывает пила, а кажется, что это храпит, уснув и задыхаясь зноем, старый дом соседа.

– Родные, – грустно и сердито говорит Устинья, – а отойди от них на три версты – и нет тебя, и отломилась, как сучок! Я тоже, когда первый год в городе жила, неутешно тосковала. Будто не вся живешь – не вся вместе, – а половина души в деревне осталась, и всё думается день-ночь: как там, что там?..

Ее слова словно вторят звону колоколов, как будто она нарочно говорит в тон им. Горничная, держась за острые свои колени, покачивает головой в белом платке и, закусив губы, печально прислушивается к чему-то. Густой голос Устиньи звучит насмешливо и сердито, звучит мягко и печально.

– Бывало – гложешь, слепнешь в злой тоске по своей-то стороне; а у меня и нет никого там: батюшка в пожаре сгорел пьяный, дядя – холерой помер, были братья – один в солдатах остался, ундером сделали, другой – каменщик, в Бойгороде живет. Всех будто половодьем смыло с земли...

Склоняясь к западу, в мутном небе висит на золотых лучах красноватое солнце. Тихий голос женщины, медный плеск колоколов и стеклянное кваканье лягушек – все звуки, которыми жив город в эти минуты. Звуки плывут низко над землей, точно ласточки перед дождем. Над ними, вокруг их – тишина, поглощающая всё, как смерть.

Рождается нелепое сравнение: точно город посажен в большую бутылку, лежащую на боку, заткнутую огненной пробкой, и кто-то лениво, тихонько бьет извне по ее нагретому стеклу.

Вдруг Устимья говорит бойко, но деловито:

– Ну-кось, Машутка, подсказывай...

– Чего это?

– Песню сложим...

И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает:

Эх, да белым днем, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце...
Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, вполголоса поет:

Беспокойно мне, девице молодой...
А Устимья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца:

Всё тоскою сердце мается...
Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо:

– Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни складывать, как нитку сучить... Ну-ко...

Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками:

Ой, да ни зимою вьюги лютые,
Ни весной ручьи веселые...
Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую голову на круглое плечо ее, закрыла глаза и уже смелее, тонким вздрагивающим голоском продолжает:

Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную...

– Так-то вот! – сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. – А была я

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
моложе – того лучше песни складывала! Бывало, подруги пристают: «Устюша, научи песенке!» Эх, и зальюсь же я!.. Ну, как дальше-то будет?

– Я не знаю, – сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь.

Я смотрю на них сквозь цветы в окне; певицы меня не замечают, а мне хорошо видно глубоко изрытую оспой, шершавую щеку Устиньи, ее маленькое ухо, не закрытое желтым платком, серый бойкий глаз, нос прямой, точно у сороки, и тупой подбородок мужчины. Это баба хитрая, болтливая; она очень любит выпить и послушать чтение святых житий. Сплетница она на всю улицу, и больше того: кажется, все тайны города в кармане у нее. Рядом с нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая горничная – подросток. Да и рот у горничной детский: маленькие, пухлые губы надуты, точно она обижена, боится, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет.

Над мостовой мелькают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями: значит, мошкара опустилась низко, – признак, что к ночи соберется дождь. На заборе, против моего окна, сидит ворона неподвижно, точно из дерева вырезана, и черными глазами следит за мельканием ласточек. Звонить перестали, а стоны лягушек еще звучней, и тишина гуще, жарче.

Жаворонок над полями поет.

Васильки-цветы в полях зацвели,

– задумчиво поет Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело:

Поглядеть бы на родные-то поля!

И Устинья, умело поддерживая высокий, качающийся голос, стелет бархатом душевные слова:

Погулять бы, с милым другом, по лесам!..

Кончив петь, они длительно молчат, тесно прижавшись друг ко другу; потом женщина говорит негромко, задумчиво:

– Али плохо сложили песню? Вовсе хорошо ведь...

– Гляди-ко, – тихо остановила ее горничная.

Они смотрят в правую сторону, наискось от себя: там щедро облитый солнцем, важно шагает большой священник в лиловой рясе, мерно переставляя длинный посох; блестит серебряный набалдашник, сверкает золоченый крест на широкой груди.

Ворона покосилась на него черной бусиной глаза и, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, взлетела на сучок рябины, а оттуда серым комом упала в сад.

Женщины встали, молча, в пояс, поклонились священнику. Он не заметил их. Не садясь, они проводили его глазами, пока он не свернул в переулочек.

– Охо-хо, девушка, – сказала Устинья, поправляя платок на голове, – была бы я помоложе да с другой рожей...

Кто-то крикнул сердито, сонным голосом:

– Марья!.. Машка!..

– Ой, зовут...

Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пестрый ситец платья.

Стонут лягушки. Душный воздух неподвижен, как вода лесного озера. Цветисто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тешей, сердитый гул, – дальний гром рычит медведем.

1915

«Страсти-мордасти»

Душной летней ночью, в глухом переулочке окраины города, я увидел странную картину: женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
разбрызгивая грязь, как это делают ребяташки, – топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовала со словом ёмкая.

Днем над городом могуче прошла гроза, обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка; лужа была глубокая, ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если б она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью.

Я подтянул повыше голенища сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась – пошла за мною молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала:

– Караул!

И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой.

– Дьявол, – бормотала она. – Не пойду! Проживу без тебя... поживи без меня... Караул!

Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в пяти шагах от нас и спросил сердито:

– Кто скандалит?

Я сказал ему, что – боюсь, не утонула бы женщина в грязи и вот хочу вытащить ее; сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал:

– Машка – вылазь!

– Не хочу.

– А я те говорю – вылазь!

– А я не вылезу.

– Вздую, подлая, – не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне: – Это – здешняя, паклюжница, фролиха, Машка. Папироски нету?

Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:

– Начальники! Я сама себе начальница... Захочу – купаться буду...

– Я те покупаюсь, – предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик. – Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у ней – сын безногой...

– Далеко живет?..

– Убить ее надо, – сказал сторож, не ответив мне.

– Отвести бы ее домой, – предложил я.

Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжело топая сапогами по липкой земле.

– Веди! Только допрежде в рожу загляни ей.

А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:

Как по-о мор-рю...

Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью – отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору; она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:

– Ну – бей, бей! Ничего – бей... Ах ты, зверь... ах ты, ирод... ну – бей!

Приставив ее к забору, я спросил – где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз, и я увидел, что переносье у нее провалилось,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
остаток носа торчит, пуговкой, вверх, верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает
мелкие зубы, ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.

– Ладно, идем, – сказала она.

Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.

– Идем, милый, – ворчала она, как будто трезвея. – Я тебя приму... Я те дам
утешеньице...

Она привела меня на двор большого, двухэтажного дома; осторожно, как слепая,
прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленниц дров, остановилась перед
какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:

– Лезь.

Придерживаясь липкой стены, обняв женщину за талию, едва удерживая
расползавшееся тело ее, я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и
скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.

– Мамка, – ты? – спросил во тьме тихий голос.

– Я-а...

Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула
спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.

– А кто же придет к тебе? Я-а, – говорила женщина, наваливаясь на меня.

Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая смешная рука зажгла маленькую
жестяную лампу.

– Утешеньишко мое, – сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол, –
там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель.

Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал
коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки,
губами, – личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной
сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами
и спросил:

– Пьяная?

Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела.

– Ее надо раздеть, – сказал я.

– Так раздевай, – отозвался мальчик, опустив глаза.

А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки – он спросил тихо и деловито:

– Огонь-то – погасить?

– Зачем же!

Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним: он
сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной – печатными буквами
– надписью:

ОСТОРОЖНО

Т-во Н. Р. и К^о

Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько
линий тянулись узенькие полочки, на них лежали стопки папиросных и спичечных
коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый
желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные и жалкие
руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна.

Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу, из

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.moscow.ru
глиняного рукомойника, и, вытирая их платком, сказал ребенку:

– Ну, прощай!

Он поглядел на меня и спросил немножко шепеляво:

– Теперь – гасить лампу?

– Как хочешь.

– А ты – уходишь, не ляжешь?

Он протянул ручонку, указывая на мать:

– С ней.

– Зачем? – спросил я глупо и удивленно.

– Сам знаешь, – сказал он страшно просто и, потянувшись, добавил: – Все ложатся.

Сконфуженный, я оглянулся: вправо от меня – чело уродливой печки, на шестке – грязная посуда, в углу – за ящиком – куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысло.

У моих ног вытянулось и храпит желтое тело.

– Можно посидеть с тобой? – спросил я мальчика.

Он, глядя на меня исподлобья, ответил:

– Она ведь до утра уж не проснется.

– Да мне ее не надо.

Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шуточно:

– Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет...

Он кивнул головой, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь.

– Пьяная потому что. Она и тверезая любит баловаться. Как маленькая всё равно...

Теперь я рассмотрел его глаза, – они действительно мохнаты, ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи, высокий лоб, с морщинкой над переносьем, покрывала растрепанная шапка курчавых рыжеватых волос. Неопишимо выражение его глаз – внимательных и спокойных, – я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд.

– У тебя – что с ногами-то?

Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика.

– Вот какие ноги. Обе такие, с роду. Не ходят, не живут, а – так себе...

– А что это в коробочках?

– Зверильница, – ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и ясно, дружески улыбаясь, предложил: – Хошь – покажу? Ну, так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда.

Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой.

– Гляди, – не открывай, а то – убегут! Прислони к уху, послушай. Что?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Шевелится кто-то...

– Ага! Это – паучишка там сидит, подлец! Его зовут – Барабанщик. Хитрый!..

Чудесные глаза ласково оживились, на синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом – к моему и оживленно рассказывал:

– А тут – таракашка Анисим, хвастун, вроде солдата. Это – муха, Чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а – чиновница, которая на улицу окнами живет, муха только похожая. А это – черный таракан, большущий, – Хозяин; он – ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь – жук, дядя Никодим, я его на дворе сцапал, он – странник, из жуликов которые; будто на церковь собирает; мамка зовет его – дешевый; он тоже любовник ей. У нее любовников – сколько хочешь, как мух, даром что безногая.

– Она тебя не бьет?

– Она-то? Вот еще! Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница, ну, – на нашей улице – все пьяницы. Она – красивая, веселая тоже... Очень пьяница, курва! Я ей говорю: «Перестань, дурочка, водку эту глотать, богатая будешь» – а она хохочет. Баба, ну и – глупая! А она – хорошая, вот проспится – увидишь.

Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза всё более разгорались оживлением, притягивая меня с неодолимой силой.

Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери, на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери.

– Хорошая зверильница? – спросил мальчик с гордостью.

– Очень.

– Бабочков нету вот у меня, – бабочков и мотыльков!

– Тебя как зовут?

– Ленька.

– Тезка мне.

– Ну? А ты – какой человек?

– Так себе. Никакой.

– Ну, уж врешь! Всякий человек – какой-нибудь, я ведь знаю. Ты – добрый.

– Может быть.

– Уж я вижу! Ты – робкий, тоже.

– Почему – робкий?

– Уж я знаю!

Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне.

– А почему все-таки робкий?

– Вот – сидишь со мной, значит – боишься ночью-то идти!

– Да ведь уж – светает.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Ну, и уйдешь.

– Я опять приду к тебе.

Он не поверил, прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил:

– Зачем?

– Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?

– Валяй! К нам все ходят...

Вздыхнув, он сказал:

– Обманешь.

– Ей-богу – приду!

– Тогда – приходи. Ты уж – ко мне, а не к мамке, ну ее к ляду! Ты – давай дружиться со мной, – ладно?

– Ладно.

– Ну вот. Ничего, что ты большой; тебе – сколько годов?

– Двадцать первый.

– А мне – двенадцатый. У меня – нету товарищей, одна Катька водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит... Ты – вор?

– Нет. Почему – вор?

– У тебя очень рожа страшная, худущая, с таким носом, как у воров. У нас два вора бывают, один – Сашка, дурак и злой, а другой – Ванечка, так этот добрый, как собака. А у тебя коробочки есть?

– Принесу.

– Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь...

– Почему?

– Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот, – любит мужчин, шкуреха, – просто беда! Она – смешная девчонка, мамка у меня. Пятнадцати лет ухитрилась – родила меня и сама не знает – как! Ты – когда придешь?

– Завтра вечером.

– Вечером она уж напьется. А ты чего делаешь, если не воруешь?

– Баварским квасом торгую.

– Ой ли? Принеси бутылку, а?

– Конечно – принесу! Ну, я пошел.

– Валяй. Придешь?

– Обязательно.

Он протянул мне обе длинные руки, я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки и, уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный.

Светало; над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеною дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик, торчала в небо густая

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru жесткая борода – в ней светились белые зубы, – казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака, с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком, понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней.

На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо – голубое и розовое, – эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту.

На другой день я попросил ребятшек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собою две бутылки квасу, пряников, конфет и сдобных булок.

Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза, – при дневном свете они были еще чудесней.

– У-ю-юй, – заговорил он низким, не ребячьим голосом, – сколько ты всего притащил! Ты, что ли, богатый? как же это, – богатый, а плохо одетый и, говоришь, – не вор? Вот так коробочки! Ую-юй, – даже жалко тронуть, руки у меня немытые. Там – кто? Юх, – жучишко-то! Как медный, даже зеленый, ох ты, черт... А – выбегут да улетят? Ну уж..

И вдруг весело крикнул:

– Мамк! Слезь, вымой руки мне, – ты погляди, курятина, чего он принес! Это – он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник, – это он всё! Его тоже Ленька зовут..

– Спасибо надо сказать ему, – услышал я сзади себя негромкий странный голос.

Мальчик часто закивал головой:

– Спасибо, спасибо!

В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли, сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, – невольную, нестираемую улыбку.

– Здравствуйте!

– Здравствуйте, – повторила женщина; ее гнусавый голос звучал негромко, но – бодро, почти весело. Смотрела она на меня прищурясь и как будто насмешливо.

Ленька, забыв про меня, жевал пряник, мычал, осторожно открывая коробки, – ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика, на рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет, рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок.

Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.

– Убег, стой, – убег! – закричал он и весь, всем телом, завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряться в тряпках, и тоже кричала:

– Лови его!

А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой:

– Эдаких – много!

– Не задави, – строго предупредил ее сын. – Она, раз, пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!

– А ты забудь про то, утешеньце мое.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Уж я хоронил-хоронил...

– Я же тебе сама и наловила их после.

– Наловила! Те были – ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню, выползу и хороню, там у меня кладбище... Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенный, веселый...

– Ах ты, утешеньшко мое милое, – сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами: – Хорош сынок? Глазки-то, а?

– Ты возьми один глаз, а ноги – отдай, – предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. – Какой... железный! Толстый. Мам, он – на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, – помнишь?

– Ну как же!

И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне:

– Это, видишь, ввалился однова к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает: «Можешь ты, паклюжница, связать мне лестницу из веревок?» А я – сроду не слыхала про такие лестницы. «Нет, говорю, не смогу я!» – «Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то, а у него все брюхо веревкой нетолстой окручено, – длинная веревка да крепкая! Научил. Вяжу я, вяжу, а сама думаю: «На что это ему? Не церкву ли ограбить собрался?»

Она засмеялась, обняв сына за плечи и всё поглаживая его.

– Ой, затейники! Пришел он в срок, я и говорю: «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна!» А он смеется хитровато таково: «Нет, говорит, это – через стену перелезть; у нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех-от за стеной живет, – поняла ли?» Ну, я поняла: это ему, чтобы по ночам к бабам лазить. Хохотали мы с ним, хохотали...

– Уж ты у меня хохотать любишь, – сказал мальчик тоном старшего. – А вот самовар бы поставила...

– Так сахару же нету у нас.

– Купи поди...

– Да и денег нету.

– Уй, ты, пропивашка! У него возьми вот...

Он обратился ко мне:

– У тебя есть деньги?

Я дал женщине денег, она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос.

– Мамка! – крикнул сын вслед ей. – Вымой окошко, ничего не видать мне! Ловкая бабенка, я тебе скажу! – продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми, – полочки, из картона, были привешены на бечевках ко гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. – Работница... как начнет паклю щипать – хоть задохнись, такую пылицу пустит! Я кричу: «Мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут!» А она: «Потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет». Любит она меня, да и всё! Щиплет и поет, песен она знает тыщу!

Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом:

Вот Орина на перине лежит...
Послушав немножко, я сказал:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Очень похабная песня.

– Они все такие, – уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. – Чу, музыка пришла! Ну-ко, скорее, подними-ко меня...

Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи, он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии, радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака, – Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней.

Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы, по серой стене, прихрамывая, ползал маятник величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немойтой, на всем лежал толстый слой пыли, особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы.

Мрачно загудел самовар, шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала, чей-то хриплый голос прорычал:

– Р-рвань!

– Сними, – сказал Ленька, вздыхая, – прогнали...

Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял:

– Болит грудишка у меня, долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, – ты чертей видал?

– Нет.

– И я тоже. Я, ночью, всё в подпечек гляжу – не покажутся ли? Не показываются. Ведь черти на кладбищах водятся, верно?

– А на что тебе их?

– Интересно. Вдруг один черт – добрый? Водовозова Катька видела чертика в погребе, – испугалась. А я страшного не боюсь.

Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко:

– Я люблю даже – страшные сны люблю, вот. Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, – листья-то по земле, а корни в небо вытянулись. Так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то – мамку видел: лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет, выкусит и выплюнет. А то – дом наш вдруг встряхнулся да и поехал по улице, едет и дверями хлопает и окнами, а за ним чиновница кошка бежит...

Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфекту, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник.

– Я из этих бумажек наделаю разного, чего-нибудь хорошего. А то – Катьке подарю. Она тоже любит хорошее: стеклышки, черепочки, бумажки и всё. А – слушай-ка: если таракана всё кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?

Было ясно, что он верит в это; я ответил:

– Если хорошо кормить – вырастет!

– Ну да! – радостно вскричал он. – А мамка, дурочка, смеется!

И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.

– Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади – верно?

– А что ж? Можно!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!

Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь.

– Мухи бы летали по собаке величиной! А на тараканах можно бы кирпич возить, – если он – с лошадь, так он сильный! Верно?

– Только вот усы у них...

– Усы не помешают, они – как вожжи будут, усы! Или – паук ползет – огромный, как – кто? Паук – не боле котенка, а то – страшно! Нет у меня ног, а то бы! Я бы работал бы и всю свою зверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле. Ты в чистом поле бывал?

– Бывал, как же!

– Расскажи, какое оно, а?

Я начал рассказывать ему о полях, лугах, он слушал внимательно, не перебивая, ресницы его опускались на глаза, а ротик открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише, но явилась мать с кипящим самоваром в руках, под мышкой у нее торчал бумажный мешок, из-за пазухи – бутылка водки.

– Вот она – я!

– Ло-овко, – вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. – Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку да свезла меня в чистое поле! А то – издохну и не увижу никогда. Шкура ты, мамка, право! – обиженно и грустно закончил он.

Мать ласково посоветовала ему:

– А ты – не ругайся, не надо! Ты еще маленький...

– «Не ругайся»! Тебе – хорошо, ходишь куда хошь, как собака всё равно. Ты – счастливая... Слушай-ка, – обратился он ко мне, – это бог сделал поле?

– Наверное.

– А зачем?

– Чтобы гулять людям.

– Чистое поле! – сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. – Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их, – гуляй, домашние! А – слушай-ка! – бога делают где – в богадельне?

Его мать взвизгнула и буквально покатила со смеха, – опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:

– О, – чтоб те... о господи! Утешеньшко ты мое! Да, чай, бога-то – богомазы... ой, смехота моя, чудашка...

Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался.

– Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать.

И снова повторил ругательство.

– Пускай смеется, – сказал я, – это тебе не обидно!

– Нет, не обидно, – согласился Ленька. – Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет; прошу, прошу: «Вымой же окошко, я света божьего не вижу», а она всё забывает...

Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

– Хорошо утешеньице у меня? Кабы не он – утопилась бы давно, ей-богу! Удавилась бы...

Она говорила это улыбаясь.

А Ленька вдруг спросил меня:

– Ты – дурак?

– Не знаю. А что?

– Мамка говорит – дурак!

– Так ведь я – почему? – воскликнула женщина, нимало не смущаясь. – Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а – сам ушел, нате-ко! Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у – какой...

Она говорила тоже, как ребенок, строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые, – тем безобразнее казалось безносое лицо, с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка, и – веселая насмешка.

– Ну, давайте чай пить, – предложила она торжественно.

Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой, озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку и, когда ладонь увлажнялась паром, – мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы.

– Вырасту большой, – говорил он, – сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле.

– Охо-хо, – вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. – Раем видит поле-то, милый! А там – лагеря, да охальники солдаты, да пьяные мужики.

– Врешь, – остановил ее Ленька, нахмурясь. – Спроси-ка его, какое оно, он видел.

– А я – не видала?

– Пьяная-то!

Они начали спорить, совсем как дети, так же горячо и нелогично, а на двор уже пришел теплый вечер, в покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно.

Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал:

– Наелся, напился, – даже спать захотелось, ей-богу...

– И усни, – посоветовала мать.

– А он – уйдет! Ты уйдешь?

– Не бойсь, я его не пущу, – сказала женщина, толкнув меня коленом.

– Не уходи, – попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери: – Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, – а то валандаешься зря со всяким... только бьют... А он – добрый...

– Спи знай, – тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая.

– Он – богатый...

С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами, потом сказала мне, как старому знакомому:

– Так вот мы и живем тихонько, я да он, а боле никого. Ругают меня на дворе –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
распутная! А – что ж? Мне стыдиться некого. К этому же – видите, как я снаружи испорчена? Всякому сразу видно, для чего я гожусь. Да. Уснул сынок, утешеньишко мое. Хорошее дитя у меня?

– Да. Очень!

– Не налюбуюсь. Умница ведь?

– Мудрец.

– То-то! Отец у него – барин был, старичок; этот – как их зовут? Конторы у них, – ах ты! Бумаги пишут?

– Нотариус?

– Вот, он самый! Милый был старичок... Ласковый. Любил меня, я горничной у него жила.

Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так:

– Вдруг – помер. Ночью было, я только ушла от него, а он ка-ак грохнется на пол, – только и житья! Вы – квасом торгуете?

– Квасом.

– От себя?

– От хозяина.

Она подвинулась поближе ко мне, говоря:

– Вы мною, молодой человек, не брезгуйте, теперь уж я не заразная, спросите кого хотите в улице, все знают!

– Я не брезгую.

Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково:

– Очень я благодарна вам за Леньку, праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы...

– Надобно мне идти, – сказал я.

– Куда? – удивленно спросила она.

– Дело есть.

– Оставайтесь!

– Не могу...

Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко:

– А то – оставайтесь. Я рожу-то платком прикрою... Хочется мне за сына поблагодарить вас... Я – закроюсь, а?

Она говорила неотразимо по-человечьи, – так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее – детские глаза на безобразном лице – улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить.

– Мамка, – вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись, – ползут! Мамка же... иди-и...

– Приснилось, – сказала мне она, наклонясь над сыном.

Я вышел на двор и в раздумье остановился, – из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня, мать баюкала сына, четко выговаривая странные

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

слова:

Придут Страсти-Мордасти,
Приведут с собой Напасти;
Приведут они Напасти,
Изорвут сердце на части!
Ой беда, ой беда!
Куда спрячемся, куда?
Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.

1917

Сказки об Италии
Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь.

Андерсен

I

В Неаполе забастовали служащие трамвая: во всю длину Ривьеры Киярия вытянулась цепь пустых вагонов, а на площади Победы собралась толпа вагоновожатых и кондукторов – всё веселые и шумные, подвижные, как ртуть, неаполитанцы. Над их головами, над решеткой сада сверкает в воздухе тонкая, как шпага, струя фонтана, их враждебно окружает большая толпа людей, которым надо ехать по делам во все концы огромного города, и все эти приказчики, мастеровые, мелкие торговцы, швеи сердито и громко порицают забастовавших. Звучат сердитые слова, колкие насмешки, непрерывно мелькают руки, которыми неаполитанцы говорят так же выразительно и красноречиво, как и неугомонным языком.

С моря тянет легкий бриз, огромные пальмы городского сада тихо качают веерами темно-зеленых ветвей, стволы их странно подобны неуклюжим ногам чудовищных слонов. Мальчишки – полуголые дети неаполитанских улиц – скачут, точно воробьи, наполняя воздух звонкими криками и смехом.

Город, похожий на старую гравюру, щедро облит жарким солнцем и весь поет, как орган; синие волны залива бьют в камень набережной, вторя ропоту и крикам гулками ударами, – точно бубен гудит.

Забастовщики угрюмо жмутся друг ко другу, почти не отвечая на раздраженные возгласы толпы, влезают на решетку сада, беспокойно поглядывая в улицы через головы людей, и напоминают стаю волков, окруженную собаками. Всем ясно, что эти люди, однообразно одетые, крепко связаны друг с другом непоколебимым решением, что они не уступят, и это еще более раздражает толпу, но среди нее есть и философы: спокойно покуривая, они увещевают слишком ретивых противников забастовки:

– Э, синьор! А как быть, если не хватает детям на макароны?

Группами, по два и по три, стоят щеголевато одетые агенты муниципальной полиции, следя за тем, чтобы толпа не затрудняла движения экипажей. Они строго нейтральны, с одинаковым спокойствием смотрят на порицаемых и порицающих и добродушно вышучивают тех и других, когда жесты и крики принимают слишком горячий характер. На случай серьезных столкновений в узкой улице вдоль стен домов стоит отряд карабинеров, с коротенькими и легкими ружьями в руках. Это довольно зловещая группа людей в треуголках, коротеньких плащах, с красными, как две струи крови, лампасами на брюках.

Перебранка, насмешки, упреки и увещевания – всё вдруг затихает, над толпой проносится какое-то новое, словно примиряющее людей веяние, – забастовщики смотрят угрюмее и, в то же время, сдвигаются плотнее, в толпе раздаются возгласы:

– Солдаты!

Слышен насмешливый и ликующий свист по адресу забастовщиков, раздаются крики приветствий, а какой-то толстый человек, в легкой серой паре и в панаме, начинает приплясывать, топая ногами по камню мостовой. Кондуктора и вагоновожатые медленно пробираются сквозь толпу, идут к вагонам, некоторые влезают на площадки, – они стали еще угрюмее и в ответ на возгласы толпы – сурово огрызаются, заставляя уступить им дорогу. Становится тише.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Легким танцующим шагом с набережной Санта Лючия идут маленькие серые солдатики, мерно стуча ногами и механически однообразно размахивая левыми руками. Они кажутся сделанными из жести и хрупкими, как заводные игрушки. Их ведет красивый высокий офицер, с нахмуренными бровями и презрительно искривленным ртом, рядом с ним, подпрыгивая, бежит тучный человек в цилиндре и неустанно говорит что-то, рассекая воздух бесчисленными жестами.

Толпа отхлынула от вагонов – солдаты, точно серые бусы, рассыпаются вдоль их, останавливаются у площадок, а на площадках стоят забастовщики.

Человек в цилиндре и еще какие-то солидные люди, окружившие его, отчаянно размахивая руками, кричат:

– Последний раз... Ultima volta![2] Слышите?

Офицер скучно крутит усы, наклонив голову; к нему, взмахнув цилиндром, подбегает человек и хрипло кричит что-то. Офицер искоса взглянул на него, выпрямился, выправил грудь, и – раздались громкие слова команды.

Тогда солдаты стали прыгать на площадки вагонов, на каждую по два, и в то же время оттуда посыпались вагоновожатые с кондукторами.

Толпе показалось это смешным – вспыхнул рев, свист, хохот, но тотчас – погас, и люди молча, с вытянутыми, посеребрившими лицами, изумленно вытаращив глаза, начали тяжело отступать от вагонов, всей массой подвигаясь к первому.

И стало видно, что в двух шагах от его колес, поперек рельс, лежит, сняв фуражку с седой головы, вагоновожатый, с лицом солдата, он лежит вверх грудью, и усы его грозно торчат в небо. Рядом с ним бросился на землю еще маленький, ловкий, как обезьянка, юноша, вслед за ним, не торопясь, опускаются на землю еще и еще люди...

Толпа глухо гудит, раздаются голоса, пугливо зовущие мадонну, некоторые мрачно ругаются, взвизгивают, стонут женщины, и, как резиновые мячи, всюду прыгают пораженные зрелищем мальчишки.

Человек в цилиндре орет что-то рыдающим голосом, офицер смотрит на него и пожимает плечами, – он должен заместить вагоновожатых своими солдатами, но у него нет приказа бороться с забастовавшими.

Тогда цилиндр, окруженный какими-то угодливыми людьми, бросается в сторону карабинеров, – вот они тронулись, подходят, наклоняются к лежащим на рельсах, хотят поднять их.

Началась борьба, возня, но – вдруг вся серая, пыльная толпа зрителей покачнулась, взревела, взвыла, хлынула на рельсы, – человек в панаме сорвал с головы свою шляпу, подбросил ее в воздух и первый лег на землю рядом с забастовщиком, хлопнув его по плечу и крича в лицо его ободряющим голосом.

А за ним на рельсы стали падать, точно им ноги подрезали, – какие-то веселые шумные люди, люди, которых не было здесь за две минуты до этого момента. Они бросались на землю, смеясь, строили друг другу гримасы и кричали офицеру, который, потрясая перчатками под носом человека в цилиндре, что-то говорил ему, усмехаясь, встряхивая красивой головой.

А на рельсы всё сыпались люди, женщины бросали свои корзины и какие-то узлы, со смехом ложились мальчишки, свертываясь калачиком, точно озьябшие собаки, перекатывались с боку на бок, пачкаясь в пыли, какие-то прилично одетые люди.

Пятеро солдат с площадки первого вагона смотрели вниз на груды тел под колесами и – хохотали, качаясь на ногах, держась за стойки, закидывая головы вверх и выгибаясь, теперь – они не похожи на жестяные заводные игрушки.

...Через полчаса по всему Неаполю с визгом и скрипом мчались вагоны трамвая, на площадках стояли, весело ухмыляясь, победители, и вдоль вагонов ходили они же, вежливо спрашивая:

– Билетти?!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Люди, протягивая им красные и желтые бумажки, подмигивают, улыбаются, добродушно ворчат.

1911

IV

Синее спокойное озеро в глубокой раме гор, окрыленных вечным снегом, темное кружево садов пышными складками опускается к воде, с берега смотрят в воду белые дома, кажется, что они построены из сахара, и всё вокруг похоже на тихий сон ребенка.

Утро. С гор ласково течет запах цветов, только что взошло солнце; на листьях деревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Серая лента дороги брошена в тихое ущелье гор, дорога мощена камнем, но кажется мягкой, как бархат, хочется погладить ее рукою.

Около груди щебня сидит черный, как жук, рабочий, на груди у него медаль, лицо смелое и ласковое.

Положив бронзовые кисти рук на колена свои, приподняв голову, он смотрит в лицо прохожего, стоящего под каштаном, говоря ему:

– Это, синьор, медаль за работу в Симплонском туннеле.

И, опустив глаза на грудь, ласково усмехается красивому куску металла.

– Э, всякая работа трудна, до времени, пока ее не полюбишь, а потом – она возбуждает и становится легче. Все-таки – да, было трудно!

Он тихонько покачал головой, улыбаясь солнцу, внезапно оживился, взмахнул рукою, черные глаза заблестели.

– Было даже страшно, иногда. Ведь и земля должна что-нибудь чувствовать – не так ли? Когда мы вошли в нее глубоко, прорезав в горе эту рану, – земля там, внутри, встретила нас сурово. Она дышала на нас жарким дыханием, от него замирало сердце, голова становилась тяжелой и болели кости, – это испытано многими! Потом она сбрасывала на людей камни и обливала нас горячей водой; это было очень страшно! Порою, при огне, вода становилась красной, и отец мой говорил мне: «Ранили мы землю, потопит, сожжет она всех нас своею кровью, увидишь!» Конечно, это фантазия, но когда такие слова слышишь глубоко в земле, среди душной тьмы, плачевного хлюпанья воды и скрежета железа о камень, – забываешь о фантазиях. Там всё было фантастично, дорогой синьор; мы, люди, – такие маленькие, и она, эта гора, – до небес, гора, которой мы сверлили чрево... это надо видеть, чтоб понять! Надо видеть черный зев, прорезанный нами, маленьких людей, входящих в него утром, на восходе солнца, а солнце смотрит печально вслед уходящим в недра земли, – надо видеть машины, угрюмое лицо горы, слышать темный гул глубоко в ней и эхо взрывов, точно хохот безумного.

Он осмотрел свои руки, поправил на синей куртке жетон, тихонько вздохнул.

– Человек – умеет работать! – продолжал он с гордостью. – О, синьор, маленький человек, когда он хочет работать, – непобедимая сила! И поверьте: в конце концов этот маленький человек сделает всё, чего хочет. Мой отец сначала не верил в это.

«Прорезать гору насквозь из страны в страну, – говорил он, – это против бога, разделившего землю стенами гор, – вы увидите, что мадонна будет не с нами!» Он ошибся, мадонна со всеми, кто любит ее. Позднее отец тоже стал думать почти так же, как вот я говорю вам, потому что почувствовал себя выше, сильнее горы; но было время, когда он по праздникам, сидя за столом перед бутылкой вина, внушал мне и другим:

«Дети бога», – это любимая его поговорка, потому что он был добрый и религиозный человек, – «дети бога, так нельзя бороться с землей, она отомстит за свои раны и останется непобежденной! Вот вы увидите: просверлим мы гору до сердца, и когда коснемся его – оно сожжет нас, бросит в нас огонь, потому что сердце земли – огненное, это знают все! Возделывать землю – это так, помогать ее родам – нам заповедано, а мы искажаем ее лицо, ее формы. Смотрите: чем дальше врываемся мы в гору, тем горячее воздух и труднее дышать»...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Человек тихонько засмеялся, подкручивая усы пальцами обеих рук.

– Не один он думал так, и это верно было: чем дальше – тем горячее в туннеле, тем больше хворало и падало в землю людей. И всё сильнее текли горячие ключи, осыпалась порода, а двое наших, из Лугано, сошли с ума. Ночами в казарме у нас многие бредили, стонали и вскакивали с постелей в некоем ужасе...

«Разве я не прав? – говорил отец, со страхом в глазах и кашляя всё чаще, глуше...
– Разве я не прав? – говорил он. – Это непобедимо, земля!»

И наконец – лег, чтобы уже не встать никогда. Он был крепок, мой старик, он больше трех недель спорил со смертью, упорно, без жалоб, как человек, который знает себе цену.

«Моя работа – кончена, Паоло, – сказал он мне однажды ночью. – Береги себя и возвращайся домой, да сопутствует тебе мадонна!» Потом долго молчал, закрыв глаза, задыхаясь.

Человек встал на ноги, оглядел горы и потянулся с такой силою, что затрещали сухожилия.

– Взял за руку меня, привлек к себе и говорит – святая правда, синьор! –
«Знаешь, Паоло, сын мой, я все-таки думаю, что это совершится: мы и те, что идут с другой стороны, найдем друг друга в горе, мы встретимся – ты веришь в это?»

Я – верил.

«Хорошо, сын мой! Так и надо: всё надо делать с верой в благостный исход и в бога, который помогает, молитвами мадонны, добрым делам. Я прошу тебя, сын, если это случится, если сойдутся люди – приди ко мне на могилу и скажи: отец – сделано! Чтобы я знал!»

Это было хорошо, дорогой синьор, и я обещал ему. Он умер через пять дней после этих слов, а за два дня до смерти просил меня и других, чтоб его зарыли там, на месте, где он работал в туннеле, очень просил, но это уже бред, я думаю...

Мы и те, что шли с другой стороны, встретились в горе через тринадцать недель после смерти отца – это был безумный день, синьор! О, когда мы услышали там, под землю, во тьме, шум другой работы, шум идущих встречу нам под землю – вы поймите, синьор, – под огромною тяжестью земли, которая могла бы раздавить нас, маленьких, всех сразу!

Много дней слышали мы эти звуки, такие гулкие, с каждым днем они становились всё понятнее, яснее, и нами овладевало радостное бешенство победителей – мы работали, как злые духи, как бесплотные, не ощущая усталости, не требуя указаний, – это было хорошо, как танец в солнечный день, честное слово! И все мы стали так милы и добры, как дети. Ах, если бы вы знали, как сильно, как нестерпимо страстно желание встретить человека во тьме, под землей, куда ты, точно крот, врывался долгие месяцы!

Он весь вспыхнул, подошел вплоть к слушателю и, заглядывая в глаза ему своими глубокими человеческими глазами, тихо и радостно продолжал:

– А когда наконец рушился пласт породы, и в отверстии засверкал красный огонь факела, и чье-то черное, облитое слезами радости лицо, и еще факелы и лица, и загремели крики победы, крики радости, – о, это лучший день моей жизни, и, вспоминая его, я чувствую – нет, я недаром жил! Была работа, моя работа, святая работа, синьор, говорю я вам! И когда мы вышли из-под земли на солнце, то многие, ложась на землю грудью, целовали ее, плакали – и это было так хорошо, как сказка! Да, целовали побежденную гору, целовали землю – в тот день особенно близка и понятна стала она мне, синьор, и полюбил я ее, как женщину!

Конечно, я пошел к отцу, о да! Конечно, – хотя я знаю, что мертвые не могут ничего слышать, но я пошел: надо уважать желания тех, кто трудился для нас и не менее нас страдал, – не так ли?

Да, да, я пошел к нему на могилу, постучал о землю ногой и сказал, – как он желал этого:

«Отец – сделано! – сказал я. – Люди – победили. Сделано, отец!»

1911

IX

Прославим женщину – Мать, неиссякаемый источник всё побеждающей жизни!

Здесь пойдет речь о железном Тимур-ленге, хромом барсе, о Сахиб-и-Кирани – счастливом завоевателе, о Тамерлане, как называли его неверные, о человеке, который хотел разрушить весь мир.

Пятьдесят лет ходил он по земле, железная стопа его давила города и государства, как нога слона муравейники, красные реки крови текли от его путей во все стороны; он строил высокие башни из костей побежденных народов; он разрушал жизнь, споря в силе своей со Смертью, он мстил ей за то, что она взяла сына его Джигангира; страшный человек – он хотел отнять у нее все жертвы – да издохнет она с голода и тоски!

С того дня, как умер сын его Джигангир и народ Самарканда встретил победителя злых джеттов одетый в черное и голубое, посыпав головы свои пылью и пеплом, с того дня и до часа встречи со Смертью в Отраре, где она поборола его, – тридцать лет Тимур ни разу не улыбнулся – так жил он, сомкнув губы, ни пред кем не склоняя головы, и сердце его было закрыто для сострадания тридцать лет!

Прославим в мире женщину – Мать, единую силу, пред которой покорно склоняется Смерть! Здесь будет сказана правда о Матери, о том, как преклонился пред нею слуга и раб Смерти, железный Тамерлан, кровавый бич земли.

Вот как это было: пировал Тимур-бек в прекрасной долине Канигула, покрытой облаками роз и жасмина, в долине, которую поэты Самарканда называли «Любовь цветов» и откуда видны голубые минареты великого города, голубые купола мечетей.

Пятнадцать тысяч круглых палаток раскинуто в долине широким веером, все они – как тюльпаны, и над каждой – сотни шелковых флагов трепещут, как живые цветы.

А в середине их – палатка Гуругана-Тимура – как царица среди своих подруг. Она о четырех углах, сто шагов по сторонам, три копия в высоту, ее середина – на двенадцати золотых колоннах в толщину человека, на вершине ее голубой купол, вся она из черных, желтых, голубых полос шелка, пятьсот красных шнуров прикрепили ее к земле, чтобы она не поднялась в небо, четыре серебряных орла по углам ее, а под куполом, в середине палатки, на возвышении, – пятый, сам непобедимый Тимур-Гуруган, царь царей.

На нем широкая одежда из шелка небесного цвета, ее осыпают зерна жемчуга – не больше пяти тысяч крупных зерен, да! На его страшной седой голове белая шапка с рубином на острой верхушке, и качается, качается – сверкает этот кровавый глаз, озирая мир.

Лицо Хромого, как широкий нож, покрытый ржавчиной от крови, в которую он погружался тысячи раз; его глаза узки, но они видят всё, и блеск их подобен холодному блеску царамута, любимого камня арабов, который неверные зовут изумрудом и который убивает падучую болезнь. А в ушах царя – серьги из рубинов Цейлона, из камней цвета губ красивой девушки.

На земле, на коврах, каких больше нет, – триста золотых кувшинов с вином и всё, что надо для пира царей, сзади Тимура сидят музыканты, рядом с ним – никого, у ног его – его кровные, цари и князья, и начальники войск, а ближе всех к нему – пьяный Кермани-поэт, тот, который однажды, на вопрос разрушителя мира:

– Кермани! Сколько б ты дал за меня, если б меня продавали? – ответил сеятелю смерти и ужаса:

– Двадцать пять аскеров.

– Но это цена только моего пояса! – вскричал удивленный Тимур.

– Я ведь и думаю только о поясе, – ответил Кермани, – только о поясе, потому что сам ты не стоишь ни гроша!

Вот как говорил поэт Кермани с царем царей, человеком зла и ужаса, и да будет для нас слава поэта, друга правды, навсегда выше славы Тимура.

Прославим поэтов, у которых один бог – красиво сказанное, бесстрашное слово правды, вот кто бог для них – навсегда!

И вот, в час веселья, разгула, гордых воспоминаний о битвах и победах, в шуме музыки и народных игр пред палаткой царя, где прыгали бесчисленные пестрые шуты, боролись силачи, изгибались канатные плясуны, заставляя думать, что в их телах нет костей, состязаясь в ловкости убивать, фехтовали воины и шло представление со слонами, которых окрасили в красный и зеленый цвета, сделав этим одних – ужасными и смешными – других, – в этот час радости людей Тимура, пьяных от страха пред ним, от гордости славой его, от усталости побед, и вина, и кумыса, – в этот безумный час, вдруг, сквозь шум, как молния сквозь тучу, до ушей победителя Баязета-султана долетел крик женщины, гордый крик орлицы, звук, знакомый и родственный его оскорбленной душе, – оскорбленной Смертью и потому жестокой к людям и жизни.

Он приказал узнать, кто там кричит голосом без радости, и ему сказали, что явилась какая-то женщина, она вся в пыли и лохмотьях, она кажется безумной, говорит по-арабски и требует – она требует! – видеть его, повелителя трех стран света.

– Приведите ее! – сказал царь.

И вот пред ним женщина – босая, в лохмотках выцветших на солнце одежд, черные волосы ее были распущены, чтобы прикрыть голую грудь, лицо ее, как бронза, а глаза повелительны, и темная рука, протянутая Хромому, не дрожала.

– Это ты победил султана Баязета? – спросила она.

– Да, я. Я победил многих и его и еще не устал от побед. А что ты скажешь о себе, женщина?

– Слушай! – сказала она. – Что бы ты ни сделал, ты – только человек, а я – мать! Ты служишь смерти, я – жизни. Ты виноват предо мной, и вот я пришла требовать, чтоб ты искупил свою вину, – мне говорили, что девиз твой «Сила – в справедливости», – я не верю этому, но ты должен быть справедлив ко мне, потому что я – мать!

Царь был достаточно мудр для того, чтобы почувствовать за дерзостью слов силу их, – он сказал:

– Сядь и говори, я хочу слушать тебя!

Она села – как нашла удобным – в тесный круг царей, на ковер, и вот что рассказала она:

– Я – из-под Салерно, это далеко, в Италии, ты не знаешь где! Мой отец – рыбак, мой муж – тоже, он был красив, как счастливый человек, – это я поила его счастьем! И еще был у меня сын – самый прекрасный мальчик на земле...

– Как мой Джигангир, – тихо сказал старый воин.

– Самый красивый и умный мальчик – это мой сын! Ему было шесть лет уже, когда к нам на берег явились сарацины-пираты, они убили отца моего, мужа и еще многих, а мальчика похитили, и вот четыре года, как я его ищу на земле. Теперь он у тебя, я это знаю, потому что воины Баязета схватили пиратов, а ты – победил Баязета и отнял у него всё, ты должен знать, где мой сын, должен отдать мне его!

Все засмеялись, и сказали тогда цари – они всегда считают себя мудрыми!

– Она – безумна! – сказали цари и друзья Тимура, князья и военачальники его, и все смеялись.

Только Кермани смотрел на женщину серьезно, и с великим удивлением Тамерлан.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Она безумна как мать! – тихо молвил пьяный поэт Кермани; а царь – враг мира – сказал:

– Женщина! Как же ты пришла из этой страны, неведомой мне, через моря, реки и горы, через леса? Почему звери и люди – которые часто злее злейших зверей – не тронули тебя, ведь ты шла, даже не имея оружия, единственного друга беззащитных, который не изменяет им, доколе у них есть сила в руках? Мне надо знать всё это, чтобы поверить тебе и чтобы удивление пред тобою не мешало мне понять тебя!

Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир! Всё прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни!

Сказала она Тимур-ленгу:

– Море я встретила только одно, на нем было много островов и рыбацких лодок, а ведь если ищешь любимое – дует попутный ветер. Реки легко переплыть тому, кто рожден и вырос на берегу моря. Горы? – я не заметила гор.

Пьяный Кермани весело сказал:

– Гора становится долиной, когда любишь!

– Были леса по дороге, да, это – было! Встречались вепри, медведи, рыси и страшные быки, с головой, опущенной к земле, и дважды смотрели на меня барсы, глазами, как твои. Но ведь каждый зверь имеет сердце, я говорила с ними, как с тобой, они верили, что я – Мать, и уходили, вздыхая, – им было жалко меня! Разве ты не знаешь, что звери тоже любят детей и умеют бороться за жизнь и свободу их не хуже, чем люди?

– Так, женщина! – сказал Тимур. – И часто – я знаю – они любят сильнее, борются упорнее, чем люди!

– Люди, – продолжала она, как дитя, ибо каждая Мать – сто раз дитя в душе своей, – люди – это всегда дети своих матерей, – сказала она, – ведь у каждого есть Мать, каждый чей-то сын, даже и тебя, старик, ты знаешь это, – родила женщина, ты можешь отказаться от бога, но от этого не откажешься и ты, старик!

– Так, женщина! – воскликнул Кермани, бесстрашный поэт. – Так, – от сборища быков – телят не будет, без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, без женщины нет любви, без Матери – нет ни поэта, ни героя!

И сказала женщина:

– Отдай мне моего ребенка, потому что я – Мать и люблю его!

Поклонимся женщине – она родила Моисея, Магомета и великого пророка Иисуса, который был умерщвлен злыми, но – как сказал Шерифэддин – он еще воскреснет и придет судить живых и мертвых, в Дамаске это будет, в Дамаске!

Поклонимся Той, которая неумоимо родит нам великих! Аристотель сын Ее, и Фирдуси, и сладкий, как мед, Саади, и Омар Хайям, подобный вину, смешанному с ядом, Искандер и слепой Гомер – это всё Ее дети, все они пили Ее молоко, и каждого Она ввела в мир за руку, когда они были ростом не выше тюльпана, – вся гордость мира – от Матерей!

И вот задумался седой разрушитель городов, хромой тигр Тимур-Гуруган, и долго молчал, а потом сказал ко всем:

– Мен тангри кули Тимур! Я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – жил я, уже много лет, земля стонет подо мною, и тридцать лет, как я уничтожаю жатву смерти вот этою рукой, – для того уничтожаю, чтобы отомстить ей за сына моего Джигангира, за то, что она погасила солнце сердца моего! Боролись со мною за царства и города, но – никто, никогда – за человека, и не имел человек цены в глазах моих, и не знал я – кто он и зачем на пути моем? Это я, Тимур, сказал Баязету, победив его: «О Баязет, как видно – пред богом ничто государства и люди, смотри – он отдает их во власть таких людей, каковы мы: ты – кривой, я – хром!» Так сказал я ему, когда его привели ко мне в цепях и он не мог стоять под

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
тяжестью их, так сказал я, глядя на него в несчастьи, и почувствовал жизнь
горькою, как полынь, трава развалин!

я, раб божий Тимур, говорю что следует! Вот – сидит предо мною женщина, каких
тьмы, и она возбудила в душе моей чувства, неведомые мне. Говорит она мне, как
равному, и она не просит, а требует. И я вижу, понял я, почему так сильна эта
женщина, – она любит, и любовь помогла ей узнать, что ребенок ее – искра жизни,
от которой может вспыхнуть пламя на многие века. Разве все пророки не были
детьми и герои – слабыми? О, Джигангир, огонь моих очей, может быть, тебе
суждено было согреть землю, засеять ее счастьем – я хорошо полил ее кровью, и
она стала тучной!

Снова долго думал бич народов и сказал наконец:

– я, раб божий Тимур, говорю что следует! Триста всадников отправятся сейчас же
во все концы земли моей, и пусть найдут они сына этой женщины, а она будет ждать
здесь, и я буду ждать вместе с нею, тот же, кто воротится с ребенком на седле
своего коня, он будет счастлив – говорит Тимур! Так, женщина?

Она откинула с лица черные волосы, улыбнулась ему и ответила, кивнув головой:

– Так, царь!

Тогда встал этот страшный старик и молча поклонился ей, а веселый поэт Кермани
говорил, как дитя, с большой радостью:

Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!
Ах, прекрасны звезды в небе полуночи – знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета – знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней – знаю!
И ее улыбка ласковее солнца – знаю!
Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!
И сказал Тимур-ленг своему поэту:

– Так, Кермани! Не ошибся бог, избрав твои уста для того, чтоб возвещать его
мудрость!

– Э! Бог сам – хороший поэт! – молвил пьяный Кермани.

А женщина улыбалась, и улыбались все цари и князья, военачальники и все другие
дети, глядя на нее – Мать!

Всё это – правда; все слова здесь – истина, об этом знают наши матери, спросите
их, и они скажут:

– Да, всё это вечная правда, мы – сильнее смерти, мы, которые непрерывно дарим
миру мудрецов, поэтов и героев, мы, кто сеет в нем всё, чем он славен!

1911

XI

О Матерях можно рассказывать бесконечно.

Уже несколько недель город был обложен тесным кольцом врагов, закованных в
железо; по ночам зажигались костры, и огонь смотрел из черной тьмы на стены
города множеством красных глаз – они пылали злорадно, и это подстерегающее
горение вызывало в осажденном городе мрачные думы.

Со стен видели, как всё теснее сжималась петля врагов, как мелькают вокруг огней
их черные тени; было слышно ржание сытых лошадей, доносился звон оружия, громкий
хохот, раздавались веселые песни людей, уверенных в победе, – а что мучительнее
слышать, чем смех и песни врага?

Все ручьи, питавшие город водою, враги забросали трупами, они выжгли виноградники вокруг стен, вытоптали поля, вырубил сады – город был открыт со всех сторон, и почти каждый день пушки и мушкеты врагов осыпали его чугуном и свинцом.

По узким улицам города угрюмо шагали отряды солдат, истомленных боями, полуголодных; из окон домов изливались стоны раненых, крики бреда, молитвы женщин и плач детей. Разговаривали подавленно, вполголоса и, останавливая на полуслове речь друг друга, напряженно вслушивались – не идут ли на приступ враги?

Особенно невыносимой становилась жизнь с вечера, когда в тишине стоны и плач звучали яснее и обильнее, когда из ущелий отдаленных гор выползали сине-черные тени и, скрывая вражий стан, двигались к полуразбитым стенам, а над черными зубцами гор являлась луна, как потерянный щит, избитый ударами мечей.

Не ожидая помощи, изнуренные трудами и голодом, с каждым днем теряя надежды, люди в страхе смотрели на эту луну, острые зубья гор, черные пасти ущелий и на шумный лагерь врагов – всё напоминало им о смерти, и ни одна звезда не блестела утешительно для них.

В домах боялись зажигать огни, густая тьма заливала улицы, и в этой тьме, точно рыба в глубине реки, безмолвно мелькала женщина, с головой закутанная в черный плащ.

Люди, увидав ее, спрашивали друг друга:

– Это она?

– Она!

И прятались в ниши под воротами или, опустив головы, молча пробегали мимо нее, а начальники патрулей сурово предупреждали ее:

– Вы снова на улице, монна Марианна? Смотрите, вас могут убить, и никто не станет искать виновного в этом...

Она выпрямлялась, ждала, но патруль проходил мимо, не решаясь или безгучно поднять руку на нее; вооруженные люди обходили ее, как труп, а она оставалась во тьме и снова тихо, одиноко шла куда-то, переходя из улицы в улицу, немая и черная, точно воплощение несчастий города, а вокруг, преследуя ее, жалобно ползали печальные звуки: стоны, плач, молитвы и угрюмый говор солдат, потерявших надежду на победу.

Гражданка и мать, она думала о сыне и родине: во главе людей, разрушавших город, стоял ее сын, веселый и безжалостный красавец; еще недавно она смотрела на него с гордостью, как на драгоценный свой подарок родине, как на добрую силу, рожденную ею в помощь людям города – гнезда, где она родилась сама, родила и выкормила его. Сотни неразрывных нитей связывали ее сердце с древними камнями, из которых предки ее построили дома и сложили стены города, с землей, где лежали кости ее кровных, с легендами, песнями и надеждами людей – теряло сердце матери ближайшего ему человека и плакало: было оно подобно весам, но, взвешивая любовь к сыну и городу, не могло понять – что легче, что тяжелей.

Так ходила она ночами по улицам, и многие, не узнавая ее, пугались, принимали черную фигуру за олицетворение смерти, близкой всем, а узнавая, молча отходили прочь от матери изменника.

Но однажды, в глухом углу, около городской стены, она увидела другую женщину: стоя на коленях около трупа, неподвижная, точно кусок земли, она молилась, подняв скорбное лицо к звездам, а на стене, над головой ее, тихо переговаривались сторожевые и скрежетало оружие, задевая камни зубцов.

Мать изменника спросила:

– Муж?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Нет.

– Брат?

– Сын. Муж убит тринадцать дней тому назад, а этот – сегодня.

И, поднявшись с колен, мать убитого покорно сказала:

– Мадонна всё видит, всё знает, и я благодарю ее!

– За что? – спросила первая, а та ответила ей:

– Теперь, когда он честно погиб, сражаясь за родину, я могу сказать, что он возбуждал у меня страх: легкомысленный, он слишком любил веселую жизнь, и было боязно, что ради этого он изменит городу, как это сделал сын Марианны, враг бога и людей, предводитель наших врагов, будь он проклят, и будь проклято чрево, носившее его!..

Закрыв лицо, Марианна отошла прочь, а утром на другой день явилась к защитникам города и сказала:

– Или убейте меня за то, что мой сын стал врагом вашим, или откройте мне ворота, я уйду к нему...

Они ответили:

– Ты – человек, и родина должна быть дорога тебе; твой сын такой же враг для тебя, как и для каждого из нас.

– Я – мать, я его люблю и считаю себя виновной в том, что он таков, каким стал.

Тогда они стали советоваться, что сделать с нею, и решили:

– По чести – мы не можем убить тебя за грех сына, мы знаем, что ты не могла внушить ему этот страшный грех, и догадываемся, как ты должна страдать. Но ты не нужна городу даже как заложница – твой сын не заботится о тебе, мы думаем, что он забыл тебя, дьявол, и – вот тебе наказание, если ты находишь, что заслужила его! Это нам кажется страшнее смерти!

– Да! – сказала она. – Это – страшнее.

Они открыли ворота перед нею, выпустили ее из города и долго смотрели со стены, как она шла по родной земле, густо насыщенной кровью, пролитой ее сыном: шла она медленно, с великим трудом отрывая ноги от этой земли, кланяясь трупам защитников города, брезгливо отталкивая ногою поломанное оружие, – матери ненавидят оружие нападения, признавая только то, которым защищается жизнь.

Она как будто несла в руках под плащом чашу, полную влагой, и боялась расплескать ее; удаляясь, она становилась всё меньше, а тем, что смотрели на нее со стены, казалось, будто вместе с нею отходит от них уныние и безнадежность.

Видели, как она на полпути остановилась и, сбросив с головы капюшон плаща, долго смотрела на город, а там, в лагере врагов, заметили ее, одну среди поля, и, не спеша, осторожно, к ней приближались черные, как она, фигуры.

Подшли и спросили – кто она, куда идет?

– Ваш предводитель – мой сын, – сказала она, и ни один из солдат не усумнился в этом. Шли рядом с нею, хвалебно говоря о том, как умен и храбр ее сын, она слушала их, гордо подняв голову, и не удивлялась – ее сын таков и должен быть!

И вот она пред человеком, которого знала за девять месяцев до рождения его, пред тем, кого она никогда не чувствовала вне своего сердца, – в шелке и бархате он пред нею, и оружие его в драгоценных камнях. Всё – так, как должно быть; именно таким она видела его много раз во сне – богатым, знаменитым и любимым.

– Мать! – говорил он, целуя ее руки. – Ты пришла ко мне, значит, ты поняла меня, и завтра я возьму этот проклятый город!

– В котором ты родился, – напомнила она.

Опьяненный подвигами своими, обезумевший в жажде еще большей славы, он говорил ей с дерзким жаром молодости:

– Я родился в мире и для мира, чтобы поразить его удивлением! Я щадил этот город ради тебя – он как заноза в ноге моей и мешает мне так быстро идти к славе, как я хочу этого. Но теперь – завтра – я разрушу гнездо упрямцев!

– Где каждый камень знает и помнит тебя ребенком, – сказала она.

– Камни – немые, если человек не заставит их говорить, – пусть горы заговорят обо мне, вот чего я хочу!

– Но – люди? – спросила она.

– О да, я помню о них, мать! И они мне нужны, ибо только в памяти людей бессмертны герои!

Она сказала:

– Герой – это тот, кто творит жизнь вопреки смерти, кто побеждает смерть...

– Нет! – возразил он. – Разрушающий так же славен, как и тот, кто созидает города. Посмотри – мы не знаем, Эней или Ромул построили Рим, но – точно известно имя Алариха и других героев, разрушавших этот город.

– Который пережил все имена, – напомнила мать.

Так говорил он с нею до заката солнца, она всё реже перебывала его безумные речи, и всё ниже опускалась ее гордая голова.

Мать – творит, она – охраняет, и говорить при ней о разрушении значит говорить против нее, а он не знал этого и отрицал смысл ее жизни.

Мать – всегда против смерти; рука, которая вводит смерть в жилища людей, ненавистна и враждебна Матерям, – ее сын не видел этого, ослепленный холодным блеском славы, убивающим сердце.

И он не знал, что Мать – зверь столь же умный, безжалостный, как и бесстрашный, если дело идет о жизни, которую она, Мать, творит и охраняет.

Сидела она согнувшись, и сквозь открытое полотнище богатой палатки предводителя ей был виден город, где она впервые испытала сладостную дрожь зачатия и мучительные судороги рождения ребенка, который теперь хочет разрушать.

Багряные лучи солнца обливали стены и башни города кровью, зловеще блестели стекла окон, весь город казался израненным, и через сотни ран лился красный сок жизни; шло время, и вот город стал чернеть, как труп, и, точно погребальные свечи, зажглись над ним звезды.

Она видела там, в темных домах, где боялись зажечь огонь, дабы не привлечь внимания врагов, на улицах, полных тьмы, запаха трупов, подавленного шепота людей, ожидающих смерти, – она видела всё и всех; знакомое и родное стояло близко пред нею, молча ожидая ее решения, и она чувствовала себя матерью всем людям своего города.

С черных вершин гор в долину спускались тучи и, точно крылатые кони, летели на город, обреченный смерти.

– Может быть, мы обрушимся на него еще ночью, – говорил ее сын, – если ночь будет достаточно темна! Неудобно убивать, когда солнце смотрит в глаза и блеск оружия ослепляет их – всегда при этом много неверных ударов, – говорил он, рассматривая свой меч.

Мать сказала ему:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Иди сюда, положи голову на грудь мне, отдохни, вспоминая, как весел и добр был ты ребенком и как все любили тебя...

Он послушался, прилег на колени к ней и закрыл глаза, говоря:

– я люблю только славу и тебя, за то, что ты родила меня таким, каков я есть.

– А женщины? – спросила она, наклонясь над ним.

– Их – много, они быстро надоедают, как всё слишком сладкое.

Она спросила его в последний раз:

– И ты не хочешь иметь детей?

– Зачем? Чтобы их убили? Кто-нибудь, подобный мне, убьет их, а мне это будет больно, и тогда я уже буду стар и слаб, чтобы мстить за них.

– Ты красив, но бесплоден, как молния, – сказала она, вздохнув.

Он ответил, улыбаясь:

– Да, как молния...

И задремал на груди матери, как ребенок. Тогда она, накрыв его своим черным плащом, воткнула нож в сердце его, и он, вздрогнув, тотчас умер – ведь она хорошо знала, где бьется сердце сына. И, сбросив труп его с колен своих к ногам изумленной стражи, она сказала в сторону города:

– Человек – я сделала для родины всё, что могла; Мать – я остаюсь со своим сыном! Мне уже поздно родить другого, жизнь моя никому не нужна.

И тот же нож, еще теплый от крови его – ее крови, – она твердой рукою вонзила в свою грудь и тоже верно попала в сердце, – если оно болит, в него легко попасть.

1911

XXII

Квартал святого Якова справедливо гордится своим фонтаном, у которого любил отдыхать, весело беседуя, бессмертный Джованни Боккачио и который не однажды был написан на больших полотнах великим Сальватором Роза, другом Томазо Аниелло – Мазаниелло, как прозвал его бедный народ, за чью свободу он боролся и погиб, – Мазаниелло родился тоже в нашем квартале.

Вообще – в квартале нашем много родилось и жило замечательных людей, – в старину они рождались чаще, чем теперь, и были заметней, а ныне, когда все ходят в пиджаках и занимаются политикой, трудно стало человеку подняться выше других, да и душа туго растет, когда ее пеленают газетной бумагой.

До лета прошлого года другою гордостью квартала была Нунча, торговка овощами, – самый веселый человек в мире и первая красавица нашего угла, – над ним солнце стоит всегда немножко дольше, чем над другими частями города. Фонтан, конечно, остался доныне таким, как был всегда; всё более желтея от времени, он долго будет удивлять иностранцев забавной своей красотой, – мраморные дети не стареют и не устают в играх.

А милая Нунча летом прошлого года умерла на улице во время танца, – редко бывает, чтоб человек умер так, и об этом стоит рассказать.

Она была слишком веселой и сердечной женщиной для того, чтоб спокойно жить с мужем; муж ее долго не понимал этого – кричал, божился, размахивал руками, показывал людям нож и однажды пустил его в дело, проколов кому-то бок, но полиция не любит таких шуток, и Стефано, посидев немного в тюрьме, уехал в Аргентину; перемена воздуха очень помогает сердитым людям.

Нунча в двадцать три года осталась вдовой с пятилетней дочерью на руках, с парой ослов, огородом и тележкой, – веселому человеку не много нужно, и для нее этого вполне достаточно. Работать она умела, охотников помочь ей было много; когда же у нее не хватало денег, чтоб заплатить за труд, – она платила смехом, песнями и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
всем другим, что всегда дороже денег.

Не все женщины были довольны ее жизнью, и мужчины, конечно, не все, но, имея честное сердце, она не только не трогала женатых, а даже часто умела помирить их с женами, – она говорила:

– Кто разлюбил женщину – значит, он не умеет любить...

Артур Лано, рыбак, который юношей учился в семинарии, готовясь быть священником, но потерял дорогу к сутане и в рай, заблудившись в море, в кабачках и везде, где весело, – Лано, великий мастер сочинять нескромные песни, сказал ей однажды:

– Ты, кажется, думаешь, что любовь – наука такая же трудная, как богословие?

Она ответила:

– Наук я не знаю, но твои песни – все. – И пропела ему, толстому, как бочка:

Это уж так водится:

Тогда весна была –

Сама богородица

Весною зачала.

Он, разумеется, хохотал, спрятав умные глазки в красный жир своих щек.

Так и жила она, радуясь сама, на радость многим, приятная для всех, даже ее подруги примирились с нею, поняв, что характер человека – в его костях и крови, вспомнив, что даже святые не всегда умели побеждать себя. Наконец, мужчина – не бог, а только богу нельзя изменить...

Лет десять сияла Нунча звездой, всеми признанная первая красавица, лучшая танцовка квартала, и, будь она девушкой, – ее, конечно, выбрали бы королевой рынка, чем она и была в глазах всех.

Даже иностранцам показывали ее, и многие из них очень желали беседовать с нею наедине, – это всегда смешило ее до упада.

– На каком языке будет говорить со мною этот сто раз выстиранный синьор?

– На языке золотых монет, дурочка, – убеждали ее солидные люди, но она отвечала:

– Чужим я не могу продать ничего, кроме лука, чесноку, помидоров...

Были случаи, когда люди, искренно желавшие ей добра, говорили с нею очень настойчиво:

– Какой-нибудь месяц, Нунча, и – ты богата! Подумай хорошо над этим, вспомни, что у тебя есть дочь...

– Нет, – возражала она, – я люблю мое тело и не могу оскорбить его! Я знаю, – стоит только один раз сделать что-нибудь нехотя, и уже навсегда потеряешь уважение к себе...

– Но – ведь ты не отказываешь другим!

– Своим, и – когда хочу...

– Э, что такое – свои?

Она знала это:

– Люди, среди которых выросла моя душа и которые понимают ее...

Но все-таки у нее была история с одним форестьером из Англии, – очень странный, молчаливый человек, хотя он хорошо знал наш язык. Молодой, а волосы уже седые, и поперек лица – шрам; лицо – разбойника, глаза святого. Одни говорили, будто бы он пишет книги, другие утверждали, что он – игрок. Она даже уезжала с ним куда-то в Сицилию и возвратилась очень похудевшей. Но он едва ли был богат, – Нунча не привезла с собою ни денег, ни подарков. И снова стала жить среди своих,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
– как всегда, веселая, доступная всем радостям.

Но вот однажды в праздник, когда люди выходили из церкви, кто-то заметил удивленно:

– Смотрите-ка, – Нина становится совсем точно мать!

Это была правда, как майский день: дочь Нунчи незаметно для людей разгорелась звездой, такую же яркой, как мать. Ей было только четырнадцать лет, но – очень рослая, пышноволосая, с гордыми глазами – она казалась значительно старше и вполне готовой быть женщиной.

Даже сама Нунча удивилась, присмотревшись к ней:

– Святая мадонна! Неужели ты, Нина, хочешь быть красивой меня?

Девушка, улыбаясь, ответила:

– Нет, только такой, как ты, этого и для меня довольно...

И тогда впервые на лице веселой женщины люди увидели тень грусти, а вечером она сказала подругам:

– Вот наша жизнь! Не успеешь допить свой стакан до половины, а к нему уже потянулась новая рука...

Разумеется, сначала не заметно было и тени соперничества между матерью и Ниной, – дочь вела себя скромно, бережно, смотрела на мир сквозь ресницы и перед мужчинами неохотно открывала рот; а глаза матери горели всё жадней, и всё призывней звучал ее голос.

Люди вспыхивали около нее, как паруса на рассвете, когда их коснется первый луч солнца, и это верно: для многих Нунча была первым лучом дня любви, многие благодарно молчали о ней, видя, как она идет по улице рядом со своею тележкой, стройная, точно мачта, и голос ее взлетает на крыши домов. Хороша она была и на рынке, когда стояла перед ярко-разноцветной кучей овощей, точно написанная великим мастером на белом фоне церковной стены, – ее место было у церкви святого Якова, слева от паперти, она и умерла в трех шагах от него. Стоит и – точно горит вся, веселыми искрами летают над головами людей ее бойкие шутки, ее смех и песни, которых она знала тысячи.

Она умела одеться так, что ее красота выигрывала, как доброе вино в стакане хорошего стекла: чем прозрачнее стекло – тем лучше оно показывает душу вина, цвет всегда дополняет запах и вкус, доигрывая до конца ту красную песню без слов, которую мы пьем для того, чтоб дать душе немножко крови солнца. Вино, о господи! Мир со всем его шумом и суетою не стоил бы ослиного копыта, не имей человек сладкой возможности оросить свою бедную душу хорошим стаканом красного вина, которое, подобно святому причастию, очищает нас от злого праха грехов и учит любить и прощать этот мир, где довольно-таки много всякой дряни... Вы только посмотрите сквозь ваш стакан на солнце, – вино расскажет вам такие сказки...

Стоит Нунча на солнце, зажигая веселые мысли и желание нравиться ей, – перед красивой женщиной стыдно быть незаметным человеком и всегда хочется прыгнуть выше самого себя. Много доброго сделано было Нунчей, много сил разбудила она и влила в жизнь. Хорошее всегда зажигает желание лучшего.

Да, а около матери всё чаще является дочь, скромная, как монахиня или как нож в ножнах. Мужчины смотрят, сравнивают, и, может быть, некоторым становится понятно, что иногда чувствует женщина и как обидно ей жить.

Идет время, всё ускоряя свой торопливый, мелкий шаг, золотыми пылинками в красном луче солнца мелькают во времени люди. Нунча всё чаще сдвигает густые брови, а порою, закусив губу, смотрит на дочь, как игрок на другого, стараясь догадаться, каковы его карты...

Проходит год, два, – дочь всё ближе к матери и – дальше от нее. Уже всем заметно, что парни не знают, куда смотреть ласковей – на ту или эту. А подруги, – друзья и подруги любят укунить там, где чешется, – подруги спрашивают:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Что, Нунча, гасит тебя дочь?

Женщина, смеясь, отвечала:

– Большие звезды и при луне видны...

Как мать – она гордилась красотой дочери, как женщина – Нунча не могла не завидовать юности.

Нина встала между нею и солнцем, – матери обидно было жить в тени.

Лано сочинил новую песенку, в первом куплете ее говорилось:

Будь я мужчиной, – и тогда
Заставила бы дочь мою
Родить земле красавицу,
Как я в ее года...

Нунча не хотела петь эту песню. Шел слух, будто Нина не однажды уже говорила Нунче:

– Мы могли бы жить лучше, если б ты была более благоразумна.

И настал день, когда дочь сказала матери:

– Мама, ты слишком заслоняешь меня от людей, а ведь я уже не маленькая и хочу взять от жизни свое! Ты жила много и весело, – не пришло ли и для меня время жить?

– В чем дело? – спросила мать, виновато опустив глаза, – знала она, в чем дело.

Воротился из Австралии Энрико Борбоне, он был дровосеком в этой чудесной стране, где всякий желающий легко достает большие деньги, он приехал погреться на солнце родины и снова собирался туда, где живет свободней. Было ему тридцать шесть лет, бородатый, могучий, веселый, он прекрасно рассказывал о своих приключениях, о жизни в дремучих лесах; все принимали эту жизнь за сказку, мать и дочь – за правду.

– Я вижу, что нравлюсь Энрико, – говорила Нина, – а ты с ним играешь, и это, делая его легкомысленным, мешает мне.

– Понимаю, – сказала Нунча. – Хорошо, ты не станешь жаловаться мадонне на твою мать...

И эта женщина честно отошла прочь от человека, который – все видели – был приятен ей больше многих других.

Но известно, что легкие победы делают победителей заносчивыми, а если победитель еще дитя – дело совсем плохо!

Нина стала говорить со своей матерью не так, как заслуживала Нунча; и вот однажды, в день святого Якова, на празднике нашего квартала, когда все люди веселились от души, а Нунча уже великолепно станцевала тарантеллу, – дочь заметила ей при всех:

– Не слишком ли много танцуешь ты? Пожалуй, это не по годам тебе, пора щадить сердце...

Все, кто слышал дерзкие слова, сказанные ласково, замолчали на секунду, а Нунча в ярости крикнула, подпирая руками стройные бока:

– Мое сердце? Ты заботишься о нем, да? Хорошо, девочка, спасибо! Но – посмотрим, чье сердце сильнее!

И, подумав, предложила:

– Мы пробежим с тобою отсюда до фонтана трижды туда и обратно, не отдыхая, конечно...

Многим показалась смешной эта гонка женщин, были люди, которые отнеслись к этому как к позорному скандалу, но большинство, уважая Нунчу, взглянуло на ее предложение с серьезной шутливостью и заставило Нину принять вызов матери.

Выбрали судей, назначили предельную скорость бега, – всё, как на скачках, подробно и точно. Было много женщин и мужчин, которые, искренно желая видеть мать победительницей, благословляли ее и давали добрые обеты мадонне, если только она согласится помочь Нунче, даст ей силу.

И вот мать и дочь стоят рядом, не глядя друг на друга, вот глухо ударил бубен, они сорвались и летят вдоль улицы на площадь, как две большие белые птицы, – мать в красном платке на голове, дочь – в голубом.

Уже с первых минут стало ясно, что дочь уступит матери в легкости и силе, – Нунча бежала так свободно и красиво, точно сама земля несла ее, как мать ребенка, – люди стали бросать из окон и с тротуаров цветы под ноги ей и рукоплескали, одобряя ее криками; в два конца она опередила дочь на четыре минуты с лишком, и Нина, разбитая, обиженная неудачей, в слезах и задыхаясь, упала на ступени паперти, – не могла уже бежать третий раз.

Бодрая, словно кошка, Нунча наклонилась над нею, смеясь вместе со многими:

– Дитя, – говорила она, поглаживая рассыпавшиеся волосы девушки своей сильной рукой, – дитя, надо знать, что наиболее сильное сердце в забавах, работе и любви – сердце женщины, испытанной жизнью, а жизнь узнаешь далеко за тридцать... дитя, не огорчайся!..

И, не давая себе отдохнуть после бега, Нунча снова пожелала танцевать тарантеллу:

– Кто хочет?

Вышел Энрико, снял шляпу и, низко поклонясь этой славной женщине, долго держал голову почтительно склоненной перед нею.

Грянул, загудел, зажужжал бубен, и вспыхнула эта пламенная пляска, опьяняющая, точно старое, крепкое, темное вино; завертелась Нунча, извиваясь, как змея, – глубоко понимала она этот танец страсти, и велико было наслаждение видеть, как живет, играет ее прекрасное непобедимое тело.

Плясала она долго, со многими, мужчины уставали, а она всё не могла насытиться, и уже было за полночь, когда она, крикнув:

– Ну, еще раз, Энри, последний! – снова медленно начала танец с ним – глаза ее расширились и, ласково светясь, обещали много, – но вдруг, коротко вскрикнув, она всплеснула руками и упала, как подрубленная под колени.

Доктор сказал, что она умерла от разрыва сердца.

Вероятно...

1913
XXVII

В безлунную ночь страстной субботы по окраинам города, в узких щелях улиц медленно ходит женщина в черном плаще, лицо ее прикрыто капюшоном и не видно, обильные складки широкого плаща делают ее огромной, идет она молча и кажется немым воплощением неисчерпаемой скорби.

За нею столь же медленно, тесной кучей – точно одно тело – плывут музыканты, – медные трубы жутко вытянуты вперед, просительно подняты к темному небу и рычат, вздыхают; гнусаво, точно невыспавшиеся монахи, поют кларнеты, и, словно старый злой патер, гудит фагот; мстительно жалуется корнет-а-пистон, ему безнадежно вторят валторны, печально молится баритон, и, охая, глухо гудит большой барабан, отбивая такт угрюмого марша, а вместе с дробной, сухой трелью маленького сливается шорох сотен ног по камням.

Тускло блестит медь желтым, мертвым огнем, люди, опоясанные ею, кажутся

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
чудовищно странными; инструменты из дерева торчат, как хоботы, – группа музыкантов, точно голова огромного черного змея, чье тело тяжело и черно влачится в тесных улицах среди серых стен.

Иногда это странное шествие ночью последних страданий Христа – изливается на маленькую площадь неправильных очертаний, – эти площади, точно дыры, протертые временем в каменной одежде города, – потом снова все втиснуто в щель улицы, как бы стараясь раздвинуть ее, и не один час этот мрачный змей, каждое кольцо которого – живое тело человека, ползает по городу, накрытому молчаливым небом, вслед за женщиной, возбуждающей странные догадки.

Немая и черная, словно окована непобедимой печалью, она что-то ищет в ночи, уводя воображение глубоко во тьму древних верований, напоминая Изиду, потерявшую брата-мужа, растерзанного злым Сетом-Тифоном, и кажется, что от ее непонятной фигуры исходит черное сияние, облекая всё жутким мраком давно пережитого и воскресшего в эту ночь, чтобы пробудить мысль о близости человека к прошлому.

Траурная музыка гулко бьет в окна домов, вздрагивают стекла, люди негромко говорят о чем-то, но все звуки стираются глухим шарканьем тысяч ног о камни мостовой, – твердые камни под ногами, а земля кажется непрочной, тесно на ней, густо пахнет человеком, и невольно смотришь вверх, где в туманном небе неярко блестят звезды.

Но – вот вдали, на высокой стене, на черных квадратах окон вспыхнуло отражение красного огня, вспыхнуло, исчезло, загорелось снова, и по толпе весенним вздохом леса пронесся подавленный шепот:

– Идут. идут...

Там, впереди, родился и начал жить, возрастая, другой шум – более светлый, там всё ярче разгорается огонь; эта женщина пошла вперед как будто быстрее, и толпа оживленнее хлынула за нею, даже музыка как будто на секунду потеряла темп – смялись, спутались звуки, и смешно высоко свистнула, заторопившись, флейта, вызвав негромкий смех.

И тотчас же, как-то вдруг, по-сказочному неожиданно – пред глазами развернулась небольшая площадь, а среди нее, в свете факелов и бенгальских огней, две фигуры: одна – в белых длинных одеждах, светловолосая, знакомая фигура Христа, другая – в голубом хитоне – Иоанн, любимый ученик Иисуса, а вокруг них темные люди с огнями в руках, на их лицах южан какая-то одна, всем общая улыбка великой радости, которую они сами вызвали к жизни и – гордятся ею.

Христос – тоже веселый, в одной руке он держит орудие казни своей, всё в цветах, быстро размахивая другою, он что-то говорит, Иоанн – смеется, закинув кудрявую голову, юный, безбородый, красивый, как Дионис.

Толпа вылилась на площадь потоком масла и как-то сразу образовала круг, и вот эта женщина – черная, как облачная ночь, – вдруг вся, как бы поднявшись на воздух, поплыла ко Христу, а подойдя почти вплоть к нему, остановилась, сбросила капюшон с головы, и облаком опустился плащ к ногам ее.

Тогда, в веселом и гордом трепете огней, из-под капюшона поднялась и засверкала золотом пышных волос светозарная голова мадонны, а из-под плаща ее и еще откуда-то из рук людей, ближайших к матери бога, всплескивая крыльями, взлетели в темный воздух десятки белых голубей, и на минуту показалось, что эта женщина в белом, сверкающем серебром платье и в цветах, и белый, точно прозрачный Христос, и голубой Иоанн – все трое они, такие удивительные, нездешние, поплыли к небу в живом трепете белых крыльев голубиных, точно в сонме херувимов.

– Gloria, madonna, gloria![3] – тысячью грудей грянула черная толпа, и – мир изменился: всюду в окнах вспыхнули огни, в воздухе простерлись руки с факелами в них, всюду летели золотые искры, горело зеленое, красное, фиолетовое, плавали голуби над головами людей, все лица смотрели вверх, радостно крича:

– Слава, мадонна, слава!

Колебались в отблесках огней стены домов, изо всех окон смотрели головы детей, женщин, девушек – яркие пятна праздничных одежд расцвели, как огромные цветы, а

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
мадонна, облитая серебром, как будто горела и таяла, стоя между Иоанном и Христом, – у нее большое розовое и белое лицо, с огромными глазами, мелко завитые, золотые волосы на голове, точно корона, двумя пышными потоками они падают на плечи ее. Христос смеется, звонко и весело, как и следует воскресшему, синеглазая мадонна, улыбаясь, качает головою, а Иоанн взял факел и, размахивая им в воздухе, брызжет огнем, – он еще совсем мальчик и, видимо, очень любит шалости – такой тонкий, остроглазый и ловкий, точно птица.

Они все трое смеются тем непобедимым смехом, который возможен только под солнцем юга, на берегах веселого моря, и смеются люди, заглядывая в их лица, – праздничные люди, которые изо всего умеют сделать красивое зрелище, а сами – красивейшее.

Конечно – тут дети, они мечутся по земле около трех фигур, как белые птицы в воздухе над ними, и кричат звонко, радостно, возбужденно:

– Gloria, madonna, gloria!

Старухи – молятся: смотрят на эту троицу, прекрасную, как сон, и, зная, что Христос – столяр из улицы Пизакане, Иоанн – часовщик, а мадонна – просто Аннита Брагалья, золотошвейка, – старухи очень хорошо знают всё это и – молятся, шепчут увядшими губами хорошие слова благодарности мадонне за всё, за всё... и больше всего за то, что она есть...

Где-то торжественно поют, и невольно вспоминаешь старую, знакомую песнь:

Смерти празднуем умерщвление...

Светает, в церквах веселый звон, колокола, торопливо захлебываясь, оповещают, что воскрес Христос, бог весны; на площади музыканты сдвинулись в тесное кольцо – грянула музыка, и, притопывая в такт ей, многие пошли к церквам, там тоже – органы гудят славу и под куполом летают множество птиц, принесенных людьми, чтобы выпустить их в ту минуту, когда густые голоса органа воспоют славу воскресшему богу весны.

Это славный обычай – вовлекать птиц, чистейшее из всех живых существ, в лучший праздник людей; удивительно хорошо поет сердце в тот миг, когда сотни маленьких разноперых пичужек летают по церкви, и щебечут, и поют, садясь на карнизы, статуи, залетая в алтарь.

Площадь пустеет; три светлые фигуры, взяв под руки друг друга, запели что-то, дружно и красиво, и пошли в улицу, музыканты двинулись за ними, и толпа вслед им; бегут дети, в сиянии красивых огней они – точно рассыпанные бусы кораллов, а голуби уже уселись на крышах, на карнизах и – воркуют.

И снова вспоминается хорошая песня:

«Христос воскрес...»

И все мы воскреснем из мертвых, смертью смерть поправ.

1912

Карамора

Вы знаете: я способен на подвиг. Ну, и вот также подлость, – порой так и тянет кому-нибудь какую-нибудь пакость сделать, – самому близкому.

Слова рабочего Захара Михайлова, провокатора, сказанные им следственной комиссии в 1917 г. «Былое», 1922, кн. 6-я, статья Н. Осиповского.

Иногда – ни с того ни с сего – приходят мысли плохие и подлые...

Н.И. Пирогов.

Позвольте подлость сделать!

Один из героев Островского.

Подлость требует иногда столь же самоотречения, как и подвиг героизма.

Из письма Л. Андреева.

По обдуманному поступку не узнаешь, каков есть человек, его выдают поступки необдуманные.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Н. С. Лесков в письме к Пыляеву.
У русского человека мозги набекрень.

И. С. Тургенев.

Отец мой был слесарь. Большой такой, добрый, очень веселый. В каждом человеке он прежде всего искал, над чем бы посмеяться. Меня он любил и прозвал Караморой, он всем давал прозвища. Есть такой крупный комар, похожий на паука, в просторечии его зовут – карамора. Я был мальчишка длинноногий, худощавый; любил ловить птиц. В играх был удачлив, в драках – ловок.

Дали мне они три дести бумаги: пиши, как всё это случилось. А зачем я буду писать? Всё равно: они меня убьют.

Вот – дождь идет. Действительно – идет: полосы, столбы воды двигаются над полем в город, и ничего не видно сквозь мокрый бредень. За окном – гром, шум, тюрьма притихла, трясется, дождь и ветер толкают ее, кажется, что старая эта тюрьма скользит по взмыленной земле, съезжает под уклон туда, на город. И я, сам в себе, как рыба в бредне.

Темно. Что я буду писать? Жили во мне два человека, и один к другому не притерся. Вот и всё.

А может быть, это не так. Все-таки писать я не буду. Не хочу. Да и не умею. И – темно писать. Лучше полежим, Карамора, покурим, подумаем.

Пускай убивают.

Всю ночь не спал. Душно. После дождя солнце так припекло землю, что в окно камеры дует с поля влажным жаром, точно из бани. В небе серпиком торчит четвертинка луны, похожая на рыжие усы Попова.

Всю ночь вспоминал жизнь мою. Что еще делать? Как в щель смотрел, а за щелью – зеркало, и в нем отражено, застыло пережитое мною.

Вспомнил Леопольда, первого наставника моего. Маленький голодный еврейчик, гимназист. Мне было в то время девятнадцать лет, а он года на два или на три моложе меня. Чахоточный, в близоруких очках, рожица желтая, нос кривой и докрасна затек от тяжелых очков. Показался он мне смешным и трусливым, как мышонок.

Тем более удивительно было видеть, как храбро и ловко он срывает покровы лжи, как грызет внешние связи людей, обнажая горчайшую правду бесчисленных обманов человека человеком.

Был он из тех, которые рождаются мудрыми стариками, и был неукротимо яростен в обличении социальной лжи. Даже дрожал от злости, оголяя пред нами жизнь, – точно ограбленный поймал вора и обыскивает его.

Мне, веселому парню, неприятно было слушать его злую речь. Я был доволен жизнью, не завистлив, не жаден, зарабатывал хорошо, путь свой я видел светлым ручьем. И вдруг чувствую: замутил еврейчик мою воду. Обидно было: я, здоровый русский парень, а вот эдакий ничтожный чужой мальчишка оказывается умнее меня; учит, раздражает, словно соль втирает в кожу мне.

Сказать против я ничего не умел, да и было ясно: Леопольд говорит правду. А сказать что-нибудь очень хотелось. Но ведь как скажешь: «Всё это – правда, только мне ее не нужно. Своя есть»?

Теперь понимаю: скажи я так, и вся моя жизнь пошла бы иным путем. Ошибся, не сказал. Пожалуй, именно потому не решился выговорить свои слова, что уж очень неприятно было: сидят четверо парней, на подбор молодцы, а глупее хворенького галчонка.

Торговля нашего города почти вся была в руках евреев, и поэтому их весьма не любили. Конечно, и я не имел причин относиться к ним лучше, чем все. Когда Леопольд ушел, я стал высмеивать товарищей: нашли учителя! Но Зотов, скорняк, который завел всю эту машину, озлился на меня, да и другие – тоже. Они уже не

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
первый раз слушали Леопольда и довольно плотно притерлись к нему.

Подумав, я тоже решил поступить в обработку пропагандиста, но поставил себе цель сконфузить Леопольда, как-нибудь унижить его в глазах товарищей; это уже не только потому, что он еврей, а потому что трудно было мне помириться с тем, что правда живет и горит в таком хилом, маленьком теле. Тут, конечно, не эстетика, а, так сказать, органическая подозрительность здорового человека, который боится заразы.

На этой игре я и запутался, на этом и проиграл себя. Уже после двух, трех бесед правда социализма стала мне так близка, так ясна, как будто я сам создал ее. Теперь я думаю, что тут запуталась одна ядовитая и тонкая штучка, которую я – сгоряча и по молодости моей – не заметил. Доказано, что по закону естества разума мысль рождается фактами. Разумом я принял социалистическую мысль как правду, но факты, из которых родилась эта мысль, не возмущали моего чувства, а факт неравенства людей был для меня естественным, законным. Я видел себя лучше Леопольда, умнее моих товарищей; еще мальчишкой я привык командовать, легко заставлял подчиняться мне, и вообще у меня не было чего-то необходимого социалисту – любви к людям, что ли? Не знаю – чего. Проще говоря: социализм был не по росту мне, не то – узок, не то – широк. Я много видел таких социалистов, для которых социализм – чужое дело. Они похожи на счетные машинки, им всё равно, какие цифры складывать, итог всегда верен, а души в нем нет, одна голая арифметика.

Под «душой» я понимаю мысль, возвышенную до безумия, так сказать, – верующую мысль, которая навсегда и неразрывно связана с волей. Суть моей жизни, должно быть, в том, что такой «души» у меня не было, а я этого не понимал.

Я был бойчее товарищей, лучше их разбирался в брошюрках, чаще, чем они, ставил Леопольду разные вопросы. Неприязнь к нему очень помогала мне; стараясь уличить его в том, что он не всё или не так знает, я стремился как можно скорее узнать больше, чем он. Соревнование с ним настолько быстро двигало меня вперед, что скоро я уже был первым в кружке и видел, что Леопольд гордится мною, как созданием разума своего.

Он, пожалуй, даже любил меня.

– Вы, Петр, настоящий, глубочайший революционер, – говорил он мне.

Удивительно начитанный и великий умник был он. Постоянно у него насморк, всегда кашлял, сухой, черненький, точно головня, курится едким дымом, стреляет искрами острых слов. Зотов говорил:

– Не живет, а – тлеет. Так и ждешь: вот-вот вспыхнет и – нет его!

Я слушал Леопольда с жадностью, с величайшим увлечением, но – обижал его. Например – спрашиваю:

– Вы всё говорите о европейских капиталистах, а вот о еврейских как будто и забыли?

Он, бедняга, сжался весь, замигал острыми глазенками и сказал, что хотя капитализм интернационален, но для евреев гораздо более, чем капиталисты, характерны и знаменательны враги капитализма – Лассаль, Маркс.

Потом он, с глазу на глаз, упрекал меня в склонности к юдофобству, но я отвел упреки, сказав, что его умолчание о евреях замечено не только мною, а всеми товарищами. Это была правда.

На восьмом месяце занятий с нами он был арестован вместе с другими интеллигентами, с год сидел в тюрьме, потом его сослали на север, и там он умер.

Это один из тех людей, которые живут, как слепые, вытарачив глаза, но – ничего не видят, кроме того, во что верят. Эдаким – легко жить. С таким зарядом я бы прожил не хуже их.

Привели в тюрьму солдата, – удивительно похож на отца в год его смерти: такой же
Страница 269

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
лысый, бородатый, так же глубоко, в темные ямы, провалились глаза, и
посмеивается виновато, как смеялся отец мой перед смертью.

– Петруха! – спрашивал он меня. – А ну, как умрешь – черти встретят?

Он умирать не хотел даже до смешного; лечился сразу у троих: у знаменитого
доктора Туркина, у какой-то знахарки в слободе, ходил к попу, который от всех
болезней пользовал настоем эфедры – «кузьмичовой травы». Боялся отец и за меня.
Говорит, бывало:

– Бросил бы ты, Петр, забаву эту! В том, что люди плохо живут, не твоя вина, –
почему же твоя обязанность налаживать чужую жизнь? Это всё равно как если б ты
чужих гусей пас, а своих без призора оставил.

В грубых мыслях правды больше. Конечно – люди посажены на цепь экономики.
Экономический материализм – учение ясное и никаких выдумок не допускает. Связь
между людьми – дело внешнее, механическое, насильственное. Пока мне выгодно – я
терплю эту связь, а невыгодно – открываю свою лавочку: прощайте, товарищи! Я –
не жаден, немного мне надо на мой срок жизни.

Среди товарищей есть эдакие поэты, лирики, что ли, проповедники любви к людям.
Это очень хорошие, наивные парни, я любовался ими, но понимал, что их любовь к
людям – выдумка, и – плохая. Понятно, что для тех, кто, не имея определенного
места в жизни, висит в воздухе, для тех проповедь любви к людям практически
необходима; это очень хорошо доказано наивным учением Христа. По существу дела –
забота о людях исходит не из любви к ним, а из необходимости окружить себя ими,
чтоб с их помощью, их силой, утвердить свою идею, позицию, свое честолюбие. Я
знаю, что интеллигенты в юности действительно ощущают физическое тяготение к
народу и думают, что это – любовь. Но это не любовь, а – механика, притяжение к
массе. В зрелом возрасте эти же поэты становятся скучнейшими ремесленниками,
кочегарами. Забота о людях уничтожает «любовь» к ним, обнаруживая простейшую
социальную механику.

В городе, ночами, постреливают. Сегодня, на рассвете, в камере надо мною кто-то
выл, стонал, топал ногами. Кажется – женщина.

Утром приходил от них товарищ Басов, спрашивал: пишу ли я? Пишу.

Он снова, как на первом допросе моем, ужаснулся, разводил руками, бормотал:

– Поверить невозможно, что это – вы, старый партиец, организатор восстания, один
из самых энергичных работников наших.

Неприятная у него манера говорить; слова будто жует, а они у него прилипают к
зубам, и языку трудно отодрать их. Он вообще неуклюжий, неловкий человек и –
кочегар. По неловкости своей часто сидел в тюрьмах. Скучный мужчина. Лицо у него
– лицо безвинно наказанного, на всю жизнь обиженного. Среди интеллигентов много
встречается с такими вывесками страдания и обиды на рожах. Особенно обильно
разродились они после 905 года. Ходили по земле так, как будто мир человеческий
должен им полтора рубля и – не платит.

Они, видимо, думают, что смерть испугает меня и я, несчастный злодей, растекусь
покаянием, как водосточная труба в дождливый день. Чудаки.

Да, я пишу. Не для того пишу, чтоб вытянуть несколько лишних дней жизни в
тюрьме, а – по желанию третьего. Живут во мне, говорю, два человека, и один к
другому не притерся, но есть еще и третий. Он следит за этими двумя, за распрей
их и – не то раздувает, разжигает вражду, не то – честно хочет понять: откуда
вражда, почему?

Это он и заставляет меня писать. Может быть, он и есть подлинный я, кому хочется
понять всё или хоть что-нибудь. А может быть, третий-то – самый злой враг мой?
Это уж похоже на догадку четвертого.

В каждом человеке живут двое: один хочет знать только себя, а другого тянет к
людям. Но во мне, я думаю, живет человека четыре, и все не в ладу друг с другом,
у всех разные мысли. Что бы ни подумал один – другой возражает ему, а третий

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
спрашивает: «Это вы зачем же спорите? И что будет из вашего спора?»

Есть, пожалуй, еще и четвертый, этот спрятался еще глубже третьего и – молчит, присматривает зверем, до времени тихим. Может быть, он и на всю мою жизнь останется тих и нем, спрятался и равнодушно наблюдает путаницу.

Я думаю, что еще в юности, когда слагается человек, он, волею своей, должен задушить в себе зародыши всех личностей, кроме одной, самой лучшей.

А вдруг он именно ее и задушит, лучшую? Ведь – черт ее знает, которая лучшая-то!

Интеллигентам – легче, у них школа вытраивает лишние зародыши, злую икру, а нашему брату, когда в нем проснется неукротимая жажда всё знать, всё попробовать, всё испытать, – нашему брату очень трудно!

В двадцать лет я чувствовал себя не человеком, а сворой собак, которые рвутся и бегут во все стороны, по всем следам, стремясь всё обнюхать, переловить всех зайцев, удовлетворить все желания, а желаниям – счета нет.

Разум не подсказывал мне, что хорошо, что дурно. Это как будто вообще не его дело. Он у меня любопытен, как мальчишка, и, видимо, равнодушен к добру и злу, а «постыдно» ли такое равнодушие – этого я не знаю. Именно этого-то я и не знаю.

Здесь уместно вспомнить смешные слова Таси: «Когда человек очень умен, так это даже неприлично».

Значит: пишу я по желанию третьего. Пишу не для них, а для себя и потому, что мне скучно. А рассказывать жизнь свою самому себе очень интересно. Смотришь на себя, как на чужого, и забавно ловить мысли свои на попытках соврать, спрятать что-нибудь от четвертого, ускользнуть от его слежки за тобою. Такая игра стоит не только свеч, а целого костра. После нее остается только пепел? Ну что ж...

Едва ли они увидят и прочитают эти записки, я успею истребить бумагу или пересуну ее в другие руки, чужим людям.

Вот рядом со мною воры сидят, трое, веселый народ. Старший у них – почти мальчишка, лет двадцати, не больше, ученик мореходных классов. Хорошо поет частушки, особенно – одну:

Я отчаянным родился
И отчаянным помру,
Если голову мне сломят –
Я полено привяжу.
Удалой парень. В его возрасте я таким же был. Любил опасность, как товарищ Тася – шоколад.

Всего лучше чувствует себя человек в затруднительном положении. Когда, около Темрюка, оторвало ветром льдину с рыбаками и понесло их в море, я, бросившись им на помощь, тоже был оторван и поплыл на маленькой льдине один, с багром в руках. Сразу стало ясно мне, что игра моя проиграна, так ясно, что на минуту я оледенел изнутри. Волной ломало льдину под ногами у меня, еще минута – и я бы потонул. Рыбаки, оставшиеся на льду, еще не оторванном от берега, бросили мне длинную веревку – этим лично я был спасен. И тотчас, как будто в меня извне вскочил кто-то, очень ловкий, злой, – я закричал, чтоб бросали еще веревки, а ту, которая уже была в руках у меня, метнул рыбакам – они выли и метались в десятке сажен от меня. Им удалось подцепить веревку багром, а меня они сорвали со льдины в воду. Но я уже успел подхватить веревку с береговой льдины, связал обе, потом еще одну, и рыбаков осторожно подтянули к берегу. Из девяти человек потонул только один старик; в суете и страхе его свои столкнули в воду. Когда льдину с ними тянули к берегу, меня едва не перетерли веревкой, она была обмотана вокруг моего тела, я болтался на воде, как поплавочник.

Вообще, когда меня настигала опасность, она, как бы сама против себя действуя, многократно увеличивала силы мои, наделяла спокойствием, обостряла соображение и всегда позволяла преодолеть ее. Смел я был до нахальства и – особенно любил себя в минуты, когда жизнь моя висела на волоске.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Был смешной случай: во время устроенного мною с воли побега товарищам из тюрьмы старичок надзиратель, догоняя, четыре раза выстрелил в меня из револьвера. После второго выстрела я остановился, не хотелось бежать, не то – стыдно было, не то – смешно. Подбегая, он выстрелил еще раз, попал в голенище сапога, оцарапал ногу, потом стреляет в упор, в грудь – осечка!

Я вышиб револьвер из руки его, говорю:

– Не вышло, старик?

А он, задыхаясь, хрипит:

– Так ты беги, дьявол! Чего же ты ждешь, чё-орт?

Страх испытал я, кажется, только один раз – во сне, в ссылке, в захолустном городке Уржуме. Там было такое совпадение условий: начитался я книжек по астрономии, только что перенес тиф и едва ходил по земле, а тут еще явился странный человечек и начал проповедовать мне о «распятом за нас при Понтийском Пилате». Он почти не говорил – «Христос», а всё только «распятый за ны». Был он человек жалкий, должно быть, не в своем уме, и был, несомненно, не простой странник, прихлебатель по кухням богатых купчих, а из интеллигентов. Длинный, сухой, с несчастной бородкой, на висках седые волосы, хотя – не стар, лет тридцати пяти. Молодили его глаза, необыкновенно лучистые, глаза влюбленной девушки, так сказать. Синеватые зрачки его точно горели и таяли, растекаясь по большим, очень выпуклым белкам.

Сижу у ворот на лавочке, пригрело меня солнцем, задремал, – вдруг рядом со мною очутился этот человек и начал говорить о «распятом за ны». Говорил изумительно, с такой детской наивностью и так, как будто сам непосредственно пережил всю авантюру Христа, – «авантюра» – это слово товарища Басова, специалиста по атеизму.

Разумеется, я стал спорить. Потом он попросил есть, я отвел его к себе в комнату, там спор наш разгорелся еще жарче. Собственно говоря, он не спорил со мною, а только читал стихи из Евангелия и улыбался жалобно. До поздней ночи я убеждал его, что каждый человек, умеющий думать, прекрасно знает, что бога – нет, Христос – наивная поэзия, лирика, выдумка, обман, в конце концов. Веруют в бога по невежеству из страха, по привычке, из упрямства, а некоторые даже потому, что в душе отчаянно пусто и они набивают пустоту ватой религии. Иные, пожалуй, относятся ко Христу, как к женщине, о которой знают, что она обманула, изменила, но – привыкли к ней, других не чувствуют, а эту бросить – не могут. Вообще – бога нет. Будь бог – разве люди таковы были бы?

Впрочем, последних слов я, наверное, не сказал ему; это, кажется, только сейчас и впервые сказано мною. Тоже – наивно. И неуклюже: буль-буль-буль – точно тону, захлебываюсь. Не умею писать.

Говорил я не столько ему, сколько сам себя экзаменуя, просматривая мои мнения о боге, религии и всей этой лирике нищих духом. Он сидел на лавке у окна, смотрел на меня, облокотясь о стол, улыбался, иногда – засмеется необидным смехом дурачка. Так и сидел до поры, пока мы не улеглись спать, я – на койке, он – на полу.

Ночью проснулся я, а он стоит среди комнаты, высокий почти до потолка, и бормочет, глядя в окно, указывая рукою на меня:

– Помоги ему, ты – должен, помоги!

Бормотал он строго, как бы приказывая, точно власть имущий над кем-то, – фокус этот не понравился мне, но я ничего не сказал чудаку и снова уснул. Тут и приснилось мне, будто я хожу по краю плоского круга, покрытого сводом серенького неба. Хожу я по черте горизонта и щупаю руками холодное, твердое, это – край неба, он плотно врос, притерт к жесткой, как железо, но беззвучной земле, – шагов моих на ней не слышно. Как тусклое зеркало, небо отражает мое уродливо изогнутое тело, лицо у меня искаженное, руки дрожат, и мое отражение протягивает ко мне эти дрожащие руки, пальцы их неестественно изогнуты, не сжимаются. Я уже несколько раз обошел пустоту, быстро и всё быстрее двигаясь по черте горизонта, но – не понимаю, чего ищущу, и не могу остановиться. Невыносимо тяжело мне и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru тревожно, я помню, что на земле существует жизнь, множество людей, – где же всё это? В непоколебимом молчании, в совершенной безжизненности, мое движение по кругу становится все быстрее, вот оно уже как полет ласточки, а вбок со мною летит, размахивая руками, отражение мое и всюду, куда бы я ни взглянул, – только оно. Круг, сжимаясь, становится всё меньше, купол неба всё ниже, я бегу, задыхаюсь, кричу...

Человек этот разбудил меня, а я со страха так обрадовался, что схватил его за руки, прыгаю и смеюсь. Вообще вел себя очень глупо. Страшнее этого сна я ничего не помню. Кстати сказать: ошибочно утверждают, что страшно – непонятное, это неверно. Например: астрономия очень понятна, а разве не страшна?

В городе шумят, стреляют. Папирос у меня нет, это – плохо.

Работал я с величайшим увлечением, жил празднично. Командовать людьми нравилось мне, вероятно, больше, чем это нравится вообще человекам, особенно – интеллигентам, которые командовать и любят, да не умеют. Что бы там ни пели разные птицы, а власть над людьми – большое удовольствие. Заставить человека думать и делать то, что тебе нужно, это вовсе не значит спрятаться за человека, нет, это ценно само по себе, как выражение твоей личной силы, твоей значительности. Этим можно любоваться. И если б я не любил власть, я не был бы признан отличным организатором.

Когда меня первый раз арестовали, я почувствовал себя героем, а на допрос шел, как на единоборство с медведем. Страдать я не мастер и страданий, сидя в тюрьмах, никогда не испытывал, если не говорить о некоторых, всем известных, мелких неудобствах тюремной жизни. Лишение свободы? Тюрьма давала мне свободу читать, учиться. А кроме того, тюрьма дает революционеру нечто подобное генеральскому чину, окружает его ореолом, и этим надобно уметь пользоваться, когда имеешь дело с людьми, которых ты, против воли их, толкаешь на путь к свободе.

Слуга классовых врагов моих, жандармский ротмистр, оказался добродушным человеком, тучный, красноносый, видимо – пьяница, он встретил меня улыбкой и словами, каких я, конечно, не ожидал от врага.

– Петр Каразин, иначе – Карамора? Ого-го, какой молодчинище! Великолепный драгун вышел бы из вас.

Я приготовился говорить с ним сурово, презрительно, но тотчас понял, что это было бы смешно. Не то чтоб он умягчил меня, а просто я увидел пред собою воробья, по которому только трус или идиот решился бы стрелять из пушки. Когда я вежливо, но спокойно заявил ему, что отказываюсь от показаний, он наморщил нос и заворчал:

– Ну, разумеется. Теперь все вы так, знаю. Вот и посидите в тюрьме. Эх, молодежь...

Мне даже показалось, что ротмистру приятна решительность моего заявления. Я не подумал, что жандарм, может быть, торопился обедать и только потому у меня с ним всё кончилось так быстро и легко. Возможно, что для меня было бы лучше, если б я наткнулся не на этого человека, а на хорошего зверя в мундире, на лицо определенных убеждений, одним словом, не на чиновника, а на врага. Жизнь так забавно устроена, что лучшим воспитателем человека является враг его.

Но, хотя до пятого года я сидел в тюрьмах трижды и допрашивался жандармами раз десять, мне так и не пришлось встретить среди них ни одного, который умел бы разжечь во мне чувство вражды, ненависти. Всё обыкновеннейшие чиновники, и даже встречались довольно приличные люди; говорю это не с целью рассердить ортодоксальных товарищей, а как о факте, видимо, случайном.

Объявив мне приговор, полковник Осипов, тощий, желтый, умиравший от рака, сказал:

– Вам повезло: приговор легкий. Вы заслуживаете более сурового наказания, вы очень опасный человек.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Для меня его слова звучали похвалой, хотя он говорил их, удивляясь и сожалея.

Это был человек умный, он хорошо понимал людей и однажды весьма смутил меня замечанием, которого мог бы не делать: на последнем допросе он сказал, разглядывая меня сквозь стекла пенсне:

– На мой взгляд, вы, Каразин, или озорничаете, или ошиблись и делаете не ваше дело.

Это очень укололо меня. Вот тут я рассердился, начал говорить ему дерзости, но он остановил меня:

– Я вовсе не хотел обидеть вас, а просто, как человек человеку, высказал мое впечатление. Вы играете опасную игру, а мне кажется, что для революционера вы человек недостаточно злой и – уж извините! – слишком умный.

Я думаю, что Осипов был порядочный человек; впрочем – так говорили все товарищи, побывавшие в его руках.

Однажды вместе со мною арестовали сына моей квартирной хозяйки, гимназиста, ученика моего. Я дал Осипову честное слово, что мальчик не причастен к моим делам, просил выпустить его из тюрьмы и устроить так, чтоб Сашу не исключили из гимназии.

– Хорошо, я это сделаю, – сказал Осипов и при мне же распорядился, чтоб гимназиста освободили. А когда я поблагодарил его за это, он объяснил: – Бог мой, – ведь в наших интересах не увеличивать, а уменьшать количество бунтовщиков, вам подобных, а в интересах ваших было бы оставить мальчика в тюрьме, изломать его карьеру, озлобить и так далее...

Этими словами он как будто давал мне урок революционного поведения. Я так и сказал ему:

– Спасибо за урок.

Вероятно, он был тоже раздвоенный человек. Конечно – люди делятся на трудящихся и живущих чужим трудом, на пролетариат и буржуазию. Это – внешнее деление, а затем они, во всех классах, делятся на людей цельных и раздробленных. Цельный человек всегда похож на вола – с ним скучно.

Я думаю, что цельность – результат самоограничения ради самозащиты. Кажется, это же самое утверждает Дарвин. Человек попал в условия, где некоторые свойства его психики не только излишни для него, но и опасны: ими может воспользоваться его внутренний или внешний враг. Тогда человек сознательно гасит, уничтожает в себе излишнее и этим приобретает «цельность». Например: на кой черт революционеру жалость к людям, лирика, сентиментальность, романтизм и всё прочее в этом духе?

Революционеру необходим только энтузиазм и вера в себя. Интерес к многообразию внутренней жизни определенно вреден ему. В этом многообразии так же легко запутаться, как ребенку в колючих кустах терновника.

Жизнь человека раздробленного напоминает судорожный полет ласточки. Разумеется, цельный человек практически более полезен, но – второй тип ближе мне. Запутанные люди – интереснее. Жизнь украшается вещами бесполезными. Я не видал идиотов, которые украшали бы жилища свои молотками, гайками или велосипедами. Впрочем, один богач, мукомол, собрал больше пятисот замков и развесил их в двух больших комнатах на красных суконных щитах. Но у него были такие фокусные замки, что я, наследственный слесарь, рассматривал их с огромнейшим удовольствием. И, конечно, все они были бесполезны.

Технические фокусы я люблю, как всякую игру человеческого разума, в каких бы формах она ни выражалась.

Вот тоже, говорят о «христианской культуре». Что врете? Какого черта – христианская? Где в ней наивность, в этой вашей культуре? Евангельской наивности нет нигде. Расплодили злые, хитрые мысли, распустили их по всей земле, как стаю бешеных собак. Идиоты.

К восьмому году лучшие зубы революции были выбиты. Множество рабочих пошло на каторгу, многие, струсив, нарядились в бараньи шкуры обывателей, потом эти шкуры приросли к их коже. Некоторые, захотев пожить в свое удовольствие, стали бандитами, – «жизнь в свое удовольствие» всегда, прямо или косвенно, соприкасается с бандитизмом. Особенно быстро и ловко ускользнули от расправы победителей товарищи интеллигенты. Гнусное было время. Даже люди, доказавшие способность к подвигам, делали подлости.

Но – лучше не писать, не думать на эту тему. У меня нет желания намекнуть кому-то: время было плохое, а потому...

Нет, я не хочу оправдываться. У меня своя линия, своя задача. Знакомый мой, татарин, говорил:

– Мин дин мин – я есть я.

Каков бы я ни был, но я – есть я. Условия времени сыграли значительную роль в моей жизни, но только тем, что поставили меня лицом к лицу с самим собою. Раньше я жил, так сказать, вооружаясь для борьбы, это поглощало все мои силы, и у меня не было времени думать: кто я? Раньше я был связан с людьми сознанием общности политических и экономических интересов, чувством партийной солидарности, дисциплиной. А тут вдруг почувствовал, что экономика и политика не всего меня поглощают, увидел, что солидарность интересов – сомнительна, а законы партийной дисциплины не для всех печатаются одним и тем же шрифтом... В это время я и ушибся о вопрос: почему люди так шатки, неустойчивы, почему они с такой легкостью изменяют делу и вере?

Однако это все-таки похоже на попытку оправдаться. Подлая штука.

Пожалуй, правдивее и вернее будет, если сказать просто: раньше я работал с увлечением, энтузиазмом, самозабвенно, а тут начал посвистывать; суну руки в карманы и свищу, чувствуя, что работать не хочется. Не то чтоб я устал и не мог, а – именно не хотел. Скучно стало. И не потому скучно, что надо было снова хватать людей за ворот и тащить их на пути к свободе, – на пути, только что обильно политые кровью, – нет, не потому. Я всё это делал, хватал, тащил, но уже как будто из упрямства, из желания кому-то что-то доказать, вообще из других мотивов, не прежних, а новых, неясных для меня. И – непрочных.

Непрочность побуждений к революционной работе я чувствовал особенно остро. Идеи оставались со мною, но энергия, оживлявшая идеи, как будто требовала иного применения.

Трудно мне объяснить это состояние тихого, но упрямого бунта, который вызывал во мне странную вялость мысли, чувства и настойчивую потребность испытать что-то неиспытанное.

Может быть, это бунтовал авантюрист, человек привычки к приключениям, конспирации, опасности? Может быть.

Но – проще – суть в том, что раньше я говорил с людьми словами чужими, книжными и, сам оглушенный ими, не прислушивался к себе. А теперь я чувствовал, что внутри меня живет кто-то, гость непрошенный и неприятный, он слушает мои речи и следит за мною недоверчиво, подозрительно.

Я стал замечать то, что раньше мелькало мимо меня, не задевая моего внимания, и заметил, что товарищ Саша, врач, специалистка по детским болезням, очень милая женщина. Была она маленькая, круглая, веселая; уже почти год вертелась предо мною, как бы танцуя, ее ловкая фигурка, бойко топали стройные ноги в голубых чулках. У нее вообще было пристрастие к голубому: кофточки, бантики, зонтики, в комнате на столах какие-то коробки, на стенах – картинки, все голубое. И белки глаз голубоватые, а зрачки темные, ласково тающие улыбками.

Политически она была не очень грамотна, питалась больше всего беллетристикой, серьезные книги читала неохотно, но по природе была не глупа.

Еще в шестом году, когда восстание в городе было разбито, жандармы громили нашу

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru организацию и десятками гнали людей в тюрьму, Саша удивила меня спокойным отношением к событиям. Она спрятала меня у своего дяди, офицера, и, уходя от него, пожимая мне руку сказала:

– Почему вы ногти не чистите? И мыло засохло в ухе у вас.

Это мне понравилось. Потом я влюбился в нее, но молчал об этом. Она скоро заметила это и сама пошла встречу мне; это случилось очень просто, пожалуй, несколько бесстыдно, что ли. Как-то вечером я остался у нее пить чай, и вдруг она почти сердито спросила:

– Ну, когда же вы решитесь сказать, что я вам нравлюсь?

Вот и все. Я ждал чего-то иного. Мне казалось, что настоящая любовь, как и вера, требует наивности. В простоте Саши – наивности я не почувствовал. Помню, что, раздеваясь, она даже не отвернулась от меня, а, раздетая, хвастливо сказала:

– Вот я какая.

И началась у нас «любовь», с великим удовольствием, но «без радости». Так сказать – деловая любовь, и «потому что без этого не проживешь».

Около Саши суетился товарищ Попов, человек новый в городе. Чистенький, сытенький, розовощекий и курносый, с рыжими усиками, он смотрел в глаза людям взглядом преданной собаки, с подчеркнутой готовностью услужить, побежать, принести. Я чувствовал в нем любопытство кутенка, который суется всюду, не понимая опасности, по молодости лет своих. Это любопытство возбуждало в нем смелость, хотя он казался мне трусом по натуре. Превосходно рассказывал еврейские анекдоты, знал множество юмористических стихов и был похож гораздо больше на куплетиста, на жулика, чем на серьезного революционера. Однако было в нем что-то приятное, талантливое, какие-то свои искорки в словах, остренькие иголки в мыслях.

Я очень скоро заметил, что Попов слишком часто приносит Саше конфеты, дарит книги и вообще, ухаживая за нею, тратит много денег. Я спросил ее: что она думает об этом? Она сказала, что у него в Ростове богатый брат, но – это не успокоило меня. Может быть, я немножко ревновал, зная, что у супруги моей половое любопытство к мужчине очень развито.

А у меня была развита подозрительность, росло недоверие к людям; я жил в «эпоху провокаторов». Мне стало казаться, что жандармы поумнели с той поры, когда в городе явился «товарищ» Попов.

Я поймал его самым простым приемом: сначала убедил одного «сочувствующего» из среды культурных деятелей города испытать маленькую неприятность обыска, затем Попов был осторожно осведомлен, что на квартире этого «сочувствующего», в его кабинете, в диване спрятано кое-что очень интересное для жандармов, через час к «сочувствующему» явились с обыском и, очень небрежно обшарив квартиру, вспороли и тщательно распотрошили диван. Разумеется, ничего не нашли.

Я был почти один в городе, если не считать небольшой кружок рабочей молодежи и нервнобольного товарища, который жил верстах в двадцати, на пасеке у знакомого казака. Я решил расправиться со шпионом единолично и немедленно.

Попов жил на окраине города, у огородника, на чердаке. Он показался мне угнетенным, в нем чувствовалась какая-то внутренняя растрепанность: он, конечно, знал результат обыска и, наверное, уже чувствовал, что – пойман. Он встретил меня очень нелюбезно и заявил, что приглашен на именины к хозяевам дома, – действительно, внизу, под его комнатой, играли на гармонике, кричали и топали.

На чердаке Попова я пережил часа три, четыре самых скверных в моей жизни.

Я спросил его:

– Давно работаете в охране?

Попов покачнулся, рассыпал папиросы, нагнулся под стол, собирая их, и оттуда сказал, заикаясь, чужим голосом:

– Г-глупая ш-шуточка...

Но, взглянув на меня, он сполз со стула на пол и, стоя на одном колене, засмеялся, всхлипывая, как баба.

– Оставьте... Бросьте, – бормотал он, глядя на браунинг в моей руке. Усы его ошетинились, под одним глазом дрожала какая-то жилка, глаз мигал и закрывался, а другой был неподвижен, как у слепого. Я поднял его за волосы, посадил на стул и предложил ему рассказать о своих подвигах.

Тут я увидел пред собою человека, у которого действительно не было лица: его заменяла серая масса какого-то студня, и в нем, вместе с ним дрожали отвратительно выпученные глаза. Бескровным куском мяса отвисла нижняя губа, дрожал подбородок, морщины бежали по щекам, – казалось, что вся голова этого человека гниет, разлагается и вот сейчас потечет на плечи и грудь серой грязью. И, как бы утверждая это впечатление, Попов схватился руками за виски, закрыл ладонями уши.

Он рассказал довольно обыкновенную историю: с третьего года в партии, дважды сидел в тюрьме, в шестом году участвовал в вооруженном восстании, был арестован на улице.

Рассказывая, он икал от страха.

– Я действительно участвовал, я даже стрелял... даже убил какого-то, честное слово! Наверное – убил, он – упал... Мне грозили вешалкой. Но – ведь хочется жить. Ведь мы – чтобы жить, человек – чтобы жить. Как же иначе? Подумайте сами: ведь жизнь для меня, а не я для жизни, да?

Это он шептал очень убедительно, шептал и всё спрашивал:

– Да? Да?

Одною рукой он царапал колено свое, а другою мямлил какую-то бумагу. Я отнял ее и прочитал на ней имя Саши, свое, потом фразу:

«Ликвидировать Каразина было бы преждевременно, удобнее и полезнее сделать это в Екатеринославе, он скоро приедет туда».

Я заметил, что рассказ Попова не возмущал меня, – возмущала его философия. А тут еще черт подсказал ему нелепые слова, – они сразу ожесточили меня.

– Неужели совесть ваша не протестовала? – спросил я.

– О да, – вздохнув глубоко, ответил он. – Да, сначала – очень страшно, думаешь, что все догадываются, чувствуют. Потом – привыкаешь. Вы – что думаете? – шёпотом сказал Попов. – Ведь в охране тоже нелегко. И там нужен героизм, там тоже есть свои герои, конечно – есть! Если – борьба, так уж герои с обеих сторон.

И еще тише, жульнически добавил:

– Даже интересно там, может быть, интереснее, чем у нас. Ведь их меньше, нас – больше...

Я видел, что его страх умалывается, исчезает. Он рассказывал увлекаясь, очень живо, со множеством анекдотических подробностей и мелочей, порою даже смешных. Мне кажется, что я не один раз сдерживал желание улыбнуться, и я подумал, что этот теленок, превращенный в полицейскую собаку, мог бы писать интересные рассказы.

В его цинизме было что-то наивное, и эта наивность, помню, всего более ожесточала меня. Ожесточала и пугала. Я чувствовал себя очень странно – человеком, чужим самому себе. И вот наступил момент, когда я вдруг заторопился, сам себя подхлестывая на решение неожиданное.

– Ну, Попов, пишите записку: «В смерти моей прошу никого не винить».

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Он скорее удивился, чем испугался, нахмурил брови, спросил:

– Как это? Зачем? Как это – смерть?

Я объяснил ему: если он не напишет записку – я его застрелю, а если напишет – пусть сам повесится, сейчас же, при мне. Первое, что он сказал в ответ, было неожиданно и нелепо:

– Самоубийство? Никто не поверит, что я кончил самоубийством, нет! Там сразу поймут, что меня убили. И конечно – вы! Вы. Кому же, кроме вас? Там ведь знают, что вы здесь – один почти... И – какое вы имеете право судить, казнить – один?

Потом он валялся на полу, хватая меня за ноги, плакал, визжал, и я должен был зажимать ладонью его противный, мокрый рот.

– Нет, – кричал он тихонько, умоляюще, – нет, судите меня! Надо судить, судить...

Возня эта продолжалась бесконечно долго, я ждал, что внизу услышат, придут. Но там всё веселее играла гармоника, всё яростнее кричали и топали.

Попов повесился на отдушнике печи. Я держал его руки, пока он дрыгал ногами и громко выпускал кишечный газ.

Брошу писать. К черту всё! Зачем мне это нужно? К черту.

Нет, писание дело увлекающее. Пишешь – и как будто не один ты на земле, есть еще кто-то, кому ты дорог, пред кем ни в чем не виноват, кто хорошо понимает тебя, не обидно жалеет.

Пишешь – и сам себе кажешься умнее, лучше. Опьяняет это дело. Вот когда я чувствую Достоевского: это был писатель, наиболее глубоко опьянявшийся сам собою, бешеной, метельной, внезаумной игрою своего воображения, – игрою многих в себе одном.

Раньше я читал его с недоверием: выдумывает, страшает людей темнотою души человека затем, чтоб люди признали необходимость бога, чтоб покорно подчинились его непостижимым затеям, неведомой воле.

«Смирись, гордый человек!»

Если это смирение и нужно было Достоевскому, то – между прочим, а не прежде всего. Прежде же всего он был сам для себя – мин дин мин. Умел жечь себя, умел выжимать жгучий сок души своей весь, до последней капли. Неужели не было случаев, когда писатель умирал внезапно, за столом своим, над листом исписанной бумаги? По-моему – такие случаи должны быть. Выписал себя до конца, до последней искры жизни и – исчез. Жаль, что этим пьяным делом я не занимался раньше.

Ну, буду дальше писать о том, чего не понимаю. Я вышел за город, ночь была светлая, холодная, дорогу ограждали черные деревья. Сел под деревом, в тень, и так просидел до утра, до поры, пока вдали заскрипели телеги крестьян. Чувствовал я себя скверно, такая немая пустота в душе, безмыслие в голове, в теле вялая усталость. Ждал я, что в душе моей что-то вспыхнет, разгорится. Когда Попов умер – умерло и мое отвращение к нему. Кто-то подсказывал мне: ты убил человека. Но я понимал, что это исходит сверху, от ума, это не тревожило меня. Человек был предателем. И я не чувствовал себя преступником.

Но незаметно, откуда-то из глубины, вдруг встал предо мною тревожный вопрос: а почему, собственно, я заставил Попова удавиться так неожиданно для самого себя и так торопливо заставил, точно чего-то испугался, но – не в нем, а – в себе? Как будто я не преступника уничтожил, а свидетеля, опасного для меня, и не тем опасного, что он предатель, а с какой-то другой стороны опасного?

Вертелись в памяти его слова:

«Если – борьба, так уж герои с обеих сторон».

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
И вообще назойливо шептались его циничные мыслишки, так странно знакомые мне, как будто я их слышал давно и часто.

Мухами кружились вопросы: как же Попов держался с жандармами? Неужели он им тоже рассказывал анекдоты и стишками смешил? И, может быть, смеялся с ними надо мною? Но главное, что и смущало и тяготило меня, – это поспешность, необдуманность, с которой я заставил Попова удавиться.

В этом настроении отчужденности от самого себя и как бы в полусне меня арестовали следующей ночью.

Начальник охранного отделения Симонов сказал мне хриповатым баском и каким-то неестественным, обиженным тоном:

– Вот что, Каразин, хотя Попенко и предлагает никого не винить в его смерти, но умер он в таком растрепанном виде, а на кистях рук у него оказались такие пятна, что совершенно ясно: он повешен, а не сам повесился. В ночь его смерти вы сидели у него приблизительно до половины второго. Это – установлено. И это время вполне совпадает с моментом смерти Попенко. Далее: есть наука дактилоскопия, она, конечно, установит, что оттиски пальцев на стеклянной пепельнице принадлежат вам. Разумеется, я прекрасно понимаю, на чем вы поймали Попенко, да он и сам догадывался об этом.

Он был парень, полезный нам. Вам придется заплатить за его смерть тем же. Кроме того: есть мотивы для уголовного дела, – убийство из ревности. К этому делу, конечно, будет привлечена и Александра Варварина – понимаете?

Я слушал и молчал. Не скажу, чтоб всё это испугало меня, но угроза уголовщиной, разумеется, была неприятна. Саша, обвиняемая по делу убийства из ревности? Нет. Это так нелепо, что даже смешно.

А Симонов, стоя в облаках дыма, говорил деловито:

– Я предлагаю вам заменить Попенко. Если вы на это согласны, вы немедленно укажете мне нескольких лиц, которых нам полезно ликвидировать. Тогда выйдет так, что Попенко выдал товарищей и повесился от угрызений совести, а вы сохраните жизнь, не говоря о том, что можете сделать очень хорошую карьеру. Теперь я вас оставляю на некоторое время, на час, на два, а вы – подумайте. Медлить – не советую.

Уходя и прикрывая за собою дверь маленькой камеры, Симонов добавил:

– Выхода у вас нет.

Хорошо помню, что меня не испугала петля, накинутая на шею мою, хотя я понимал, что игра моя проиграна непоправимо. Мне кажется, что я ни одной минуты не думал о том, какое принять решение, я принял его тотчас же, как только услышал слова Симонова «заменить Попова». Хорошо помню, что я сам был удивлен быстротой и легкостью, с которыми это решение возникло, – оно явилось так же естественно и просто, как возникает желание спать, гулять, выпить воды.

Сидел я в темной комнатке, слушал, как стучит в окно ее проливной дождь, и прислушивался: протестует против моего решения какое-то чувство внутри меня? Не протестовало.

Что это значит? Что значит это спокойствие и откуда оно? Почему я не ощущаю того отвращения к себе, которое вчера было у меня к Попову? Я перебирал в памяти все те слова, которыми награждают предателей, вспоминал всё, что печаталось и говорилось о них, и всё это не задевало, не смущало меня.

Было похоже, что тот, кто вчера заставил человека удавиться, а сегодня решил уничтожить еще многих, куда-то спрятался, а другой, недоумевая, ждет голоса его, хочет что-то узнать о нем, ищет преступника и – не находит. Преступника – нет.

Потом зашевелились лениво какие-то тени мыслей, движимых любопытством, они создали вопрос:

«Неужели я действительно буду работать в охране, буду выдавать товарищей жандармам?»

На этот вопрос никто не ответил, а любопытство стало навязчивее и острее. Я очень твердо помню, что преобладающим чувством в эти часы было у меня именно любопытство и затем удивление пред тем, что я ничего, кроме любопытства, не чувствую. В этом состоянии человека, спокойно любопытствующего и удивленного самим собою, я и встретил Симонова.

– Разумное решение, – сказал он, выслушав меня, потом озабоченно начал говорить, что я «напрасно напутал с этим комиком Попенко».

– В дело ввязалась полиция. Ну, да это мы устроим. По обычаю, надо подписать вам вот эту бумажку.

Неожиданно для себя я спросил:

– Как вы полагаете – струсил я?

Симонов не сразу ответил, он сначала закурил папиросу об окурочек старой.

– Нет, этого я не полагаю. Можете верить, я этого не думаю. Но – не время говорить об этом.

И все-таки мы говорили долго, вероятно, час или больше, говорили, стоя друг пред другом. Странное осталось у меня впечатление от этой беседы: каким-то острым углом моего разума я понимал, что Симонов удивлен легкостью и быстротой моего решения не меньше, чем я сам, что он не верит мне, мое спокойствие не нравится, непонятно ему так же, как мне; наконец, я чувствовал, что ему хотелось бы чем-нибудь испугать меня, но он понимал, что испугать меня нельзя.

Мне казалось, что всё, что говорит он, – «ни к чему». Так, «ни к чему» он сообщил, что полковник Осипов весьма восхищался остротой и независимостью моего ума. Я спросил:

– Жив он?

– Умер. Хороший человек был.

– Да, – согласился я.

Симонов отогнал дым от лица резким движением руки и настойчиво добавил:

– Мечтатель был. Что называется – романтик.

– Да, да, – снова согласился я и сказал, что Попов повесился сам, хотя и по моему настоянию. Симонов пожал плечами:

– Пусть будет так.

Всё это было неправдоподобно, и в то же время всё было правдой, умом я хорошо понимал – всё правда. Но ум, наблюдая откуда-то со стороны, молчал, ничего не подсказывая, только любопытствуя.

«Так-то, Карамора! – говорил я сам себе. – Значит: направо кругом – марш?»

Может быть, я всё еще ждал, что кто-то крикнет мне:

«Стой! Куда ты?»

Никто не кричал.

Первое время – месяц, два – только Симонов выделялся из неправдоподобного своей резко подчеркнутой реальностью.

Человек лет пятидесяти, среднего роста, плотный. Седые волосы подстрижены бобриком. Неопределенной формы – «русский» – нос, мягкий, красноватый, небольшие, приличные усы. Глаза светлые, спокойные, даже немножко сонные. Людей такого облика очень много, их встречаешь часто, они водятся во всех сословиях,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
служат во всевозможных учреждениях, живут на всех улицах, по всем городам. Я привык смотреть на таких людей, как на заурядных и обыденных.

Но вот эта обыденность внешности и придавала Симонову в моих глазах особенно твердую реальность среди всего необыкновенного, чем я жил и что делал. Во всем, что он говорил, обнаруживалось уже знакомое мне отношение наймита, чиновника, которому или непонятны, или совершенно чужды основные и конечные цели его работы. Плохо осведомленный в вопросах истории и политики, он относился совершенно равнодушно к интересам монархии, царя, ко всему, что он призван был защищать, и со вкусом, с удовольствием поругивал буржуазию.

Я спросил: почему он взялся за это беспокойное дело?

– Очевидно – из удовольствия делать его, – сказал он своим хриплым, неглубоким басом, постукивая мундштуком папиросы о крышку портсигара, и усмехнулся ленивой, как бы вынужденной усмешкой, продолжая: – Вы – революционер для своего удовольствия, а я, для моего, вражду с вами, ловлю вас, поймал. Поймал и предложил: давайте охотиться вместе. Вы – согласились. И – отлично. Мне стало еще интереснее.

Тут я впервые, но еще смутно, почувствовал что-то неладное, неверное в нем и вскоре убедился, что под заурядной внешностью этого человека шевелятся мысли не совсем обыкновенные, или, пожалуй, обыкновенно обывательские, но отточенные чрезвычайно остро.

Я пробовал говорить с ним на тему о неравенстве людей, этом, как говорят, единственном источнике всех несчастий жизни, он пожимал плечами, дымил папиросой и спокойно отвечал:

– А я при чем тут? Это не мною устроено, и мне до этого дела нет. И вам – тоже. Испортили вас интеллигенты. Не те книги читали вы. Вам бы почитать «Жизнь животных» Брема.

Всегда в зубах его торчала папироса, пред лицом стояло облако дыма, он щурил глаза, смотрел в потолок и говорил ленивенько:

– Самое большое удовольствие – одурачить, обыграть человека. Вспомните-ка детские игры и, начиная с них, просмотрите всю жизнь: игра в бабки, в мяч, потом игра с девицами, игра в карты, вся жизнь – в игре! Среди вашего брата заметно немало людей, которые играют самими собою.

Он напоминал мне этими словами фракционную и партийную борьбу, удовольствие, которое часто испытывал я, когда мне удавалось «обставить» товарищей.

– Игра и охота – вот это вещи! – говорил Симонов. – Будь у меня средства, я бы уехал в Сибирь, в тайгу, медведей бить. А то и в Африку махнул бы. Охота – великое дело. И суть вовсе не в том, чтоб убить, а чтоб выследить зверя, подержать его под прицелом, испытать в эти минуты свою, человеческую, над зверем власть. Убивают всегда из корысти, ради удовольствия никто никого не убивает, только сумасшедшие или в состоянии запальчивости, раздражения, но это ведь тоже ненормально – запальчивость. В том и подлость убийства, что оно все-таки корыстно.

Слушая его, я не очень верил ему, но – думал:

«Так. Если жизнью командуют игроки и охотники, – что же может помешать мне играть ими и самим собою?»

В голове Симонова было какое-то темное пятно, мозговой вывих, затвердевшее место, мозоль.

– Игра. Охота, – говорил он, сводя всю жизнь к этим забавам, но я ему всё больше не верил, зная, как ловко люди строят различные загородки, чтоб отделить себя от жизни, объяснить свое нежелание работы на нее.

Как-то ночью, на конспиративной квартире, мы пили вино, и Симонов сказал:

– У меня, батенька, был в руках один интеллигент, эдакий, похожий на привидение,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru так он мне проповедовал, что человек – это зверь, который сошел с ума, встал на дыбы, и с этого момента началась история, та самая, что вот и сегодня продолжается. Конечно, – парень этот сам был сумасшедший, но – мысль его недурна. История, говорит, это процесс лечения сумасшедшего зверя. Я, знаете, немало думал над этим, – мысль, достойная внимания. Я даже думаю, что если б это было возможно, так все порядочные, честные люди решительно отказались бы от участия в истории человечества. Но – как откажешься, куда убежишь? Ведь и отшельники и монахи неизбежно вовлекаются во всеобщую канитель.

Себя Симонов явно считал «порядочным» человеком, хотя и занимал в скверной истории определенно скверное место. Но напоминать ему об этом, указывать на это было бесполезно.

– Ну-у, – говорил он в ответ, – это наивно, батенька!

И возмущался:

– До чего испортили вас интеллигенты!

В его отношении ко мне было нечто, подкупавшее меня, это был интерес к человеку во всей его полноте, во всем объеме, так сказать – чистый интерес. Он жил вне служебного и корыстного, отдельно, независимо, как интерес «к человеку просто». Симонов смотрел на меня не как начальник на подчиненного, а как старший на младшего: не командовал, не приказывал, а предлагал и даже советовался:

– А как вы думаете, не пора ликвидировать этого нелегального?

И, если я находил, что ликвидировать преждевременно, он, без спора, соглашался со мною.

Он питал ко мне чувство, которое я бы назвал бережливостью. Может быть, это было даже то чувство любви, которое питает охотник к хорошей собаке. Я пишу это без иронии, без горечи, я слышал умную пословицу: «Самая красивая девушка не может дать больше того, что у нее есть». Эта пословица очень умиротворяет запросы души.

Случилось как-то так, что во множестве товарищей у меня не нашлось друзей. Ни одного человека, с которым я мог бы свободно говорить о самом существенном – о себе. Я, разумеется, пробовал говорить на эту тему, но разговоры в этом духе не удавались и не удовлетворяли меня. Не все зияния в душе можно заткнуть книгой, к тому же есть книги, которые очень зло расширяют и углубляют эти зияния. Редки люди, способные видеть, что всё на свете имеет свою тень, и всякие правды, все истины тоже не лишены этого придатка, конечно – лишнего. Тени эти возбуждают сомнения в чистоте правд, сомнения же не то что запрещены, а считаются постыдными и, так сказать, неблагонадежными. Сомневающийся – всегда подозрителен; вот это, пожалуй, истина, лишенная тени.

Среди товарищей я имел репутацию человека, идейно шаткого, капризного и – это хуже всего – склонного к романтизму, к «метафизике», как говорил товарищ Басов, человек, с которым я встречался чаще, чем с другими.

– Революционер обязан быть материалистом; материализм – это воля, совершенно очищенная от всего неразумного, иррационального, – говорил товарищ Басов, подчеркивая «р»; я понимал, что Басов говорит правильно, однако, по антипатии к нему, не соглашался с ним.

Симонов – человек, с которым можно было говорить о чем угодно, он умел внимательно слушать и никогда не стеснялся сознаться, что – этого он не понимает, этого – не знает, а иногда прямо говорил:

– Это мне не нужно знать.

К моему удивлению, ненужным оказался для него бог, к удивлению, потому что я думал – он верующий.

– Странно, что вы спрашиваете об этом, – сказал он, пожав плечами. – Какой там бог, когда у нас, у каждого, по четырнадцати аршин кишок в животах? И, затем, если – бог, то ведь и верблюд, и щука, и свинья должны чувствовать его, –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru понимаете? Ведь человек тоже животное. Разумное? Ну, разумных животных немало и кроме человека; к тому же установлено, что в этом деле разум ни при чем; бог постигается не разумом. Ну чего ж.. Вы бы почитали Брема, право!

Изумлялся:

– Как испортили вас интеллигенты!

– Ну а если б не испортили – чем бы я был, на ваш взгляд?

Очень внимательно посмотрев на меня, он сказал:

– Н-не знаю. Может быть, изобретателем каким-нибудь. Не знаю. Вы очень странный.

Вообще же Симонов был человек не живой, какой-то плохо выдуманный и, должно быть, очень одинокий. Словоохотливый, он был скуп на жесты, руки его двигались медленно, смеялся он редко, и чувствовалось, что он глубоко равнодушен к жизни, к людям. А за всем этим он был ленив, возможно – ленив ленью усталости.

Я скоро убедился, что всё, что он говорил о наслаждениях охоты, игры, выдуманно им для себя, взято с чужих слов. Охота на людей не увлекала его. Имея помощников в лице провокаторов, он вполне удовлетворялся этим и личную инициативу почти не проявлял. В сущности, если б я этого хотел, я, наверное, мог бы ничего не делать, а просто рассказывать Симонову анекдоты из партийной жизни, из быта революционеров. Анекдотическая сторона революции интересовала его, пожалуй, больше самой сути дела; анекдоты он выслушивал всегда внимательно, и чем глупее был анекдот, тем более широкую улыбку вызывал он на удручающе бесцветном лице Симонова. Однажды он заметил, вздохнув:

– А Попенко рассказывал эти штуки забавнее, чем вы. Он говорил, как Брем.

«Как Брем» – это наивысшая похвала в устах Симонова. «Жизнь животных» он читал всегда, как немец-меннонит Библию.

Как-то я спросил его:

– Почему вы называете Попова – Попенко?

– Так вижу, – ответил он. – Каждый видит по-своему. Попов должен быть выше ростом, и – руки у него длиннее.

Была у Симонова только одна черта, или привычка, возбуждавшая у меня неприятное и подозрительное чувство: иногда он, среди беседы, вдруг точно проваливался в неизвестное и непонятное мне. На безличном лице его являлась важная, но глупая гримаса, зрачки нелепо расширялись, он сосредоточенно и строго, как гипнотизер, смотрел на меня, но я чувствовал: видит он что-то другое, почти страшное. И при этом он, спрятав руки под стол, шевелил ими так, что мне казалось: он незаметно достает револьвер, чтоб застрелить меня. Эти припадки внезапной, немой задумчивости, провалы человека в неведомое и недоступное мне, были очень часты у него, и всегда я чувствовал себя нехорошо во время их.

Потом я стал думать, что в Симонове скрыто что-то значительное, таинственное, такое человеческое, чего он сам боится. Я ждал, что он откроет предо мною это, и мой интерес к нему становился всё более напряженным, ожидающим.

Есть теории добра: Евангелие, Коран, Талмуд, еще какие-то книги. Должна быть и теория зла, теория подлости. Должна быть такая теория. Всё надо объяснить, всё, иначе – как жить?

Вчера я написал:

«Если б я хотел, я мог бы ничего не делать», – иными словами: я мог бы не выдавать товарищей. Более того: мне легко было бы делать кое-что полезное для них. Я и делал, но, сделав, чувствовал, что это мне не нужно и не может ничего изменить внутри меня.

Я – выдавал. Почему? Вопрос этот я поставил пред собою с первого же дня службы в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
охране, но ответа на него не находил. Я всё ждал, что внутри меня вспыхнет протест, «заговорит совесть», но совесть молчала. Говорило только любопытство, спрашивая: «Что же будет дальше?»

Я очень настегивал себя, пытаюсь разбудить чувство, которое осудило бы меня, сказало мне решительно:

«Ты преступник».

Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства; оно становилось всё более едким и, пожалуй, тревожным, выдвигая разные вопросы, например: «Почему так легок переход от подвигов героизма к подлости?»

Неужели прав дрянненький Попов, сказавший:

«Если борьба, так уж герои с обеих сторон».

Но «героем» я был в прошлом, а теперь чувствовал себя только человеком, который принужден, обязан решить темный вопрос: почему, делая подлое дело, я не чувствую отвращения к себе? Этот вопрос я ставил перед собою и так и всячески, на сотню ладов.

Потом я стал думать: а вдруг Симонов – прав, жизнь – дело сумасшедшего зверя, всё в ней – пустяки, игра, а я действительно испорчен интеллигентами, книгами? Вдруг все эти «учителя, жизни», социалисты, гуманисты, моралисты – врут; никакой социальной совести нет, сознание связи между людьми – выдумка, и вообще ничего нет, кроме людей, каждый из них стремится жить за счет сил другого, и это дано навсегда.

Ничего нет, всё выдуманно, всё лживо, а я призван открыть ложь, я первый, кто должен открыть людям, что все они обмануты, жизнь действительно голая, зверьячья борьба, и незачем сдерживать, главное, нечем сдержать эту борьбу. Я первый открыл, что у человека нет сил протестовать против подлости в себе самом, да и не надо протестовать против ее: она – законное и действительное орудие взаимной борьбы.

Есть очень злая сказка: народ единодушно восхищался красотой и богатством одежд короля, а мальчишка вдруг закричал: «Король-то совсем голый!» И все тотчас увидели: да, король гол и уродлив.

Может быть, это я и должен сыграть роль зоркого мальчишки?

Мысли этого порядка особенно настойчиво одолевали меня в четырнадцатом году, когда началась анафемская война и всё человеческое соскочило с людей, как чешуя с протухшей рыбы.

Прочитав написанное мною сейчас, я вижу, что всё это – не то, что надо, не так рассказано. Я изобразил себя человеком, который запутался в мыслях, философствуя, вывихнул себе душу, умертвил в ней всё то человеческое, что считается добрым, хорошим. Нет, это – не то, не так.

Мысли, несмотря на их обилие, никогда не смущали и не соблазняли меня. Они представляются мне пузырями на поверхности кипения чувств: вздуваются пузыри, лопаются, исчезают, заменяясь другими. Только те мысли живучи и действительны, которые заряжены чувством; когда они заряжены, я их физически ощущаю, тогда мысли, как пальцы, хватают, подбирают и перемещают факты, лепят, строят и, оплодотворенные чувством, в свою очередь рожают новые чувства. Одна, сама по себе, не оплодотворенная чувством, мысль играет с человеком, как проститутка, но совершенно не способна изменить что-либо в человеке. Конечно, иногда и проститутку искренно любят, но – естественнее относиться к ней осторожно: обворует, заразит.

Девятнадцать лет жил я среди однообразно мыслящих людей, жил, так сказать, в атмосфере мысли одноцветной окраски. Эта окраска не удовлетворяла меня, она

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru казалась мне скучной, безрадостной, как осенний непогожий день. Но я видел, что люди так крепко взнузданы излюбленной ими мыслью именно потому, что она прочувствована насквозь, вошла в плоть и кости людей. Эта мысль – не пузырь, а – туго сжатый кулак, мысль, верующая в свою силу.

В седьмом и четырнадцатом годах, наблюдая, как легко люди отходят от своих верований, я убедился, что в них чего-то нет и никогда не было. Чего? Чувства физической брезгливости к тому, что отрицалось их мыслью? Не было привычки жить честно?

Вот здесь я, кажется, поймал что-то верное: привычка жить честно – это как раз то самое, чего не хватает людям. Этой привычки не хватало и товарищам моим. Быт их противоречил «убеждениям», «принципам», – догматам веры. Это противоречие особенно резко обнаруживалось в приемах фракционной борьбы, во вражде между людьми одинаковой веры, но различной тактики. Тут находил себе место бесстыднейший иезуитизм, допускались жульнические подвохи и даже подленькие приемы азартных игроков, увлеченных игрою до самозабвения, играющих уже только ради процесса игры.

Да, да – привычки жить честно нет у людей! Я, разумеется, понимаю, что большинство их не имело и не имеет возможности выработать эту привычку. Но те, кто ставит перед собою задачу перестроить жизнь, перевоспитать людей, – ошибаются, полагая, что «в борьбе все средства хороши». Нет, руководясь таким догматом, не воспитаешь в людях привычку жить честно.

А может быть, настало время сделать все возможные подлости, совершить все преступления, использовать сразу всё зло, для того чтоб, наконец, всё это надоело, опротивело, ужаснуло и погибло?

Странное дело! Никак не могу не связывать себя с кем-то или с чем-то, с людьми или событиями. Не могу, и – это очень похоже все-таки на попытку оправдать себя, попытку, скрываемую мною неискусно.

А между тем я совершенно лишен желания оправдываться, это я и знаю и чувствую. Это не из гордости, не из отчаяния человека, который изломал свою жизнь непоправимо. Не потому, что я хотел бы крикнуть: да, я преступник, вы – тоже, но у вас – сила, убивайте!

Мне кричать некуда, некому. Людей я не чувствую, они мне не нужны.

Все эти невольные попытки самооправдания мешают мне открыть главное, чего я ищу: почему в душе моей не нашлось ни свиста, ни звона, ни крика, ничего, что остановило бы меня на пути к предательству? И почему я сам себя не могу осудить? Почему, называя, сознавая себя преступником, я, по совести, не чувствую преступления?

Если мои записки имеют цель, так только эту – разрешить вопрос: отчего я так несоединимо и навсегда расклеился?

Я уже писал: я беспощадно нахлестывал себя, чтоб дойти до ответа. Я выдал охране и отправил на каторгу одного из лучших партийных товарищей, человека на редкость хорошего. Я очень уважал его за чистоту души, за бодрость духа, неутомимость в работе, добродушие и веселый характер. Он только что бежал из тюрьмы и третий раз работал нелегально. Выдал я его и ждал, что теперь в душе моей что-то взвывает.

Ничего не взвывало.

Симонов угощал меня красным вином какого-то необыкновенного вкуса и запаха, угощал и говорил:

– Хотите перевестись в Москву или Петербург? Здесь для вас уже мелка вода. Меня, вероятно, тоже скоро переведут в одну из столиц.

– Петр Филиппович, – спросил я, – как вы думаете: почему я стараюсь?

Он, по обыкновению, ответил не сразу, сначала внимательно посмотрел на меня,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
потом в потолок; пожал плечами:

– Не знаю. На деньги вы не жадны, честолюбия у вас – не заметно. Из чувства мести? Не похоже. Вы, в сущности, добряк.

Улыбаясь, он продолжал осторожно:

– Не первый раз вы спрашиваете меня об этом, а я уже говорил вам: вы – человек странный. Может быть, вы немножко сумасшедший? Тоже как будто нет. Ну а сами-то вы знаете: из-за чего же?

Тогда я кратко рассказал ему, в чем дело. Он слушал меня внимательно, молча; слушал и жег папиросы одну за другой. А когда я кончил, Симонов равнодушно сказал:

– Ну, это, знаете, даже опасно. Ф-фа, до чего испортили вас эти чертовы интеллигенты.

И, зажигая новую папиросу, он вздохнул:

– Эдак-то вы, пожалуй, застрелите меня. Что ж вам еще осталось? Только одно: убить кого-нибудь. Тогда, может, и вздрогнете, закричите.

Он встал, налил вина и, стоя затылком ко мне, разглядывал вино на свет, досадно обыкновенный человек, в этот час – более обыкновенный, чем всегда. Так он стоял долго, пока я не догадался, что наступил обычный его припадок, провал в непонятное мне.

– Что с вами?

Он медленно обернулся, сел, выпил вино, вздохнул, закурил.

– Выдумали вы, батенька, всю эту внутреннюю канитель, – сказал он. – Выдумали, да! Это – для развлечения. Я – знаю это. Сам, иногда, лягу спать, а – не спится, и воображаю себя то отчаянным злодеем, то святым человеком. Забавляет. А чаще всего – фокусником, эдаким исключительным, эксцентрическим фокусником.

И вдруг, облокотясь на стол, оживленный, каким я его никогда не видал, Симонов начал рассказывать хриплым своим баском:

– Знаете, – чудеснейшим фокусником вижу я себя. Прежде всего: я выхожу на сцену в трико – понимаете? Как акробат. Никаких карманов!

Он улыбнулся улыбкой счастливого человека, глупо и смешно подмигнул мне.

– Вдруг в руках у меня утка. Я пускаю ее на пол, она ходит по сцене, крикает и – кладет яйца! Понимаете? Положит, а из яйца вылупился поросенок, положит другое, а из него – заяц, из третьего – сова, и так штук десять. Вообразите состояние публики, а? Все встали с мест, протирают глаза, смотрят в бинокли, – изумление! Все чувствуют себя дураками, а особенно – губернатор, каково губернатору чувствовать себя при публике идиотом, а? Вдруг – у меня две головы! Я закуриваю сигары, – две! Но – дыма нет, а потом дым идет из пальцев ног – воображаете? А по сцене прыгает заяц, бегают поросенок, дико вытаращенными глазами смотрит на людей ослепленная огнем рампы сова, еще какие-то животные мечутся, их становится всё больше – кавардак!

И, вытаращив бесцветные глаза, начальник охранного отделения Петр Филиппович Симонов, борец против революции, сказал с глубочайшим убеждением, почти с восторгом:

– Черт знает до чего можно одурачить людей! Черт знает как!

Слушая его нелепый бред, я чувствовал себя идиотом. Он не был пьян, пил не мало, но никогда не хмелел.

Я спросил его:

– Об этом вам и думается, когда вы вдруг точно засыпаете во время беседы, как

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
будто проваливаетесь куда-то?

– Об этом, – сказал он, кивнув головой. – Это на меня находит внезапно. Как-то даже на докладе, в департаменте полиции, вдруг мне представилось, что я могу написать в воздухе пальцем мою фамилию огненными буквами. И – что ж вы думаете? Начал писать, вижу – выходит! Горят в воздухе перед лицом директора огненные буквы: Симонов, Симонов... Смотрю на директора и удивляюсь: неужели он не видит этого? А он спрашивает меня: «Что с вами? Вам дурно?» Испугался, конечно.

Тихонькое безумие сияло в глазах Симонова, и от этого лицо стало как будто значительнее.

Питая некую надежду, я спросил:

– А больше у вас ничего нет?

Он тоже спросил меня:

– Что вы хотите сказать?

Странно умер он: ночью часа два сидел со мною, совершенно здоровый, а в четыре часа дня умер в саду, лежа в гамаке.

Приходил товарищ Басов и с ним еще какой-то рыжий, с забинтованной головой:

– Не узнаете меня, Карамора? – осведомился он.

Оказалось: один из тех, которым я устраивал побег. Не помню его. Их было трое в тюрьме.

Басов спросил: служил ли я уже в охране, устраивая этот побег? Глупый вопрос. По документам охраны они должны знать, что уже служил.

Поговорив со мною полчаса тоном праведных судей, – как и надлежало, – ушли.

Пожалуй, они оставят мне жизнь. Интересно: что я буду делать с нею? Вот тоже вопрос: жизнь дана во власть человеку или человек дан жизни на съедение? И чья это затея – жизнь? В сущности: дурацкая затея.

Да, я, служа в охране, разрешал себе устраивать товарищам маленькие удовольствия: побег из тюрьмы, побеги из ссылки, устраивал типографии, склады литературы. Но двурушничал не для того, чтоб, упорчив их доверие ко мне, выдавать их жандармам, а так, для разнообразия. Помогал и по симпатиям, но главным образом из любопытства: что будет?

Говорят, есть в глазу какой-то «хрусталик» и от него именно зависит правильность зрения. В душу человека тоже надо бы вложить такой хрусталик. А его – нет. Нет его, вот в чем суть дела.

Привычка честно жить? Это привычка правдиво чувствовать, а правда чувствований возможна только при полной свободе проявлять их, а свобода проявления чувств делает человека зверем или подлецом, если он не догадался родиться святым. Или – душевно слепым. Может быть, слепота – это и есть святость?

Я не всё написал, а всё, что написал, – не так. Но – больше писать не хочется.

Уголовные поют «Интернационал», надзиратель в коридоре тихонько подпевает им. У него смешная фамилия – Зудилин.

Была у нас в комитете пропагандистка, Миронова, товарищ Тася, удивительная девушка. Какое ласковое, но твердое сердце было у нее! Не скажу, чтоб она была красива, но человека милее ее я не видал. Почему я вдруг вспомнил о ней? Я ее не выдавал жандармам.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Поток мысли. Непрерывное течение мысли.

А что, если я действительно тот самый мальчишка, который только один способен видеть правду? «Король-то совсем голый, а?»

Опять лезут ко мне...

Надоели.

1924

Горький – поэт
Девушка и смерть
Сказка

I

По деревне ехал царь с войны.
Едет – черной злобой сердце точит.
Слышит – за кустами бузины
Девушка хохочет.
Грозно брови рыжие нахмуря,
Царь ударил шпорами коня,
Налетел на девушку, как буря,
И кричит, доспехами звеня:
– Ты чего, – кричит он зло и грубо, –
Ты чего, девчонка, скалишь зубы?
Одержал враг надо мной победу,
Вся моя дружина перебита,
В плен попала половина свиты,
Я домой, за новой ратью еду,
Я – твой царь, я в горе и обиде, –
Каково мне глупый смех твой видеть?
Кофточку оправя на груди,
Девушка ответила царю:
– Отойди – я с милым говорю!
Батюшка, ты лучше отойди.
Любишь, так уж тут не до царей, –
Некогда беседовать с царями!
Иногда любовь горит скорей
Тонкой свечки в жарком божьем храме.
Царь затрясся весь от дикой злости,
Приказал своей покорной свите:
– Нуте-ко, в тюрьму девчонку бросьте,
Или, лучше, – сразу удавите!
Исказив угодливые рожи,
Бросились к девице, словно черти,
Конюхи царевы и вельможи, –
Предали девицу в руки Смерти.

II

Смерть всегда злым демонам покорна,
Но в тот день она была не в духе, –
Ведь весной любви и жизни зерна
Набухают даже в ней, старухе.
Скучно век возиться с тухлым мясом,
Истреблять в нем разные болезни;
Скучно мерять время смертным часом –
Хочется пожить небесполезней.
Все пред неизбежной с нею встречей
Ощущают только страх нелепый,
Надоел ей ужас человеческий,
Надоели похороны, склепы.
Занята неблагодарным делом
На земле и грязной и недужной,
Делает она его умело, –
Люди же считают Смерть ненужной.
Ну, конечно, ей обидно это,
Злит ее людское наше стадо,
И, озлясь, сживает Смерть со света
Иногда не тех, кого бы надо.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Полюбить бы Сатану ей, что ли,
Подышать бы вволю адским зноем,
Зарыдать бы от любовной боли
Вместе с огнекудрым Сатаною!

III

Девушка стоит пред Смертью, смело
Грозного удара ожидая.
Смерть бормочет – жертву пожалела:
– Ишь ты ведь, какая молодая!
Что ты нагрубила там царю?
Я тебя за это уморю!
– Не сердись, – ответила девица, –
За что на меня тебе сердиться?
Целовал меня впервые милый
Под кустом зеленой бузины, –
До царя ли мне в ту пору было?
Ну а царь – на грех – бежит с войны.
Я и говорю ему, царю,
Отойди, мол, батюшка, отсюда!
Хорошо как будто говорю,
А – гляди-ко, вышло-то как худо!
Что ж?! От Смерти некуда деваться,
Видно, я умру, недолюбя.
Смертушка! Душой прошу тебя –
Дай ты мне еще поцеловаться!
Странны были Смерти речи эти, –
Смерть об этом никогда не просят!
Думает: «Чем буду жить на свете,
Если люди целоваться бросят?»
И, на вешнем солнце кости грея,
Смерть сказала, подманив змею:
– Ну, ступай, целуйся, да – скорее!
Ночь – твоя, а на заре – убью!
И на камень села, – ожидает,
А змея ей жалом косу лижет.
Девушка от счастья рыдает,
Смерть ворчит: – Иди скорей, иди же!
IV

Вешним солнцем ласково согрета,
Смерть разула стоптанные лапти,
Прилегла на камень и уснула.
Нехороший сон приснился Смерти!
Будто бы ее родитель, Каин,
С правнуком своим – Искариотом,
Дряхленькие оба, лезут в гору, –
Точно две змеи ползут тихонько.
– Господи! – угрюмо стонет Каин,
Глядя в небо тусклыми глазами.
– Господи! – взывает злой Иуда,
От земли очей не поднимая.
Над горою в облаке румяном
Возлежит Господь, – читает книгу;
Звездами написана та книга,
Млечный Путь – один ее листочек!
На верху горы стоит Архангел,
Снопик молний в белой ручке держит.
Говорит он путникам сурово:
– Прочь идите! Вас Господь не примет!
– Михаиле! – жалуется Каин. –
Знаю я – велик мой грех пред миром!
Я родил убийцу светлой Жизни,
Я отец проклятой, подлой Смерти!
– Михаиле! – говорит Иуда. –
Знаю, что я Каина грешнее,
Потому что предал подлой Смерти
Светлое, как солнце, божье сердце!
И взывают оба они в голос:
– Михаиле! Пусть Господь хоть слово

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Скажет нам, хоть только пожалеет –
Ведь прощенья мы уже не молим!
Тихо отвечает им Архангел:
– Трижды говорил ему я это,
Дважды ничего он не сказал мне,
В третий раз, качнув главою, молвил:
– Знай, – доколе Смерть живое губит,
Каину с Иудой нет прощенья.
Пусть их тот простит, чья сила может
Побороть навеки силу Смерти.
Тут Братоубийца и Предатель
Горестно завывали, зарыдали
И, обнявшись, оба покатались
В смрадное болото под горою.
А в болоте бесятся, ликуя,
Упыри, кикиморы и черти.
И плюют на Каина с Иудой
Синими болотными огнями.

V

Смерть проснулась около полудня,
Смотрит – а девица не пришла!
Смерть бормочет сонно: – Ишь ты, блудня!
Видно, ночь-то коротка была!
Сорвала подсолнух за плетнем,
Нюхает; любуется, как солнце
Золотит живым своим огнем
Лист осины в желтые червонцы.
И, на солнце глядя, вдруг запела
Тихо и гнусаво, как умела:
– Беспощадною рукой
Люди ближнего убьют,
И хоронят, и поют:
«Со святыми упокой!»
Не пойму я ничего! –
Деспот бьет людей и гонит,
А издохнет – и его
С той же песенкой хоронят!
Честный помер или вор –
С одинаковой тоской
Распеваает грустный хор:
«Со святыми упокой!»
Дурака, скота иль хама
Я убью моей рукой,
Но для всех поют упрямо:
«Со святыми упокой!»

VI

Спела песню – начинает злиться,
Уж прошло гораздо больше суток,
А – не возвращается девица.
Это плохо. Смерти – не до шуток.
Становясь всё злее и жесточе,
Смерть обула лапти и онучи
И, едва дождавшись лунной ночи,
В путь идет, грозней осенней тучи.
Час прошла и видит: в перелеске,
Под росистой молодой орешней,
На траве атласной, в лунном блеске
Девушка сидит богиней вешней,
Как земля гола весной ранней,
Грудь ее обнажена бесстыдно,
И на коже шелковистой, ланьей,
Звезды поцелуев ярко видны.
Два соска, как звезды, красят грудь,
И – как звезды – кротки смотрят очи
В небеса, на светлый Млечный Путь,
На тропу синеволосой ночи.
Под глазами голубые тени,
Точно рана – губы влажно алы.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Положив ей голову в колени,
Дремлет парень, как олень усталый.
Смерть глядит, и тихо пламя гнева
Гаснет в ее черепе пустом.
– Ты чего же это, словно Ева,
Спряталась от бога за кустом?
Точно небом – лунно-звездным телом
Милого от Смерти заслоня,
Отвечает ей девица смело:
– Погоди-ко, не ругай меня!
Не шуми, не испугай беднягу,
Острою косою не звени!
Я сейчас приду, в могилу лягу,
А его – подольше сохрани!
Виновата, не пришла я к сроку,
Думала – до Смерти недалеко.
Дай еще парнишку обниму:
Больно хорошо со мной ему!
Да и он – хорош! Ты погляди,
Вон какие он оставил знаки
На щеках моих и на груди,
Вишь, цветут, как огненные маки!
Смерть, стыдясь, тихонько засмеялась:
– Да, ты будто с солнцем целовалась,
Но ведь у меня ты не одна –
Тысячи я убивать должна!
Я ведь честно времени служу,
Дела много, а уж я – стара,
Каждою минутой дорожу,
Собирайся, девушка, пора!
Девушка – свое:
– Обнимет милый,
Ни земли, ни неба больше нет.
И душа полна нездешней силой,
И горит в душе нездешний свет.
Нету больше страха пред Судьбой,
И ни бога, ни людей не надо!
Как дитя, собою радость рада,
И любовь любит себя собой!
Смерть молчит задумчиво и строго,
Видит – не прервать ей этой песни!
Краше солнца – нету в мире бога,
Нет огня – огня любви чудесней!

VII

Смерть молчит, а девушкины речи
Зависти огнем ей кости плавят,
В жар и холод властно ее мечут,
Что же сердце Смерти миру явит?
Смерть – не мать, но – женщина, и в ней
Сердце тоже разума сильней;
В темном сердце Смерти есть ростки
Жалости, и гнева, и тоски.
Тем, кого она полюбит крепче,
Кто ужален в душу злой тоскою,
Как она любовно ночью шепчет
О великой радости покоя!
– Что ж, – сказала Смерть, – пусть будет чудо!
Разрешаю я тебе – живи!
Только я с тобою рядом буду,
Вечно буду около любви!
С той поры Любовь и Смерть, как сестры,
Ходят неразлучно до сего дня,
За Любовью Смерть с косою острой
Тащится повсюду, точно сводня.
Ходит, околдована сестрою,
И везде – на свадьбе и на тризне –
Неустанно, неуклонно строит
Радости Любви и счастье жизни.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Песня о соколе

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, – у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор.

Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота – это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

– Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он – вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могучее размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

– Рагим!.. Расскажи сказку... – прошу я старика.

– Зачем? – спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

– Так! Я люблю твои сказки.

– Я тебе все уж рассказал... Больше не знаю... – Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

– Хочешь, я расскажу тебе песню? – соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал горы и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

– Что, умираешь?

– Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

– Ну что же – небо? – пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: „Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...“

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

– О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди, и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: „Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..“

И предложил он свободной птице: „А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии“.

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и – вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились... И тупа птицы не видно было в морском пространстве...»

II

«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

– А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Сказал и – сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся..

– Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она – в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я – видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье – землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жадью свободы, света!

Пусть ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

..Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывая шумя, ползет к голове Рагима.

– Куда идешь?.. Пшла! – машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения...

1895

Песня о буреветнике

Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буреветник, черной молнии подобный.

То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и – тучи слышат радость в смелом крике птицы.

В этом крике – жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
слышат тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, – стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, – им, гагарам, недоступно наслаждение битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах... Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!

Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.

Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятые крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утесы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, черной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, – гордый, черный демон бури, – и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от радости рыдает!

В гневе грома, – чуткий демон, – он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, – нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...

Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.

– Буря! Скоро грянет буря!

Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревушим гневно морем; то кричит пророк победы:

– Пусть сильнее грянет буря!..

1901

Легенда о Марко

В лесу над рекой жила фея.

В реке она часто купалась

И раз, позабыв осторожность,

В рыбацкие сети попалась.

Ее рыбаки испугались,

Но был с ними юноша Марко,

Схватил он красавицу фею

И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка, –

В могучих руках извивалась

Да в Марковы очи глядела

И тихо над чем-то смеялась.

Весь день она Марка ласкала:

А как только ночь наступила,

Пропала веселая фея...

У Марка душа загрустила...

И дни ходит Марко и ночи

В лесу, над рекою Дунаем,

Все ищет, все стонет: «Где фея?»

А волны смеются: «Не знаем!»

Но он закричал им: «Вы лжете!

Вы сами целуетесь с нею!»

И бросился юноша глупый

В Дунай, чтоб найти свою фею...

Купается фея в Дунае,

Как раньше, до Марка, купалась;

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

А Марка – уж нету...

Но всё же

От Марка хоть песня осталась.

А вы на земле проживете,

Как черви слепые живут:

Ни сказок о вас не расскажут,

Ни песен про вас не споют!

1903

Пьесы

Мещане

Действующие лица

Бессеменов, Василий Васильев, 58 лет, зажиточный мещанин, старшина малярного цеха.

Акулина Ивановна., жена его, 52 года.

Петр, бывший студент, 26 лет.

его дети

Татьяна, школьная учительница, 28 лет.

Нил, воспитанник Бессеменова, машинист, 27 лет.

Перчихин, дальний родственник Бессеменова, торговец певчими птицами, 50 лет.

Поля, его дочь, швейка, работает в семьях поденно, 21 год.

Елена Николаевна Кривцова, вдова смотрителя тюрьмы, живет на квартире у Бессеменовых, 24 года.

Тетерев, певчий.

нахлебники у Бессеменовых

Шишкин, студент.

Цветаева, учительница, подруга Татьяны, 25 лет.

Степанида, кухарка.

Баба с улицы.

Мальчишка, маляр.

Доктор.

Место действия – маленький провинциальный город.

Обстановка

Комната в зажиточном мещанском доме. Ее правый угол отрезан двумя глухими переборками; они выступают в комнату прямым углом и, стесняя задний план ее, образуют на переднем еще маленькую комнату, отделенную от большой деревянной аркой. В арке протянута проволока, на ней висит пестрый занавес. В задней стене большой комнаты – дверь в сени и другую половину дома, где помещается кухня и комнаты нахлебников. Слева от двери – огромный, тяжелый шкаф для посуды, в углу сундук, справа – старинные часы в футляре. Большой, как луна, маятник медленно качается за стеклом, и, когда в комнате тихо, слышится его бездушное – да, так! да, так! В левой стене – две двери: одна в комнату стариков, другая – к Петру. Между дверями печь, облицованная белыми изразцами. У печи – старый диван, обитый клеенкой, перед ним – большой стол, на котором обедают, пьют чай. Дешевые венские стулья с тошнотворной правильностью стоят у стен. Слева же у самого края сцены – стеклянная горка, в ней – разноцветные коробочки, пасхальные яйца, пара бронзовых подсвечников, ложки чайные и столовые, несколько штук серебряных стаканчиков, стопок. В комнате за аркой, у стены против зрителя – пианино, этажерка с нотами, в углу кадка с филодендроном. В правой стене – два окна, на подоконниках – цветы, у окон – кушетка, около нее – у передней стены – маленький стол.

Акт первый

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Вечер, около пяти часов. В окна смотрит осенний сумрак. В большой комнате – почти темно. Татьяна, полулежа на кушетке, читает книгу, Поля у стола – шьет.

Татьяна (читает). «Взошла луна. И было странно видеть, что от нее, такой маленькой и грустной, на землю так много льется серебристо-голубого, ласкового света»... (Бросает книгу на колени себе.) Темно.

Поля. Зажечь лампу?

Татьяна. Не надо! Я устала читать...

Поля. Как это хорошо написано! Просто так... и грустно... за душу берет... (Пауза.) Ужасно хочется знать – какой конец? поженятся они – иль нет?

Татьяна (с досадой). Не в этом дело...

Поля. А я бы такого не полюбила... нет!

Татьяна. Почему?

Поля. Скучный он... И всё жалуется... Неуверенный потому что... Мужчина должен знать, что ему нужно делать в жизни...

Татьяна (негромко). А... Нил – знает?

Поля (уверенно). Он знает!

Татьяна. Что же?

Поля. Я... не могу вам это рассказать... так просто, как он говорит... Но только – дурным людям... злым и жадным – плохо будет от него! Не любит он их...

Татьяна. Кто – дурен? И кто – хорош?

Поля. Он знает!.. (Татьяна молчит, не глядя на Полю. Поля, улыбаясь, берет книгу с ее колен.) Хорошо это написано! Она очень уж привлекательная... такая прямая, простая, душевная! Вот как видишь женщину-то, в милом образе описанную, так и сама себе лучше кажешься...

Татьяна. Какая наивная... смешная ты, Поля! А меня – раздражает вся эта история! Не было такой девушки! И усадьбы, и реки, и луны – ничего такого не было! Всё это выдуманно. И всегда в книгах описывают жизнь не такой, какая она на самом деле... у нас, у тебя, например...

Поля. Пишут про интересное. А в нашей жизни – какой интерес?

Татьяна (не слушая, с раздражением). Мне часто кажется, что книги пишут люди... которые не любят меня и... всегда спорят со мной. Как будто они говорят мне: это лучше, чем ты думаешь, а вот это – хуже...

Поля. А я думаю, что все писатели непременно добрые... Посмотрела бы я на писателя!..

Татьяна (как бы сама с собою). Дурное и тяжелое они изображают не так, как я его вижу... а как-то особенно... более крупно... в трагическом тоне. А хорошее – они выдумывают. Никто не объясняется в любви так, как об этом пишут! И жизнь совсем не трагична... она течет тихо, однообразно... как большая мутная река. А когда смотришь, как течет река, то глаза устают, делается скучно... голова тупеет, и даже не хочется подумать – зачем река течет?

Поля (задумчиво глядя пред собой). Нет, я бы посмотрела на писателя! Вы читали, а я нет-нет да и подумаю – какой он? Молодой? старый? брюнет?..

Татьяна. Кто?

Поля. Вот этот писатель...

Татьяна. Он умер...

Поля. Ах... жалко как! Давно? Молодой?

Татьяна. Средних лет. Он пил водку...

Поля. Бедненький... (Пауза.) И почему это – умные люди пьянствуют? Вот этот, нахлебник ваш, певчий... он ведь умный, а – пьет... почему это?

Татьяна. Жить скучно...

Петр (заспанный, выходит из своей комнаты). Экая тьма! Кто это сидит?

Поля. Я... и Татьяна Васильевна...

Петр. Что ж вы огонь не зажжете?

Поля. Мы сумерничаем...

Петр. В мою комнату от стариков запах деревянного масла проходит... должно быть, от этого во сне я видел, будто плыву по какой-то реке, а вода в ней густая, как деготь... Плыть тяжело... и я не знаю – куда надо плыть... и не вижу берега. Попадаются мне какие-то обломки, но когда я хватаюсь за них – они рассыпаются в прах... гнилые, трухлявые. Ерунда... (Насвистывая, шагает по комнате.) Пора бы чай пить...

Поля (зажигая лампу). Пойду, похлопочу... (Уходит.)

Петр. По вечерам у нас в доме как-то особенно... тесно и угрюмо. Все эти допотопные вещи как бы вырастают, становятся еще крупнее, тяжелее... и, вытесняя воздух, – мешают дышать. (Стучит рукой в шкаф.) Вот этот чулан восемнадцать лет стоит на одном месте... восемнадцать лет... Говорят – жизнь быстро двигается вперед... а вот шкафа этого она никуда не подвинула ни на вершок... Маленький я не раз разбивал себе лоб о его твердыню... и теперь он почему-то мешает мне. Дурацкая штука... Не шкаф, а какой-то символ... черт бы его взял!

Татьяна. Какой ты скучный, Петр... Тебе вредно жить так...

Петр. Как это?

Татьяна. Ты нигде не бываешь... только наверху у Лены... каждый вечер. И это очень беспокоит стариков... (Петр, не отвечая, ходит и свищет.) Знаешь – я стала сильно уставать... В школе меня утомляет шум и беспорядок... здесь – тишина и порядок. Хотя у нас стало веселее с той поры, как переехала Лена. Да-а, я очень устаю! А до праздников еще далеко... Ноябрь... Декабрь. (Часы бьют шесть раз.)

Бессеменов (высовывая голову из двери своей комнаты). Засвистали козаченьки! Прощение-то, поди-ка, опять не написал?

Петр. Написал, написал...

Бессеменов. Насилу-то удосужился... эхе-хе! (Скрывается.)

Татьяна. Какое это прошение?

Петр. О взыскании с купца Сизова 17 р. 50 к. за окраску крыши на сарае...

Акулина Ивановна (выходит с лампой). А на дворе-то опять дождик пошел. (Подходит к шкафу, достает из него посуду и накрывает на стол.) Холодно у нас чего-то. Топили, а холодно. Старый дом-то... продувает... охо-хо! А отец-то, ребяташки, опять сердитый... поясицу, говорит, ломит у него. Тоже старый... а всё неудачи да непорядки... расходы большие... забота.

Татьяна (брату). Ты вчера у Лены сидел?..

Петр. Да...

Татьяна. Весело было?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Петр. Как всегда... пили чай, пели... спорили...

Татьяна. Кто с кем?

Петр. Я с Нилом и Шишкиным.

Татьяна. По обыкновению...

Петр. Да. Нил восторгался процессом жизни... ужасно он раздражает меня... проповедью бодрости, любви к жизни... Смешно! Слушая его, начинаешь представлять себе эту никому не известную жизнь... чем-то вроде американской тетушки, которая вот-вот явится и осыплет тебя разными благами... А Шишкин проповедовал пользу молока и вред табака... да уличал меня в буржуазном образе мыслей.

Татьяна. Всё одно и то же...

Петр. Да, по обыкновению...

Татьяна. Тебе... очень нравится Лена?

Петр. Н-ничего... она славная... веселая...

Акулина Ивановна. Вертушка она! Зряшная ее жизнь! Каждый божий день гости у нее, чай да сахары... пляс да песня... а вот умывальника купить себе не может! Из таза умывается да на пол воду хлещет... дом-то гноит...

Татьяна. А я вчера была в клубе... на семейном вечере. Член городской управы Сомов, попечитель моей школы, едва кивнул мне головой... да. А когда в зал вошла содержанка судьи Романова, он бросился к ней, поклонился, как губернаторше, и поцеловал руку...

Акулина Ивановна. Экой бесстыдник, а? Где бы взять честную девушку под ручку да уважить ее, поводить ее по зале-то вальяженько, на людях-то...

Татьяна (брату). Нет, ты подумай! Учительница, в глазах этих людей, заслуживает меньше внимания, чем распутная, раскрашенная женщина...

Петр. Не стоит замечать таких... пошлостей... Нужно ставить себя выше... А она хоть и распутная, но не красится...

Акулина Ивановна. Ты почему знаешь? Лизал ей щеки-то? Сестру обидели, а он за обидчицу заступается...

Петр. Мамаша! Будет вам...

Татьяна. Нет, при матери совершенно нельзя говорить... (За дверью в сени слышны тяжелые шаги.)

Акулина Ивановна. Ну-ну! Окрысились... Ты бы, Петр, чем шаги-то вышагивать, самовар втащил... а то Степанида жалуется – тяжело, дескать...

Степанида (вносит самовар, ставит его на пол около стола и, выпрямившись, задыхаясь, говорит хозяйке). Ну, и как вам будет угодно, а только опять говорю – сил моих нет лешего этакого таскать, – ноженьки подламываются...

Акулина Ивановна. Что же – особого человека нанять прикажешь?

Степанида. Как хотите! Пускай певчий носит – что ему? Петр Васильич, поставь на стол самовар, ей-ей, мочи нет!

Петр. Ну, давай... эх!

Степанида. Спасибо. (Уходит.)

Акулина Ивановна. В самом деле, Петя, скажи-ка ты певчему-то, пусть бы он самовар-от подавал? Право...

Татьяна (тоскливо вздыхает). О боже мой...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Петр. А не сказать ли ему, чтоб он воду носил, полы мыл, трубы чистил и, кстати уж, белье стирал?

Акулина Ивановна (с досадой отмахивается от него рукой). Что зря говоришь? Всё это своим порядком и без него делают... А самовар внести...

Петр. Мамаша! Каждый вечер вы поднимаете сей роковой вопрос – вопрос о том, кому носить самовар. И поверьте, что вопрос этот пребудет неразрешенным до поры, пока вы не наймете дворника...

Акулина Ивановна. На кой шут он нужен, дворник? Отец сам двор убирает...

Петр. И это называется – скряжничеством. А скряжничать нехорошо, имея в банке...

Акулина Ивановна. Ш-ш! Нишкни! Отец услышит – он те задаст банк! Ты в банк-то деньги вложил?

Петр. Послушайте!

Татьяна (вскакивая). Петр, да оставь хоть ты... ведь терпения не хватает...

Петр (подходя к ней). Ну, не кричи! Незаметно для себя втягиваешься в эти споры...

Акулина Ивановна. Застонали! Слова сказать матери-то нельзя...

Петр. Изю дня в день – одно и то же... На душу от этих прений садится какая-то копоть, ржавчина...

Акулина Ивановна (кричит в дверь своей комнаты). Отец! Иди чай пить...

Петр. Когда истечет срок моего отлучения от университета, я уеду в Москву и, как прежде, буду приезжать сюда на неделю, не больше. За три года университетской жизни я отвык от дома... от всего этого крохоборства и мещанской суеты... Хорошо жить одному, вне прелестей родного крова!..

Татьяна. А мне вот некуда ехать...

Петр. Я говорю тебе – поезжай на курсы...

Татьяна. Ах, зачем мне курсы? Я жить, жить я хочу, а не учиться... пойми!

Акулина Ивановна (снимая чайник с самовара, обожгла руку и вскрикивает). Ах, пострели те горой!

Татьяна (брату). И я не знаю, не представляю – что значит жить? Как я могла бы жить?

Петр (задумчиво). Н-да, жить надо умеючи... осторожно...

Бессеменов (выходит из своей комнаты и, оглядев детей, садится за стол). Нахлебников звали?

Акулина Ивановна. Петя! Позови-ко...

(Петр уходит. Татьяна идет к столу.)

Бессеменов. Опять пиленого сахару купили? Сколько раз я говорил...

Татьяна. Ну, не всё ли равно, папаша?

Бессеменов. Я говорю не тебе, а матери. Тебе, я знаю, всё равно...

Акулина Ивановна. Всего фунт купила я, отец. Целая голова есть, только не успели расколоть... не сердись!

Бессеменов. Я не сержусь... Я говорю – пиленый сахар тяжел и не сладок, стало быть, невыгоден. Сахар всегда нужно покупать головой... и колоть самим. От этого будут крошки, а крошки в кушанье идут. И сахар самый, он легкий, сладкий...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
(Дочери.) Ты чего морщишься да вздыхаешь?

Татьяна. Ничего, ничего... так...

Бессеменов. А коли ничего, так незачем и вздыхать. Неужто отцовы слова так тяжело слушать? Не для, себя ради, а для вас же, молодых, говорим. Мы свое прожили, вам – жить. А когда глядишь на вас, то не понимаешь – как, собственно, вы жить думаете? К чему у вас намерения? Наш порядок вам не нравится, это мы видим, чувствуем... а какой свой порядок вы придумали? Вот он, вопрос. Н-да...

Татьяна. Папаша! Подумайте, который раз говорите вы мне это?

Бессеменов. И еще, и без конца, до гроба говорить буду! Ибо – обеспокоен я в моей жизни. Вами обеспокоен... Зря, не подумавши хорошо, пустил я вас в образование... Вот – Петра выгнали, ты – в девках сидишь...

Татьяна. Я работаю... я...

Бессеменов. Слышал. А кому польза от этой работы? Двадцать пять рублей твои – никому не надобны, и тебе самой. Выходи замуж, живи законным порядком, – я сам тебе пятьдесят в месяц платить буду.

Акулина Ивановна (всё время разговора отца с дочерью беспокойно вертится на стуле, несколько раз пытается что-то сказать и, наконец, ласково спрашивает). Отец! Ватрушечки... не хочешь ли? От обеда остались... а?

Бессеменов (оборачиваясь к ней, смотрит на нее сначала сердито и потом, улыбаясь в бороду, говорит). Ну, тащи ватрушки... тащи... Эхе-хе! (Акулина Ивановна бросается к шкафу, а Бессеменов говорит дочери.) Видишь, мать-то, как утка от собаки птенцов своих, вас от меня защищает... Всё дрожит, всё боится, как бы я словом-то не ушиб вас... Ба, птичник! Явился, пропащий!

Перчихин (является в дверях, за ним молча входит Поля). Мир сему дому, хозяину седому, хозяйке-красотке, чадам их любезным – во веки веков!

Бессеменов. У тебя опять разрешение вина?

Перчихин. С горя!

Бессеменов. С какого это?

Перчихин (рассказывает, здороваясь). Зяблика продал сегодня... Три года держал птицу, тирольской трелью пела, – продал! Почувствовал себя за этот поступок низким человеком и – растрогался. Жаль птицу, привык... любил...

(Поля, улыбаясь, кивает отцу головой.)

Бессеменов. А зачем продавал, коли так?

Перчихин (придерживаясь за спинки стульев, ходит вокруг стола). Цену хорошую дали...

Акулина Ивановна. А что тебе деньги? Всё равно зря промотаешь...

Перчихин (усаживаясь). Верно, мать! Деньги мне не к рукам... верно!

Бессеменов. Значит, опять-таки не было резона продавать...

Перчихин. Был резон. Слепнуть стала птица... стало быть, скоро помрет...

Бессеменов (усмехаясь). Ты, однако, не совсем дурак...

Перчихин. Рази я это от ума поступил? Это от низости природы моей...

(Петр и Тетерев входят.)

Татьяна. А Нил где?

Петр. Ушел с Шишкиным на репетицию.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Бессеменов. Где это они играть хотят?

Петр. В манеже. Спектакль для солдат.

Перчихин (Тетереву). Божьей дудке – почтение! Синиц ловить идем, дядя?

Тетерев. Можно. А когда?

Перчихин. Хоть завтра.

Тетерев. Не могу. Покойник есть...

Перчихин. До обедни?

Тетерев. Могу. Заходи. Акулина Ивановна! А не осталось ли чего-нибудь от обеда? Каши или в этом роде чего-либо?..

Акулина Ивановна. Изволь, батюшка, есть. Поля, принеси-ко там...

(Поля уходит.)

Тетерев. Премного благодарен. Ибо сегодня, как вам это известно, не обедал я по случаю похорон и свадьбы...

Акулина Ивановна. Знаю, знаю...

(Петр, взяв налитый стакан, уходит в комнату за аркой, сопровождаемый испытующим взглядом отца и недружелюбным – Тетерева. Несколько секунд все пьют и едят молча.)

Бессеменов. А хорошо ты, Терентий Хрисанфыч, заработаешь в этом месяце. Почти каждый день покойник.

Тетерев. Везет... ничего.

Бессеменов. И свадьбы часто...

Тетерев. И женятся усердно...

Бессеменов. Вот накопи деньжат да и сам женись.

Тетерев. Не хочется...

(Татьяна уходит к брату, и между ними начинается тихая беседа.)

Перчихин. Не женись, не надо! Нашему брату, чудачку, женитьба ни к чему. Лучше пойдем снигирей ловить...

Тетерев. Согласен...

Перчихин. Расчудесное это занятие – снигирей ловить! Только что снег выпал, земля словно в пасхальную ризу одета... чистота, сияние и кроткая тишина вокруг... Особенно ежели день солнечный – душа поет от радости! На деревьях еще осенний лист золотом отливает, а уж ветки серебрецом снежка пухлого присыпаны... И вот на этакую умирительную красоту – гурлы! гурлы! – вдруг с небес чистых стайка красных птичек опустится, цви! цви! цви! И словно маки расцветут. Толстенькие эдакие пичужки, степенные, вроде генералов. Ходят и ворчат и скрипят – умиление души! Сам бы в снигиря обратился, чтобы с ними порыться в снегу... эх!..

Бессеменов. Глупая птица, снигирь.

Перчихин. Я сам глупый...

Тетерев. Рассказано хорошо...

Акулина Ивановна (Перчихину). Младенец ты...

Перчихин. Люблю птичек ловить! Что есть на свете лучше певчей птицы?

Бессеменов. А ловить ее, птицу-то, грех. Знаешь?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Перчихин. Знаю. Но ежели люблю? И ничего кроме делать не умею. Я так полагаю, что всякое дело любовью освящается...

Бессеменов. Всякое?

Перчихин. Всякое!

Бессеменов. А ежели кто любит чужую собственность прикарманивать?

Перчихин. Это уж будет не дело, а воровство.

Бессеменов. Мм... Оно пожалуй...

Акулина Ивановна (зевая). Охо-хо! Скушно что-то... И как это по вечерам скушно всегда... Хоть бы ты, Терентий Хрисанфич, гитару свою принес да поиграл бы.

Тетерев (спокойно). При найме мною квартиры, достопочтенная Акулина Ивановна, я не брал на себя обязанности увеселять вас...

Акулина Ивановна (не разобрав). Как ты сказал?

Тетерев. Громко и внятно.

Бессеменов (с удивлением и досадой). Смотрю я на тебя, Терентий Хрисанфович, и дивуюсь. Человек ты... извини за выражение, совсем... никудышный... никчемный, но гордость в тебе – чисто барская. Откуда бы?

Тетерев (спокойно). Врожденная...

Бессеменов. Чем же ты гордишься-то, скажи на милость?

Акулина Ивановна. Так это он – чудачит всё. Какая в нем гордость может быть?

Татьяна. Мама!

Акулина Ивановна (встрепенувшись). А? Ты что?

(Татьяна укоризненно качает головой.)

Акулина Ивановна. Али я опять что не так сказала? Ну, ин буду молчать... Бог с вами!

Бессеменов (обиженный). Ты, мать, осторожнее выражай свои мысли. Мы живем среди лиц образованных. Они на всё могут навести критику с точки науки и высших свойств ума. А мы с тобой люди старые, глупые...

Акулина Ивановна (миролюбиво). Что уж там! Конечно уж... они ведь знают.

Перчихин. А это ты, брат, верно сказал. Хоть и в шутку, а верно...

Бессеменов. Я не в шутку...

Перчихин. погоди! Старики – действительно глупый народ...

Бессеменов. Особенно как на тебя посмотришь.

Перчихин. Я – не в счет. Я даже так полагаю: не было бы стариков – не было бы и глупости... Старый человек думает, как сырое дерево горит, – больше чаду, чем огня...

Тетерев (улыбаясь). Одобряю...

(Поля ласково смотрит на отца и гладит его плечо рукой.)

Бессеменов (угрюмо). Так, так! Ну, ври дальше...

(Петр и Татьяна, прерывая свою беседу, с улыбкой смотрят на Перчихина.)

Перчихин (воодушевленно болтает). Старики, главное дело, упрямые! Он, старик, и видит, что ошибся, и чувствует, что ничего не понимает, но сознаться в том – не может. Гордость! Жил, дескать, жил, одних штанов, может, сорок штук износил и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
вдруг – понимать перестал! Как так? Обидно! Ну, он свое и долбит – я стар, я прав. А куда уж? Ум стал тяжелый у него... А у молодых – ум быстрый, легкий...

Бессеменов (грубо). Ну, ты заврался, однако... Ты вот что мне скажи: коли мы глупы, стало быть – надо нас учить уму-разуму?

Перчихин. Где там? В камни стрелять – стрелы терять...

Бессеменов. погоди, не перебивай! Я постарше тебя. Я говорю: чего же быстрые-то умы по углам от нас, стариков, разбегаются да оттуда смешные рожи показывают, а говорить с нами не хотят? Вот ты и подумай... И я пойду подумаю... один, коли глуп я для вашей компании (с шумом отодвигает свой стул и в дверях своей комнаты говорит) ... образованные мои дети...

(Пауза.)

Перчихин (Петру и Татьяне). Ребятишки! Вы чего старика обижаете?

Поля (улыбаясь). Да это ты его обидел...

Перчихин. я? в жизнь ни разу никого не обижал...

Акулина Ивановна. Эх, братцы! нехорошо у нас... За что старика обидели? Все надутые, все недовольные... а он – стар, ему покой нужен... его уважать надо бы... Ведь отец... пойду к нему. Палагея, ты вымой посуду-то...

Татьяна (подходя к столу). И за что на нас рассердился отец?

Акулина Ивановна (в дверях). А ты больше бегай от него... умная!

(Поля моет посуду, а Тетерев, облокотясь о стол, тяжелым взглядом смотрит ей в лицо. Перчихин идет к Петру и присаживается у стола. Татьяна медленно уходит в свою комнату.)

Поля (Тетереву). Вы что смотрите на меня... так?

Тетерев. Так...

Перчихин. О чем думаешь, Петя?

Петр. Куда бы уйти...

Перчихин. Давно я хочу тебя спросить, скажи ты мне, пожалуйста: что такое канализация?

Петр. Ну зачем тебе? Рассказывать это так, чтоб ты ясно понял, – долго... и скучно...

Перчихин. А ты сам-то знаешь все-таки?

Петр. Знаю...

Перчихин (недоверчиво глядя в лицо Петра). Мм...

Поля. Как долго не идет Нил Васильевич...

Тетерев. Какие у вас хорошие глаза...

Поля. Вы это и вчера говорили.

Тетерев. Скажу и завтра.

Поля. Зачем?

Тетерев. А не знаю... Вы, может быть, думаете, что я влюблен в вас?

Поля. Господи! Ничего я не думаю.

Тетерев. Ничего? Жаль! Вы подумайте...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Поля. Да... о чем?

Тетерев. Ну, хоть бы о том – чего ради я пристаю к вам? Подумайте и скажите мне...

Поля. Какой вы чужак!

Тетерев. Знаю... Вы говорили мне это. Я тоже повторю вам – уходите отсюда! Вам вредно бывать в этом доме... уходите!

Петр. Вы объясняетесь в любви? Может быть, мне уйти?

Тетерев. Нет, не беспокойтесь! Я не считаю вас предметом одушевленным...

Петр. Неостроумно...

Поля (Тетереву). Какой вы задира!

(Тетерев отходит в сторону и внимательно прислушивается к разговору Петра и Перчихина.)
Татьяна (выходит из своей комнаты, кутаясь в шаль, садится за пианино и спрашивает, разбирая ноты). Нил еще не пришел?

Поля. Нет...

Перчихин. Скушновато... Да, вот что, Петя: прочитал я прошлый раз в листке, будто в Англии летающие корабли выстроены. Корабль будто как следует быть, но ежели сел ты на него, надавил эдакую кнопку – фию! Сейчас это поднимается он птицей под самые облака и уносит человека неизвестно куда... Будто очень многие англичаны без вести пропали. Верно это, Петя?

Петр. Ерунда!

Перчихин. А печатают...

Петр. Мало ли ерунды печатают.

Перчихин. Много разве?

(Татьяна тихо наигрывает что-то грустное.)
Петр (с досадой). Конечно, много!

Перчихин. Ты не сердись. И что это, в самом деле, все вы, молодые, на нас, подержанных людей, свысока глядите? И даже никак говорить не желаете? Нехорошо!

Петр. Дальше!..

Перчихин. Дальше вижу я, что надо мне уходить. Надоел. Поля, ты скоро домой пойдешь?

Поля. Вот уберусь только... (Выходит из комнаты, сопровождаемая взглядом Тетерева.)

Перчихин. Н-да... Забыл ты, Петя, как мы с тобой, бывало, чижигов ловили. В ту пору любил ты меня...

Петр. Я и теперь...

Перчихин. Вижу, чувствую... как ты теперь!

Петр. Я в то время леденцы и пряники любил, а теперь в рот не беру...

Перчихин. Понимаю... Дядя Терентий! Идем пиво пить?

Тетерев. Не расположен...

Перчихин. Ну, я один. В кабачке – весело. В кабачке – просто. А у вас – с тоски помрешь, не в комплимент вам будь сказано. Ничего вы не делаете... никаких склонностей не имеете... А то давайте в карты играть? В свои козыри? Как раз

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
четверо... (Тетерев смотрит на Перчихина и улыбается.) Не желаете? Ну, воля ваша...
Стало быть, прощайте! (Подходя к Тетереву, щелкает себя по горлу.) Идем?

Тетерев. Нет...

(Перчихин уходит, безнадежно махая рукой. Несколько секунд тишины. Отчетливо слышны тихие ноты пьесы, которую медленно разбирает Татьяна. Петр, лежа на кушетке, вслушивается и насвистывает мелодию. Тетерев встает со стула и ходит по комнате. В сенях, за дверью, с громом падает что-то железное – ведро или самоварная труба. Слышен голос Степаниды: «Куда те черт понес»...) Татьяна (не прерывая игры). Как долго Нил не приходит...

Петр. Никто не идет...

Татьяна. Ты ждешь Елену?..

Петр. Кого-нибудь...

Тетерев. Никто к вам не придет...

Татьяна. Какой вы всегда мрачный...

Тетерев. Никто не придет к вам, ибо у вас нечего взять...

Петр. Так говорит Терентий Богословский...

Тетерев (настойчиво). Замечаете ли вы, что у пьяненького, подержанного птичника – жив дух и жива душа его, тогда как вы оба, стоя на пороге жизни, – полумертвы?

Петр. А вы? Вы о себе какого мнения?

Татьяна (вставая со стула). Господа, оставьте! Ведь уж это было, было! Вы спорили об этом...

Петр. Мне нравится ваш стиль, Терентий Хрисанфович... И нравится ваша роль – роль судьи всех нас... Но я желал бы понять – почему именно эту роль вы играете... Вы говорите всегда так, точно читаете нам акафист за упокой...

Тетерев. Таковых акафистов не бывает...

Петр. Ну, всё равно. Я хочу сказать – вот вы не любите нас...

Тетерев. Очень...

Петр. Спасибо за откровенность.

(Входит Поля.)

Тетерев. Кушайте на здоровье.

Поля. Чем вы угощаете?

Татьяна. Дерзостями...

Тетерев. Правдой...

Поля. А я хочу идти в театр... Не пойдет ли кто со мной?

Тетерев. Я...

Петр. Что сегодня?

Поля. «Вторая молодость»... Идемте, Татьяна Васильевна?

Татьяна. Нет... Я в этот сезон едва ли буду ходить в театр. Надоело. Меня злят, раздражают все эти драмы с выстрелами, воплями, рыданиями. (Тетерев ударяет пальцем по клавише пианино, и по комнате разливается густой печальный звук.) Все это неправда. Жизнь ломает людей без шума, без криков... без слез... незаметно...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Петр (угрюмо). Разыгрывают драмы на тему о страданиях любви, и никто не видит тех драм, которые терзают душу человека, стоящего между «хочу» и «должен»...

(Тетерев, улыбаясь, продолжает бить по клавишам басов.)
Поля (смущенно улыбаясь). А мне нравится в театре... ужасно. Вот, например, Дон Сезар де Базан, испанский дворянин... удивительно хорошо! Настоящий герой...

Тетерев. Я похож на него?

Поля. Ой, что вы! Совсем ни капли!..

Тетерев (усмехаясь). Эх... жаль!

Татьяна. Когда актер на сцене объясняется в любви – я слушаю и злюсь... Ведь этого не бывает, не бывает!..

Поля. Ну, я иду... Терентий Хрисанфович, – идете?

Тетерев (перестает трогать клавиши). Нет. Я не пойду с вами, если вы не находите во мне ничего общего с испанским дворянином...

(Поля, смеясь, уходит.)

Петр (глядя вслед ей). Что ей испанский дворянин?

Тетерев. Она чувствует в нем здорового человека...

Татьяна. Он красиво одет...

Тетерев. И весел... Веселый человек – всегда славный человек... Подлецы редко бывают веселыми людьми.

Петр. Ну, с этой точки зрения вы должны быть величайшим злодеем на земле...

Тетерев (снова начиная извлекать из пианино густые тихие звуки). Я просто – пьяница, не больше. Вы знаете, почему в России много пьяниц? Потому что быть пьяницей удобно. Пьяниц у нас любят. Новатора, смелого человека – ненавидят, а пьяниц – любят. Ибо всегда удобнее любить какую-нибудь мелочь, дрянь, чем что-либо крупное, хоршее...

Петр (расхаживая по комнате). У нас в России... у нас в России... Как это странно звучит! Разве Россия – наша? Моя? Ваша? Что такое – мы? Кто – мы?

Тетерев (напевает). Мы во-ольные птицы...

Татьяна. Терентий Хрисанфович! Перестаньте, пожалуйста, звонить... уж очень погрёбально!

Тетерев (продолжая). Я аккомпанирую настроению...

(Татьяна с досадой выходит из комнаты в сени.)

Петр (задумчиво). Н-да... Вы... в самом деле перестаньте, это расстраивает нервы... Я думаю, что, когда француз или англичанин говорит: Франция! Англия!.. он непременно представляет себе за этим словом нечто реальное, осязаемое... понятное ему... А я говорю – Россия и – чувствую, что для меня это – звук пустой. И у меня нет возможности вложить в это слово какое-либо ясное содержание. (Пауза. Тетерев звонит.) Есть много слов, которые произносишь по привычке, не думая о том, что скрыто за ними... Жизнь... Моя жизнь... Чем наполняются эти два слова?.. (Молчит, расхаживая, Тетерев, тихо ударяя по клавишам, наполняет комнату стонущими звуками струн и с улыбкой, застывшей на его лице, следит за Петром.) Черт дернул меня принять участие в этих дурацких волнениях! Я пришел в университет учиться и учился... Перестаньте звонить, пожалуйста! Никакого режима, мешавшего мне изучать римское право, я не чувствовал... нет! По совести!.. нет, не чувствовал! Я чувствовал режим товарищества... и уступил ему. Вот два года моей жизни вычеркнуто... да! Это насилие! Насилие надо мной – не правда ли? Я думал: кончу учиться, буду юристом, буду работать... читать, наблюдать... буду жить!

Тетерев (иронически подсказывает). Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу, в роли покорного слуги общества...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Петр. Общество? Вот что я ненавижу! Оно всё повышает требования к личности, но не дает ей возможности развиваться правильно, без препятствий... Человек должен быть гражданином прежде всего! – кричало мне общество в лице моих товарищей. Я был гражданином... черт их возьми... Я... не хочу... не обязан подчиняться требованиям общества! Я – личность! Личность свободна... Слушайте! Бросьте это... этот чертов звон...

Тетерев. Я же аккомпанирую вам... мещанин, бывший гражданином – полчаса?

(Шум за дверями в сенях.)

Петр (раздраженно). Вы... не издевайтесь!

(Тетерев, вызываяще глядя на Петра, продолжает звонить. Входят Нил, Елена, Шишкин, Цветаева и вслед за ними Татьяна.)

Елена. Что значит этот звон погребальный? Здравствуйте, страшный букан! Здравствуйте, почти прокурор! Что вы тут делали?

Петр (хмуро). Глупости...

Тетерев. Это я вызванивал отходную человеку, безвременно угасшему...

Нил (Тетереву). Слушай! У меня к тебе просьба!

(Что-то шепчет на ухо ему. Тетерев кивает головой.)

Цветаева. Ах, господа! Как интересно было на репетиции!

Елена. О прокурор! Как свирепо ухаживал за мной поручик Быков!

Шишкин. Теленок ваш Быков...

Петр. Почему вы полагаете, что мне интересно знать, кто и как ухаживал за вами?

Елена. Ой, вы не в духе?

Цветаева. Петр Васильевич всегда не в духе.

Шишкин. Это обычное состояние его духа...

Елена. Танечка! И ты, по обыкновению, грустна, как ночь сентябрьская?

Татьяна. Да, по обыкновению...

Елена. А мне – ужасно весело! Господа, скажите – почему мне всегда весело?

Нил. Отказываюсь отвечать на вопрос – мне самому тоже всегда весело!

Цветаева. И мне!..

Шишкин. Мне – не всегда, но...

Татьяна. Постоянно...

Елена. Танечка! Ты остришь! Вот хорошо! Букан! Отвечайте – почему мне весело?

Тетерев. О воплощенное легкомыслие!

Елена. Ка-ак! Хорошо! Я вспомню вам эти слова, когда вы будете объясняться мне в любви!

Нил. Однако я бы поел чего-нибудь... Мне скоро на дежурство идти...

Цветаева. На всю ночь? Бедный!

Нил. На целые сутки... Пойду, однако, в кухню, поклонюсь Степаниде...

Татьяна. Я скажу ей... (Уходит с Нилом.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
Тетерев (Елене). Э... позвольте! Да разве я должен влюбиться в вас?

Елена. Да, дерзкий человек! Да, мрачное чудовище! Да! Да!

Тетерев (отступая пред ней). Повинуюсь... Мне это не трудно... Я однажды был влюблен сразу в двух девиц и в одну замужнюю женщину...

Елена (продолжая наступать на него). Ну и что же?

Тетерев. Бесполезно...

Елена (вполголоса, указывая глазами на Петра). Что у вас с ним вышло?

(Тетерев смеется. Они тихо беседуют.)

Шишкин (Петру). Слушай, брат, – нет ли целкового дня на три? Понимаешь – башмаки лопнули...

Петр. На... Семь за тобой...

Шишкин. Помню...

Цветаева. Петр Васильевич! Почему вы не принимаете участия в наших спектаклях?

Петр. Я же не умею играть...

Шишкин. А мы-то разве умеем?

Цветаева. Ходили бы хоть на репетиции. Солдатики ужасно интересные! Один, Ширков, такой уморительный! Наивный, славный, улыбается так ласково, конфузливо... и ничего не понимает...

Петр (искоса наблюдая за Еленой). Ну, знаете, я плохо разумею, как могут быть интересны люди, которые ничего не понимают?

Шишкин. Да ведь там не один Ширков...

Петр. Допускаю, что их целая рота...

Цветаева. Как можно говорить такие вещи? Вот уж не понимаю – что это у вас? Аристократизм, что ли?

Тетерев (вдруг громко). Жалеть я не умею...

Елена. Ш-ш-ш!..

Петр. Как вам известно, я мещанин...

Шишкин. Тем менее понятно твое отношение к простым людям...

Тетерев. Меня никто никогда не жалел...

Елена (вполголоса). А вы разве не знаете, что нужно платить добром за зло?

Тетерев. Не имею ни крупной, ни мелкой монеты...

Елена. Ах, тише!..

Петр (вслушиваясь в разговор Елены с Тетеревым). А мне непонятно... чего ради вы играете в симпатии к этим простым людям...

Цветаева. Мы – не играем... мы делимся, чем можем, с ними...

Шишкин. И даже не это... Просто нам приятно бывать в их среде... Они безыскусственны... среди их дышишь чем-то здоровым... как в лесу. Нашему брату, буквоеду, никогда не мешает освежаться...

Петр (настойчиво, со скрытым раздраженьем). Просто вы любите жить иллюзиями... И подходите вы к вашим солдатам с некоторым тайным намерением... смешным, простите

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
за правду! Освежаться среди солдат – это, извините...

Цветаева. Да не только солдат! Ведь вы же знаете, что мы устраиваем спектакли и в депо...

Петр. Всё равно. Я говорю о том, что, называя всю эту вашу... беготню и суету живым делом, вы обманываетесь. Вы ведь убеждены, что способствуете развитию личности... и прочее... И это – самообман. Придет завтра офицер или мастер, даст личности в рожу и вышибет из ее головы всё, что вы успели заронить в нее, – если еще успели...

Цветаева. Как досадно слушать такие речи!

Шишкин (мрачно). Н-да... Речи неладные... Не первый раз я слышу их, и всё более они не нравятся мне... Когда-нибудь мы с тобой, Петр, разговоримся... навсегда!

Петр (холодно и лениво). Страхушь! Но жажду этой встречи...

Елена (горячо вскрикивает). Зачем вы напускаете на себя всё это? Господа! Зачем он хочет, чтоб его считали злым?

Петр. Ради оригинальности, я думаю.

Цветаева. Конечно! Интересничает! Все мужчины интересничают... при женщинах. Один изображает пессимиста, другой Мефистофеля... А сами – просто лентяи.

Тетерев. Кратко, ясно... и здорово!

Цветаева. А что же – комплименты я вам буду говорить? Ждите! Знаю я вас!

Тетерев. В этом случае вы знаете больше, чем я. А не знаете ли вы, кстати, вот чего: следует платить добром за зло или не следует? То есть, проще говоря, – считаете вы добро и зло равноценными или же нет?

Цветаева. Поехали парадоксы на немазанных колесах!

Шишкин. Погодите, не мешайте ему! Это интересно. Я, господа, люблю Тетерева слушать! Все-таки он – нет-нет да и загонит в мозг какую-нибудь занозу... А ведь у нас у всех, правду говоря, мыслишки-то всё ходовые, стертые, как старые пятаки...

Петр. Ты слишком великодушен... распространяя свои личные достоинства на всех...

Шишкин. Ну-ну! Надо говорить правду, брат! Даже в пустяках надо быть правдивым! Я прямо сознаюсь – никогда еще я ни одного оригинального слова не сказал! А хочется, господа!

Тетерев. А вот и сказал!

Шишкин (живо). Н-ну? Врешь? Что такое?

Тетерев. Сказал, брат! Верно... А что – сам догадайся.

Шишкин. Ну, это нечаянно вышло...

Тетерев. Нарочно оригинальным не будешь. Я пробовал...

Елена. Да говорите же вы, мучитель, о добре и зле!

Шишкин. Ну-ка, заводи философскую волынку!

Тетерев (становясь в позу). Достопочтенные двуногие! Когда вы говорите, что зло следует оплачивать добром, – вы ошибаетесь. Зло есть качество прирожденное вам и потому – малоценное. Добро – вы сами придумали, вы страшно дорого платили за него и потому – оно суть драгоценность, редкая вещь, прекраснее которой – нет на земле ничего. Отсюда вывод – уравнивать добро со злом невыгодно для вас и бесполезно. Я говорю вам – добром платите только за добро. И никогда не платите больше того, сколько получено вами, дабы не поощрять в человеке чувство ростовщика. Ибо человек – жаден. Получив однажды больше того, сколько следовало

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
ему, в другой раз захочет получить еще больше. А также не платите ему меньше, чем должны. Ибо если вы его раз обсчитаете – человек злопамятен! – он скажет про вас «банкроты!», перестанет уважать и в другой раз не добро уже сделает вам, а только подаст милостину. Братие! будьте строго точны в уплате за добро, содеянное вам! Ибо нет на земле ничего печальнее и противней человека, подающего милостину ближнему своему! Но за зло – всегда платите сторицею зла! Будьте жестоко щедрым, вознаграждая ближнего за зло его вам! Если он, когда вы просили хлеба, дал камень вам, – опрокиньте гору на голову его! (Тетерев начинает шутливо, постепенно переходит в серьезный тон и кончает свою речь сильно, убежденно. Кончив, он, тяжело ступая, отходит в сторону. Минута общего молчания. Все смущены, почувствовав в словах его что-то тяжелое, искреннее.)

Елена (тихо). Однако вы... должно быть, много потерпели от людей...

Тетерев (оскалив зубы). Но это дало мне веселую надежду, что и они, со временем, потерпят от меня... или, вернее, – за меня...

Нил (входит с миской в руках и куском хлеба. Говоря, он внимательно следит, как бы не разлить содержимое миски. За ним идет Татьяна). Все это философия! Плохая у тебя, Таня, привычка делать из пустяков философию. Дождь идет – философия, палец болит – другая философия, угаром пахнет – третья. И когда я слышу такие философии из пустяков, так мне невольно думается, что не всякому человеку грамота полезна...

Татьяна. Какой ты... грубый, Нил!

Нил (садится за стол и ест). Чего там – грубый?.. Скучно тебе жить – займись чем-нибудь. Кто работает, тот не скучает. Дома тяжело – поезжай в деревню, там живи и учи... а то – в Москву, сама поучись...

Елена. Так ее! И еще проберите вот этого (указывает на Тетерева) – этого вот!

Нил (искоса посмотрев). Тоже, чадушко! В Гераклиты метит...

Тетерев. Назови меня Свифтом, если тебе не трудно!..

Нил. Много чести!

Петр. Да, многогоно!..

Тетерев. А мне это было бы приятно...

Цветаева. Какой лакомый!..

Нил (глядя в миску). Не погневайся... А что... того... Поля была? То есть куда она ушла?

Татьяна. В театр. А что?

Нил. Ничего... так... вообще – спрашиваю...

Татьяна. Тебе ее нужно?

Нил. Нет, не нужно... т. е. сейчас не нужно... а вообще, всегда... нужно. О, черт... запутался!

(Все улыбаются, кроме Татьяны.)

Татьяна (настойчиво). Зачем? Зачем она тебе?..

(Нил, не отвечая, ест.)

Елена (Татьяне быстро). За что он тебя пробирал? Скажи!

Цветаева. Да, это интересно!

Шишкин. Мне тоже нравится, как Нил Васильев нотации читает...

Петр. А мне – как он ест...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Нил. Я всё недурно делаю...

Елена. Ну же, Таня, говори!

Татьяна. Не хочется...

Цветаева. Ей никогда ничего не хочется!

Татьяна. Почему ты знаешь? А может быть, я очень хочу... умереть?

Цветаева. Фи, гадость!

Елена. Брр! Не люблю говорить о смерти!

Нил. Что можно сказать о смерти до поры, пока не умрешь?

Тетерев. Вот истинный философ!

Елена. Идемте, господа, ко мне! Пора, самовар, наверное, давно готов...

Шишкин. А хорошо теперь чайку хлебнуть! Да и подзакусить бы... можно надеяться?

Елена. Конечно!

Шишкин (указывая на Нила). А то я смотрю на него и – завидую, грешный человек!

Нил. Не завидуй – я уже всё съел! Я тоже пойду с вами, у меня еще более часа свободного времени...

Татьяна. Ты лучше отдохнул бы до дежурства...

Нил. Сойдет и так...

Елена. Петр Васильевич! Идете?

Петр. Если позволите...

Елена. Благосклонно разрешаю! Вашу руку!..

Цветаева. Становитесь все в пары! Нил Васильевич, ко мне...

Шишкин (Татьяне). Значит, вы – со мной...

Тетерев. Вот – говорят, что женщин на земле больше, чем мужчин. Однако я живал во многих городах, и всегда, везде мне не хватало дамы...

Елена (смеясь, идет к двери и напевает). Allons, enfants de la patri...i...i...e!

Шишкин (толкая Петра в спину). Двигайся живее, сын отечества!..

(Уходят с шумом, пением и смехом. Комната несколько секунд остается пустой. Потом дверь из комнаты стариков отворяется, выходит Акулина Ивановна и, позевывая, гасит лампы. Слышен голос старика, монотонно читающего псалтирь у себя в комнате. Во тьме, натываясь на стулья, старуха проходит обратно к себе.)
Занавес

АКТ второй

Та же комната.

Осенний полдень. За столом сидит старик Бессеменов. Татьяна неслышно и медленно ходит взад и вперед. Петр, стоя у переборки, смотрит в окно.

Бессеменов. Битый час говорю я вам... детки мои милые, а, видно, нет у меня таких слов, чтобы сердца вашего коснулись... Один спиной меня слушает, другая ходит, как ворона по забору.

Татьяна. Я сяду... (Садится.)

Петр (оборачиваясь лицом к отцу). Ты скажи прямо – чего ты хочешь от нас?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Бессеменов. Хочу понять, что вы за люди... Желая знать – какой ты человек?

Петр. Подожди! Я отвечу тебе... ты поймешь, увидишь. Дай прежде кончу учиться...

Бессеменов. Н-да... Учиться... Учись! Но ты не учишься... а фордыбачишь. Ты вот научился презрению ко всему живущему, а размера в действиях не приобрел. Из университета тебя выгнали. Ты думаешь – неправильно? Ошибаешься. Студент есть ученик, а не... распорядитель в жизни. Ежели всякий парень в двадцать лет уставщиком порядков захочет быть... тогда всё должно прийти в замешательство... и деловому человеку на земле места не будет. Ты научись, будь мастером в твоём деле и тогда – рассуждай... А до той поры всякий на твои рассуждения имеет полное право сказать – цыц! Я говорю это тебе не со зла, а по душе... как ты есть мой сын, кровь моя, и всё такое. Нику я ничего не говорю... хоть много положил труда на него, хоть он и приемный мой... но всё же он – чужая кровь. И чем дальше – тем больше он мне чужой. Я вижу – будет он прохвостом... актером будет или еще чем-нибудь в этаким духе... Может, даже социалистом будет... Ну – туда ему и дорога!

Акулина Ивановна (выглядывая из двери, жалобным и робким голосом). Отец! не пора ли обедать?

Бессеменов (строго). Пошла ты! Не суйся, когда не надо... (Акулина Ивановна скрывается за дверью. Татьяна укоризненно смотрит на отца, встает со стула и снова бродит по комнате.) Видели? Мать ваша ни минуты покоя не знает, оберегая вас... всё боится, как бы я не обидел... Я не хочу никого обижать... Я сам обижен вами, горько обижен!.. В доме моем я хожу осторожно, ровно на полу везде битое стекло насыпано... Ко мне и гости, старые приятели, перестали ходить: у тебя, говорят, дети образованные, а мы – народ простой, еще насмеются они над нами! И вы не однажды смеялись над ними, а я со стыда горел за вас. Все приятели бросили меня, точно образованные дети – чума. А вы никакого внимания на отца своего не обращаете... никогда не поговорите с ним ласково, никогда не скажете – какими думами заняты, что делать будете? Я вам – как чужой... А ведь я – люблю вас!.. Люблю! Понимаете вы, что значит – любовь? Тебя вот выгнали – мне это больно. Татьяна зря в девках сохнет, мне это обидно... и даже конфузно пред людьми. Чем Татьяна хуже многих прочих, которые выходят замуж и... всё такое? Мне хочется видеть тебя, Петр, человеком, а не студентом... Вон Филиппа Назарова сын – кончил учиться, женился, взял с приданым, две тыщи в год получает... в члены управы попадет...

Петр. Подождите... и я женюсь...

Бессеменов. Да, я вижу! Ты – хоть завтра готов... Ну, только – на ком? На вертушке, на беспутной бабенке... да еще и вдове! Э-эх!

Петр (вскипая). Вы не имеете права называть ее... так!

Бессеменов. Как – так? Вдовой или беспутной?

Татьяна. Папаша! Пожалуйста... пожалуйста, оставьте это! Петр... Уйди!.. или – молчи! Я ведь вот – молчу! Слушайте... Я – не понимаю ничего... Отец!.. Когда вы говорите – я чувствую – вы правы! Да, вы правы, знаю! Поверьте, я... очень это чувствую! Но ваша правда – чужая нам... мне и ему... понимаете? У нас уже своя... вы не сердитесь, стойте! Две правды, папаша...

Бессеменов (вскакивая). Врешь! Одна правда! Моя правда! Какая ваша правда? Где она? Покажи!

Петр. Отец, не кричи! Я тоже скажу... ну да! Ты прав... Но твоя правда узка нам... мы выросли из нее, как вырастают из платья. Нам тесно, нас давит это... То, чем ты жил, твой порядок жизни, он уже не годится для нас...

Бессеменов. Ну да! Вы... вы! Как же... вы образовались... а я дурак! А, вы...

Татьяна. Не то, папаша! Не так...

Бессеменов. Нет – то! К вам ходят гости... целые дни шум... ночью спать нельзя... Ты на моих глазах шашни с постоялкой заводишь... ты всегда надута... а я... а мы с матерью жмемся в углу...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

Акулина Ивановна (врываясь в комнату, жалобно кричит). Голубчики! Да я ведь... родной ты мой! Разве я говорю что? Да я и в углу!.. и в углу, в хлеву! Только не ругайтесь вы! Не грызите друг друга... милые!

Бессеменов (одной рукой привлекая ее, а другой отталкивая). Пошла прочь, старуха! Не нужна ты им. Оба мы не нужны! Они – умные!.. Мы – чужие для них...

Татьяна (стонет). Какая мука! Какая... мука!..

Петр (бледный, с отчаянием). Пойми, отец... ведь глупо это! Глупо! Вдруг, ни с того ни с сего...

Бессеменов. Вдруг? Врешь! Не вдруг... годами нарывало у меня в сердце!..

Акулина Ивановна. Петя, уступи! Не спорь!.. Таня... пожалейте отца!

Бессеменов. Глупо? Дурак ты! Страшно... а не глупо! Вдруг... жили отец и дети... вдруг – две правды... Звери вы!

Татьяна. Петр, уйди! Успокойся, отец... ну, прошу...

Бессеменов. Безжалостные! Стеснили нас... Чем гордитесь? Что сделали? А мы – жили! Работали... строили дома... для вас... грешили... может быть, много грешили – для вас!

Петр (кричит). Просил я тебя, чтоб ты... всё это делал?

Акулина Ивановна. Петр! Ради...

Татьяна. Ступай вон, Петр! Я не могу, я ухожу... (В изнеможении опускается на стул.)

Бессеменов. А! бежите... от правды, как черти от ладана... Зазрела совесть!

Нил (широко распахнув дверь из сеней, останавливается на пороге. Он – с работы. Лицо у него черное, закопченное дымом, измазанное сажей, руки тоже грязные. Он в короткой куртке, промасленной до блеска, подпоясан ремнем, в высоких грязных сапогах по колено. Протягивая руку, он говорит). Дайте поскорее двугривенный извозчику заплатить! (Его неожиданное появление и вдруг раздавшийся спокойный голос сразу прекращают шум в комнате, и несколько секунд все молчат, неподвижно глядя на него. Он замечает впечатление и, сразу сообразив, в чем дело, с улыбкой сожаления говорит.) Н-ну-у. Опять баталия!

Бессеменов (грубо кричит). Ты, нехристь! Куда пришел!

Нил. А? Куда?

Бессеменов. В шапке! Шапку...

Акулина Ивановна. Что, в самом деле? Грязный лезешь прямо в горницы... ишь ты!

Нил. Да вы двугривенный-то дайте!

Петр (дает ему деньги и вполголоса говорит). Иди сюда скорее...

Нил (с улыбкой). На помощь? Трудно приходится! Сейчас!

Бессеменов. Ишь! Вот он!.. Тоже всё с рывка, с наскоку... Тоже нахватался где-то... чего-то... Уважения нет ни к чему на свете...

Акулина Ивановна (поддельваясь под тон мужа). И впрямь... Сорванец какой! Таня, ты поди... поди в кухню... в кухню! скажи Степаниде – обедать...

(Татьяна уходит.)

Бессеменов (угрюмо улыбаясь). Ну а Петра куда пошлешь? Э-эх ты! Глупая старуха! Глупая ты... Пойми, я не зверь какой! Я от души... от страха за них... от боли душевной кричу... а не от злости. Чего же ты их разгоняешь от меня?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Акулина Ивановна. Да я ведь знаю.. голубчик мой! Я знаю всё.. да жалко их! Мы старые с тобой.. мы – таковские! Куда нас? Господи! На что нас? А им – жить! Они, милые, горя-то от чужих много увидят..

Петр. Отец, ты, право, напрасно.. волнуешься.. Ты вообразил что-то..

Бессеменов. Боюсь я! Время такое.. страшное время! Всё ломается, трещит.. волнуется жизнь!.. За тебя боюсь.. Вдруг что-нибудь.. кто нас поддержит в старости? Ты – опора нам.. Вон Нил-то.. вишь какой? И этот.. птица эта, Тетерев.. тоже! Ты сторонись их! Они.. не любят нас! Гляди!

Петр. Э, полно! Ничего со мной не будет.. Вот, подожду еще немного.. потом подам прошение..

Акулина Ивановна. Поддай-ко ты, Петя, поскорее, успокой отца..

Бессеменов. Я в тебя, Петр, верю, когда ты вот так говоришь.. рассудительно, серьезно.. Верю, что ты жизнь проживешь не хуже меня.. Ну а иной раз..

Петр. Ну, давай оставим это! Будет.. подумай, как часто у нас бывают такие сцены!

Акулина Ивановна. Голубчики вы мои!

Бессеменов. Вот еще Татьяна.. эх! Бросить бы ей это училище.. Что оно для нее? Одно утомление..

Петр. Да, ей надо отдохнуть..

Акулина Ивановна. Ох, надо!

Нил (входит раздетый, в синей блузе, но еще неумытый). Обедать скоро будем, а?

(Петр, при виде Нила, быстро выходит в сени.)

Бессеменов. Рожу-то умыл бы сначала, а потом об еде спрашивал.

Нил. Ну, рожа у меня не велика, вымою живо, а вот есть я хочу, как волк! Дождь, ветер, холодище, паровоз старый, скверный.. Измаялся я в эту ночь – прямо сил нет! Заставить бы начальника тяги прокатиться в такую погоду да на таком паровозе..

Бессеменов. Болтай больше! Что-то, я смотрю, ты про начальников-то легко говорить стал.. смотри, худа не было бы!

Нил. Начальникам худо не будет..

Акулина Ивановна. Отец не про них говорит, а про тебя.

Нил. Ага, про меня..

Бессеменов. Да, про тебя!

Нил. Ага!..

Бессеменов. Ты не гакай, а слушай..

Нил. Я слушаю..

Бессеменов. Зазнаваться ты стал..

Нил. Давно?

Бессеменов. Ты таким языком со мной не смей говорить!

Нил. А у меня один язык (высовывая язык, показывает), и я со всеми им говорю..

Акулина Ивановна (всплескивая руками). Ах ты, бесстыдник! Кому ты язык показываешь?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Бессеменов. Погоди, мать, постой! (Акулина Ивановна, укоризненно покачивая
головую, уходит.) Ты... умник! Я хочу с тобой говорить...

Нил. После обеда?

Бессеменов. Сейчас!

Нил. Лучше бы после обеда! Право, я голоден, устал, продрог... сделайте одолжение,
отложите разговор! И потом, – что вы можете мне сказать? Ругаться ведь будете... а
мне ругаться с вами неприятно... лучше бы вы... того... сказали бы прямо, что терпеть
меня не можете... и чтоб я...

Бессеменов. Ну, черт с тобой! (Уходит в свою комнату и плотно, крепко прикрывает
дверь за собою.)

Нил (ворчит). И отлично! Лучше черт, чем ты... (Напевая себе под нос, ходит по
комнате. Татьяна входит.) Опять лаялись?

Татьяна. Ты не можешь себе представить...

Нил. Ну! превосходно представляю.. Разыгрывали драматическую сцену из бесконечной
комедии, под названием «Ни туда ни сюда»...

Татьяна. Тебе хорошо говорить так! Ты умеешь стоять в стороне...

Нил. Я умею оттолкнуть от себя в сторону всю эту канитель. И скоро – оттолкну
решительно, навсегда... Переведусь в монтеры, в депо... Надоело мне ездить по ночам
с товарными поездами! Еще если б с пассажирскими! С курьерским, например, –
фьить! Режь воздух! Мчись на всех парах! А тут – ползешь с кочегаром... скука! Я
люблю быть на людях...

Татьяна. От нас ты, однако, бегаешь...

Нил. Да... прости за правду! – убежишь ведь! Я жить люблю, люблю шум, работу,
веселых, простых людей! А вы разве живете? Так как-то слоняетесь около жизни и
по неизвестной причине стонете да жалуетесь... на кого, почему, для чего?
Непонятно.

Татьяна. Ты не понимаешь?

Нил. То-то нет! Когда человеку лежать на одном боку неудобно – он
перевертывается на другой, а когда ему жить неудобно – он только жалуется... А ты
сделай усилие – перевернись!

Татьяна. Ты знаешь – один философ сказал, что только глупому жизнь кажется
простой!

Нил. Философы в глупостях, должно быть, знают толк. Но я ведь умником себя не
считаю... Я просто нахожу, что с вами жить почему-то невыносимо скучно. Думаю,
потому, что очень уж вы любите на всё и вся жаловаться. Зачем жаловаться? Кто
вам поможет? Никто не поможет... И некому, и... не стоит...

Татьяна. Откуда в тебе эта черствость, Нил?

Нил. А это – черствость?

Татьяна. Жестокость... Я думаю, что ты заразился ею от Тетерева, который ненавидит
за что-то всех людей.

Нил. Ну, не всех... (Усмехаясь.) Тебе этот Тетерев не кажется похожим на топор?

Татьяна. Топор? Какой топор?

Нил. Обыкновенный, железный топор на деревянном топорище...

Татьяна. Нет, не шути! Не надо... Знаешь... с тобой приятно говорить... ты такой
свежий... Но только вот... невнимателен ты...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Нил. К чему?

Татьяна. К людям... Ко мне, например...

Нил. Мм... наверно, не ко всем.

Татьяна. Ко мне...

Нил. К тебе? Н-да... (Оба молчат. Нил рассматривает свои сапоги. Татьяна смотрит на него с ожиданием чего-то.) Видишь ли... Я к тебе... т. е. я тебя... (Татьяна делает движение к нему, Нил, ничего не замечая.) Очень уважаю... и люблю. Только мне не нравится – зачем ты учительница? Дело это тебе не по душе, утомляет, раздражает тебя. А дело – огромное! Ребятишки – ведь это люди в будущем... Их надо уметь ценить, надо любить. Всякое дело надо любить, чтобы хорошо его делать. Знаешь – я ужасно люблю ковать. Пред тобой красная, бесформенная масса, злая, жгучая... Бить по ней молотом – наслаждение! Она плюет в тебя шипящими, огненными плевками, хочет выжечь тебе глаза, ослепить, отшвырнуть от себя. Она живая, упругая... И вот ты сильными ударами с плеча делаешь из нее всё, что тебе нужно...

Татьяна. Для этого нужно быть сильным...

Нил. И ловким...

Татьяна. Послушай, Нил... Тебе иногда не жалко...

Нил. Кого?

Елена (входит). У вас обедали? Нет? Идемте ко мне, пожалуйста! Какой пирог я испекла! Где прокурор? Прекрасный пирог!

Нил (подходя к Елене). Я иду! О, я съем весь прекрасный пирог! Я умираю с голода, меня нарочно не кормят! На меня рассердились здесь за что-то...

Елена. За язык, наверное... Таня, идем!

Татьяна. Я только скажу маме... (Уходит.)

Нил. Откуда вы знаете, что я показал отцу язык?

Елена. Что-о? Я ничего не знаю! Что такое?

Нил. Ну, я и не скажу... Лучше вы расскажите мне о прекрасном пироге.

Елена. Я узнаю! А о пироге... знаете, меня научил печь пироги один арестант, осужденный за убийство. Муж позволял ему помогать на кухне. Он был такой жалкенький, худенький...

Нил. Муж?

Елена. Милостивый государь! Мой муж был двенадцати вершков роста...

Нил. Он был так низок?

Елена. Молчать! И имел вот такие усы (показывает пальцами, какие усы), длиною по три вершка...

Нил. Первый раз слышу о человеке, достоинства которого измеряются вершками!

Елена. Увы! У него не было никаких достоинств, кроме усов!

Нил. Это грустно! Продолжайте о пироге...

Елена. Он, этот арестант, был повар... и убил свою жену... Но мне он очень нравился. Он ведь убил ее как-то так...

Нил. Между прочим... понимаю!

Елена. Убирайтесь! Не хочу с вами говорить. (Татьяна, появляясь в двери, смотрит

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
на них. Из другой двери выходит Петр.) Прокурор! Ко мне... есть пирог!..

Петр. С удовольствием!

Нил. Его сегодня папенька пробрал за непочтение...

Петр. Ну, перестань...

Нил. И я удивляюсь – как решается он идти к вам без спроса?

Петр (глядя на дверь в комнату стариков, беспокожно). Идти, так идемте!

Татьяна. Идите, я сейчас приду...

(Нил, Петр и Елена уходят. Татьяна идет в свою комнату, но в это время из комнаты стариков раздается голос Акулины Ивановны.)

Акулина Ивановна. Таня!

Татьяна (останавливается, нетерпеливо поводя плечами). Что?

Акулина Ивановна (в двери). Подь-ка сюда! (Почти шепотом.) Что, Петруша-то опять к той пошел?

Татьяна. Да... и я иду...

Акулина Ивановна. Ах ты горе наше горькое, а? Завертит она, егоза, Петю! Уж я чувствую!.. Ты бы хоть поговорила ему. Поговорила бы: братец, мол, отстранись! Не пара, мол, она тебе... сказала бы ты ему! Ведь у ней и денег-то всего-навсего три тыщи, да мужнина пенсия... я знаю!

Татьяна. Мамаша, оставьте это! Елена совсем не обращает внимания на Петра...

Акулина Ивановна. Нарочно это! Нарочно! Она, шельма, разжигает его!.. Показывает только видимость такую, что-де ты мне не интересен... а сама следит за ним, как кошка за чижом...

Татьяна. Ах!.. да что мне! Мне-то что? Говорите сами... оставьте меня! Поймите – я устала!

Акулина Ивановна. Да ты не сейчас поговори с ним... Ты поди, ляг, отдохни...

Татьяна (почти кричит.) Мне негде отдохнуть! Я навсегда устала... навсегда! Понимаете? На всю жизнь... от вас устала... от всего! (Быстро уходит в сени. Акулина Ивановна делает движение к дочери, как бы желая остановить ее, но, всплеснув руками, остается на месте, недоумело раскрыв рот.)

Бессеменов (выглядывая из двери). Опять схватка?

Акулина Ивановна (встрепенувшись). Нет, ничего... это так...

Бессеменов. Что так? Надерзила она тебе?

Акулина Ивановна (торопливо). Нет, ничего, что ты это? Я ей говорю... обедать, мол, пора! А она говорит – не хочу! Я говорю – как не хочешь? А она...

Бессеменов. Завралась ты, мать!

Акулина Ивановна. Правое слово!

Бессеменов. И сколько ты, ради их, врешь предо мной! Взгляни-ко мне в глаза-то... Не можешь... эх ты! (Акулина Ивановна стоит пред мужем, понуря голову, молча. Он тоже молчит, задумчиво поглаживая бороду. Потом, вздохнув, говорит.) Нет, зря все-таки разгородились мы от них образованием-то...

Акулина Ивановна (тихо). Полно, отец! Теперь и простые-то люди тоже не лучше...

Бессеменов. Никогда не надо детям давать больше того, сколько сам имеешь... И всего мне тяжелее, что не вижу я в них... никакого характера... ничего эдакого...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
крепкого... Ведь в каждом человеке должно быть что-нибудь свое... а они какие-то...
ровно бы без лиц! Вот Нил... он дерзок... он – разбойник. Но – человек с лицом!
Опасный... но его можно понять... Э-эхе-хе!.. Я вот, в молодости, церковное пение
любил... грибы собирать любил... А что Петр любит?

Акулина Ивановна (робко, со вздохом). К постоялке ушел...

Бессеменов. Ну вот!.. Погоди же! – Я ее... ущемлю! (Входит Тетерев, заспанный и
мрачный более, чем всегда. В руке – бутылка водки и рюмка.) Терентий
Хрисанфович! Опять разрешил?

Тетерев. Вчера, после всенощной...

Бессеменов. С чего это?..

Тетерев. Без причины. Обедать скоро?

Акулина Ивановна. Сейчас накрою.. (Начинает хлопотать.)

Бессеменов. Эхма, Терентий Хрисанфович, умный ты человек... а вот губит тебя
водочка!..

Тетерев. Почтенный мещанин, – ты врешь! Меня губит не водка, а сила моя... Избыток
силы – вот моя гибель...

Бессеменов. Ну, сила лишней не бывает...

Тетерев. Опять врешь! Теперь сила – не нужна. Нужна ловкость, хитрость... нужна
змеиная гибкость. (Засучивая рукав, показывает кулак.) Гляди, – если я этой
штукой ударю по столу – разобью его вдребезги. С такими руками – нечего делать в
жизни. Я могу колоть дрова, но мне трудно и смешно писать, например... Мне некуда
девать силы. Я могу найти себе место по способностям только в балагане, на
ярмарке, где мог бы рвать железные цепи, поднимать гири... и прочее. Но я учился...
И хорошо учился... за что и был изгнан из семинарии. Я учился и не хочу жить
напоказ, не хочу, чтоб ты, придя в балаган, любовался мною со спокойным
удовольствием. Я желаю, чтобы все смотрели на меня с беспокойным
неудовольствием...

Бессеменов. Злой ты...

Тетерев. Скоты такой величины, как я, не бывают злыми, – ты не знаешь зоологии.
Природа – хитра. Ибо, если к силе моей прибавить злобу, – куда бежишь ты от
меня?

Бессеменов. Мне бежать некуда... я в своем доме.

Акулина Ивановна. Ты бы молчал, отец.

Тетерев. Верно! Ты в своем доме. Вся жизнь – твой дом, твое строение. И оттого –
мне негде жить, мещанин!

Бессеменов. Живешь ты зря... ни к чему. Но ежели бы захотел...

Тетерев. Не хочу захотеть, ибо – противно мне. Мне благороднее пьянствовать и
погибать, чем жить и работать на тебя и подобных тебе. Можешь ли ты, мещанин,
представить себе меня трезвым, прилично одетым и говорящим с тобою рабьим языком
слуги твоего? Нет, не можешь... (Поля входит и при виде Тетерева пятится назад.
Он, заметив ее, широко улыбается и, кивая головой, говорит, протягивая ей руку.)
Здравствуйте и не бойтесь... Я ничего не скажу вам больше... ибо всё знаю!

Поля (смущенно). Что?.. Ничего вы не можете знать...

Акулина Ивановна. А, пришла! Ну-ка, иди-ка, скажи Степаниде, чтобы щи несла...

Бессеменов. Пора... (к Тетереву.) Люблю я слушать, как ты рассуждаешь... Особенно
про себя самого хорошо выходит у тебя. Так вот – глядишь на тебя, страшен ты! А
начнешь ты мысли-то свои высказывать, я и чувствую твою слабость... (Довольно и
тихо смеется.)

Тетерев. И ты нравишься мне. Ибо ты в меру – умен и в меру – глуп; в меру – добр и в меру – зол; в меру честен и подл, труслив и храбр... ты образцовый мещанин! Ты законченно воплотил в себе пошлость... ту силу, которая побеждает даже героев и живет, живет и торжествует... Давай, выпьем перед щами, почтенный крот!

Бессеменов. Принесут – выпьем. Но, между прочим, зачем ты ругаешься?.. Без причины не надо обижать людей... Надо рассуждать кротко, складно, чтобы слушать тебя было занятно... а если ты будешь людей задевать словами – никто не услышит тебя, а кто услышит – дурак будет!

Нил (входя). Поля пришла?

Тетерев (ухмыляясь). Пришла...

Акулина Ивановна. А тебе ее на что?

Нил (не отвечая ей, Тетереву). Эге-э! Разрешил? Опять! Часто же начал ты...

Тетерев. Лучше пить водку, чем кровь людей... тем паче, что кровь теперешних людей – жидка, скверна и безвкусна... Здоровой, вкусной крови осталось мало, – всю высосали...

(Поля и Степанида. Степанида несет миску. Поля – тарелку с мясом.)

Нил (подходя к Поле). Здравствуй! Готов ответ?

Поля (вполголоса). Не сейчас же... при всех...

Нил. Вот важность! Чего бояться?

Бессеменов. Кому?

Нил. Мне... и вот ей...

Акулина Ивановна. Что такое?

Бессеменов. Не понимаю...

Тетерев (усмехаясь). А я – понимаю... (Наливает водки и пьет.)

Бессеменов. В чем дело? Ты чего, Палагея?

Поля (смущенная, тихо). Ничего...

Нил (усаживаясь за стол). Секрет... Тайна!

Бессеменов. А коли тайна – говорите где-нибудь в углу, а не при людях. То есть это, я скажу, насмешка какая-то... хоть беги из дома! Какие-то знаки, недомолвки, разговоры... А ты сиди дураком и хлопай глазами... Я тебя, Нил, спрашиваю – кто я тебе?

Акулина Ивановна. Уж что это, Нил, право...

Нил (спокойно). Вы мне приемный отец... Но сердиться и поднимать истории не следует... Ничего особенного не случилось...

Поля (вставая со стула, на который только что села). Нил... Васильевич сделал... сказал мне... вчера вечером... спросил...

Бессеменов. Что спросил?.. Ну?

Нил (спокойно). Вы не пугайте ее... Я спросил ее – не хочет ли она выйти за меня замуж...

(Бессеменов удивленно смотрит на него и Полю, держа в воздухе ложку. Акулина Ивановна тоже замерла на месте. Тетерев смотрит пред собой, тяжело моргая глазами. Кисть его руки, лежащей на колене, вздрагивает. Поля низко наклонила голову.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Нил (продолжает). А она сказала, что ответит мне сегодня... Ну, вот и всё...

Тетерев (махая рукой). И очень... просто... и больше ничего...

Бессеменов. Та-ак... действительно... очень просто! (С горечью.) И модно... по-новому!
Впрочем – что уж тут!

Акулина Ивановна. Нехристь ты, нехристь! Отчаянная ты голова!.. Чай бы, с нами первоначально поговорить надо...

Нил (с досадой). Вот дернуло меня за язык!

Бессеменов. Оставь, мать! Не наше дело! Ешь и молчи. И я буду молчать...

Тетерев (хмелея). А я буду говорить... А впрочем, и я пока молчу...

Бессеменов. Да... Лучше всем молчать. Но все-таки, Нил... не торопато благодаришь ты меня за мою хлеб-соль... Исподтишка живешь...

Нил. За хлеб-соль вашу я платил трудом и впредь платить буду, а воле вашей подчиняться не могу. Вы вон хотели женить меня на дуре Седовой, потому только, что за нею десять тысяч приданого. На что мне ее нужно? А Полю я люблю... Давно люблю и ни от кого это не скрывал. Всегда я жил открыто и всегда буду так жить. Укорять меня не в чем, обижаться на меня не за что.

Бессеменов (сдержанно). Так, так! Очень хорошо... Ну что ж? Женитесь. Мы вам не помеха. Только на какие же капиталы жить-то будете? Коли не секрет – скажите.

Нил. Работать будем. Я перевожусь в депо... А она... у нее тоже дело будет. Вы по-прежнему будете получать с меня тридцать рублей в месяц.

Бессеменов. Поглядим. Посулы легки...

Нил. Вексель возьмите с меня...

Тетерев. Мещанин! Возьми с него вексель! Возьми!

Бессеменов. Вас в это дело не просят мешаться...

Акулина Ивановна. Тоже... советчик какой!

Тетерев. Нет, ты возьми! Не возьмешь ведь – совесть коротка, не посмеешь... Нил, дай ему подписку: обязуюсь, мол, ежемесячно...

Бессеменов. Я могу и подписку взять... есть за что, так я думаю. С десяти лет кормил, поил, обувал, одевал... до двадцати семи... Н-да...

Нил. Не лучше ли нам после считаться, не сейчас?

Бессеменов. Можно и после. (Вдруг вскипая.) Ну, только помни, Нил, – отныне ты мне... и я тебе – враги! Обиды этой я не прощу, не могу! Знай!

Нил. Да какая обида? В чем обида? Ведь не ожидали же вы, что я на вас женюсь?

Бессеменов (кричит, не слушая). Помни! Издеваться над тем, кто тебя кормил, поил... без спроса... без совета... тайно... Ты! Смирная! Тихая! Что понурилась? А! Молчишь? А знаешь, что я могу тебя...

Нил (вставая со стула). Ничего вы не можете! Будет шуметь! В этом доме я тоже хозяин. Я десять лет работал и заработок вам отдавал. Здесь, вот тут (топает ногой в пол и широким жестом руки указывает кругом себя) вложено мною не мало! Хозяин тот, кто трудится...

(Во время речи Нила Поля встает и уходит. В дверях ей встречаются Петр и Татьяна. Петр, заглянув в комнату, скрывается. Татьяна стоит в дверях, держась за косяк.)

Бессеменов (ошеломленно тарачит глаза на Нила). Ка-ак? Хозяин? Ты?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Акулина Ивановна. Уйдем, отец! Уйдем... пожалуйста, уйдем! (Грозя кулаком Нилу.)
Ну, Нилка! Ну, уж... погоди! (Со слезами.) Уж погоди... дождешься!

Нил (настойчиво). Да, хозяин тот, кто трудится... Запомните-ка это!

Акулина Ивановна (тащит за собой мужа). Идем, старик! И-идем! Бог с ними!.. Не говори, не кричи! Кто нас услышит?

Бессеменов (уступая усилиям жены). Ну, хорошо! Оставайся... хозяин! Поглядим... кто хозяин! Увидим!

(Уходит к себе. Нил взволнованно расхаживает по комнате. Где-то на улице, далеко, играет шарманка.)

Нил. Вот заварил кашу! И черт меня дернул спросить ее... Дурак! То есть положительно не могу я ничего скрыть... лезет всё наружу помимо воли! Ах ты...

Тетерев. Ничего! Сцена очень интересная. Я слушал и смотрел с удовольствием. Очень недурно, очень! Не волнуйся, брат! У тебя есть способности... ты можешь играть героические роли. В данный момент герой нужен... поверь мне! В наше время все люди должны быть делимы на героев, т. е. дураков, и на подлецов, т. е. людей умных...

Нил. Чего ради заставил я Полю пережить такую... гадость?.. Испугалась... нет, она не пуглива! Обиделась, наверно... тьфу!

(Татьяна, все еще стоя в дверях, при имени Поли делает движение. Звуки шарманки умолкают.)

Тетерев. Людей очень удобно делить на дураков и мерзавцев. Мерзавцев – тьмы! Они живут, брат, умом звериным, они верят только в правду силы... не моей силы, не этой вот, заключенной в груди и руке моей, а в силу хитрости... Хитрость – ум зверя.

Нил (не слушая). Теперь придется ускорить свадьбу... Ну, и ускорим... Да, она еще не ответила мне. Но я знаю, что она скажет... милая моя девчушка!.. Как ненавижу я этого человека... этот дом... всю жизнь эту... гнилую жизнь! Здесь все... какие-то уроды! Никто не чувствует, что жизнь испорчена ими, низведена к пустякам... что из нее они делают себе темницу, каторгу, несчастье... Как они ухитряются делать это? Не понимаю! Но – ненавижу людей, которые портят жизнь...

(Татьяна делает шаг вперед, останавливается. Потом неслышно идет к сундуку и садится на него, в углу. Она согнулась, стала маленькой и еще более жалкой.)
Тетерев. Жизнь украшают дураки. Дураков – немного. Они всё ищут чего-то, что не им нужно, не только им одним... Они любят выдумывать проспекты всеобщего счастья и тому подобной ерунды. Хотят найти начала и концы всего сущего. Вообще – делают глупости...

Нил (задумчиво). Да, глупости! На это я мастер... Ну, она потрезвее меня... Она – тоже любит жизнь... такой внимательной, спокойной любовью... Знаешь, мы с ней великолепно будем жить! Мы оба – смелые... и если захотим чего – достанем! Да, мы с ней достанем... Она какая-то... новорожденная... (Смеется.) Мы с ней прекрасно будем жить!

Тетерев. Дурак может всю жизнь думать о том, почему стекло прозрачно, а мерзавец просто делает из стекла бутылку...

(Вновь играет шарманка уже близко, почти под окнами.)

Нил. Ну, ты всё о бутылках!

Тетерев. Нет, я о дураках. Дурак спрашивает себя – где огонь, пока он не зажжен, куда девается, когда угасает? А мерзавец сидит у огня, и ему тепло...

Нил (задумчиво). Да-а... тепло...

Тетерев. В сущности – они оба глупы. Но – один глуп красиво, геройски, другой – тупо, нищенски глуп. И оба они, хотя разными дорогами, но приходят в одно место – в могилу, только в могилу, друг мой... (Хохочет. Татьяна тихо качает головой.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Нил (Тетереву). Ты чего?

Тетерев. Смеюсь... Оставшиеся в живых дураки смотрят на умершего собрата и спрашивают себя – где он? А мерзавцы просто наследуют имущество покойного и продолжают жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь удобную... (Хохочет.)

Нил. Однако ты здорово напился... Шел бы к себе, а?

Тетерев. Укажи – где это?

Нил. Ну, не дури! Хочешь, отведу?

Тетерев. Меня, брат, не отведешь. Я не состою в родстве ни с обвиняемыми... ни с потерпевшими. Я – сам по себе. Я – вещественное доказательство преступления! Жизнь испорчена! Она – скверно сшита... Не по росту порядочных людей сделана жизнь, говорю я. Мещане сузили, окоротили ее, сделали тесной... и вот я есмь вещественное доказательство того, что человеку негде, нечем, незачем жить...

Нил. Ну, иди же, иди!

Тетерев. Оставь меня! Ты думаешь, я могу упасть? Я уже упал, чудак ты! Давно-о! Я, впрочем, думал было подняться, но прошел мимо ты и, не заметив, не нарочно, вновь толкнул меня! Ничего, иди себе! Иди, я не жалуюсь... Ты – здоров и достоин идти, куда хочешь, так, как хочешь... Я, падший, сопровождаю тебя взглядом одобрения – иди!

Нил, что ты болтаешь? Интересно что-то... но непонятно...

Тетерев. И не понимай! Не надо! Некоторые вещи лучше не понимать, ибо понимать их бесполезно... Ты иди, иди!

Нил. Ну, хорошо, я уйду. (Уходит в сени, не замечая Татьяну, прижавшуюся в углу.)

Тетерев (кланяясь вслед ему). Желаю счастья, грабитель! Ты незаметно для себя отнял мою последнюю надежду и... черт с ней! (Идет к столу, где оставил бутылку, и замечает в углу комнаты фигуру Татьяны.) Это-о кто, собственно говоря?

Татьяна (тихо). Это я...

(Звуки шарманки сразу обрываются.)

Тетерев. Вы? Мм... а я думал, мне почудилось...

Татьяна. Нет, это я...

Тетерев. Понимаю... Но – почему вы? Почему вы тут?

Татьяна (негромко, но ясно, отчетливо). Потому что мне негде, нечем, незачем жить... (Тетерев молча идет к ней тихими шагами.) Я не знаю, отчего я так устала и так тоскливо мне... но, понимаете, до ужаса тоскливо! Мне только двадцать восемь лет... мне стыдно, уверяю вас, мне очень стыдно чувствовать себя так... такой слабой, ничтожной... Внутри у меня, в сердце моем, – пустота... всё высохло, сгорело, я это чувствую, и мне больно от этого... Как-то незаметно случилось это... незаметно для меня в груди выросла пустота... Зачем я говорю вам это?..

Тетерев. Не понимаю... Сильно пьян... Совсем не понимаю...

Татьяна. Никто не говорит со мной, как я хочу... как мне хотелось бы... Я надеялась, что он... заговорит... Долго ожидала я, молча... А эта жизнь... ссоры, пошлость, мелочи... теснота... всё это раздавило меня тою порой... Потихоньку, незаметно раздавило... Нет сил жить... и даже отчаяние мое бессильно... Мне страшно стало... сейчас вот... вдруг... мне страшно..

Тетерев (качая головой, отходит от нее к двери и, отворив дверь, говорит, тяжело ворочая языком). Проклятие дому сему!.. И больше ничего...

(Татьяна медленно идет в свою комнату. Минута пустоты и тишины. Быстро, неслышными шагами входит Поля и за нею Нил. Они без слов проходят к окнам, и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru там, схватив Полю за руку, Нил вполголоса говорит.)

Нил. Ты прости меня за давешнее... это вышло глупо и скверно... но я не умею молчать, когда хочу говорить!

Поля (почти шепотом). Всё равно... теперь всё равно! Что уж мне все они? Всё равно...

Нил. Я знаю – ты меня любишь... я вижу... я не спрашиваю тебя. Ты – смешная! Вчера сказала: отвечу завтра, мне надо подумать! Вот смешная! О чем думать – ведь любишь?

Поля. Ну да, ну да... давно уж!..

(Татьяна крадется из двери своей комнаты, встает за занавесом и слушает.)

Нил. Мы славно будем жить, увидишь! Ты – такой милый товарищ... нужды ты не побоишься... горе – одолеешь...

Поля (просто). С тобой – чего же бояться? Да я и так – одна не робкая... я только смиренная...

Нил. И ты упрямая... сильная, не согнешься... Ну, вот... рад я... Ведь знал, что всё так будет, а рад... страшно!

Поля. Я тоже знала всё вперед...

Нил. Ну? Знала? Это хорошо... Эх, хорошо жить на свете! Ведь хорошо?

Поля. Хорошо... милый ты мой друг... славный ты мой человек...

Нил. Как ты это говоришь... вот великолепно сказала!

Поля. Ну, не хвали... Надо идти... надо идти... придет кто-нибудь...

Нил. А пускай их!..

Поля. Нет, надо!.. Ну... поцелуй еще!.. (Вырвавшись из рук Нила, она пробегает мимо Татьяны, не замечая ее. А Нил, идя за ней с улыбкой на лице, увидел Татьяну и остановился перед ней, пораженный ее присутствием и возмущенный. Она тоже молчит, глядя на него мертвыми глазами, с кривой улыбкой на лице.)

Нил (презрительно). Подслушивала? Подглядывала? Э-эх ты!.. (Быстро уходит. Татьяна стоит неподвижно, как окаменелая. Уходя, Нил оставляет дверь в сени открытой, и в комнату вносится суровый окрик старика Бессеменова: «Степанида! Кто угли рассыпал? Не видишь? Подбери!»)

Занавес
Акт третий
Та же комната.

Утро. Степанида стирает с мебели пыль.

Акулина Ивановна (моет чайную посуду и говорит). Говядина-то сегодня не жирна, так ты сделай вот что: от вчерашнего жаркого сало должно остаться, – ты его запусти во щи... они и покажут себя жирными... Слышишь?

Степанида. Слышу...

Акулина Ивановна. А телятину будешь жарить – масла-то много не вали в плошку... в середу пять фунтов я купила, а вчера, смотрю, уж и фунта не осталось...

Степанида. Стало быть – вышло...

Акулина Ивановна. Знаю, что вышло... Вот у тебя его в голове-то сколько... как у мужика дегтя в мазнице...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Степанида. Нешто вы по духу не слышите, что я деревянным из лампадки мажусь?

Акулина Ивановна. Ну, ладно уж... (Пауза.) Куда тебя утром Татьяна-то посылала?

Степанида. В аптеку... За спиртом нашатырным... Поди, говорит, купи мне на двадцать копеек нашатырного спирту...

Акулина Ивановна. Видно, голова болит... (Вздыхая.) То и дело хворает она у нас...

Степанида. Замуж бы выдали... Оздоровела бы сразу, небойсь...

Акулина Ивановна. Не больно-то легко нынче замуж выдать девицу... а образованную-то... еще труднее...

Степанида. Приданое хорошее дадите, и образованную кто-нибудь возьмет...

(Петр выглядывает из своей комнаты и скрывается.)

Акулина Ивановна. Не увидят мои глазыньки этой радости... Не хочет Таня замуж выходить...

Степанида. Где уж, чай, не хотеть... в ее-то летах?

Акулина Ивановна. Э-эхе-хе... Кто вчера у верхней-то постоялки в гостях был?

Степанида. Учитель этот... рыжий-то.

Акулина Ивановна. Это у которого жена сбежала?..

Степанида. Ну, ну, он! Да акцизный... такой... худущий да желтый с лица-то...

Акулина Ивановна. Знаю! На племяннице Пименова купца женат... чахоточный он, слышь...

Степанида. Ишь ты... Оно и видать...

Акулина Ивановна. Певчий наш был?

Степанида. И певчий, и Петр Васильич... Песни орал певчий-то... часов до двух орал... вроде как бык ревел...

Акулина Ивановна. Петя-то когда воротился?

Степанида. Да светало уж, как дверь-то я ему отперла...

Акулина Ивановна. Охо-хо...

Петр (входит). Ну, Степанида, возись скорее и уходи...

Степанида. Сейчас... Я сама рада скорее-то...

Петр. А рада – так больше делай да меньше разговаривай... (Степанида фыркает и уходит.) Мама! Я вас не однажды просил поменьше разговаривать с ней... Ведь это же нехорошо, – поймите вы, наконец! – вступать в интимные беседы с кухаркой... и выпрашивать у нее... разные разности! Нехорошо!

Акулина Ивановна (обиженно). Что же, у тебя прикажешь спрашиваться, с кем говорить мне можно? Ты своей беседой меня с отцом не жалуешь, так позволь хоть со слугой-то слово сказать...

Петр. Да поймите же, что она вам не пара! Ведь, кроме сплетни какой-нибудь, вы от нее ничего не услышите!

Акулина Ивановна. А от тебя что я слышала? Полгода ты живешь дома-то, а ни разу с матерью своей родной часу не просидел вместе... ничего-то не рассказал ей... и что в Москве и как...

Петр. Ну, послушайте...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Акулина Ивановна. А заговоришь когда, – одни огорчения от тебя... То – не так, это – не эдак... мать родную, как девчонку, учить начнешь, да укорять, да насмехаться... (Петр, махнув рукой, быстро уходит в сени. Акулина Ивановна вслед ему.) Ишь, вот сколько наговорил!.. (Оттирает глаза концом передника и всхлипывает.)

Перчихин (входит. Он в рваной куртке, из дыр ее торчит грязная вата, подпоясан веревкой, в лаптях и меховой шапке). Ты чего куксишься? Али Петруха обидел? Чего-то он мимо меня, как стриж, вильнул... даже здравствуй не сказал. Поля – здесь?

Акулина Ивановна (вздыхая). В кухне, капусту шинкует...

Перчихин. Вот у птиц – хорош порядок! Оперился птенец – лети на все четыре стороны... никакой ему муштровки от отца с матерью нет... Чайку тут мне не осталось?

Акулина Ивановна. Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту?

Перчихин. Вот именно, это самое! И хорошо ведь! Ничего у меня нет, никому я не мешаю... вроде как не на земле, а на воздухе живу.

Акулина Ивановна (презрительно). И никакого уваженья от людей не имеешь. На, пей... холодный только чай-то... да и жидковат немного...

Перчихин (поднимая стакан на свет). Не густо... ну, спасибо, хоть не пусто! В густом-то еще, пожалуй, увязнешь... А что до уважения, так сделайте милость, не уважайте... Я сам никого не уважаю...

Акулина Ивановна. А кому оно, уважение твое, нужно? Никому...

Перчихин. И отличное дело!.. Я так замечаю, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, – друг у друга изо рта его дерут. А я получаю пищу из воздуха... от небесных птиц кормлюсь... мое дело чистенькое!

Акулина Ивановна. Ну а свадьба – скоро?

Перчихин. Чья? Моя, что ли? Так еще та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, – в здешние леса не прилетала, шельма! Пожалуй, совсем опоздает... не дожdamшись – помру...

Акулина Ивановна. Ты не болтай пустяков, а прямо говори – когда венчаешь?

Перчихин. Кого?

Акулина Ивановна. Дочь! Будто не знает, ишь!

Перчихин. Дочь? Когда захочет, обвенчаю... коли будет с кем венчать...

Акулина Ивановна. Давно ли это у них затеялось?

Перчихин. Что? У кого?

Акулина Ивановна. Да не ломай паяца-то! Ведь сказала же она хоть тебе-то...

Перчихин. Про что?

Акулина Ивановна. Про свадьбу...

Перчихин. Это про чью?

Акулина Ивановна. Тьфу тебе! Старик уж ведь, стыдился бы юродствовать-то!

Перчихин. Ты погоди! Ты не сердчай... а скажи просто – в чем суть дела?

Акулина Ивановна. Говорить-то с тобой охоты нет...

Перчихин. А ты говоришь... да еще сколько времени говорить и всё без толку...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Акулина Ивановна (сухо, с завистью). Когда Палагею с Нилом венчать будешь?

Перчихин (вскакивая, изумленный). Что-о? С Нилом... ну-у?

Акулина Ивановна. Неужто вправду она тебе не говорила? Ну, люди пошли!.. Отцу родному...

Перчихин (радостно). Да что ты? Да шутишь? Нил? Ах, раздуй их горой! В сам-деле? Ах, черти! Ай да Полька! Это уж целая кадфель, а не полька... Нет, ты не врешь? Ну-у, ловко! А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится... Правое слово! Такая видимость была, что как бы на Татьяне...

Акулина Ивановна (обиженно). Еще кто бы за него выдал Татьяну! Очень нам нужно... такого отбойного...

Перчихин. Нила-то очень нужно? Что ты! Да я бы... да будь у меня десять дочерей, я бы, закрыв глаза, всех ему отдал! Нил? Да он... он сто человек один прокормит! Нил-то? Ха-ха!

Акулина Ивановна (с иронией). Смотрю я, – тесть у него хорош будет! Оч-чень приятен!

Перчихин. Тесть? Вона! Не захочет этот тесть никому на шею сесть... их ты! На камаринского меня даже подбивает с радости... Да я теперь – совсем свободный мальчик! Теперь я – так заживу-у! Никто меня и не увидит... Прямо в лес – и пропал Перчихин! Ну, Поля! Я, бывало, думал, дочь... как жить будет? и было мне пред ней даже совестно... родить – родил, а больше ничего и не могу!.. А теперь... теперь я... куда хочу уйду! Жар-птицу ловить уйду, за самые за тридесять земель!

Акулина Ивановна. Как же уйдешь ты! От счастья не уходят...

Перчихин. Счастье? Мое счастье в том и состоит, чтобы уходить... А Полька будет счастлива... она будет! С Нилом-то? Здоровый, веселый, простой... У меня даже мозги в голове пляшут... а в сердце – жаворонки поют! Ну, – везет мне! (Притопывая.) Поля Нила подцепила, она мило поступила... Их ты! Люли-малина!

Бессеменов (входит. Он в пальто, в руке картуз). Опять пьян!

Перчихин. С радости! Слышал? Палагея-то? (Радостно смеется.) За Нила выходит! а? Здорово, а?

Бессеменов (холодно и жестко). Нас это не касается... Мы свое получим...

Перчихин. А я всё думал, что Нил на Татьяне намерен жениться...

Бессеменов. Что-с?

Перчихин. Правое слово! Потому видимо было, что Татьяна не прочь... и глядела она на него так... эдак, знаешь... ну, как следует, и вообще... и всё прочее... а? Друг...

Бессеменов (спокойно и злобно). Вот что я тебе скажу, милый... Ты хоть и дурак, но должен понимать, что про девицу говорить такие подлые слова не позволено. Это – раз! (Постепенно повышая голос.) Засим: на кого и как глядела твоя дочь и кто как на нее глядел и что она за девица, – я не говорю, а только скажу одно: ежели она выходит за Нила – туда ей и дорога! Потому обоим им – цена грош, и хоть оба они мне обязаны очень многим, но я отныне на них плюю! Это – два! Ну-с, а теперь вот что: хоша мы с тобой и дальние родственники, но, однако, погляди на себя – что ты такое? Золоторотец. И скажи мне – кто это тебе разрешил прийти ко мне в чистую горницу в таком драном виде... в лаптицах и во всем этом уборе?

Перчихин. Что ты? Василий Васильич, – что ты, брат? Да разве я в первый раз эдак-то...

Бессеменов. Не считал разов и не хочу считать. Но вижу одно – коли ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет. Опять говорю: кто ты? Нищий, шантрапа, рвань коричневая... слышал? Это – три! И – пошел вон!

Перчихин (ошеломленный). Василий Васильич! За что? За какое...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Бессеменов. Вон! Не финти...

Перчихин. Опомнись! Я ни в чем пред тобой...

Бессеменов. Ну?! Ступай... а то...

Перчихин (уходя, с укором и сожалением). Эх, старик! Ну, и жаль мне тебя! Прощай!

(Бессеменов, выпрямившись, молча, твердыми, тяжелыми шагами ходит по комнате, суровый, мрачный. Акулина Ивановна моет посуду, боязливо следя за мужем, руки у нее трясутся, губы что-то шепчут.)

Бессеменов. Ты чего шипишь? Колдуешь, что ли?..

Акулина Ивановна. Я молитву... молитву, отец...

Бессеменов. Знаешь... не быть мне головой! Вижу, – не быть... Подлецы!

Акулина Ивановна. Ну что ты? Ай, батюшки... а? Да почему? Да еще, может быть...

Бессеменов. Что – может быть? Федька Досекин, слесарного цеха старшина, в головы метит... Мальчишка! Щенок!

Акулина Ивановна. Да еще, может, не выберут его... ты не кручинься...

Бессеменов. Выберут... видно по всему... Прихожу я, сидит он в управе... Слышу – поет, разливаётся – жизнь, говорит, трудная, надо, говорит, друг за друга держаться... всё, говорит, сообща делать... артели, говорит... Теперь, дескать, всё фабрика... ремесленникам жить нельзя врозь. Я говорю: жида всему причина! Жидов надо ограничить! Губернатору, говорю, жалобу на них – ходу русским не дают, и просить его, чтобы выселил жидов. (Татьяна тихо отворяет дверь и бесшумно, пошатываясь, проходит в свою комнату.) А он это с улыбочкой такой и спрашивает: а куда девать тех русских, которые хуже жидов? И начал разными осторожными словами на меня намекать... Я будто не понимаю, но, однако, чувствую, куда он метит... мерзавец! Послушал – отошел прочь... Погоди, думаю, я тебе насолю... А тут Михайло Крюков, печник, подошел ко мне... знаешь, говорит, а головой-то, пожалуй, Досекину быть... и глядит вбок, конфузится... Хотел я сказать ему – ах ты. Иуда косоглазый...

Елена (входит). Здравствуйте, Василий Васильевич! Здравствуйте, Акулина Ивановна...

Бессеменов (сухо). А... вы-с? Пожалуйте... что скажете?

Елена. Да вот – деньги за квартиру принесла...

Бессеменов (более любезно). Доброе дело... сколько тут? Четвертная... Причитается мне еще с вас получить за два стекла в коридорном окне сорок копеек, да за петлю у двери в дровянике... кухарка ваша сломала... ну, хоть двадцать копеек...

Елена (усмехаясь). Какой вы... аккуратный! Извольте... у меня нет мелких... вот – три рубля...

Акулина Ивановна. Углей мешок вы брали... кухарка ваша.

Бессеменов. Сколько за угли?

Акулина Ивановна. За угли – тридцать пять...

Бессеменов. И всего – девяносто пять... Два с пятаком сдачи... пожалуйста! А насчет аккуратности, милая барыня, вы сказали справедливо. Аккуратностью весь свет держится... Само солнце восходит и заходит аккуратно, так, как положено ему от века... а уж ежели в небесах порядок, то на земле – тем паче быть должно... Да вот и сами вы – как срок настал, так и деньги несете...

Елена. Я не люблю быть в долгу...

Бессеменов. Распрекрасное дело! Зато всяк вам и доверит...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Елена. Ну, до свиданья! Мне надо идти...

Бессеменов. Наше почтение. (Смотрит вслед ей и потом говорит.) Хороша, шельма! Но всё же, однако, с превеликим удовольствием турнул бы я ее долой с квартиры...

Акулина Ивановна. Хорошо бы это, отец...

Бессеменов. Ну, положим... Пока она тут... мы можем следить. А съедет, – Петрушка к ней шляться начнет тогда, за нашими-то глазами она его скорее может обойти... Надо принять в расчет и то, что деньги она платит аккуратно... и за всякую порчу в квартире бессловесно возмещает... н-да! Петр... конечно, опасно... даже очень...

Акулина Ивановна. Может, он жениться и не думает на ней... а просто так...

Бессеменов. Кабы знать, что так... то и говорить нам не о чем и беспокоиться не надо. Всё равно, чем в публичные дома таскаться, – тут прямо под боком... и даже лучше... (Из комнаты Татьяны раздаётся хриплый стон.)

Акулина Ивановна (тихо). А?

Бессеменов (так же). Что это?

Акулина Ивановна (она говорит тихо, беспокойно озирается, как бы прислушиваясь к чему-то). В сенях будто...

Бессеменов (громко). Кошка, должно быть...

Акулина Ивановна (нерешительно). Знаешь, отец... хочу я тебе сказать...

Бессеменов. Ну, говори...

Акулина Ивановна. Не больно ли ты строго с Перчихиным-то поступил? Он ведь безобидный...

Бессеменов. А безобидный, так и не обидится... если же обидится – потеря нам не велика... знакомство с ним – честь не дорогая... (Стон повторяется громче.) Кто это? Мать...

Акулина Ивановна (суется). Не знаю я... право... что это...

Бессеменов (бросаясь в комнату Петра). Тут, что ли? Петр!

Акулина Ивановна (бежит за ним в ужасе). Петя! Петя... Петя...

Татьяна (хрипло кричит). Спасите... мама... спасите... спасите!.. (Бессеменов и Акулина Ивановна выбегают из комнаты Петра и бегут на крик молча, у двери в комнату они на секунду останавливаются, как бы не решаясь войти, и затем бросаются в дверь оба вместе. Навстречу им несутся крики Татьяны.) Горит... о-о! Больно... пить! Дайте пить!.. спасите!..

Акулина Ивановна (выбегая из комнаты, растворяет дверь в сени и кричит). Батюшки! Милосердные... Петя... (В комнате Татьяны слышен глухой голос Бессеменова: «Что ты... доченька... что ты... что с тобой... доченька?..»)

Татьяна. Воды... Умираю... Горит всё... о боже!

Акулина Ивановна. Идите... сюда идите, батюшки...

Бессеменов (из комнаты). Беги, зови... доктора...

Петр (вбегает). Что такое? Что вы?

Акулина Ивановна (схватывает его за руку, задыхаясь). Таня... умирает...

Петр (вырываясь). Пустите... пустите...

Тетерев (надевая по дороге пиджак). Горит, что ли?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

Бессеменов. Доктора!.. Доктора зови, Петр... двадцать пять рублей давай!..

Петр (выскакивая из комнаты сестры, – Тетереву). Доктора! За доктором... Скажите – отравилась... женщина... девушка... нашатырный спирт... скорей! скорей!

(Тетерев бежит в сени.)

Степанида (вбегает). Батюшки мои... батюшки мои...

Татьяна. Петя... горю! Умираю!.. жить хочу! Жить... воды дайте!

Петр. Сколько ты приняла? Когда ты выпила? Говори...

Бессеменов. Доченька моя... Танечка...

Акулина Ивановна. Погубила себя, голубушка!

Петр. Мама, уйдите... Степанида, уведи ее... уйдите, говорят вам... (Елена пробегает в комнату Татьяны.) Уведите мать...

(Входит Баба, останавливается у дверей, заглядывает в комнату и что-то шепчет.)

Елена (выводит Акулину Ивановну под руку и бормочет). Это ничего... это не опасно...

Акулина Ивановна. Голубу-ушка моя! Доченька... чем я тебя обидела? Чем прогневала?

Елена. Это пройдет... вот доктор... он поможет... О, какое несчастье!

Баба (подхватывая Акулину Ивановну под другую руку). Не кручиньтесь, матушка! То ли бывает? Эх, болезная... Вон у купца Ситанова... лошадь кучера копытом в бок...

Акулина Ивановна. Милая ты моя... что я буду делать-то? Единственная моя... (Ее уводят.)

(В комнате Татьяны ее крики смешиваются с глухим голосом отца и нервными, отрывистыми словами Петра. Гремит какая-то посуда, падает стул, скрипит железо кровати, мягко шлепается о пол подушка. Степанида несколько раз выбегает из комнаты, растрепанная, с открытым ртом и вытаращенными глазами, хватая из шкафа тарелки, чашки, что-то разбивает и снова скрывается. Из сеней заглядывают в дверь какие-то рожи, но никто не решается войти. Вскрикивает маляр-мальчишка и, взглянув в дверь к Татьяне, тотчас же возвращается назад, громким шепотом сообщая: «Помирает!» На дворе раздаются звуки шарманки, но тотчас же обрываются. Среди людей в сенях глухой говор: «Убил? Отец... Он ей говорил: эй, говорит, смотри у меня!.. По голове... Чем – не знаешь? Что врешь, – зарезалась она своей рукой...» Женский голос спрашивает: «Замужняя?» Кто-то громко с сожалением чмокает губами.)

Баба (выходит из комнаты стариков, проходя мимо стола, сует себе под платок булку и, подходя к двери, говорит). Тише! Отходит!..

Мужской голос. Как имя?

Баба. Лизавета...

Женский голос. С чего это она?..

Баба. А, стало быть, еще в Успенев день, сказал он ей – лизавета, говорит...

(В толпе движение. Входят доктор и Тетерев. Доктор в шляпе и пальто проходит прямо в комнату Татьяны. Тетерев заглядывает в дверь и отходит прочь, хмурый. Из комнаты Татьяны всё продолжают доноситься смешанный говор и стоны. Из комнаты стариков – вой Акулины Ивановны и ее крики: «Пусти меня! Пусти ты меня к ней!» В сенях – глухой шум голосов. Выделяются восклицания: «Серьезный человек... Это – певчий... Н-ну? Ей-ей... от Ивана Предтечи».)

Тетерев (подходя к двери). Вы чего тут? Пошли прочь! Ну?

Баба (тоже суется в дверь). Проходите, люди добрые... некасаемо это вас...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Тетерев. Ты кто такая? Тебе чего надо?..

Баба. Я, батюшка, овощью торгую.. луком зеленым, огурчиками...

Тетерев. Тебе что нужно?

Баба. Я, батюшка, к Семягиной шла.. кума она мне...

Тетерев. Ну? Что же тебе тут нужно?

Баба. А мимо я иду.. шум, слышу.. думала, пожар...

Тетерев. Ну?

Баба. И зашла.. На несчастье посмотреть зашла...

Тетерев. Ступай вон.. Вы все! Вон из сеней!..

Степанида (выбегая, Тетереву). Тащи ведро воды.. тащи живо! (В дверь высовывается седенький старичок с подвязанной щекой и, подмигивая, говорит Тетереву: «Господин! Она у вас тут со стола булочку стащила...» Тетерев идет в сени, толкая людей вон из них. В сенях – топот, возня, визжит мальчишка: «Ай-ай!» Кто-то смеется, кто-то обиженно восклицает: «Потише-с!»)

Тетерев (невидимый). К черту! Марш!

Петр (выглядывая из двери). Тише.. (Обращаясь в комнату.) Иди, отец, иди к маме! Ну, иди же! (Кричит в сени.) Не пускайте никого!..

(Бессеменов выходит, качаясь на ногах. Садится на стул у стола, тупо смотрит пред собой. Потом встает и идет в свою комнату, откуда слышен голос Акулины Ивановны.)

Акулина Ивановна. Я ли ее не любила? Я ли не берегла?

Елена. Ну, успокойтесь.. милая моя...

Акулина Ивановна. Отец! Родной ты...

(Дверь за Бессеменовым затворяется, и конца речи не слышно. Комната пуста. С двух сторон в нее несется шум: звуки голосов из комнаты Бессеменовых, тихий говор, стоны и возня из комнаты Татьяны. Тетерев вносит ведро воды, ставит у двери и осторожно стучит в нее пальцем. Степанида отворяет дверь, берет ведро и тоже выходит в комнату, отирая пот с лица.)

Тетерев. Что?

Степанида. Ничего, слышь...

Тетерев. Это доктор сказал?

Степанида. Он. Да где уж.. (Безнадежно махает рукой.) Отца с матерью пускать не велят туда...

Тетерев. Ей лучше?

Степанида. А кто знает? Не стонет, перестала.. Зеленая вся.. глаза огромные.. Недвижима лежит.. (Укоризненным шепотом.) Я говорила им.. сколько раз говорила – выдайте ее замуж! Эй, выдайте! Не послушали.. ну и – вот оно! Да разве здорово девице до этакой поры без мужа?.. Опять же: в бога не веровала.. ни тебе помолится, ни тебе перекрестится.. Ну, вот!

Тетерев. Молчи.. ворона!

Елена (входит). Ну что, что она?

Тетерев. Не знаю.. Доктор будто сказал, что не опасно...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Елена. Старика убиты... жалко их!

(Тетерев молча пожимает плечами.)
Степанида (бежит вон из комнаты). Батюшки! А про кухню-то забыла...

Елена. И отчего? Что случилось? Бедная Таня... как, должно быть, больно ей... (Морщится и вздрагивает.) Ведь это больно? Очень? Страшно?

Тетерев. Не знаю. Я никогда не пил нашатырного спирта...

Елена. Как вы можете шутить?

Тетерев. Я не шучу...

Елена (подходит к двери в комнату Петра, заглядывает в нее). А Пе... Петр Васильевич еще всё там, у нее?

Тетерев. Очевидно... ибо он оттуда не выходил...

Елена (задумчиво). Воображаю, как на него это подействовало!.. (Пауза.) Когда я... когда мне случается видеть... что-нибудь подобное этому... я ощущаю в себе ненависть к несчастью...

Тетерев (улыбаясь). Это похвально...

Елена. Вы понимаете? Так бы вот схватила его, бросила себе под ноги и раздавила... всё, навсегда!

Тетерев. Несчастье?

Елена. Ну да! Я его не боюсь, а именно – не-на-ви-жу! Я люблю жить весело, разнообразно, люблю видеть много людей... и я умею делать так, чтобы и мне и тем, кто около меня, жилось легко, радостно...

Тетерев. Паки похвально!

Елена. И – знаете что? Я вам покаюсь... я очень черствая... такая жесткая! Я ведь и людей несчастных не люблю... Понимаете – есть такие люди, которые всегда несчастны, что хотите делайте с ними! Наденьте на голову такому человеку вместо шляпы – солнце, – что может быть великолепнее! – он всё же будет ныть и жаловаться: «Ах, я так несчастен! я так одинок! Никто не обращает на меня внимания... Жизнь темна и скучна... Ох! Ах! Ой! Увы!..» Когда я вижу такого барина, то чувствую злое желание сделать его еще более несчастным...

Тетерев. Милая барыня! Я – тоже покаюсь... Терпеть не могу, когда женщины философствуют, но когда вы рассуждаете, – мне хочется целовать вам ручки...

Елена (лукаво и капризно). Только? И только тогда, когда рассуждаю?.. (Спохватясь.) Ай-ай-ай! Я шучу... дурачусь, тогда как там – страдает человек...

Тетерев (указывая на дверь стариков). И там страдает. И всюду, куда бы вы ни указали пальцем, – везде страдает человек! Такая уж у него привычка...

Елена. А все-таки ему больно...

Тетерев. Разумеется...

Елена. И нужно его пожалеть.

Тетерев. Не всегда... И едва ли даже когда-нибудь человека нужно пожалеть... Лучше – помочь ему.

Елена. Всем не можешь... и, не пожалевши, – не можешь...

Тетерев. Барыня! Я рассуждаю так: страдания – от желаний. В человеке есть желания, заслуживающие уважения, и есть желания, не заслуживающие такового. Помогите ему удовлетворить те желания тела, кои необходимы для того, чтоб он был здоров и силен, и те, которые, облагородив его, возвысят над скотом...

Елена (не слушая его). Может быть... может быть и так... Но что там делается? что она – уснула? Так тихо... что-то шепчут... Старики тоже... ушли, забились в свой угол... Как это странно всё! Вдруг – стоны, шум, крики, суета... и вдруг – тишина, неподвижность...

Тетерев. Жизнь! Покричат люди, устанут, замолчат... Отдохнут, – опять кричать будут. Здесь же, в этом доме, – всё замирает особенно быстро... и крик боли и смех радости... Всякие потрясения для него – как удар палкой по луже грязи... И последним звуком всегда является крик пошлости, феи здешних мест. Торжествующая или озлобленная, здесь она всегда говорит последней...

Елена (задумчиво). Когда я жила в тюрьме... там было интереснее! Муж у меня был картежник... много пил, часто ездил на охоту. Город – уездный... люди в нем – какие-то... заштатные... Я была свободна, никуда не ходила, никого не принимала и жила с арестантами. Они меня любили, право... они ведь чудачки такие, если рассмотреть их поближе! Удивительно милые и простые люди, уверяю вас! Смотрю я на них, бывало, и мне кажется совершенно невероятным, что вот этот – убийца, этот – ограбил, этот... еще что-нибудь сделал. Спросишь иногда: «Ты убил?» – «Убил, матушка Елена Николаевна, убил... что поделаешь?» И мне казалось, что он, этот убийца, взял на себя чужую вину... что он был только камнем, который брошен чужою силой... да! Я накупила им разных книжек, дала в каждую камеру шашки, карты... давала табак... и вино давала, только понемножку... На прогулках они играли в мяч, в городки, – совсем как дети, честное слово! Иногда я читала им смешные книжки, а они слушали и хохотали... как дети. Я купила птичек, клеток, и в каждой камере была своя птичка... они любили ее – как меня! И знаете, – им ужасно нравилось, когда я надевала что-нибудь яркое, – красную кофточку, желтую... уверяю вас, – они очень любят веселые, яркие цвета! И я нарочно одевалась для них как можно пестрее... (Вздыхнув.) Славно было с ними! Я не заметила, как прошло три года... И когда мужа убила лошадь, я плакала не столько о нем, кажется, сколько о тюрьме... Было жалко уходить из нее... И арестанты тоже... им тоже было грустно... (Оглядывает комнату.) Здесь, в этом городе, мне живется хуже... в этом доме есть что-то... нехорошее! Не люди нехороши, а... что-то другое... Однако, знаете, мне стало грустно... Тяжело как-то... Вот мы с вами сидим, говорим... а там, может быть, умирает человек...

Тетерев (спокойно). И нам его не жалко...

Елена (быстро). Вам не жалко?..

Тетерев. И вам...

Елена (тихо). Да, вы правы! Это... нехорошо, я понимаю... но я не чувствую, что это нехорошо! Вы знаете: ведь так бывает, – понимаешь, что дурно, но не чувствуешь этого... Вы знаете: мне больше жалко его... Петра Васильевича, чем ее... Мне вообще жалко его... ему плохо здесь... да?

Тетерев. Здесь всем плохо...

Поля (входит). Здравств...

Елена (вскакивая, идет к ней). Ш-ш! Тише! Знаете... Таня – отравилась!

Поля. Что-о?

Елена. Ну, да, да! Вот... там у нее доктор и брат...

Поля. Умирает... умрет?

Елена. Никто не знает...

Поля. Из-за чего? Сказала? Нет?

Елена. Не знаю! Нет!

Петр (высовывая из двери взлохмаченную голову). Елена Николаевна... на минутку... (Елена быстро уходит.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Поля (Тетереву). Что вы смотрите на меня... так?

Тетерев. Сколько раз вы так спрашивали меня?

Поля. Если всё одно и то же... всегда какой-то особый взгляд... зачем? (Подходя вплоть к нему, строго.) Вы что же... меня считаете виноватой... в этом?

Тетерев (усмехаясь). А вы разве чувствуете что-то... вроде вины?

Поля. Чувствую, что всё больше... не люблю вас... вот! Вы скажите лучше – как всё это было?

Тетерев. Ее вчера тихонько толкнули, и – слабая – она сегодня упала... вот и всё!

Поля. Неправда!

Тетерев. Что – неправда?

Поля. Я знаю, на что вы намекаете... это неправда! Нил...

Тетерев. Разве – Нил? При чем тут Нил?

Поля. Ни он, ни я... мы оба ни при чем! Вы... нет! Я знаю, вы вините нас... ну, что же? Ну, я его люблю... и он меня... Это давно началось!

Тетерев (серьезно). Ни в чем я вас не виню... это вы сами себя в чем-то обвинили и вот – оправдываетесь пред первым встречным. К чему? Я вас... очень уважаю... Кто говорил вам всегда, постоянно, упорно – уйдите скорее из этого дома, не ходите в этот дом, здесь – нездорово, здесь вам расстроят душу? Это я говорил...

Поля. Ну, что же?

Тетерев. Ничего. Я хотел только сказать, что если б вы сюда не ходили... вам не пришлось бы испытывать того, что вы испытываете сейчас... вот и всё!

Поля. Да... Но – как же это она? Опасно? Чем она?

Тетерев. Не знаю...

(Петр и доктор выходят.)

Петр. Поля! Пожалуйста, помогите Елене Николаевне...

Тетерев (Петру). Ну, что?

Доктор. Пустяки, собственно говоря! Вот только, субъект нервный, а то – ничего бы... Выпила немного... обожгла пищевод... В желудок проникло спирту, очевидно, тоже мало... да и тот выброшен обратно...

Петр. Вы устали, доктор, присядьте, пожалуйста...

Доктор. Благодарю... С неделю прохворает... Вот у меня на днях был интересный случай... Маляр, в нетрезвом виде, выпил вместо пива чайный стакан лаку...

(Бессеменов входит. Остановившись у двери своей комнаты, он молча, вопросительно и мрачно смотрит на доктора.)

Петр. Успокойся, отец, это не опасно!

Доктор. Да, да! Не пугайтесь! Через два, три дня она встанет на ноги...

Бессеменов. Правда ли?

Доктор. Уверяю вас!

Бессеменов. Ну!.. Спасибо! Коли правда... коли не опасно – спасибо! Петр, ты того... поди-ка сюда... (Петр подходит к нему. Бессеменов отступает пред ним в дверь своей комнаты. Шепот, звон денег.)

Тетерев (доктору). Ну, что же маляр?

Доктор. Э... как-с?

Тетерев. Что же маляр?

Доктор. А! Маляр... ничего, выздоровел... гм... Я, кажется, встречался с вами... где-то?

Тетерев. Может быть...

Доктор. Вы... э... не лежали в тифозном бараке?

Тетерев. Лежал!..

Доктор (радостно). Ага! Вот, вот! То-то, я смотрю – знакомое лицо... Позвольте... это было весной? да? Кажется, я помню даже имя и фамилию вашу...

Тетерев. И я вас помню...

Доктор. Да?

Тетерев. Помню. Как я стал оправляться и попросил вас увеличить мне порцию, вы скорчили прескверную рожу и сказали мне: «Будь доволен тем, что дают. Вашего брата, пьяниц и бродяг, много»...

Доктор (растерянно). Позвольте! Это... этого... Извините!.. Вы... ваше имя... я – врач Николай Троеруков... а...

Тетерев (подходя к нему). А я – потомственный алкоголик и кавалер Зеленого Змия Терентий Богословский. (Доктор отступает пред ним.) Не бойся, не трону... (Проходит мимо. Доктор растерянно смотрит вслед ему, обмахиваясь шляпой. Входит Петр.)

Доктор (оглядываясь на дверь в сени). До свидания, однако! Меня ждут... В случае, если она будет жаловаться на боль... повторите... дайте ей еще... капель... Сильной боли не должно быть... До свидания!.. А-а... скажите, тут был сейчас такой... оригинальный господин... он ваш родственник?..

Петр. Нет, это нахлебник...

Доктор. Ага!.. Очень приятно!.. Большой оригинал! До свидания... благодарю вас! (Уходит. Петр провожает его в сени. Бессеменов и Акулина Ивановна выходят из своей комнаты и осторожно, ступая на носки, подвигаются к двери в комнату дочери.)

Бессеменов. Погоди, не ходи туда... Ничего не слышать. Может, спит она... не разбудить бы... (Отводит старуху в угол к сундуку.) Н-да, мать! Вот и дожили... до праздника! Говору, сплетен будет теперь по городу – без конца...

Акулина Ивановна. Отец! Что ты? То ли говоришь? Да хоть во все трубы пускай трубят... только бы жива-то осталась! Во все колокола пусть звонят...

Бессеменов. Ну, да... я знаю... это так!.. Только ты... эхма! Не понимаешь ты! Ведь – позор это нам с тобой!

Акулина Ивановна. А ну... какой позор?

Бессеменов. Дочь отравилась, пойми! Что мы ей – какую боль причинили? Чем огорчили? Что мы – звери для нее? А будут говорить разное... Мне – наплевать, я всё ради детей стерплю... но только – зачем? Из-за чего? Хоть бы знать... Дети! Живут – молчат... Что в душе у них? Неизвестно! Что в головах? Неведомо! Вот – обида!

Акулина Ивановна. Я понимаю... ведь и мне обидно! Все-таки я – мать... Хлопочешь, хлопчешь целый день, и спасибо никто не скажет... я понимаю! Да что уж... хоть бы живы-здоровы были... а то вот на-ко!

Поля (выходит из комнаты Татьяны). Она засыпает... Вы потише...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@maxim.ru
Бессеменов (вставая). Ну, как она, что? Посмотреть-то можно?

Акулина Ивановна. Я войду тихонечко? Мы вот с отцом...

Поля. Доктор не велел пускать никого...

Бессеменов (подозрительно). Ты почему знаешь? Тебя при докторе не было еще...

Поля. Мне Елена Николаевна передала.

Бессеменов. А она – там? Ишь ты... чужому человеку можно, родным – нельзя. Удивительно...

Акулина Ивановна. Обедать-то надо в кухне... чтобы не беспокоить ее... Милая моя!.. И взглянуть нельзя... (Махнув рукой, уходит в сени. Поля стоит, прислонясь к шкафу и глядя на дверь в комнату Татьяны. Брови у нее нахмурены, губы сжаты, стоит она прямо. Бессеменов сидит у стола, как бы ожидая чего-то.)

Поля (тихо). Отец мой не был здесь сегодня?

Бессеменов. Совсем ты не про отца спрашиваешь. Что тебе отец? Знаю я, кого тебе надо... (Поля удивленно смотрит на него.) Отец твой был... да! Грязный, оборванный, лишенный всякого порядочного подobia... Но все-таки ты его должна уважать...

Поля. Я уважаю... Почему вы это... говорите?

Бессеменов. Чтоб ты понимала... Твой отец бродяга бездомный, а все-таки ты не должна выходить из его воли... Но разве вы понимаете – что такое отец?.. Все вы – бесчувственные... Ты вот... девушка бедная, бесприютная, ты бы должна быть скромной... ласковой со всеми... а ты – туда же! – пускаешься рассуждать, подражаешь образованным людям. Н-да. Вот ты замуж выходишь... а тут человек едва жизни не лишил себя...

Поля. Я не понимаю, что вы говорите... и зачем?

Бессеменов (видимо, сам утратив связь своих мыслей, раздражается). Понимай... думай... затем и говорю, чтобы понимала ты! Кто ты? А однако, вот... выходишь замуж! Дочь же моя... чего торчишь тут? Иди-ка в кухню... делай что-нибудь... Я покараулю... иди! (Поля, с недоумением глядя на него, хочет идти.) Постой! Давеча я... крикнул на твоего отца...

Поля. За что?

Бессеменов. Не твое дело! Ступай... иди! (Поля уходит удивленная. Бессеменов тихо идет к двери Татьяны и, приотворив ее, хочет заглянуть, Елена выходит и отстраняет его.)

Елена. Не ходите, она спит, кажется! Не беспокойте ее...

Бессеменов. Мм... Нас беспокоят все... это ничего! А вас – нельзя...

Елена (удивленно). Что вы говорите? Да ведь она же больная!..

Бессеменов. Знаю я... Всё знаю... (Уходит в сени. Елена пожимает плечами вслед ему. Проходит к окнам, садится на кушетку и, закинув руки за шею, о чем-то думает. На лице у нее является улыбка, она мечтательно закрывает глаза. Петр входит, сумрачный, растрепанный. Он встряхивает головой, как бы желая сбросить с нее что-то. Видит Елену, останавливается.)

Елена (не открывая глаз). Это кто?

Петр. Чему вы смеетесь? Странно видеть улыбающееся лицо... теперь... после этого...

Елена (взглянув на него). Вы – сердитый? Устали? Бедный мальчик... Как мне жалко вас...

Петр (садясь на стул рядом с нею). Мне самому жалко себя.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Елена. Вам надо уехать куда-нибудь...

Петр. Да, надо. В сущности – зачем я здесь? Меня страшно тяготит эта жизнь...

Елена. Как бы вы хотели жить? Скажите!.. Я часто спрашивала вас об этом... но вы не отвечали, никогда...

Петр. Трудно быть откровенным...

Елена. Со мной?

Петр. И с вами... Разве я знаю... как вы относитесь ко мне? Как отнесетесь к тому, что я мог бы вам сказать? Иногда мне кажется, что вы...

Елена. Что я? Ну...

Петр. Что вы хорошо...

Елена. Я отношусь к вам очень, очень хорошо! Славный вы мой... мальчик!

Петр (горячо). Я не мальчик, нет! Я много думал... Слушайте, скажите... вам нравится – вам интересна вся эта возня, которой занимается Нил, Шишкин, Цветаева... все эти шумные люди?.. Вы можете верить, что совместные чтения умных книг, спектакли для рабочих... разумные развлечения... и вся эта суетность – действительно важное дело, ради которого и следует жить? Скажите...

Елена. Голубчик! Ведь я необразованный человек... я не могу судить, не понимаю. Я ведь – несерьезная... Они – мне нравятся все, и Нил и Шишкин... Веселые, всегда что-то делают... Я люблю веселых людей... сама такая же... К чему вы это спросили?

Петр. А... меня раздражает всё это! Если они любят жить так... если находят в этом удовольствие – пожалуйста! Я не мешаю... я не хочу никому мешать, но не мешайте и мне жить так, как я хочу! Зачем они впадают в свои действия какой-то особый смысл... Зачем говорят мне, что я трус, эгоист...

Елена (дотрагиваясь до его головы). Его замучили... устал он...

Петр. Нет, я не устал... я только раздражен. Я – имею право жить, как мне нравится, мне! Я имею это право?

Елена (играя его волосами). Это опять мудреный вопрос для меня... Я одно знаю – сама я живу, как умею, делаю, что хочу... и если меня будут убеждать идти в монастырь, – не пойду! Заставят – убегу, утоплюсь...

Петр. Вы больше бываете с ними, чем со мной, вы... вам они больше нравятся, чем я! Я чувствую это... Но я хочу сказать – я могу это сказать! – они – пустые бочки.

Елена (удивленно). Что? Какие...

Петр. Пустые бочки... есть басня о бочках...

Елена. Ах, знаю... Однако... ведь и я тоже... значит, и я пустая?

Петр. О нет! Вы – нет! Вы – живая, вы, как ручей, освежаете человека!

Елена. Ба! Значит, я, по-вашему, холодная?

Петр. Не шутите! Я прошу вас! Этот момент... но вы смеетесь! Зачем? Разве я смешон? Я – жить хочу! Хочу жить... по своему разумению... по своей воле...

Елена. Живите! Кто мешает?

Петр. Кто? Кто-то есть... есть что-то! Когда я думаю, что вот как надо жить – одному, независимо... мне кажется, что кто-то говорит – нельзя!

Елена. Совесть?

Петр. При чем тут совесть? Я... не... разве я хочу сделать преступление? Я хочу

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
только быть свободным... я хочу сказать...

Елена (наклоняясь к нему). Это говорится не так! Это гораздо проще нужно говорить! Я помогу вам, бедненький мальчик... чтоб вам не путать таких простых вещей...

Петр. Елена Николаевна! Вы... мучаете меня... шутками! Это жестоко! Я хочу сказать вам... вот я весь пред вами!

Елена. Опять не то!

Петр. Я, очевидно, слабый человек... эта жизнь – не по силам мне! Я чувствую ее пошлость, но ничего не могу изменить, ничего не в состоянии внести... Я хочу уйти, жить один...

Елена (взяв его голову в руки). Говорите за мной, повторяйте: я вас люблю!

Петр. О да! да! Но... нет. Вы шутите!..

Елена. Право же, я совершенно серьезно и давно решила выйти за вас замуж! Может быть, это нехорошо... но мне очень хочется этого...

Петр. Но... как я счастлив! Я люблю вас, как... (За стеною – стон Татьяны. Петр вскакивает, растерянно оглядываясь вокруг. Елена встает с места спокойно. Петр тихо.) Это... Таня? А мы... тут...

Елена (проходя мимо его). Мы не сделали ничего дурного...

Голос Татьяны. Пить... дайте пить...

Елена. Иду... (Улыбаясь Петру, уходит. Петр стоит, схватив голову руками, и растерянно смотрит пред собой. Дверь из сеней открывается, и Акулина Ивановна громко шепчет.)

Акулина Ивановна. Петя! Петя – ты где?..

Петр. Здесь...

Акулина Ивановна. Иди обедать...

Петр. Не хочу... не пойду...

Елена (выходит). Он пойдет ко мне...

(Акулина Ивановна недовольно оглядывает ее и скрывается.)

Петр (бросаясь к Елене). Как это вышло... нехорошо! Там она лежит... а мы... мы...

Елена. Идемте-ка... Что тут нехорошего? Даже в театре после драмы дают что-нибудь веселое... а в жизни это еще более необходимо...

(Петр прижимается к ней, и она уводит его под руку.)
Татьяна (стонет хрипло). Лена!.. Лена!.. (Вбегает Поля.)

Занавес

Акт четвертый
Та же комната.

Вечер. Комната освещена лампой, стоящей на столе. Поля собирает посуду для чая. Татьяна, больная, лежит на кушетке в углу, в полутьме, Цветаева – на стуле около нее.

Татьяна (тихо, укоризненно). Думаешь, я не хотела бы смотреть на жизнь вот так же весело и бодро, как ты? О, я хочу... но – не могу! Я родилась без веры в сердце... Я научилась рассуждать...

Цветаева. Голубчик! Ты слишком много рассуждаешь... А ведь – ты согласишься, – не

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
стоит быть умным человеком для того, чтоб только рассуждать... Рассудок – это хорошо, но... видишь ли, чтоб человеку жилось не скучно и не тяжело, он должен быть немножко фантазером... он должен, – хоть не часто, – заглядывать вперед, в будущее...

(Поля, внимательно слушая речь Цветаевой, улыбается ласково, задумчиво.)
Татьяна. Что там, впереди?

Цветаева. Всё, что захочешь видеть!

Татьяна. Да-а... нужно выдумать!

Цветаева. Поверить нужно...

Татьяна. Во что?

Цветаева. В свою мечту. Ты знаешь... когда я смотрю в глаза моих мальчишек, я думаю о них. Вот Новиков. Он кончит школу, пойдет в гимназию... потом – университет... он будет доктором, мне кажется! Такой солидный мальчик, внимательный, добрый... лоб у него – огромный. Он очень любящий... он будет очень много работать, бескорыстный, славный... и люди будут его очень любить, уважать... я это знаю! И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос... А может, не вспомнит... ну, всё равно!.. Нет, вспомнит, я думаю... он очень любит меня. Есть у меня рассеянный, растрепанный и всегда чумазый Клоков. Он вечный спорщик, задира, озорник. Он – сирота, живет у дяди, ночного сторожа... он – почти нищий... но такой гордый, смелый! Я думаю – он будет журналистом. Ах, сколько у меня интересных мальчишек! И как-то невольно всегда думаешь о том, что будет с ними, какую роль они сыграют в жизни... Ужасно интересно представлять себе, как будут жить мои ученики... Ты видишь, Таня, это ведь немного... но если б ты знала, как приятно!

Татьяна. А ты? Где ты сама? Твои ученики будут жить... быть может, очень хорошо... а ты тогда уже...

Цветаева. Умру? Вот еще! Нет, я намерена жить долго...

Поля (негромко, ласково, как бы вздыхая). Какая милая вы, Маша! Какая славная...

Цветаева (улыбаясь Поле). Запела коноплянка... Ты знаешь, Таня, я не сантиментальна... но когда подумаю о будущем... о людях в будущем, о жизни – мне делается как-то сладко-грустно... как будто в сердце у меня сияет осенний, бодрый день... Знаешь – бывают такие дни осенью: в ясном небе – спокойное солнце, воздух – глубокий, прозрачный, вдали всё так отчетливо... свежо, но не холодно, тепло, а не жарко...

Татьяна. Всё это... сказки... Я, впрочем, допускаю... быть может, вы – ты, Нил, Шишкин – и все похожие на вас... быть может, вы действительно способны жить мечтами... Я – не могу.

Цветаева. Нет, подожди... Ведь не одни мечты...

Татьяна. Мне ничто, никогда не казалось достоверным... кроме того разве, что вот это – я, это – стена... Когда я говорю – да или – нет... я это говорю не по убеждению... а как-то так... я просто отвечаю, и – только. Право! Иногда скажешь – нет! и тотчас же подумаешь про себя – разве? а может быть, – да?

Цветаева. Тебе нравится это... Присмотрись-ка к себе, – не находишь ли ты что-то приятное для себя в таком... раздвоении души? А может быть – ты боишься верить... ведь вера – обязывает...

Татьяна. Не знаю... не знаю. Заставь меня поверить. Ведь вот – других вы заставляете верить вам... (Тихо смеется.) А мне жалко людей, которые верят вам... ведь вы их обманываете! Ведь жизнь всегда была такая, как теперь... мутная, тесная... и всегда будет такая!

Цветаева (улыбаясь). Разве? А может быть – нет?

Поля (как бы про себя). Нет!

Татьяна. Ты что сказала?

Поля. Я говорю – не будет!

Цветаева. Молодец, тихая птичка коноплянка!

Татьяна. Вот одна из несчастных... верующих. А спроси ты ее – почему нет? Почему изменится жизнь? Спроси...

Поля (тихо подходя поближе). Ведь, видите, какое дело, – не все еще люди живут! Очень мало людей жизнью пользуются... множеству их жить-то и некогда совсем... они только работают, куска хлеба ради... а вот, когда и они...

Шишкин (входит быстро). Добрый вечер! (Поле.) Здравствуйте, русоволосая дочь короля Дункана.

Поля. Что? Какого короля?

Шишкин. Ага-а! Поймал! Вижу теперь, что Гейне-то вы не читали, хотя книжка у вас находится более двух недель. Здравствуйте, Татьяна Васильевна!

Татьяна (протягивая руку). Ей теперь не до книг... Она выходит замуж...

Шишкин. Но-о? За кого это? а?

Цветаева. За Нила...

Шишкин. А-а! В этом случае – еще могу поздравить... Но, вообще говоря, это не умная штука – жениться, выходить замуж и прочее в этом духе... Брак при современных условиях...

Татьяна. Ой, нет, не надо! Избавьте! Вы уже не однажды высказывались по этому поводу...

Шишкин. Когда так, – молчу! Кстати – мне и некогда. (Цветаевой.) Вы идете со мной? Прекрасно! Петра – нет?

Поля. Он наверху...

Шишкин. Мм... Нет, не пойду к нему! Я попрошу вас, Татьяна Васильевна... или вас, Поля... скажите ему, что я... опять того, знаете... т. е. что урок у Прохорова – свободен...

Цветаева. Опять? Ну, не везет вам!

Татьяна. Вы поругались?

Шишкин. Собственно говоря... не очень! Я – сдержанно...

Цветаева. Но – из-за чего? Ведь вы же сами хвалили Прохорова?..

Шишкин. Увы! Хвалил... черт побери! И, в сущности, он... порядочнее многих... неглуп... немножко вот – хвастун... болтлив и вообще (неожиданно и горячо) – порядочная скотина!

Татьяна. Едва ли теперь Петр станет доставать вам уроки...

Шишкин. Н-да, пожалуй, рассердится он...

Цветаева. Да что у вас вышло с Прохоровым?

Шишкин. Представьте себе, он – антисемит!

Татьяна. А вам какое дело до этого?

Шишкин. Ну, знаете... неприлично это! Недостойно интеллигентного человека! И вообще он – буржуй! Хотя бы такая история. Его горничная ходила в воскресную

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru школу. Чудесно! Он же сам прескучно доказывал мне пользу воскресных школ... о чем я его совсем не умолял! Он даже хвастался, что я-де один из инициаторов устройства школы. И вот недавно, в воскресенье, приходит он домой и – ужас! Дверь открывает не горничная, а нянька! Где Саша? В школе. Ага! И – запретил горничной посещать школу! Это как назвать, по-вашему?

(Татьяна пожимает плечами молча.)
Цветаева. А такой он говорун...

Шишкин. Вообще говоря, Петр, точно на смех, достает мне уроки всё у каких-то шарлатанов.

Татьяна (сухо). Помнится, вы очень хвалили казначея...

Шишкин. Да... конечно... старикашка милый! Но – нумизмат! Сует мне под нос разные медяшки и говорит о цезарях, диадохах и разных там фараонах с колесницами. Одолел, – сил моих нет! Ну, я ему и говорю: «Послушайте, Викентий Васильевич! А по-моему, всё это – ерунда! Любой булыжник древнее ваших медяков!» Он – обиделся. «Что же, говорит, я пятнадцать лет жизни на ерунду убил?» Я же ответил утвердительно. При расчете он полтину мне не додал... очевидно, оставил для пополнения коллекции. Но это – пустяки... а вот с Прохоровым я... н-да... (Уныло.) Скверный у меня характер! (Торопливо.) Слушайте, Марья Никитишна, идемте, пора!

Цветаева. Я готова. До свидания, Таня! Завтра воскресенье... я приду к тебе с утра...

Татьяна. Спасибо. Мне... право, кажется, что я какое-то ползучее растение у вас под ногами... ни красы во мне, ни радости... а идти людям я мешаю, цепляясь за них...

Шишкин. Какие вредные мысли, фу-у!

Цветаева. Обидно слышать это, Таня...

Татьяна. Нет, погоди... ты знаешь? Я понимаю... поняла жестокую логику жизни: кто не может ни во что верить – тот не может жить... тот должен погибнуть... да!

Цветаева (улыбаясь). Разве? А может быть, нет?

Татьяна. Ты передразниваешь меня... ну, стоит ли? Смеяться надо мною... стоит ли?

Цветаева. Нет, Таня, нет, милая! Всё это говорит твоя болезнь, усталость, а не ты... Ну, до свидания! И не считай нас жесткими и злыми...

Татьяна. Идите... до свидания!

Шишкин (Поле). Ну-с, когда же вы будете читать Гейне? Ах да, вы замуж... гм! Против этого можно бы кое-что сказать... но – до свидания! (Уходит вслед за Цветаевой. Пауза.)

Поля. Наверно, скоро всеобщая кончится... Сказать, чтоб подавали самовар?

Татьяна. Едва ли старики будут пить чай... Как хочешь, впрочем. (Пауза.) Раньше тишина тяготила меня, а теперь мне приятно, что у нас тихо.

Поля. Вам не пора ли принять лекарство?

Татьяна. Нет еще... Последние дни у нас было так суетно, крикливо. Какой шумный этот Шишкин...

Поля (подходя к ней). Хороший он...

Татьяна. Добрый... но глупый...

Поля. Славный он, смелый. Где что увидит несправедливое – сейчас вступается. Вот – горничную заметил. А кто замечает, как живут горничные и другие люди, служащие богатым? И если заметит кто – разве вступится?

Татьяна (не глядя на Полю). Скажи мне, Поля... Ты не боишься... за Нила замуж идти?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Поля (спокойно, с удивлением). Чего же мне бояться? Нет, ничего, я не боюсь...

Татьяна. Чего?.. А я... боялась бы. Я говорю с тобой об этом потому, что... люблю... тебя! Ты не такая, как он. Ты – простая... он – много читал, он уж образованный. Ему, может быть, скучно с тобой... Ты думала об этом, Поля?

Поля. Нет. Я знаю, он меня любит...

Татьяна (с досадой). Как можно это знать...

(Тетерев вносит самовар.)

Поля. Вот спасибо вам! Пойду за молоком. (Уходит.)

Тетерев (он с похмелья, опухший). Иду мимо кухни, а Степанида взмолилась: «Батюшка! Внеси самовар! Я, говорит, тебе, когда понадобится, огурчика дам, рассольцу...» Соблазнился я, чревоугодник...

Татьяна. Вы уже ото всеобщей?

Тетерев. Нет, не ходил сегодня. Башка трещит. Вы – как? Лучше чувствуете себя?

Татьяна. Ничего, спасибо. Меня об этом спрашивали раз двадцать в день... Я чувствовала бы себя еще лучше, если б у нас было менее шумно. Меня немножко раздражает эта беготня... все куда-то стремятся, кричат. Отец – злится на Нила, мать – всё вздыхает... А я лежу, наблюдаю и... не вижу смысла в том, что они... все эти... называют жизнью.

Тетерев. Нет, любопытно! Я человек посторонний, непричастный делам земли... живу из любопытства и нахожу, что здесь – довольно интересно.

Татьяна. Вы невзыскательны, я знаю. Но – что ж тут интересного?

Тетерев. А вот – люди настраиваются жить. Я люблю слушать, когда в театре музыканты настраивают скрипки и трубы. Ухо ловит множество отдельных верных нот, порою слышишь красивую фразу... и ужасно хочется скорее услышать – что именно будут играть музыканты? Кто из них солист? Какова пьеса? Вот и здесь тоже... настраиваются...

Татьяна. В театре... да. Там приходит дирижер, взмахивает палочкой, и музыканты скверно, бездушно играют какую-нибудь старую, избитую вещь. А здесь... а эти? Что они способны сыграть? Я не знаю.

Тетерев. Кажется, что-то фортиссимо...

Татьяна. Посмотрим. (Пауза. Тетерев раскуривает трубку.) Зачем вы трубку курите, а не папиросы?

Тетерев. Удобнее. Ведь я – бродяга, большую часть года провожу в дороге. Вот опять скоро уйду. Установится зима, и я – в путь.

Татьяна. Куда?

Тетерев. Не знаю... Да ведь это всё равно...

Татьяна. Замерзнете где-нибудь... нетрезвый...

Тетерев. В дороге – никогда не пью... А и замерзну – что ж в этом? Лучше замерзнуть на ходу, чем гнить, сидя на одном месте...

Татьяна. Это вы на меня намекаете?

Тетерев (испуганно вскакивая). Боже упаси! Что вы? Разве я... я не зверь!

Татьяна (с улыбкой). Да вы не беспокойтесь. Меня ведь это не обижает. У меня потеря болевой чувствительности. (С горечью.) Все знают, что меня нельзя обидеть. Нил, Пелагея, Елена, Маша... Они ведут себя, как богачи, которым нет дела

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
до того, что чувствует нищий... что думает нищий, когда видит, как они кушают
редкие яства...

Тетерев (сморщив лицо, сквозь зубы). Зачем унижение? Надо уважать себя...

Татьяна. Ну, хорошо... оставим это! (Пауза.) Скажите мне что-нибудь... про себя! Вы
никогда не говорите о себе... Почему?

Тетерев. Предмет большой, но неинтересный.

Татьяна. Нет, скажите! Почему вы... так странно живете? Вы кажетесь мне умным,
даровитым... Что случилось с вами в жизни?..

Тетерев (скалит зубы). Что случилось? О, это длинная и скучная история... если ее
рассказывать своими словами... Я –

Солнца, счастья шел искать...

Наг и бос вернулся вспять,

И белье и упованья

Истаскал в своем скитанье.

Но это объяснение красиво слишком для меня... хотя оно и кратко. К нему добавить
надо, что в России удобнее, спокойнее быть пьяницей, бродягой, чем трезвым,
честным, дельным человеком. (Входят Петр и Нил.) Только люди безжалостно прямые
и твердые, как мечи, – только они пробьют... А! Нил! Откуда?

Нил. Из депо... И после сражения, в котором одержал блестящую победу. Этот
дубиноголовый начальник депо...

Петр. Наверное, тебя скоро прогонят со службы...

Нил. Другую найду...

Татьяна. Знаешь, Петр, Шишкин поругался с Прохоровым и, не решаясь сказать это
тебе лично...

Петр (сердито, раздражаясь). Чёрт бы его побрал! Это... возмутительно! В какое
идиотское положение он ставит меня перед Прохоровым? И наконец лишает
возможности быть полезным другому товарищу...

Нил. Ты погоди сердиться! Узнал бы прежде – кто виноват?

Петр. Я это знаю!

Татьяна. Шишкину не понравилось, что Прохоров антисемит...

Нил (смеясь). Ах, милый петушок!

Петр. Ну, да! Тебе это нравится. Ты тоже совершенно лишен чувства уважения к
чужим взглядам... дикие люди!

Нил. Постой! Ты сам-то разве склонен юдофоба уважать?

Петр. Я ни в каком случае не сочту себя вправе хватать человека за глотку!

Нил. А я – схвачу...

Тетерев (разглядывая спорящих поочередно). Хватай!

Петр. Кто дал... кто дал вам это право?

Нил. Прав – не дают, права – берут... Человек должен сам себе завоевать права,
если не хочет быть раздавленным грудой обязанностей...

Петр. Позволь!..

Татьяна (тоскливо). Ну, закипает спор... бесконечный спор! Как вам не надоедает?..

Петр (сдерживаясь). Извини, я не стану больше! Но, право же, – ведь этот Шишкин

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru ставит меня...

Татьяна. Я понимаю... он глупый!

Нил. Он славный парень! Не только не позволит наступить себе на ногу, – сам первый всякому наступит! Хорошо иметь в себе столько чувства человеческого достоинства...

Татьяна. Столько ребячества, хотел ты сказать?

Нил. Нет, я не ошибся. Но пусть – это ребячество – и все-таки хорошо!

Петр. Смешно...

Нил. Н-ну, когда единственный кусок хлеба отшвыривается прочь только потому, что его дает несимпатичный человек...

Петр. Значит, тот, кто швыряется хлебом, недостаточно голоден... Я знаю, – ты будешь возражать. Ты сам таков... ты тоже... школьник... Вот ты на каждом шагу стараешься показать отцу, что у тебя нет к нему ни капли уважения... Зачем это?

Нил. А зачем это скрывать?

Тетерев. Дитя мое! Приличие требует, чтоб люди лгали...

Петр. Но какой смысл в этом? Какой?

Нил. Мы, брат, не пойдем друг друга... нечего и говорить. Всё, что делает и говорит твой отец, – мне противно...

Петр. Мне тоже противно... может быть! Однако я сдерживаюсь. А ты постоянно раздражаешь его... и это раздражение оплачиваем мы – я, сестра...

Татьяна. Да будет вам! Ведь скучно же это!

(Нил, взглянув на нее, отходит к столу.)

Петр. Тебя беспокоит разговор?

Татьяна. Мне надоело! Одно и то же... всегда одно и то же!

(Входит Поля с кринкой молока в руке. Видя, что Нил мечтательно улыбается, она оглядывает публику и говорит.)

Поля. Смотрите, какой блаженный!

Тетерев. Ты что смеешься?

Нил. Я? Я вспоминаю, как отчитывал начальника депо... Интересная штука – жизнь!

Тетерев (густо). Аминь!

Петр (пожимая плечами). Удивляюсь! Слепыми, что ли, родятся оптимисты?

Нил. Оптимист я или что другое, – это неважно, – но жить – мне нравится! (Встает и ходит.) Большое это удовольствие – жить на земле!

Тетерев. Да, любопытно!

Петр. Вы оба – комики, если вы искренние люди!

Нил. А ты... уж я не знаю – как тебя назвать? Я знаю, – и это вообще ни для кого не тайна, – ты влюблен, тебя – любят. Ну, вот хотя бы по этому поводу – неужели тебе не хочется петь, плясать? Неужели и это не дает тебе радости? (Поля гордо смотрит на всех из-за самовара. Татьяна беспокойно ворочается, стараясь видеть лицо Нила. Тетерев, улыбаясь, выколачивает пепел из трубки.)

Петр. Ты забываешь кое-что. Во-первых – студентам жениться не позволено; во-вторых – мне придется выдержать баталию с родителями; в-третьих...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Нил. Батюшки! Да ведь это что же? Ну, тебе остается одно – беги! Беги в пустыню!..

(Поля улыбается.)

Татьяна. Ты балаганишь, Нил...

Нил. Нет, Петруха, нет! Жить, – даже и не будучи влюбленным, – славное занятие! Ездить на скверных паровозах осенними ночами, под дождем и ветром... или зимою... в метель, когда вокруг тебя – нет пространства, всё на земле закрыто тьмой, завалено снегом, – утомительно ездить в такую пору, трудно... опасно, если хочешь! – и всё же в этом есть своя прелесть! Все-таки есть! В одном не вижу ничего приятного, – в том, что мною и другими честными людьми командуют свиньи, дураки, воры... Но жизнь – не вся за ними! Они пройдут, исчезнут, как исчезают нарывы на здоровом теле. Нет такого расписания движения, которое бы не изменялось!..

Петр. Не раз я слышал эти речи. Посмотрим, как тебе ответит жизнь на них!

Нил. Я заставлю ее ответить так, как захочу. Ты – не стражай меня! Я ближе и лучше тебя знаю, что жизнь – тяжела, что порою она омерзительно жестка, что разнузданная грубая сила жмет и давит человека, я знаю это, – и это мне не нравится, возмущает меня! Я этого порядка – не хочу! Я знаю, что жизнь – дело серьезное, но неустроенное... что она потребует для своего устройства все силы и способности мои. Я знаю и то, что я – не богатырь, а просто – честный, здоровый человек, и все-таки говорю: ничего! Наша возьмет! И я на все средства души моей удовлетворю мое желание вмешаться в самую гущу жизни... месить ее и так и эдак... тому – помешать, этому – помочь... вот в чем радость жизни!

Тетерев (усмехаясь). Вот смысл глубочайший науки! Вот смысл философии всей! А всякой другой философии – ан-нафема!

Елена (в двери). По какому поводу здесь кричат и махают руками?

Нил (бросаясь к ней). Барыня! Вы меня поймете! Я пел сейчас славу жизни! Ну, говорите: жизнь – удовольствие!

Поля (негромко). Жить – очень хорошо!

Елена. Кто против этого?

Нил (Поле). Эх ты... тихая моя!

Елена. При мне – не любезничать!

Петр. Чёрт знает что такое! Точно пьяный...

(Татьяна, откинув голову на спинку кушетки, медленно поднимает руки и закрывает лицо свое.)

Елена. Постойте! Вы собрались пить чай? А я пришла звать вас к себе... Ну, и я останусь с вами, – у вас сегодня весело. (Тетереву.) Только вы, мудрый ворон, вы один нахохлились – чего ради?

Тетерев. Мне тоже весело. Только я люблю веселиться молча, а скучать – громко...

Нил. Как все большие, умные, угрюмые псы...

Елена. Я никогда не видела вас ни грустным, ни веселым, а только философствующим. Знаете, господа, – знаешь, Таня, – он обучает меня философии. Вчера прочитал целую лекцию о некотором законе достаточного основания... эх! я забыла, как этот удивительный закон выражается... в каких словах? В каких?

Тетерев (улыбаясь). Нет ничего без основания, почему оно есть...

Елена. Вы слышите? Вот я какие мудрые штуки знаю! Вы вот не знаете, что закон этот являет собой – являет, это самое настоящее философское слово! – являет собой... что-то вроде зуба, потому что у него четыре корня... верно?

Тетерев. Не смею спорить...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Елена. Ну, конечно! Посмели бы вы! Корень первый – а может, и не первый – закон достаточного основания бывания... бывание – это материя в формах... вот я – материя, принявшая – не без основания – форму женщины... но зато – без всякого уже основания – лишённая бытия. Бытие – вечно, а материя в формах – побывает на земле и – фьюить! Верно?

Тетерев. Ладно, сойдет...

Елена. Еще я знаю, что существует каузальная связь, априори и апостериори, но кто они такие, – забыла! И если я от всех этих премудростей не стану лысой, так буду умной! А самое интересное и премудрое во всей философии вот что: зачем вы, Терентий Хрисанфович, говорите мне о философии?

Тетерев. Потому, во-первых, что смотреть мне на вас очень приятно...

Елена. Спасибо! Во-вторых, наверное, неинтересно...

Тетерев. Во-вторых, потому что, только философствуя, человек не лжет, ибо философствуя, он просто – выдумывает...

Елена. Ничего не поняла! Да, Таня, как ты себя чувствуешь? (Не дожидаясь ответа.) Петр... Васильевич! Вы чем недовольны?

Петр. С собой.

Нил. И всем остальным?

Елена. Знаете, – мне ужасно хочется петь! Как жаль, что сегодня суббота и всенощная еще не отошла... (Входят старики.) А! вот идут богомольцы! Здравствуйте!

Бессеменов (сухо). Наше вам почтение...

Акулина Ивановна (тоже недовольно). Здравствуйте, матушка! Только мы вас уж видели сегодня.

Елена. Ах, да! Я позабыла... Ну, что же... в церкви... жарко было?

Бессеменов. Мы не затем туда ходим, чтобы климат измерять.

Елена (смущаясь). О, разумеется... я хотела спросить не о том... я хотела спросить... много было народа?

Акулина Ивановна. Не считали мы, матушка...

Поля (Бессеменову). Чай пить – будете?

Бессеменов. Сначала поужинаем... Мать, ты поди-ка, приготовь там. (Акулина Ивановна уходит, шмыгая носом. Все молчат. Татьяна встает и переходит к столу, поддерживаемая Еленой. Нил садится на место Татьяны. Петр шагает по комнате. Тетерев, сидя около пианино, следит за всеми, улыбаясь. Поля – у самовара. Бессеменов сидит в углу, на сундуке.) Какой народ стал – вор, даже удивительно! Давеча, как шел я с матерью в церковь, – дощечку положил у ворот, через грязь, чтобы пройти. Назад идем, а дощечки уж нету... стащил какой-то жулик. Большой разврат пошел в жизни... (Пауза.) В старину жуликов меньше было... всё больше разбойничали люди, потому – крупнее душой были все... стыдились из-за пустяков совесть тревожить... (На улице, за окнами, раздаётся пение и звуки гармоники.) Ишь... поют. Суббота, а они поют... (Пение приближается, поют в два голоса.) Наверное – мастеровые. Чай, пошабاشили, сходили в кабак, пропили заработок и дерут глотку... (Пение под окнами. Нил, прислонив лицо к стеклу, смотрит на улицу.) Поживут эдак-то год... много – два, и – готовы! Золоторотцами будут... жуликами...

Нил. Кажется, это Перчихин...

Акулина Ивановна (из двери). Отец, иди ужинать...

Бессеменов (вставая). Перчихин... тоже вот... бесполезный жизни человек... (Уходит.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiyamaxim.ru
Елена (проводив его взглядом). А у меня... удобнее чай пить...

Нил. Вы очень остроумно разговаривали со стариками.

Елена. Я... он меня смущает... Он не любит меня... и мне это как-то... неприятно... даже обидно! За что меня не любить?

Петр. Он, в сущности, добрый старик... но у него большое самолюбие...

Нил. И он немножко жаден... немножко зол.

Поля. Ш-ш! Зачем говорить так о человеке за глаза? Нехорошо!

Нил. Нет, быть жадным нехорошо...

Татьяна (сухо). Я предлагаю оставить... этот предмет без обсуждения... Отец может каждую минуту войти... Последние три дня он... не ругался... старается со всеми быть ласковым...

Петр. И это ему стоит не дешево...

Татьяна. Надо ценить это... Он стар... он не виноват в том, что родился раньше нас... и думает не так, как мы... (Раздражаясь.) Сколько жестокости в людях! Как все мы грубы, безжалостны... нас учат любить друг друга... нам говорят: будьте добрыми... будьте кротки...

Нил (в тон ей). И садятся верхом на шею нам и едут на нас...

(Елена хохочет. Поля и Тетерев улыбаются. Петр что-то хочет сказать Нилу и идет к нему. Татьяна укоризненно качает головой.)
Бессеменов (входит, окидывает Елену недружелюбным взглядом). Палагея! Там в кухне – твой отец... Поди-ка да скажи ему... чтоб он... в другой раз пришел... когда будет тверезый... да! Ты-де, папаша, иди домой... и всё такое!

(Поля и Нил за нею – уходят.)

Бессеменов. Вот... поди и ты... Погляди-ка на будущего... мм... (Обрывается, садится за стол.) Вы что... молчите? Я замечаю, что как я в дверь – вы все сожмете губы...

Татьяна. Мы... и без вас... не много говорим...

Бессеменов (глядя исподлобья на Елену). А над чем смеялись?

Петр. Так это... пустяки! Нил...

Бессеменов. Нил! Всё от него идет... я так и знал...

Татьяна. Налить вам чаю?

Бессеменов. Налей...

Елена. Дай, Таня, я налью...

Бессеменов. Нет, зачем вам беспокоиться? Мне дочь нальет...

Петр. Я думаю – ведь всё равно, кто нальет? Таня нездорова...

Бессеменов. Я тебя не спрашиваю, как ты думаешь на этот счет. Если тебе чужие люди ближе родных...

Петр. Отец! Ну, как тебе не стыдно?

Татьяна. Начинается! Петр, будь благоразумен.

Елена (натянута улыбаясь). Ну, стоит ли...

(Дверь широко растворяется, и входит Перчихин. Он выпивши, но не сильно.)
Перчихин. Василь Васильев! Я сюда пришел... ты оттуда ушел... а я – сюда... за тобой...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Бессеменов (не глядя на него). Пришел, так садись... Вот – чаю выпей... ну...

Перчихин. Н-не надо мне чаю! Кушай сам на здоровье... Я – для разговора пришел...

Бессеменов. Какой там разговор? Всё пустяки.

Перчихин. Пустяки? Н-ну? (Смеется.) Чудак ты! (Нил входит и, сурово глядя на Бессеменова, встает у шкафа.) Четыре дня собирался я к тебе прийти... ну и пришел...

Бессеменов. Ну и ладно...

Перчихин. Нет, не ладно! Василь Васильич! Умный ты человек! Богатый человек... ведь я к совести к твоей пришел!

Петр (подходя к Нилу, негромко). Зачем ты его пустил сюда?

Нил. Оставь! Это тебя не касается...

Петр. Ты всегда делаешь... черт знает что...

Перчихин (заглушая Петра). Старый человек... да-авно я тебя знаю!

Бессеменов (сердась). Тебе чего надо?

Перчихин. Скажи мне, – за что ты меня наемднн вон из дома выгнал? Думал я, думал – не возьму в толк! Скажи, брат! Я – без сердца на тебя пришел... я, брат, с любовью к тебе...

Бессеменов. С дурной головой пришел ты... вот что!

Татьяна. Петр! Помоги мне... нет, позови Полю...

(Петр уходит.)

Перчихин. Вот – Поля! Дочь моя милая... птица моя чистая... Из-за нее ты меня выгнал? – верно? За то, что она у Татьяны жениха отбила?

Татьяна. О! глупость какая... какая пошлость!..

Бессеменов (медленно поднимаясь с места). Гляди, Перчихин! Второй раз...

Елена (Нилу вполголоса). Уведите его! Они поругаются.

Нил. Не хочу...

Перчихин. Второй раз – не прогонишь, Василь Васильич! Не за что... Поля... я ее люблю... она у меня – хорошая! Ну, всё же я не одобряю... я, брат, ее не одобряю, н-нет! Зачем чужой кусок взяла? Не хорошо...

Татьяна. Лена! Я... уйду к себе... (Елена помогает ей, поддерживая под руку. Проходя мимо Нила, Татьяна говорит ему негромко.) Как не стыдно! Уведите его...

Бессеменов (сдерживаясь). Перчихин! Ты... молчи! Сиди – молчи... а то ступай домой...

(Входит Поля. За нею Петр.)

Петр (Поле). Да успокойтесь... я вас прошу!..

Поля. Василий Васильевич! За что вы прошлый раз выгнали отца?

(Бессеменов молча и сурово смотрит на нее и на всех поочередно.)

Перчихин (грозя пальцем). Ш-ш! Дочка! Не говори... Ты – должна понять... Татьяна отравилась – почему? Ага-а? Василь Васильев, – видишь? Я, брат, по чистой правде... я всех вас рассужу... по совести... как надо! Я – очень просто...

Поля. Постой, отец...

Петр. Позвольте, Поля...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Нил. Ты бы молчал...

Бессеменов. Ты, Палагея, вот что... ты – дерзкая...

Перчихин. Она? Нет, она... у меня...

Бессеменов. Молчи ты! я что-то плохо разумею... чей это дом? Кто здесь хозяин? Кто судья?

Перчихин. Я! Я рассужу всё... всех, по порядку... Не тронь чужого – раз! Взяла – отдай назад – два!

Петр (Перчихину). Послушай, – брось болтать! Пойдем ко мне...

Перчихин. Не люблю я тебя, Петр! Гордый ты человек... пустой ты! И ничего ты не знаешь... Что такое канализация? Ага! А мне рассказывали, брат... (Петр тянет его за рукав.) Не тронь, стой...

Нил (Петру). Не трогай его... оставь!

Бессеменов (Нилу). Ты что тут – собак травешь? а?

Нил. Нет, я хочу понять – в чем дело? В чем виноват Перчихин? За что его выгнали?.. При чем здесь Поля?

Бессеменов. Ты меня допрашиваешь?

Нил. А если вас – так что ж? Вы – человек, я – тоже...

Бессеменов (бешено). Нет, ты не человек... ты – яд! Ты – зверь!

Перчихин. Ш-ш! Тихо! Надо тихо, по совести...

Бессеменов (Поле). А ты – ехидна! Ты – нищая!..

Нил (сквозь зубы). Вы не кричите!..

Бессеменов. Что? Вон! Змееныш... я тебя вскормил от пота-крови...

Татьяна (из своей комнаты). Папаша! Папа!

Петр (Нилу). Ну? Дождался? Эх, ты... стыдился бы!

Поля (негромко). Не... не смейте на меня кричать! Я не раба вам... не можете вы обижать всех... И – вы скажите – за что отца выгнали?

Нил (спокойно). Я тоже требую... здесь не сумасшедшие живут... надо отвечать за свои поступки...

Бессеменов (тише, сдерживаясь). Уйди, Нил, от греха... уйди! Смотри... ты – выкормок мой... которого я воспитал...

Нил. Не корите меня вашим хлебом! Я отработал всё, что съел!

Бессеменов. Ты... душу мне сожрал... разбойник – ты!..

Поля (берет Нила за руку). Идем отсюда!

Бессеменов. Иди... ползи, змея! Ты всё... из-за тебя... ты дочь ужалила... его теперь... проклятая... из-за тебя дочь моя...

Перчихин. Василь Васильич! Тихо! По совести!

Татьяна (кричит). Отец! неправда! Петр – что же ты? (Является в дверях своей комнаты и, беспомощно протягивая руки, выходит на середину.) Петр, не нужно этого! О боже мой! Терентий Хрисанфович! Скажите им... скажите им... Нил! Поля! Ради бога – уйдите! Уходите! Зачем всё это... (Все бестолково суетятся. Тетерев, скаля зубы, медленно встает со стула. Бессеменов отступает пред дочерью. Петр

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.moscow.ru
подхватывает сестру под руку и растерянно смотрит вокруг.)

Поля. Идем!

Нил. Хорошо! (Бессеменову.) Ну, мы уходим... вот! Мне жаль, что всё вышло так громко.

Бессеменов. Ступай, ступай!.. Уводи ее...

Нил. Я уж не ворочусь...

Поля (громко, дрожащим голосом). Винить меня в таком... винить за Таню... разве можно? Тут разве я виновна? Бесстыдник вы...

Бессеменов (бешено). Уйдешь ты?!

Нил. Тише!

Перчихин. Ребята, – не сердитесь! Надо – кротко...

Поля. Прощайте! Иди, отец!

Нил (Перчихину). Идем!

Перчихин. Не-ет, я с вами не хочу... мне не рука... я – сам по себе... Терентий! Я сам – один... Мое дело – чистое...

Тетерев. Идем ко мне...

Поля. Иди! Иди же, пока не гонят...

Перчихин. Нет... я не пойду... Терентий, – мне с ними не рука! Я понимаю...

Петр (Нилу). Да уходите вы... черт побери!..

Нил. Иду... прощай... какой, однако, ты...

Поля. Идем, идем...

(Уходят.)

Бессеменов (кричит им вслед). Воротитесь! Поклонитесь...

Петр. Оставь, отец! Будет...

Татьяна. Папаша! Милый мой... не надо кричать...

Бессеменов. Пойдите... Погодите...

Перчихин. Ну, вот... теперь ушли... И хорошо! Пускай их!..

Бессеменов. Сказать бы мне им на прощанье... злодеи! Кормил, поил... (К Перчихину.) Ты, старый черт! Дурак! Пришел, забормотал... Чего тебе надо? чего?

Петр. Папаша! Будет...

Перчихин. Василь Васильич! Не кричи... я тебя уважаю, чудака ты! Глупый я – верно! Но я понимаю... кто куда...

Бессеменов (садится на диван). Я... потерял мысли. Не понимаю... Что вышло? Вдруг... как летом, в сушь, пожар... Одного – нет... говорит – не ворочусь... Ишь как просто! Ишь ты как... Нет... я этому поверить не могу...

Тетерев (Перчихину). Ну, что ты тут? Зачем ты?

Перчихин. Для порядка... я, брат, рассуждаю просто... Раз-два! Больше никаких! Она мне дочь? Очень хорошо... Значит, – должна она... (Вдруг замолчал.) Плохой я отец... и ничего она не должна... пусть ее живет, как хочет! А Таню мне жалко... Таня... мне жалко тебя... Мне, братцы, всех вас жалко! Эхма!.. Ведь ежели по совести сказать –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
все вы дураки!..

Бессеменов. Молчи ты...

Петр. Таня! Елена Николаевна ушла?

Елена (из комнаты Татьяны). Я здесь... Лекарство приготавливаю...

Бессеменов. Мысли у меня спутались... ничего не понимаю! Неужто Нил... так и уйдет?

Акулина Ивановна (входит беспокойно). Что случилось? Нил с Палагеей в кухне там... а я была в чулане...

Бессеменов. Ушли они?

Акулина Ивановна. Нет... зовут Перчихина... Палагея говорит, скажите, говорит, отцу... а губы у нее дрожат. Нил всё равно как пес, – рычит... что такое?..

Бессеменов (вставая). А вот сейчас... вот я пойду...

Петр. Отец, – не надо! Не ходите...

Татьяна. Папаша! Пожалуйста... не надо...

Бессеменов. Чего – не надо?

Акулина Ивановна. Да что такое?

Бессеменов. Ты понимаешь... Нил уходит... совсем...

Петр. Ну, что же в том? Уходит и – прекрасно... Зачем он вам? Он женится... он хочет жить своей семьей...

Бессеменов. А! Так разве... я-то, я – чужой ему?

Акулина Ивановна. Чего ты беспокоишься, отец? Бог с ним! Пускай уходит... У нас свои дети есть... (Перчихину.) Ты чего же? Иди!

Перчихин. Мне с ними – не по дороге...

Бессеменов. Нет... тут не то совсем... уходишь – уходи! Но – как? Как он ушел... Какими глазами глядел на меня?..

(Елена выходит из комнаты Татьяны.)

Тетерев (берет Перчихина под руку и ведет за собой к двери). Пойдем зубровки хватим по рюмке...

Перчихин. Эхма, божья дудка! Сурьезный ты...

(Уходят.)

Бессеменов. Я знал, что он от нас уйдет... ну, только – разве так? А эта... эта... кричит! Поденщица, девчонка... пойду, поговорю им...

Акулина Ивановна. Э, полно-ка, – отец! Они – чужие нам люди! Что их жалеть? Ушли и – ладно!

Елена (Петру негромко). Идемте ко мне...

Татьяна (Елене). И я... возьмите и меня!..

Елена. Идем... идемте...

Бессеменов (услышал ее зов). Куда?

Елена. К себе... ко мне!

Бессеменов. Кого зовете-с? Петра?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Елена. Да... и Таню...

Бессеменов. Таня – ни при чем! А Петру ходить к вам... не надо!

Петр. Позволь, отец! Я... не мальчик! Я пойду или не пойду...

Бессеменов. Не пойдешь!

Акулина Ивановна. Петя! Уступи отцу! Эй, уступи...

Елена (возмущенно). Позвольте, Василий Васильевич!

Бессеменов. Нет, уж вы позвольте! Хотя вы люди и образованные... хотя вы потеряли совесть... и никого не уважаете...

Татьяна (истерически кричит). Папаша! Перестаньте...

Бессеменов. Молчи! Когда ты не хозяйка своей судьбы – молчи... стой! куда?

(Елена идет к двери.)

Петр (бросаясь за нею, хватая ее за руку). Позвольте! На минутку... нужно сразу... нужно объясниться...

Бессеменов. Нужно меня выслушать... Сделайте мне милость, – выслушайте! Дайте мне понять – что такое? (Входит Перчихин, сияющий и веселый, за ним Тетерев тоже с улыбкой на лице. Они останавливаются у двери, переглядываются. Перчихин подмигивает на Бессеменова и махает рукой.) Все куда-то уходят... без всякого объяснения намерений... зря... обидно и беспутно! Куда ты можешь идти, Петр? Ты... что ты такое? Как ты хочешь жить? Что делать? (Акулина Ивановна всхлипывает. Петр, Елена и Татьяна стоят все трое плотной группой перед Бессеменовым, при его словах: «Куда ты можешь идти?..»– Татьяна отходит в сторону к столу, где стоит мать. Перчихин знаками показывает что-то Тетереву, трясет головой, взмахивает руками, как бы шугая птиц.) Я имею право спрашивать... ты – молод, ты еще – глуп! Я – пятьдесят восемь лет растягивал жилы мои в трудах ради детей...

Петр. Я слышал это, отец! Я сотни раз...

Бессеменов. Стой! Молчи!

Акулина Ивановна. Ах, Петя, Петя...

Татьяна. Мамаша, вы... ничего не понимаете!

(Акулина Ивановна трясет головой.)

Бессеменов. Молчи! Какие ты слова можешь сказать? На что укажешь? Нет ничего...

Петр. Отец! Ты мучаешь меня! Что тебе нужно? Что ты хочешь?

Акулина Ивановна (вдруг громко). Нет, стой! И у меня есть сердце... и я имею голос! Сыночек! Что делаешь? Что затеял? Кого спросил?

Татьяна. Это ужасно! Это какая-то тупая пила... (Матери.) Вы рвете душу... тело...

Акулина Ивановна. Это мать – пила? Мать?

Бессеменов. Старуха, погоди! Вот он... дай ему сказать...

Елена (Петру). Ну, будет! Я больше – не могу... я ухожу...

Петр. Постойте... ради бога! Сейчас всё будет ясно...

Елена. Нет – это сумасшедший дом! Это...

Тетерев. Елена Николаевна, – уйдите! Пошлите их всех к черту!

Бессеменов. Вы, господин! Вы...

Татьяна. Да кончится ли это? Петр, уйди!

Петр (почти кричит). Отец... смотри! Мать... вот – это моя невеста!

(Пауза. Все смотрят на Петра. Потом Акулина Ивановна всплескивает руками и в ужасе смотрит на мужа. Бессеменов – точно его оттолкнули – подается всем корпусом назад и наклоняет голову. Татьяна, тяжело вздохнув, медленно, с опущенными вдоль тела руками, идет к пианино.)
Тетерев (вполголоса). Ловко выбрал время...

Перчихин (выступая вперед). Ну, вот и всё! Вот оно... все разлетаются! Айда, ребятишки, лети из клетки, как птицы в благовещенье...

Елена (вырывая руку из руки Петра). Пустите! Я не могу...

Петр (бормочет). Теперь всё ясно... Сразу...

Бессеменов (кланяясь сыну). Н-ну, спасибо, сынок... за радостное известие...

Акулина Ивановна (с плачем). Погубил ты себя, Петенька! Да разве она... она пара...

Перчихин. Она? Петру? Да... что ты! Старуха! Да – чего он стоит?

Бессеменов (Елене медленно). Спасибо и вам, барыня! Теперь, стало быть, – пропал он! Ему бы учиться... а теперь... ловко! Хотя я это и чувствовал... (Злобно.)
Поздравляю вас с добычей! Петька! Нет тебе благословенья! А ты... ты... поймала? Украла? Кошка... парш...

Елена. Вы не смеете!..

Петр. Отец! Ты... безумный!

Елена. Нет, стойте! Да, это верно! Да, я сама взяла его у вас, сама! Я сама... я первая сама сказала ему... предложила жениться на мне! Вы слышите? Вы, филин? Слышите?.. Это я вырвала его у вас! Мне – жалко его! Вы его замучили... вы ржавчина какая-то, не люди! Ваша любовь – это гибель для него! Вы думаете – о, я знаю! – вы думаете, – для себя я сделала это? Ну, думайте... ох! Как я вас ненавижу!

Татьяна. Лена! Лена! Что ты?

Петр. Елена... идемте!

Елена. Знаете, я еще, может быть, – не обвенчаюсь с ним! Вы рады, да? О, это очень может быть! Вы – не пугайтесь прежде время! Я буду так, просто жить с ним... без венца... но вам – не дам его! Не дам! Вы – более его не станете мучить, нет! И он не придет к вам – никогда! Никогда! никогда!

Тетерев. Виват! Виват, женщина!

Акулина Ивановна. Ах, батюшки! Отец... что это! Отец...

Петр (толкая Елену к двери). Иди... Идите... уходите...

(Елена, уходя, увлекает Петра за собою.)
Бессеменов (беспомощно оглядываясь). Вот как?.. (Вдруг громко и быстро.) Полицию зови! (Топая ногами.) Долой с квартиры! Завтра же... ах ты!..

Татьяна. Папаша! Что вы?

Перчихин (удивленный, ничего не понимая). Василь Васильч! Голубь! Что ты это? Чего кричишь? Тебе бы радоваться надо...

Татьяна (подходя к отцу). Послушайте...

Бессеменов. А, ты! Ты еще... осталась! Чего же ты не уходишь? Уходи и ты... Не с кем? Некуда? Прозевала?

(Татьяна, отшатнувшись, отходит быстро к пианино. Акулина Ивановна, растерянная)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
и жалкая, бросается к ней.)
Перчихин. Василь Васильич, – брось! Подумай! Учиться Петр теперь не будет... на что ему? (Бессеменов тупо смотрит в лицо Перчихина и кивает головой.) Жить – есть на что ему. Ты денег накопил... Жена – малина-баба... а ты – кричишь, шумишь! Чудак, опомнись!

(Тетерев хохочет.)
Акулина Ивановна (воет). Все покинули! Бросили!

Бессеменов (оглядываясь). Молчи, мать! Воротятся... не смеют!.. Куда пойдут?
(Тетереву.) Ты что тут скалишь зубы? Ты! Язва! Дьявол! Долой с квартиры! Завтра же – долой! Вас шайка целая...

Перчихин. Василь Васильич!..

Бессеменов. Прочь, ты! Несчастный... бродяга...

Акулина Ивановна. Таня! Танечка! Милая моя! Хвораю ты, несчастная! Что будет?

Бессеменов. Ты, дочка, всё знала... ты знала всё... молчала! Заговор против отца? (Вдруг как бы испугавшись.) Ты думаешь... не бросит он ее? бабенку эту? Распутницу... в жены! Мой сын... Проклятые вы люди! Несчастные... беспутные!

Татьяна. Оставьте меня! Не дайте мне... возненавидеть...

Акулина Ивановна. Доченька! Неудачливая ты моя! Замучили! Всех нас замучили... за что?

Бессеменов. А кто? Всё Нил, разбойник... подлец! И сына он смутил... И дочь страдает! (Увидав Тетерева, стоящего у шкафа.) Ты, оборванец, что? Ты что тут? Вон с квартиры!

Перчихин. Василь Васильич! Его за что? Ах ты... с ума свихнулся, старик!

Тетерев (спокойно). Не кричи, старик! Всего, что на тебя идет, ты не разгонишь... И – не беспокойся... Твой сын воротится...

Бессеменов (быстро). Ты... ты почему знаешь?

Тетерев. Он не уйдет далеко от тебя. Он это временно наверх поднялся, его туда втащили... Но он сойдет... Умрешь ты – он немножко перестроит этот хлев, переставит в нем мебель и будет жить – как ты, – спокойно, разумно и уютно...

Перчихин (Бессеменову). Видишь? Чудак! Горячка! Человек тебе добра желает... ласковые слова говорит для твоего покою... а ты – орешь! Терентий – он, брат, мудрый человек...

Тетерев. Он переставит мебель и – будет жить в сознании, что долг свой перед жизнью и людьми отлично выполнил. Он ведь такой же, как и ты...

Перчихин. Две капли воды!

Тетерев. Совсем такой... труслив и глуп...

Перчихин (Тетереву). Пстой! Ты что?

Бессеменов. Ты... говори, а не ругайся... как смеешь!

Тетерев. И жаден будет в свое время и так же, как ты, – самоуверен и жесток. (Перчихин удивленно глядит в лицо Тетерева, не понимая – утешает ли он старика или ругает его. На лице Бессеменова – тоже недоумение, но речь Тетерева интересна ему.) И даже несчастен будет он вот так же, как ты теперь... Жизнь идет, старик, кто не поспекает за ней, тот остается одиноким...

Перчихин. Чу? Слышишь? Стало быть, – всё идет, как надо... а ты сердисься!

Бессеменов. Пстой, отвязись!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Тетерев. И так же вот несчастного и жалкого сына твоего не пощадят, скажут ему правду в лицо, как я тебе говорю. Чего ты ради жил? Что сделал доброго? И сын твой, как ты теперь, не ответит...

Бессеменов. Да... ты вот говоришь тут... ты всегда складно говоришь! А что в душе? Нет, я тебе не верю! И – все-таки – съезжай с квартиры! Будет... терпел я вас – довольно! И ты тоже... многое тут внушил... вредное мне...

Тетерев. Эх, кабы я! Но нет, не я... (Уходит.)

Бессеменов (встряхивая головой). Ну... будем терпеть... ладно! Будем ждать... Всю жизнь терпели... еще будем терпеть! (Идет в свою комнату.)

Акулина Ивановна (бежит вслед за мужем). Отец! Милый ты мой! Несчастные мы! За что нас детки-то? За что казнили? (Уходит в свою комнату. Перчихин стоит посредине и недоумевающе моргая. Татьяна дикими глазами озирается вокруг, сидя на стуле у пианино. Из комнаты стариков доносится глухой говор.)

Перчихин. Таня! Тань... (Татьяна не смотрит на него, не отвечает.) Таня! Из-за чего они – которые разбежались, которые – плачут? А? (Смотрит на Татьяну, вздыхает.) Чудаки! (Смотрит на дверь в комнату стариков, идет по направлению в сени, качая головой.) Пойду ин к Терентью... Чудаки!

(Татьяна, медленно сгибаясь, облакачивается на клавиши. В комнате раздается нестройный громкий звук многих струн и – замирает.)

Занавес

1902

На дне

Посвящаю Константину Петровичу Пятницкому

М. Горький

Картины. Четыре акта

Действующие лица

Михаил Иванов Костылев, 54 года, содержатель ночлежки

Василиса Карповна, его жена, 26 лет

Наташа, ее сестра, 20 лет

Медведев, их дядя, полицейский, 50 лет

Васька Пепел, 28 лет

Клещ, Андрей Митрич, слесарь, 40 лет

Анна, его жена, 30 лет

Настя, девица, 24 года

Квашня, торговка пельменями, под 40 лет

Бубнов, картузник, 45 лет

Барон, 33 года

Сатин, приблизительно одного возраста, лет под 40

Актер

Лука, странник, 60 лет

Алешка, сапожник, 20 лет

Кривой Зоб, крючники

Татарин

Несколько босяков без имен и речей

Акт первый

Подвал, похожий на пещеру. Потолок – тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Свет – от зрителя и, сверху вниз, – из квадратного окна с правой стороны. Правый угол занят отгороженной тонкими переборками комнатой Пепла, около двери в эту комнату – нары Бубнова. В левом углу – большая русская печь; в левой, каменной, стене – дверь в кухню, где живут Квашня, Барон, Настя. Между печью и дверью у стены – широкая кровать, закрытая грязным ситцевым пологом. Везде по стенам – нары. На переднем плане у левой стены – обрубок дерева с тисками и маленькой наковальней, прикрепленными к нему, и другой, пониже первого. На последнем – перед наковальней – сидит Клещ, примеряя ключи к старым замкам. У ног его – две большие связки разных ключей, надетых на кольца из проволоки, искорканый самовар из жести, молоток, подпилки. Посредине ночлежки – большой стол, две скамьи, табурет, всё – некрашеное и грязное. За столом, у самовара, Квашня – хозяйничает, Барон жует черный хлеб и Настя, на табурете, читает, облокотясь на стол, растрепанную книжку. На постели, закрытая пологом, кашляет Анна. Бубнов, сидя на нарах, примеряет на болванке для шапок, зажатой в коленях, старые распоротые брюки, соображая, как нужно кроить. Около него – изодранная картонка из-под шляпы – для козырьков, куски клеенки, тряпье. Сатин только что проснулся, лежит на нарах и – рычит. На печке, невидимый, возится и кашляет Актер.

Начало весны. Утро.

Барон. Дальше!

Квашня. Не-ет, говорю, милый, с этим ты от меня – поди прочь. Я, говорю, это испытала... и теперь уж – ни за сто печеных раков – под венец не пойду!

Бубнов (Сатину). Ты чего хрюкаешь?

(Сатин рычит.)

Квашня. Чтобы я, – говорю, – свободная женщина, сама себе хозяйка, да кому-нибудь в паспорт вписалась, чтобы я мужчине в крепость себя отдала – нет! Да будь он хоть принц американский – не подумаю замуж за него идти.

Клещ. Врешь!

Квашня. Чего-о?

Клещ. Врешь. Обвенчаешься с Абрамкой...

Барон (выхватив у Насти книжку, читает название). «Роковая любовь»... (Хохочет.)

Настя (протягивая руку). Дай... отдай! Ну... не балуй!

(Барон смотрит на нее, помахивая книжкой в воздухе.)

Квашня (Клещу). Козел ты рыжий! Туда же – врешь! Да как ты смеешь говорить мне такое дерзкое слово?

Барон (ударяя книгой по голове Настю). Дура ты, Настька...

Настя (отнимает книгу). Дай...

Клещ. Велика барыня!.. А с Абрамкой ты обвенчаешься... только того и ждешь...

Квашня. Конечно! Еще бы... как же! Ты вон заездил жену-то до полусмерти...

Клещ. Молчать, старая собака! Не твое это дело...

Квашня. А-а! Не терпишь правды!

Барон. Началось! Настька – ты где?

Настя (не поднимая головы). А?.. Уйди!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

Анна (высовывая голову из-за полога). Начался день! Бога ради... не кричите... не ругайтесь вы!

Клещ. Заныла!

Анна. Каждый божий день... Дайте хоть умереть спокойно!

Бубнов. Шум – смерти не помеха...

Квашня (подходя к Анне). И как ты, мать моя, с таким злым жила?

Анна. Оставь... отстань...

Квашня. Ну-ну! Эх ты... терпеливица!.. Что, не легче в груди-то?

Барон. Квашня! На базар пора...

Квашня. Идем, сейчас! (Анне.) Хочешь – пельмешков горяченьких дам?

Анна. Не надо... спасибо. Зачем мне есть?

Квашня. А ты – поешь. Горячее – мягчит. Я тебе в чашку отложу и оставлю... захочешь когда, и покушай! Идем, барин... (Клещу.) У, нечистый дух... (Уходит в кухню.)

Анна (кашляя). Господи...

Барон (тихонько толкает Настю в затылок). Брось... дуреха!

Настя (бормочет). Убирайся... я тебе не мешаю.

(Барон, насвистывая, уходит за Квашней.)
Сатин (приподнимаясь на нарах). Кто это бил меня вчера?

Бубнов. А тебе не всё равно?..

Сатин. Положим – так... А за что били?

Бубнов. В карты играл?

Сатин. Играл...

Бубнов. За это и били...

Сатин. М-мерзавцы...

Актер (высовывая голову с печи). Однажды тебя совсем убьют... до смерти...

Сатин. А ты – болван.

Актер. Почему?

Сатин. Потому что – дважды убить нельзя.

Актер (помолчав). Не понимаю... почему – нельзя?

Клещ. А ты слезай с печи-то да убирай квартиру... чего нежишься?

Актер. Это дело не твое...

Клещ. А вот Василиса придет – она тебе покажет, чье дело ...

Актер. К черту Василису! Сегодня Баронова очередь убираться... Барон!

Барон (выходя из кухни). Мне некогда убираться... я на базар иду с Квашней.

Актер. Это меня не касается... иди хоть на каторгу... а пол мести твоя очередь... я за

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
других не стану работать...

Барон. Ну, черт с тобой! Настёнка подметет... Эй, ты, роковая любовь! Очнись!
(Отнимает книгу у Насти.)

Настя (вставая). Что тебе нужно? дай сюда! Озорник! А еще – барин...

Барон (отдавая книгу). Настя! Подмети пол за меня – ладно?

Настя (уходя в кухню). Очень нужно... как же!

Квашня (в двери из кухни – Барону). А ты – иди! Уберутся без тебя... Актер! тебя просят – ты и сделай... не переломишься, чай!

Актер. Ну... всегда я... не понимаю...

Барон (выносит из кухни на коромысле корзины. В них – корчаги, покрытые тряпками). Сегодня что-то тяжело...

Сатин. Стоило тебе родиться бароном...

Квашня (Актеру). Ты смотри же, – подмети! (Выходит в сени, пропустив вперед себя Барона.)

Актер (слезая с печи). Мне вредно дышать пылью. (С гордостью.) Мой организм отравлен алкоголем... (Задумывается, сидя на нарах.)

Сатин. Организм... органон...

Анна. Андрей Митрич...

Клещ. Что еще?

Анна. Там пельмени мне оставила Квашня... возьми, поешь.

Клещ (подходя к ней). А ты – не будешь?

Анна. Не хочу... На что мне есть? Ты – работник... тебе – надо...

Клещ. Боишься? Не бойся... может, еще...

Анна. Иди, кушай! Тяжело мне... видно, скоро уж.

Клещ (отходя.) Ничего... может – встанешь... бывает! (Уходит в кухню.)

Актер (громко, как бы вдруг проснувшись). Вчера, в лечебнице, доктор сказал мне: ваш, говорит, организм – совершенно отравлен алкоголем...

Сатин (улыбаясь). Органон...

Актер (настойчиво). Не органон, а ор-га-ни-зм...

Сатин. Сикамбр...

Актер (машет на него рукой). Э, вздор! Я говорю – серьезно... да. Если организм – отравлен... значит – мне вредно мести пол... дышать пылью...

Сатин. Макробиотика... ха!

Бубнов. Ты чего бормочешь?

Сатин. Слова... А то еще есть – трансцендентальный...

Бубнов. Это что?

Сатин. Не знаю... забыл...

Бубнов. А к чему говоришь?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiuamaxim.ru

Сатин. Так... надоели мне, брат, все человеческие слова... все наши слова – надоели! Каждое из них слышал я... наверное, тысячу раз...

Актер. В драме «Гамлет» говорится: «Слова, слова, слова!» Хорошая вещь... Я играл в ней могильщика...

Клещ (выходя из кухни). Ты с метлой играть скоро будешь?

Актер. Не твое дело... (Ударяет себя в грудь рукой.) «Офелия! О... помяни меня в твоих молитвах!..»

(За сценой, где-то далеко, – глухой шум, крики, свисток полицейского. Клещ садится за работу и скрипит подпилком.)

Сатин. Люблю непонятные, редкие слова... Когда я был мальчишкой... служил на телеграфе... я много читал книг...

Бубнов. А ты был и телеграфистом?

Сатин. Был... (Усмехаясь.) Есть очень хорошие книги... и множество любопытных слов... Я был образованным человеком... знаешь?

Бубнов. Слышал... сто раз! Ну и был... эка важность!.. Я вот – скорняк был... свое заведение имел... Руки у меня были такие желтые – от краски: меха подкрашивал я, – такие, брат, руки были желтые – по локоть! Я уж думал, что до самой смерти не отмою... так с желтыми руками и помру... А теперь вот они, руки... просто грязные... да!

Сатин. Ну, и что же?

Бубнов. И больше ничего...

Сатин. Ты это к чему?

Бубнов. Так... для соображения... Выходит: снаружи как себя ни раскрашивай – всё сотрется... всё сотрется, да!

Сатин. А... кости у меня болят!

Актер (сидит, обняв руками колени). Образование – чепуха, главное – талант. Я знал артиста... он читал роли по складам, но мог играть героев так, что... театр трещал и шатался от восторга публики...

Сатин. Бубнов, дай пятак!

Бубнов. У меня всего две копейки...

Актер. Я говорю – талант, вот что нужно герою. А талант – это вера в себя, в свою силу...

Сатин. Дай мне пятак, и я поверю, что ты талант, герой, крокодил, частный пристав... Клещ, дай пятак!

Клещ. Пошел к черту! Много вас тут...

Сатин. Чего ты ругаешься? Ведь у тебя нет ни гроша, я знаю...

Анна. Андрей Митрич... Душно мне... трудно...

Клещ. Что же я сделаю?

Бубнов. Дверь в сени отвори...

Клещ. Ладно! Ты сидишь на нарах, а я – на полу... пусти меня на свое место да и отвори... а я и без того простужен...

Бубнов (спокойно). Мне отворять не надо... твоя жена просит...

Клещ (угрюмо). Мало ли кто чего попросил бы...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Сатин. Гудит у меня голова... эх! И зачем люди бьют друг друга по башкам?

Бубнов. Они не только по башкам, а и по всему прочему телу. (Встает.) Пойти ниток купить... А хозяев наших чего-то долго не видать сегодня... словно издохли. (Уходит.)

(Анна кашляет. Сатин, закинув руки под голову, лежит неподвижно.)
Актер (тоскливо осмотревшись вокруг, подходит к Анне). Что? Плохо?

Анна. Душно.

Актер. Хочешь – в сени выведу? Ну, вставай. (Помогает женщине подняться, накидывает ей на плечи какую-то рухлядь и, поддерживая, ведет в сени.) Ну-ну... твердо! Я – сам больной... отравлен алкоголем...

Костылев (в дверях). На прогулку? Ах, и хороша парочка, баран да ярочка...

Актер. А ты – посторонись... видишь – больные идут?..

Костылев. Проходи, изволь... (Напевая под нос что-то божественное, подозрительно осматривает ночлежку и склоняет голову налево, как бы прислушиваясь к чему-то в комнате Пепла. Ключ ожесточенно звякает ключами и скрипит подпилком, исподлобья следя за хозяином.) Скрипишь?

Ключ. Чего?

Костылев. Скрипишь, говорю? (Пауза.) А-а... того... что, бишь, я хотел спросить? (Быстро и негромко.) Жена не была здесь?

Ключ. Не видал...

Костылев (осторожно подвигаясь к двери в комнату Пепла). Сколько ты у меня за два-то рубля в месяц места занимаешь! Кровать... сам сидишь... н-да! На пять целковых места, ей-богу! Надо будет накинуть на тебя полтинничек...

Ключ. Ты петлю на меня накинь да задави... Издохнешь скоро, а всё о полтинниках думаешь...

Костылев. Зачем тебя давить? Кому от этого польза? Господь с тобой, живи знай в свое удовольствие... А я на тебя полтинку накину, – маслица в лампаду куплю... и будет перед святой иконой жертва моя гореть... И за меня жертва пойдет, в воздаяние грехов моих, и за тебя тоже. Ведь сам ты о грехах своих не думаешь... ну вот... Эх, Андрюшка, злой ты человек! Жена твоя зачахла от твоего злодейства... никто тебя не любит, не уважает... работа твоя скрипучая, беспокойная для всех...

Ключ (кричит). Ты что меня... травить пришел?

(Сатин громко рычит.)

Костылев (вздвигнув). Эх ты, батюшка...

Актер (входит). Усадил бабу в сених, закутал...

Костылев. Экой ты добрый, брат! Хорошо это... это зачтется всё тебе...

Актер. Когда?

Костылев. На том свете, братик... там всё, всякое деяние наше усчитывают...

Актер. А ты бы вот здесь наградил меня за доброту...

Костылев. Это как же я могу?

Актер. Скости половину долга...

Костылев. Х-хе! Ты всё шутишь, милачок, всё играешь... Разве доброту сердца с деньгами можно равнять? Доброта – она превыше всех благ. А долг твой мне – это так и есть долг! Значит, должен ты его мне возместить... Доброта твоя мне, старцу,

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
безвозмездно должна быть оказана...

Актер. Шельма ты, старец... (Уходит в кухню.)

(Клещ встает и уходит в сени.)
Костылев (Сатину). Скрипун-то? убежал, хе-хе! Не любит он меня...

Сатин. Кто тебя – кроме черта – любит?..

Костылев (посмеиваясь.) Экой ты ругатель! А я вас всех люблю... я понимаю, братия вы моя несчастная, никудышняя, пропащая... (Вдруг, быстро.) А... Васька – дома?

Сатин. Погляди...

Костылев (подходит к двери и стучит). Вася! (Актер появляется в двери из кухни. Он что-то жует.)

Пепел. Кто это?

Костылев. Это я... я, Вася.

Пепел. Что надо?

Костылев (отодвигаясь). Отвори...

Сатин (не глядя на Костылева). Он отворит, а она – там...

(Актер фыркает.)
Костылев (беспокойно, негромко). А? Кто – там? Ты... что?

Сатин. Чего? Ты – мне говоришь?

Костылев. Ты что сказал?

Сатин. Это я так... про себя...

Костылев. Смотри, брат! шути в меру... да! (Сильно стучит в дверь.) Василий!..

Пепел (отворяя дверь). Ну? чего беспокоишь?

Костылев (заглядывая в комнату). Я... видишь – ты...

Пепел. Деньги принес?

Костылев. Дело у меня к тебе...

Пепел. Деньги – принес?

Костылев. Какие? Погоди...

Пепел. Деньги, семь рублей, за часы – ну?

Костылев. Какие часы, Вася?.. Ах, ты...

Пепел. Ну, ты гляди! Вчера, при свидетелях, я тебе продал часы за десять рублей... три – получил, семь – подай! Чего глазами хлопаешь? Шляется тут, беспокоит людей... а дела своего не знает...

Костылев. Ш-ш! Не сердись, Вася... Часы – они...

Сатин. Краденые...

Костылев (строго). Я краденого не принимаю... как ты можешь...

Пепел (берет его за плечо). Ты – зачем меня встревожил? Чего тебе надо?

Костылев. Да... мне – ничего... я уйду... если ты такой...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Пепел. Ступай, принеси деньги!

Костылев (уходит). Экие грубые люди! Ай-яй...

Актер. Комедия!

Сатин. Хорошо! Это я люблю...

Пепел. Чего он тут?

Сатин (смеясь). Не понимаешь? Жену ищет... И чего ты не пришибешь его, Василий?

Пепел. Стану я из-за такой дряни жизнь себе портить...

Сатин. А ты – умненько. Потом – женись на Василесе... хозяином нашим будешь...

Пепел. Велика радость! Вы не токмо всё мое хозяйство, а и меня, по доброте моей, в кабаке пропьете... (Садится на нары.) Старый черт... разбудил... А я – сон хороший видел: будто ловлю я рыбу, и попал мне – громаднейший лещ! Такой лещ, – только во сне эдакие и бывают... И вот я его вожу на удочке и боюсь, – леса оборвется! И приготовил сачок... Вот, думаю, сейчас...

Сатин. Это не лещ, а Василиса была...

Актер. Василису он давно поймал...

Пепел (сердито). Подите вы к чертям... да и с ней вместе!

Клещ (входит из сеней.). Холодище... собачий...

Актер. Ты что же Анну не привел? Замерзнет...

Клещ. Ее Наташка в кухню увела к себе...

Актер. Старик – выгонит...

Клещ (сажаясь работать). Ну... Наташка приведет...

Сатин. Василий! Дай пятак...

Актер (Сатину). Эх ты... пятак! Вася! Дай нам двугривенный...

Пепел. Надо скорее дать... пока рубля не просите... на!

Сатин. Гиблартарр! Нет на свете людей лучше воров!

Клещ (угрюмо). Им легко деньги достаются... Они – не работают...

Сатин. Многим деньги легко достаются, да немногие легко с ними расстаются... Работа? Сделай так, чтоб работа была мне приятна – я, может быть, буду работать... да! Может быть! Когда труд – удовольствие, жизнь – хороша! Когда труд – обязанность, жизнь – рабство! (Актеру.) Ты, Сарданапал! Идем...

Актер. Идем, Навухудоноссор! Напьюсь – как... сорок тысяч пьяниц...

(Уходят.)

Пепел (зевая). Что, как жена твоя?

Клещ. Видно, скоро уж...

(Пауза.)

Пепел. Смотрю я на тебя, – зря ты скрипишь.

Клещ. А что делать?

Пепел. Ничего...

Клещ. А как есть буду?

Пепел. Живут же люди...

Клещ. Эти? Какие они люди? Рвань, золотая рота... люди! Я – рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... я с малых лет работаю... Ты думаешь – я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот, погоди... умрет жена... Я здесь полгода прожил... а всё равно как шесть лет...

Пепел. Никто здесь тебя не хуже... напрасно ты говоришь...

Клещ. Не хуже! Живут без чести, без совести...

Пепел (равнодушно). А куда они – честь, совесть? На ноги, вместо сапогов, не наденешь ни чести, ни совести... Честь-совесть тем нужна, у кого власть да сила есть...

Бубнов (входит). У-у... озяб!

Пепел. Бубнов! У тебя совесть есть?

Бубнов. Чего-о? Совесть?

Пепел. Ну да!

Бубнов. На что совесть? Я – не богатый...

Пепел. Вот и я то же говорю: честь-совесть богатым нужна, да! А Клещ ругает нас, нет, говорит, у нас совести...

Бубнов. А он что – занять хотел?

Пепел. У него – своей много...

Бубнов. Значит, продает? Ну, здесь этого никто не купит. Вот картонки ломаные я бы купил... да и то в долг...

Пепел (поучительно). Дурак ты, Андрюшка! Ты бы, насчет совести, Сатина послушал... а то – Барона...

Клещ. Не о чем мне с ними говорить...

Пепел. Они – поумнее тебя будут... хоть и пьяницы...

Бубнов. А кто пьян да умен – два угодя в нем...

Пепел. Сатин говорит: всякий человек хочет, чтобы сосед его совесть имел, да никому, видишь, не выгодно иметь-то ее... И это – верно...

(Наташа входит. За нею – Лука с палкой в руке, с котомкой за плечами, котелком и чайником у пояса.)

Лука. Доброго здоровья, народ честной!

Пепел (приглаживая усы). А-а, Наташа!

Бубнов (Луке). Был честной, да позапрошлой весной...

Наташа. Вот – новый постоялец...

Лука. Мне – всё равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все – черненькие, все – прыгают... так-то. Где тут, милая, приспособиться мне?

Наташа (указывая на дверь в кухню). Туда иди, бабушка...

Лука. Спасибо, девушка! Туда так туда... Старика – где тепло, там и родина...

Пепел. Какого занятного старичишку-то привели вы, Наташа...

Наташа. Поинтереснее вас... Андрей! Жена твоя в кухне у нас... ты, погода, приди за

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
ней.

Клещ. Ладно... приду...

Наташа. Ты бы, чай, теперь поласковее с ней обращался... ведь уж недолго...

Клещ. Знаю...

Наташа. Знаешь... Мало знать, ты – понимай. Ведь умирать-то страшно...

Пепел. А я вот – не боюсь...

Наташа. Как же!.. Храбрость...

Бубнов (свистнув). А нитки-то гнилые...

Пепел. Право – не боюсь! Хотя сейчас – смерть приму! Возьмите вы нож, ударьте против сердца... умру – не охну! Даже – с радостью, потому что – от чистой руки...

Наташа (уходит). Ну, вы другим уж зубы-то заговаривайте.

Бубнов (протяжно). А ниточки-то гнилые...

Наташа (у двери в сени). Не забудь, Андрей, про жену...

Клещ. Ладно...

Пепел. Славная девка!

Бубнов. Девица – ничего...

Пепел. Чего она со мной... так? Отвергает... Всё равно ведь – пропадет здесь...

Бубнов. Через тебя пропадет...

Пепел. Зачем – через меня? Я ее – жалею...

Бубнов. Как волк овцу...

Пепел. Врешь ты! Я очень... жалею ее... Плохо ей тут жить... я вижу...

Клещ. погоди, вот Василиса увидит тебя в разговоре с ней...

Бубнов. Василиса? Н-да, она своего даром не отдаст... баба – лютая...

Пепел (ложится на нары). Подите вы к чертям оба... пророки!

Клещ. Увидишь... погоди!..

Лука (в кухне, напевает). Середь но-очи... пу-уть дорогу не-е видать...

Клещ (уходя в сени). Ишь, воет... тоже...

Пепел. А скушно... чего это скушно мне бывает? Живешь-живешь – всё хорошо! И вдруг – точно озябнешь: сделается скушно...

Бубнов. Скушно? М-м...

Пепел. Ей-ей!

Лука (поет). Эх, и не вида-ать пути-и...

Пепел. Старик! Эй!

Лука (выглядывая из двери). Это я?

Пепел. Ты. Не пой.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Лука (выходит). Не любишь?

Пепел. Когда хорошо поют – люблю..

Лука. А я, значит, не хорошо?

Пепел. Стало быть...

Лука. Ишь ты! А я думал – хорошо пою. Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя – хорошо я делаю! Хватит – а люди недовольны...

Пепел (смеясь). Вот! Верно...

Бубнов. Говоришь – скушно, а сам хохочешь.

Пепел. А тебе что? Ворон...

Лука. Это кому – скушно?

Пепел. Мне вот...

(Барон входит.)

Лука. Ишь ты! А там, в кухне, девица сидит, книгу читает и – плачет! Право! Слезы текут... Я ей говорю: милая, ты чего это, а? А она – жалко! Кого, говорю, жалко? А вот, говорит, в книжке... Вот чем человек занимается, а? Тоже, видно, со скуки...

Барон. Это – дура...

Пепел. Барон! Чай пил?

Барон. Пил... дальше!

Пепел. Хочешь – полбутылки поставлю?

Барон. Разумеется... дальше!

Пепел. Становись на четвереньки, лай собакой!

Барон. Дурак! Ты что – купец? Или – пьян?

Пепел. Ну, полай! Мне забавно будет... Ты барин... было у тебя время, когда ты нашего брата за человека не считал... и всё такое...

Барон. Ну, дальше!

Пепел. Чего же? А теперь вот я тебя заставлю лаять собакой – ты и будешь... ведь будешь?

Барон. Ну, буду! Болван! Какое тебе от этого может быть удовольствие, если я сам знаю, что стал чуть ли не хуже тебя? Ты бы меня тогда заставлял на четвереньках ходить, когда я был неровня тебе...

Бубнов. Верно!

Лука. И я скажу – хорошо!..

Бубнов. Что было – было, а остались – одни пустяки... Здесь господ нету... всё слиняло, один голый человек остался...

Лука. Все, значит, равны... А ты, милый, бароном был?

Барон. Это что еще? Ты кто, кикимора?

Лука (смеется). Графа видал я и князя видал... а барона – первый раз встречаю, да и то испорченного...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Пепел (хохочет). Барон! А ты меня сконфузил...

Барон. Пора быть умнее, Василий...

Лука. Эхе-хе! Погляжу я на вас, братцы, – жите ваше – о-ой!..

Бубнов. Такое жите, что как поутру встал, так и за вытье...

Барон. Жили и лучше... да! Я... бывало... проснусь утром и, лежа в постели, кофе пью... кофе! – со сливками... да!

Лука. А всё – люди! Как ни притворяйся, как ни вихляйся, а человеком родился, человеком и помрешь... И всё, гляжу я, умнее люди становятся, всё занятнее... и хоть живут – всё хуже, а хотят – всё лучше... упрямые!

Барон. Ты, старик, кто такой?.. Откуда ты явился?

Лука. Я-то?

Барон. Странник?

Лука. Все мы на земле странники... Говорят, – слышал я, – что и земля-то наша в небе странница.

Барон (строго). Это так, ну, а – паспорт имеешь?

Лука (не сразу). А ты кто, – сыщик?

Пепел (радостно). Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало?

Бубнов. Н-да, получил барин...

Барон (skonфуженный). Ну, чего там? Я ведь... шучу, старик! У меня, брат, у самого бумаг нет...

Бубнов. Врешь!

Барон. То есть... я имею бумаги... но – они никуда не годятся...

Лука. Они, бумажки-то, все такие... все никуда не годятся.

Пепел. Барон! Идем в трактир...

Барон. Готов! Ну, прощай, старик... Шельма ты!

Лука. Всяко бывает, милый...

Пепел (у двери в сени). Ну, идем, что ли! (Уходит. Барон быстро идет за ним.)

Лука. В самом деле, человек-то бароном был?

Бубнов. Кто его знает? Барин, это верно... Он и теперь – нет-нет, да вдруг и покажет барина из себя. Не отвык, видно, еще.

Лука. Оно, пожалуй, барство-то – как оспа... и выздоровеет человек, а знаки-то остаются.

Бубнов. Он ничего все-таки... Только так иногда брыкнется... вроде как насчет твоего паспорта...

Алешка (входит выпивши, с гармонией в руках. Свистит). Эй, жители!

Бубнов. Чего орешь?

Алешка. Извините... простите! Я человек вежливый...

Бубнов. Опять загулял?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Алешка. Сколько угодно! Сейчас из участка помощник пристава Медякин выгнал и говорит: чтобы, говорит, на улице тобой и не пахло... ни-ни! Я – человек с характером... А хозяин на меня фыркает... А что такое – хозяин? Ф-фе! Недоразумение одно... Пьяница он, хозяин-то... А я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и – шабаш! На, возьми меня за рубль за двадцать! А я – ничего не хочу. (Настя выходит из кухни.) Давай мне миллион – н-не хочу! И чтобы мной, хорошим человеком, командовал товарищ мой... пьяница, – не желаю! Не хочу!

(Настя, стоя у двери, качает головой, глядя на Алешку.)
Лука (добродушно). Эй, парень, запутался ты...

Бубнов. Дурость человеческая...

Алешка (ложится на пол). На, ешь меня! А я – ничего не хочу! Я – отчаянный человек! Объясните мне – кого я хуже? Почему я хуже прочих? Вот! Медякин говорит: на улицу не ходи – морду побью! А я – пойду... пойду лягу середь улицы – дави меня! Я – ничего не желаю!..

Настя. Несчастный!.. молоденький еще, а уж... так ломается...

Алешка (увидав ее, встает на колени). Барышня! Мамзель! Парле франсе... прейскурант! Загулял я...

Настя (громко шепчет). Василиса!

Василиса (быстро отворяя дверь, Алешке). Ты опять здесь?

Алешка. Здравствуйте... пожалуйста...

Василиса. Я тебе, щенку, сказала, чтобы духа твоего не было здесь... а ты опять пришел?

Алешка. Василиса Карповна... хошь, я тебе... похоронный марш сыграю?

Василиса (толкает его в плечо). Вон!

Алешка (подвигаясь к двери). Постой... так нельзя! Похоронный марш... недавно выучил! Свежая музыка... погоди! так нельзя!

Василиса. Я тебе покажу – нельзя... я всю улицу натравлю на тебя... язычник ты проклятый... молод ты лаять про меня...

Алешка (выбегая). Ну, я уйду...

Василиса (Бубнову). Чтобы ноги его здесь не было! Слышишь?

Бубнов. Я тут не сторож тебе...

Василиса. А мне дела нет, кто ты таков! Из милости живешь – не забудь! Сколько должен мне?

Бубнов (спокойно). Не считал...

Василиса. Смотри – я посчитаю!

Алешка (отворив дверь, кричит). Василиса Карповна! А я тебя не боюсь... н-не боюсь! (Прячется.)

(Лука смеется).

Василиса. Ты кто такой?..

Лука. Проходящий... странствующий...

Василиса. Ночуешь или жить?

Лука. Погляжу там...

Василиса. Пачпорт!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Лука. Можно...

Василиса. Давай!

Лука. Я тебе принесу... на квартиру тебе приволоку его...

Василиса. Прохожий... тоже! Говорил бы – проходимец... всё ближе к правде-то...

Лука (вздыхнув). Ах, и неласкова ты, мать...

(Василиса идет к двери в комнату Пепла.)
Алешка (выглядывая из кухни, шепчет). Ушла? а?

Василиса (оборачивается к нему). Ты еще здесь?

(Алешка, скрываясь, свистит. Настя и Лука смеются.)
Бубнов (Василисе). Нет его...

Василиса. Кого?

Бубнов. Васьки...

Василиса. Я тебя спрашивала про него?

Бубнов. Вижу я... заглядываешь ты везде...

Василиса. Я за порядком гляжу – понял? Это почему у вас до сей поры не метено? Я сколько раз приказывала, чтобы чисто было?

Бубнов. Актеру мести...

Василиса. Мне дела нет – кому! А вот если санитары придут да штраф наложат, я тогда... всех вас – вон!

Бубнов (спокойно). А чем жить будешь?

Василиса. Чтобы соринки не было! (Идет в кухню. Насте.) Ты чего тут торчишь? Что рожа-то вспухла? Чего стоишь пнем? Мети пол! Наталью... видела? Была она тут?

Настя. Не знаю... не видела...

Василиса. Бубнов! Сестра была здесь?

Бубнов. А... вот его привела она...

Василиса. Этот... дома был?

Бубнов. Василий? Был... С Клещом она тут говорила, Наталья-то...

Василиса. Я тебя не спрашиваю – с кем! Грязь везде... грязища! Эх, вы... свиньи! Чтобы было чисто... слышите! (Быстро уходит.)

Бубнов. Сколько в ней зверства, в бабе этой!

Лука. Сурьезная бабочка...

Настя. Озвереешь в такой жизни... Привяжи всякого живого человека к такому мужу, как ее...

Бубнов. Ну, она не очень крепко привязана...

Лука. Всегда она так... разрывается?

Бубнов. Всегда... К любовнику, видишь, пришла, а его нет...

Лука. Обидно, значит, стало. Охо-хо! Сколько это разного народа на земле распоряжается... и всякими страхами друг дружку страшит, а всё порядка нет в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
жизни... и чистоты нет...

Бубнов. Все хотят порядка, да разума нехватка. Однако же надо подмести... Настя!.. Ты бы занялась...

Настя. Ну да, как же! Горничная я вам тут.... (Помолчав.) Напьюсь вот я сегодня... так напьюсь!

Бубнов. И то – дело...

Лука. С чего же это ты, девица, пить хочешь? Давеча ты плакала, теперь вот говоришь – напьюсь!

Настя (вызывающе). А напьюсь – опять плакать буду... вот и всё!

Бубнов. Не много...

Лука. Да от какой причины, скажи? Ведь так, без причины, и прыщ не вскочит...

(Настя молчит, качая головой.)

Лука. Так... Эхе-хе... господа люди! И что с вами будет?... Ну-ка хоть я помету здесь. Где у вас метла?

Бубнов. За дверью, в сенях...

(Лука идет в сени.)

Бубнов. Настёнка!

Настя. А?

Бубнов. Чего Василиса на Алешку бросилась?

Настя. Он про нее говорил, что надоела она Ваське и что Васька бросить ее хочет... а Наташу взять себе... Уйду я отсюда... на другую квартиру.

Бубнов. Чего? Куда?

Настя. Надоело мне... Лишняя я здесь...

Бубнов (спокойно). Ты везде лишняя... да и все люди на земле – лишние...

(Настя качает головой. Встает, тихо уходит в сени. Медведев входит. За ним – Лука с метлой.)

Медведев. Как будто я тебя не знаю...

Лука. А остальных людей – всех знаешь?

Медведев. В своем участке я должен всех знать... а тебя вот – не знаю...

Лука. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоём участке поместилась... осталось маленько и опричь его... (Уходит в кухню.)

Медведев (подходя к Бубнову). Правильно, участок у меня невелик... хоть хуже всякого большого... Сейчас, перед тем как с дежурства смениться, сапожника Алешку в часть отвез... Лег, понимаешь, среди улицы, играет на гармонии и орет: ничего не хочу, ничего не желаю! Лошади тут ездят и вообще – движение... могут раздавить колесами и прочее... Буйный парнишка... Ну, сейчас я его и... представил. Очень любит беспорядок...

Бубнов. Вечером в шашки играть придешь?

Медведев. Приду. М-да... А что... Васька?

Бубнов. Ничего... всё так же...

Медведев. Значит... живет?

Бубнов. Что ему не жить? Ему можно жить...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

Медведев (сомневаясь). Можно? (Лука выходит в сени с ведром в руке.) М-да... тут – разговор идет... насчет Васьки... ты не слыхал?

Бубнов. Я разные разговоры слышу...

Медведев. Насчет Василисы, будто... не замечал?

Бубнов. Чего?

Медведев. Так... вообще... Ты, может, знаешь, да врешь? Ведь все знают... (Строго.) Врать нельзя, брат...

Бубнов. Зачем мне врать!

Медведев. То-то!.. Ах, псы! Разговаривают: Васька с Василисой... дескать... а мне что? Я ей не отец, я – дядя... Зачем надо мной смеяться?.. (Входит Квашня.) Какой народ стал... надо всем смеется... А-а! Ты... пришла...

Квашня. Разлюбезный мой гарнизон! Бубнов! Он опять на базаре приставал ко мне, чтобы венчаться...

Бубнов. Валяй... чего же? У него деньги есть, и кавалер он еще крепкий...

Медведев. Я-то? Хо-хо!

Квашня. Ах ты, серый! Нет, ты меня за это мое, за большое место не тронь! Это, миленький, со мной было... замуж бабе выйти – всё равно как зимой в прорубь прыгнуть: один раз сделала – на всю жизнь памятно...

Медведев. Ты – погоди... мужья – они разные бывают.

Квашня. Да я-то всё одинакова! Как издох мой милый муженек, – ни дна бы ему ни покрышки, – так я целый день от радости одна просидела: сижу и всё не верю счастью своему...

Медведев. Ежели тебя муж бил... зря – надо было в полицию жаловаться...

Квашня. Я богу жаловалась восемь лет, – не помогал!

Медведев. Теперь запрещено жен бить... теперь во всем – строгость и закон-порядок! Никого нельзя зря бить... бьют – для порядку...

Лука (вводит Анну). Ну, вот и доползли... эх ты! И разве можно в таком слабом составе одной ходить? Где твое место?

Анна (указывая). Спасибо, дедушка...

Квашня. Вот она – замужня... глядите!

Лука. Бабочка совсем слабого состава... Идет по сеням, цепляется за стенки и – стенает... Пошто вы ее одну пущаете?

Квашня. Не доглядели, простите, батюшка! А горничная ейная, видно, гулять ушла...

Лука. Ты вот – смеешься... а разве можно человека эдак бросать? Он – каков ни есть – а всегда своей цены стоит...

Медведев. Надзор нужен! Вдруг – умрет? Канитель будет из этого... Следить надо!

Лука. Верно, господин ундер...

Медведев. М-да... хоть я... еще не совсем ундер...

Лука. Н-ну? А видимость – самая геройская!

(В сенях шум и топот. Доносятся глухие крики.)

Медведев. Никак – скандал?

Бубнов. Похоже...

Квашня. Пойти поглядеть...

Медведев. И мне надо идти... Эх, служба! И зачем разнимают людей, когда они дерутся? Они и сами перестали бы... ведь устаешь драться... Давать бы им бить друг друга свободно, сколько каждому влезет... стали бы меньше драться, потому побои-то помнили бы дольше...

Бубнов (слезая с нар). Ты начальству поговори насчет этого...

Костылев (распахивая дверь, кричит). Абрам! Иди... Василиса Наташку... убивает... иди!

(Квашня, Медведев, Бубнов бросаются в сени. Лука, качая головой, смотрит вслед им.)

Анна. О господи... Наташенька бедная!

Лука. Кто дерется там?

Анна. Хозяйки... сестры...

Лука (подходя к Анне). Чего делят?

Анна. Так они... сытые обе... здоровые...

Лука. Тебя как звать-то?

Анна. Анной... Гляжу я на тебя... на отца ты похож на моего... на бабушку... такой же ласковый... мягкий...

Лука. Мяли много, оттого и мягок... (Смеется дребезжащим смехом.)

Занавес

Акт второй

Та же обстановка.

Вечер. На нарах около печи Сатин, Барон, Кривой Зоб и Татарин играют в карты. Клещ и Актер наблюдают за игрой. Бубнов на своих нарах играет в шашки с Медведевым. Лука сидит на табурете у постели Анны. Ночлежка освещена двумя лампами: одна висит на стене около играющих в карты, другая – на нарах Бубнова.

Татарин. Еще раз играю, – больше не играю...

Бубнов. Зоб! Пой! (Запевает.)

Солнце всходит и заходит...

Кривой Зоб (подхватывает голос).

А в тюрьме моей темно...

Татарин (Сатину). Мешай карта! Хорошо мешай! Знаем мы, какой-такой ты...

Бубнов и Кривой Зоб (вместе).

Дни и ночи часовые – э-эх!

Стерегут мое окно...

Анна. Побои... обиды... ничего кроме – не видела я... ничего не видела!

Лука. Эх, бабочка! Не тоскуй!

Медведев. Куда ходишь? Гляди!..

Бубнов. А-а! Так, так, так...

Татарин (грозя Сатину кулаком). Зачем карта прятать хочешь? Я вижу... э, ты!

Кривой Зоб. Брось, Асан! Всё равно – они нас объегорят... Бубнов, заводи!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Анна. Не помню – когда я сыта была... Над каждым куском хлеба тряслась... всю жизнь мою дрожала... Мучилась... как бы больше другого не съесть... всю жизнь в отрепьях ходила... всю мою несчастную жизнь... За что?

Лука. Эх ты, детынька! Устала? Ничего!

Актер (Кривому Зобу). Валетом ходи... валетом, черт!

Барон. А у нас – король.

Клещ. Они всегда побьют.

Сатин. Такая у нас привычка...

Медведев. Дамка!

Бубнов. И у меня... н-ну...

Анна. Помираю, вот...

Клещ. Ишь, ишь как! Князь, бросай игру! Бросай, говорю!

Актер. Он без тебя не понимает?

Барон. Гляди, Андрюшка, как бы я тебя не швырнул ко всем чертям!

Татарин. Сдавай еще раз! Кувшин ходил за вода, разбивал себя... и я тоже!

(Клещ, качая головой, отходит к Бубнову.)

Анна. Всё думаю я: господи! Неужто и на том свете мука мне назначена? Неужто и там?

Лука. Ничего не будет! Лежи знай! Ничего! Отдохнешь там!.. Потерпи еще! Все, милая, терпят... всяк по-своему жизнь терпит... (Встает и уходит в кухню быстрыми шагами.)

Бубнов (запевает).

Как хотите, стерегите...
Кривой Зоб.

я и так не убегу...
(В два голоса.)

Мне и хочется на волю... эх!

Цепь порвать я не могу...

Татарин (кричит). А! Карта рукав совал!

Барон (конфузясь). Ну... что же мне – в нос твой сунуть?

Актер (убедительно). Князь! Ты ошибся... никто, никогда...

Татарин. Я видел! жулик! Не буду играть!

Сатин (собирая карты). Ты, Асан, отвяжись... Что мы – жулики, тебе известно. Стало быть, зачем играл?

Барон. Проиграл два двугривенных, а шум делаешь на трешницу... еще князь!

Татарин (горячо). Надо играть честно!

Сатин. Это зачем же?

Татарин. Как зачем?

Сатин. А так... Зачем?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Татарин. Ты не знаешь?

Сатин. Не знаю. А ты – знаешь?

(Татарин плюет, озлобленный. Все хохочут над ним.)
Кривой Зоб (благодушно). Чудак ты, Асан! Ты – пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

Татарин. А мне какое дело! Надо честно жить!

Кривой Зоб. Заладил! Идем чай пить лучше... Бубен!

И-эх вы, цепи, мои цепи...
Бубнов.

Да вы железны сторожа...
Кривой Зоб. Идем, Асанка! (Уходит, напевая.)

Не порвать мне, не разбить вас...
(Татарин грозит Барону кулаком и выходит вслед за товарищем.)
Сатин (Барону, смеясь). Вы, ваше вашество, опять торжественно сели в лужу!
Образованный человек, а карту передернуть не можете...

Барон (разводя руками). Чёрт знает, как она...

Актер. Таланта нет... нет веры в себя... а без этого... никогда, ничего...

Медведев. У меня одна дамка... а у тебя две... н-да!

Бубнов. И одна – не бедна, коли умна... Ходи!

Клещ. Проиграли вы, Абрам Иваныч!

Медведев. Это не твое дело... понял? И молчи..

Сатин. Выигрыш – пятьдесят три копейки...

Актер. Три копейки мне... А впрочем, зачем мне нужно три копейки?

Лука (выходя из кухни). Ну, обыграли татарина? Водочку пить пойдете?

Барон. Идем с нами!

Сатин. Посмотреть бы, каков ты есть пьяный!

Лука. Не лучше трезвого-то...

Актер. Идем, старик... я тебе продекламирую куплеты...

Лука. Чего это?

Актер. Стихи, – понимаешь?

Лука. Стихи-и! А на что они мне, стихи-то?..

Актер. Это – смешно... А иногда – грустно...

Сатин. Ну, куплетист, идешь? (Уходит с Бароном.)

Актер. Иду... я догоню! Вот, например, старик, из одного стихотворения... начало я забыл... забыл! (Потирает лоб.)

Бубнов. Готово! Пропала твоя дамка... ходи!

Медведев. Не туда я пошел... пострели ее!

Актер. Раньше, когда мой организм не был отравлен алкоголем, у меня, старик, была хорошая память... А теперь вот... кончено, брат! Всё кончено для меня! Я всегда

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru читал это стихотворение с большим успехом... гром аплодисментов! Ты... не знаешь, что такое аплодисменты... это, брат, как... водка!.. Бывало, выйду, встану вот так... (Становится в позу.) Встану... и... (Молчит.) Ничего не помню... ни слова... не помню! Любимое стихотворение... плохо это, старик?

Лука. Да уж чего хорошего, коли любимое забыл? В любимом – вся душа...

Актер. Пропил я душу, старик... я, брат, погиб... А почему – погиб? Веры у меня не было... Кончен я...

Лука. Ну, чего? Ты... лечись! От пьянства нынче лечат, слышь! Бесплатно, браток, лечат... такая уж лечебница устроена для пьяниц... чтобы, значит, даром их лечить... Признали, видишь, что пьяница – тоже человек... и даже – рады, когда он лечиться желает! Ну-ка, вот, валяй! Иди...

Актер (задумчиво). Куда? Где это?

Лука. А это... в одном городе... как его? Название у него эдакое... Да я тебе город назову!.. Ты только вот чего: ты пока готовься! Воздержись!.. возьми себя в руки и – терпи... А потом – вылечишься... и начнешь жить снова... хорошо, брат, снова-то! Ну, решай... в два приема...

Актер (улыбаясь). Снова... сначала... Это – хорошо... Н-да... Снова? (Смеется.) Ну... да! Я могу?! Ведь могу, а?

Лука. А чего? Человек – всё может... лишь бы захотел...

Актер (вдруг, как бы проснувшись). Ты – чудак! Прощай пока! (Свистит.) Старичок... прощай... (Уходит.)

Анна. Дедушка!

Лука. Что, матушка?

Анна. Поговори со мной...

Лука (подходя к ней). Давай, побеседуем...

(Клещ оглядывается, молча подходит к жене, смотрит на нее и делает какие-то жесты руками, как бы желая что-то сказать.)

Лука. Что, браток?

Клещ (негромко). Ничего... (Медленно идет к двери в сени, несколько секунд стоит перед ней и – уходит.)

Лука (проводив его взглядом). Тяжело мужику-то твоему...

Анна. Мне уж не до него...

Лука. Бил он тебя?

Анна. Еще бы... От него, чай, и захла...

Бубнов. У жены моей... любовник был; ловко, бывало, в шашки играл, шельма...

Медведев. Мм-м...

Анна. Дедушка! Говори со мной, милый... Тошно мне...

Лука. Это ничего! Это – перед смертью... голубка. Ничего, милая! Ты – надейся... Вот, значит, помрешь, и будет тебе спокойно... ничего больше не надо будет, и бояться – нечего! Тишина, покой... лежи себе! Смерть – она всё успокаивает... она для нас ласковая... Помрешь – отдохнешь, говорится... верно это, милая! Потому – где здесь отдохнуть человеку?

(Пепел входит. Он немного выпивши, растрепанный, мрачный. Садится у двери на нарах и сидит молча, неподвижно.)

Анна. А как там – тоже мука?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Лука. Ничего не будет! Ничего! Ты – верь! Спокой и – больше ничего! Призовут тебя к господе и скажут: господи, погляди-ка, вот пришла раба твоя, Анна...

Медведев (строго). А ты почему знаешь, что там скажут? Эй, ты...

(Пепел при звуке голоса Медведева поднимает голову и прислушивается.)

Лука. Стало быть, знаю, господин ундер...

Медведев (примирительно). М... да! Ну... твое дело... Хоша... я еще не совсем... ундер...

Бубнов. Двух беру...

Медведев. Ах ты... чтоб тебе!..

Лука. А господь – взглянет на тебя кротко-ласково и скажет: знаю я Анну эту! Ну, скажет, отведите ее, Анну, в рай! Пусть успокоится... Знаю я, жила она – очень трудно... очень устала... Дайте покой Анне...

Анна (задыхаясь). Дедушка... милый ты... кабы так! Кабы... покой бы... не чувствовать бы ничего...

Лука. Не будешь! Ничего не будет! Ты – верь! Ты – с радостью помирай, без тревоги... Смерть, я те говорю, она нам – как мать малым детям...

Анна. А... может... может, выздоровлю я?

Лука (усмехаясь). На что? На муку опять?

Анна. Ну... еще немножко... пожить бы... немножко! Коли там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!

Лука. Ничего там не будет!.. Просто...

Пепел (вставая). Верно... а может, и – не верно!

Анна (пугливо). Господи...

Лука. А, красавец...

Медведев. Кто орет?

Пепел (подходя к нему). Я! А что?

Медведев. Зря орешь, вот что! Человек должен вести себя смирно...

Пепел. Э... дубина!.. А еще – дядя... х-хо!

Лука (Пеплу, негромко). Слышь, – не кричи! Тут – женщина помирает... уж губы у нее землей обметало... не мешай!

Пепел. Тебе, дед, изволь, – уважу! Ты, брат, молодец! Врешь ты хорошо... сказки говоришь приятно! Ври, ничего... мало, брат, приятного на свете!

Бубнов. Вправду – помирает баба-то?

Лука. Кажись, не шутит...

Бубнов. Кашлять, значит, перестанет... кашляла она очень беспокойно... двух беру!

Медведев. Ах, пострели тебя в сердце!

Пепел. Абрам!

Медведев. Я тебе – не Абрам...

Пепел. Абрашка! Наташа – хворает?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Медведев. А тебе какое дело?

Пепел. Нет, ты скажи: сильно ее Василиса избила?

Медведев. И это дело не твое! Это – семейное дело... А ты – кто таков?

Пепел. Кто бы я ни был, а... захочу – и не видать вам больше Наташки!

Медведев (бросая игру). Ты – что говоришь? Ты – про кого это? Племянница моя чтобы... ах, вор!

Пепел. Вор, а тобой не пойман...

Медведев. погоди! Я – поймаю... я – скоро...

Пепел. А поймаешь, – на горе всему вашему гнезду. Ты думаешь – я молчать буду перед следователем? Жди от волка толка! Спросят: кто меня на воровство подбил и место указал? Мишка Костылев с женой! Кто краденое принял? Мишка Костылев с женой!

Медведев. Врешь! Не поверят тебе!

Пепел. Поверят, потому – правда! И тебя еще запутаю... ха! Погублю всех вас, черти, – увидишь!

Медведев (теряясь). Врешь! И... врешь! И... что я тебе худого сделал? Пес ты бешеный...

Пепел. А что ты мне хорошего сделал?

Лука. Та-ак!

Медведев (Луке). Ты... чего каркаешь? Твое тут – какое дело? Тут – семейное дело!

Бубнов (Луке). Отстань! Не для нас с тобой петли вяжут.

Лука (смирненно). Я ведь – ничего! Я только говорю, что, если кто кому хорошего не сделал, тот и худо поступил...

Медведев (не поняв). То-то! Мы тут... все друг друга знаем... а ты – кто такой? (Сердито фыркая, быстро уходит.)

Лука. Рассердился кавалер... Охо-хо, дела у вас, братцы, смотрю я... путанные дела!

Пепел. Василисе жаловаться побежал...

Бубнов. Дуришь ты, Василий. Чего-то храбрости у тебя много завелось... гляди, храбрость у места, когда в лес по грибы идешь... а здесь она – ни к чему... Они тебе живо голову свернут...

Пепел. Н-ну, нет! Нас, ярославских, голыми руками не сразу возьмешь... Ежели война – будем воевать...

Лука. А в самом деле, отойти бы тебе, парень, прочь с этого места...

Пепел. Куда? Ну-ка, выговори...

Лука. Иди... в Сибирь!

Пепел. Эге! Нет, уж я погожу, когда пошлют меня в Сибирь эту на казенный счет...

Лука. А ты слушай, иди-ка! Там ты себе можешь путь найти... Там таких – надобно!

Пепел. Мой путь – обозначен мне! Родитель всю жизнь в тюрьмах сидел и мне тоже заказал... Я когда маленький был, так уж в ту пору меня звали вор, воров сын...

Лука. А хорошая сторона – Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там – как огурцу в парнике!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru

Пепел. Старик! Зачем ты всё врешь?

Лука. Ась?

Пепел. Оглох! Зачем врешь, говорю?

Лука. Это в чем же вру-то я?

Пепел. Во всем... Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь – врешь! На что?

Лука. А ты мне – поверь, да поди сам погляди... Спасибо скажешь... Чего ты тут трешься? И... чего тебе правда больно нужна... подумай-ка! Она, правда-то, может, обух для тебя...

Пепел. А мне всё едино! Обух так обух...

Лука. Да чудак! На что самому себя убивать?

Бубнов. И чего вы оба мелете? Не пойму... Какой тебе, Васька, правды надо? И зачем? Знаешь ты правду про себя... да и все ее знают...

Пепел. погоди, не каркай! Пусть он мне скажет... Слушай, старик: бог есть?

(Лука молчит, улыбаясь.)

Бубнов. Люди все живут... как щепки по реке плывут... строят дом... а щепки – прочь...

Пепел. Ну? Есть? Говори...

Лука (негромко). Коли веришь, – есть; не веришь, – нет... Во что веришь, то и есть...

(Пепел молча, удивленно и упорно смотрит на старика.)

Бубнов. Пойду чаю попью... идемте в трактир? Эй!..

Лука (Пеплу). Чего глядишь?

Пепел. Так... погоди!.. Значит...

Бубнов. Ну, я один... (Идет к двери и встречается с Василисой.)

Пепел. Стало быть... ты...

Василиса (Бубнову). Настасья – дома?

Бубнов. Нет... (Уходит.)

Пепел. А... пришла...

Василиса (подходя к Анне). Жива еще?

Лука. Не тревожь...

Василиса. А ты... чего тут торчишь?

Лука. Я могу уйти... коли надо...

Василиса (направляясь к двери в комнату Пепла). Василий! У меня к тебе дело есть...

(Лука подходит к двери в сени, отворяет ее и громко хлопает ею. Затем осторожно влезает на нары и – на печь.)

Василиса (из комнаты Пепла). Вася... поди сюда!

Пепел. Не пойду... не хочу...

Василиса. А... что же? На что гневаешься?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Пепел. Скушно мне... надоела мне вся эта канитель...

Василиса. И я... надоела?

Пепел. И ты...

(Василиса крепко стягивает платок на плечах, прижимая руки ко груди. Идет к постели Анны, осторожно смотрит за полог и возвращается к Пеплу.)

Пепел. Ну... говори...

Василиса. Что же говорить? Насильно мил не будешь... и не в моем это характере милости просить... Спасибо тебе за правду...

Пепел. Какую правду?

Василиса. А что надоела я тебе... али это не правда?

(Пепел молча смотрит на нее.)

Василиса (подвигаясь к нему). Что глядишь? Не узнаешь?

Пепел (вздыхая). Красивая ты, Васка (женщина кладет ему руку на шею, но он встряхивает руку ее движением плеча) – а никогда не лежало у меня сердце к тебе... И жил я с тобой и всё... а никогда ты не нравилась мне...

Василиса (тихо). Та-ак... Н-ну...

Пепел. Ну, не о чем нам говорить! Не о чем... иди от меня...

Василиса. Другая приглянулась?

Пепел. Не твое дело... И приглянулась – в свахи тебя не позову...

Василиса (значительно). А напрасно... Может, я бы и сосватала...

Пепел (подозрительно). Кого это?

Василиса. Ты знаешь... что притворяться? Василий... я – человек прямой... (Тише.) Скрывать не буду... ты меня обидел... Ни за что, ни про что – как плетью хлестнул... Говорил – любишь... и вдруг...

Пепел. Вовсе не вдруг... я давно... души в тебе нет, баба... В женщине – душа должна быть... Мы – звери... нам надо... надо нас – приучать... а ты – к чему меня приучила?..

Василиса. Что было – того нет... Я знаю – человек сам в себе не волен... Не любишь больше... ладно! Так тому и быть...

Пепел. Ну, значит, и – шабаш! Разошлись смирно, без скандала... и хорошо!

Василиса. Нет, погоди! Все-таки... когда я с тобой жила... я всё дожидалась, что ты мне поможешь из омота этого выбраться... освободишь меня от мужа, от дяди... от всей этой жизни... И, может, я не тебя, Вася, любила, а... надежду мою, думу эту любила в тебе... Понимаешь? Ждала я, что вытацишь ты меня...

Пепел. Ты – не гвоздь, я – не клещи... Я сам думал, что ты, как умная... ведь ты умная... ты – ловкая!

Василиса (близко наклоняясь к нему). Вася! давай... поможем друг другу...

Пепел. Как это?

Василиса (тихо, сильно). Сестра... тебе нравится, я знаю...

Пепел. За то ты и бьешь ее зверски! Смотри, Васка! Ее – не тронь...

Василиса. Погоди! Не горячись! Можно всё сделать тихо, по-хорошему... Хочешь – женись на ней? И я тебе еще денег дам... целковых... триста! Больше соберу – больше дам...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Пепел (отодвигаясь). Постой... как это? За что?

Василиса. Освободи меня... от мужа! Сними с меня петлю эту...

Пепел (тихо свистит). Вон что-о! Ого-го! Это – ты ловко придумала... мужа, значит, в гроб, любовника – на каторгу, а сама...

Василиса. Вася! Зачем – каторга? Ты – не сам... через товарищей! Да если и сам – кто узнает? Наталья – подумай! Деньги будут... уедешь куда-нибудь... меня навек освободишь... И что сестры около меня не будет – это хорошо для нее. Видеть мне ее – трудно... злоблюсь я на нее за тебя и сдержаться не могу... мучаю девку, бью ее... так – бью... что – сама плачу от жалости к ней... А – бью. И – буду бить!

Пепел. Зверь! Хвастаешься зверством своим?

Василиса. Не хвастаюсь – правду говорю. Подумай, Вася... Ты два раза из-за мужа моего в тюрьме сидел... из-за его жадности... Он в меня, как клоп, впился... четыре года сосет! А какой он мне муж? Наташку теснит, измывается над ней, нищая, говорит! И для всех он – яд...

Пепел. Хитро ты плетешь... Василиса. В речах моих – всё ясно... Только глупый не поймет, чего я хочу...

(Костылев осторожно входит и крадется вперед.)
Пепел (Василисе). Ну... иди!

Василиса. Подумай! (Видит мужа.) Ты – что? За мной?

(Пепел вскакивает и дико смотрит на Костылева.)
Костылев. Это я... я! А вы тут... одни? А-а... Вы – разговаривали? (Вдруг топает ногами – громко визжит.) Васка... поганая! Нищая... шкура! (Пугается своего крика, встреченного молчанием и неподвижностью.) Прости господи... опять ты меня, Василиса, во грех ввела... Я тебя ищу везде... (Взвизгивая.) Спать пора! Масла в лампы забыла налить... у, ты! Нищая... свинья... (Дрожащими руками машет на нее. Василиса медленно идет к двери в сени, оглядываясь на Пепла.)

Пепел (Костылеву). Ты! Уйди... пошел!..

Костылев (кричит). Я – хозяин! Сам пошел, да! Вор...

Пепел (глухо). Уйди, Мишка...

Костылев. Не смей! Я тут... я тебя...

(Пепел хватая его за шиворот и встряхивает. На печи раздается громкая возня и воющее позевыванье. Пепел выпускает Костылева, старик с криком бежит в сени.)
Пепел (вспрыгнув на нары). Кто это... кто на печи?

Лука (высовывая голову). Ась?

Пепел. Ты?!

Лука (спокойно). Я... я самый... О господи Иисусе Христе!

Пепел (затворяет дверь в сени, ищет запора и не находит). А, черти... Старик, слезай!

Лука. Сейча-ас... лезу...

Пепел (грубо). Ты зачем на печь залез?

Лука. А куда надо было?

Пепел. Ведь... ты в сени ушел?

Лука. В сенях, браточек, мне, старику, холодно...

Пепел. Ты... слышал?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru

Лука. А – слышал! Как не слышать? Али я – глухой? Ах, парень, счастье тебе идет... Вот идет счастье!

Пепел (подозрительно). Какое счастье? В чем?

Лука. А вот в том, что я на печь залез.

Пепел. А... зачем ты там возиться начал?

Лука. Затем, значит, что – жарко мне стало... на твое сиротское счастье... И – опять же – смекнул я, как бы, мол, парень-то не ошибся... не придушил бы старичка-то...

Пепел. Да-а... я это мог... ненавижу...

Лука. Что мудреного? Ничего нет трудного... Часто эдак-то ошибаются...

Пепел (улыбаясь). Ты – что? Сам, что ли, ошибся однажды?

Лука. Парень! Слушай-ка, что я тебе скажу: бабу эту – прочь надо! Ты ее – ни-ни! – до себя не допускай... Мужа – она и сама со света сживет, да еще половчее тебя, да! Ты ее, дьяволицу, не слушай... Гляди – какой я? Лысый... А отчего? От этих вот самых разных баб... Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было... А эта Василиса – она... хуже черемиса!

Пепел. Не понимаю я... спасибо тебе сказать, или ты... тоже...

Лука. Ты – не говори! Лучше моего не скажешь! Ты слушай: которая тут тебе нравится, бери ее под руку да отсюда – шагом марш! – уходи! Прочь уходи...

Пепел (угрюмо). Не поймешь людей! Которые – добрые, которые – злые?... Ничего не понятно...

Лука. Чего там понимать? Всяко живет человек... как сердце налажено, так и живет... сегодня – добрый, завтра – злой... А коли девка эта за душу тебя задела всурьез... уйди с ней отсюда, и кончено... А то – один иди... Ты – молодой, успеешь бабой обзавестись...

Пепел (берет его за плечо). Нет, ты скажи – зачем ты всё это...

Лука. Погоди-ка, пусти... Погляжу я на Анну... чего-то она хрипела больно... (Идет к постели Анны, открывает полог, смотрит, трогает рукой. Пепел задумчиво и растерянно следит за ним.) Иисусе Христе, многомилостивый! Дух новопреставленной рабы твоей Анны с миром прими...

Пепел (тихо). Умерла?... (Не подходя, вытягивается и смотрит на кровать.)

Лука (тихо). Отмаялась!.. А где мужик-то ее?

Пепел. В трактире, наверно...

Лука. Надо сказать...

Пепел (вздрагивая). Не люблю покойников...

Лука (идет к двери). За что их любить?... Любить – живых надо... живых...

Пепел. И я с тобой...

Лука. Боишься?

Пепел. Не люблю...

(Торопливо выходят. Пустота и тишина. За дверь в сени слышен глухой шум, неровный, непонятный. Потом – входит Актер.)

Актер (останавливается, не затворяя двери, на пороге и, придерживаясь руками за косяки, кричит). Старик, эй! Ты где? Я – вспомнил... слушай. (Шатаясь, делает два шага вперед и, принимая позу, читает.)

Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет, –
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
(Наташа является сзади Актера в двери.)
Актер. Старик!..

Если бы завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло,
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь..
Наташа (смеется). Чучело! Нализался..

Актер (оборачиваясь к ней). А-а, это ты? А – где старичок... милый старикашка?
Здесь, по-видимому, – никого нет... Наташа, прощай! Прощай... да!

Наташа (входя). Не здоровался, а прощаешься..

Актер (загораживая ей дорогу). Я – уезжаю, ухожу... Настанет весна – и меня больше нет...

Наташа. Пусти-ка... куда это ты?

Актер. Искать город... лечиться... Ты – тоже уходи... Офелия... иди в монастырь..
Понимаешь – есть лечебница для организмов... для пьяниц... Превосходная лечебница..
Мрамор... мраморный пол! Свет... чистота, пища... всё – даром! И мраморный пол, да! Я
ее найду, вылечусь и... снова буду... Я на пути к возрождению... как сказал... король...
Лир! Наташа... по сцене мое имя Сверчков-Заволжский... никто этого не знает, никто!
Нет у меня здесь имени... Понимаешь ли ты, как это обидно – потерять имя? Даже
собаки имеют клички...

(Наташа осторожно обходит Актера, останавливается у кровати Анны, смотрит.)
Актер. Без имени – нет человека...

Наташа. Гляди... голубчик... померла ведь...

Актер (качая головой). Не может быть...

Наташа (отступая). Ей-богу... смотри...

Бубнов (в двери). Чего смотреть?

Наташа. Анна-то... померла!

Бубнов. Кашлять перестала, значит. (Идет к постели Анны, смотрит, идет на свое место.)
Надо Клещу сказать... это – его дело...

Актер. Я иду... скажу... потеряла имя!.. (Уходит.)

Наташа (посреди комнаты). Вот и я... когда-нибудь так же... в подвале... забитая...

Бубнов (расстилая на своих нарах какое-то тряпье). Чего? Ты чего бормочешь?

Наташа. Так... про себя...

Бубнов. Ваську ждешь? Гляди – сломит тебе голову Васька...

Наташа. А не всё равно – кто сломит? Уж пускай лучше он...

Бубнов (ложится). Ну, твое дело...

Наташа. Ведь вот... хорошо, что она умерла... а жалко... Господи!.. Зачем жил человек?

Бубнов. Все так: родятся, поживут, умирают. И я помру... и ты... Чего жалеть?

(Входят: Лука, Татарин, Кривой Зоб и Клещ. Клещ идет сзади всех, медленно, съжившись.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Наташа. Ш-ш! Анна...

Кривой Зоб. Слышали... царство небесное, коли померла...

Татарин (Клещу). Надо вон тащить! Сени надо тащить! Здесь – мертвый – нельзя, здесь – живой спать будет...

Клещ (негромко). Вытащим...

(Все подходят к постели. Клещ смотрит на жену через плечи других.)

Кривой Зоб (Татарину). Ты думаешь – дух пойдет? От нее духа не будет... она вся еще живая высохла...

Наташа. Господи! Хоть бы пожалели... хоть бы кто слово сказал какое-нибудь! Эх вы...

Лука. Ты, девушка, не обижайся... ничего! Где им... куда нам – мертвых жалеть? Э, милая! Живых – не жалеем... сами себя пожалеть-то не можем... где тут!

Бубнов (зевая). И опять же – смерть слова не боится!.. Болезнь – боится слова, а смерть – нет!

Татарин (отходя). Полицию надо...

Кривой Зоб. Полицию – это обязательно! Клещ! Полиции заявил?

Клещ. Нет... Хоронить надо... а у меня сорок копеек всего...

Кривой Зоб. Ну, на такой случай – займи... а то мы соберем... кто пятак, кто – сколько может... А полиции заяви... скорее! А то она подумает – убил ты бабу... или что... (Идет к нарам и собирается лечь рядом с Татаринком.)

Наташа (отходя к нарам Бубнова). Вот... будет она мне сниться теперь... мне всегда покойники снятся... Боюсь идти одна... в сенях – темно...

Лука (следуя за ней). Ты – живых опасайся... вот что я скажу...

Наташа. Проводи меня, дедушка...

Лука. Идем... идем, провожу!

(Уходят. Пауза.)

Кривой Зоб. Охо-хо-о! Асан! Скоро весна, друг... тепло нам жить будет! Теперь уж в деревнях мужики сохи, бороны чинят... пахать налаживаются... н-да! А мы... Асан!.. Дрыхнет уж, Магомет окаянный...

Бубнов. Татары спать любят...

Клещ (стоит посредине ночлежки и тупо смотрит пред собой). Чего же мне теперь делать?

Кривой Зоб. Ложись да спи... только и всего...

Клещ (тихо). А... она... как же?

(Никто не отвечает ему. Сатин и Актер входят.)
Актер (кричит). Старик! Сюда, мой верный Кент...

Сатин. Миклуха-Маклай идет... х-хо!

Актер. Кончено и решено! Старик, где город... где ты?

Сатин. фата-моргана! Наврал тебе старик... ничего нет! Нет городов, нет людей... ничего нет!

Актер. Врешь!

Татарин (вскакивая). Где хозяин? Хозяину иду! Нельзя спать – нельзя деньги

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
братъ... Мертвые... пьяные... (Быстро уходит. Сатин свистит вслед ему.)

Бубнов (сонным голосом). Ложись, ребята, не шуми... ночью – спать надо!

Актер. Да... здесь – ага! Мертвец... «Наши сети притащили мертвеца»... стихотворение... Б-беранжера!

Сатин (кричит). Мертвецы – не слышат! Мертвецы не чувствуют... Кричи... реви... мертвецы не слышат!..

(В двери является Лука.)

Занавес

Акт третий

«Пустырь» – засоренное разным хламом и заросшее бурьяном дворовое место. В глубине его – высокий кирпичный брандмауер. Он закрывает небо. Около него – кусты бузины. Направо – темная, бревенчатая стена какой-то надворной постройки – сарая или конюшни. А налево – серая, покрытая остатками штукатурки стена того дома, в котором помещается ночлежка Костылевых. Она стоит наискось, так что ее задний угол выходит почти на середину пустыря. Между ею и красной стеной – узкий проход. В серой стене два окна: одно – в уровень с землей, другое – аршина на два выше и ближе к брандмауеру. У этой стены лежат розвальни кверху полозьями и обрубок бревна, длиной аршина в четыре. Направо у стены – куча старых досок, брусьев. Вечер, заходит солнце, освещая брандмауер красноватым светом. Ранняя весна, недавно стаял снег. Черные сучья бузины еще без почек. На бревне сидят рядом Наташа и Настя. На дровнях – Лука и Барон. Клещ лежит на куче дерева у правой стены. В окне у земли – рожа Бубнова.

Настя (закрыв глаза и качая головой в такт словам, певуче рассказывает). Вот приходит он ночью в сад, в беседку, как мы уговорились... а уж я его давно жду и дрожу от страха и горя. Он тоже дрожит весь и – белый, как мел, а в руках у него леворверт...

Наташа (грызет семечки). Ишь! Видно, правду говорят, что студенты – отчаянные...

Настя. И говорит он мне страшным голосом: «Драгоценная моя любовь...»

Бубнов. Хо-хо! Драгоценная?

Барон. погоди! Не люблю – не слушай, а врать не мешай... Дальше!

Настя. «Ненаглядная, говорит, моя любовь! Родители, говорит, согласия своего не дают, чтобы я венчался с тобой... и грозят меня навеки проклясть за любовь к тебе. Ну и должен, говорит, я от этого лишиться себя жизни...» А леворверт у него – огромный и заряжен десятью пулями... «Прощай, говорит, любезная подруга моего сердца! – решил я бесповоротно... жить без тебя – никак не могу». И отвечала я ему: «Незабвенный друг мой... Рауль...»

Бубнов (удивленный). Чего-о? Как? Краул?

Барон (хохочет.) Настька! Да ведь... ведь прошлый раз – Гастон был!

Настя (вскакивая). Молчите... несчастные! Ах... бродячие собаки! Разве... разве вы можете понимать... любовь? Настоящую любовь? А у меня – была она... настоящая! (Барону.) Ты! Ничтожный!.. Образованный ты человек... говоришь – лежа кофей пил...

Лука. А вы – погоди-ите! Вы – не мешайте! Уважьте человеку... не в слове – дело, а – почему слово говорится? – вот в чем дело! Рассказывай, девушка, ничего!

Бубнов. Раскрашивай, ворона, перья... валяй!

Барон. Ну – дальше!

Наташа. Не слушай их... что они? Они – из зависти это... про себя им сказать нечего...

Настя (снова садится). Не хочу больше! Не буду говорить... Коли они не верят... коли смеются... (Вдруг, прерывая речь, молчит несколько секунд и, вновь закрыв глаза, продолжает горячо и громко, помахивая рукой в такт речи и точно вслушиваясь в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
отдаленную музыку.) И вот – отвечаю я ему: «Радость жизни моей! Месяц ты мой
ясный! И мне без тебя тоже вовсе невозможно жить на свете... потому как люблю я
тебя безумно и буду любить, пока сердце бьется во груди моей! Но, говорю, не
лишай себя молодой твоей жизни... как нужна она дорогим твоим родителям, для
которых ты – вся их радость... Брось меня! Пусть лучше я пропаду... от тоски по
тебе, жизнь моя... я – одна... я – таковская! Пускай уж я... погибаю, – всё равно! Я –
никуда не поеду... и нет мне ничего... нет ничего...» (Закрывает лицо руками и
беззвучно плачет.)

Наташа (отвертываясь в сторону, негромко). Не плачь... не надо!

(Лука, улыбаясь, гладит голову Насти.)
Бубнов (хохочет). Ах... чертова кукла! а?

Барон (тоже смеется). Дедка! Ты думаешь – это правда? Это всё из книжки «Роковая
любовь»... Всё это – ерунда! Брось ее!..

Наташа. А тебе что? Ты! Молчи уж... коли бог убил...

Настя (яростно). Пропадающая душа. Пустой человек! Где у тебя – душа?

Лука (берет Настю за руку). Уйдем, милая! ничего... не сердись! Я – знаю... Я –
верю! Твоя правда, а не ихняя... Коли ты веришь, была у тебя настоящая любовь...
значит – была она! Была! А на него – не сердись, на сожителя-то... Он... может, и
впрямь из зависти смеется... у него, может, вовсе не было настоящего-то... ничего не
было! Пойдем-ка!..

Настя (крепко прижимая руки ко груди). Дедушка! Ей-богу... было это! Всё было!..
Студент он... француз был... Гастошей звали... с черной бородкой... в лаковых сапогах
ходил... разрази меня гром на этом месте! И так он меня любил... так любил!

Лука. Я – знаю! Ничего! Я верю! В лаковых сапогах, говоришь? А-яй-ай! Ну – и ты
его тоже – любила?

(Уходят за угол.)

Барон. Ну и глупа же эта девица... добрая, но... глупа – нестерпимо!

Бубнов. И чего это... человек врать так любит? Всегда – как перед следователем
стоит... право!

Наташа. Видно, вранье-то... приятнее правды... Я – тоже...

Барон. Что – тоже? Дальше?!

Наташа. Выдумываю... Выдумываю и – жду...

Барон. Чего?

Наташа (смушенно улыбаясь). Так... Вот, думаю, завтра... приедет кто-то... кто-нибудь...
особенный... Или – случится что-нибудь... тоже – небывалое... Подолгу жду... всегда –
жду... А так... на самом деле – чего можно ждать?

(Пауза.)

Барон (с усмешкой). Нечего ждать... Я – ничего не жду! Всё уже... было! Прошло...
кончено!.. Дальше!

Наташа. А то... вообразу себе, что завтра я... скоростижно помру... И станет от
этого – жутко... Летом хорошо вообразать про смерть... грозы бывают летом... всегда
может грозой убить...

Барон. Нехорошо тебе жить... эта сестра твоя... дьявольский характер!

Наташа. А кому – хорошо жить? Всем плохо... я вижу...

Клещ (до этой поры неподвижный и безучастный – вдруг вскакивает). Всем? Врешь!
Не всем! Кабы – всем... пускай! Тогда – не обидно... да!

Бубнов. Что тебя – черт боднул? Ишь ты... взвыл как!

(Клещ снова ложится на свое место и ворчит.)

Барон. А... надо мне к Настёнке мириться идти... не помирись – на выпивку не даст...

Бубнов. Мм... Любят врать люди... Ну, Настька... дело понятное! Она привыкла рожу себе подкрашивать... вот и душу хочет подкрасить... румянец на душу наводит... А... другие – зачем? Вот – Лука, примерно... много он врет... и без всякой пользы для себя... Старик уж... Зачем бы ему?

Барон (усмехаясь, отходит). У всех людей – души серенькие... все подрумяниться желают...

Лука (выходит из-за угла). Ты, барин, зачем девку тревожишь? Ты бы не мешал ей... пускай плачет-забавляется... Она ведь для своего удовольствия слезы льет... чем тебе это вредно?

Барон. Глупо, старик! Надоела она... Сегодня – Рауль, завтра – Гастон... а всегда одно и то же! Впрочем – я иду мириться с ней... (Уходит.)

Лука. Поди-ка, вот... приласкай! Человека приласкать – никогда не вредно...

Наташа. Добрый ты, дедушка... Отчего ты – такой добрый?

Лука. Добрый, говоришь? Ну... и ладно, коли так... да! (За красной стеной тихо звучит гармоника и песня.) Надо, девушка, кому-нибудь и добрым быть... жалеть людей надо! Христос-от всех жалел и нам так велел... Я те скажу – вовремя человека пожалеть... хорошо бывает! Вот, примерно, служил я сторожем на даче... у инженера одного под Томском-городом... Ну, ладно! В лесу дача стояла, место – глухое... а зима была, и – один я, на даче-то... Славно-хорошо! Только раз – слышу – лезут!

Наташа. Воры?

Лука. Они. Лезут, значит, да!.. Взял я ружьишко, вышел... Гляжу – двое... открывают окно – и так занялись делом, что меня и не видят. Я им кричу: ах вы!.. пошли прочь!.. А они, значит, на меня с топором... Я их упреждаю – отстаньте, мол! А то сейчас – стрелю!.. Да ружьишко-то то на одного, то на другого и навожу. Они – на колени пали: дескать, – пусти! Ну, а я уж того... осердился... за топор-то, знаешь! Говорю – я вас, лешие, прогонял, не шли... а теперь, говорю, ломай ветки один который-нибудь! Наломали они. Теперь, приказываю, один – ложись, а другой – пори его! Так они, по моему приказу, и выпороли дружка дружку. А как выпоролись они... и говорят мне – дедушка, говорят, дай хлебца Христа ради! Идем, говорят, не жрамши. Вот те и воры, милая... (смеется) ... вот те и с топором! Да... Хорошие мужики оба... Я говорю им: вы бы, лешие, прямо бы хлеба просили. А они – надоело, говорят... просишь-просишь, а никто не дает... обидно!.. Так они у меня зиму и жили. Один, – Степаном звать, – возьмет, бывало, ружьишко и закатится в лес... А другой – Яков был, всё хворал, кашлял всё... Втроем, значит, мы дачу-то и стерегли. Пришла весна – прощай, говорят, дедушка! И ушли... в Россию побрели...

Наташа. Они – беглые? Каторжане?

Лука. Действительно – так, – беглые... с поселенья ушли... Хорошие мужики!.. Не пожалей я их – они бы, может, убили меня... али еще что... А потом – суд, да тюрьма, да Сибирь... что толку? Тюрьма – добру не научит, и Сибирь не научит... а человек – научит... да! Человек – может добру научить... очень просто!

(Пауза.)

Бубнов. Мм-да!.. А я вот... не умею врать! Зачем? По-моему – вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?

Клещ (вдруг снова вскакивает, как оboжженный, и кричит). Какая – правда? Где – правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот – правда! Работы нет... силы нет! Вот – правда! Пристанница... пристанища нету! Издыхать надо... вот она, правда! Дьявол! На... на что мне она – правда? Дай вздохнуть... вздохнуть дай! Чем я виноват?.. За что мне – правду? Жить – дьявол – жить нельзя... вот она – правда!..

Бубнов. Вот так... забрало!..

Лука. Господи Иисусе... слышь-ка, милый! Ты...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Клещ (дрожит от возбуждения). Говорите тут – пра-авда! Ты, старик, утешаешь всех... Я тебе скажу... ненавижу я всех! И эту правду... будь она, окаянная, проклята! Понял? Пойми! Будь она – проклята! (Бежит за угол, оглядываясь.)

Лука. Ай-яй-ай! Как встревожился человек... И куда побежал?

Наташа. Всё равно как рехнулся...

Бубнов. Здорово пущено! Как в театре разыграл... Бывает это, частенько... Не привык еще к жизни-то...

Пепел (медленно выходит из-за угла). Мир честной компании! Что, Лука, старец лукавый, всё истории рассказываешь?

Лука. Видел бы ты... как тут человек кричал!

Пепел. Это Клещ, что ли? Чего он? Бежит, как ошпаренный...

Лука. Побежишь, если этак... к сердцу подступит...

Пепел (садится). Не люблю его... больно он зол да горд. (Передразнивая Клеща.) «Я – рабочий человек». И – все его ниже будто... Работай, коли нравится... чем же гордиться тут? Ежели людей по работе ценить... тогда лошадь лучше всякого человека... возит и – молчит! Наташа! Твои – дома?

Наташа. На кладбище ушли... потом – ко всеобщей хотели...

Пепел. То-то, я гляжу, свободна ты... редкость!

Лука (задумчиво, Бубнову). Вот... ты говоришь – правда... Она, правда-то, – не всегда по недугу человеку... не всегда правдой душу вылечишь... Был, примерно, такой случай: знал я одного человека, который в праведную землю верил...

Бубнов. Во что-о?

Лука. В праведную землю. Должна, говорил, быть на свете праведная земля... в той, дескать, земле – особые люди населяют... хорошие люди! друг дружку они уважают, друг дружке – завсяко-просто – помогают... и всё у них славно-хорошо! И вот человек всё собирался идти... праведную эту землю искать... Был он – бедный, жил – плохо... и когда приходилось ему так уж трудно, что хоть ложись да помирай, – духа он не терял, а всё, бывало, усмехался только да высказывал: «Ничего! потерплю! Еще несколько – пожду... а потом – брошу всю эту жизнь и – уйду в праведную землю...» Одна у него радость была – земля эта...

Пепел. Ну? Пошел?

Бубнов. Куда? Хо-хо!

Лука. И вот в это место – в Сибири дело-то было – прислали ссыльного, ученого... с книгами, с планами он, ученый-то, и со всякими штуками... Человек и говорит ученому: «Покажи ты мне, сделай милость – где лежит праведная земля и как туда дорога?» Сейчас это ученый книги раскрыл, планы разложил... глядел-гляддел – нет нигде праведной земли! Всё верно, все земли показаны, а праведной – нет!..

Пепел (негромко). Ну? Нету?

(Бубнов хохочет.)

Наташа. Погоди ты... ну, дедушка?

Лука. Человек – не верит... Должна, говорит, быть... ищи лучше! А то, говорит, книги и планы твои – ни к чему, если праведной земли нет... Ученый – в обиду. Мои, говорит, планы самые верные, а праведной земли вовсе нигде нет. Ну, тут и человек рассердился – как так? Жил-жил, терпел-терпел и всё верил – есть! а по планам выходит – нету! Грабеж!.. И говорит он ученому: «Ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый...» Да в ухо ему – раз! Да еще!.. (Помолчав.) А после того пошел домой и – удавился!..

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
(Все молчат, Лука, улыбаясь, смотрит на Пепла и Наташу.)
Пепел (негромко). Ч-черт те возьми... история – невеселая...

Наташа. Не стерпел обмана...

Бубнов (угрюмо). Всё – сказки...

Пепел. Н-да... вот те и праведная земля... не оказалось, значит...

Наташа. Жалко... человека-то...

Бубнов. Всё – выдумки... тоже! Хо-хо! Праведная земля! Туда же! Хо-хо-хо!
(Исчезает из окна.)

Лука (кивая головой на окно Бубнова). Смеется! Эхе-хе... (Пауза.) Ну, ребята!.. живите богато! Уйду скоро от вас...

Пепел. Куда теперь?

Лука. В хохлы... Слышал я – открыли там новую веру... поглядеть надо... да!.. Всё ищут люди, всё хотят – как лучше... Дай им, господи, терпенья!

Пепел. Как думаешь... найдут?

Лука. Люди-то? Они – найдут! Кто ищет – найдет... Кто крепко хочет – найдет!

Наташа. Кабы нашли что-нибудь... придумали бы получше что...

Лука. Они – придумают! Помогать только надо им, девонька... уважать надо...

Наташа. Как я помогу? Я сама... без помощи...

Пепел (решительно). Опять я... снова я буду говорить с тобой... Наташа... Вот – при нем... он – всё знает... Иди... со мной!

Наташа. Куда? По тюрьмам?

Пепел. Я сказал – брошу воровство! Ей-богу – брошу! Коли сказал – сделаю! Я – грамотный... буду работать... Вот он говорит – в Сибирь-то по своей воле надо идти... Едем туда, ну?.. Ты думаешь – моя жизнь не претит мне? Эх, Наташа! Я знаю... вижу!.. Я утешаю себя тем, что другие побольше моего воруют, да в чести живут... только это мне не помогает! Это... не то! Я – не каюсь... в совесть я не верю... Но – я одно чувствую: надо жить... иначе! Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать...

Лука. Верно, милый! Дай тебе господи... помоги тебе Христос! Верно: человек должен уважать себя...

Пепел. Я – сызмалетства – вор... все всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька! Ага? Так? Ну – нате! Вот – я вор!.. Ты пойми: я, может быть, со зла вор-то... оттого я вор, что другим именем никто никогда не догадался назвать меня... Назови ты... Наташа, ну?

Наташа (грустно). Не верю я как-то... никаким словам... И беспокойно мне сегодня... сердце щемит... будто жду я чего-то. Напрасно ты, Василий, разговор этот сегодня завел...

Пепел. Когда же? Я не первый раз говорю...

Наташа. И что же я с тобой пойду? ведь... любить тебя... не очень я люблю... Иной раз – нравишься ты мне... а когда – глядеть на тебя тошно... Видно – не люблю я тебя... когда любят – плохого в любимом не видят... а я – вижу...

Пепел. Полюбишь – не бойся! я тебя приучу к себе... ты только согласишься! Больше года я смотрел на тебя... вижу, ты девица строгая... хорошая... надежный человек... Очень полюбил тебя!..

(Василиса, нарядная, является в окне и, стоя у косяка, слушает.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Наташа. Так. Меня – полюбил, а сестру мою...

Пепел (смущенно). Ну, что она? Мало ли... эдаких-то...

Лука. Ты... ничего, девушка! Хлеба нету, – лебеду едят... если хлебушка-то нету...

Пепел (угрюмо). Ты... пожалей меня! Несладко живу... волчья жизнь – мало радует... Как в трясине тону... за что ни схватишься... всё – гнилое... всё – не держит... Сестра твоя... я думал, она... не то... Ежели бы она... не жадная до денег была – я бы ее ради... на всё пошел!.. Лишь бы она – вся моя была... Ну, ей другого надо... ей – денег надо... и воли надо... а воля ей – чтобы развратничать. Она – помочь мне не может... А ты – как молодая елочка – и колешься, а сдержишь...

Лука. И я скажу – иди за него, девонька, иди! Он – парень ничего, хороший! Ты только почаще напоминай ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не забывал про это! Он тебе – поверит... Ты только поговаривай ему: «Вася, мол, ты – хороший человек... не забывай!» Ты подумай, милая, куда тебе идти кроме-то? Сестра у тебя – зверь злой... про мужа про ее – и сказать нечего: хуже всяких слов старик... И вся эта здешняя жизнь... Куда тебе идти? А парень – крепкий...

Наташа. Идти некуда... я знаю... думала... Только вот... не верю я никому... А идти мне – некуда...

Пепел. Одна дорога... ну, на эту дорогу я не допущу... Лучше убью...

Наташа (улыбаясь). Вот... еще не жена я тебе, а уж хочешь убить.

Пепел (обнимает ее). Брось, Наташа! Всё равно!..

Наташа (прижимаясь к нему). Ну... одно я тебе скажу, Василий... вот как перед богом говорю! – как только ты меня первый раз ударишь... или иначе обидишь... я – себя не пожалею... или сама удавлюсь, или...

Пепел. Пускай у меня рука отсохнет, коли я тебя трону!..

Лука. Ничего, не сомневайся, милая! Ты ему нужнее, чем он – тебе...

Василиса (из окна). Вот и сосватались! Совет да любовь!

Наташа. Пришли!.. ох, господи! Видели... эх, Василий!

Пепел. Чего ты испугалась? Теперь никто не смеет тронуть тебя!

Василиса. Не бойся, Наталья! Он тебя бить не станет... Он ни бить, ни любить не может... я знаю!

Лука (негромко). Ах, баба... гадюка ядовитая...

Василиса. Он больше на словах удал...

Костылев (выходит). Наташка! Ты что тут делаешь, дармоедка? Сплетни плетешь? На родных жалуешься? А самовар не готов? На стол не собрано?

Наташа (уходя). Да ведь вы в церковь идти хотели...

Костылев. Не твое дело, чего мы хотели! Ты должна свое дело делать... что тебе приказано!

Пепел. Цыц, ты! Она тебе больше не слуга... Наталья, не ходи... не делай ничего!..

Наташа. Ты – не командуй... рано еще! (Уходит.)

Пепел (Костылеву). Будет вам! Поиздевались над человеком... достаточно! Теперь она – моя!

Костылев. Тво-оя? Когда купил? Сколько дал?

(Василиса хохочет.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Лука. Вася! Ты – уйди...

Пепел. Смотрите вы... веселые! Не заплакать бы вам!

Василиса. Ой, страшно! Ой, боюсь!

Лука. Василий – уйди! Видишь, – подстрекает она тебя... подзадоривает – понимаешь?

Пепел. Да... ага! Врет... врешь! Не быть тому, чего тебе хочется!

Василиса. И того не будет, чего я не захочу, Вася!

Пепел (грозит ей кулаком). Поглядим... (Уходит.)

Василиса (исчезая из окна). Устрою я тебе свадьбу!

Костылев (подходит к Луке). Что, старичок?

Лука. Ничего, старичок!..

Костылев. Так... Уходишь, говорят?

Лука. Пора...

Костылев. Куда?

Лука. Куда глаза поведут...

Костылев. Бродяжить, значит... Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?

Лука. Под лежач камень – сказано – и вода не течет...

Костылев. То – камень. А человек должен на одном месте жить... Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет – туда и ползет... Человек должен определять себя к месту... а не путаться зря на земле...

Лука. А если которому – везде место?

Костылев. Стало быть, он – бродяга... бесполезный человек... Нужно, чтобы от человека польза была... чтобы он работал...

Лука. Ишь ты!

Костылев. Да. А как же!.. Что такое... странник? Станный человек... непохожий на других... Ежели он – настояще странен... что-нибудь знает... что-нибудь узнал эдакое... не нужное никому... может, он и правду узнал там... ну, не всякая правда нужна... да! Он – про себя ее храни... и – молчи! Ежели он настояще-то... странен... он – молчит! А то – так говорит, что никому не понятно... И он – ничего не желает, ни во что не мешается, людей зря не мутит... Как люди живут – не его дело... Он должен преследовать праведную жизнь... должен жить в лесах... в тущобах... невидимо! и никому не мешать, никого не осуждать... а за всех – молиться... за все мирские грехи... за мои, за твои... за все! Он для того и суеты мирской бежит... чтобы молиться. Вот как... (Пауза.) А ты... какой ты странник?... Пачпорта не имеешь... Хороший человек должен иметь пачпорт... Все хорошие люди пачпорта имеют... да!..

Лука. Есть – люди, а есть – иные – и человеки...

Костылев. Ты... не мудри! Загадок не загадывай... Я тебя не глупее... Что такое – люди и человеки?

Лука. Где тут загадка? Я говорю – есть земля, неудобная для посева... и есть урожайная земля... что ни посеешь на ней – родит... Так-то вот...

Костылев. Ну? Это к чему же?

Лука. Вот ты, примерно... Ежели тебе сам господь бог скажет: «Михайло! Будь человеком!..» Все равно – никакого толку не будет... как ты есть – так и останешься...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Костылев. А... а – ты знаешь? – у жены моей дядя – полицейский? И если я...

Василиса (входит). Михайла Иваныч, иди чай пить.

Костылев (Луке). Ты... вот что: пошел-ка вон! долой с квартиры!..

Василиса. Да, убирайся-ка, старик!.. Больно у тебя язычок длинен... Да и кто знает?... может, ты беглый какой...

Костылев. Сегодня же чтобы духа твоего не было! А то я... смотри!

Лука. Дядю позовешь? Позови дядю... Беглого, мол, изловил... Награду дядя получить может... копейки три...

Бубнов (в окне). Чем тут торгуют? За что – три копейки?

Лука. Меня вот грозятся продать...

Василиса (мужу). Идем...

Бубнов. За три копейки? Ну, гляди, старик... Они и за копейку продадут...

Костылев (Бубнову). Ты... вытаращился, ровно домовою из-под печки! (Идет с женой.)

Василиса. Сколько на свете темных людей... и жуликов разных!..

Лука. Приятного вам аппетита!..

Василиса (оборачиваясь). Попридержи язык... гриб поганый! (Уходит с мужем за угол.)

Лука. Сегодня в ночь – уйду...

Бубнов. Это – лучше. Вовремя уйти всегда лучше...

Лука. Верно говоришь...

Бубнов. Я – знаю! Я, может, от каторги спасся тем, что вовремя ушел.

Лука. Ну?

Бубнов. Правда. Было так: жена у меня с мастером связалась... Мастер, положим, хороший... очень он ловко собак в енотов перекрашивал... кошек тоже – в кенгурий мех... выхухоль... и всяко. Ловкач. Так вот – связалась с ним жена... и так они крепко друг за друга взялись, что – того и гляди – либо отравят меня, либо еще как со света сживут. Я было – жену бить... а мастер – меня... Очень злобно дрался! Раз – половину бороды выдрал у меня и ребро сломал. Ну и я тоже обозлился... однажды жену по башке железным аршином ткнул... и вообще – большая война началась! Однако вижу – ничего эдак не выйдет... одолевают они меня! И задумал я тут – укокошить жену... крепко задумал! Но вовремя спохватился – ушел...

Лука. Эдак-то лучше! Пускай их там из собак енотов делают!..

Бубнов. Только... мастерская-то на жену была... и остался я – как видишь! Хоть, по правде говоря, пропилил бы я мастерскую... Запой у меня, видишь ли...

Лука. Запой? А-а!

Бубнов. Злущий запой! Как начну я заливать – весь пропьюсь, одна кожа остается... И еще – ленив я. Страсть как работать не люблю!..

(Сатин и Актер входят, споря.)

Сатин. Чепуха! Никуда ты не пойдешь... всё это чертовщина! Старик! Чего ты надул в уши этому огарку?

Актер. Врешь! Дед! Скажи ему, что он – врет! Я – иду! Я сегодня – работал, мел улицу... а водки – не пил! Каково? Вот они – два пятиалтынных, а я – трезв!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Сатин. Нелепо, и всё тут! Дай, я пропью... а то – проиграю...

Актер. Пошел прочь! Это – на дорогу!

Лука (Сатину). А ты – почто его с толку сбиваешь?

Сатин. «Скажи мне, кудесник, любимец богов, – что сбудется в жизни со мною?» Продулся, брат, я – вдребезги! Еще не всё пропало, дед, – есть на свете шулера поумнее меня!

Лука. Веселый ты, Костянтин... приятный!

Бубнов. Актер! Поди-ка сюда!

(Актер идет к окну и садится пред ним на корточки. Вполголоса разговаривают.)
Сатин. Я, брат, молодой – занятен был! Вспомнить хорошо!.. рубаха-парень... плясал великолепно, играл на сцене, любил смешить людей... славно!

Лука. Как же это ты свихнулся со стези своей, а?

Сатин. Какой ты любопытный, старикашка! Всё бы тебе знать... а – зачем?

Лука. Понять хочется дела-то человеческие... а на тебя гляжу – не понимаю! Эдакий ты бравый... Костянтин... неглупый... и вдруг...

Сатин. Тюрьма, дед! Я четыре года семь месяцев в тюрьме отсидел... а после тюрьмы – нет ходу!

Лука. Ого-го! За что сидел-то?

Сатин. За подлеца... убил подлеца в запальчивости и раздражении... В тюрьме я и в карты играть научился...

Лука. А убил – из-за бабы?

Сатин. Из-за родной сестры... Однако – ты отвяжись! Я не люблю, когда меня спрашивают... И... всё это было давно... Сестра – умерла... уже девять лет... прошло... Славная, брат, была человечинка сестра у меня!..

Лука. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь – так взвыл... а-а-йй!

Сатин. Клещ?

Лука. Он. «Работы, кричит, нету... ничего нету!»

Сатин. Привыкнет... Чем бы мне заняться?

Лука (тихо). Гляди! Идет...

(Клещ идет – медленно, низко опустив голову.)

Сатин. Эй, вдовец! Чего нюхалку повесил? Что хочешь выдумать?

Клещ. Думаю... чего делать буду? Инструмента – нет... всё – похороны съели?

Сатин. Я тебе дам совет: ничего не делай! Просто – обременяй землю!..

Клещ. Ладно... говори... Я – стыд имею пред людьми...

Сатин. Брось! Люди не стыдятся того, что тебе хуже собаки живется... Подумай – ты не станешь работать, я – не стану... еще сотни... тысячи, все! – понимаешь? все бросают работать! Никто, ничего не хочет делать – что тогда будет?

Клещ. С голоду подохнут все...

Лука (Сатину). Тебе бы с такими речами к бегунам идти... Есть такие люди, бегуны называются...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Сатин. Я знаю... они – не дураки, дедка!

(Из окна Костылевых доносится крик Наташи: «За что? Постой... за что-о?») Лука (беспокойно). Наташа? Она кричит? а? Ах ты...

(В квартире Костылевых – шум, возня, звон разбитой посуды и визгливый крик Костылева: «А-а... еретица... шкуреха...») Василиса. Стой... погоди... Я ее... вот... вот...

Наташа. Бьют! Убивают...

Сатин (кричит в окно). Эй, вы там!

Лука (суется). Василья бы... позвать бы Васю-то... ах, господи! Братцы... ребята...

Актер (убегая). Вот я... сейчас его...

Бубнов. Ну и часто они ее бить стали.

Сатин. Идем, старик... свидетелями будем!

Лука (идет вслед за Сатиным). Какой я свидетель! Куда уж... Василья-то бы скорее... Э-эхма!..

Наташа. Сестра... сестрица... Ва-а-а...

Бубнов. Рот заткнули... пойду взгляну...

(Шум в квартире Костылевых стихает, удаляясь, должно быть, в сени из комнаты. Слышен крик старика: «Стой!» Громко хлопает дверь, и этот звук, как топором, обрубает весь шум. На сцене – тихо. Вечерний сумрак.) Клещ (безучастно сидит на дровнях, крепко потирает руки. Потом начинает что-то бормотать, сначала – невнятно, далее). Как же?... Надо жить... (Громко.) Пристанище надо... ну? Нет пристанища... ничего нет! Один человек... один, весь тут... Помощи нет...

(Медленно, согнувшись, уходит. Несколько секунд зловещей тишины. Потом – где-то в проходе рождается смутный шум, хаос звуков. Он растет, приближается. Слышны отдельные голоса.) Василиса. Я ей – сестра! Пусти...

Костылев. Какое ты имеешь право?

Василиса. Каторжник...

Сатин. Ваську зови!.. скорее... Зоб – бей его!

(Полицейский свисток.)

Татарин (выбегает. Правая рука у него на перевязи). Какой такой закон есть – днем убивать?

Кривой Зоб (за ним Медведев). Эх, и дал я ему разочек!

Медведев. Ты – как можешь драться?

Татарин. А ты? Твоя какая обязанность?

Медведев (гонится за крючником). Стой! Отдай свисток...

Костылев (выбегает). Абрам! Хватай... бери его! Убил...

(Из-за угла выходят Квашня и Настя – они ведут под руки Наташу, растрепанную. Сатин пятится задом, отталкивая Василису, которая, размахивая руками, пытается ударить сестру. Около нее прыгает, как бесноватый, Алешка, свистит ей в уши, кричит, воет. Потом еще несколько оборванных фигур мужчин и женщин.) Сатин (Василисе). Куда? Сова, проклятая...

Василиса. Прочь, каторжник! Жизни решусь, а – растерзаю...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Квашня (отводя Наташу). А ты, Карповна, полно... постыдись! Что зверствуешь?

Медведев (хватает Сатина). Ага... попал!

Сатин. Зоб! Лупи их!.. Васька... Васька!

(Все сталкиваются в кучу около прохода, у красной стены. Наташу уводят направо и там усаживают на куче дерева.)

Пепел (выскочив из проулка, он молча сильными движениями расталкивает всех). Где – Наталья? Ты...

Костылев (скрываясь за углом). Абрам! Хватай Ваську... Братцы – помогите Ваську взять! Вора... грабителя...

Пепел. А, ты... блудня старая! (Сильно размахнувшись, бьет старика. Костылев падает так, что из-за угла видна только верхняя половина его тела. Пепел бросается к Наташе.)

Василиса. Бейте Ваську! Голубчики... бейте вора!

Медведев (кричит Сатину). Не можешь... тут – дело семейное! Они – родные... а ты кто?

Пепел. Как... Чем она тебя? Ножом?

Квашня. Гляди-ко, звери какие! Кипятком ноги девке сварили...

Настя. Самовар опрокинули...

Татарин. Может – нечаянно... надо – верно знать... нельзя зря говорить...

Наташа (почти в обмороке). Василий... возьми меня... схорони меня...

Василиса. Батюшки! Смотрите-ка... смотрите-ка... помер! Убили...

(Все толпятся у прохода, около Костылева. Из толпы выходит Бубнов, идет к Василию.)

Бубнов (негромко). Васька! Старик-то... того... готов!

Пепел (смотрит на него, как бы не понимая). Иди... зови... в больницу надо... ну, я рассчитаюсь с ними!

Бубнов. Я говорю – старика-то кто-то уложил... (Шум на сцене гаснет, как огонь костра, заливаемый водою. Раздаются отдельные возгласы вполголоса: «Неужто?», «Вот те раз!», «Ну-у?», «Уйдем-ка, брат!», «Ах, черт!», «Теперь – держись!», «Айда прочь, покуда полиции нет!» Толпа становится меньше. Уходят Бубнов, Татарин. Настя и Квашня бросаются к трупам Костылева.)

Василиса (поднимаясь с земли, кричит торжествующим голосом). Убили! Мужа моего... вот кто убил! Васька убил! Я – видела! Голубчики – я видела! Что – Вася? Полиция!

Пепел (отходит от Наташи). Пусти... прочь! (Смотрит на старика. Василисе.) Ну? рада? (Трогает труп ногой.) Околел... старый пес! По-твоему вышло... А... не прихлопнуть ли и тебя? (Бросается на нее; Сатин и Кривой Зоб быстро хватают его. Василиса скрывается в проулке.)

Сатин. Опомнись!

Кривой Зоб. Тпруу! Куда скачешь?

Василиса (появляясь). Что, Вася, мил друг? От судьбы – не уйдешь... Полиция! Абрам... свисти!

Медведев. Свисток сорвали, дьяволы...

Алешка. Вот он! (Свистит. Медведев бежит за ним.)

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Сатин (отводя Пепла к Наташе). Васька – не трусь! Убийство в драке... пустяки! Это – недорого стоит...

Василиса. Держите Ваську! Он убил... я видела!

Сатин. Я тоже раза три ударил старика... Много ли ему надо! Зови меня в свидетели, Васька...

Пепел. Мне... оправдываться не надо... Мне – Василису надо подвести... я же ее подведу! Она этого хотела... Она меня подговаривала мужа убить... подговаривала!..

Наташа (вдруг, громко). А-а... я поняла!.. Так, Василий?! Добрые люди! Они – заодно! Сестра моя и – он... они заодно! Они всё это подстроили! Так, Василий?.. Ты... для того со мной давеча говорил... чтобы она всё слышала? Люди добрые! Она – его любовница... вы – знаете... это – все знают... они – заодно! Она... это она его подговорила мужа убить!.. муж им мешал... и я – мешала... Вот – изувечили меня...

Пепел. Наталья! Что ты... что ты?!

Сатин. Вот так... черт!

Василиса. Врешь! Врет она... я... Он, Васька, убил!

Наташа. Они – заодно! Будь вы прокляты! Вы оба...

Сатин. Н-ну, игра!.. Держись, Василий! Утопят они тебя!..

Кривой Зоб. Понять невозможно!.. Ах ты... дела!

Пепел. Наталья! Неужто ты... вправду? Неужто веришь, что я... с ней...

Сатин. Ей-богу, Наташа, ты... сообрази!

Василиса (в проулке). Убили мужа моего... ваше благородие... Васька Пепел, вор... он убил... господин пристав! Я – видела... все видели...

Наташа (мечется почти в беспамятстве). Люди добрые... сестра моя и Васька убили! Полиция – слушай... Вот эта, сестра моя, научила... уговорила... своего любовника... вот он, проклятый! – они убили! Берите их... судите... Возьмите и меня... в тюрьму меня! Христа ради... в тюрьму меня!..

Занавес

Акт четвертый

Обстановка первого акта. Но комнаты Пепла – нет, переборки сломаны. И на месте, где сидел Клещ, нет наковальни. В углу, где была комната Пепла, лежит Татарин, возится и стонет изредка. За столом сидит Клещ; он чинит гармонию, порою пробуя лады. На другом конце стола – Сатин, Барон и Настя. Пред ними бутылка водки, три бутылки пива, большой ломоть черного хлеба. На печи возится и кашляет Актер. Ночь. Сцена освещена лам- пой, стоящей посреди стола. На дворе – ветер.

Клещ. Д-да... он во время суматохи этой и пропал...

Барон. Исчез от полиции... яко дым от лица огня...

Сатин. Тако исчезают грешники от лица праведных!

Настя. Хороший был старичок!.. А вы... не люди... вы – ржавчина!

Барон (пьет). За ваше здоровье, леди!

Сатин. Любопытный старикан... да! Вот Настёнка – влюбилась в него...

Настя. И влюбилась... и полюбила! Верно! Он – всё видел... всё понимал...

Сатин (смеясь). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Барон (смеясь). Как пластырь для нарывов...

Клещ. Он... жалостливый был... У вас вот... жалости нет...

Сатин. Какая польза тебе, если я тебя пожалею?..

Клещ. Ты – можешь... не то, что пожалеть можешь... ты умеешь не обижать...

Татарин (садится на нарах и качает свою больную руку, как ребенка). Старик хорош был... закон душе имел! Кто закон душа имеет – хорош! Кто закон терял – пропал!..

Барон. Какой закон, князь?

Татарин. Такой... Разный. Знаешь какой...

Барон. Дальше!

Татарин. Не обижай человека – вот закон!

Сатин. Это называется «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»...

Барон. И еще – «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»...

Татарин. Коран называет... ваш Коран должна быть закон... Душа – должен быть Коран... да!

Клещ (пробуя гармонию). Шипит, дьявол!.. А князь верно говорит... надо жить – по закону... по Евангелию...

Сатин. Живи...

Барон. Попробуй...

Татарин. Магомет дал Коран, сказал: «Вот – закон! Делай, как написано тут!» Потом придет время – Коран будет мало... время даст свой закон, новый... Всякое время дает свой закон...

Сатин. Ну да... пришло время и дало «Уложение о наказаниях»... Крепкий закон... не скоро износишь!

Настя (ударяет стаканом по столу). И чего... зачем я живу здесь... с вами? Уйду... пойду куда-нибудь... на край света!

Барон. Без башмаков, леди?

Настя. Голая! На четвереньках поползу!

Барон. Это будет картинно, леди... если на четвереньках...

Настя. Да, и поползу! Только бы мне не видеть твоей рожи... Ах, опротивело мне всё! Вся жизнь... все люди!..

Сатин. Пойдешь – так захвати с собой Актера... Он туда же собирается... ему известно стало, что всего в полуверсте от края света стоит лечебница для органонов...

Актер (высовываясь с печи). Ор-га-низ-мов, дурак!

Сатин. Для органонов, отравленных алкоголем...

Актер. Да! Он – уйдет! Он уйдет... увидите!

Барон. Кто – он, сэр?

Актер. Я!

Барон. Мерси, служитель богини... как ее? Богиня драм, трагедии... как ее звали?

Актер. Муза, болван! Не богиня, а – муза!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Сатин. Лахеза... Гера... Афродита... Атропа... черт их разберет! Это всё старик... навинтил Актера... понимаешь, Барон?

Барон. Старик – глуп...

Актер. Невежды! Дикари! Мель-по-ме-на! Люди без сердца! Вы увидите – он уйдет! «Обжирайтесь, мрачные умы»... стихотворение Беранжера... да! Он – найдет себе место... где нет... нет...

Барон. Ничего нет, сэр?

Актер. Да! Ничего! «Яма эта... будет мне могилой... умираю, немощный и хилый!» Зачем вы живете? Зачем?

Барон. Ты! Кин, или гений и беспутство! Не ори!

Актер. Врешь! Буду орать!

Настя (поднимая голову со стола, взмахивает руками). Кричи! Пусть слушают!

Барон. Какой смысл, леди?

Сатин. Оставь их. Барон! К черту!.. Пускай кричат... разбивают себе головы... пускай! Смысл тут есть!.. Не мешай человеку, как говорил старик... Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам сожителей...

Клещ. Поманил их куда-то... а сам – дорогу не сказал...

Барон. Старик – шарлатан...

Настя. Врешь! Ты сам – шарлатан!

Барон. Цыц, леди!

Клещ. Правды он... не любил, старик-то... Очень против правды восставал... так и надо! Верно – какая тут правда? И без нее – дышать нечем... Вон князь... руку-то раздавил на работе... отпилить напрочь руку-то придется, слышь... вот те и правда!

Сатин (ударяя кулаком по столу). Молчать! Вы – все – скоты! Дубье... молчать о старике! (Спокойнее). Ты, Барон, – всех хуже!.. Ты – ничего не понимаешь... и – врешь! Старик – не шарлатан! Что такое – правда? Человек – вот правда! Он это понимал... вы – нет! Вы – тупы, как кирпичи... Я – понимаю старика... да! Он врал... но – это из жалости к вам, черт вас возьми! Есть много людей, которые лгут из жалости к ближнему... я – знаю! я – читал! Красиво, вдохновенно, возбуждающе лгут!.. Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... Ложь оправдывает ту тяжесть, которая раздавила руку рабочего... и обвиняет умирающих с голода... Я – знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками – тем ложь нужна... одних она поддерживает, другие – прикрываются ею... А кто – сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого – зачем тому ложь? Ложь – религия рабов и хозяев... Правда – бог свободного человека!

Барон. Bravo! Прекрасно сказано! Я – согласен! Ты говоришь... как порядочный человек!

Сатин. Почему же иногда шулеру не говорить хорошо, если порядочные люди... говорят, как шулера? Да... я много позабыл, но – еще кое-что знаю! Старик? Он – умница!.. Он... подействовал на меня, как кислота на старую и грязную монету... Выпьем за его здоровье! Наливай...

(Настя наливает стакан пива и дает Сатину.)

Сатин (усмехаясь). Старик живет из себя... он на всё смотрит своими глазами. Однажды я спросил его: «Дед! зачем живут люди?..» (Стараясь говорить голосом Луки и подражая его манерам.) «А – для лучшего люди-то живут, милочок! Вот, скажем, живут столяры и всё – хлам-народ... И вот от них рождается столяр... такой столяр, какого подобного и не видала земля, – всех превысил, и нет ему во столярах равного. Всему он столярному делу свой облик дает... и сразу дело на двадцать лет вперед двигает... Так же и все другие... слесаря, там... сапожники и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
прочие рабочие люди... и все крестьяне... и даже господа – для лучшего живут! Всяк думает, что для себя проживает, а выходит, что для лучшего! По сту лет... а может, и больше – для лучшего человека живут!»

(Настя упорно смотрит в лицо Сатина. Клещ перестает работать над гармонией и тоже слушает. Барон, низко наклонив голову, тихо бьет пальцами по столу. Актер, высунувшись с печи, хочет осторожно слезть на нары.)
Сатин. «Все, милочок, все, как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и чего сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?... Особливо же деток надо уважать... ребятишек! Ребятишкам – простор надобен! Деткам-то жить не мешайте... Деток уважьте!»

(Смеется тихо. Пауза.)

Барон (задумчиво). Мм-да... для лучшего? Это... напоминает наше семейство... Старая фамилия... времен Екатерины... дворяне... вояки!.. выходцы из Франции... Служили, поднимались всё выше... При Николае Первом дед мой, Густав Дебиль... занимал высокий пост... Богатство... сотни крепостных... лошади... повара...

Настя. Врешь! Не было этого!

Барон (вскакивая). Что-о? Н-ну... дальше?!

Настя. Не было этого!

Барон (кричит). Дом в Москве! Дом в Петербурге! Кареты... кареты с гербами!

(Клещ берет гармонию, встает и отходит в сторону, откуда наблюдает за сценой.)
Настя. Не было!

Барон. Цыц! Я говорю... десятки лакеев!..

Настя (с наслаждением). Н-не было!

Барон. Убью!

Настя (приготовляясь бежать). Не было карет!

Сатин. Брось, Настёнка! Не зли его...

Барон. Подожди... ты, дрянь! Дед мой...

Настя. Не было деда! Ничего не было!

(Сатин хохочет.)

Барон (усталый от гнева, садится на скамью). Сатин, скажи ей... шлюхе... Ты – тоже смеешься? Ты... тоже – не веришь? (Кричит с отчаяньем, ударяя кулаками по столу.)
Было, черт вас возьми!

Настя (торжествуя). А-а, взвыл? Понял, каково человеку, когда ему не верят?

Клещ (возвращаясь к столу). Я думал – драка будет...

Татарин. А-ах, глупы люди! Очень плохо!

Барон. Я... не могу позволить издеваться надо мной! У меня – доказательства есть... документы, дьявол!

Сатин. Брось их! И забудь о каретах дедушки... в карете прошлого – никуда не уедешь...

Барон. Как она смеет, однако!

Настя. Ска-ажите! Как смею!..

Сатин. Видишь – смеет! Чем она хуже тебя? Хотя у нее в прошлом, уж наверное, не было не только карет и – дедушки, а даже отца с матерью...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiytext.ru
Барон (успокаиваясь). Чёрт тебя возьми... ты... умеешь рассуждать спокойно... А у меня... кажется, нет характера...

Сатин. Заведи. Вещь – полезная... (Пауза.) Настя! Ты ходишь в больницу?

Настя. Зачем?

Сатин. К Наташе?

Настя. Хватился! Она – давно вышла... вышла и – пропала! Нигде ее нет...

Сатин. Значит – вся вышла...

Клещ. Интересно – кто кого крепче всадит? Васька – Василису, или она его?

Настя. Василиса – вывернется! Она – хитрая. А Ваську – в каторгу пошлют...

Сатин. За убийство в драке – только тюрьма...

Настя. Жаль. В каторгу – лучше бы... Всех бы вас... в каторгу... смести бы вас, как сор... куда-нибудь в яму!

Сатин (удивленно). Что ты? Сбесилась?

Барон. Вот я ей в ухо дам... за дерзости!

Настя. Попробуй! Тронь!

Барон. Я – попробую!

Сатин. Брось! Не тронь... не обижай человека! У меня из головы вон не идет... этот старик! (Хохочет.) Не обижай человека!.. А если меня однажды обидели и – на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому...

Барон (Насте.) Ты должна понимать, что я – не чета тебе! Ты... мразь!

Настя. Ах ты, несчастный! Ведь ты... ты мной живешь, как червь – яблоком!

(Дружный взрыв хохота мужчин.)

Клещ. Ах... дура! Яблочко!

Барон. Нельзя... сердиться... вот идиотка!

Настя. Смеетесь? Врете! Вам – не смешно!

Актер (мрачно). Катай их!

Настя. Кабы я... могла! я бы вас (берет со стола чашку и бросает на пол) – вот как!

Татарин. Зачем посуда бить? Э-э... болванка!..

Барон (вставая). Нет, я ее сейчас... научу манерам!

Настя (убегая). Чёрт вас возьми!

Сатин (вслед ей). Эй! Полно! Кого ты пугаешь? В чем дело наконец?

Настя. Волки! (Убегает.) Чтоб вам издохнуть! Волки!

Актер (мрачно). Аминь!

Татарин. У-у! Злой баба – русский баба! Дерзкий... вольна! Татарка – нет! Татарка – закон знает!

Клещ. Трепку ей надо дать...

Барон. М-мерзавка!

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Клещ (пробуя гармонию). Готова! А хозяйина ее – всё нет... Горит парнишка...

Сатин. Теперь – выпей!

Клещ. Спасибо! Да и на боковую пора...

Сатин. Привыкаешь к нам?

Клещ (выпив, отходит в угол к нарам). Ничего... Везде – люди... Сначала – не видишь этого... потом – поглядишь, окажется, все люди... ничего!

(Татарин расстилает что-то на нарах, становится на колени и – молится.)
Барон (указывая Сатину на Татарина). Гляди!

Сатин. Оставь! Он – хороший парень... не мешай! (Хохочет.) Я сегодня – добрый... черт знает почему!..

Барон. Ты всегда добрый, когда выпьешь... И умный...

Сатин. Когда я пьян... мне всё нравится. Н-да... Он – молится? Прекрасно! Человек может верить и не верить... это его дело! Человек – свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум – человек за всё платит сам, и потому он – свободен!.. Человек – вот правда! Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они... нет! – это ты, я, они, старик. Наполеон, Магомет... в одном! (Очерчивает пальцем в воздухе фигуру человека.) Понимаешь? Это – огромно! В этом – все начала и концы... Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё же остальное – дело его рук и его мозга! Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо! Выпьем за человека, Барон! (Встает.) Хорошо это... чувствовать себя человеком!.. Я – арестант, убийца, шулер... ну да! Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся, и оглядываются... и часто говорят мне – «Мерзавец! Шарлатан! Работай!» Работать? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хохочет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми... Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек – выше! Человек – выше сытости!..

Барон (качая головой). Ты рассуждаешь... Это – хорошо... это, должно быть, греет сердце... У меня – нет этого... я – не умею! (Оглядывается и – тихо, осторожно.) Я, брат, боюсь... иногда. Понимаешь? Трушу... Потому – что же дальше?

Сатин (ходит). Пустяки! Кого бояться человеку?

Барон. Знаешь... с той поры, как я помню себя... у меня в башке стоит какой-то туман. Никогда и ничего не понимал я. Мне... как-то неловко... мне кажется, что я всю жизнь только переодевался... а зачем? Не понимаю! Учился – носил мундир дворянского института... а чему учился? Не помню... женился – одел фрак, потом – халат... а жену взял скверную и – зачем? Не понимаю... Прожил всё, что было, – носил какой-то серый пиджак и рыжие брюки... а как разорился? Не заметил... Служил в казенной палате... мундир, фуражка с кокардой... растратил казенные деньги, – надели на меня арестантский халат... потом – одел вот это... И всё... как во сне... а? Это... смешно?

Сатин. Не очень... Скорее – глупо...

Барон. Да... и я думаю, что глупо... А... ведь зачем-нибудь я родился... а?

Сатин (смеясь). Вероятно... Человек рождается для лучшего! (Кивая головой.) Так... хорошо!

Барон. Эта... Настька!.. Убежала... куда? Пойду, посмотрю... где она? Все-таки... она... (Уходит. Пауза.)

Актер. Татарин! (Пауза.) Князь!

(Татарин поворачивает голову.)
Актер. За меня... помолись...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Татарин. Чего?

Актер (тише). Помолись... за меня!..

Татарин (помолчав). Сам молись...

Актер (быстро слезает с печи, подходит к столу, дрожащей рукой наливает водки, пьет и – почти бежит – в сени). Ушел!

Сатин. Эй ты, сикамбр! Куда? (Свистит. Входят – Медведев в женской ватной кофте и Бубнов; оба – выпивши, но не очень. В одной руке Бубнова – связка кренделей, в другой – несколько штук воблы, под мышкой – бутылка водки, в кармане пиджака – другая.)

Медведев. Верблюд – он вроде... осла! Только без ушей...

Бубнов. Брось! Ты сам – вроде осла.

Медведев. Ушей вовсе нет у верблюда... он – ноздрей слышит...

Бубнов (Сатину). Друг! я тебя искал по всем трактирам-кабакам! Возьми бутылку, у меня все руки заняты!

Сатин. А ты – положи крендели на стол – одна рука освободится...

Бубнов. Верно! Ах ты... Бутарь, гляди! Вот он, а? Умница!

Медведев. Жулики – все умные... я знаю! Им без ума – невозможно. Хороший человек, он – и глупый хорош, а плохой – обязательно должен иметь ум. Но насчет верблюда ты – неверно... он – животная ездовая... рогов у него нет... и зубов нет...

Бубнов. Где – народ? Отчего здесь людей нет? Эй, вылезай... я – угощаю! Кто в углу?

Сатин. Скоро ты пропьешься? Чучело!

Бубнов. Я – скоро! В этот раз капитал я накопил – коротенький... Зоб! Где Зоб?

Клещ (подходит к столу). Нет его...

Бубнов. У-у-rrrr! Барбос! Бррю, брлю, брлю! Индюк! Не лай, не ворчи! Пей, гуляй, нос не вешай... Я – всех угощаю! Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! С музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу! Бедняк-человек... айда ко мне в бесплатный трактир! Сатин! Я бы... тебя бы... бери половину всех моих капиталов! Вот как!

Сатин. Ты мне сейчас отдай всё...

Бубнов. Весь капитал? Сейчас? На! Вот – рубль... вот еще... двугривенный... пятаки... семишники... всё!

Сатин. Ну и ладно! У меня – целее будет... Сыграю я на них...

Медведев. Я – свидетель... отданы деньги на сохранение... числом – сколько?

Бубнов. Ты? Ты – верблюд... Нам свидетелей не надо...

Алешка (входит босый). Братцы! Я ноги промочил!

Бубнов. Иди – промочи горло... Только и всего! Милый ты... поешь ты и играешь... очень это хорошо! А – пьешь – напрасно! Это, брат, вредно... пить – вредно!..

Алешка. По тебе вижу! Ты – только пьяный и похож на человека... Клещ! Гармошку – починил? (Поет, приплясывая.)

Эх, кабы мое рыло
Не красиво было,
Так меня бы кума моя

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Вовсе не любила!
Озяб я, братцы! Х-холодно!

Медведев. Мм... а если спросить – кто такая кума?

Бубнов. Отстань! Ты, брат, теперь – тю-тю! Ты уж не бутושник... кончено! И не бутושник, и не дядя...

Алешка. А просто – теткин муж!

Бубнов. Одна твоя племянница – в тюрьме, другая – помирает...

Медведев (гордо). Врешь! Она – не помирает: она у меня без вести пропала!

(Сатин хохочет.)

Бубнов. Всё равно, брат! Человек без племянниц – не дядя!

Алешка. Ваше превосходительство! Отставной козы барабанщик!

У кумы – есть деньги,
У меня – ни гроша!
Зато я веселый мальчик,
Зато я – хороший!
Холодно!

(Входит Кривой Зоб; потом – до конца акта – еще несколько фигур мужчин и женщин. Они раздеваются, укладываются на нары, ворчат.)
Кривой Зоб. Бубнов! Ты чего сбежал?

Бубнов. Иди сюда! Садись... Запоем мы, брат! Любимую мою... а?

Татарин. Ночь – спать надо! Песня петь днем надо!

Сатин. Ну, ничего, князь! Ты – иди сюда!

Татарин. Как – ничего? Шум будет... когда песня поют, шум бывает...

Бубнов (идя к нему). Князь! Что – рука? Отрезали тебе руку?

Татарин. Зачем? Погодим... может – не надо резать... Рука – не железный, резать – недолго...

Кривой Зоб. Яман твое дело, Асанка! Без руки ты – никуда не годишься! Наш брат по рукам да по спине ценится... Нет руки – и человека нет! Табак твое дело!.. Иди водку пить... больше никаких!

Квашня (входит). Ах, жители вы мои милые! На дворе-то, на дворе-то! Холод, слякоть... Бутושник мой здесь? Бутарь!

Медведев. Я!

Квашня. Опять мою кофту таскаешь? И как будто ты... немножко того, а? Ты что же это?

Медведев. По случаю именин... Бубнов... и – холодно... слякоть!

Квашня. Ты гляди у меня... слякоть! Не балуй... Иди-ка спать...

Медведев (уходит в кухню). Спать – я могу... я хочу... пора!

Сатин. Ты чего... больно строга с ним?

Квашня. Нельзя, дружок, иначе. Подобного мужчину надо в строгости держать. Я его в сожители взяла, – думала, польза мне от него будет... как он – человек военный, а вы – люди буйные... мое же дело – бабье... А он – пить! Это мне ни к чему!

Сатин. Плохо ты выбрала помощника...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

Квашня. Нет – лучше-то... Ты со мной жить не захочешь... ты вон какой! А и станешь жить со мной – не больше недели сроку... проиграешь меня в карты со всей моей требухой!

Сатин (хохочет). Это верно, хозяйка! Проиграю...

Квашня. То-то! Алешка!

Алешка. Вот он – я!

Квашня. Ты – что про меня болтаешь?

Алешка. Я? Всё! Всё по совести. Вот, говорю, баба! Удивительная! Мяса, жиру, кости – десять пудов, а мозгу – золотника нету!

Квашня. Ну, это ты врешь! Мозг у меня даже очень есть... Нет, ты зачем говоришь, что я бутшника моего бью?

Алешка. Я думал, ты его била, когда за волосы таскала...

Квашня (смеясь). Дурак! А ты – будто не видишь. Зачем сор из избы выносить?... И, опять же, обидно ему... Он от твоего разговору пить начал...

Алешка. Стало быть, правду говорят, что и курица пьет!

(Сатин, Клещ – хохочут.)

Квашня. У, зубоскал! И что ты за человек, Алешка?

Алешка. Самый первый сорт человек! На все руки! Куда глаз мой глянет, туда меня и тянет!

Бубнов (около нар Татарина). Идем! Всё равно – спать не дадим! Петь будем... всю ночь! Зоб!

Кривой Зоб. Петь? Можно...

Алешка. А я – подыграю!

Сатин. Послушаем!

Татарин (улыбаясь). Ну, шайтан Бубна... подноси вина! Пить будим, гулять будим, смерть пришел – помирать будим!

Бубнов. Наливай ему, Сатин! Зоб, садись! Эх, братцы! Много ли человеку надо? Вот я – выпил и – рад! Зоб!.. Затягивай... любимую! Запою... заплачу!..

Кривой Зоб (запевает).

Со-олнце всходит и захо-оди-ит...

Бубнов (подхватывая).

А-а в тюрьме моей темно-о!

(Дверь быстро отворяется.)

Барон (стоя на пороге, кричит). Эй... вы! Иди... идите сюда! На пустыре... там... Актер... удавился! (Молчание. Все смотрят на Барона. Из-за его спины появляется Настя и медленно, широко раскрыв глаза, идет к столу.)

Сатин (негромко). Эх... испортил песню... дуррак!

Занавес

1902

Публицистика

Из сборника «Несвоевременные мысли»

I

Русский народ обвенчался со Свободой. Будем верить, что от этого союза в нашей стране, измученной и физически, и духовно, родятся новые сильные люди.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Будем крепко верить, что в русском человеке разгорятся ярким огнем силы его разума и воли, силы, погашенные и подавленные вековым гнетом полицейского строя жизни.

Но нам не следует забывать, что все мы – люди вчерашнего дня и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма.

Мы выросли в атмосфере «подполья»; то, что мы называли легальной деятельностью, было, в сущности своей, или лучеиспусканием в пустоту, или же мелким политиканством групп и личностей, междоусобной борьбой людей, чувство собственного достоинства которых выродилось в болезненное самолюбие.

Живя среди отравлявших душу безобразий старого режима, среди анархии, рожденной им, видя, как безграничны пределы власти авантюристов, которые правили нами, мы – естественно и неизбежно – заразились всеми пагубными свойствами, всеми навыками и приемами людей, презиравших нас, издевавшихся над нами.

Нам негде и не на чем было развить в себе чувство личной ответственности за несчастья страны, за ее постыдную жизнь, мы отравлены трупным ядом издохшего монархизма.

Публикуемые в газетах списки «секретных сотрудников Охранного отделения», – это позорный обвинительный акт против нас, это один из признаков социального распада и гниения страны, – признак грозный.

Есть и еще много грязи, ржавчины и всяческой отравы, все это не скоро исчезнет; старый порядок разрушен физически, но духовно он остается жить и вокруг нас, и в нас самих. Многоглавая гидра невежества, варварства, глупости, пошлости и хамства не убита; она испугана, спряталась, но не потеряла способности пожирать живые души.

Не нужно забывать, что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного. Люди, которые не знают, чего они хотят, – это люди опасные политически и социально. Масса обывателя еще не скоро распределится по своим классовым путям, по линиям ясно сознанных интересов, она не скоро организуется и станет способна к сознательной и творческой социальной борьбе. И до поры, пока не организуется, она будет питать своим мутным и нездоровым соком чудовищ прошлого, рожденных привычным обывателю полицейским строем.

Можно бы указать и еще на некоторые угрозы новому строю, но говорить об этом преждевременно да, пожалуй, и нецензурно.

Мы переживаем момент в высшей степени сложный, требующий напряжения всех наших сил, упорной работы и величайшей осторожности в решениях. Нам не нужно забывать роковых ошибок 905–6 гг., – зверская расправа, последовавшая за этими ошибками, обессилила и обезглавила нас на целое десятилетие. За это время мы политически и социально развратились, а война, истребив сотни тысяч молодежи, еще больше подорвала наши силы, подорвав под корень экономическую жизнь страны.

Поколению, которое первым примет новый строй жизни, свобода досталась дешево; это поколение плохо знает страшные усилия людей, на протяжении целого века постепенно разрушавших мрачную крепость русского монархизма. Обыватель не знал той адовой, кротовой работы, которая сделана для него, – этот каторжный труд неведом не только одному обывателю десятисот уездных городов российских.

Мы собираемся и мы обязаны строить новую жизнь на началах, о которых издавна мечтали. Мы понимаем эти начала разумом, они знакомы нам в теории, но – этих начал нет в нашем инстинкте, и нам страшно трудно будет ввести их в практику жизни, в древний русский быт. Именно нам трудно, ибо мы, повторяю, народ совершенно невоспитанный социально, и так же мало воспитана в этом отношении наша буржуазия, ныне идущая к власти. И надо помнить, что буржуазия берет в свои руки не государство, а развалины государства, она берет эти хаотические развалины при условиях, неизмеримо более трудных, чем условия 5–6 года. Поймет ли она, что ее работа будет успешна только при условии прочного единения с демократией и что дело укрепления позиций, отнятых у старой власти, не будет прочно при всех иных условиях? Несомненно, что буржуазия должна поправить, но с

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
этим не нужно торопиться, чтобы не повторить мрачной ошибки 6-го года.

В свою очередь, революционная демократия должна бы усвоить и почувствовать свои общегосударственные задачи, необходимость для себя принять деятельное участие в организации экономической силы страны, в развитии производительной энергии России, в охране ее свободы от всех посягательств извне и изнутри.

Одержана только одна победа – завоевана политическая власть, предстоит одержать множество побед гораздо более трудных, и прежде всего мы обязаны одержать победу над собственными иллюзиями.

Мы опрокинули старую власть, но это удалось нам не потому, что мы – сила, а потому, что власть, гноившая нас, сама насквозь прогнила и развалилась при первом же дружном толчке. Уже одно то, что мы не могли так долго решиться на этот толчок, видя, как разрушается страна, чувствуя, как насилуют нас, – уже одно это долготерпение наше свидетельствует о нашей слабости.

Задача момента – по возможности прочно укрепить за собою взятые нами позиции, что достижимо только при разумном единении всех сил, способных к работе политического, экономического и духовного возрождения России.

Лучшим возбудителем здоровой воли и вернейшим приемом правильной самооценки является мужественное сознание своих недостатков.

Годы войны с ужасающей очевидностью показали нам, как мы немощны культурно, как слабо организованы. Организация творческих сил страны необходима для нас, как хлеб и воздух.

Мы изголодались по свободе и, при свойственной нам склонности к анархизму, легко можем пожрать свободу, – это возможно.

Не мало опасностей угрожает нам. Устранить и преодолеть их возможно только при условии спокойной и дружной работы по укреплению нового строя жизни.

Самая ценная творческая сила – человек: чем более развит он духовно, чем лучше вооружен техническими знаниями, тем более прочен и ценен его труд, тем более он культурен, историчен. Это у нас не усвоено, – наша буржуазия не обращает должного внимания на развитие продуктивности труда, человек для нее все еще как лошадь, – только источник грубой физической силы.

Интересы всех людей имеют общую почву, где они солидаризуются, несмотря на неустранимое противоречие классовых трений: эта почва – развитие и накопление знаний. Знание – необходимое орудие междуклассовой борьбы, которая лежит в основе современного миропорядка и является неизбежным, хотя и трагическим моментом данного периода истории, неустранимой силой культурно-политического развития; знание – это сила, которая в конце концов должна привести людей к победе над стихийными энергиями природы и к подчинению этих энергий общекультурным интересам человека, человечества.

Знание должно быть демократизировано, его необходимо сделать всенародным, оно, и только оно, – источник плодотворной работы, основа культуры. И только знание вооружит нас самосознанием, только оно поможет нам правильно оценить наши силы, задачи данного момента и укажет нам широкий путь к дальнейшим победам.

Наиболее продуктивна спокойная работа.

Силой, которая всю жизнь крепко держала и держит меня на земле, была и есть моя вера в разум человека. До сего дня русская революция в моих глазах является цепью ярких и радостных явлений разумности. Особенно мощным явлением спокойной разумности был день 23-го марта, день похорон на Марсовом поле.

В этом парадном шествии сотен тысяч людей впервые и почти осязательно чувствовалось – да, русский народ совершил революцию, он воскрес из мертвых и ныне приобщается к великому делу мира – строению новых и все более свободных форм жизни!

Огромное счастье дожить до такого дня! И всей душой я желал бы русскому народу вот так же спокойно и мощно идти все дальше, все вперед и выше, до великого

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
праздника всемирной свободы, всечеловеческого равенства, братства!

Апрель 1917
XXII

В первые же дни революции какие-то бесстыдники выбросили на улицу кучи грязных брошюр, отвратительных рассказов на темы «из придворной жизни». В этих брошюрах речь идет о «самодержавной Алисе», о «Распутном Гришке», о Вырубовой и других фигурах мрачного прошлого.

Я не стану излагать содержания этих брошюр – оно невероятно грязно, глупо и распутно. Но этой ядовитой грязью питается юношество, брошюрки имеют хороший сбыт и на Невском, и на окраинах города. С этой отравой нужно бороться, я не знаю – как именно, но – нужно бороться, тем более что рядом с этой пакостной «литературой» болезненных и садических измышлений, на книжном рынке слишком мало изданий, требуемых моментом.

Грязная «литература» особенно вредна, особенно прилипчива именно теперь, когда в людях возбуждены все темные инстинкты и еще не изжиты чувства негодования, обиды, – чувства, возбуждающие месть. Нам следует помнить, что мы переживаем не только экономическую разруху, но и социальное разложение, всегда и неизбежно возникающее на почве экономического развала.

Бесспорно, часть вины за то, что мы бессильны и бездарны, мы имеем право возложить на те силы, которые всегда стремились держать нас далеко в стороне от живого дела общественного строительства. Бесспорно, что Русь воспитывали и воспитывают педагоги, политически еще более бездарные, чем наш рядовой обыватель. Неоспоримо, что всякая наша попытка к самостоятельности встречала уродливое сопротивление власти, болезненно самолюбивой и занятой исключительно охраной своего положения в стране. Все это – бесспорно, однако следует, не боясь правды, сказать, что и нас похвалить не за что. Где, когда и в чем за, последние годы неистовых издевательств над русским обществом в его целом, – над его разумом, волей, совестью, – в чем и как обнаружило общество свое сопротивление злым и темным силам жизни? Как сказало его гражданское самосознание, хулигански отрицаемое всеми, кому была дана власть на это отрицание? И в чем, кроме красноречия да эпиграмм, выразилось наше оскорбленное чувство собственного достоинства?

Нет, надо знать правду: мы сами расшатаны морально не менее, чем силы, враждебные нам.

Мы живем во дни грозных событий, глубина которых, очевидно, не может быть правильно понята нами, и трагизм дней – не чувствуется: менее всего в эту пору следовало бы обращать внимание на авантюры уголовного характера, как бы они ни были внешне заняты. Очень вероятно, что нам следует быть готовыми принять и еще не одну такую же авантюру, но нельзя забывать, что не столько важен факт преступления сам по себе, как важна его воспитательная, социально-педагогическая сила.

История воспитывает людей духовно здоровых и уничтожает больных. Скандал может развратить первых и еще более искажает миропонимание вторых. Людей, духовно нездоровых, среди нас слишком много, – события угрожают еще увеличить количество таковых. Нож, револьвер и все прочее этого порядка – только бутафория из мелодрамы, не этим творится нормальная жизнь, и пора понять, что между историей и скандалом, – как бы он ни был громок, – нет ничего общего.

Самые страшные люди – это люди, которые не знают, чего они хотят, а потому необходимо употребить всю нашу волю на дело выработки вполне ясных желаний. Мы стоим пред необходимостью совершить некий исторический подвиг, а всякий подвиг требует концентрации воли.

Можно ли увлекаться грязными бульварными романами, когда вокруг нас во всем мире грозно совершается трагедия! Все мощные силы мировой истории ныне приведены в движение, все человекозвери сорвались с цепей культуры, разорвали ее тонкие ризы и пакостно обнажились, – это явление, равное катастрофе, сотрясает устои социальных отношений до основания. И нужно призвать к действительной жизни весь лучший разум, всю волю, для того чтобы исправить последствия нашей трагической небрежности в отношении к самим себе, – небрежности, которая создала страшную ошибку.

Человечество века работало над созданием сносных условий бытия не для того, чтоб в XX веке нашей эры разрушить созданное.

Мы должны извлечь из безумных событий разумные уроки, памятуя, что все, что называется Роком, Судьбою, есть не что иное, как результат нашего недомыслия, нашего недоверия к себе самим: мы должны знать, что все, творимое на земле, творится единственным Хозяином и Работником ее – Человеком.

20. IV. (8.V) 1917

XXVI

Весьма вероятно, что мои мысли «наивны», я уже говорил, что считаю себя плохим публицистом, но все-таки с упрямством, достойным, быть может, лучшего применения, «я буду продолжать свою линию», не смущаясь тем, что «глас» мой остается «гласом вопиющего в пустыне», увы! – не безлюдной.

С книжного рынка почти совершенно исчезла хорошая, честная книга – лучшее орудие просвещения. Почему исчезла – об этом в другой раз. Нет толковой, объективно-поучающей книги, и расплодилось множество газет, которые изо дня в день поучают людей вражде и ненависти друг к другу, клеветают, возятся в подлейшей грязи, ревут и скрежещут зубами, якобы работая над решением вопроса о том – кто виноват в разрухе России?

Разумеется, каждый из спорщиков искреннейше убежден, что виноваты все его противники, а прав только он, им поймана, в его руках трепещет та чудесная птица, которую зовут истиной.

Сцепившись друг с другом, газеты катаются по улицам клубком ядовитых змей, отравляя и пугая обывателя злобным шипением своим, обучая его «свободе слова» – точнее говоря, свободе искажения правды, свободе клеветы.

«Свободное слово» постепенно становится неприличным словом. Конечно, – «в борьбе каждый имеет право бить чем попало и куда попало»; конечно, «политика – дело бесстыдное» и «наилучший политик – наиболее бессовестный человек», – но, признавая гнусную правду этой зулусской морали, какую, все-таки, чувствуешь тоску, как мучительна тревога за молодую Русь, только что причастившуюся даров свободы!

Какая отравка течет и брызжет со страниц той скверной бумаги, на которой печатают газеты!

Долго молился русский человек Богу своему: «Отверзи уста моя!» Отверзлись уста и безудержно изрыгают глаголы ненависти, лжи, лицемерия, глаголы зависти и жадности. Хоть бы страсть кипела в этом – страсть и любовь! Но – не чувствуется ни любви, ни страсти. Чувствуется только одно – упорное и – надо сказать – успешное стремление цензовых классов изолировать демократию, свалить на ее голову все ошибки прошлого, все грехи, поставить ее в условия, которые неизбежно заставили бы демократию еще более увеличить ошибки и грехи.

Это ловко задумано и неплохо выполняется. Уже вполне ясно, что когда пишут «большевик», то подразумевают – «демократ», и не менее ясно то, если сегодня травят большевиков за их теоретический максимализм, завтра будут травить меньшевиков, потому что они социалисты, а послезавтра начнут грызть «Единство» за то, что оно все-таки недостаточно «лояльно» относится к священным интересам «здравомыслящих людей». Демократия не является святыней неприкосновенной, – право критики, право порицания должно быть распространяемо и на нее, это – вне спора. Но, хотя критика и клевета начинаются с одной буквы, – между этими двумя понятиями есть существенное различие, – как странно, что это различие для многих грамотных людей совершенно неуловимо! О, конечно, некоторые вожди демократии «бухают в колокол, не посмотрев в святцы», но не забудем, что вожди цензовых классов отвечают на эти ошибки пагубной для страны «итальянской» забастовкой бездействия и запугиванием обывателя, – запугиванием, которое уже дает такие результаты, как, например, следующее «Письмо к Временному Правительству», полученное мною:

«Революция погубила Россию, потому что всем волю дали; у нас везде анархия. Радуются евреи, которые получили равноправие; они погубили и погубят русский народ. Надо для спасения страны самодержавие».

Не первое письмо такого тона получаю я, и надо ожидать, что количество людей, обезумевших со страха, будет расти все быстрее, – пресса усердно заботится об этом.

Но именно теперь, в эти трагически запутанные дни, ей следовало бы помнить о том, как слабо развито в русском народе чувство личной ответственности и как привыкли мы карать за свои грехи наших соседей.

Свободное слово! Казалось, что именно оно-то и послужит развитию у нас, на Руси, чувства уважения к личности ближнего, к его человеческим правам. Но, переживая эпидемию политического импрессионизма, подчиняясь впечатлениям «злости дня», мы употребляем «свободное слово» только в бешеном споре на тему о том, кто виноват в разрухе России. А тут и спора нет, ибо – все виноваты.

И все – более или менее лицемерно – обвиняют друг друга, и никто ничего не делает, чтоб противопоставить буре эмоций силу разума, силу доброй воли.

31. V. (13.VI)1917

XXXVIII

Владимир Ленин вводит в России социалистический строй по методу Нечаева – «на всех парах через болото».

И Ленин, и Троцкий, и все другие, кто сопровождает их к гибели в трясине действительности, очевидно убеждены вместе с Нечаевым, что «правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно», и вот они хладнокровно бесчестят революцию, бесчестят рабочий класс, заставляя его устраивать кровавые бойни, понукая к погромам, к арестам ни в чем не повинных людей, вроде А. В. Карташева, М. В. Бернацкого, А. И. Коновалова и других.

Заставив пролетариат согласиться на уничтожение свободы печати, Ленин и приспешники его узаконили этим для врагов демократии право зажимать ей рот; грозя голодом и погромами всем, кто не согласен с деспотизмом Ленина – Троцкого, эти «вожди» оправдывают деспотизм власти, против которого так мучительно долго боролись все лучшие силы страны.

«Послушание школьников и дурачков», идущих вместе за Лениным и Троцким, «достигло высшей черты», – ругая своих вождей заглазно, то уходя от них, то снова присоединяясь к ним, школьники и дурачки, в конце концов, покорно служат воле догматиков, и все более возбуждают в наиболее темной массе солдат и рабочих несбыточные надежды на беспечальное житье.

Вообразив себя Наполеонами от социализма, ленинцы рвут и мечут, довершая разрушение России – русский народ заплатит за это озерами крови.

Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы; двадцать пять лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма, он является одной из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии; человек талантливый, он обладает всеми свойствами «вождя», а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс.

Ленин «вождь» и – русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия, а потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.

Измученный и разоренный войною народ уже заплатил за этот опыт тысячами жизней и принужден будет заплатить десятками тысяч, что надолго обезглавит его.

Эта неизбежная трагедия не смущает Ленина, раба догмы, и его приспешников – его рабов. Жизнь, во всей ее сложности, не ведома Ленину, он не знает народной массы, не жил с ней, но он – по книжкам – узнал, чем можно поднять эту массу на дыбы, чем – всего легче – разъярить ее инстинкты. Рабочий класс для Лениных то же, что для металлиста руда. Возможно ли – при всех данных условиях – отлить из этой руды социалистическое государство? По-видимому, – невозможно; однако – отчего не попробовать? Чем рискует Ленин, если опыт не удастся?

Он работает как химик в лаборатории, с тою разницей, что химик пользуется

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
мертвой материей, но его работа дает ценный для жизни результат, а Ленин работает над живым материалом и ведет к гибели революции. Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное развитие русской революции.

10(23). XI.1917
XXXIX

Меня уже упрекают в том, что «после двадцатипятилетнего служения демократии» я «снял маску» и изменил уже своему народу.

Г. г. большевики имеют законное право определять мое поведение так, как им угодно, но я должен напомнить этим господам, что превосходные душевные качества русского народа никогда не ослепляли меня, я не преклонял колен перед демократией, и она не является для меня чем-то настолько священным, что совершенно недоступно критике и осуждению.

В 1911 году, в статье о «Писателях-самоучках» я говорил: «Мерзости надо обличать, и если наш мужик – зверь, надо сказать это, а если рабочий говорит:

„Я пролетарий!“ – тем же отвратительным тоном человека касты, каким дворянин говорит:

„Я дворянин!“ – надо этого рабочего нещадно осмеять».

Теперь, когда известная часть рабочей массы, возбужденная обезумевшими владыками ее воли, проявляет дух и приемы касты, действуя насилием и террором, – тем насилием, против которого так мужественно и длительно боролись ее лучшие вожди, ее сознательные товарищи, – теперь я, разумеется, не могу идти в рядах этой части рабочего класса.

Я нахожу, что заткнуть кулаком рот «Речи» и других буржуазных газет только потому, что они враждебны демократии – это позорно для демократии.

Разве демократия чувствует себя неправой в своих деяниях и – боится критики врагов? Разве кадеты настолько идейно сильны, что победить их можно только лишь путем физического насилия?

Лишение свободы печати – физическое насилие, и это недостойно демократии.

Держать в тюрьме старика революционера Бурцева, человека, который нанес монархии немало мощных ударов, держать его в тюрьме только за то, что он увлекается своей ролью ассенизатора политических партий, – это позор для демократии. Держать в тюрьме таких честных людей, как А. В. Карташев, таких талантливых работников, как М. В. Бернацкий, и культурных деятелей, каков А. И. Коновалов, немало сделавший доброго для своих рабочих, – это позорно для демократии.

Пугать террором и погромами людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске Г. Троцкого над развалинами России, – это позорно и преступно.

Все это не нужно и только усилит ненависть к рабочему классу. Он должен будет заплатить за ошибки и преступления своих вождей – тысячами жизней, потоками крови.

12(25). XI.1917
XLVIII

На днях какие-то окаянные мудрецы осудили семнадцатилетнего юношу на семнадцать лет общественных работ за то, что этот юноша откровенно и честно заявил: «Я не признаю Советской власти!»

Не говоря о том, что людей, которые не признают авторитета власти комиссаров, найдется в России десятки миллионов и что всех этих людей невозможно истребить, я нахожу полезным напомнить строгим, но не умным судьям о том, откуда явился этот честный юноша, столь нелепо – сурово осужденный ими.

Этот юноша – плоть от плоти тех прямодушных и бесстрашных людей, которые на протяжении десятилетий, живя в атмосфере полицейского надзора, шпионства и предательства, неустанно разрушали свинцовую тюрьму монархии, внося, с

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
опасностью для свободы и жизни своей, в темные массы рабочих и крестьян идеи свободы, права, социализма. Этот юноша – духовный потомок людей, которые, будучи схвачены врагами и изнывая в тюрьмах, отказывались на допросах разговаривать с жандармами из презрения к победившему врагу.

Этот юноша воспитан высоким примером тех лучших русских людей, которые сотнями и тысячами погибали в ссылке, в тюрьмах, в каторге и на костях которых мы ныне собираемся строить новую Россию.

Это – романтик, идеалист, которому органически противна «реальная политика» насилия и обмана, политика фанатиков догмы, окруженных – по их же сознанию – жуликами и шарлатанами.

Чтобы воспитать мужественного и честного юношу в подлых условиях русской жизни, требовались огромная затрата духовных сил, почти целый век напряженной работы.

И вот теперь те люди, ради свободы которых совершалась эта работа, не понимая, что честный враг лучше подлого друга, осудили мужественного юношу за то, что он, – как это и следует, – не может и не хочет признавать власть, попирающую свободу. Есть очень умная басня о свинье под дубом вековым, – может быть, премудрые судьи найдут время прочитать ее? Им необходимо ознакомиться с моралью этой басни.

В Москве арестован И. Д. Сытин, человек, недавно отпраздновавший пятидесятилетний юбилей книгоиздательской деятельности. Он был министром народного просвещения гораздо более действительным и полезным для русской деревни, чем граф Дм. Толстой и другие министры царя. Несомненно, что сотни миллионов сытинских календарей и листовок по крайней мере наполовину сокращали рецидивы безграмотности. Он всю жизнь стремился привлечь к своей работе лучшие силы русской интеллигенции, и не его вина, что он был плохо понят ею в своем искреннем желании «облагородить» сытинскую книгу. Все-таки он сумел привлечь к своему делу внимание и помощь таких людей, как Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Н. А. Рубакин, Вахтеров, Ключев, А. М. Калмыкова и десятки других. Им основано книгоиздательство «Посредник», он дал Харьковскому Комитету грамотности мысль издать многотомную и полезную «Сельско-хозяйственную Энциклопедию». За пятьдесят лет Иван Сытин, самоучка, совершил огромную работу неоспоримого культурного значения. Во Франции, в Англии, странах «буржуазных», как это известно, Сытин был бы признан гениальным человеком, и по смерти ему поставили бы памятник, как другу и просветителю народа.

В «социалистической» России, «самой свободной стране мира», Сытина посадили в тюрьму, предварительно разрушив его огромное, превосходно налаженное технически дело и разорив старика. Конечно, было бы умнее и полезнее для Советской власти привлечь Сытина как лучшего организатора книгоиздательской деятельности к работе по реставрации развалившегося книжного дела, но – об этом не догадались, а сочли нужным наградить редкого работника за труд его жизни – тюрьмой. Так матерая русская глупость заваливает затеями и нелепостями пути и тропы к возрождению страны, так Советская власть расходует свою энергию на бессмысленное и пагубное и для нее самой, и для всей страны возбуждение злобы, ненависти и злорадства, с которым органические враги социализма отмечают каждый ложный шаг, каждую ошибку, все вольные и невольные грехи ее.

20. IV. (3.V.)1918

XLIX

Советская власть снова придушила несколько газет, враждебных ей.

Бесполезно говорить, что такой прием борьбы с врагами – не честен, бесполезно напоминать, что при монархии порядочные люди единодушно считали закрытие газет делом подлым, бесполезно, ибо понятия о честности и нечестности, очевидно, вне компетенции и вне интересов власти, безумно уверенной, что она может создать новую государственность на основе старой – произволе и насилии.

Но вот какие, не новые, впрочем, – соображения вызывает новый акт государственной мудрости комиссаров.

Уничтожение неприятных органов гласности не может иметь практических последствий, желаемых властью, этим актом малодушия нельзя задержать рост настроений, враждебных г. г. комиссарам и революции.

Г. г. комиссары бьют с размаха, не разбирая, кто является противником только их безумств, кто – принципиальным врагом революции вообще. Хватая за горло первых, они ослабляют голос революционной демократии, голос чести и правды; зажимая рот вторым, они творят мучеников в среде врагов.

Украшая растущую реакцию ореолом мученичества, они насыщают ее притоком новой энергии и создают оправдание подлостям будущего, подлостям, которые обратятся не только против всей демократии, а главным образом против рабочего класса; он первый и всех дороже заплатит за глупости и ошибки своих вождей.

Итак, уничтожая свободу слова, г. г. комиссары не приобретут этим пользы для себя и наносят великий вред делу революции.

Чего они боятся, чего малодушничают? Реальные политики, способные, казалось бы, правильно учесть значение сил, творящих жизнь, неужели они думают, что сила слова может быть механически уничтожена ими? Люди, опытные в делах подпольных, они не могут не знать, что запрещенное слово приобретает особую убедительность.

И, наконец, неужели они до такой степени потеряли веру в себя, что их страшит враг, говорящий открыто, полным голосом, и вот, они пытаются заглушить его хоть немножко?

Гонимая идея, хотя бы и реакционная, приобретает некий оттенок благородства, возбуждает сочувствие.

Дайте свободу слову, как можно больше свободы, ибо, когда враги говорят много – они, в конце концов, говорят глупости, а это очень полезно.

1(14).v.1918

Литературные портреты

А. П. Чехов

Однажды он позвал меня к себе в деревню Кучук-Кой, где у него был маленький клочок земли и белый двухэтажный домик. Там, показывая мне свое «имение», он оживленно заговорил:

– Если бы у меня было много денег, я устроил бы здесь санаторий для больных сельских учителей. Знаете, я выстроил бы этакое светлое здание – очень светлое, с большими окнами и с высокими потолками. У меня была бы прекрасная библиотека, разные музыкальные инструменты, пчельник, огород, фруктовый сад; можно бы читать лекции по агрономии, метеорологии, учителю нужно все знать, батенька, все!

Он вдруг замолчал, кашлянул, посмотрел на меня сбоку и улыбнулся своей мягкой, милой улыбкой, которая всегда так неотразимо влекла к нему и возбуждала особенное, острое внимание к его словам.

– Вам скучно слушать мои фантазии? А я люблю говорить об этом. Если б вы знали, как необходим русской деревне хороший, умный, образованный учитель! У нас в России его необходимо поставить в какие-то особенные условия, и это нужно сделать скорее, если мы понимаем, что без широкого образования народа государство развалится, как дом, сложенный из плохо обожженного кирпича! Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело, а у нас – это чернорабочий, плохо образованный человек, который идет учить ребят в деревню с такой же охотой, с какой пошел бы в ссылку. Он голоден, забит, запуган возможностью потерять кусок хлеба. А нужно, чтобы он был первым человеком в деревне, чтобы он мог ответить мужику на все его вопросы, чтобы мужики признавали в нем силу, достойную внимания и уважения, чтобы никто не смел орать на него... унижать его личность, как это делают у нас все: урядник, богатый лавочник, поп, становой, попечитель школы, старшина и тот чиновник, который носит звание инспектора школ, но заботится не о лучшей постановке образования, а только о тщательном исполнении циркуляров округа. Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ! Нельзя же допускать, чтоб этот человек ходил в лохмотьях, дрожал от холода в сырых, дырявых школах, угорал, простужался, наживал себе к тридцати годам лярингит, ревматизм, туберкулез... ведь это же стыдно нам! Наш учитель восемь, девять месяцев в году живет, как отшельник, ему не с кем сказать слова, он тупеет в одиночестве, без книг, без развлечений. А созовет он к себе товарищей – его обвинят в неблагонадежности, – глупое слово, которым хитрые люди

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru пугают дураков!.. Отвратительно все это... какое-то издевательство над человеком, который делает большую, страшно важную работу. Знаете, – когда я вижу учителя, – мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя и сам я чем-то виноват... серьезно!

Он замолчал, задумался и, махнув рукой, тихо сказал:

– Такая нелепая, неуклюжая страна – эта наша Россия.

Тень глубокой грусти покрыла его славные глаза, тонкие лучи морщин окружили их, углубляя его взгляд. Он посмотрел вокруг и пошутил над собой:

– Видите, – целую передовую статью из либеральной газеты я вам закатил. Пойдемте, – чаю дам за то, что вы такой терпеливый...

Это часто бывало у него: говорит так тепло, серьезно, искренно и вдруг усмехнется над собой и над речью своей. И в этой мягкой, грустной усмешке чувствовался тонкий скептицизм человека, знающего цену слов, цену мечтаний. И еще в этой усмешке сквозила милая скромность, чуткая деликатность...

Мы тихонько и молча пошли в дом. Тогда был ясный, жаркий день; играя яркими лучами солнца, шумели волны; под горой ласково повизгивала чем-то довольная собака. Чехов взял меня под руку и, покашливая, медленно проговорил:

– Это стыдно и грустно, а верно: есть множество людей, которые завидуют собакам...

И тотчас же, засмеявшись, добавил:

– Я сегодня говорю всё дряхлые слова... значит – старею!

Мне очень часто приходилось слышать от него:

– Тут, знаете, один учитель приехал... больной, женат, – у вас нет возможности помочь ему? Пока я его уже устроил...

Или:

– Слушайте, Горький, – тут один учитель хочет познакомиться с вами. Он не выходит, болен. Вы бы сходили к нему, – хорошо?

Или:

– Вот учительницы просят прислать книг...

Иногда я заставал у него этого «учителя»: обыкновенно учитель, красный от сознания своей неловкости, сидел на краешке стула и в поте лица подбирал слова, стараясь говорить глаже и «образованнее», или, с развязностью болезненно застенчивого человека, весь сосредоточивался на желании не показаться глупым в глазах писателя и осыпал Антона Павловича градом вопросов, которые едва ли приходили ему в голову до этого момента.

Антон Павлович внимательно слушал нескладную речь; в его грустных глазах поблескивала улыбка, вздрагивали морщинки на висках, и вот своим глубоким, мягким, точно матовым голосом он сам начинал говорить простые, ясные, близкие к жизни слова, – слова, которые как-то сразу упрощали собеседника: он переставал стараться быть умником, отчего сразу становился и умнее и интереснее...

Помню, один учитель – высокий, худой, с желтым, голодным лицом и длинным горбатым носом, меланхолично загнутым к подбородку, – сидел против Антона Павловича и, неподвижно глядя в лицо ему черными глазами, угрюмо басом говорил:

– Из подобных впечатлений бытия на протяжении педагогического сезона образуется такой психический конгломерат, который абсолютно подавляет всякую возможность объективного отношения к окружающему миру. Конечно, мир есть не что иное, как только наше представление о нем...

Тут он пустился в область философии и зашагал по ней, напоминая пьяного на льду.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– А скажите, – негромко и ласково спросил Чехов, – кто это в вашем уезде бьет ребят?

Учитель вскочил со стула и возмущенно замахал руками:

– Что вы! Я? Никогда! Бить?

И обиженно зафыркал.

– Вы не волнуйтесь, – продолжал Антон Павлович, успокоительно улыбаясь, – разве я говорю про вас? Но я помню – читал в газетах, – кто-то бьет, именно в вашем уезде...

Учитель сел, вытер вспотевшее лицо и, облегченно вздохнув, глухим басом заговорил:

– Верно! Был один случай. Это – Макаров. Знаете – не удивительно! Дико, но – объяснимо. Женат он, четверо детей, жена – больная, сам тоже – в чахотке, жалованье – двадцать рублей... а школа – погреб, и учителю – одна комната. При таких условиях – ангела божия поколотишь безо всякой вины, а ученики – они далеко не ангелы, уж поверьте!

И этот человек, только что безжалостно поражавший Чехова своим запасом умных слов, вдруг, зловеще покачивая горбатым носом, заговорил простыми, тяжелыми, точно камни, словами, ярко освещая проклятую, грозную правду той жизни, которой живет русская деревня...

Прощаясь с хозяином, учитель взял обеими руками его небольшую сухую руку с тонкими пальцами и, потрясая ее, сказал:

– Шел я к вам, будто к начальству, – с робостью и дрожью, надулся, как индейский петух, хотел показать вам, что, мол, и я не лыком шит... а уйду вот – как от хорошего, близкого человека, который все понимает. Великое это дело – все понимать! Спасибо вам! Иду. Уношу с собой хорошую, добрую мысль: крупные-то люди проще и понятливее и ближе душой к нашему брату, чем все эти мизеры, среди которых мы живем. Прощайте! Никогда я не забуду вас...

Нос у него вздрогнул, губы сложились в добрую улыбку, и он неожиданно добавил:

– А собственно говоря, и подлецы – тоже несчастные люди, – черт их возьми!

Когда он ушел, Антон Павлович посмотрел вслед ему, усмехнулся и сказал:

– Хороший парень. Недолго проучит...

– Почему?

– Затравят... прогонят...

Подумав, он добавил негромко и мягко:

– В России честный человек – что-то вроде трубочиста, которым няньки пугают маленьких детей...

Мне кажется, что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пестрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешевенькие штучки, которыми русский человек, желая изобразить европейца, украшает себя, как дикарь раковинами и рыбьими зубами. Антон Павлович не любил рыбьи зубы и петушиные перья; все пестрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пущей важности», вызывало в нем смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряженного человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника. Вся жизнь А. Чехов прожил на средства своей души, всегда он был самим собой, был внутренне свободен и никогда не считался с тем, чего одни – ожидали от Антона Чехова, другие, более грубые, требовали. Он не

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru любил разговоров на «высокие» темы, – разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов.

Красиво простой, он любил все простое, настоящее, искреннее, у него была своеобразная манера опрощать людей.

Однажды его посетили три пышно одетые дамы; наполнив его комнату шумом шелковых юбок и запахом крепких духов, они чинно уселись против хозяина, притворились, будто бы их очень интересует политика, и – начали «ставить вопросы».

– Антон Павлович! А как вы думаете, чем кончится война?

Антон Павлович покашлял, подумал и мягко, тоном серьезным, ласковым ответил:

– Вероятно, – миром...

– Ну да, конечно! Но кто же победит? Греки или турки?

– Мне кажется, – победят те, которые сильнее...

– А кто, по-вашему, сильнее? – наперебой спрашивали дамы.

– Те, которые лучше питаются и более образованны...

– Ах, как это остроумно! – воскликнула одна.

– А кого вы больше любите – греков или турок? – спросила другая.

Антон Павлович ласково посмотрел на нее и ответил с кроткой, любезной улыбкой:

– Я люблю – мармелад... а вы – любите?

– Очень! – оживленно воскликнула дама.

– Он такой ароматный! – солидно подтвердила другая.

И все три оживленно заговорили, обнаруживая по вопросу о мармеладе прекрасную эрудицию и тонкое знание предмета. Было очевидно – они очень довольны тем, что не нужно напрягать ума и притворяться серьезно заинтересованными турками и греками, о которых они до этой поры и не думали.

Уходя, они весело пообещали Антону Павловичу:

– Мы пришлем вам мармеладу!

– Вы славно беседовали! – заметил я, когда они ушли.

Антон Павлович тихо рассмеялся и сказал:

– Нужно, чтоб каждый человек говорил своим языком...

Другой раз я застал у него молодого, красивенького товарища прокурора. Он стоял перед Чеховым и, потряхивая кудрявой головой, бойко говорил:

– Рассказом «Злоумышленник» вы, Антон Павлович, ставите предо мной крайне сложный вопрос. Если я признаю в Денисе Григорьеве наличность злой воли, действовавшей сознательно, я должен, без оговорок, упечь Дениса в тюрьму, как этого требуют интересы общества. Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! Если же я отнесусь к нему как к субъекту, действовавшему без разума, и поддамся чувству сострадания, – чем я гарантирую обществу, что Денис вновь не отвинтит гайки на рельсах и не устроит крушения? Вот вопрос! Как же быть?

Он замолчал, откинул корпус назад и уставился в лицо Антону Павловичу испытующим взглядом. Мундирчик на нем был новенький, и пуговицы на груди блестели так же самоуверенно и тупо, как глазки на чистеньком личике юного ревнителя правосудия.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Если б я был судьей, – серьезно сказал Антон Павлович, – я бы оправдал Дениса...

– На каком основании?

– Я сказал бы ему: «Ты, Денис, еще не созрел до типа сознательного преступника, ступай – и дозрей!»

Юрист засмеялся, но тотчас же вновь стал торжественно серьезен и продолжал:

– Нет, уважаемый Антон Павлович, – вопрос, поставленный вами, может быть разрешен только в интересах общества, жизнь и собственность которого я призван охранять. Денис – дикарь, да, но он – преступник, – вот истина!

– Вам нравится граммофон? – вдруг ласково спросил Антон Павлович.

– О да! Очень! Изумительное изобретение! – живо отозвался юноша.

– А я терпеть не могу граммофонов! – грустно сознался Антон Павлович.

– Почему?

– Да они же говорят и поют, ничего не чувствуя. И все у них карикатурно выходит, мертво... А фотографиию вы не занимаетесь?

Оказалось, что юрист – страстный поклонник фотографии; он тотчас же с увлечением заговорил о ней, совершенно не интересуясь граммофоном, несмотря на свое сходство с этим «изумительным изобретением», тонко и верно подмеченное Чеховым. Снова я видел, как из мундира выглянул живой и довольно забавный человечек, который пока еще чувствовал себя в жизни, как щенок на охоте.

Проводив юношу, Антон Павлович угрюмо сказал:

– Вот такие прыщи на... сиденье правосудия – распоряжаются судьбой людей.

И, помолчав, добавил:

– Прокуроры очень любят удить рыбу. Особенно – ершей!

Он обладал искусством всюду находить и оттенять пошлость, – искусством, которое доступно только человеку высоких требований к жизни, которое создается лишь горячим желанием видеть людей простыми, красивыми, гармоничными. Пошлость всегда находила в нем жестокого и острого судью.

Кто-то рассказывал при нем, что издатель популярного журнала, человек, постоянно рассуждающий о необходимости любви и милосердия к людям, – совершенно неосновательно оскорбил кондуктора на железной дороге и что вообще этот человек крайне грубо обращается с людьми, зависимыми от него.

– Ну, еще бы, – сказал Антон Павлович, хмуро усмехаясь, – ведь он же аристократ, образованный... он же в семинарии учился! Отец его в лаптях ходил, а он носит лаковые ботинки...

И в тоне этих слов было что-то, что сразу сделало «аристократа» ничтожным и смешным.

– Очень талантливый человек! – говорил он об одном журналисте. – Пишет всегда так благородно, гуманно... лимонадно. Жену свою ругает при людях дурой. Комната для прислуги у него сырая, и горничные постоянно наживают ревматизм...

– Вам, Антон Павлович, нравится NN?

– Да... очень. Приятный человек, – покашливая, соглашается Антон Павлович. – Все знает. Читает много. У меня три книги зачитал. Рассеянный он, сегодня скажет вам, что вы чудесный человек, а завтра кому-нибудь сообщит, что вы у мужа вашей любовницы шелковые носки украли, черные, с синими полосками...

Кто-то при нем жаловался на скуку и тяжесть «серьезных» отделов в толстых

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
журналах.

– А вы не читайте этих статей, – убежденно посоветовал Антон Павлович. – Это же дружеская литература... литература приятелей. Ее сочиняют господа Краснов, Чернов и Белов. Один напишет статью, другой возразит, а третий примиряет противоречия первых. Похоже, как будто они в винт с болваном играют. А зачем все это нужно читателю – никто из них себя не спрашивает.

Однажды пришла к нему какая-то полная дама, здоровая, красивая, красиво одетая, и начала говорить «под Чехова»:

– Скучно жить, Антон Павлович! Все так серо: люди, небо, море, даже цветы кажутся мне серыми. И нет желаний... душа в тоске. Точно какая-то болезнь...

– Это – болезнь! – убежденно сказал Антон Павлович. – Это болезнь. По-латыни она называется morbus pritvorialis.

Дама, к ее счастью, видимо, не знала по-латыни, а может быть, скрыла, что знает.

– Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю, – говорил он, усмехаясь своей умной усмешкой. – Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе, а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит. Нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему понятно это. Просто – характер у него беспокойный и заявить о себе хочется, – мол, тоже на земле живу! Вот видите, – могу даже жужжать, обо всем могу жужжать! Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного доброго совета не слышал. Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление, он написал, что я умру в пьяном виде под забором...

В его серых, грустных глазах почти всегда мягко искрилась тонкая насмешка, но порою эти глаза становились холодны, остры и жестки; в такие минуты его гибкий, задумчивый голос звучал тверже, и тогда – мне казалось, что этот скромный, мягкий человек, если он найдет нужным, может встать против враждебной ему силы крепко, твердо и не уступит ей.

Порою же казалось мне, что в его отношении к людям было чувство какой-то безнадежности, близкое к холодному, тихому отчаянию.

– Странное существо – русский человек! – сказал он однажды. – В нем, как в решете, ничего не задерживается. В юности он жадно наполняет душу всем, что под руку попало, а после тридцати лет в нем остается какой-то серый хлам. Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать! Работать с любовью, с верой. А у нас не умеют этого. Архитектор, выстроив два-три приличных дома, садится играть в карты, играет всю жизнь или же торчит за кулисами театра. Доктор, если он имеет практику, перестает следить за наукой, ничего, кроме «Новостей терапии», не читает и в сорок лет серьезно убежден, что все болезни – простудного происхождения. Я не встречал ни одного чиновника, который хоть немножко понимал бы значение своей работы: обыкновенно он сидит в столице или губернском городе, сочиняет бумаги и посылает их в Змиев и Сморгонь для исполнения. А кого эти бумаги лишат свободы движения в Змиеве и Сморгони – об этом чиновник думает так же мало, как атеист о мучениях ада. Сделав себе имя удачной защитой, адвокат уже перестает заботиться о защите правды, а защищает только право собственности, играет на скачках, ест устриц и изображает собой тонкого знатока всех искусств. Актер, сыгравши сносно две-три роли, уже не учит больше ролей, а надевает цилиндр и думает, что он гений. Вся Россия – страна каких-то жадных и ленивых людей: они ужасно много едят, пьют, любят спать днем и во сне храпят. Женятся они для порядка в доме, а любовниц заводят для престижа в обществе. Психология у них – собачья: бьют их – они тихонько повизгивают и прячутся по своим конурам, ласкают – они ложатся на спину, лапки кверху и виляют хвостиками...

Тоскливое и холодное презрение звучало в этих словах. Но, презирая, он сожалел, и когда, бывало, при нем ругнешь кого-нибудь, Антон Павлович сейчас же вступится:

– Ну, зачем вы? Он же старик, ему же семьдесят лет...

Или:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
– Он же ведь еще молодой, это же по глупости...

И, когда он говорил так, – я не видел на его лице безгливости...

В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, но понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что? – не разберешь.

Антон Чехов уже в первых рассказах своих умел открыть в тусклом море пошлости ее трагически мрачные шутки; стоит только внимательно прочитать его «юмористические» рассказы, чтобы убедиться, как много за смешными словами и положениями – жестокого и противного скорбно видел и стыдливо скрывал автор.

Он был как-то целомудренно скромнен, он не позволял себе громко и открыто сказать людям: «Да будьте же вы порядочнее!» – тщетно надеясь, что они сами догадаются о настоятельной необходимости для них быть порядочнее. Ненавидя все пошлое и грязное, он описывал мерзости жизни благородным языком поэта, с мягкой усмешкой юмориста, и за прекрасной внешностью его рассказов мало заметен полный горького упрека их внутрененный смысл.

Почтеннейшая публика, читая «Дочь Альбиона», смеется и едва ли видит в этом рассказе гнуснейшее издевательство сытого барина над человеком одиноким, всему и всем чужим. И в каждом из юмористических рассказов Антона Павловича я слышу тихий, глубокий вздох чистого, истинно человеческого сердца, безнадежный вздох сострадания к людям, которые не умеют уважать свое человеческое достоинство и, без сопротивления подчиняясь грубой силе, живут, как рабы, ни во что не верят, кроме необходимости каждый день хлебать возможно более жирные щи, и ничего не чувствуют, кроме страха, как бы кто-нибудь сильный и наглый не побил их.

Никто не понимал так ясно и тонко, как Антон Чехов, трагизм мелочей жизни, никто до него не умел так беспощадно правдиво нарисовать людям позорную и тоскливую картину их жизни в тусклом хаосе мещанской обыденщины.

Его врагом была пошлость; он всю жизнь боролся с ней, ее он осмеивал и ее изображал бесстрастным, острым пером, умея найти плесень пошлости даже там, где с первого взгляда, казалось, все устроено очень хорошо, удобно, даже – с блеском... И пошлость за это отомстила ему скверненькой выходкой, положив его труп – труп поэта – в вагон для перевозки «устриц».

Грязно-зеленое пятно этого вагона кажется мне именно огромной, торжествующей улыбкой пошлости над уставшим врагом, а бесчисленные «воспоминания» уличных газет – лицемерной грустью, за которой я чувствую холодное, пахучее дыхание все той же пошлости, втайне довольной смертью врага своего.

Читая рассказы Антона Чехова, чувствуешь себя точно в грустный день поздней осени, когда воздух так прозрачен и в нем резко очерчены голые деревья, тесные дома, серенькие люди. Все так странно – одиноко, неподвижно и бессильно. Углубленные синие дали – пустыни и, сливаясь с бледным небом, дышат тоскливым холодом на землю, покрытую мерзлой грязью. Ум автора, как осеннее солнце, с жестокой ясностью освещает избитые дороги, кривые улицы, тесные и грязные дома, в которых задыхаются от скуки и лени маленькие жалкие люди, наполняя дома свои неосмысленной, полусонной суетой. Вот тревожно, как серая мышь, шмыгает «Душечка» – милая кроткая женщина, которая так рабски, так много умеет любить. Ее можно ударить по щеке, и она даже застонать громко не посмеет, кроткая раба. Рядом с ней грустно стоит Ольга из «Трех сестер»: она тоже много любит и безропотно подчиняется капризам развратной и пошлой жены своего лентяя-брата, на ее глазах ломается жизнь ее сестер, а она плачет и никому ничем не может помочь, и ни одного живого, сильного слова протеста против пошлости нет в ее груди.

Вот слезоточивая Раневская и другие бывшие хозяева «Вишневого сада» – эгоистичные, как дети, и дряблые, как старики. Они опоздали вовремя умереть и ноют, ничего не видя вокруг себя, ничего не понимая, – паразиты, лишенные силы снова присосаться к жизни. Дряннейший студент Трофимов красно говорит о необходимости работать и – бездельничает, от скуки развлекаясь глупым издевательством над Варей, работающей не покладая рук для благополучия

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
бездельников.

Вершинин мечтает о том, как хороша будет жизнь через триста лет, и живет, не замечая, что около него все разлагается, что на его глазах Соленый от скуки и по глупости готов убить жалкого барона Тузенбаха.

Проходит перед глазами бесчисленная вереница рабов и рабынь своей любви, своей глупости и лени, своей жадности к благам земли; идут рабы темного страха пред жизнью, идут в смутной тревоге и наполняют жизнь бессвязными речами о будущем, чувствуя, что в настоящем – нет им места...

Иногда в их серой массе раздается выстрел, это Иванов или Треплев догадались, что им нужно сделать, и – умерли.

Многие из них красиво мечтают о том, как хороша будет жизнь через двести лет, и никому не приходит в голову простой вопрос: да кто же сделает ее хорошей, если мы будем только мечтать?

Мимо всей этой скучной, серой толпы бессильных людей прошел большой, умный, ко всему внимательный человек, посмотрел он на этих скучных жителей своей родины и с грустной улыбкой, тоном мягкого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской на лице и в груди, красивым искренним голосом сказал:

– Скверно вы живете, господа!

Пятый день повышена температура, а лежать не хочется. Серенький финский дождь кропит землю мокрой пылью. На форте Инно бухают пушки, их «пристреливают». По ночам лижет облака длинный язык прожектора, зрелище отвратительное, ибо не дает забыть о дьявольском наваждении – войне.

Читал Чехова. Если б он не умер десять лет тому назад, война, вероятно, убила бы его, отравив сначала ненавистью к людям. Вспомнил его похороны.

Гроб писателя, так «нежно любимого» Москвою, был привезен в каком-то зеленом вагоне с надписью крупными буквами на дверях его: «Для устриц». Часть небольшой толпы, собравшейся на вокзал встретить писателя, пошла за гробом привезенного из Маньчжурии генерала Келлера и очень удивлялась тому, что Чехова хоронят с оркестром военной музыки. Когда ошибка выяснилась, некоторые веселые люди начали ухмыляться и хихикать. За гробом Чехова шагало человек сто, не более; очень памятливы два адвоката, оба в новых ботинках и пестрых галстуках – женихи. Идя сзади их, я слышал, что один, В. А. Маклаков, говорит об уме собак, другой, незнакомый, расхваливал удобства своей дачи и красоту пейзажа в окрестностях ее. А какая-то дама в лиловом платье, идя под кружевным зонтиком, убеждала старика в роговых очках:

– Ах, он был удивительно милый и так остроумен...

Старик недоверчиво покашливал. День был жаркий, пыльный. Впереди процессии величественно ехал толстый околодочный на толстой белой лошади. Все это и еще многое было жестоко пошло и несовместимо с памятью о крупном и тонком художнике.

В одном из писем к старику А. С. Суворину Чехов сказал:

«Нет ничего скучнее и непоэтичнее, так сказать, как прозаическая борьба за существование, отнимающая радость жизни и вгоняющая в апатию».

Этими словами выражено очень русское настроение, вообще, на мой взгляд, не свойственное А. П. В России, где всего много, но нет у людей любви к труду, так мыслит большинство. Русский любит энергию, но – плохо верит в нее. Писатель активного настроения – например Джек Лондон – невозможен в России. Хотя книги Лондона читают у нас охотно, но я не вижу, чтоб они возбуждали волю русского человека к деянию, они только раздражают воображение. Но Чехов – не очень русский в этом смысле. Для него еще в юности «борьба за сосуществование» развернулась в неприглядной, бескрасочной форме ежедневных, мелких забот о куске хлеба не только для себя, – о большом куске хлеба. Этим заботам, лишенным радостей, он отдал все силы юности, и надо удивляться: как он мог сохранить свой юмор? Он видел жизнь только как скучное стремление людей к сытости, покою;

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
великие драмы и трагедии ее были скрыты для него под толстым слоем обыденного. И, лишь освободясь немного от заботы видеть вокруг себя сытых людей, он зорко взглянул в суть этих драм.

Я не видел человека, который чувствовал бы значение труда как основания культуры так глубоко и всесторонне, как А. П. Это выразалось у него во всех мелочах домашнего обихода, в подборе вещей и в той благородной любви к вещам, которая, совершенно исключая стремление накапливать их, не устает любоваться ими как продуктом творчества духа человеческого. Он любил строить, разводить сады, украшать землю, он чувствовал поэзию труда. С какой-то трогательной заботой наблюдал он, как в саду его растут посаженные им плодовые деревья и декоративные кустарники! В хлопотах о постройке дома в Аутке он говорил:

– Если каждый человек на куске земли своей сделал бы все, что он может, как прекрасна была бы земля наша!

Затеяв писать пьесу «Васька Буслаев», я прочитал ему хвастливый Васькин монолог:

Эхма, кабы силы да поболее мне!
Жарко бы дохнул я – снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил – города городил,
Церкви бы строил да сады все сажил!
Землю разукрасил бы – как девушку,
Обнял бы ее – как невесту свою,
Поднял бы я землю ко своим грудям,
Поднял бы, понес ее ко господу:
– Глянь-ко ты, господи, земля-то какова, –
Сколько она Васькой изукрашена!
Ты вот ее камнем пустил в небеса,
Я ж ее сделал изумрудом дорогим!
Глянь-ко ты, господи, порадуйся,
Как она зелено на солнышке горит!
Дал бы я тебе ее в подарочек,
Да – накладно будет – самому дорога!
Чехову понравился этот монолог, взволнованно покашливая, он говорил мне и доктору А. Н. Алексину:

– Это хорошо... Очень настоящее, человеческое! Именно в этом «смысл философии всей». Человек сделал землю обитаемой, он сделает ее и уютной для себя. – Кивнув упрямо головой, повторил: – Сделает!

Предложил прочитать похвальбу Васькину еще раз, выслушал, глядя в окно, и посоветовал:

– Две последние строчки – не надо, это озорство. Лишнее...

О своих литературных работах он говорил мало, неохотно; хочется сказать – целомудренно и с тою же, пожалуй, осторожностью, с какой говорил о Льве Толстом. Лишь изредка, в час веселый, усмехаясь, расскажет тему, всегда – юмористическую.

– Знаете, – напишу об учительнице, она атеистка, – обожает дарвина, уверена в необходимости бороться с предрассудками и суевериями народа, а сама, в двенадцать часов ночи, варит в бане черного кота, чтоб достать «дужку», – косточку, которая привлекает мужчину, возбуждая в нем любовь, – есть такая косточка...

О своих пьесах он говорил как о «веселых» и, кажется, был искренно уверен, что пишет именно «веселые пьесы». Вероятно, с его слов Савва Морозов упрямо доказывал: «Пьесы Чехова надо ставить как лирические комедии».

Но вообще к литературе он относился со вниманием очень зорким, особенно же трогательно – к «начинающим писателям». Он с изумительным терпением читал обильные рукописи Б. Лазаревского, Н. Олигера и многих других.

– Нам нужно больше писателей, – говорил он. – Литература в нашем быту все еще новинка и «для избранных». В Норвегии на каждые двести двадцать шесть человек

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
населения – один писатель, а у нас – один на миллион...

Болезнь иногда вызывала у него настроение ипохондрика и даже мизантропа. В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям.

Однажды, лежа на диване, сухо покашливая, играя термометром, он сказал:

– Жить для того, чтоб умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, – уж совсем глупо...

Другой раз, сидя у открытого окна и поглядывая вдаль, в море, неожиданно, сердито проговорил:

– Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицеймейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет – еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра. В общем – жизнь с каждым днем становится все сложнее и движется куда-то сама собою, а люди – заметно глупеют, и все более людей остается в стороне от жизни.

Подумал и, наморщив лоб, прибавил:

– Точно нищие калеки во время крестного хода.

Он был врач, а болезнь врача всегда тяжелее болезни его пациентов; пациенты только чувствуют, а врач еще и знает кое-что о том, как разрушается его организм. Это один из тех случаев, когда знание можно считать приближающим смерть.

Хороши у него бывали глаза, когда он смеялся, – какие-то женски ласковые и нежно мягкие. И смех его, почти беззвучный, был как-то особенно хорош. Смеясь, он именно наслаждался смехом, ликовал; я не знаю, кто бы еще мог смеяться так – скажу – «духовно». Грубые анекдоты никогда не смешили его. Смеясь так мило и душевно, он рассказывал мне:

– Знаете, почему Толстой относится к вам так неровно? Он ревнует, он думает, что Сулержицкий любит вас больше, чем его. Да, да. Вчера он говорил мне: «Не могу отнестись к Горькому искренно, сам не знаю почему, а не могу. Мне даже неприятно, что Сулер живет у него. Сулеру это вредно. Горький – злой человек. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. У него душа соглядатая, он пришел откуда-то в чужую ему, Ханаанскую землю, ко всему присматривается, все замечает и обо всем доносит какому-то своему богу. А бог у него – урод, вроде лешего или водяного деревенских баб».

Рассказывая, Чехов досмеялся до слез и, отирая слезы, продолжал:

– Я говорю: «Горький добрый». А он: «Нет, нет, я знаю. У него утиный нос, такие носы бывают только у несчастных и злых. И женщины не любят его, а у женщин, как у собак, есть чутье к хорошему человеку. Вот Сулер – он обладает действительно драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом он – гениален. Уметь любить – значит все уметь...»

Отдохнув, Чехов повторил:

– Да, старик ревнует... Какой удивительный...

О Толстом он говорил всегда с какой-то особенной, едва уловимой, нежной и смущенной улыбочкой в глазах, говорил, понижая голос, как о чем-то призрачном, таинственном, что требует слов осторожных, мягких.

Неоднократно жаловался, что около Толстого нет Эккермана, человека, который бы тщательно записывал острые, неожиданные и, часто, противоречивые мысли старого мудреца.

– Вот бы вы занялись этим, – убеждал он Сулержицкого, – Толстой так любит вас, так много и хорошо говорит с вами.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
О Сулере Чехов сказал мне:

– Это – мудрый ребенок...

Очень хорошо сказал.

Как-то при мне Толстой восхищался рассказом Чехова, кажется – «Душечкой». Он говорил:

– Это – как бы кружево, сплетенное целомудренной девушкой; были в старину такие девушки-кружевницы, «вековуши», они всю жизнь свою, все мечты о счастье влагали в узор. Мечтали узорами о самом милом, всю неясную, чистую любовь свою вплетали в кружево. – Толстой говорил очень волнуясь, со слезами на глазах.

А у Чехова в этот день была повышенная температура, он сидел с красными пятнами на щеках и, наклоня голову, тщательно протирал пенсне. Долго молчал, наконец, вздохнув, сказал тихо и смущенно:

– Там – опечатки...

О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею. Хорошо бы написать о нем так, как сам он написал «Степь», рассказ ароматный, легкий и такой, по-русски, задумчиво грустный. Рассказ – для себя.

Хорошо вспомнить о таком человеке, тотчас в жизнь твою возвращается бодрость, снова входит в нее ясный смысл.

Человек – ось мира.

А – скажут – пороки, а недостатки его?

Все мы голодны любовью к человеку, а при голоде и плохо выпеченный хлеб – сладко питает.

1905, 1923

Лев Толстой

Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Олеше, когда Лев Николаевич жил в Гаспре, сначала – тяжело больной, потом – одолев болезнь. Я считал эти заметки, небрежно написанные на разных клочках бумаги, потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением «ухода» Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать.

М. Горький

Заметки

I

Мысль, которая, заметно, чаще других точит его сердце, – мысль о боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает – всегда. Едва ли это признак старости, предчувствие смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И – немножко от обиды, потому что, будучи Львом Толстым, оскорбительно подчинить свою волю какому-то стрептококку. Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия.

II

У него удивительные руки – некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой выразительности и творческой силы. Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать всё. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами, постепенно сжимает их в кулак, потом вдруг раскроет его и одновременно произнесет хорошее, полновесное слово. Он похож на бога, не на Саваофа или олимпийца, а на такого русского бога, который «сидит на кленовом престоле под золотой липой», и хотя не очень величествен, но, может быть, хитрей всех других богов.

III

К Сулержицкому он относится с нежностью женщины. Чехова любит отечески, в этой любви чувствуется гордость создателя, а Сулер вызывает у него именно нежность, постоянный интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любовь старой девы к попугаю, моське, коту. Сулер – какая-то восхитительно вольная птица чужой, неведомой страны. Сотня таких людей, как он, могли бы изменить и лицо и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнят страстью к буйному, талантливому озорству. Любить Сулера легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и злят меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Сулер – ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может – уйдет в хор трактирных песенников. Энергии в нем – на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо.

Но однажды он крепко рассердился на Сулера, – склонный к анархизму Леопольд часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Л. Н. всегда в этих случаях подтрунивал над ним.

Помню, Сулержицкий достал откуда-то тощенькую брошюрку князя Кропоткина, воспламенился ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительно философствуя.

– Ах, Левушка, перестань, надоел, – с досадой сказал Л. Н. – Твердишь, как попугай, одно слово – свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоём смысле, как ты воображаешь, – что будет? В философском смысле – бездонная пустота, а в жизни, в практике – станешь ты лентяем, побирохой. Что тебя, свободного в твоём-то смысле, свяжет с жизнью, с людьми? Вот – птицы свободны, а все-таки гнезда выют. Ты же и гнезда вить не станешь, удовлетворяя половое чувство твое где попало, как кобель. Подумай серьезно и увидишь – почувствуешь, что в конечном смысле свобода – пустота, безграничие.

Сердито нахмурился, помолчал минуту и добавил потише:

– Христос был свободен. Будда – тоже, и оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого – никто не ушел, никто. А ты, а мы – ну, что там! Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему, тогда как чувствование именно этих обязанностей сделало нас людьми, и не будь этих чувствований – жили бы мы, как звери...

Усмехнулся:

– А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого не много, но уже и не мало. Ты вот споришь со мной и сердись до того, что нос у тебя синее, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, так уколошил бы меня – только и всего.

И, снова помолчав, добавил:

– Свобода – это когда всё и все согласны со мной, но тогда я не существую, потому, что все мы ощущаем себя только в столкновениях, противоречиях.

IV

Гольденвейзер играл Шопена, что вызывало у Льва Николаевича такие мысли:

– Какой-то маленький немецкий царек сказал: «Там, где хотят иметь рабов, надо как можно больше сочинять музыки». Это – верная мысль, верное наблюдение, – музыка притупляет ум. Лучше всех это понимают католики, – наши попы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка; это он признавал, а все-таки говорит: «Не могло этого быть». Я спрашиваю: «Но как же тогда?» Пожал плечами и сказал: «Сие для меня тайна!»

V

«Интеллигент – это галицкий князь Владимирко, он еще в XII веке говорил „предерзко“: „В наше время чудес не бывает“. С той поры прошло шестьсот лет, и все интеллигенты долбят друг другу: „Нет чудес, нет чудес“. А весь народ верит в

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
чудеса так же, как верил в XII веке».

VI

«Меньшинство нуждается в боге потому, что всё остальное у него есть, а большинство потому – что ничего не имеет».

Я бы сказал иначе: большинство верит в бога по малодушию, и только немногие – от полноты души. [4]

– Вы любите сказки Андерсена? – спросил он задумчиво. – Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марко Вовчка, а лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсен был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни; кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мое чувство, – он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть.

VII

Советовал мне прочитать буддийский катехизис. О буддизме и Христе он говорит всегда сентиментально; о Христе особенно плохо – ни энтузиазма, ни пафоса нет в словах его и ни единой искры сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления, и хотя – иногда – любит его, но – едва ли любит. И как будто опасается: приди Христос в русскую деревню – его девки засмеют.

VIII

Сегодня там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится очень скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Л. Н. ласково улыбался ему и говорил то по-французски, то по-английски. По-русски сказал:

– Карамзин писал для царя, Соловьев – длинно и скучно, а Ключевский для своего развлечения. Хитрый: читаешь – будто хвалит, а вникнешь – обругал.

Кто-то напомнил о Забелине.

– Очень милый. Подьячий такой. Старьевщик-любитель, собирает всё, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но – очень, очень забавный.

IX

Он напоминает тех странников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса неприютные и чужие всем и всему. Мир – не для них, бог – тоже. Они молятся ему по привычке, а в тайне душевной ненавидят его: зачем гоняет по земле из конца в конец, зачем? Люди – пеньки, корни, камни по дороге, – о них спотыкаешься и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно паразитить человека своею непохожестью на него, показать свое несогласие с ним.

X

«Фридрих Прусский очень хорошо сказал: „Каждый должен спасаться а sa facon“. [5] Он же говорил: „Рассуждайте, как хотите, только слушайтесь“. Но, умирая, сознался: „Я устал управлять рабами“. Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие – не глупость: дурак – упрям, но противоречить не умеет. Да – Фридрих странный был человек: заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже Гёте и Виланда не любил...»

XI

– Романтизм – это от страха взглянуть правде в глаза, – сказал он вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Сулер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел еще стихи.

– Это, Левушка, не стихи, а шарлатанство, а «ерундистика», как говорили в середине века, – бессмысленное плетение слов. Поэзия – безыскусственна; когда Фет писал:

...не знаю сам, что буду

Петь, но только песня зреет, – этим он выразил настоящее, народное чувство

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет – ох, да-ой, да-эй – а выходит настоящая песня, прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые всё выдумывают. Есть такие глупости французские «артикле де Пари», так вот это они самые у твоих стихоплетов. Некрасов тоже сплошь выдумывал свои стишонки. – А Беранже? – спросил Сулер.

– Беранже – это другое! Что же общего между нами и французами? Они – чувственники; жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего – женщина. Они – изношенный, истрепанный народ. Доктора говорят, что все чахоточные – чувственники.

Сулер начал спорить с прямоотой, свойственной ему, неразборчиво выбрасывая множество слов. Л. Н. поглядел на него и сказал, улыбаясь широко:

– Ты сегодня капризничаешь, как барышня, которой пора замуж, а жениха нет...

XII

Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлее. Глаза – еще острее, взгляд – пронзающий. Слушает внимательно и словно вспоминает забытое или уверенно ждет нового, неведомого еще. В Ясной он казался мне человеком, которому всё известно и больше нечего знать, – человеком решенных вопросов.

XIII

Если бы он был рыбой, то плавал бы, конечно, только в океане, никогда не заплывая во внутренние моря, а особенно – в пресные воды рек. Здесь вокруг него ютятся, шмыгает какая-то плотва; то, что он говорит, не интересно, не нужно ей, и молчание его не пугает ее, не трогает. А молчит он внушительно и умело, как настоящий отшельник мира сего. Хотя и много он говорит на свои обязательные темы, но чувствует, что молчит еще больше. Иного – никому нельзя сказать. У него, наверное, есть мысли, которых он боится.

XIV

Кто-то прислал ему превосходный вариант сказки о Христовом крестнике. Он с наслаждением читал сказку Сулеру, Чехову, – читал изумительно! Особенно забавлялся тем, как черти мучают помещиков, и в этом что-то не понравилось мне. Он не может быть неискренним, но если это искренно, тогда – еще хуже.

Потом он сказал:

– Вот как хорошо сочиняют мужики. Всё просто, слов мало, а чувства – много. Настоящая мудрость немногословна, как – господи помилуй.

А сказочка – свирепая.

XV

Его интерес ко мне – этнографический интерес. Я, в его глазах, особь племени, мало знакомого ему, и – только.

XVI

Читал ему свой рассказ «Бык»; он очень смеялся и хвалил за то, что знаю «фокусы языка».

– Но распоряжаетесь вы словами неумело, – все мужики говорят у вас очень умно. В жизни они говорят глупо, несуразно, – не сразу поймешь, что он хочет сказать. Это делается нарочно, – под глупостью слов у них всегда спрятано желание дать выговориться другому. Хороший мужик никогда сразу не покажет своего ума, это ему невыгодно. Он знает, что к человеку глупому подходят просто, бесхитростно, а ему того и надо! Вы перед ним стоите открыто, он тотчас и видит все ваши слабые места. Он недоверчив, он и жене боится сказать заветную мысль. А у вас – всё нараспашку, и в каждом рассказе какой-то вселенский собор умников. И все афоризмами говорят, это тоже неверно, – афоризм русскому языку не сроден.

– А пословицы, поговорки?

– Это – другое. Это не сегодня сделано.

– Однако вы сами часто говорите афоризмами.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru

– Никогда! Потом вы прикрашиваете всё: и людей и природу, особенно – людей! Так делал Лесков, писатель вычурный, вздорный, его уже давно не читают. Не поддавайтесь никому, никого не бойтесь, – тогда будет хорошо...

XVII

В тетрадке дневника, которую он дал мне читать, меня поразил странный афоризм: «Бог есть мое желание».

Сегодня, возвратив тетрадь, я спросил его – что это?

– Незаконченная мысль, – сказал он, глядя на страницу прищуренными глазами. – Должно быть, я хотел сказать: бог есть мое желание познать его... Нет, не то... – Засмеялся и, свернув тетрадку трубкой, сунул ее в широкий карман своей кофты. С богом у него очень неопределенные отношения, но иногда они напоминают мне отношения «двух медведей в одной берлоге».

XVIII

О науке.

«Наука – слиток золота, приготовленный шарлатаном-алхимиком. Вы хотите упростить ее, сделать понятной всему народу, – значит: начеканить множество фальшивой монеты. Когда народу станет понятна истинная ценность этой монеты – не поблагодарит он нас».

XIX

Гуляли в Юсуповском парке. Он великолепно рассказывал о нравах московской аристократии. Большая русская баба работала на клумбе, согнувшись под прямым углом, обнажив слоновьи ноги, потряхивая десятифунтовыми грудями. Он внимательно посмотрел на нее.

– Вот такими кариатидами и поддерживалось всё это великолепие и сумасбродство. Не только работой мужиков и баб, не только оброком, а в чистом смысле кровью народа. Если бы дворянство время от времени не спаривалось с такими вот лошадьми, оно уже давно бы вымерло. Так тратить силы, как тратила их молодежь моего времени, нельзя безнаказанно. Но, перебесившись, многие женились на дворовых девках и давали хороший приплод. Так что и тут спасала мужицкая сила. Она везде на месте. И нужно, чтобы всегда половина рода тратила свою силу на себя, а другая половина растворялась в густой деревенской крови и ее тоже немного растворяла. Это полезно.

XX

О женщинах он говорит охотно и много, как французский романист, но всегда с тою грубостью русского мужика, которая – раньше – неприятно подавляла меня. Сегодня в Миндальной роще он спросил Чехова:

– Вы сильно распутничали в юности?

А. П. смятенно ухмыльнулся и, подергивая бородку, сказал что-то невнятное, а Л. Н., глядя в море, признался:

– Я был неутомимый...

Он произнес это сокрушенно, употребив в конце фразы соленое мужицкое слово. Тут я впервые заметил, что он произнес это слово так просто, как будто не знает достойного, чтобы заменить его. И все подобные слова, исходя из его мохнатых уст, звучат просто, обыкновенно, теряя где-то свою солдатскую грубость и грязь. Вспоминается моя первая встреча с ним, его беседа о «Вареньке Олесовой», «Двадцать шесть и одна». С обычной точки зрения речь его была цепью «неприличных» слов. Я был смущен этим и даже обижен; мне показалось, что он не считает меня способным понять другой язык. Теперь понимаю, что обижаться было глупо.

XXI

Он сидел на каменной скамье под кипарисами, сухонький, маленький, серый и все-таки похожий на Саваофа, который несколько устал и развлекается, пытаясь подсвистывать зяблику. Птица пела в густоте темной зелени, он смотрел туда, прищурив острые глазки, и, по-детски – трубкой – сложив губы, насвистывал

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
неумело.

– Как ярится пичужка! Наяривает. Это – какая?

Я рассказал о зяблике и о чувстве ревности, характерном для этой птицы.

– На всю жизнь одна песня, а – ревнив. У человека сотни песен в душе, но его осуждают за ревность – справедливо ли это? – задумчиво и как бы сам себя спросил он. – Есть такие минуты, когда мужчина говорит женщине больше того, что ей следует знать о нем. Он сказал – и забыл, а она помнит. Может быть, ревность – от страха унижить душу, от боязни быть униженным и смешным? Не та баба опасна, которая держит за... а которая – за душу.

Когда я сказал, что в этом чувствуется противоречие с «Крейцеровой сонатой», он распустил по всей своей бороде сияние улыбки и ответил:

– Я не зяблик.

Вечером, гуляя, он неожиданно произнес:

– Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией была, есть и будет – трагедия спальни.

Говоря это, он улыбался торжественно, – у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека, который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла острая боль, и вдруг – нет ее. Каждая мысль впивается в душу его, точно клещ; он или сразу отрывает ее, или же дает ей напиться крови вдоволь, и, назрев, она незаметно отпадает сама.

Увлекательно рассказывая о стоицизме, он вдруг нахмурился, почмокал губами и строго сказал:

– Стеганое, а не стежаное; есть глаголы стегать и стяжать, а глагола стезать нет...

Эта фраза явно не имела никакого отношения к философии стоиков. Заметив, что я недоумеваю, он торопливо произнес, кивнув головой на дверь соседней комнаты:

– Они там говорят: стежаное одеяло?

И продолжал:

– А слащавый болтун Ренан...

Нередко он говорил мне:

– Вы хорошо рассказываете – своими словами, крепко, не книжно.

Но почти всегда замечал небрежности речи и говорил вполголоса, как бы для себя:

– Подобно, а рядом – абсолютно, когда можно сказать – совершенно!

Иногда же укорял:

– Хлипкий субъект – разве можно ставить рядом такие несхожие по духу слова? Нехорошо...

Его чуткость к формам речи казалась мне – порою – болезненно острой; однажды он сказал:

– У какого-то писателя я встретил в одной фразе кошку и кишку – отвратительно! Меня едва не стошнило.

Иногда он рассуждал:

– Подождем и под дождем – какая связь?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
А однажды, придя из парка, сказал:

– Сейчас садовник говорит: насилу столкнулся. Не правда ли – странно? Куются якоря, а не столы. Как же связаны эти глаголы – ковать и толковать? Не люблю филологов – они схоласты, но пред ними важная работа по языку. Мы говорим словами, которых не понимаем. Вот, например, как образовались глаголы просить и бросить?

Чаще всего он говорил о языке Достоевского:

– Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, – я уверен, что нарочно, из кокетства. Он форсил; в «Идиоте» у него написано: «В наглom приставании и афишевании знакомства». Я думаю, он нарочно искажил слово афишировать, потому что оно чужое, западное. Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: «Осел – добрый и полезный человек», но никто не смеется, хотя эти слова неизбежно должны вызвать смех или какое-нибудь замечание. Он говорит это при трех сестрах, а они любили высмеивать его. Особенно Аглая. Эту книгу считают плохой, но главное, что в ней плохо, это то, что князь Мышкин – эпилептик. Будь он здоров – его сердечная наивность, его чистота очень трогали бы нас. Но для того, чтоб написать его здоровым, у Достоевского не хватило храбрости. Да и не любил он здоровых людей. Он был уверен, что если сам он болен – весь мир болен...

Читал Сулеру и мне вариант сцены падения «Отца Сергия» – безжалостная сцена. Сулер надул губы и взволнованно заерзал.

– Ты что? Не нравится? – спросил Л. Н.

– Уж очень жестоко, точно у Достоевского. Эта гнилая девица, и груди у нее, как блины, и всё. Почему он не согрешил с женщиной красивой, здоровой?

– Это был бы грех без оправдания, а так – можно оправдаться жалостью к девице – кто ее захочет, такую?

– Не понимаю я этого...

– Ты многого не понимаешь, Левушка, ты не хитрый...

Пришла жена Андрея Львовича, разговор оборвался, а когда она и Сулер ушли во флигель, Л. Н. сказал мне:

– Леопольд – самый чистый человек, какого я знаю. Он тоже так: если сделает дурное, то – из жалости к кому-нибудь.

XXII

Больше всего он говорит о боге, о мужике и о женщине. О литературе – редко и скудно, как будто литература чужое ему дело. К женщине он, на мой взгляд, относится непримиримо враждебно и любит наказывать ее, – если она не Кити и не Наташа Ростова, то есть существо недостаточно ограниченное. Это – вражда духа против «унизительных порывов плоти»? Но это – вражда, и – холодная, как в «Анне Карениной». Об «унизительных порывах плоти» он хорошо говорил в воскресенье, беседуя с Чеховым и Елпатьевским по поводу «Исповеди» Руссо. Сулер записал его слова, а потом, приготавливая кофе, сжег записку на спиртовке. А прошлый раз он спалил суждения Л. Н. об Ибсене и потерял записку о символизме свадебных обрядов, а Л. Н. говорил о них очень языческие вещи, совпадая кое в чем с В. В. Розановым.

XXIII

Утром были штундисты из Феодосии, и сегодня целый день он с восторгом говорит о мужиках. За завтраком:

– Пришли они, – оба такие крепкие, плотные; один говорит: «Вот, пришли незваны», а другой – «Бог даст – уйдем не драны». – И залился детским смехом, так и трепещет весь.

После завтрака, на террасе:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Скоро мы совсем перестанем понимать язык народа; мы вот говорим: «теория прогресса», «роль личности в истории», «эволюция науки», «дизентерия», а мужик скажет: «Шила в мешке не утаишь», и все теории, истории, эволюции становятся жалкими, смешными, потому что не понятны и не нужны народу. Но мужик сильнее нас, он живучее, и с нами может случиться, пожалуй, то же, что случилось с племенем атцуров, о котором какому-то ученому сказали: «Все атцуры перемерли, но тут есть попугай, который знает несколько слов их языка».

XXIV

«Телом женщина искреннее мужчины, а мысли у нее – лживые. Но когда она лжет – она не верит себе, а Руссо лгал – и верил».

XXV

«Достоевский написал об одном из своих сумасшедших персонажей, что он живет, мстя себе и другим за то, что послужил тому, во что не верил. Это он сам про себя написал, то есть это же он мог бы сказать про самого себя».

XXVI

– Некоторые церковные слова удивительно темны – какой, например, смысл в словах: «господня земля и исполнения ее». Это – не от священного писания, а какой-то популярно-научный материализм.

– У вас где-то истолкованы эти слова, – сказал Сулер.

– Мало что у меня истолковано... «Толк-от есть, да не втолкан весь».

И улыбнулся хитренько.

XXVII

Он любит ставить трудные и коварные вопросы:

– Что вы думаете о себе?

– Вы любите вашу жену?

– Как, по-вашему, сын мой Лев – талантливый?

– Вам нравится Софья Андреевна?

Лгать перед ним – нельзя. Однажды он спросил:

– Вы любите меня, А. М.?

Это – озорство богатыря: такие игры играл в юности своей Васька Буслаев, новгородский озорник. «Испытует», он всё пробует что-то, точно драться собирается. Это интересно, однако – не очень по душе мне. Он – черт, а я еще младенец, и не трогать бы ему меня.

XXVIII

Может быть, мужик для него просто – дурной запах, он всегда чувствует его и поневоле должен говорить о нем.

Вчера вечером я рассказал ему о моей битве с генеральшей Корнэ, он хохотал до слез, до боли в груди, охал и всё покрикивал тоненько:

– Лопатой! По... Лопатой, а? По самой, по... И – широкая лопата?

Потом, отдохнув, сказал серьезно:

– Вы еще великодушно ударили, другой бы – по голове стукнул за это. Очень великодушно. Вы понимали, что она хотела вас?

– Не помню; не думаю, чтобы понимал...

– Ну, как же! Это ясно. Конечно, так.

– Не тем жил тогда...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– Чем ни живи – всё равно! Вы не очень бабник, как видно. Другой бы сделал на этом карьеру, стал домовладельцем и спился с круга вместе с нею.

Помолчав:

– Смешной вы. Не обижайтесь, – очень смешной! И очень странно, что вы все-таки добрый, имея право быть злым. Да, вы могли бы быть злым. Вы крепкий, это хорошо...

И, еще помолчав, добавил задумчиво:

– Ума вашего я не понимаю – очень запутанный ум, а вот сердце у вас умное... да, сердце умное!

Примечание. Живя в Казани, я поступил дворником и садовником к генеральше Корнэ. Это была француженка, вдова генерала, молодая женщина, толстая, на крошечных ножках девочки-подростка; у нее были удивительно красивые глаза, беспокойные, всегда жадно открытые. Я думаю, что до замужества она была торговкой или кухаркой, быть может, даже «девочкой для радости». С утра она напивалась и выходила на двор или в сад в одной рубашке, в оранжевом халате поверх ее, в красных татарских туфлях из сафьяна, а на голове грива густых волос. Небрежно причесанные, они падали ей на румяные щеки и плечи. Молодая ведьма. Она ходила по саду, напевая французские песенки, смотрела, как я работаю, и время от времени, подходя к окошку кухни, просила:

– Полин, давайте мне что-нибудь...

«Что-нибудь» всегда было одним и тем же – стаканом вина со льдом.

В нижнем этаже ее дома жили сиротами три барышни, княжны Д.-Г., их отец, интендант-генерал, куда-то уехал, мать умерла. Генеральша Корнэ невзлюбила барышень и старалась сжить их с квартиры, делая им различные пакости. По-русски она говорила плохо, но ругалась отлично, как хороший ломовой извозчик. Мне очень не нравилось ее отношение к безобидным барышням, – они были такие грустные, испуганные чем-то, незащищенные. Однажды около полудня две из них гуляли в саду, вдруг пришла генеральша, пьяная, как всегда, и начала кричать на них, выгоняя из сада. Они молча пошли, но генеральша встала в калитке, заткнув ее собой, как пробкой, и начала говорить им те серьезные русские слова, от которых даже лошади вздрагивают. Я попросил ее перестать ругаться и пропустить барышень, она закричала:

– Я снай тебе! Ты – им лязит окно, когда ночь...

Я рассердился, взял ее за плечи и отвел от калитки, но она вырвалась, повернулась ко мне лицом и, быстро распахнув халат, подняв рубаху, заорала:

– Я луччи эти крис!

Тогда я окончательно рассердился, повернул ее затылком к себе и ударил лопатой пониже спины, так что она выскочила в калитку и побежала по двору, сказав трижды, с великим изумлением:

– О! О! О!

После этого, взяв паспорт у ее наперсницы Полины, бабы тоже пьяной, но весьма лукавой, – взял под мышку узел имущества моего и пошел со двора, а генеральша, стоя у окна с красным платком в руке, кричала мне:

– Я не звать полис – нитшего – слюший! Иди еще назади... Не надо боясь...

XXIX

Я спросил его:

– Вы согласны с Познышевым, когда он говорит, что доктора губили и губят тысячи и сотни тысяч людей?

– А вам очень интересно знать это?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Очень.

– Так я не скажу!

И усмехнулся, играя большими пальцами своих рук.

Помнится, – в одном из его рассказов есть такое сравнение деревенского коновала с доктором медицины:

«Слова „гильчак“, „почечуй“, „спущать кровь“ разве не те же нервы, ревматизмы, организмы и так далее?»

Это сказано после Дженнера, Беринга, Пастера. Вот озорник!

XXX

Как странно, что он любит играть в карты. Играет серьезно, горячась. И руки у него становятся такие нервные, когда он берет карты, точно он живых птиц держит в пальцах, а не мертвые куски картона.

XXXI

– Диккенс очень умно сказал: «Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты». Вообще же это был писатель сентиментальный, болтливый и не очень умный. Впрочем, он умел построить роман, как никто, и уж, конечно, лучше Бальзака. Кто-то слазал: «Многие одержимы страстью писать книги, но редкие стыдятся их потом». Бальзак не стыдился, и Диккенс тоже, а оба написали не мало плохого. А все-таки Бальзак – гений, то есть то самое, что нельзя назвать иначе, – гений...

Кто-то принес книжку Льва Тихомирова «Почему я перестал быть революционером», – Лев Николаевич взял ее со стола и сказал, помахивая книжкой в воздухе:

– Тут всё хорошо сказано о политических убийствах, о том, что эта система борьбы не имеет в себе ясной идеи. Такой идеей, говорит образумевший убийца, может быть только анархическое всевластие личности и презрение к обществу, человечеству. Это – правильная мысль, но анархическое всевластие – описка, надо было сказать – монархическое. Хорошая, правильная идея, на ней споткнутся все террористы, я говорю о честных. Кто по натуре своей любит убивать – он не споткнется. Ему – не на чем споткнуться. Но он просто убийца, а в террористы попал случайно...

XXXII

Иногда он бывает самодоволен и нетерпим, как заволжский сектант-начетчик, и это ужасно в нем, столь звучном колоколе мира сего. Вчера он сказал мне:

– Я больше вас мужик и лучше чувствую по-мужицки.

О господи! Не надо ему хвастать этим, не надо!

XXXIII

Прочитал ему сцены из пьесы «На дне»; он выслушал внимательно, потом спросил:

– Зачем вы пишете это?

Я объяснил как умел.

– Везде у вас заметен петушиный наскок на всё. И еще – вы всё хотите закрасить все пазы и трещины своей краской. Помните, у Андерсена сказано: «Позолота-то сотрется, свиная кожа останется», а у нас мужики говорят: «Всё минется, одна правда останется». Лучше не замазывать, а то после вам же худо будет. Потом – язык очень бойкий, с фокусами, это не годится. Надо писать проще, народ говорит просто, даже как будто – бессвязно, а – хорошо. Мужик не спросит: «Почему треть больше четверти, если всегда четыре больше трех», как спрашивала одна ученая барышня. Фокусов – не надо.

Он говорил недовольно, видимо, ему очень не понравилось прочитанное мною. Помолчав, глядя мимо меня, хмуро сказал:

– Старик у вас – несимпатичный, в доброту его – не веришь. Актер – ничего, хорош. Вы «Плоды просвещения» знаете? У меня там повар похож на вашего актера.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Пьесы писать трудно. Проститутка тоже удалась, такие должны быть. Вы видели таких?

– Видел.

– Да, это заметно. Правда даст себя знать везде. Вы очень много говорите от себя, потому – у вас нет характеров, и все люди – на одно лицо. Женщин вы, должно быть, не понимаете, они у вас не удаются, ни одна. Не помнишь их...

Пришла жена А. Л. и пригласила к чаю; он встал и пошел так быстро, как будто обрадовался кончить беседу.

XXXIV

– Какой самый страшный сон видели вы?

Я редко вижу и плохо помню сны, но два сновидения остались в памяти, вероятно, на всю жизнь.

Однажды я видел какое-то золотушное, гниленькое небо, зеленовато-желтого цвета, звезды в нем были круглые, плоские, без лучей, без блеска, подобные болячкам на коже худосочного. Между ними по гнилому небу скользила не спеша красноватая молния, очень похожая на змею, и когда она касалась звезды – звезда, тотчас набухая, становилась шаром и лопалась беззвучно, оставляя на своем месте темненькое пятно – точно дымок, – оно быстро исчезало в гнойном, жидком небе. Так, одна за другою, полопались, погибли все звезды, небо стало темней, страшней, потом – всклубилось, закипело и, разрываясь в клочья, стало падать на голову мне жидким студнем, а в прорывах между клочьями являлась глянцевиная чернота кровельного железа. Л. Н. сказал:

– Ну, это у вас от ученой книжки, прочитали что-нибудь из астрономии, вот и кошмар. А другой сон?

Другой сон: снежная равнина, гладкая, как лист бумаги, нигде ни холма, ни дерева, ни куста, только, чуть видны, высовываются из-под снега редкие розги. По снегу мертвой пустыни от горизонта к горизонту стелется желтой полоской едва намеченная дорога, а по дороге медленно шагают серые валяные сапоги – пустые.

Он поднял мохнатые брови лешего, внимательно посмотрел на меня, подумал.

– Это – страшно! Вы в самом деле видели это, не выдумали? Тут тоже есть что-то книжное.

И вдруг как будто рассердился, заговорил недовольно, строго, постукивая пальцем по колену.

– Ведь вы непьющий? И не похоже, чтоб вы пили много когда-нибудь. А в этих снах все-таки есть что-то пьяное. Был немецкий писатель Гофман, у него ломберные столы по улицам бегали, и всё в этом роде, так он был пьяница, – «калагалик», как говорят грамотные кучера. Пустые сапоги идут – это вправду страшно! Даже если вы и придумали, – очень хорошо! Страшно!

Неожиданно улыбнулся во всю бороду, так, что даже скулы засияли.

– А ведь представьте-ка: вдруг по Тверской бежит ломберный стол, эдакий – с выгнутыми ножками, доски у него прихлопывают и мелом пылят, даже еще цифры на зеленом сукне видать, – это на нем акцизные чиновники трое суток напролет в винт играли, он не вытерпел больше и сбежал.

Посмеялся и, должно быть, заметил, что я несколько огорчен его недоверием ко мне:

– Вы обижаетесь, что сны ваши показались мне книжными? Не обижайтесь, я знаю, что иной раз такое незаметно выдумаешь, что нельзя принять, никак нельзя, и кажется, что во сне видел, а вовсе не сам выдумал. Один старик-помещик рассказывает, что он во сне шел лесом, вышел в степь и видит: в степи два холма, и вдруг они превратились в женские титьки, а между ними приподнимается черное лицо, вместо глаз на нем две луны, как бельма, сам он стоит уже между ног женщины, а перед ним – глубокий черный овраг и – всасывает его. Он после этого

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
сесть начал, руки стали трястись, и уехал за границу к доктору Кнейпу лечиться
водой. Этот должен был видеть что-нибудь такое – он был распутник.

Похлопал меня по плечу.

– А вы не пьяница и не распутник – как же это у вас такие сны?

– Не знаю.

– Ничего мы о себе не знаем!

Он вздохнул, прищурился, подумал и добавил потише:

– Ничего не знаем!

Сегодня вечером, на прогулке, он взял меня под руку, говоря:

– Сапоги-то идут – жутко, а? Совсем пустые – тёп, тёп, – а снежок поскрипывает!
Да, хорошо! А все-таки вы очень книжный, очень! Не сердитесь, только это плохо и
будет мешать вам.

Едва ли я книжник больше его, а вот он показался мне на этот раз жестоким
рационалистом, несмотря на все его оговорочки.

XXXV

Иногда кажется: он только что пришел откуда-то издалека, где люди иначе думают,
чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже – не так двигаются и другим языком
говорят. Он сидит в углу, усталый, серый, точно запыленный пылью иной земли, и
внимательно смотрит на всех глазами чужого и немного.

Вчера, пред обедом, он явился в гостиную именно таким, далеко ушедшим, сел на
диван и, помолчав минуту, вдруг сказал, покачиваясь, потирая колени ладонями,
сморщив лицо:

– Это еще не всё, нет – не всё.

Некто, всегда глупый и спокойный, точно утюг, спросил его:

– Это вы о чем?

Он пристально взглянул на него, наклонился ниже, заглядывая на террасу, где
сидели доктор Никитин, Елпатьевский, я, и спросил:

– Вы о чем говорите?

– О Плеве.

– О Плеве... Плеве... – задумчиво, с паузой повторил он, как будто впервые слыша это
имя, потом встряхнулся, как птица, и сказал, слабо усмехаясь: – У меня сегодня с
утра в голове глупость; кто-то сказал мне, что он прочитал на кладбище такую
надпись:

Под камнем сим Иван Егорьев опочил,
Кожевник ремеслом, он кожи всё мочил,
Трудился праведно, был сердцем добр, но вот
Скончался, отказав жене своей завод.
Он был еще не стар и мог бы много смочь,
Но бог его прибрал для райской жизни в ночь
С пятницы на субботу страстной недели...
и еще что-то такое же...Замолчал, потом, покачивая головой, слабо улыбаясь,
добавил:

– В человеческой глупости – когда она не злая – есть очень трогательное, даже
милое... Всегда есть...

Позвали обедать.

XXXVI

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
«Я не люблю пьяных, но знаю людей, которые, выпив, становятся интересными, приобретают несвойственное им, трезвым, остроумие, красоту мысли, ловкость и богатство слов. Тогда я готов благословлять вино».

Сулер рассказывал: он шел со Львом Николаевичем по Тверской, Толстой издали заметил двух кирасир. Сияя на солнце медью доспехов, звеня шпорами, они шли в ногу, точно срослись оба, лица их тоже сияли самодовольством силы и молодости.

Толстой начал порицать их:

– Какая величественная глупость! Совершенно животные, которых дрессировали палкой...

Но когда кирасиры поравнялись с ним, он остановился и, провожая их ласковым взглядом, с восхищением сказал:

– До чего красивы! Римляне древние, а, Левушка? Силища, красота, – ах, боже мой. Как это хорошо, когда человек красив, как хорошо!

XXXVII

В жаркий день он обогнал меня на нижней дороге; он ехал верхом в направлении к Ливадии; под ним была маленькая татарская спокойная лошадка. Серый, лохматый, в легонькой белой войлочной шляпе грибом, он был похож на гнома.

Придержав лошадь, он заговорил со мною; я пошел рядом, у стремени, и, между прочим, сказал, что получил письмо от В. Г. Короленко. Толстой сердито тряхнул бородою:

– Он в бога верует?

– Не знаю.

– Главного не знаете. Он – верит, только стыдится сознаться в этом пред атеистами.

Говорил ворчливо, капризно, сердито прищурил глаза. Было ясно, что я мешаю ему, но, когда я хотел уйти, он остановил меня:

– Куда же вы? Я еду тихо.

И снова заворчал:

– Андреев ваш – тоже атеистов стыдится, а тоже в бога верит, и бог ему – страшен.

У границы имения великого князя А. М. Романова, стоя тесно друг ко другу, на дороге беседовали трое Романовых: хозяин Ай-Тодора, Георгий и еще один, – кажется, Петр Николаевич из Дюльбера, – все бравые, крупные люди. Дорога была загорожена дрожками в одну лошадь, поперек ее стоял верховой конь; Льву Николаевичу нельзя было проехать. Он усталился на Романовых строгим, требующим взглядом. Но они, еще раньше, отвернулись от него. Верховой конь помялся на месте и отошел немного в сторону, пропуская лошадь Толстого.

Проехав минуты две молча, он сказал:

– Узнали, дураки.

И еще через минуту:

– Лошадь поняла, что надо уступить дорогу Толстому.

XXXVIII

«Берегите себя прежде всего – для себя, тогда и людям много останется».

XXXIX

Что значит – знать? Вот я знаю, что я – Толстой, писатель, у меня – жена, дети, седые волосы, некрасивое лицо, борода, – всё это пишут в паспортах. А о душе в паспортах не пишут, о душе я знаю одно: душа хочет близости к богу. А что такое

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
– бог? То, частица чего есть моя душа. Вот и всё. Кто научился размышлять, тому трудно верить, а жить в боге можно только верой. Тертулиан сказал: «Мысль есть зло».

XL

Несмотря на однообразие проповеди своей, – безгранично разнообразен этот сказочный человек.

Сегодня, в парке, беседуя с муллой Гаспры, он держал себя, как доверчивый протестант-мужичок, для которого пришел час подумать о конце дней. Маленький и как будто нарочно еще более съежившийся, он, рядом с крепким, солидным татаринном, казался старичком, душа которого впервые задумалась над смыслом бытия и – боится ее вопросов, возникших в ней. Удивленно поднимал мохнатые брови и, пугливо мигая остренькими глазками, погасил их нестерпимый, пронизательный огонек. Его читающий взгляд недвижно впился в широкое лицо муллы, и зрачки лишились остроты, смущающей людей. Он ставил мулле «детские» вопросы о смысле жизни, душе и боге, с необыкновенной ловкостью подменяя стихи Корана стихами Евангелия и пророков. В сущности – он играл, делая это с изумительным искусством, доступным только великому артисту и мудрецу.

А несколько дней тому назад, говоря с Танеевым и Сулером о музыке, он восхищался ее красотой, точно ребенок, и было видно, что ему нравится свое восхищение, – точнее: своя способность восхищаться. Говорил, что о музыке всех лучше и глубже писал Шопенгауэр, рассказал, попутно, смешной анекдот о фете и назвал музыку «немой молитвой души».

– Как же – немая? – спросил Сулер.

– Потому что – без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысль – это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист.

С явным наслаждением он говорил милыми, ребячьими словами, вдруг вспомнив лучшие, нежнейшие из них. И, неожиданно, усмехаясь в бороду, сказал мягко, как ласку:

– Все музыканты – глупые люди, а чем талантливее музыкант, тем ограниченнее. Странно, что почти все они религиозны.

XLI

Чехову, по телефону:

– Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно. Особенно – вам! Вы очень хороший, очень!

XLII

Он не слушает и – не верит, когда говорят не то, что нужно. В сущности – он не спрашивает, а – допрашивает. Как собиратель редкостей, он берет только то, что не может нарушить гармонию его коллекции.

XLIII

Разбирая почту:

– Шумят, пишут, а – умру, и – через год – будут спрашивать: Толстой? Ах, это граф, который пробовал тачать сапоги и с ним что-то случилось, – да, этот?

XLIV

Несколько раз я видел на его лице, в его взгляде, хитренькую и довольную усмешку человека, который, неожиданно для себя, нашел нечто спрятанное им. Он спрятал что-то и – забыл: где спрятал? Долгие дни жил в тайной тревоге, всё думая: куда же засунул я это, необходимое мне? И – боялся, что люди заметят его тревогу, его утрату, заметят и – сделают ему что-нибудь неприятное, нехорошее. Вдруг – вспомнил, нашел. Весь исполнился радостью и, уже не заботясь скрыть ее, смотрит на всех хитренько, как бы говоря:

«Ничего вы со мною не сделаете».

Но о том – что нашел и где – молчит.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Удивляться ему – никогда не устаешь, но все-таки трудно видеть его часто, и я бы не мог жить с ним в одном доме, не говорю уже – в одной комнате. Это – как в пустыне, где всё сожжено солнцем, а само солнце тоже догорает, угрожая бесконечной темной ночью.

Письмо

Только что отправил письмо Вам – пришли телеграммы о «бегстве Толстого». И вот, – еще не разъединенный мысленно с Вами, – вновь пишу.

Вероятно, всё, что мне хочется сказать по поводу этой новости, скажется запутанно, может быть, даже резко и зло, – уж вы извините меня, – я чувствую себя так, как будто меня взяли за горло и душат.

Он много раз и подолгу беседовал со мною; когда жил в Крыму, в Гаспре, я часто бывал у него, он тоже охотно посещал меня, я внимательно и любовно читал его книги, – мне кажется, я имею право говорить о нем то, что думаю, пусть это будет дерзко и далеко разойдется с общим отношением к нему. Не хуже других известно мне, что нет человека более достойного имени гения, более сложного, противоречивого и во всем прекрасного, да, да, во всем. Прекрасного в каком-то особом смысле, широко, неуловимом словами; в нем есть нечто, всегда возбуждавшее у меня желание кричать всем и каждому: смотрите, какой удивительный человек живет на земле! Ибо он, так сказать, всеобъемлюще и прежде всего человек, – человек человечества.

Но меня всегда отталкивало от него это упорное, деспотическое стремление превратить жизнь графа Льва Николаевича Толстого в «житие иже во святых отца нашего блаженного боярина Льва». Вы знаете – он давно уже собирался «пострадать»; он высказывал Евгению Соловьеву, Сулеру сожаление о том, что это не удалось ему, – но он хотел пострадать не просто, не из естественного желания проверить упругость своей воли, а с явным и – повторю – деспотическим намерением усилить тяжесть своего учения, сделать проповедь свою неотразимой, осветить ее в глазах людей страданием своим и заставить их принять ее, вы понимаете – заставить! Ибо он знает, что проповедь эта недостаточно убедительна; в его дневнике Вы – со временем – прочтаете хорошие образцы скептицизма, обращенного им на свою проповедь и личность. Он знает, что «мученики и страдальцы редко не бывают деспотами и насильниками», – он всё знает! И все-таки говорит: «Пострадай я за свои мысли, они производили бы другое впечатление». Это всегда отбрасывало меня в сторону от него, ибо я не могу не чувствовать здесь попытки насилия надо мной, желания овладеть моей совестью, ослепить ее блеском праведной крови, надеть мне на шею ярмо догмата.

Он всегда весьма расхваливал бессмертие по ту сторону жизни, но больше оно нравится ему – по эту сторону. Писатель национальный в самом истинном значении этого понятия, он воплотил в огромной душе своей все недостатки нации, все увечья, нанесенные нам пытками истории нашей; его туманная проповедь «неделания», «непротivления злу» – проповедь пассивизма, – всё это нездоровое брожение старой русской крови, отравленной монгольским фанатизмом и, так сказать, химически враждебной Западу с его неустанной творческой работой. То, что называют «анархизмом Толстого», в существе и корне своем выражает нашу славянскую антигосударственность, черту опять-таки истинно национальную, издревле данное нам в плоть стремление «разбрестись розно». Мы и по сей день отдаемся стремлению этому страстно, как вы знаете и все знают. Знают – но расползаются, и всегда по линиям наименьшего сопротивления, видят, что это пагубно, и ползут еще дальше друг от друга; эти печальные тараканы путешествия и называются: «История России», государства, построенного едва ли не случайно, чисто механически, к удивлению большинства его честно мыслящих граждан, силами варягов, татар, остзейских немцев и околоточных надзирателей. К удивлению, ибо мы всё «разбрелись», и только, когда дошли до мест, хуже которых – не найдешь, дальше идти – некуда, ну – остановились оседло жить: такова, стало быть, доля наша, такова судьба, чтобы сидеть нам в снегах и на болотах, в соседстве с дикой Эрзей, Чудью, Мерей, Весью и Муромой. Но явились люди, учуявшие, что свет нам не с Востока, а с Запада, и вот он, завершитель старой истории нашей, желает – сознательно и бессознательно – лечь высокой горою на пути нации к Европе, к жизни активной, строго требующей от человека величайшего напряжения всех духовных сил. Его отношение к опытному знанию тоже, конечно, глубоко национально, в нем превосходно отражается деревенский, старорусский скептицизм невежества. В нем – всё национально, и вся проповедь его – реакция прошлого, атавизм, который мы уже начали было изживать, одолевать.

Вспомните его письмо «Интеллигенция, государство, народ», написанное в 905 году, – какая это обидная и злорадная вещь! В ней так и звучит сектантское: «Ага, не послушали меня!» Я написал ему тогда ответ, основанный на его же словах мне, что он «давно утратил право говорить о русском народе и от его лица», ибо я свидетель того, как он не желал слушать и понять народ, приходивший к нему беседовать по душе. Письмо мое было резко, и я не послал его.

Вот он теперь делает свой, вероятно, последний прыжок, чтоб придать своим мыслям наиболее высокое значение. Как Василий Буслаев, он вообще любил прыгать, но всегда – в сторону утверждения святости своей и поисков нимба. Это – инквизиторское, хотя учение его и оправдано старой историей России и личными муками гения. Святость достигается путем любования грехами, путем порабощения воли к жизни. Люди хотят жить, а он убеждает их: это – пустяки, земная наша жизнь! Российского человека очень просто убедить в этом: он – лентяй и ничего так не любит, как отдохнуть от безделья. В общем он, конечно, не Платон Каратаев и не Аким, не Безухий и не Неклюдов, – все эти люди созданы историей и природой не вполне по Толстому, он только исправил их для вящего подкрепления проповеди своей. Но – несомненно и неопровержимо, что в целом Русь – Тюлин внизу, а наверху – Обломов. Что Тюлин, об этом свидетельствует 905 год, а что Обломов – смотрите у гр. А. Н. Толстого, у И. Бунина и всюду вокруг себя. Зверей и жуликов – оставим в стороне, хотя зверь у нас тоже чрезвычайно национален, – взгляните, как он пакостно труслив при всей его жестокости. Жулики, конечно, интернациональны.

Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность – явление чудовищное, почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля не держит. Да, он велик! Я глубоко уверен, что помимо всего, о чем он говорит, есть много такого, о чем он всегда молчит, – даже и в дневнике своем, – молчит и, вероятно, никогда никому не скажет. Это «нечто» лишь порою и намеками проскальзывало в его беседах, намеками же оно встречается в двух тетрадках дневника, которые он давал читать мне и Л. А. Сулержицкому; мне оно кажется чем-то вроде «отрицания всех утверждений» – глубочайшим и злейшим нигилизмом, который вырос на почве бесконечного, ничем не устранимого отчаяния и одиночества, вероятно, никем до этого человека не испытанного с такой страшной ясностью. Он часто казался мне человеком непоколебимо – в глубине души своей – равнодушным к людям, он есть настолько выше, мощнее их, что они все кажутся ему подобными мошкам, а суета их – смешной и жалкой. Он слишком далеко ушел от них в некую пустыню и там, с величайшим напряжением всех сил духа своего, одиноко всматривается в «самое главное» – в смерть.

Всю жизнь он боялся и ненавидел ее, всю жизнь около его души трепетал «арзамасский ужас», ему ли, Толстому, умирать? Весь мир, вся земля смотрит на него; из Китая, Индии, Америки – отовсюду к нему протянуты живые, трепетные нити, его душа – для всех и – навсегда! Почему бы природе не сделать исключения из закона своего и не дать одному из людей физическое бессмертие, – почему? Он, конечно, слишком рассудочен и умен для того, чтоб верить в чудо, но, с другой стороны, – он озорник, испытатель и, как молодой рекрут, бешено буйствует со страха и отчаяния пред неведомой казармой. Помню – в Гаспре, после выздоровления, прочитав книжку Льва Шестова «Добро и зло в учении Ницше и графа Толстого», он сказал в ответ на замечание А. П. Чехова, что «книга эта не нравится ему»:

– А мне показалась забавной. Форсисто написано, а – ничего, интересно. Я ведь люблю циников, если они искренние. Вот он говорит: «Истина – не нужна», и верно: на что ему истина? Все равно – умрет.

И, видимо, заметив, что слова его не поняты, добавил, остро усмехаясь:

– Если человек научился думать, – про что бы он ни думал, – он всегда думает о своей смерти. Так все философы. А – какие же истины, если будет смерть?

Далее он начал говорить, что истина едина для всех – любовь к богу, но на эту тему говорил холодно и устало. А после завтрака, на террасе, снова взял книгу и, найдя место, где автор пишет: «Толстой, Достоевский, Ницше не могли жить без ответа на свои вопросы, и для них всякий ответ был лучше, чем ничего», –

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
засмеялся и сказал:

– Вот какой смелый парикмахер, так прямо и пишет, что я обманул себя, значит – и других обманул. Ведь это ясно выходит...

Сулер спросил:

– А почему – парикмахер?

– Так, – задумчиво ответил он, – пришло в голову, модный он, шикарный – и вспомнился парикмахер из Москвы на свадьбе у дяди-мужика в деревне. Самые лучшие манеры, и лянсье пляшет, отчего и презирает всех.

Этот разговор я воспроизвожу почти дословно, он очень памятен мне и даже был записан мною, как многое другое, поражавшее меня. Я и Сулержицкий записывали много, но Сулер потерял свои записи по дороге ко мне в Арзамас, – он вообще был небрежен и хотя по-женски любил Льва Николаевича, но относился к нему как-то странно, точно свысока немножко. Я тоже засунул куда-то мои записки и не могу найти, они у кого-то в России. Я очень внимательно присматривался к Толстому, потому что искал, до сей поры ищу и по смерти буду искать человека живой, действительной веры. И еще потому, что однажды А. П. Чехов, говоря о некультурности нашей, пожаловался:

– Вот за Гёте каждое слово записывалось, а мысли Толстого теряются в воздухе. Это, батенька, нестерпимо по-русски. После схватятся за ум, начнут писать воспоминания и – наврут.

Но – далее, по поводу Шестова:

– Нельзя, говорит, жить, глядя на страшные призраки, он-то откуда знает, лъзя или нельзя? Ведь если бы он знал, видел бы призраки, – пустяков не писал бы, а занялся бы серьезным, чем всю жизнь занимался Будда.

Заметили, что Шестов – еврей.

– Ну, едва ли, – недоверчиво сказал Л. Н. – Нет, он не похож на еврея; неверующих евреев – не бывает, назовите хоть одного... нет.

Иногда казалось, что старый этот колдун играет со смертью, кокетничает с ней и старается как-то обмануть ее: я тебя не боюсь, я тебя люблю, я жду тебя. А сам остренькими глазками заглядывает: а какая ты? А что за тобою, там, дальше? Совсем ты уничтожишь меня, или что-то останется жить?

Странное впечатление производили его слова: «Мне хорошо, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо». И – вслед за этим тотчас же: «Пострадать бы». Пострадать – это тоже его правда; ни на секунду не сомневаюсь, что он, полубольной еще, был бы искренно рад попасть в тюрьму, в ссылку, вообще – принять венец мученический. Мученичество, вероятно, может несколько оправдать, что ли, смерть, сделать ее более понятной, приемлемой, – с внешней, с формальной стороны. Но – никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая». Он слишком рассудочен для этого и слишком знает жизнь, людей. Вот еще его слова:

«Халиф Абдурахман имел в жизни четырнадцать счастливых дней, а я, наверное, не имел столько. И всё оттого, что никогда не жил – не умею жить – для себя, для души, а живу напоказ, для людей».

А. П. Чехов сказал мне, уходя от него: «Не верю я, что он не был счастлив». А я – верю. Не был. Но – неправда, что он жил «напоказ». Да, он отдавал людям, как нищим, лишнее свое; ему нравилось заставлять их, вообще – «заставлять» читать, гулять, есть только овощи, любить мужика и верить в непогрешимость рассудочно-религиозных домыслов Льва Толстого. Надо сунуть людям что-нибудь, что или удовлетворит, или займет их, – и ушли бы они прочь! Оставили бы человека в привычном, мучительном, а иногда и уютном одиночестве пред бездонным омутом вопроса о «главном».

Все русские проповедники, за исключением Аввакума и, может быть, Тихона

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Задонского, – люди холодные, ибо верою живой и действенной не обладали. Когда я писал Луку в «На дне», я хотел изобразить вот именно этакого старичка: его интересуют «всякие ответы», но не люди; неизбежно сталкиваясь с ними, он их утешает, но только для того, чтоб они не мешали ему жить. И вся философия, вся проповедь таких людей – милостыня, подаваемая ими со скрытой брезгливостью, и звучат под этой проповедью слова тоже нищие, жалобные:

«Отстаньте! Любите бога или ближнего и отстаньте! Проклинайте бога, любите дальнего и – отстаньте! Оставьте меня, ибо я человек и вот – обречен смерти!»

Увы, это так, надолго – так! И не могло и не может быть иначе, ибо – замаялись люди, измучены, разъединены страшно и все окованы одиночеством, которое высасывает душу. Если б Л. Н. примирился с церковью – это не удивило бы меня нимало. Здесь была бы своя логика: все люди – одинаково ничтожны, даже если они и епископы. Собственно – примирения тут и не было бы, для него лично этот акт только логический шаг: «Прощаю ненавидящих мя». Христианский поступок, а под ним скрыта легонькая, острая усмешечка, ее можно понять как возмездие умного человека – глупцам.

Я всё не то пишу, не так, не о том. У меня в душе собака воет, и мне мерещится какая-то беда. Вот – пришли газеты, и уже ясно: у вас там начинают «творить легенду», – жили-были лентяи да бездельники, а нажили – святого. Вы подумайте, как это вредно для страны именно теперь, когда головы разочарованных людей опущены долу, души большинства – пусты, а души лучших – полны скорби. Просятся голодные, истерзанные на легенду. Так хочется утолить боли, успокоить муки! И будут создавать как раз то, что он хотел, но чего не нужно, – житие блаженного и святого, он же тем велик и свят, что – человек он, – безумно и мучительно красивый человек, человек всего человечества. Я тут противоречу себе в чем-то, но – это неважно. Он – человек, взыскующий бога не для себя, а для людей, дабы он его, человека, оставил в покое пустыни, избранной им. Он дал нам евангелие, а чтоб мы забыли о противоречиях во Христе, – упростил образ его, сгладил в нем воинствующее начало и выдвинул покорное «воле пославшего». Несомненно, что евангелие Толстого легче приемлемо, ибо оно более «по недугу» русского народа. Надо же было дать что-нибудь этому народу, ибо он жалуется, стоном сотрясает землю и отвлекает от «главного». А «Война и мир» и всё прочее этой линии – не умиротворит скорбь и отчаяние серой русской земли.

О «В. и М.» он сам говорил: «Без ложной скромности – это как Илиада». М. И. Чайковский слышал из его уст точно такую же оценку «Детства», «Отрочества».

Сейчас были журналисты из Неаполя, – один из них уже примчался из Рима. Просят сказать им, что я думаю о «бегстве» Толстого, – так и говорят – «бегство». Я отказался беседовать с ними. Вы понимаете, конечно, что душа моя в тревоге яростной, – я не хочу видеть Толстого святым; да пребудет грешником, близким сердцу насквозь грешного мира, навсегда близким сердцу каждого из нас. Пушкин и он – нет ничего величественнее и дороже нам...

Умер Лев Толстой.

Получена телеграмма, и в ней обыкновеннейшими словами сказано – скончался.

Это ударило в сердце, заревел я от обиды и тоски, и вот теперь, в полоумном каком-то состоянии, представляю его себе, как знал, видел, – мучительно хочется говорить о нем. Представляю его в гробу, – лежит, точно гладкий камень на дне ручья, и, наверное, в бороде седой тихо спрятана его – всем чужая – обманчивая улыбочка. И руки наконец спокойно сложены – отработали урок свой каторжный.

Вспоминаю его острые глаза, – они видели всё насквозь, – и движения пальцев, всегда будто лепивших что-то из воздуха, его беседы, шутки, мужицкие любимые слова и какой-то неопределенный голос его. И вижу, как много жизни обнял этот человек, какой он, не по-человечьи, умный и – жуткий.

Видел я его однажды так, как, может быть, никто не видел: шел к нему в Гаспру берегом моря и под именем Юсупова, на самом берегу, среди камней, заметил его маленькую угловатую фигурку, в сером помятом тряпье и скомканной шляпе. Сидит, подперев скулы руками, – между пальцев веют серебряные волосы бороды, и смотрит вдаль, в море, а к ногам его послушно подкатываются, ластиятся зеленоватые

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiuamaxim.ru
волнишки, как бы рассказывая нечто о себе старому ведуну. День был пестрый, по камням ползали тени облаков, и вместе с камнями старик то светлел, то темнел. Камни – огромные, в трещинах, и окиданы пахучими водорослями, – накануне был сильный прибой. И он тоже показался мне древним, ожившим камнем, который знает все начала и цели, думает о том – когда и каков будет конец камней и трав земных, воды морской и человека и всего мира, от камня до солнца. А море – часть его души, и всё вокруг – от него, из него. В задумчивой неподвижности старика почудилось нечто вешнее, чародейское, углубленное во тьму под ним, пытливо ушедшее вершиной в голубую пустоту над землей, как будто это он – его сосредоточенная воля – призывает и отталкивает волны, управляет движением облаков и тенями, которые словно шевелят камни, будят их. И вдруг в каком-то минутном безумии я почувствовал, что – возможно! – встанет он, взмахнет рукой, и море застынет, остеклеет, а камни пошевелиются и закричат, и всё вокруг оживет, зашумит, заговорит на разные голоса о себе, о нем, против него. Не изобразить словом, что почувствовал я тогда; было на душе и восторженно и жутко, а потом все слилось в счастливую мысль:

«Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!»

Тогда я осторожно, чтоб галька под ногами не скрипела, ушел назад, не желая мешать его думам. А вот теперь – чувствую себя сиротой, пишу и плачу, – никогда в жизни не случалось плакать так безутешно, и отчаянно, и горько. Я не знаю – любил ли его, да разве это важно – любовь к нему или ненависть? Он всегда возбуждал в душе моей ощущения и волнения огромные, фантастические; даже неприятное и враждебное, вызванное им, принимало формы, которые не подавляли, а, как бы взрывая душу, расширяли ее, делали более чуткой и емкой. Хорош он был, когда, шаркая подошвами, как бы властно сглаживая неровность пути, вдруг являлся откуда-то из двери, из угла, шел к вам мелким, легким и скорым шагом человека, привыкшего много ходить по земле, и, засунув большие пальцы рук за пояс, на секунду останавливался, быстро оглядываясь цепким взглядом, который сразу замечал всё новое и тотчас высасывал смысл всего.

– Здравствуйте!

Я всегда переводил это слово так: «Здравствуйте – удовольствия для меня, а для вас толку не много в этом, но все-таки – здравствуйте!»

Выйдет он – маленький. И все сразу станут меньше его. Мужичья борода, грубые, но необыкновенные руки, простенькая одежда и весь этот внешний, удобный демократизм обманывал многих, и часто приходилось видеть, как россияне, привыкшие встречать человека «по платью» – древняя, холопья привычка! – начинали струить то пахучее «прямодушие», которое точнее именуется амикошонством.

«Ах, родный ты наш! Вот какой ты! Наконец-то сподобился я лицезреть величайшего сына земли родной моей. Здравствуй вовеки и прими поклон мой!»

Это – московско-русское, простое и задушевное, а вот еще русское, «свободомысленное»:

«Лев Николаевич! Будучи не согласен с вашими религиозно-философскими взглядами, но глубоко почитая в лице вашем великого художника...»

И вдруг из-под мужичьей бороды, из-под демократической, мятой блузы поднимается старый русский барин, великолепный аристократ, – тогда у людей прямодушных, образованных и прочих сразу синют носы от нестерпимого холода. Приятно было видеть это существо чистых кровей, приятно наблюдать благородство и грацию жеста, гордую сдержанность речи, слышать изящную меткость убийственного слова. Барина в нем было как раз столько, сколько нужно для хопонов. И когда они вызывали в Толстом барина, он являлся легко, свободно и давил их так, что они только ежились да попискивали.

Пришлось мне с одним из «прямодушных» русских людей – москвичом – возвращаться из Ясной Поляны в Москву, – так он долго отдышаться не мог, всё улыбался жалобно и растерянно твердил:

– Н-ну, – баня. Вот строг... фу!

И, между прочим, воскликнул с явным сожалением:

– А ведь я думал – он и в самом деле анархист. Все твердят – анархист, анархист, я и поверил...

Этот человек был богатый, крупный фабрикант, он обладал большим животом, жирным лицом мясного цвета, – зачем ему понадобилось, чтоб Толстой был анархистом? Одна из «глубоких тайн» русской души.

Если Л. Н. хотел нравиться, он достигал этого легче женщины, умной и красивой. Сидят у него разные люди: великий князь Николай Михайлович, маляр Илья, социал-демократ из Ялты, штундист Пацук, какой-то музыкант, немец, управляющий графини Клейнмихель, поэт Булгаков, и все смотрят на него одинаково влюбленными глазами. Он излагает им учение Лао-тце, а мне кажется, что он какой-то необыкновенный человек-оркестр, обладающий способностью играть сразу на нескольких инструментах – на медной трубе, на барабане, гармонике и флейте. Я смотрел на него, как все. А вот хотел бы посмотреть еще раз и – не увижу больше никогда.

Приходили журналисты, утверждают, что в Риме получена телеграмма, «опровергающая слух о смерти Льва Толстого». Суетились, болтали, многословно выражая сочувствие России. Русские газеты не оставляют места для сомнений.

Солгать пред ним невозможно было даже из жалости, он и опасно больной не возбуждал ее. Это пошлость – жалеть людей таких, как он. Их следует беречь, лелеять, а не осыпать словесной пылью каких-то затертых, бездушных слов.

Он спрашивал:

– Не нравлюсь я вам?

Надо было говорить: «Да, не нравитесь».

– Не любите вы меня? – «Да, сегодня я вас не люблю».

В вопросах он был беспощаден, в ответах – сдержан, как и надлежит мудрому.

Изумительно красиво рассказывал о прошлом и лучше всего о Тургеневе. О Фете – с добродушной усмешкой и всегда что-нибудь смешное; о Некрасове – холодно, скептически, но обо всех писателях так, словно это были дети его, а он, отец, знает все недостатки их и – нате! – подчеркивает плохое прежде хорошего. И каждый раз, когда он говорил о ком-либо дурно, мне казалось, что это он слушателям милостыню подает на бедность их; слушать суждения его было неловко, под остренькой улыбочкой невольно опускались глаза – и ничего не оставалось в памяти.

Однажды он ожесточенно доказывал, что Г. И. Успенский писал на тульском языке и никакого таланта у него не было. И он же при мне говорил А. П. Чехову:

– Вот – писатель! Он силой искренности своей Достоевского напоминает, только Достоевский политиканствовал и кокетничал, а этот – проще, искреннее. Если б он в бога верил, из него вышел бы сектант какой-нибудь.

– А как же вы говорили – тульский писатель и – таланта нет?

Спрятал глаза под мохнатыми бровями и ответил:

– Он писал плохо. Что у него за язык? Больше знаков препинания, чем слов. Талант – это любовь. Кто любит, тот и талантлив. Смотрите на влюбленных, – все талантливы!

О Достоевском он говорил неохотно, натужно, что-то обходя, что-то преодолевая.

– Ему бы познакомиться с учением конфуция или буддистов, это успокоило бы его. Это – главное, что нужно знать всем и всякому. Он был человек буйной плоти. Рассердится – на лысине у него шишки вскакивают и ушами двигает. Чувствовал многое, а думал – плохо, он у этих, у фурьеристов, учился думать, у Буташевича и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
других. Потом – ненавидел их всю жизнь. В крови у него было что-то еврейское. Мнительен был, самолюбив, тяжел и несчастен. Странно, что его так много читают, не понимаю – почему! Ведь тяжело и бесполезно, потому что все эти Идиоты, Подростки, Раскольниковы и всё – не так было, всё проще, понятнее. А вот Лескова напрасно не читают, настоящий писатель, – вы читали его?

– Да. Очень люблю, особенно – язык.

– Язык он знал чудесно, до фокусов. Странно, что вы его любите, вы какой-то не русский, у вас не русские мысли, – ничего, не обидно, что я так говорю? Я – старик и, может, теперешнюю литературу уже не могу понять, но мне всё кажется, что она – не русская. Стали писать какие-то особенные стихи, – я не знаю, почему это стихи и для кого. Надо учиться стихам у Пушкина, Тютчева, Шеншина. Вот вы, – он обратился к Чехову, – вы русский! Да, очень, очень русский.

И, ласково улыбаясь, обнял А. П. за плечо, а тот сконфузился и начал баском говорить что-то о своей даче, о татарах.

Чехова он любил и всегда, глядя на него, точно гладил лицо А. П. взглядом своим, почти нежным в эту минуту. Однажды А. П. шел по дорожке парка с Александрой Львовной, а Толстой, еще больной в ту пору, сидя в кресле на террасе, весь как-то потянулся вслед им, говоря вполголоса:

– Ах, какой милый, прекрасный человек: скромный, тихий, точно барышня! И ходит, как барышня. Просто – чудесный!

Как-то вечером, в сумерках, жмурясь, двигая бровями, он читал вариант той сцены из «Отца Сергия», где рассказано, как женщина идет соблазнять отшельника, прочитал до конца, приподнял голову и, закрыв глаза, четко выговорил:

– Хорошо написал старик, хорошо!

Вышло у него это изумительно просто, восхищение красотой было так искренно, что я вовек не забуду восторга, испытанного мною тогда, – восторга, который я не мог, не умел выразить, но и подавить его мне стоило огромного усилия. Даже сердце остановилось, а потом всё вокруг стало живительно свежо и ново.

Надо было видеть, как он говорит, чтоб понять особенную, невыразимую красоту его речи, как будто неправильной, избыточной повторениями одних и тех же слов, насыщенной деревенской простотой. Сила слов его была не только в интонации, не в трепете лица, а в игре и блеске глаз, самых красноречивых, какие я видел когда-либо. У Л. Н. была тысяча глаз в одной паре.

Сулер, Чехов, Сергей Львович и еще кто-то, сидя в парке, говорили о женщинах, он долго слушал безмолвно и вдруг сказал:

– А я про баб скажу правду, когда одной ногой в могиле буду, – скажу, прыгну в гроб, крышкой прикроюсь – возьми-ка меня тогда! – И его взгляд вспыхнул так озорно-жутко, что все замолчали на минуту.

В нем, как я думаю, жило дерзкое и пытлиное озорство Васьки Буслаева и часть упрямой души протопопа Аввакума, а где-то наверху или сбоку таился чаадаевский скептицизм. Проповедовало и терзало душу художника Аввакумово начало, низвергал Шекспира и Данте – озорник новгородский, а чаадаевское усмехалось над этими забавами души да – кстати – и над муками ее.

А науку и государственность поражал древний русский человек, доведенный до пассивного анархизма бесплодностью множества усилий своих построить жизнь более человечно.

Это – удивительно! Но черту Буслаева постиг в Толстом силою какой-то таинственной интуиции Олаф Гульбрансон, карикатурист «Симплициссимуса»; всмотритесь в его рисунок, сколько в нем меткого сходства с действительным Львом Толстым и сколько на этом лице со скрытыми, спрятанными глазами дерзкого ума, для которого нет святынь неприкосновенных и который не верит «ни в чох, ни в сон, ни в птичий грай».

Стоит предо мной этот старый кудесник, всем чужой, одиноко изъездивший все

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
пустыни мысли в поисках всеобъемлющей правды и не нашедший ее для себя, смотрю я на него, и – хоть велика скорбь утраты, но гордость тем, что я видел этого человека, облегчает боль и горе.

Странно было видеть Л. Н. среди «толстовцев»; стоит величественная колокольня, и колокол ее неустанно гудит на весь мир, а вокруг бегают маленькие осторожные собачки, визжат под колокол и недоверчиво косятся друг на друга – кто лучше подвыл? Мне всегда казалось, что и яснополянский дом и дворец графини Паниной эти люди насквозь пропитывали духом лицемерия, трусости, мелкого торгашества и ожидания наследства. В «толстовцах» есть что-то общее с теми странниками, которые, расхаживая по глухим углам России, носят с собой собачьи кости, выдавая их за частицы мощей, да торгуют «египетской тьмой» и «слезками» богородицы. Помню, как один из таких апостолов в Ясной Поляне отказывался есть яйца, чтобы не обидеть кур, а на станции Тула аппетитно кушал мясо и говорил:

– Преувеличивает старичок!

Почти все они любят вздыхать, целоваться, у всех потные руки без костей и фальшивые глаза. В то же время это практичные люди, они весьма ловко устраивают свои земные дела.

Л. Н., конечно, хорошо понимал истинную цену «толстовцев», понимал это и Сулержицкий, которого он нежно любил и о ком говорил всегда с юношеским жаром, с восхищением. Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прирав учение Толстого. Л. Н. наклонился ко мне и сказал тихонько:

– Всё врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное...

Многие старались делать ему приятное, но я не наблюдал, чтоб это делали хорошо и умело. Он почти никогда не говорил со мною на обычные свои темы – о всепрощении, любви к ближнему, о Евангелии и буддизме, очевидно, сразу поняв, что всё это было бы «не в коня корм». Я глубоко ценил это.

Когда он хотел, то становился как-то особенно красиво деликатен, чуток и мягок, речь его была обаятельно проста, изящна, а иногда слушать его было тяжело и неприятно. Мне всегда не нравились его суждения о женщинах, – в этом он был чрезмерно «простонароден», и что-то деланное звучало в его словах, что-то неискреннее, а в то же время – очень личное. Слово его однажды оскорбили и он не может ни забыть, ни простить. В вечер первого моего знакомства с ним он увел меня к себе в кабинет, – это было в Хамовниках, – усадил против себя и стал говорить о «Вареньке Олесовой», о «Двадцать шесть и одна». Я был подавлен его тоном, даже растерялся – так обнаженно и резко говорил он, доказывая, что здоровой девушке не свойственна стыдливость.

– Если девице минуло пятнадцать лет и она здорова, ей хочется, чтобы ее обнимали, щупали. Разум ее боится еще неизвестного, непонятного ему – это и называют: целомудрие, стыдливость. Но плоть ее уже знает, что непонятное – неизбежно, законно и требует исполнения закона, вопреки разуму. У вас же эта Варенька Олесова написана здоровой, а чувствует худосочно, – это неправда!

Потом он начал говорить о девушке из «Двадцати шести», произнося одно за другим «неприличные» слова с простотою, которая мне показалась цинизмом и даже несколько обидела меня. Впоследствии я понял, что он употреблял «отреченные» слова только потому, что находил их более точными и меткими, но тогда мне было неприятно слушать его речь. Я не возражал ему; вдруг он стал внимателен, ласков и начал выпрашивать меня, как я жил, учился, что читал.

– Говорят, вы очень начитанный, – правда? Что, Короленко – музыкант?

– Кажется, нет. Не знаю.

– Не знаете? Вам нравятся его рассказы?

– Да, очень.

– Это – по контрасту. Он – лирик, а у вас нет этого. Вы читали Вельтмана?

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Да.

– Не правда ли – хороший писатель, бойкий, точный, без преувеличений. Он иногда лучше Гоголя. Он знал Бальзака. А Гоголь подражал Марлинскому.

Когда я сказал, что Гоголь, вероятно, подчинился влиянию Гофмана, Стерна и, может быть, Диккенса, – он, взглянув на меня, спросил:

– Вы это прочитали где-нибудь? Нет? Это неверно. Гоголь едва ли знал Диккенса. А вы действительно много читали, – смотрите, это вредно! Кольцов погубил себя этим.

Провожая, он обнял меня, поцеловал и сказал:

– Вы – настоящий мужик! Вам будет трудно среди писателей, но вы ничего не бойтесь, говорите всегда так, как чувствуете, выйдет грубо – ничего! Умные люди поймут.

Эта первая встреча вызвала у меня впечатление двойственное: я был и рад и гордился тем, что видел Толстого, но его беседа со мной несколько напоминала экзамен, и как будто я видел не автора «Казачков», «Холстомера», «Войны», а барина, который, снисходя ко мне, счел нужным говорить со мной в каком-то «народном стиле», языком площади и улицы, а это опрокидывало мое представление о нем, – представление, с которым я сжился и оно было дорого мне.

Второй раз я видел его в Ясной. Был осенний хмурый день, моросил дождь, а он, надев тяжелое драповое пальто и высокие кожаные ботинки – настоящие мокроступы, – повел меня гулять в березовую рощу. Молодо прыгает через канавы, лужи, отряхивает капли дождя с веток на голову себе и превосходно рассказывает, как Шеншин объяснял ему Шопенгауэра в этой роще. И ласковой рукою любовно гладит сыроватые атласные стволы берез.

– Недавно прочитал где-то стихи:

Грибы сошли, но крепко пахнет
В оврагах сыростью грибной...

– очень хорошо, очень верно! Вдруг под ноги нам подкатился заяц. Л. Н. подскочил, заершился весь, лицо вспыхнуло румянцем и, таким старым зверобоем, как гикнет. А потом – взглянул на меня с невыразимой улыбкой и засмеялся умным, человечьим смешком. Удивительно хорош был в эту минуту!

В другой раз там же, в парке, он смотрел на коршуна, – коршун реял над скотным двором, делает круг и остановится в воздухе, чуть покачиваясь на крыльях, не решаясь: бить, али еще рано? Л. Н. вытянулся весь, прикрыл глаза ладонью и трепетно шепчет:

– Злодей на кур целит наших. Вот – вот... вот сейчас... ох, боится! Кучер там, что ли? Надо позвать кучера...

И – позвал. Когда он крикнул, коршун испугался, взмыл, метнулся в сторону, – исчез. Л. Н. вздохнул и сказал с явным укором себе:

– Не надо бы кричать, он бы и так ударил...

Однажды, рассказывая ему о Тифлисе, я упомянул имя В. В. Флеровского-Берви.

– Вы знали его? – оживленно спросил Л. Н. – Расскажите, какой он.

Я стал рассказывать о том, как Флеровский – высокий, длиннородый, худой, с огромными глазами, – надев длинный парусиновый хитон, привязав к поясу узелок риса, варенного в красном вине, вооруженный огромным холщовым зонтом, бродил со мной по горным тропинкам Закавказья, как однажды на узкой тропе встретился нам буйвол и мы благоразумно ретировались от него, угрожая недоброму животному раскрытым зонтом, пятась задом и рискуя свалиться в пропасть. Вдруг я заметил на глазах Л. Н. слезы, это смутило меня, я замолчал.

– Это ничего, говорите, говорите! Это у меня от радости слушать о хорошем человеке. Какой интересный! Мне он так и представлялся, особенным. Среди

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.ucoz.ru писателей-радикалов он – самый зрелый, самый умный, у него в «Азбуке» очень хорошо доказано, что вся наша цивилизация – варварская, а культура – дело мирных племен, дело слабых, а не сильных, и борьба за существование – лживая выдумка, которой хотят оправдать зло. Вы, конечно, не согласны с этим? А вот Додэ – согласен, помните, каков у него Поль Астье?

– А как же согласовать с теорией Флеровского хотя бы роль норманнов в истории Европы?

– Норманны – это другое!

Если он не хотел отвечать, то всегда говорил: «Это другое».

Мне всегда казалось – и думаю, я не ошибаюсь – Л. Н. не очень любил говорить о литературе, но живо интересовался личностью литератора. Вопросы: «знаете вы его? какой он? где родился?» – я слышал очень часто. И почти всегда его суждения приоткрывали человека с какой-то особенной стороны.

По поводу В. Г. Короленко он сказал задумчиво:

– Не великоросс, поэтому должен видеть нашу жизнь вернее и лучше, чем видим мы сами.

О Чехове, которого ласково и нежно любил:

– Ему мешает медицина, не будь он врачом – писал бы еще лучше.

О ком-то из молодых:

– Притворяется англичанином, что всего хуже удастся москвичу.

Мне он не однажды говорил:

– Вы – сочинитель. Все эти ваши Кувалды – выдуманы.

Я заметил, что Кувалда – живой человек.

– Расскажите, где вы его видели.

Его очень насмешила сцена в камере казанского мирового судьи Колонтаева, где я впервые увидел человека, описанного мною под именем Кувалды.

– Белая кость! – говорил он, смеясь и отирая слезы. – Да, да – белая кость! Но – какой милый, какой забавный! А рассказываете вы лучше, чем пишете. Нет, вы – романтик, сочинитель, уж сознайтесь!

Я сказал, что, вероятно, все писатели несколько сочиняют, изображая людей такими, какими хотели бы видеть их в жизни; сказал также, что люблю людей активных, которые желают противиться злу жизни всеми способами, даже и насилем.

– А насилие – главное зло! – воскликнул он, взяв меня под руку. – Как же вы выйдете из этого противоречия, сочинитель? Вот у вас «Мой спутник» – это не сочинено, это хорошо, потому что не выдуманно. А когда выдумываете – у вас рыцари рождаются, всё Амадисы и Зигфриды..

Я заметил, что доколе мы будем жить в тесном окружении человекоподобных и неизбежных «спутников» наших – всё строится нами на зыбкой почве, во враждебной среде.

Он усмехнулся и легонько толкнул меня локтем.

– Отсюда можно сделать очень, очень опасные выводы! Вы – сомнительный социалист. Вы – романтик, а романтики должны быть монархистами, такими они и были всегда.

– А Гюго?

– Это – другое, Гюго. Не люблю его – крикун.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorikiu@mail.ru
Он нередко спрашивал меня, что я читаю, и всегда упрекал меня за плохой – по его мнению – выбор книг.

– Гиббон – это хуже Костомарова, надо читать Момсена, – очень надоедливый, но – солидно все.

Узнав, что первая книга, прочитанная мною, – «Братья Земганно», он даже возмутился.

– Вот видите – глупый роман. Это вас и испортило. У французов три писателя: Стендаль, Бальзак, Флобер, ну еще – Мопассан, но Чехов лучше его. А Гонкуры – сами клоуны, они только прикидывались серьезными. Изучали жизнь по книжкам, написанным такими же выдумщиками, как сами они, и думали, что это серьезное дело, а это никому не нужно.

Я не согласился с его оценкой, и это несколько раздражило Л. Н., – он с трудом переносил противоречия, и порою его суждения принимали странный, капризный характер.

– Никакого вырождения нет, – говорил он, – это выдумал итальянец Ломброзо, а за ним, как попугай, кричит еврей Нордау. Италия – страна шарлатанов, авантюристов, – там рождаются только Аретино, Казанова, Калиостро и все такие.

– А Гарибальди?

– Это политика, это – другое!

На целый ряд фактов, взятых из истории купеческих семей в России, он ответил:

– Это неправда, это только в умных книжках пишут...

Я рассказал ему историю трех поколений знакомой мне купеческой семьи, – историю, где закон вырождения действовал особенно безжалостно; тогда он стал возбужденно дергать меня за рукав, уговаривая:

– Вот это – правда! Это я знаю, в Туле есть две таких семьи. И это надо написать. Кратко написать большой роман, понимаете? Непременно!

И глаза его сверкали жадно.

– Но ведь рыцари будут, Лев Николаевич!

– Оставьте! Это очень серьезно. Тот, который идет в монахи молиться за всю семью, – это чудесно! Это – настоящее: вы – грешите, а я пойду отмаливать грехи ваши. И другой – скучающий, стяжатель-строитель, – тоже правда! И что он пьет, и зверь, распутник, и любит всех, а – вдруг – убил, – ах, это хорошо! Вот это надо написать, а среди воров и нищих нельзя искать героев, не надо! Герои – ложь, выдумка, есть просто люди, люди и – больше ничего.

Он очень часто указывал мне на преувеличения, допускаемые мною в рассказах, но однажды, говоря о второй части «Мертвых душ», сказал, улыбаясь добродушно:

– Все мы – ужас какие сочинители. Вот и я тоже, иногда пишешь, и вдруг – станет жалко кого-нибудь, возьмешь и прибавишь ему черту получше, а у другого – убавишь, чтоб те, кто рядом с ним, не очень уж черны стали.

И тотчас же суровым тоном непреклонного судьи:

– Вот поэтому я и говорю, что художество – ложь, обман и произвол и вредно людям. Пишешь не о том, что есть настоящая жизнь, как она есть, а о том, что ты думаешь о жизни, ты сам. Кому же полезно знать, как я вижу эту башню или море, татарина, – почему интересно это, зачем нужно?

Иной раз мысли и чувства его казались мне капризно и даже как бы нарочито изломанными, но чаще он поражал и опрокидывал людей именно суровой прямою мыслью, точно Иов, бесстрашный совопросник жестокого бога.

Рассказывал он:

– Иду я, как-то, в конце мая Киевским шоссе; земля – рай, всё ликует, небо безоблачно, птицы поют, пчелы гудят, солнце такое милое, и всё кругом – празднично, человечно, великолепно. Был я умилен до слез и тоже чувствовал себя пчелой, которой даны все лучшие цветы земли, и бога чувствовал близко душе. Вдруг вижу: в стороне дороги, под кустами, лежат странник и странница, егозят друг по другу, оба серые, грязные, старенькие, – возятся, как черви, и мычат, бормочут, а солнце без жалости освещает их голые синие ноги, дряблые тела. Так и ударило меня в душу. Господи, ты – творец красоты: как тебе не стыдно? Очень плохо стало мне...

– Да, вот видите, что бывает. Природа – ее богомилы считали делом дьявола – жестоко и слишком насмешливо мучает человека: силу отнимет, а желание оставит. Это – для всех людей живой души. Только человеку дано испытать весь стыд и ужас такой муки, – в плоть данной ему. Мы носим это в себе как неизбежное наказание, а – за какой грех?

Когда он рассказывал это, глаза его странно изменялись – были то детски жалобны, то сухо и сурово ярки. А губы вздрагивали, и усы щетинились. Рассказав, он вынул платок из кармана блузы и крепко вытер лицо, хотя оно было сухое. Потом расправил бороду крючковатыми пальцами мужицкой сильной руки и повторил тихонько:

– Да – за какой грех?

Однажды я шел с ним нижней дорогой от Дюльбера к Ай-Тодору. Он, шагая легко, точно юноша, говорил несколько более нервно, чем всегда:

– Плоть должна быть покорным псом духа, куда пошлет ее дух, туда она и бежит, а мы – как живем? Мечется, буйствует плоть, дух же следует за ней беспомощно и жалко.

Он крепко потер грудь против сердца, приподнял брови и, вспоминая, продолжал:

– В Москве, около Сухаревой, в глухом проулке, видел я, осенью, пьяную бабу; лежала она у самой панели. Со двора тек грязный ручей, прямо под затылок и спину бабе; лежит она в этой холодной подливке, бормочет, возится, хлюпает телом по мокрому, а встать не может.

Его передернуло, он зажмурил глаза, потряс головою и предложил тихонько:

– Сядемте здесь... Это – самое ужасное, самое противное – пьяная баба. Я хотел помочь ей встать и – не мог, побрезговал; вся она была такая склизкая, жидкая, дотронулся до нее – месяц руки не отмоешь, – ужас! А на тумбе сидел светленький, сероглазый мальчик, по щекам у него слезы бегут, он шмыгает носом и тянет безнадежно, устало:

– Ма-ам... да ма-амка же. Встань же...

Она пошевелит руками, хрюкнет, приподнимет голову и опять – шлеп затылком в грязь.

Замолчал, потом, оглядываясь вокруг, повторил беспокойно, почти шепотом:

– Да, да, – ужас! Вы много видели пьяных женщин? Много, – ах, боже мой! Вы – не пишите об этом, не нужно!

– Почему?

Заглянул в глаза мне и, улыбаясь, повторил:

– Почему?

Потом раздумчиво и медленно сказал:

– Не знаю. Это я – так... стыдно писать о гадостях. Ну – а почему не писать? Нет, – нужно писать всё, обо всем...

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
На глазах у него показались слезы. Он вытер их и – всё улыбаясь – посмотрел на платок, а слезы снова текут по морщинам.

– Плачу, – сказал он. – Я – старик, у меня к сердцу подкатывает, когда я вспоминаю что-нибудь ужасное.

И, легонько толкая меня локтем:

– Вот и вы, проживете жизнь, а всё останется, как было, – тогда и вы заплачете, да еще хуже меня – «ручьистее», говорят бабы... А писать всё надо, обо всем, иначе светленький мальчик обидится, упрекнет, – неправда, не вся правда, скажет. Он – строгий к правде!

Вдруг встряхнулся весь и добрым голосом предложил:

– Ну, расскажите что-нибудь, вы хорошо рассказываете. Что-нибудь про маленького, про себя. Не верится, что вы тоже были маленьким, такой вы – странный. Как будто и родились взрослым. В мыслях у вас много детского, незрелого, а – знаете вы о жизни довольно много; больше не надо. Ну, рассказывайте...

И удобно прилег под сосной, на ее обнаженных корнях, наблюдая, как муравьишки суетятся и возятся в серой хвое.

Среди природы юга, непривычно северянину разнообразной, среди самодовольно пышной, хвастливо разнузданной растительности, он, Лев Толстой – даже самое имя обнажает внутреннюю силу его! – маленький человек, весь связанный из каких-то очень крепких, глубоко земных корней, весь такой узловатый, – среди, я говорю, хвастливой природы Крыма он был одновременно на месте и не на месте. Некий очень древний человек и как бы хозяин всего округа, – хозяин и создатель, прибывший после столетней отлучки в свое, им созданное, хозяйство. Многие позабыто им, многое ново для него, всё – так, как надо, но – не вполне так, и нужно тотчас найти – что не так, почему не так.

Он ходит по дорогам и тропинкам скорой, спешной походкой умелого испытателя земли и острыми глазами, от которых не скроется ни один камень и ни единая мысль, смотрит, измеряет, щупает, сравнивает. И разбрасывает вокруг себя живые зерна неукротимой мысли. Он говорит Сулеру:

– Ты, Левушка, ничего не читаешь, это нехорошо, потому что самонадеянно, а вот Горький читает много, это – тоже нехорошо, это от недоверия к себе. Я – много пишу, и это нехорошо, потому что – от старческого самолюбия, от желания, чтобы все думали по-моему. Конечно, – я думаю хорошо для себя, а Горький думает, что для него нехорошо это, а ты – ничего не думаешь, просто: хлопаешь глазами, высматриваешь – во что вцепиться. И вцепишься не в свое дело, – это уже бывало с тобой. Вцепишься, поддержишься, а когда оно само начнет отваливаться от тебя, ты и удерживать не станешь. У Чехова есть прекрасный рассказ «Душечка», – ты почти похож на нее.

– Чем? – спросил Сулер, смеясь.

– Любить – любишь, а выбрать – не умеешь и уйдешь весь на пустяки.

– И все так?

– Все? – повторил Л. И. – Нет, не все.

И неожиданно спросил меня – точно ударил:

– Вы почему не веруете в бога?

– Веры нет, Л. Н.

– Это – неправда. Вы по натуре верующий, и без бога вам нельзя. Это вы скоро почувствуете. А не веруете вы из упрямства, от обиды: не так создан мир, как вам надо. Не веруют также по застенчивости; это бывает с юношами: боготворят женщину, а показать это не хотят, боятся – не поймет, да и храбрости нет. Для веры – как для любви – нужна храбрость, смелость. Надо сказать себе – верую, – и всё будет хорошо, всё явится таким, как вам нужно, само себя объяснит вам и

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru привлечет вас. Вот вы многое любите, а вера – это и есть усиленная любовь, надо полюбить еще больше – тогда любовь превратится в веру. Когда любят женщину – так самую лучшую на земле, – непременно и каждый любит самую лучшую, а это уже – вера. Неверующий не может любить. Он влюбляется сегодня в одну, через год – в другую. Душа таких людей – бродяга, она живет бесплодно, это – нехорошо. Вы родились верующим, и нечего ломать себя. Вот вы говорите – красота? А что же такое красота? Самое высшее и совершенное – бог.

Раньше он почти никогда не говорил со мной на эту тему, и ее важность, неожиданность как-то смяла, опрокинула меня. Я молчал. Он, сидя на диване, поджал под себя ноги, выпустил в бороду победоносную улыбочку и сказал, грозя пальцем:

– От этого – не отмолчитесь, нет!

А я, не верующий в бога, смотрю на него почему-то очень осторожно, немножко боязливо, смотрю и думаю:

«Этот человек – богоподобен!»

1919; 1923

О том, как я учился писать
Товарищи!

Во всех городах, где удалось мне побеседовать с вами, многие из вас спрашивали устно и записками: как я научился писать? Спрашивали меня об этом письмами со всех концов СССР рабселькоры, военкоры и вообще начинающая литературную работу молодежь. Многие предлагали мне «написать книгу о том, как надо сочинять художественные рассказы», «выработать теорию литературы», «издать учебник литературы». Такой учебник я не могу, не сумею сделать, да к тому же такие учебники – хотя и не очень хорошие, но все-таки полезные – уже есть.

Необходимо для начинающих писать знание истории литературы, для этого полезна книга В. Келтуяла «История литературы», изданная Госиздатом; в ней хорошо изображен процесс развития устного – «народного» – творчества и письменного – «литературного». В каждом деле нужно знать историю его развития. Если бы рабочие каждой отрасли производства, а еще лучше – каждой фабрики, знали, как она возникла, как постепенно развивалась, совершенствовалась производство, – рабочие работали бы лучше, чем они работают, с более глубоким пониманием культурно-исторического значения их труда, с большим увлечением.

Нужно знать также историю иностранной литературы, потому что литературное творчество, в существе своем, одинаково во всех странах, у всех народов. Тут дело не только в формальной, внешней связи, не в том, что Пушкин дал Гоголю тему книги «Мертвые души», а сам Пушкин взял эту тему, вероятно, у английского писателя Стерна, из книги «Сентиментальное путешествие»; не важно и тематическое единство «Мертвых душ» с «Записками Пиквикского клуба» Диккенса, – важно убедиться в том, что издавна, всюду плелась и всюду плетется сеть «для уловления человеческой души», что всегда, всюду были, везде есть люди, которые ставили и ставят целью работы своей освободить человека от суеверий, предрассудков, предубеждений. Важно знать, что всюду хотели и хотят успокоить человека в приятных ему пустяках и везде, всегда были и есть мятежники, которые стремились, стремятся поднять бунт против грязной и подлой действительности. И очень важно знать, что, в конце концов, мятежники, указывая людям путь вперед, толкая их на этот путь, все-таки преодолевают работу проповедников успокоения и примирения с мерзостями действительности, созданной классовым государством, буржуазным обществом, которое заразило и заражает трудовой народ подлейшими пороками жадности, зависти, лени, отвращения к труду.

История человеческого труда и творчества гораздо интереснее и значительнее истории человека, – человек умирает, не прожив и сотни лет, а дело его живет века. Сказочные успехи науки, быстрота ее роста объясняются именно тем, что ученый знает историю развития своей специальности. Между наукой и художественной литературой есть много общего: и там и тут основную роль играют наблюдение, сравнение, изучение; художнику, так же как ученому, необходимо обладать воображением и догадкой – «интуицией».

Воображение, догадка дополняют недостающие, еще не найденные звенья в цепи

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru фактов, позволяя ученому создавать «гипотезы» и теории, направляющие более или менее безошибочно и успешно поиски разума, который изучает силы и явления природы и, постепенно подчиняя их разуму и воле человека, создает культуру, которая есть наша, нашей волей, нашим разумом творимая «вторая природа».

Это всего лучше подтверждается двумя фактами: знаменитый химик Дмитрий Менделеев создал на основании изучения всем известных элементов – железа, свинца, серы, ртути и т. д. – «Периодическую систему элементов», которая утверждала, что в природе должно существовать множество других элементов, никем еще не найденных, не открытых; он указал и признаки – удельный вес – каждого из этих элементов, никому не известных. Ныне все они открыты, а кроме их, методом Менделеева, найдены и еще некоторые, существования которых и он не предполагал.

Другой факт: Гонорий Бальзак, один из величайших художников, француз, романист, наблюдая психологию людей, указал в одном из своих романов, что в организме человека, наверное, действуют какие-то мощные, неизвестные науке соки, которыми и объясняются различные психофизические свойства организма. Прошло несколько десятков лет, наука открыла в организме человека несколько ранее неизвестных желез, вырабатывающих эти соки – «гормоны» – и создала глубоко важное учение о «внутренней секреции». Таких совпадений между творческой работой ученых и крупных литераторов – немало. Ломоносов, Гёте были одновременно поэтами и учеными, так же как романист Стриндберг, – он первый в своем романе «Капитан Коль» заговорил о возможности добывать азот из воздуха.

Искусство словесного творчества, искусство создания характеров и «типов», требует воображения, догадки, «выдумки». Описав одного знакомого ему лавочника, чиновника, рабочего, литератор сделает более или менее удачную фотографию именно одного человека, но это будет лишь фотография, лишенная социально-воспитательного значения, и она почти ничего не даст для расширения, углубления нашего познания о человеке, о жизни.

Но если писатель сумеет отвлечь от каждого из двадцати – пятидесяти, из сотни лавочников, чиновников, рабочих наиболее характерные классовые черты, привычки, вкусы, жесты, верования, ход речи и т. д., – отвлечь и объединить их в одном лавочнике, чиновнике, рабочем, этим приемом писатель создаст «тип», – это будет искусство. Широта наблюдений, богатство житейского опыта нередко вооружают художника силою, которая преодолевает его личное отношение к фактам, его субъективизм. Бальзак субъективно был приверженцем буржуазного строя, но в своих романах он изобразил пошлость и подлость мещанства с поразительной, беспощадной ясностью. Есть много примеров, когда художник является объективным историком своего класса, своей эпохи. В этих случаях значение работы художника равноценно с работой ученого-естественника, который исследует условия существования и питания животных, причины размножения и вымирания, изображает картины их ожесточенной борьбы за жизнь.

В борьбе за жизнь инстинкт самозащиты развил в человеке две мощные творческие силы: познание и воображение. Познание – это способность наблюдать, сравнивать, изучать явления природы и факты социальной жизни, короче говоря: познание – есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение – это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения.

Мы читаем и слышим: «ветер плачет», «стонет», «задумчиво светит луна», «река нашептывала старые былины», «лес нахмурился», «волна хотела сдвинуть камень, он морщился под ее ударами, но не уступал ей», «стул крикнул, точно селезень», «сапог не хотел влезать на ногу», «стекла запотели», – хотя у стекол нет потовых желез.

Все это делает явления природы как бы более понятными для нас и называется «антропоморфизмом», от греческих слов: антропос – человек и морфе – форма, образ. Тут мы замечаем, что человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, – воображает, вносит их всюду – во все явления природы, во все созданные его трудом, его разумом вещи. Есть люди, которым кажется, что антропоморфизм неуместен и даже вреден в искусстве словесном, но люди эти сами говорят: «мороз щипал уши», «солнце улыбалось», «наступил май», они не могут не говорить: «дождь идет», хотя дождь не обладает ногами, «погода подлая», хотя явления природы не подлежат нашим моральным оценкам.

Один из древнегреческих философов – Ксенофан – утверждал, что если бы животные обладали способностью воображения, то львы представили бы себе бога огромным и непобедимым львом, крысы – крысой и т. д. Вероятно, комариный бог был бы комаром, а бог туберкулезной бациллы – бациллой. Человек вообразил бога своего всеведущим, всеильным, всетворящим, то есть наделил его лучшими своими стремлениями. Бог – только человеческая «выдумка», вызванная «томительно бедной жизнью» и смутным стремлением человека сделать своей силой жизнь более богатой, легкой, справедливой, красивой. Бог вознесен людьми над жизнью, потому что лучшим качествам и желаниям людей, зародившимся в процессе их труда, не было места в действительности, где идет тяжелая борьба за кусок хлеба.

Мы видим, что, когда передовые люди рабочего класса осознали, как следует перестроить жизнь для того, чтобы их лучшее получило свободу развития, – бог стал не нужен им как выдумка уже пережитая. Исчезла необходимость прятать свое хорошее в бога, потому что понято, каким путем воплотить это хорошее в живую, земную действительность.

Бог создан так же, как создаются литературные «типы», по законам абстракции и конкретизации. «Абстрагируются» – выделяются – характерные подвиги многих героев, затем эти черты «конкретизируются» – обобщаются в виде одного героя, скажем – Геркулеса или рязанского мужика Ильи Муромца; выделяются черты, наиболее естественные в каждом купце, дворянине, мужике, и обобщаются в лице одного купца, дворянина, мужика, таким образом получаем «литературный тип». Этим приемом созданы типы Фауста, Гамлета, Дон-Кихота, и так же Лев Толстой написал кроткого, «богом убитого» Платона Каратаева, Достоевский – различных Карамазовых и Свидригайловых, Гончаров – Обломова и так далее.

Таких людей, каковы перечисленные, в жизни не было; были и есть подобные им, гораздо более мелкие, менее цельные, и вот из них, мелких, как башни или колокольни из кирпичей, художники слова додумали, «вымыслили» обобщающие «типы» людей – нарицательные типы. Всякого лгуна мы уже называем – Хлестаков, подхалима – Молчалин, лицемера – Тартюф, ревнивца – Отелло и т. д.

Основными «течениями», или направлениями, в литературе считаются два: романтизм и реализм. Реализмом именуется правдивое, неприкрашенное изображение людей и условий их жизни. Формул романтизма дано несколько, но точной, совершенно исчерпывающей формулы, с которой согласились бы все историки литературы, пока еще нет, она не выработана. В романтизме необходимо различать тоже два, резко различных направления: пассивный романтизм, – он пытается или примирить человека с действительностью, прикрашивая ее, или же отвлечь от действительности к бесплодному углублению в свой внутренний мир, к мыслям о «роковых загадках жизни», о любви, о смерти, – к загадкам, которые не разрешимы путем «умозрения», созерцания, а могут быть разрешены только наукой. Активный романтизм стремится усилить волю человека к жизни, возбудить в нем мятеж против действительности, против всякого гнета ее.

Но по отношению к таким писателям-классикам, каковы Бальзак, Тургенев, Толстой, Гоголь, Лесков, Чехов, трудно сказать с достаточной точностью – кто они, романтики или реалисты? В крупных художниках реализм и романтизм всегда как будто соединены. Бальзак – реалист, но он писал и такие романы, как «Шагреневая кожа» – произведение очень далекое от реализма. Тургенев тоже писал вещи в романтическом духе, так же как и все другие крупнейшие наши писатели, от Гоголя до Чехова и Бунина. Это слияние романтизма и реализма особенно характерно для нашей большой литературы, оно и придает ей ту оригинальность, ту силу, которая все более заметно и глубоко влияет на литературу всего мира.

Взаимное отношение реализма и романтизма будет для вас, товарищи, яснее, если вы остановите внимание ваше на вопросе: «Почему возникает желание писать?» На этот вопрос есть два ответа, один из них дает моя корреспондентка, дочь рабочего, девушка пятнадцати лет. Она говорит в письме своем:

Мне 15 лет, но в такой ранней молодости во мне появился писательский талант, причиной которого послужила томительно бедная жизнь.

Было бы, конечно, правильной, если бы она сказала не «писательский талант», а – желание писать, для того, чтобы украсить своей «выдумкой», обогатить ею «томительно бедную жизнь». Тут возникает вопрос: о чем же можно писать, живя

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
«бедной жизнью»?

На него отвечают народности Поволжья, Приуралья, Сибири. Многие из них еще вчера не имели письменности, но уже за десятки веков до наших дней они обогащали и украшали свою «томительно бедную жизнь» в глухих лесах, на болотах, в пустынных степях Востока и тундрах Севера песнями, сказками, легендами о героях, вымыслами о богах; вымыслы эти именуются «религиозным творчеством», но в существе своем они тоже художественное творчество.

Если бы у моей пятнадцатилетней корреспондентки действительно появился бы талант, – чего я, разумеется, от всей души желаю, – она, вероятно, писала бы так называемые «романтические» вещи, старалась бы обогатить «томительно бедную жизнь» красивыми выдумками, изображала бы людей лучшими, чем они есть. Гоголь написал «О том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Старосветских помещиков», «Мертвые души», он же написал и «Тараса Бульбу». В первых трех вещах им изображены люди с «мертвыми душами», и это – жуткая правда; такие люди жили и живут еще до сего дня; изображая их, Гоголь писал как «реалист».

В повести «Тарас Бульба» он изобразил запорожцев боголюбивыми рыцарями и силачами, которые поднимают врага на пике, хотя древко пики не может выдержать пятипудовую тяжесть, переломится. Вообще таких запорожцев не было, и рассказ Гоголя о них – красивая неправда. Тут, как во всех рассказах «Рудого Панька» и во многих других, Гоголь – романтик и, вероятно, потому романтик, что устал наблюдать «томительно бедную» жизнь «мертвых душ».

Товарищ Буденный охаял «Конармию» Бабеля, – мне кажется, что это сделано напрасно: сам товарищ Буденный любит извне украшать не только своих бойцов, но и лошадей. Бабель украсил бойцов его изнутри и, на мой взгляд, лучше, правдивее, чем Гоголь запорожцев.

Человек все еще во многом зверь, но вместе с этим он – культурно – все еще подросток, и приукрасить его, похвалить – весьма полезно: это поднимает его уважение к себе, это способствует развитию в нем доверия к своим творческим силам. К тому же похвалить человека есть за что – все хорошее, общественно ценное творится его силою, его волей.

Значит ли, что тем, что сказано выше, я утверждаю необходимость романтизма в литературе? Да, защищаю, но при условии весьма существенного дополнения к «романтизму».

Другой корреспондент мой, семнадцати лет, рабочий, кричит мне: «У меня так много впечатлений, что не писать я не могу».

В этом случае стремление писать объясняется уже не «бедностью» жизни, а богатством ее, перегруженностью впечатлений, внутренним позывом рассказать о них. Подавляющее большинство моих молодых корреспондентов хотят писать именно потому, что они богаты впечатлениями бытия, «не могут молчать» о том, что они видели, испытали. Из них выработается, вероятно, немало «реалистов», но я думаю, что в их реализме будут и некоторые признаки романтизма, который неизбежен и законен в эпоху здорового духовного подъема, а мы переживаем именно такой подъем.

Итак, на вопрос: почему я стал писать? – отвечаю: по силе давления на меня «томительно бедной жизни» и потому, что у меня было так много впечатлений, что «не писать я не мог». Первая причина заставила меня попытаться внести в «бедную» жизнь такие вымыслы, «выдумки», как «Сказка о соколе и уже», «Легенда о горящем сердце», «Буревестник», а по силе второй причины я стал писать рассказы «реалистического» характера – «Двадцать шесть и одна», «Супруги Орловы», «Озорник».

По вопросам о нашем «романтизме» необходимо знать еще следующее. До Чехова – рассказы «Мужики», «В овраге» – и Бунина – «Деревня», все его рассказы о крестьянах – дворянская наша литература любила и прекрасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «Христову правду», которой нет места в действительности, но о которой всю жизнь мечтают мужики, подобные Калинычу Тургенева из рассказа «Хорь и Калиныч» и Платону Каратаеву из «Войны и мира» Толстого. Таким кротким и выносливым

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru мечтателем о «божеской правде» начали изображать крестьянина лет за двадцать до отмены крепостного права, хотя в то время крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей темной среды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, Губониных, Морозовых, Колчиных, Журавлевых и т. д. Вместе с этим процессом все чаще в журналистике вспоминалась колоссальная легендарная фигура выходца из «мужиков» – Ломоносова, поэта и одного из крупнейших ученых.

Фабриканты, судостроители, торговцы, еще вчера бесправные, смело занимали в жизни место рядом с дворянством и, подобно древнеримским рабам-«вольнотпущенникам», садились за один стол со своими владыками. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней, массе. Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека – строителя, стяжателя, «хозяина», продолжая любовно изображать кроткого раба, совестливого Поликушку. В 1852 году Лев Толстой пишет очень грустный очерк «Утро помещика», прекрасно рассказывая о том, как рабы не верят доброму, либеральному владыке. С 1862 года Толстой начинает воспитывать крестьянских детей, отрицать «прогресс» и науку, убеждает: учитесь хорошо жить у мужика, а с семидесятих годов пишет рассказы для «народа», изображая в них христоролюбивых, романтизированных мужиков, учит, что самая праведная и блаженная жизнь – в деревне, самый святой труд – мужицкий труд «на земле». А затем, в рассказе «Много ли человеку земли нужно», он говорит, что земли надобно человеку всего три аршина, только на могилу.

Жизнь уже создавала из кротчайших христоролюбцев строителей новых форм экономической жизни, талантливых крупных и мелких «буржуа», хищников Разуваевых и Колупаевых, изображенных Салтыковым-Щедриным и Глебом Успенским, а рядом с хищниками – и мятежников, революционеров. Но все эти люди не замечались литературой дворян. Гончаров в романе «Обломов», – одном из самых лучших романов нашей литературы, – противопоставил русскому обленившемуся до слабоумия барину – немца, а не одного из «бывших» русских мужиков, среди которых он, Гончаров, жил и которые уже начинали командовать экономической жизнью страны. Если писатели-дворяне изображали революционера, так это был или чужеземец-болгарин или бунтовщик на словах – Рудин. Волевой, активный русский человек как герой эпохи оставался в стороне от литературы, где-то «за пределами поля зрения» литераторов, хотя он заявлял о себе довольно шумно – бомбами. Можно привести очень много доказательств того, что активный, призывающий к жизни, к деянию романтизм был чужд русской дворянской литературе. Шиллера она не смогла создать и вместо «Разбойников» превосходно изображала «Мертвые души», «Живой труп», «Мертвые дома», «Живые мощи», «Три смерти» и еще множество смертей. «Преступление и наказание» Достоевским написано как будто тоже в противовес «Разбойникам» Шиллера, а «Бесы» Достоевского – самая талантливая и самая злая из всех бесчисленных попыток опорочить революционное движение семидесятих годов.

Литературе разночинцев-интеллигентов активный социально-революционный романтизм тоже был чужд. Разночинец был слишком занят своей личной судьбой, поисками своей роли в драме жизни. Разночинец жил «между молотом и наковальней», молот – самодержавие, наковальня – «народ».

Повести Слепцова «Трудное время» и Осиповича-Новодворского «Записки ни павы, ни вороны» – очень правдивые, сильные произведения – рисуют трагическое положение умных людей, которые не имеют прочной опоры в жизни и живут «ни павами, ни воронами» или же становятся благополучными мещанами, как об этом рассказал Кушневский и замечательно талантливый, умный, недостаточно ценимый Помяловский в своих повестях «Молотов» и «Мещанское счастье». Кстати, обе его повести весьма современны и очень полезны для наших дней, когда оживающий мещанин довольно успешно начинает строить для себя дешевенькое благополучие в стране, где рабочий класс заплатил потоками крови своей за свое право строить социалистическую культуру.

Так называемые писатели-народники – Златовратский, Засодимский, Вологдин, Левитов, Нефедов, Бажин, Николай Успенский, Эртель, отчасти Станюкович, Каронин-Петропавловский и много других – усердно и в тон дворянской литературе занимались идеализацией деревни, крестьянина, который представлялся народникам социалистом по натуре, не знающим иной правды, кроме правды «общины», «мира» – коллектива. Первым, кто внушил такой взгляд на крестьянство, был блестящий талантливый барин А. И. Герцен, его проповедь продолжал Н. К. Михайловский, изобретатель двух правд: «правды-истины» и «правды-справедливости». Влияние этой

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.maxim.ru
группы литераторов на «общество» было непрочно и кратковременно, их «романтизм» отличался от романтизма дворян только слабой талантливостью, их мечтатели – мужички Минаи, Митяи – плохие копии с портретов Поликушки, Калиныча, Каратаева и прочих преподобных мужичков.

Примыкая к этой группе, но будучи более зоркими социально и талантливее всех, даже вместе взятых, народников, работали два очень крупных литератора: Д. Н. Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский. Они первые почувствовали и отметили разноречие деревни и города, рабочего и крестьянина. Особенно ясно было это Успенскому, автору двух замечательных книг: «Нравы Растеряевой улицы» и «Власть земли». Социальная ценность этих книг не утрачена и для наших дней, да и вообще рассказы Успенского не потеряли своего воспитательного значения; литературная молодежь может хорошо поучиться у этого писателя уменью наблюдать и широте знания действительности.

Выразителем резко отрицательного отношения к идеализации деревни является А. П. Чехов в его упомянутых рассказах «Мужики», «В овраге» и в рассказе «Новая дача», а особенно резко это отношение выражено И. Буниным в повести «Деревня» и во всех его рассказах о крестьянстве. Крайне характерен тот факт, что так же беспощадно изображают деревню писатели-крестьяне Семен Подъячев и Иван Вольнов, очень талантливый, все более заметно растущий писатель. Темы – жизнь деревни, психика крестьянина – живые темы наших дней, крайне важные, это начинающие литераторы должны хорошо понять.

Из всего сказанного достаточно ясно следует, что в нашей литературе не было и нет еще «романтизма» как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых ее форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно. А проповедь эта необходима, если мы действительно не хотим возвратиться к мещанству, и далее – через мещанство – к возрождению классового государства, к эксплуатации крестьян и рабочих паразитами и хищниками. Именно такого «возрождения» ждут, о нем мечтают все враги Союза Советов, именно ради того, чтобы понудить рабочий класс к восстановлению старого, классового государства, они экономически блокируют Союз. Литератор-рабочий должен ясно понимать, что противоречие между рабочим классом и буржуазией – непримиримо, что разрешит его только полная победа или же гибель. Вот из этого трагического противоречия, из трудности задач, которые повелительно возложены историей на рабочий класс, и должен возникнуть тот активный «романтизм», тот пафос творчества, та дерзость воли и разума и все те революционные качества, которыми богат русский рабочий-революционер.

Разумеется, мне известно, что путь к свободе очень труден и не пришло еще время всю жизнь спокойно пить чай в приятной компании с красивыми девушками или сидеть сложа руки перед зеркалом и «любоваться своей красотой», к чему склонны очень многие молодые люди. Действительность все более настойчиво внушает, что при современных условиях спокойненькой жизни не устроишь, счастлив не будешь ни вдвоем, ни в одиночку, что мещанско-кулацкое благополучие не может быть прочным, – основы этого благополучия всюду в мире сгнили. Об этом убедительно говорят озлобление, уныние и тревога мещан всего мира, панические стоны европейской литературы, отчаянное веселье, которым богатый мещанин пытается заглушить свой страх перед завтрашним днем, болезненная жажда дешевых радостей, развитие половых извращений, рост преступности и самоубийств. «Старый мир» поистине смертельно болен, и необходимо очень торопиться «отрясти его прах с наших ног», чтобы гнилостное разложение его не заражало нас.

В то время как в Европе идет процесс внутреннего распада человека, у нас, в трудовой массе, развивается крепкая уверенность в своей силе и в силе коллектива. Вам, молодежи, необходимо знать, что уверенность эта всегда возникает в процессе преодоления препятствий на пути к лучшему и что эта уверенность – самая могучая творческая сила. Надобно знать, что в «старом мире» человечна, – а потому и неоспоримо ценна, – только наука; все же «идеи» старого мира – за исключением идеи социализма – не человечны, потому что так или иначе пытаются установить и оправдать законность «счастья» и власти единиц в ущерб культуре и свободе трудовой массы.

Не помню, чтобы я, в юности, жаловался на жизнь; люди, среди которых я начал жить, очень любили жаловаться, но, заметив, что они это делают из хитрости, для того, чтобы скрыть в жалобах свое нежелание помочь друг другу, – я старался не

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru подражать им. Затем я довольно скоро убедился, что больше всего любят жаловаться люди, не способные к сопротивлению, не умеющие или не желающие работать, и вообще люди со вкусом к «легкой жизни» за счет ближних.

Страх перед жизнью был хорошо испытан мною; теперь я называю этот страх – страхом слепого. Живя – как об этом рассказано мною – в обстановке весьма тяжелой, я с детства видел бессмысленную жестокость и непонятную мне вражду людей, был поражен тяжестью труда одних и животным благополучием других; рано понял, что чем «ближе к богу» считают себя люди религиозные, чем дальше они от тех, кто работает на них, тем более беспощадна их требовательность к рабочим людям; вообще видел всякой мерзости житейской гораздо больше, чем ее видите вы. Кроме того, я ее видел в формах более отвратительных, потому что перед вами болтается мещанин, испуганный революцией и уже не очень уверенный в своем праве быть таким, каков он есть по природе своей; а я видел мещанство совершенно уверенным, что оно живет хорошо и что эта его хорошая, спокойненькая жизнь установилась прочно, навсегда.

В ту пору я уже читал переводы иностранных романов, среди которых мне попадались и книги таких великолепных писателей, как Диккенс и Бальзак, а также исторические романы Энсворта, Бульвер-Литтона, Дюма. Эти книги рассказывали мне о людях сильной воли, резко очерченного характера; о людях, которые живут иными радостями, страдают иначе, враждуют из-за несогласий крупных. А вокруг меня мелкие людишки жадничали, завидовали, озлоблялись, дрались и судились из-за того, что сын соседа перебил камнем ногу курице или разбил стекло в окне; из-за того, что пригорел пирог, переварилось мясо во щах, скисло молоко. Они могли целыми часами сокрушаться о том, что лавочник накинул еще копейку на фунт сахара, а торговец мануфактурой – на аршин ситца. Маленькие несчастья соседей вызывали у них искреннюю радость, они прятали ее за фальшивым сочувствием. Я хорошо видел, что именно копейка служит солнцем в небесах мещанства и что это она зажигает в людях мелкую и грязную вражду. Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, обедни, именины, похороны, сытость до ушей и выпивка до свинства, до рвоты – вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить. Эта отвратительная жизнь вызывала у меня то снотворную, притупляющую скуку, то желание озорничать, чтобы разбудить себя. Вероятно, о такой же скуке недавно писал мне один из моих корреспондентов, человек девятнадцати лет:

Всем своим трепетом ненавижу эту скуку с примусами, сплетнями, собачьим визгом.

И вот иногда эта скука взрывалась бешеным озорством; ночью, взлезая на крышу, я затыкал печные трубы тряпками и мусором; подбрасывал в кипевшие щи соль, вдувал из бумажной трубки пыль в механизм стенных часов, вообще делал много такого, что называется хулиганством; делал это потому, что, желая почувствовать себя живым человеком, я не знал, не находил иных способов убедиться в этом. Казалось, что я заблудился в лесу, в густом буреломе, перепутанном цепким кустарником, в перегнутое, куда нога уходит по колено.

Помню такой случай: улицей, на которой я жил, водили арестантов из тюрьмы на пароход, который по Волге и Каме отвозил их в Сибирь; эти серые люди всегда вызывали у меня странное тяготение к ним; может быть, я завидовал тому, что вот они под конвоем, а некоторые – в кандалах, но все-таки идут куда-то, тогда как я должен жить, точно одинокая крыса в подвале, в грязной кухне с кирпичным полом. Однажды шла большая партия, побрякивая кандалами, шагали каторжники; крайними, к панели, шли двое скованных по руке и по ноге; один из них большой, чернобородый, с лошадиными глазами, с глубоким, красным шрамом на лбу, с изуродованным ухом, – был страшен. Разглядевывая его, я пошел по панели, а он вдруг весело и громко крикнул мне:

– Айда, парнишка, прогуляйся с нами!

Он этими словами как будто за руку взял меня.

Я тотчас подбежал к нему, – конвойный, обругав меня, оттолкнул. А если бы не оттолкнул, я пошел бы, как во сне, за этим страшным человеком, пошел бы именно потому, что он – необыкновенен, не похож на людей, которых я знал; пусть он страшен и в кандалах, только бы уйти в другую жизнь. Я долго помнил этого человека и веселый, добрый голос его. С его фигурой у меня связано другое, тоже очень сильное впечатление: в руки мне попала толстая книга с оторванным началом; я стал читать ее и ничего не понял, кроме рассказа на одной странице о

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
короле, который предложил простому стрелку звание дворянина, на что стрелок ответил королю стихами:

Ах, дай мне жить и кончить жизнь свободным селянином,
Отец мой был мужик простой – мужик мне будет сыном.
Ведь славы больше в том, когда наш брат, простолюдин,
Окажется крупней в делах, чем знатный господин.
Я списал тяжелые эти стихи в тетрадь, и они много лет служили мне чем-то вроде
посоха страннику, а может быть, и щитом, который защищал меня от соблазнов и
скверненьких поучений мещан – «знатных господ» той поры. Вероятно, в жизни
многих юношей встречаются слова, которые наполняют молодое воображение двигающей
силой, как попутный ветер наполняет парус.

Лет через десять я узнал, что это стихи из «Комедии о веселом стрелке Джордже
Грине и о Робин Гуде», комедии, написанной в XVI веке предшественником Шекспира
– Робертом Грином. Очень обрадовался, узнав это, и еще больше полюбил
литературу, издревле верного друга и помощника людям в их трудной жизни.

Да, товарищи, страх перед пошлостью и жестокостью жизни был хорошо испытан мною;
дошел я и до попытки убить себя, а затем на протяжении многих лет, вспоминая эту
глупость, чувствовал жгучий стыд и презрение к себе.

Я избавился от этого страха после того, как понял, что люди не так злы, как
невежественны, и что не они и не жизнь пугает меня, а испуган я моей социальной
и всяческой малограмотностью, моей беззащитностью, безоружностью пред жизнью.
Именно так. И мне кажется, что вам следует особенно хорошо подумать над этим,
потому что страхи, стоны и жалобы кое-кого из вашей среды тоже не что иное, как
результат ощущаемой жалобщиками безоружности пред жизнью и их недоверия к своей
способности бороться против всего, чем извне, – а также изнутри, – угнетает
человека «старый мир».

Вы должны знать, что люди, подобные мне, были одиночками и пасынками «общества»,
а вас – уже сотни, и вы – родные дети трудового класса, который осознал свои
силы, обладает властью и быстро учится ценить по заслугам полезную работу
единиц. Вы имеете в лице рабоче-крестьянской власти – власть, которая должна и
может помочь вам развить свои способности до совершенства, что она постепенно и
делает. И делала бы гораздо более успешно, если бы ей не мешала жить и работать
буржуазия, ее и ваш кровный враг.

Вам нужно запастись верою в себя, в свои силы, а эта вера достигается
преодолением препятствий, воспитанием воли, «тренировкой» ее. Необходимо учиться
побеждать в себе и вне себя дрянненькое наследие прошлого, а иначе – как же вы
«отречетесь от старого мира»? Эту песню не стоит петь, если нет сил, нет желания
делать то, чему она учит. Уже и маленькая победа над собою делает человека
намного сильнее. Вы знаете, что, тренируя свое тело, человек становится
здоровым, выносливым, ловким, – так же следует тренировать свой разум, свою
волю.

Вот одно из замечательных достижений такой тренировки: недавно в Берлине
демонстрировалась женщина, которая, держа в каждой руке по два карандаша, а
пятый в зубах, могла одновременно писать пять различных слов на пяти разных
языках. Это казалось бы совершенно невероятным и не потому, что физически
трудно, а потому, что требует неестественного раздробления мысли, однако – это
факт. С другой стороны, факт этот указывает, как, в сущности, бесплодно тратит
человек свои блестящие способности в хаотическом буржуазном обществе, где для
того, чтобы обратить на себя внимание, нужно ходить по улицам вверх ногами,
устанавливать – едва ли практически полезные – рекорды скоростей движения,
играть в шахматы одновременно с двадцатью противниками, достигать невероятнейших
«трюков» в акробатике и стихосложении, вообще героически и головоломно
фокусничать для развлечения скуки пресыщенных людей.

Вам, молодежь, надобно знать, что все действительно ценное, навсегда полезное и
прекрасное, чего достигло человечество в областях науки, искусства, техники, –
создано единицами, которые работали в условиях невыразимо трудных, при глубоком
невежестве «общества», враждебном сопротивлении церкви, своекорыстии
капиталистов, при капризных требованиях «меценатов», – «покровителей науки,
искусства». Надо помнить также, что среди творцов культуры много простых

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
рабочих, каким был знаменитый физик Фарадей, каков Эдисон; что прядильный станок изобрел цирюльник Аркрайт; одним из лучших художников-гонимых был кузнец Бернар Палиси; величайший драматург мира Шекспир – простой актер, так же как великий Мольер, – таких примеров успешной «тренировки» людьми своих способностей можно насчитать сотни.

Всё это оказалось возможным для единиц, работавших, не имея того огромного запаса научных знаний, технических удобств, которыми обладает наша современность. Подумайте же, насколько облегчены задачи культурной работы у нас, в государстве, где поставлено целью полное раскрепощение людей от бессмысленного труда, от цинической эксплуатации рабочей силы, – от эксплуатации, которая создает быстро вырождающихся богачей и грозит вырождением трудовому классу.

Перед вами стоит совершенно ясное и великое дело «отречения от старого мира» и создания нового. Дело это начато. И, по примеру нашего рабочего класса, всюду растет. И какие бы препятствия ни ставил этому делу старый мир, – оно будет развиваться. К нему постепенно готовится рабочий народ всей земли. Создается атмосфера сочувствия работе единиц, которые теперь являются уже не осколками коллектива, а передовыми выразителями творческой воли его.

Перед такой целью, впервые смело поставленной во всей ее широте, вопрос «что делать?» не должен бы иметь места. «Трудно жить»? Да так ли уж трудно? И не потому ли трудно, что возросли потребности, что хочется много такого, о чем отцы ваши и не думали, чего они и не видели? И не стали ли вы излишне требовательны?

Я знаю, разумеется, что среди вас есть уже немало таких, которым понятна радость и поэзия коллективного труда, – труда, который стремится не к тому, чтобы накопить миллионы копеек, а к тому, чтобы уничтожить пакостную власть копейки над человеком, самым великим чудом мира и творцом всех чудес на земле.

Отвечаю на вопрос: как я учился писать? Впечатления я получал и непосредственно от жизни и от книг. Первый порядок впечатлений можно сравнить с сырьем, а второй – с полуфабрикатом, или, – говоря грубо, чтобы сказать яснее, – в первом случае передо мной был скот, а во втором – снятая с него и отлично обработанная кожа. Я очень многим обязан иностранной литературе, особенно – французской.

Мой дед был жесток и скуп, но – я не видел, не понимал его так хорошо, как увидел и понял, прочитав роман Бальзака «Евгения Гранде». Отец Евгении, старик Гранде, тоже скуп, жесток и вообще похож на деда моего, но он – глупее и не так интересен, как мой дед. От сравнения с французом русский старик, не любимый мною, выиграл, вырос. Это не заставило меня изменить мое отношение к деду, но это было большим открытием – книга обладает способностью доказывать мне о человеке то, чего я не вижу, не знаю в нем.

Скучная книга Джорджа Эллиота «Мидльмарч», книги Ауэрбаха, Шпильгагена показали мне, что в английской и немецкой провинции люди живут не совсем так, как в Нижнем Новгороде, на Звездинской улице, но – не многим лучше. Говорят о том же, о своих английских и немецких копейках, о необходимости страха перед богом и любви к нему; однако они, так же как люди моей улицы, – не любят друг друга, а особенно не любят своеобразных людей, которые тем или иным не похожи на большинство окружающих. Сходства между иностранцами и русскими я не искал, нет, я искал различий, но находил сходство.

Приятели деда, разорившиеся купцы Иван Щуров, Яков Котельников, рассуждали о том же и так же, как люди в знаменитом романе Теккерея «Базар житейской суеты». Я учился грамоте по псалтирю и очень любил эту книгу, – она говорит прекрасным музыкальным языком. Когда Яков Котельников, мой дед и вообще старики жаловались друг другу на своих детей, я вспоминал жалобы царя Давида богу на сына своего, бунтовщика Авессалома, и мне казалось, что старики говорят неправду, доказывая один другому, что люди вообще, а молодые в особенности, живут всё хуже, становятся глупее, ленивее, строптивые, не богобоязненны. Точно то же говорили лицемерные герои Диккенса.

Внимательно прислушиваясь к спорам сектантских начетчиков с попами, я замечал, что и те и другие так же крепко держатся за слово, как церковники других стран, что для всех церковников слово – узда человеку и что есть писатели, очень похожие на церковников. В этом сходстве я скоро почувствовал что-то

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
подозрительное, хотя – интересное.

Никакой системы и последовательности в моем чтении, конечно, не было, все совершалось случайно. Брат моего хозяина Виктор Сергеев любил читать французские «бульварные» романы Ксавье де Монтепена, Габорио, Законнэ, Бувье, а прочитав этих авторов, наткнулся на русские книги, в которых насмешливо и враждебно описывались «нигилисты»-революционеры. Я тоже прочитал «Панургово стадо» Вс. Крестовского, «Некуда» и «На ножах» Стебницкого-Лескова, «Марево» Ключникова, «Взбаламученное море» Писемского. Интересно было читать о людях, почти ничем не похожих на людей, среди которых я жил, а скорее родственников каторжника, приглашавшего меня «прогуляться» с ним. «Революционность» этих людей осталась, конечно, не понятой мною, что и входило в задачи авторов, которые писали «революционеров» одной сажой.

Случайно попались в мои руки рассказы Помяловского «Молотов» и «Мещанское счастье». И вот, когда Помяловский показал мне «томительную бедность» мещанской жизни, нищенство мещанского счастья, я, хотя и смутно, а все-таки почувствовал, что мрачные «нигилисты» чем-то лучше благополучного Молотова. А вскоре за Помяловским мною была прочитана скучнейшая книга Зарубина «Темные и светлые стороны русской жизни», светлых сторон я в ней не нашел, а темные стороны стали для меня понятней и противней.

Плохих книг я прочитал бесчисленное количество, но и они были полезны мне. Плохое в жизни надо знать так же хорошо и точно, как хорошее. Знать надо как можно больше. Чем разнообразнее опыт, тем выше он поднимает человека, тем шире становится поле зрения.

Иностранная литература, давая мне обильный материал для сравнения, удивляла меня своим замечательным мастерством. Она рисовала людей так живо, пластично, что они казались мне физически ощутимыми, и притом я их видел всегда более активными, чем русские, – они меньше говорили, больше делали.

Настоящее и глубокое воспитательное влияние на меня как писателя оказала «большая» французская литература – Стендаль, Бальзак, Флобер; этих авторов я очень советовал бы читать «начинающим». Это действительно гениальные художники, величайшие мастера формы, таких художников русская литература еще не имеет. Я читал их по-русски, но это не мешает мне чувствовать силу словесного искусства французов. После множества «бульварных» романов, после Майн Рида, Купера, Густава Эмара, Понсон дю-Террайля, – рассказы великих художников вызывали у меня впечатление чуда.

Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, – шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, так взволновали меня? В этом был скрыт непостижимый фокус, и – я не выдумываю – несколько раз, машинально и как дикарь, я рассматривал страницы на свет, точно пытаюсь найти между строк разгадку фокуса.

Мне знакомы были десятки книг, в которых описывались таинственные и кровавые преступления. Но вот я читаю «Итальянские хроники» Стендаля и снова не могу понять – как же это сделано? Человек описывает жестоких людей, мстительных убийц, а я читаю его рассказы, точно «жития святых», или слышу «Сон богородицы» – повесть о ее «хождении по мукам» людей в аду.

И уже совершенно поражен был я, когда в романе Бальзака «Шагреновая кожа» прочитал те страницы, где изображен пир у банкира и где одновременно говорят десятка два людей, создавая хаотический шум, многогласие которого я как будто слышу. Но главное – в том, что я не только слышу, а и вижу, кто как говорит, вижу глаза, улыбки, жесты людей, хотя Бальзак не изобразил ни лиц, ни фигур гостей банкира.

Вообще искусство изображения людей словами, искусство делать их речь живой и слышной, совершеннейшее мастерство диалога всегда изумляло меня у Бальзака и французов. Книги Бальзака написаны как бы масляными красками, и, когда я впервые увидел картины Рубенса, я вспомнил именно Бальзака. Читая безумные книги

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
Достоевского, я не могу не думать, что он весьма многим обязан именно этому великому мастеру романа. Нравились мне и сухие, четкие, как рисунки пером, книги Гонкуров и угрюмая, темными красками, живопись Золя. Романы Гюго не увлекали, даже «Девяносто третий год» я прочитал равнодушно; причина этого равнодушия стала мне понятна после того, как я познакомился с романом Анатоля Франса «Боги жаждут». Романы Стендаля я читал уже после того, как научился многое ненавидеть, и спокойная речь, скептическая усмешка его очень утвердили мою ненависть.

Из всего сказанного о книгах следует, что я учился писать у французов. Вышло это случайно, однако я думаю, что вышло неплохо, и потому очень советую молодым писателям изучать французский язык, чтобы читать великих мастеров в подлиннике и у них учиться искусству слова.

«Большую» русскую литературу – Гоголя, Толстого, Тургенева, Гончарова, Достоевского, Лескова – я читал значительно позднее. Лесков несомненно влиял на меня поразительным знанием и богатством языка. Это вообще отличный писатель и тонкий знаток русского быта, писатель, все еще не оцененный по заслугам перед нашей литературой. А. П. Чехов говорил, что очень многим обязан ему. То же, я думаю, мог бы сказать и А. Ремизов.

Указываю на эти взаимные связи и влияния для того, чтобы повторить: знание истории развития иностранной и русской литературы необходимо писателю.

Лет двадцати я начал понимать, что видел, пережил, слышал много такого, о чем следует и даже необходимо рассказать людям. Мне казалось, что я знаю и чувствую кое-что не так, как другие; это смущало и настраивало меня беспокойно, говорливо. Даже читая книги таких мастеров, как Тургенев, я думал иногда, что, пожалуй, мог бы рассказать, например, о героях «Записок охотника» иначе, не так, как это сделано Тургеневым. В эти годы я уже считался интересным рассказчиком, меня внимательно слушали грузчики, булочники, «босяки», плотники, железнодорожные рабочие, «странники по святым местам» и вообще люди, среди которых я жил. Рассказывая о прочитанных книгах, я все чаще ловил себя на том, что рассказывал неверно, искажая прочитанное, добавляя к нему что-то от себя, из своего опыта. Это происходило потому, что факты жизни и литература сливались у меня в единое целое. Книга – такое же явление жизни, как человек, она – тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком.

Слушали меня интеллигенты и советовали:

– Пишите! Попробуйте писать!

Нередко я чувствовал себя точно пьяным и переживал припадки многоречивости, словесного буйства от желания выговорить все, что тяготило и радовало меня, хотел рассказать, чтоб «разгрузиться». Бывали моменты столь мучительного напряжения, когда у меня, точно у истерика, стоял «ком в горле» и мне хотелось кричать, что стекольник Анатолий – мой друг, талантливейший парень – погибнет, если не помочь ему; что проститутка Тереза – хороший человек и несправедливо, что она – проститутка, а студенты, пользуясь ею, не видят этого, так же как не видят, что Матица, старуха-нищая, – умнее, чем молодая, начитанная акушерка Яковлева.

Втайне даже от близкого моего друга, студента Гурия Плетнева, я писал стихи о Терезе, Анатолии, о том, что снег весной тает не для того, чтобы стекать грязной водой с улицы в подвал, где работают булочники, что Волга – красивая река, крендельщик Кузин – Иуда Предатель, а жизнь – сплошное свинство и тоска, убивающая душу.

Стихи писал я легко, но видел, что они – отвратительны, и презирал себя за неумение, за бездарность. Я читал Пушкина, Лермонтова, Некрасова, переводы Курочкина из Беранже и очень хорошо видел, что ни на одного из этих поэтов я ничем не похож. Писать прозу – не решался, она казалась мне труднее стихов, она требовала особенно изощренного зрения, прозорливой способности видеть и отмечать невидимое другими и какой-то необыкновенно плотной, крепкой кладки слов. Но все-таки стал пробовать себя и в прозе, избрав однако стиль прозы «ритмической», находя простую – непосильной мне. Попытки писать просто приводили к результатам печальным и смешным. Ритмической прозой я написал огромную «поэму» «Песнь

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru старого дуба». В. Г. Короленко десятком слов разрушил до основания эту деревянную вещь, в которой я, кажется, изложил свои размышления по поводу статьи «Круговорот жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, в научном журнале «Знание», – статья говорила о теории эволюции. Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:

«Я в мир пришел, чтобы не соглашаться», – и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции.

Но Короленко не вылечил меня от пристрастия к «ритмической» прозе и, спустя еще лет пять, похвалив мой рассказ «Дед Архип», сказал, что напрасно я сдобрил рассказ «чем-то похожим на стихи». Я ему не поверил, но дома, просмотрев рассказ, горестно убедился, что целая страница – описание ливня в степи – написана мною именно этой проклятой «ритмической». Она долго преследовала меня, незаметно и неуместно просачиваясь в рассказы. Я начинал рассказы какими-то поющими фразами, например, так: «Лучи луны прошли сквозь ветви кизила и цепкие кусты держидерева», и потом, в печати, мне было стыдно убедиться, что «лучи луны» читаются, как лучины, а «прошли» – не то слово, какое следовало поставить. В другом рассказе у меня «извозчик извлек из кармана кисет» – эти три «из» рядом не очень украшали «томительно бедную жизнь». Вообще я старался писать «красиво».

«Пьяный, прижавшись к столбу фонаря, смотрел, улыбаясь, на тень свою, она вздрагивала», – а ночь – по моим же словам – была тихая, лунная, такими ночами фонарей не зажигали, тень не могла вздрагивать, если нет ветра и огонь горит спокойно. Такие «описки» и «обмолвки» встречались почти в каждом моем рассказе, и я жестоко ругал себя за это.

«Море смеялось», – писал я и долго верил, что это – хорошо. В погоне за красотой я постоянно грешил против точности описаний, неправильно ставил вещи, неверно освещал людей.

«А печь стоит у вас не так», – заметил мне Л. Н. Толстой, говоря о рассказе «Двадцать шесть и одна». Оказалось, что огонь крендельной печи не мог освещать рабочих так, как было написано у меня. А. П. Чехов сказал мне о Медынской в «Фоме Гордееве»:

«У нее, батенька, три уха, одно – на подбородке, смотрите!» Это было верно, – так неудачно я посадил женщину к свету.

Такие, будто мелкие, ошибки имеют большое значение, потому что они нарушают правду искусства. Вообще крайне трудно найти точные слова и поставить их так, чтобы немногими было сказано много, «чтобы словам было тесно, мыслям – просторно», чтобы слова дали живую картину, кратко отметили основную черту фигуры, укрепили сразу в памяти читателя движения, ход и тон речи изображаемого лица. Одно дело – «окрашивать» словами людей и вещи, другое – изобразить их так «пластично», живо, что изображенное хочется тронуть рукой, как, часто, хочется потрогать героев «Войны и мира» у Толстого.

Мне нужно было написать несколькими словами внешний вид уездного городка средней полосы России. Вероятно, я сидел часа три, прежде чем удалось подобрать и расположить слова в таком порядке:

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди ее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони».

Мне показалось, что я написал хорошо, но, когда рассказ был напечатан, я увидел, что мною сделано нечто похожее на расписной пряник или красивенькую коробку для конфет.

Вообще – слова необходимо употреблять с точностью самой строгой. Вот пример из другой области: было сказано: «Религия – опиум».

Но врачи дают опиум больным как средство, утоляющее боль, значит – опиум полезен человеку. А о том, что опиум курят, как табак, и что от курения опиума люди погибают, что опиум – яд, значительно более вредный, чем водка-алкоголь, – широким массам неизвестно.

Мои неудачи всегда заставляют меня вспоминать горестные слова поэта:

«Нет на свете мук сильнее муки слова».

Но об этом гораздо лучше, чем я, говорит А. Г. Горнфельд в книжке «Муки слова», изданной Госиздатом в 1927 году.

Очень хорошую книжку эту я усиленно рекомендую вниманию «молодых товарищей по перу».

«Холоден и жалок нищий наш язык», – сказал, кажется, Надсон, и редкий из поэтов не жаловался на «нищету» языка.

Я думаю, что это – жалобы на «нищету» не русского, а вообще человеческого языка, и вызывает их то, что есть чувствования и мысли неуловимые, невыразимые словом. Именно об этом прекрасно говорит книжка Горнфельда. Но, минуя «неуловимое словом», русский язык неисчерпаемо богат и все обогащается с быстротой поражающей. Чтобы убедиться в быстроте роста языка, стоит только сравнить запасы слов – лексиконы – Гоголя и Чехова, Тургенева и, например, Бунина, Достоевского и, скажем, Леонида Леонова. Последний сам в печати заявил, что он идет от Достоевского, он мог бы сказать, что в некоторых отношениях – укажу на оценку разума – он зависим и от Льва Толстого. Но обе эти зависимости таковы, что свидетельствуют лишь о значительности молодого писателя и отнюдь не скрывают своеобразия его. В романе «Вор» он совершенно неоспоримо обнаружил, что языковое богатство его удивительно; он уже дал целый ряд своих, очень метких слов, не говоря о том, что построение его романа изумляет своей трудной и затейливой конструкцией. Мне кажется, что Леонов – человек какой-то «своей песни», очень оригинальной, он только что начал петь ее, и ему не может помешать ни Достоевский, ни кто иной.

Уместно будет напомнить, что язык создается народом. Деление языка на литературный и народный значит только то, что мы имеем, так сказать, «сырой» язык и обработанный мастерами. Первым, кто прекрасно понял это, был Пушкин, он же первый и показал, как следует пользоваться речевым материалом народа, как надобно обрабатывать его.

Художник – чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он – голос своей эпохи. Он обязан знать как можно больше, и чем лучше будет знать прошлое, тем более понятным явится для него настоящее время, тем сильнее, глубже почувствует он универсальную революционность нашего времени и широту его задач. Обязательно необходимо знать историю народа, и так же необходимо знать его социально-политическое мышление. Ученые – историки культуры, этнографы – указывают, что это мышление выражается в сказках, легендах, пословицах и поговорках. Именно пословицы и поговорки выражают мышление народной массы в полноте особенно поучительной, и начинающим писателям крайне полезно знакомиться с этим материалом не только потому, что он превосходно учит экономии слова, речевой сжатости и образности, а вот почему: количественно преобладающим населением Страны Советов является крестьянство, та глина, из которой история создавала рабочих, мещан, купцов, попов, чиновников, дворян, ученых и художников. Мышление крестьянства наиболее усердно воспитывалось церковниками государственной церкви и отколовшимися от нее сектантами. Оно издавна приучено думать в готовых окостеневших формах, какими и являются пословицы и поговорки, большинство которых не что иное, как сжатые поучения церковников. «Сильную руку – богу судить», «Подумаешь – горе, раздумаешь – божья воля», «Где смерд подумал, там бог не был», «Ты богу угоди, а сам думать – погоди!», «Тише едешь – дальше будешь», «Не в свои сани не садись», «Всяк сверчок знай свой шесток» – существуют сотни таких пословиц, и в любой из них легко можно открыть спрятанные за словами поучения библейских пророков, «отцов церкви» – Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Кирилла Иерусалимского и других.

Когда я читал книги «консерваторов», «охранителей и защитников самодержавного строя», в книгах этих я не находил ничего нового для себя именно потому, что каждая страница их повторяла в развернутой форме – в расширенном толковании – ту или другую из пословиц, с детства знакомых мне. Было совершенно ясно, что вся премудрость консерваторов – К. Леонтьева, К. Победоносцева и других – пропитана той «народной мудростью», в которой наиболее крепко сжата церковность.

Есть, разумеется, значительное количество пословиц другого смысла, например:

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru
«Нам – жить в кротости, а нас палкой по кости», «Богом барину – телятинка жарена, а мужику – хлебушка краюха да – в ухо», «Живем – не тужим, бар не хуже, они – на охоту, мы – на работу, они – спать, а мы – опять, они выпянутся да – за чай, а мы – цепями качай».

Вообще пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный, социально-исторический опыт трудового народа, и писателю совершенно необходимо знакомиться с материалом, который научит его сжимать слова, как пальцы в кулак, и разворачивать слова, крепко сжатые другими, разворачивать их так, чтобы было обнажено спрятанное в них, враждебное задачам эпохи, мертвое.

Я очень много учился на пословицах, иначе – на мышлении афоризмами. Помню такой случай: мой приятель, балагур Яков Солдатов, дворник, метет улицу. Метла новенькая и не омызгана. Посмотрел Яков на меня, подмигнул веселым глазом и сказал:

– Хороша метла, а сорье – не вымести дотла, я его подмету, а соседи поднесут.

Мне стало ясно: дворник верно сказал. Если даже и соседи подметут участки свои, ветер нагонит сору с других улиц; если и все улицы города почистятся, пыль прилетит с поля, с дорог, из других городов. Работа около собственного дома, конечно, необходима, но она будет богаче результатами, если ее расширить на всю свою улицу, на весь город, на всю землю.

Так можно развернуть поговорку, а вот пример того, как она создается: в Нижнем Новгороде начались заболевания холерой и какой-то мещанин стал рассказывать, что доктора морят больных. Губернатор Баранов приказал арестовать его и отправить на работу санитаром в холерный барак. Но, проработав некоторое время, мещанин будто бы благодарил губернатора за урок, а Баранов сказал ему:

– Окунувшись башкой в правду – врать не станешь!

Баранов был человек грубый, но не глупый, я думаю, что он мог сказать такие слова. А впрочем, все равно, кто сказал их.

Вот на таких живых мыслях я учился думать и писать. Эти мысли дворников, адвокатов, «бывших» и всяких других людей я находил в книгах одетыми в другие слова, таким образом факты жизни и литературы взаимно дополняли друг друга.

О том, как создаются мастерами слова «типы» и характеры, я уже говорил выше, но, может быть, следует указать два интересных примера.

«Фауст» Гёте – один из превосходнейших продуктов художественного творчества, которое всегда «выдумка», вымысел или, вернее, «домысел» и – воплощение мысли в образ. «Фауста» я прочитал, когда мне было лет двадцать, а через некоторое время узнал, что лет за двести до немца Гёте о Фаусте писал англичанин Кристофер Марлоу, что польский «лубочный» роман «Пан Твардовский» – тоже «Фауст», так же как роман француза Поля Мюссе «Искатель счастья», и что основой всех книг о «Фаусте» служит средневековое народное сказание о человеке, который в жажде личного счастья и власти над тайнами природы, над людьми продал душу свою черту. Сказание это выросло из наблюдений над жизнью и работой средневековых ученых «алхимиков», которые стремились делать золото, выработать эликсир бессмертия. Среди этих людей были честные мечтатели, «фанатики идеи», но были и шарлатаны, обманщики. Вот бесплодность усилий этих единиц достичь «высшей власти» и была осмеяна в истории приключений средневекового доктора Фауста, которому и сам черт не помог достичь всезнания, бессмертия.

А рядом с несчастной фигурой Фауста была создана фигура, тоже известная всем народам: в Италии это – Пульчинелло, в Англии – Понч, в Турции – Карапет, у нас – Петрушка. Это – непобедимый герой народной кукольной комедии, он побеждает всех и все: полицию, попов, даже черта и смерть, сам же остается бессмертен. В грубом и наивном образе этом трудовой народ воплотил сам себя и свою веру в то, что в конце концов именно он преодолет все и всех.

Эти два примера еще раз подтверждают сказанное выше: «анонимное» творчество, то есть творчество каких-то неизвестных нам людей, [6] тоже подчиняется законам абстракции, отвлечения характерных черт той или иной общественной группы, и конкретизации, обобщения этих черт в одном лице этой группы. Строгое подчинение

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiyamaxim.ru художника этим законам и помогает ему создавать «типы». Так Шарль де-Костер сделал «Тиля Уленшпигеля» – национальный тип фламандца, Ромэн Роллан – бургундца «Кола Брюньона», Альфонс Додэ – провансальца «Тартарена». Создавать такие яркие портреты «типичных» людей возможно только при условии хорошо развитой наблюдательности, умения находить сходства, видеть различия, только при условии учиться, учиться и учиться. Где отсутствует точное знание, там действуют догадки, а из десяти догадок девять – ошибки.

Я не считаю себя мастером, способным создавать характеры и типы, художественно равноценные типам и характерам Обломова, Рудина, Рязанова[7] и т. д. Но все же для того, чтобы написать «Фому Гордеева», я должен был видеть не один десяток купеческих сыновей, не удовлетворенных жизнью и работой своих отцов; они смутно чувствовали, что в этой однотонной, «томительно бедной жизни» – мало смысла. Из таких, как Фома, осужденных на скучную жизнь и оскорбленных скукой, задумавшихся людей, в одну сторону выходили пьяницы, «прожигатели жизни», хулиганы, а в другую – отлетали «белые вороны», как Савва Морозов, на средства которого издавалась ленинская «Искра», как пермский пароходчик Н. А. Мешков, снабжавший средствами партию эсеров, калужский заводчик Гончаров, москвич Н. Шмит и еще многие. Отсюда же выходили и такие культурные деятели, как череповецкий городской голова Милютин и целый ряд московских, а также провинциальных купцов, весьма умело и много поработавших в области науки, искусства и т. д. Крестный отец Фомы Гордеева, Маякин, тоже сделан из мелких черточек, из «пословиц», и я не ошибся: после 1905 года – после того, как рабочие и крестьяне вымостили для Маякиных дорогу к власти своими телами, – Маякины, как известно, играли немалую роль в борьбе против рабочего класса, да и теперь еще мечтают вернуться на старые гнезда.

Молодежь ставит мне вопрос: почему я писал о «босьяках»?

Потому, что, живя в среде мелкого мещанства, видя пред собою людей, единственным стремлением которых было стремление жульнически высасывать кровь человека, сгущать ее в копейки, а из копеек лепить рубли, я тоже, как девятнадцатилетний корреспондент мой, «всем своим трепетом» возненавидел эту комариную жизнь обыкновенных людей, похожих друг на друга, как медные пятаки чекана одного года.

Босьяки явились для меня «необыкновенными людьми». Необыкновенно в них было то, что они, люди «деклассированные», – оторвавшиеся от своего класса, отвергнутые им, – утратили наиболее характерные черты своего классового облика. В Нижнем, в «Миллионке», среди «золотой роты», дружно уживались бывшие зажиточные мещане с моим двоюродным братом Александром Кашириным, кротким мечтателем, с художником-итальянцем Тонтини, учителем гимназии Гладковым, бароном Б., с помощником полицейского пристава, долго сидевшим в тюрьме за грабеж, и со знаменитым вором «Николкой-генералом», настоящая фамилия которого была Фан-дер-Флит.

В Казани, на «Стекланном заводе», жило человек двадцать таких же разношерстных людей. «Студент» Радлов или Радунов, старик-тряпичник, отбывший десять лет каторги; бывший лакей губернатора Андриевского Васька Грачик; машинист Родзиевич, сын священника, белорус, ветеринар Давыдов. В большинстве своем люди эти были нездоровы, алкоголики, жили они не без драк между собою, но у них хорошо было развито чувство товарищеской взаимопомощи, все, что им удавалось заработать или украсть, – пропивалось и проедалось вместе. Я видел, что хотя они живут хуже «обыкновенных людей», но чувствуют и сознают себя лучше их, и это потому, что они не жадны, не душат друг друга, не копят денег. А некоторые из них могли бы копить, в них еще остались признаки «хозяйственности» и любовь к «порядочной» жизни. Копить они могли бы потому, что Васька Грачик, ловкий и удачливый вор, приносил им нередко свою добычу и сдавал ее «казначей» Родзиевичу, который распоряжался «хозяйством» завода бесконтрольно и был удивительно мягкий, безвольный человек.

Помню несколько сцен такого рода: кто-то украл и принес хорошие охотничьи сапоги, решено было пропить их. Но Родзиевич, больной, за несколько дней перед этим избитый полицией, сказал, что пропить следует только голенища, а головки отрезать и дать «Студенту», он ходит в развалившихся опорках.

– Застудит ноги – сдохнет, а человек хороший.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiy.maxim.ru
Головки отрезали, но старый каторжанин предложил шить из голенища две пары лаптей, одну – для себя, другую – для Родзиевича. Так и не пропили сапоги. Грачик объяснял свою дружбу с этими людьми и щедрую помощь им своей любовью к «образованным».

– Я, брат, образованного человека люблю пуще красивейшей женщины, – говорил он мне. Это был странный человек, черноволосый, с тонким красивым лицом, с хорошей улыбкой; всегда задумчивый, малословный, он вдруг взрывался буйным, почти бешеным весельем, плясал, пел, рассказывал о своих удачах, обнимался со всеми, точно уходил на войну, на смерть. На его средства в Задней Мокрой улице, – где теперь Московский вокзал, – в подвале трактира Бутова, кормилось человек восемь каких-то нищих, стариков и старух, а среди них молодая сумасшедшая женщина с годовалым ребенком. Вором он стал так: будучи лакеем губернатора, провел ночь с своей возлюбленной, а утром, возвращаясь домой, похмельный, выхватил у бабы-молочницы стойку молока и начал пить; его схватили, стал драться; строгий мировой судья Колонтаев, великий либерал, посадил его в тюрьму. Васька, отсидев срок наказания, залез в кабинет Колонтаева, изорвал у него бумаги, стащил будильник, бинокль и снова попал в тюрьму. Я познакомился с ним, когда его после неудачной кражи в Татарской слободе преследовали ночные сторожа, одному из них я подставил ногу, этим помог Василию убежать, и сам побежал с ним.

Странные были люди среди босяков, и многого я не понимал в них, но меня очень подкупало в их пользу то, что они не жаловались на жизнь, а о благополучной жизни «обывателей» говорили насмешливо, иронически, но не из чувства скрытой зависти, не потому что «видит око, да зуб неймет», а как будто из гордости, из сознания, что живут они – плохо, а сами по себе лучше тех, кто живет «хорошо».

Изображенного мною в «Бывших людях» содержателя ночлежки Кувалду я увидел впервые в камере мирового судьи Колонтаева. Меня поразило чувство собственного достоинства, с которым этот человек в лохмотьях отвечал на вопросы судьи, презрение, с которым он возражал полицейскому, обвинителю, и потерпевшему – трактирщику, избитому Кувалдой. Также изумлен был я беззлой насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе «Челкаш». С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, – улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу: «Так и пустил я его с деньгами; иди, болван, ешь кашу!»

Он мне напомнил «благородных» героев Дюма. Из больницы мы вышли вместе, и, сидя со мною в люнетах лагеря за городом, угощая меня дыней, он предложил:

«Может – займешься со мною хорошим делом? С тебя, думаю, толк будет».

Я был очень польщен этим предложением, но в ту пору я уже знал, что есть дело более полезное, чем контрабанда и воровство.

Так вот чем объясняется мое пристрастие к «босякам» – желанием изображать людей «необыкновенных», а не людей нищеватого, мещанского типа. Тут, конечно, сказалось и влияние иностранной и прежде других французской литературы, более красочной и яркой, чем русская. Но главным образом тут действовало желание прикрасить за свой счет – «вымыслом» – «томительно бедную жизнь», о которой говорит пятнадцатилетняя девушка.

Это желание, как я уже сказал, называется «романтизмом». Некоторые критики считали мой романтизм отражением философского идеализма. Я думаю, что это неправильно.

Философский идеализм учит, что над человеком, животным и над всеми вещами, которые человек создает, существуют и главенствуют «идеи»; они служат совершеннейшими образцами всего, творимого людьми, и человек, в деятельности своей, вполне зависит от них, вся его работа сводится к подражанию образцам, «идеям», бытие которых он якобы смутно чувствует. С этой точки зрения, где-то над нами существует идея кандалов и двигателя внутреннего сгорания, идея туберкулезной бациллы и скорострельного ружья, идея жабы, мещанина, крысы и вообще всего, что существует на земле и что создается человеком. Совершенно ясно, что отсюда вытекает неизбежность признать бытие творца всех идей, какое-то существо, зачем-то создающее орла и вошь, слона и лягушку.

На дне. Избранное (сборник). Максим Горький gorkiymaxim.ru
Для меня не существует идеи вне человека, для меня именно он и только он является творцом всех вещей и всех идей, именно он – чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в мире нашем то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса, в чем убеждает нас история развития искусства, науки, техники. Мысль приходит после факта. Пред человеком я потому «преклоняюсь», что, кроме воплощений его разума, его воображения, его домысла, – не чувствую и не вижу ничего в нашем мире. Бог есть такая же человечья выдумка, как, например, «светопись», с той разницей, что «фотография» фиксирует действительно сущее, а бог – снимок с выдумки человека о себе самом как о существе, которое хочет – и может – быть всезнающим, всемогущим и совершенно справедливым.

И если уж надобно говорить о «священном», – так священно только недовольство человека самим собою и его стремление быть лучше, чем он есть; священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим; священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей, священен его труд.

1928

Примечания

1 Скончался писатель Максим Горький... Алексей Пешков, известный в литературе под именем Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде в казацкой семье... (фр.)

2 Последний раз! (итал.).

3 Слава, мадонна, слава! (итал.).

4 Во избежание кривотолков должен сказать, что религиозное творчество я рассматриваю как художественное; жизнь Будды, Христа, Магомета – как фантастические романы. (Прим. автора.)

5 по-своему (франц.).

6 Мы имеем право назвать это творчество «народным», потому что оно возникало, наверное, в цехах ремесленников для представления на сцене во дни цеховых праздников. (Прим. автора.)

7 Очень хорошо сделанный Слепцовым в повести «Трудное время» тип интеллигента-разночинца. (Прим. автора.)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!